Д.Н. МАМИН СИБИРЯК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Д. Н. МАМИН СИБИРЯК

ТОМ ШЕСТОЙ

ЗОЛОТО

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ СКАЗКИ

1884 - 1904

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

Подготовка текста и примечания
А. И. НАУМОВОЙ

ЗОЛОТО

Роман

Посвящается Марусе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом, на дороге к Фотьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь, а падавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умаляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе:

— Эх, вся кошемная музыка развалилась... да. А было времечко, Андрон, как ты с завода на Фотьянку на собственной парочке закатывал, а то верхом на иноходце. Лихо...

Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные, вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем Шишки, как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо.

— Только бы застать Родьку... — думал Кишкин вслух, прибавляя ходу.

Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на

лесистый Краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружавшие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На Краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами, точно самая земля здесь вспухла болячками: это были старательские работы. Большинство их было заброшено, как невыгодные или выработавшиеся, а около некоторых курились огоньки, — эти, следовательно, находились на полном ходу.

— Ишь, подлецы, как землю-то изрыли, — проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухоли. — Тоже, называется, золото ищут... ха-ха!.. Не положил — не ищи... Золото моем, а сами голосом воем.

Кишкин подтянул опояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном, и с новой быстротой засеменил с увала, точно кто его толкал в спину.

По ту сторону Краюхина увала начинались шахты: Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подаруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, кучи ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки: сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасо-Колчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид, — трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишкин оглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся.

— Одна парадная дыра осталась... — проговорил он, направляясь к работавшей шахте. — Эй, кто есть жив человек: Родион Потапыч здесь?

Из сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила:

— Был, да весь вышел...

— Ах, штоб ему ни дна ни покрышки! — обругался Кишкин.

— Ступай на Фотьянку, там его застанешь, — посоветовала голова.

— Легкое место сказать: Фотьянка... Три версты надо отмерять до Фотьянки. Ах, старый черт... Не сидится ему на одном месте.

— На брезгу Родивон Потапыч спущался в шахту и четыре взрыва диомидом сделал, а потом на Фотьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит...

Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. — Ах, много тут денежек компания закопала, тысяч триста, а то и побольше. Тепленькое местечко досталось: за триста-то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, веселенькая игрушка, нечего сказать... Впрочем, у денег глаз нет: закапывай, если лишних много.

Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушенной голым ивняком. По всему течению тянулись еще «казенные работы» — громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Даровой труд не жалели, и вся земля на десять верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах... Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы.

Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая пристяжка. Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая Фотьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрело на мысу селение Фотьянка. Но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели

промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так «долила». Наблюдал за этими работами Родион Потапыч Зыков, старейший штейгер на всех Балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины, — с этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы.

— Эге, дома лесной черт! — обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки.

Он издали узнал высокую сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. Окладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная закопченная дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кротовую нору.

— Мир на стану! — крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку.

— Милости просим, — ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. — Куда поволокся спозаранку? Садись, так гость будешь...

— А дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельце. Да... А ты тут старателей зоришь? За ними, за подлецами, только не посмотри...

— Все хороши, — угрюмо ответил Зыков. — Картошки хошь?

— В золке бы ее испечь, так она вкуснее, чем вареная.

— Ишь лакомый какой... Привык к баловству-то, когда на казенных харчах жир нагуливал.

— Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки, Родион Потапыч!.. Весь тут, а дома ничего не оставил...

— Не ври. Не люблю... Рассказывай сказки-то другим, а не мне.

Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет, и жалованье, и дом — полная чаша. Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча подал вторую.

— А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч, — восторгался Кишкин, оглядывая расстилавшуюся перед ним картину. — Много старателей-то?

— Десятка с три наберется...

Работы начинались саженях в пятидесяти от землянки. Берег Балчуговки точно проржавел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотоносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым «выхаживали» деревянную бадью с песком или пустой породой двое «воротников» или «вертелов». Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки и по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатне, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная.

— Ишь ледяной водой моют, — заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. — Што бы казарму поставить да тепленькой водицей промывку сделать, а то пески теперь смерзились...

— Ничего ты не понимаешь! — оборвал его Зыков. — Первое дело, пески на второй сажени берут, а там земля талая, а второе дело — по Фотьянке пески не мясниковатые, а разрушистые... На него плесни водой — он и рассыпался, как крупа. И пески здесь крупные, чуть их всполосни... Ничего ты не понимаешь, Шишка!..

— Да ведь я к слову сказал, а ты сейчас на стену полез.

— А не болтай глупостев, особливо чего не знаешь. Ну, зачем пришел-то? Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить...

— Есть дельце, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казенную Кедровскую дачу?

— Ну?

— Вырешили ее вконец... Первого мая срок: всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. Конечно, нужно заявки сделать и протчее. Я сам был в горном правлении и читал бумагу.

В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина, не врет ли старая конторская крыса, но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика, и он смущенно пробормотал:

— Как же это так... гм... А Балчуговские промысла при чем останутся?

— Балчуговские сами по себе: ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит... Жирно будет, ежели бы им еще и Кедровскую дачу захватить: там четыреста тысяч десятин... А какие места: по Суходойке реке, по Ипатихе, по Малиновке — везде золото. Все россыпи от Каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются... Там еще казенные разведки были под Маяковой сланью, на Филькиной гари, на Колпаковом поле, у Кедрового ключика. Одним словом, палестина необъятная...

— Известно, золота в Кедровской даче неочерпаемо, а только ты опять зря болтаешь: кедровское золото мудреное, — кругом болота, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в Кедровскую дачу кинутся промышленники из города и с Балчуговских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша, а тогда и расползутся... Их только помани. Народ отпетый.

— Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, — заговорил Кишкин искательным тоном. — Дело видишь в чем. Я ведь тогда на казенных шурфовках был, так одно местечко заприметил: Пронькина вышка

называется. Хорошие знаки оказывались... Вот бы заявку там хлопнуть.

— Ну?

— Так я насчет компании... Может, и ты согласишься. За этим и шел к тебе... Верное золото.

Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором.

— Да ты в уме ли, Шишка? Я пойду искать золото, штобы сбивать народ с Балчуговских промыслов?.. Да еще с тобой?.. Ха-ха...

— Не ты, так другие пойдут... Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается Балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут... Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю, а я, может, побольше твоего-то смыслю в этом деле. Балчуговская-то дача рядом прошла с Кедровской, — ну, назаявляют приисков на самой грани, да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери-бери... Вот это какое дело!

— А ведь ты верно, — уныло согласился Зыков. — Потащат наше золото старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани... Теперь за ними не уследишь днем с огнем, а тогда и подавно! Только, я думаю, — прибавил он, — врешь ты все...

— А вот увидишь, как я вру.

Наступила неловкая пауза. Котелок с картофелем был пуст. Кишкин несколько раз взглядывал на Зыкова своими рысьими глазками, точно что хотел сказать, и только жевал губами.

— Прежде-то что было, Родион Потапыч! — как-то особенно угнетенно проговорил он, наконец, втягивая в себя воздух. — Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне... Разве нынче промысла? Разве работы?

— Што старое-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке.

— Нет, всегда вспомню!.. Кто Фотьяновскую россыпь открыл? Я... да. На полтора миллиона рублей золота в ней добыто, а вот я наг и сир...

Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие

старческие слезинки покатились у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал:

— Ну, будет тебе... Эк, што вздумал вспоминать!..

— Да!.. — уже со слезами в голосе повторял Кишкин. — Да... Легко это говорить: перестань!.. А никто не спросит, как мне живется... да. Может, я кулаком слезы-то вытираю, а другие радуются... Тех же горных инженеров взять: свои дома имеют, на рысаках катаются, а я вот на своих на двоих вышагиваю. А отчего, Родион Потапыч? Воровать я во-время не умел... да.

— Было и твое дело, што тут греха таить!

— Да што было-то? Дадут три сторублевых билета, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал: моих рук дело... В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был... В глаза мне надо за это самое наплевать, в воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фотьяновскую россыпь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов, значит с работой обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил. Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здорово живешь в карман к себе клали. А фальши-то што было... Ведь я разносил по книгам-то все расходы: где десять рабочих — писал сто, где сто кубических сажен земли вынуто — писал тысячу... Жалованье я же сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит: «Погоди, Андрон Евстратыч, поделимся потом: рука, слышь, руку моет...» Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают...

— А дом где? А всякое обзаведенье? А деньги? — накинулся на него Зыков с ожесточением. — Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься... В чьем дому сейчас Ермошка-кабатчик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?..

— Было и это, — согласился Кишкин. — Тысяч с пять в карты проиграл и мадеру пил... Было. А Фро-

лов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в Выломках, его еще рекрута работали,— так мы его за новый списали, а ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила. Ревизор приехал, а мы дно раскопали да старые свалки сверху песочком посыпали — и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой, — и к лапкам пристало, и к хвостику, и к усам. Эх, да что тут говорить...

— Кто старое помянет — тому глаз вон. Было, да сплыло...

II

Зыков чувствовал, что недаром Кишкин распинается перед ним и про старину болтает «неподобное», а поэтому молчал, плотно сжав губы. Крепкий старик не любил пустых разговоров.

— Ну, брат, мне некогда, — остановил он гостя, поднимаясь. — У нас сейчас смывка... Вон объездной с кружкой едет.

На правом берегу Балчуговки тянулся каменистый увал, известный под именем Ульянова кряжа. Через него змейкой вилась дорога в Балчуговскую дачу. Сейчас за Ульяновым кряжем шли тоже старательские работы. По этой дороге и ехал верхом объездной с кружкой, в которую ссыпали старательское золото. Зыков расстегнул свой полушубок, чтобы перепоясаться, и Кишкин заметил, что у него за ситцевой рубахой что-то отдувается.

— Это у тебя что за рубахой-то покладено, Родион Потапыч?

— А диомит... Я его по зимам на себе ношу, потому как холоду этот самый диомит не любит.

— А ежели грешным делом да того...

— Взорвет? Божья воля... Только ведь наше дело привышное. Я когда и сплю, так диомит под постель к себе кладу.

Кишкин все-таки посторонился от начиненного динамитом старика. «Этакой безголовый черт», — подумал он, глядя на отдувавшуюся пазуху.

— Так ты как насчет Пронькиной вышки скажешь? — спрашивал Кишкин, когда они от землянки пошли к старательским работам.

— Не нашего ума дело, вот и весь сказ, — сурово ответил старик, шагая по размятому грязному снегу. — Без нас найдутся охотники до твоего золота... Ступай к Ермошке.

— Ермошке будет и того, что он в моем собственном доме сейчас живет.

Приближение сурового штейгера заставило старателей подтянуться, хотя они и были вольными людьми, работавшими в свою голову.

— Эх вы, свинорои! — ворчал Зыков, заглядывая в первую дудку. — Еще задавит кого: наотвечаешься за вас.

По горному уставу каждая шахта должна укрепляться в предупреждение несчастных случаев деревянным срубом вроде того, какой спускают в колодцы; но зимой, когда земля мерзлая, на промыслах почти везде допускаются круглые шахты, без крепи, — это и есть «дудки». Рабочие, конечно, рискуют, но таков уж русский человек, что везде подставляет голову, только бы не сделать лишнего шага. Так было и здесь. Собственно, Зыков мог заставить рабочих сделать крепи, но все они были такие оборванные и голодные, что даже у него рука не поднималась. Старик ограничивался только ворчанием. Зимнее время на промыслах всех подтягивает: работ нет, а есть нужно, как и летом.

От забоев Зыков перешел к вашгердам и велел сделать промывку. Вашгерды были заперты на замок и, кроме того, запечатаны восковыми печатями, — все это делалось в тех видах, чтобы старатели не воровали компанейского золота. Бабы кончили промывку, а мужики принялись за доводку. Продолжали работать только бабы, накачивавшие насосом воду на вашгерды. Зыков стоял и зорко следил за доводчиками, которые на деревянных шлюзах сначала споласкивали пески деревянными лопатками, а потом начали отделять пустой песок от «шлихов» небольшими щетками. Шлихи — черный песок, образовавшийся из железняка;

при промывке он осаждается в «головке» вашгерда вместе с золотом.

Кишкин смотрел на оборванную кучку старателей с невольным сожалением: совсем заморился народ. Рвань какая-то, особенно бабы, которые точно сделаны были из тряпиц. У мужиков лица испитые, озлобленные. Непокрытая приисковая голь глядела из каждой прорехи. Пока Зыков был занят доводкой, Кишкин подошел к рябому старику с большим горбатым носом.

— Здорово, Турка... Аль не узнал?

Турка посмотрел на Кишкина слезившимися потухшими глазами и равнодушно пожевал сухими губами.

— Кто тебя не знает, Андрон Евстратыч... Прежде-то шапку ломали перед тобой, как перед барином. Светленько, говорю, прежде-то жил...

— Турка, ты ходил в штейгерях при Фролове, когда старый разрез работали в Выломках? — спрашивал Кишкин, понижая голос.

— Запамятовал как будто, Андрон Евстратыч... На Фотьянке ходил в штейгерях, это точно, а на старом разрезе как будто и не упомню.

— Ну, а других помнишь, кто там работал?

— Как не помнить... И наши фотьяновские и балчуговские. Бывало дело, Андрон Евстратыч...

Старый Турка сразу повеселел, припомнив старинку, но Кишкин глазами указал ему на Зыкова: дескать, не в пору язык развязываешь, старина... Старый штейгер собрал промытое золото на железную лопаточку, взвесил на руке и заметил:

— Золотник с четью будет...

Затем он ссыпал золото в железную кружку, привезенную объездным, и, обругав старателей еще раз, побрел к себе в землянку. С Кишкиным старик или забыл проститься, или не захотел.

— Сиротское ваше золото, — заметил Кишкин, когда Зыков отошел сажен десять. — Из-за хлеба на воду робите...

Все разом загалдели. Особенно волновались бабы, успевшие высчитать, что на три артели придется получить из конторы меньше двух рублей, — это на двадцать-то душ!.. По гривеннику не заработали.

— Почем в контору сдаете? — спрашивал Кишкин.

— По рублю шести гривен, Андрон Евстратыч. Обидная наша работа. На харчи не заробишь, а што одежи износим, что обуя, это уж свое. Прямо — крохи...

Объездной спешился и, свертывая цыгарку из серой бумаги, болтал с рябой и курносой девкой, которая при артели стеснялась любезничать с чужим человеком, а только лукаво скалила белые зубы. Когда объездной хотел ее обнять, от забоя послышался резкий окрик:

— Ты, компанейский пес, не балуй, а то медали все оборву...

— А ты што лаешься? — огрызнулся объездной. — Чужое жалеешь...

Ругавшийся с объездным мужик в красной рубахе только что вылез из дудки. Он был в одной красной рубахе, запачканной свежей яркожелтой глиной, и в заплатанных плисовых шароварах. Сдвинутая на затылок кожаная фуражка придавала ему вызывающий вид.

— А, это ты, Матюшка... — вступился Кишкин. — Что больно сердит?

— Псов не люблю, Андрон Евстратыч... Мало стало в Балчуговском заводе девок, — ну, и пусть жирует с ними, а наших, фотьянских, не тронь.

— И в самом-то деле, чего привязался! — пристали бабы. — Ступай к своим балчуговским девкам: они у вас просты... Строгаль!..

— Ах вы, варнаки! — ругался объездной, усаживаясь в седле. — Плачет об вас острог-то, клейменые... Право, клейменые!.. Ужо вот я скажу в конторе, как вы дудки-то крепите.

— Скажи, а мы вот такими строгалями, как ты, и будем дудки крепить, — ответил за всех Матюшка. — Отваливай, Михей Павлыч, да кланяйся своим, как наших увидишь.

Между балчуговскими строгалями и Фотьянкой была старинная вражда, переходившая из поколения в поколение. Затем поводом к размолвке служила органическая ненависть вольных рабочих ко всякому

начальству вообще, а к компании — в частности. Когда объездной уехал, Кишкин укоризненно заметил:

— Чего ты зубы-то показываешь прежде времени, Матюшка? Не больно велик в перьях-то...

— Скоро вода тронется, Андрон Евстратыч, так не больно страшно, — ответил Матюшка. — Сказывают, Кедровская дача на волю выходит... Вот делай заявку, а я местечко тебе укажу.

— Молоко на губах не обсохло учить-то меня, — ответил Кишкин. — Не сказывай, а спрашивай...

— Это верно, — подтвердил Турка. — У Андрона Евстратыча на золото рука легкая. Про Кедровскую-то ничего не слыхать, Андрон Евстратыч?

— Не знаю ничего... А что?

— Да так... Мало ли што здря болтают. Намедни в кабаке городские хвалились...

Кишкин подсел на свалку и с час наблюдал, как работали старатели. Жаль было смотреть, как даром время убивали... Какое это золото, когда и пятнадцати долей со ста пудов песку не падает. Так, бьется народ, потому что деваться некуда, а пить-есть надо. Выждав минутку, Кишкин поманил старого Турку и сделал ему таинственный знак. Старик отвернулся, для видимости покопался и пошабашил.

— Ты куда наклался? — спрашивал его Кишкин самым невинным образом.

— А в Фотьянку, домой... Поясницу разломило, да и дело по домашности тоже есть, а здесь и без меня управятся.

— Ну, так возьми меня с собой: мне тоже надо в Фотьянку, — проговорил Кишкин, поднимаясь. — Прощайте, братцы...

Дорога шла сначала бортом россыпи, а потом мелким лесом. Фотьянка залегла двумя сотнями своих почерневших избенок на низменном левом берегу Балчуговки, прижатой здесь Ульяновым кряжем. Кругом деревни рос сплошной лес — ни пашен, ни выгона. Издали Фотьянка производила невеселое впечатление, которое усиливалось вблизи. Старинная постройка сказывалась тем, что дома были расставлены как попало, как строились по лесным дебрям. К реке выдвигался

песчаный мысок, и на нем красовался, конечно, кабак. Турка и Кишкин, по молчаливому соглашению, повернули прямо к нему. У кабацкого крыльца сидели те особенные люди, которые лучше кабака не находят места. Двое или трое узнали Кишкина и сняли рваные шапки.

— Кабак подпираете, молодцы, штобы не упал грешным делом? — пошутил Кишкин.

Сидельцем на Фотьянке был молодой румяный парень Фрол. Кабак держал балчуговский Ермошка, а Фрол был уже от него. Кишкин присел на окно и спросил косушку водки. Турка как-то сразу ослабел при одном виде заветной посудины и взял налитый стакан дрожавшей рукой.

— Будь здоров на сто годов, Евстратыч, — проговорил Турка, с жадностью опрокидывая стакан водки.

— Давненько я здесь не бывал... — задумчиво ответил Кишкин, поглядывая на румяного сидельца. — Каково торгуешь, Фрол?

— У нас не торговля, а кот наплакал, Андрон Евстратыч. Кому здесь и пить-то... Вот вода тронется, так тогда поправляться будем. С голого, што со святого, — немного возьмешь.

— Дай-ка нам пожевать что-нибудь...

Как политичный человек, Фрол подал закуску и отошел к другому концу стойки: он понимал, что Кишкину о чем-то нужно переговорить с Туркой.

— Вот что, друг, — заговорил Кишкин, положив руку на плечо Турке, — кто из фотьянских стариков жив, которые работали при казне?.. Значит, сейчас после воли?

— Есть живые, как же... — старался припомнить Турка. — Много перемерло, а есть и живые.

— Мне штейгеров нужно, главное, а потом, кто в сторожах ходил.

— Есть и такие: Никифор Лужоный, Петр Васильич, Головешка, потом Лучок, Лекандра...

— Вот и отлично! — обрадовался Кишкин. — Мне бы с ними надо со всеми переговорить...

— Можно и это... А на што тебе, Андрон Евстратыч?

— Дело есть... С первого тебя начну. Ежели, например, тебя будут допрашивать, покажешь все, как работал?

— Да што показывать-то?

— А что следователь будет спрашивать...

Корявая рука Турки, тянувшаяся к налитому стакану, точно оборвалась. Одно имя следователя нагнало на него оторопь.

— Да ты что испугался-то? — смеялся Кишкин. — Ведь не под суд отдаю тебя, а только в свидетели...

— А ежели, например, следователь гумагу заставит подписывать?! Нет, неладное ты удумал, Андрон Евстратыч... Меня ровно кто под коленки ударил.

— Ах, дура-голова!.. Вот и толкуй с тобой...

Как ни бился Кишкин, но так ничего и не мог добиться: Турка точно одеревенел и только отрицательно качал головой. В промысловом отпетом населении еще сохранился какой-то органический страх ко всякой форменной пуговице: это было тяжелое наследство, оставленное еще «казенным временем».

— Нет, с тобой, видно, не сговоришь! — решил огорченный Кишкин.

— Ты уж лучше с Петром Васильичем поговори! Он у нас грамотный. А мы — темные люди, каждого пня боимся...

Из кабака Кишкин отправился к Петру Васильичу, который сегодня случился дома. Это был испитой мужик, кривой на один глаз. На сходках он был первый крикун. В Фотьянке у него был лучший дом, единственный новый дом и даже с новыми воротами. Он принял гостя честь-честью и все поглядывал на него своим уцелевшим оком. Когда Кишкин объяснил, что ему было нужно, Петр Васильич сразу смекнул, в чем дело.

— Да сделай милость, хоша сейчас к следователю! — повторял он с азартом. — Все покажу, как было дело... И все другие покажут. Я ведь смекаю, для чего тебе это надобно... Ох, смекаю!..

— А смекаешь, так молчи. Наболело у меня... ох, как наболело!..

— Сердце хочешь сорвать, Андрон Евстратыч?

— А уж это, как бог пошлет: либо сена клок, либо вилы в бок.

Петр Васильевич выдержал характер до конца и особенно не расспрашивал Кишкина: его воз — его и песенки. Чтобы задобрить политичного мужика, Кишкин рассказал ему новость относительно Кедровской дачи. Это известие заставило Петра Васильевича перекреститься.

— Неужто правда, андел ты мой? А? Ах, бож-же мой... да, кажется, только бы вот дыхануть одинова дали, а то ведь эта наша канпания — могила. Заживо все помираем... Ах, друг ты мой, какое ты словечко выговорил! Сам, говоришь, и гумагу читал? Правильная совсем гумага? С орлом?..

— Да уж правильнее не бывает...

— И што только будет? В том роде, как огроматный пожар... Верно тебе говорю... Изморился народ под канпанией-то, а тут на, работай, где хошь.

— Только смотри: секрет.

— Да я... как гвоздь в стену заколотил: вот я какой человек. А што касаемо казенных работ, Андрон Евстратыч, так будь без сумления: хоша к самому министру веди, — все как на ладонке покажем. Уж это верно... У меня двух слов не бывает. И других сговорю... Кажется, глупый народ, всего боится и своей пользы не понимает, а я всех подобью: и Лужоного, и Лучка, и Турку. Ах, какое ты слово сказал... Вот наш-то змей Родивон узнает, то-то на стену полезет.

— Да уж он знает! Я к нему заходил по пути...

— Ну, што он? Поди, из лица весь выступил? А? Ведь ему это без смерти смерть. Как другая цепная собака: ни во двор, ни со двора не пущает. Не поглянулось ему? А?.. Еще сродни мне приходится по мамыньке, — ну, да мне-то это все едино. Это уж мамынькино дело: она с ним дружит. Ха-ха... Ах, андел ты мой, Андрон Евстратыч! Пряменько тебе скажу: вдругорядь нашу Фотьянку с праздником делаешь, — впервой, когда россыпь открыл, а теперь — словечком своим озолотил.

Они расстались большими друзьями. Петр Васильич выскочил провожать дорогого гостя на улицу и

долго стоял за воротами, — стоял и крестился, охваченный радостным чувством. Что же, в самом-то деле, достаточно всякого горя та же Фотьянка напринималась: пора и отдохнуть. Одна казенная работа чего стоит, а тут компания насела и всем дух заперла. Подшибся народ вконец...

В свою очередь Кишкин возвращался домой тоже радостный и счастливый, хотя переживал совершенно другой порядок чувств.

III

Течением реки Балчуговки завод Балчуговский делился на две неравные половины, — правая Нагорная и левая Низменная — Низы. Название завода сохранилось здесь от стародавних времен, когда в Нагорной стоял казенный винокуренный завод, на котором все работы производились каторжными. Впоследствии, когда открылось золото, Балчуговка была запружена, а при запруде поставлена так называемая золотопромывальная мельница, в течение времени превратившаяся в фабрику. Другая золотопромывальная мельница была устроена в Фотьянке — место поселения отбывших каторжные работы. Самое селение поэтому долгое время было известно под именем Фотьянской мельницы.

Нагорная сторона Балчуговского завода служила настоящим каторжным гнездом и всегда сторонилась Низов, где с открытием золота были посажены три рекрутских набора. Промысловые работы, как и каторжное винокурение, велись военной рукой, с выслугой лет, палочьем и солдатской муштрой. Тогда все горное ведомство было поставлено на военную ногу. Поселившиеся в Нагорной каторжане, согнанные сюда со всех концов крепостной России, долго чуждались «некрутов», набранных из трех уральских губерний. Эта рознь сохранилась главным образом в кличках: нагорные «варнаки», а низовые «строгали» и «швали». От прежних времен на месте бывшей каторги остались еще «пьяный двор», где был завод, развалины каменного острога, «пьяная контора» и каменная церковь,

выстроенная каторжными во вкусе Растрелли. Нагорные особенно гордились этой церковью, так как на Низах своей не было, и швали должны были ходить молиться в Нагорную. Населения в Балчуговском заводе считалось за десять тысяч.

Зыковский дом стоял недалеко от церкви. Это была большая деревянная изба с высоким коньком, тремя небольшими оконцами, до которых от земли не достанешь рукой, и старинными шатровыми воротами с вычурной резьбой. Ставилась эта изба на расейскую руку, потому что и сам старик Зыков был расейский выходец. Когда и за что попал он на каторгу — никто не знал, а сам старик не любил разговаривать о прошлом, как и другие старики каторжане. Да и всего-то их оставалось в Балчуговском заводе человек двадцать, да на Фотьянке около того же. Гораздо живучее оказывались женщины каторжанки, которых насчитывалось в Нагорной до полусотни, — все это были, конечно, уже старухи и все до одной семейные женщины. Мужчинам каторга давалась тяжелее, да и попадали они в нее редко молодыми, — а бабы главным образом были молодые. Первая жена Зыкова тоже была каторжанка. Она умерла рано, оставив после себя одного сына Якова, которому сейчас было уже под шестьдесят. Свою избу Зыков ставил при первой жене, которую вспоминал с особенным уважением.

Вторая жена была взята в своей же Нагорной стороне; она была уже дочерью каторжанки. Зыков лет на двадцать был старше ее, но она сейчас уже выглядела развалиной, а он все еще был молодцом. Старик почему-то недолюбливал этой второй жены и при каждом удобном случае вспоминал про первую: «Это еще при Марфе Тимофеевне было», или: «Покойница Марфа Тимофеевна была большая охотница до заказных блинов». В первое время вторая жена, Устинья Марковна, очень обижалась этими воспоминаниями и раз отрезала мужу:

— А не сказывала тебе твоя-то Марфа Тимофеевна, как из острога ее водили в пьяную контору к смотрителю Антону Лазаричу?

Зыков весь побелел, затрясся и чуть не убил жену, — да и убил бы, если бы не помешали. Этого он никогда не мог простить Устинье Марковне и обращался с ней довольно сурово. Отношения с жениной родней тоже были довольно натянуты, и Зыков делал исключение только для одной тещи, в которой, кажется, уважал подругу своей жены по каторге. Дома старик бывал редко, как мы уже говорили. Он выходил домой в субботу вечером, когда шабашили все работы и когда нужно было идти в баню. Он ночевал в воскресенье дома, а затем в воскресенье же вечером уходил на свой пост, потому что утро понедельника для него было самым боевым временем: нужно было все работы пускать в ход на целую неделю, а рабочие не все выходили, справляя «узенькое воскресенье», как на промыслах называли понедельник.

Вечер субботы в зыковском доме всегда был временем самого тяжелого ожидания. Вся семья подтягивалась, а семья была не маленькая: сын Яков с женой и детьми, две незамужних дочери и зять, взятый в дом. Сам старик жил в передней избе, обставленной с известным комфортом: на полу — домотканные половики из ветоши, стены оклеены дешевенькими обоями, русская печь завешена ситцевой занавеской, у одной стены своей, балчуговской, работы березовый диван и такие же стулья, а на стене лубочные картины. В уголке стоял таинственный деревянный шкаф, всегда запертый на замок. В нем, по глубокому убеждению всей семьи и всех соседей, заключались несметные сокровища, потому что Родион Потапыч «ходил в штейгерах близко сорок лет», а другие наживали на таких местах состояние в два-три года.

Собственно, ответственными лицами в семье являлись Устинья Марковна и старший сын Яков. Еще поднимаясь по лесенке на крыльцо, Зыков обыкновенно спрашивал:

— А где малый?

Яков Родионыч под этой кличкой успел поседеть, облысеть и нажить внучат. Весь завод называл его Яшей Малым. Это был безобидный человек и вместе упрямый, как резина. Жена у него давно умерла,

оставив девочку Наташу и мальчика Петю. У себя дома Яша Малый не мог распорядиться даже собственными детьми, потому что все зависело от дедушки, а дедушка относился к сыну с большим подозрением, как и к Устинье Марковне. Из всей семьи Родион Потапыч любил только младшую дочь Федосью, которой уже было под двадцать, что по-балчуговски считалось уже девичьей старостью: как стукнет двадцать годков, так и перестарок. С первой дочерью Марьей, которая была на пять лет старше Федосьи, так и случилось: до двадцати лет все женихи сватались, а Родион Потапыч все разбирал женихов, — этот нехорош, другой нехорош, а третий и совсем плох. Сама Марья уже записала себя в незамужницы.

Была еще одна дочь, самая старшая, Татьяна, которая в счет не клалась, потому что ушла замуж убегом за строгаля в Низах, по фамилии Мыльникова. Это был настоящий mésalliance[1], навсегда выкинувший непокорную дочь из родной семьи. Вот уже прошло целых двадцать лет, а Родион Потапыч еще ни разу не вспомнил про нее, да и никто в доме не смел при нем слова пикнуть про Татьяну. Болело за непокорную дочь только материнское сердце. Устинья Марковна под строжайшим секретом от мужа раза два в год навещала Татьяну, хотя это и самой ей было в тягость, потому что плохо жилось непокорной дочери, — муж попался «карахтерный», под пьяную руку совсем буян, да и зашибал он водкой все чаще и чаще. У Татьяны почти каждый год рождался ребенок, но, на ее счастье, дети больше умирали, и в живых оставалось всего шесть человек, причем дочь старшая, Окся, заневестилась давно. Выпивши, Мыльников не упускал случая потравить «дорогого тестюшку» и систематически устраивал скандалы Родиону Потапычу раз десять в год. Взятый в дом зять Прокопий был смирный и работящий мужик, который умел оставаться в тестевом доме совершенно незаметным. Его связывала быстро прибывавшая семья, — детей было уже трое. Работал Прокопий на золотопромывальной

---

[1] неравный брак, *(франц.)*

фабрике в доводчиках и получал всего двенадцать рублей. Родион Потапыч почему-то делал такой вид, что совсем не замечает этого покорного зятя, а тот в свою очередь всячески старался не попадаться старику на глаза. Собственно, вся семья Родиона Потапыча жалась в одной задней избе, походившей на муравьище. Преобладание женского элемента придавало семье особенный характер: сестры вечно вздорили между собой, а Устинья Марковна вечно их мирила, плакалась на свою несчастную судьбу и в крайних случаях грозилась, что пожалуется «самому». До последнего, положим, дело не доходило, но эта угроза производила желанное действие. Главным несчастьем всей своей жизни Устинья Марковна считала то, что у нее родились все девки и ни одного сына. Этим она объясняла и нелюбовь мужа. Вон «варначка» Марфа Тимофеевна родила всего одного, да и тот сын...

В последнюю неделю в зыковской семье случилось такое событие, которое сделало субботу роковым днем. Дело в том, что любимая дочь Федосья бежала из дома, как это сделала в свое время Татьяна, — с той разницей, что Татьяна венчалась, а Федосья ушла в раскольничью семью сводом. Верстах в шести от Балчуговского завода разлилось довольно большое озеро Тайбола, а на нем осело раскольничье селение, одноименное с озером. По соседству балчуговцы и тайболовцы хотя и дружили, но в более близкие отношения не вступали, а число браков было наперечет. Замечательной особенностью тайболовцев было еще и то, что, живя в золотоносной полосе, они совсем не «занимались золотом». С последним для раскольников органически связывалось понятие о каторге, «некрутчине» и вообще неволе.

Федосья убежала в зажиточную сравнительно семью; но, кроме самовольства, здесь было еще уклонение в раскол, потому что брак был сводный. Все это так поразило Устинью Марковну, что она, вместо того чтобы дать сейчас же знать мужу на Фотьянку, задумала вернуть Федосью домашними средствами, чтобы не делать лишней огласки и чтобы не огорчить старика вконец. Устинья Марковна сама отправилась в

Тайболу, но ее даже не допустили к дочери, несмотря ни на ее слезы, ни на угрозы.

Это обстоятельство точно оглушило Устинью Марковну. Она ходила по дому и повторяла:

— Вот ужо воротится отец с промыслов и голову снимет!.. Разразит он всех... Ох, смертынька пришла!..

Да и все остальные растерялись. Дело выходило самое скверное, главное потому, что во-время не оповестили старика. А суббота быстро близилась... В пятницу был собран экстренный семейный совет. Зять Прокопий даже не вышел на работу по этому случаю.

— Што уж, матушка, убиваться-то без пути, — утешала замужняя дочь Анна. — Наше с тобой дело бабье. Много ли с бабы возьмешь? А пусть мужики отвечают...

— Ишь выискалась?! — ругался Яша. — Бабы должны за девками глядеть, штобы все сохранно было... Так ведь, Прокопий?

Прокопий, по обыкновению, больше отмалчивался. У него всегда выходило как-то так, что и да и нет. Это поведение взорвало Яшу. Что, в самом-то деле, за все про все отдувайся он один, а сами чуть что — и в кусты. Он напал на зятя с особенной энергией.

— Вот вы все такие, зятья! — ругался Яша. — Вам хоть трава не расти в дому, лишь бы самих не трогали...

— Я, что же я?.. — удивлялся Прокопий. — Мое дело самое маленькое в дому: пока держит Родион Потапыч, и спасибо. Ты — сын, Яков Родионыч: тебе много поближее... Конешно, не всякий подступится к Родиону Потапычу, ежели он в сердцах...

Это была хитрая уловка со стороны тишайшего зятя, знавшего самое слабое место Яши. Он, конечно, сейчас же вскипел, обругал всех и довольно откровенно заявил:

— Дураки вы все, вот што!.. Небойсь прижали хвосты, а я вот нисколько не боюсь родителя... На волос не боюсь и все приму на себя. И Федосьино дело тоже надо рассудить: один жених не жених, другой жених не жених, — ну, и не стерпела девка. По-человечеству надо рассудить... Вон Марья из-за родителя

в перестарки попала, а Феня это и обмозговала: живой человек о живом и думает. Так прямо и объясню родителю... Мне што, я его вот на эстолько не боюсь!..

— Ты бы сперва съездил еще в Тайболу-то, — нерешительно советовала Устинья Марковна. — Может, и уговоришь... Не чужая тебе Феня-то: родная сестра по отцу-то.

— И в Тайболу съезжу! — горячился Яша, размахивая руками. — Я этих кержаков в бараний рог согну... «Отдавайте Федосью назад!» Вот и весь сказ... У меня, брат, не отвертишься.

Напустив на себя храбрости, Яша к вечеру заметно остыл и только почесывал затылок. Он сходил в кабак, потолкался на народе и пришел домой только к ужину. Храбрости оставалось совсем немного, так что и ночь Яша спал очень скверно и проснулся чуть свет. Устинья Марковна поднималась в доме раньше всех и видела, как Яша начинает трусить. Роковой день наступал. Она ничего не говорила, а только тяжело вздыхала. Напившись чаю, Яша объявил:

— Ну, мамушка, Устинья Марковна, благословляй... Сейчас еду в Тайболу выручать Феню.

— Дай тебе бог, Яша... Смотри, отец выворотится сейчас после свистка.

В критических случаях Яша принимал самый торжественный вид, а сейчас трудность миссии сопряжена была с вопросом о собственной безопасности. Ввиду всего этого Яша заседлал лошадь и отправился на подвиг верхом. Устинья Марковна выскочила за ворота и благословила его вслед.

Дорога в Тайболу проходила Низами, так что Яше пришлось ехать мимо избушки Мыльникова, стоявшей на тракту, как называли дорогу в город. Было еще раннее утро, но Мыльников стоял за воротами и смотрел, как ехал Яша. Это был среднего роста мужик с растрепанными волосами, клочковатой рыжей бороденкой и какими-то «ядовитыми» глазами. Яша не любил встречаться с зятем, который, обыкновенно, поднимал его на смех, но теперь неловко было проехать мимо.

— Куда такую рань наклался, дорогой деверек? — спрашивал Мыльников, здороваясь.

В окне проваленной избушки мелькнуло испитое лицо Татьяны, а затем показались ребячьи головы.

— Да так... в город по делу надо съездить, — соврал Яша и так неловко, что сам смутился.

— Ну, ну, не ври, коли не умеешь! — оборвал его Мыльников. — Небойсь в гости к богоданному зятю поехал?.. Ха-ха... Эх, вы, раздуй вас горой: завели зятя. Только родню срамите... А што, дорогой тестюшка каково прыгает?..

— И не говори! беда... Объявить не знаем как, а сегодня выйдет домой к вечеру. Мамушка уж ездила в Тайболу, да ни с чем выворотилась, а теперь меня заслала... Может, и оборочу Феню.

— Хо-хо!.. Нашел дураков... Девка мак, так ее кержаки и отпустили. Да и тебе не обмозговать этого самого дела... да. Вон у меня дерево стоеростовое растет, Окся; с руками бы и ногами отдал куда-нибудь на мясо, — да никто не берет. А вы плачете, што Феня своим умом устроилась...

— Да это бог бы с ней, што убегом, Тарас Матвеич, а вот вера-то ихняя стариковская.

Мыльников подумал, почесал в затылке и проговорил:

— А это ты правильно, Яша... Ни баба, ни девка, ни солдатка наша Феня... Ах, раздуй их горой, кержаков!.. Да ты вот што, Яша, подвинься немного в седле...

Не дожидаясь приглашения, Мыльников сам отодвинул Яшу вместе с седлом к гриве, подскочил, навалился животом на лошадиный круп, а затем уселся за Яшей.

— Да ты куда это? — изумлялся Яша.

— Как куда? Поедем в Тайболу... Тебе одному не управиться, а уж я, брат, из горла добуду. Эй, Окся, волоки мне картуз...

На этот крик показалась среднего роста девка с рябым скуластым лицом. Это и была Окся. Она как-то исподлобья посмотрела на Яшу и подала картуз.

— Ну ты, дерево, смотри у меня! — пригрозил ей отец. — Штобы к вечеру работа была кончена...

Окся только широко улыбнулась, показав два ряда белых зубов. Чадолюбивый родитель, отъехав шагов двадцать, оглянулся, погрозил Оксе кулаком и проговорил:

— Уродится же этакое дерево... а?..

IV

До Тайболы считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от «казенной каторги», как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали «без утыху», а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе, и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая побалагурить.

— Ну, Яшенька, и зададим мы кержакам горячего до слез!.. — хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. — Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим... Уважим в лучшем виде! Хорошо, што ты на меня натакался, Яша, а то одному-то тебе где бы сладить... Э-э, мотри: ведь это наш Шишка пехтурой в город копотит! Он...

Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже в виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал ехавших верхом родственников.

— Андрону Евстратычу! — крикнул Мыльников еще издали, взмахивая своим картузом. — Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тестевых лошадях покатывается...

— Али на свадьбу собрались? — пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени.

— Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстратыч, — пожаловался Яша, качая головой. — Родитель

сегодня к вечеру выворотится с Фотьянки и всех нас распатронит...

— Бог не без милости, Яша, — утешал Кишкин. — Уж такое их девичье положенье: сколь девку ни корми, а все чужая... Вот што, други, надо мне с вами переговорить по тайности: большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну.

— Милости просим, Андрон Евстратыч... Ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?..

— А ты пасть-то свою раствори, Тарас! — огрызнулся Кишкин. — О Пронькиной вышке своя речь... Ах, бо̀тало коровье!.. С тобой пива не сваришь...

— Только припасай денег, Андрон Евстратыч, а уж я тебе богачество предоставлю! — хвастался Мыльников. — Я в третьем году шишковал в Кедровской, так завернул на Пронькину-то вышку... И местечко только.

У самого въезда в Тайболу, на левой стороне дороги, зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась: тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На росстани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед:

— Шишка и есть: ни конца, ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый!.. Туда же, золота захотел!.. Ха-ха... Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко... ох, какое местечко, Яша!.. Гляди-ка, ведь это кабатчик Ермошка на своем виноходце закопачивает? Он... Ловко. В город погнал с краденым золотом...

Раскольничье «жило» начиналось сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам Кожиным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояла и скорняжная — каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничьей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями: здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в тридцатых годах

нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и Тайбольцы ничего лучшего не могли и представить.

— Подворачивай! — крикнул Мыльников, когда они поровнялись с кожинской избой. — Дорогие гости приехали.

Ворота у Кожиных всегда были, по раскольничьему обычаю, на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо.

— Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы по следу и приехали к тебе, баушка Маремьяна, — заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно.

— Заходите, гости будете, — пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной щеколде. — Коли с добром, так милости просим...

Двор был крыт наглухо, и здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маремьяна его оговорила:

— У себя дома молись, родимый, а наши образа оставь... Садитесь, гостеньки дорогие.

Изба была оклеена обоями на городскую руку; на полу везде половики; русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленьким теплым коридорчиком.

— Ну, начинай, чего молчишь, как пень? — подталкивал Яшу Мыльников. — За делом приехали...

Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху.

— Нам бы сестрицу Федосью Родивоновну повидать... — проговорил, наконец, Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот.

— Не чужие будем, баушка Маремьяна, — вставил Мыльников.

— А на какую причину она вам понадобилась? — ответила старуха.

Старуха была одета по-старинному, в кубовый косоклинный сарафан и в белую холщовую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову.

— Мы с добром приехали, баушка Маремьяна, — отвечал Мыльников, размахивая рукой. — Одним словом, сродственники... Не съедим сестрицу Федосью Родивоновну.

— Ладно, коли с добром, — согласилась старуха и вышла в маленькую дверку.

— Медведица... — проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. — Погоди, вот я разговорюсь с ней по-настоящему... Такого холоду напущу, что не обрадуется.

Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачного платка, повязанного по-бабьи. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опушенными такими длинными ресницами.

— Здравствуйте, братец Яков Родивоныч, — покорным тоном проговорила она, кланяясь. — И вы, Тарас Матвеич, здравствуйте...

— Вот што, Феня, — заговорил Яша, — сегодня родитель с Фотьянки выворотится, и всем нам из-за тебя без смерти смерть... Вот какая оказия, сестрица любезная. Мамушка слезьми изошла... Наказала кланяться.

— Крутенек тестюшка-то Родивон Потапыч, — прибавил Мыльников. — Таку резолюцию наведет...

— Что же я, братец Яков Родивоныч... — прошептала Феня со слезами на глазах. — Один мой грех и тот на виду, а там уж как батюшка рассудит... Муж за меня ответит, Акинфий Назарыч. Жаль мне матушку до смерти...

Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверкой слышалось осторожное шушуканье, а потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки навыпуск.

— Вот что, господа, — заговорил он, прикрывая жену собой, — не женское дело разговоры разговаривать... У Федосьи Родионовны есть муж, он и в от-

вете. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу... Мы от ответа не прячемся... Наш грех...

— Вот ты поговори с ним, с тестем-то, малиновая голова! — заметил Мыльников и засмеялся. — Он тебе покажет...

— И поговорим и даже очень поговорим, — уверенно ответил Акинфий Назарыч. — Не первая Федосья Родионовна и не последняя.

— Да про убег нет слова, Акинфий Назарыч, — вступился Яша, — дело житейское... А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька.

— Что же вера? Все одному богу молимся, все грешны, да божьи... И опять не первая Федосья Родионовна по древнему благочестию вдалась: у Мятелевых жена православная в городу взята, у Никоновых ваша же балчуговская... Да мало ли!.. А между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде... Мамынька, Феня, обряжайте закусочку да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше бесчестья завсегда... Так ведь, Тарас?

— Ах, и хитер ты, Акинфий Назарыч! — блаженно изумлялся Мыльников. — В самое то есть живое место попал... Семь бед — один ответ. Когда я Татьяну свою уволок у Родивона Потапыча, было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь... Не тронь!..

Закуска и выпивка явились как по щучьему веленью: и водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики.

— Господа, пожалуйте! — приглашал Акинфий Назарыч. — Сухая ложка рот дерет... Вкусим по единой, аще же не претит, то и по другой.

Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку, точно он продавал себя. Эх, и достанется же от родителя... Ну, да все равно: семь бед — один ответ... И Фени жаль и родительской грозы не избежать. Зато Мыльников торжествовал, попав на даровое угощение... Любил он выпить в хорошей компании...

— А где баушка Маремьяна? — пристал он. — Хочу беспременно с ей выпить, потому люблю... Феня, тащи баушку!..

Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже «пригубила» какой-то настойки.

— Как же теперь нам быть? — спрашивал Яша после третьей рюмки. — Без ножа зарезала нас Феня...

— Чему быть, того не миновать! — весело ответил Акинфий Назарыч. — Ну, пошумит старик, покажет пыль — и весь тут... Не всякое лыко в строку. Мало ли наши кержанки за православных убегом идут? Тут, брат, силой ничего не поделаешь. Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами...

— Оно конечно, — соглашался пьяневший Яша. — Я ведь тоже с родителем на перекосых... Очень уж он компании нашей подвержен, а я наоборот: до старости у родителя в недоносках состою... Тоже в другой раз и обидно.

— А ты выдела требуй, Яша, — советовал Мыльников. — Слава богу, своим умом пора жить... Я бы так давно наплевал: сам большой — сам маленький, и знать ничего не хочу. Вот каков Тарас Мыльников!

— Перестань молоть! — оговаривала его старая Маремьяна. — Не везде в задор да волчьим зубом, а мирком да ладком, пожалуй, лучше... Так ведь я говорю, сват — большая родня?

— Какой я сват, баушка Маремьяна, когда Родивон Потапыч считает меня в том роде, как троюродное наплевать. А мне бог с ним... Я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда... Ну, Яша, которую не жаль, та и наша.

С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слипаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо.

— Что же, ну пусть родитель выворачивается с Фотьянки... — рассуждал он, делая соответствующий жест. — Ну, выворотится, я ему напрямки и отрежу: так и так, был у Кожиных, видел сестрицу Федосью Родивоновну и всякое протчее... А там хоть на части режь...

— Он за баб примется, — говорил Мыльников, удушливо хихикая. — И достанется бабам... ах, как достанется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу

Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть... Вот это какое дело, Яша!

Когда гости нагрузились в достаточной мере, баушка Маремьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили — надо и честь знать, да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил:

— Уж я все устрою, шурин... Все!.. У меня, брат, Родивон Потапыч не отвертится... Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, соблаговоли мне как-нибудь выросточек: у тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует...

— Хорошо, хорошо... — соглашался «молодой». — Две кожи подарю. Сам привезу.

Гостей едва выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька?.. А эти пьянчуги только ее срамят... И зачем приезжали, подумаешь: у обоих умок-то ребячий.

— Перестань убиваться-то, — ласково уговаривал жену Акинфий Назарыч. — Москва слезам не верит... Хорошая-то родня по хорошим, а наше уж такое с тобой счастье.

Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении и, миновав могильник, затянули даже песню:

Как сибирский енерал
Да станового обучал...

На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Ераков. Оба были немного навеселе.

— Ох, два голубя, два сизых! — крикнул Ермошка, поровнявшись с верховыми. — Откедова бог несет?.. Подмокли малым делом...

— А тебе завидно? — огрызнулся Мыльников. — Кабацкая затычка и больше ничего.

Ермошка любил, когда его ругали, а чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселых родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя: хмель сразу вышибло. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок...

— Который теперь час? — спрашивал он.

— А скоро, видно, три... Гляди, уж господа теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне, а от меня... Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то?

— А ну его... Побьет еще, пожалуй.

— Н-но-о?..

— Верно тебе говорю.

Яшей овладело опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту отцу какой-то панический страх... А вот и Балчуговский завод и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса.

— Гли-ко, гли, Яша! — крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. — У моих-то ворот кто сидит?

— И то как будто сидит.

— Да ведь это Шишка... Верное слово! Ах, раздуй его горой...

У ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками, а развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала.

— Ох-хо-хо! — заливался рара̀ Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. — Вот так Окся: уважила Андрона Евстратыча... Ишь разыгралась к ненастью! Ах курва, Окся, ловко она саданула...

V

Ожидание возвращения с Фотьянки «самого» в зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык немеет и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть... «Вековушка» Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков — на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться, значит близко шести часов, а в семь свисток на фабрике, а к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей Фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать.

— Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел, — вслух думала старушка, начинавшая сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки.

Вот загудел и свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие, — все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел.

— Нету ведь Яши-то, — шепотом сообщила ему Устинья Марковна. — С самого утра уехал... Што ему делать-то в Тайболе столько время?.. Думаю, не завернул ли Яша в кабак к Ермошке...

Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы.

— Ты куда, Прокопий? — окликнула его в ужасе Устинья Марковна.

— Я пойду Яшу искать, — ответил он, глядя в угол. — Куды мы без него? Некуда ему деться, окромя кабака.

И теща и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу, но ничего не сказали: что же, известное дело, зять... Всякому до себя.

— А што же в баню-то сегодня не пойдешь, што ли? — окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Марья.

— Успеется и баня, — ответил Прокопий. — Пусть батюшка первым идет...

«Банный день» справлялся у Зыковых по старине: прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром, за стариками шел Яша с женой, а после всех остальная чадь, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж «первый пар» был уступлен зятю, а потом шли старики. Убегавший теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием и проворчала:

— Тоже, мужик называется... Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?..

— Молчи, Марья! — окликнула ее мать. — Ты бы вот завела своего мужика, да и мудрила над ним... Не больно-то много ноне с зятя возьмешь, а наш Прокопий воды не замутит.

— У тебя нет лучше Прокопья, — ворчала Марья.

— Ты у меня поворчи! — крикнула мать. — Зубы-то долги стали...

За убегом Фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было.

Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом: спасенья не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, а на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать: кто же пойдет в банный день по чужим дворам. На всякий случай затеплила она лампадку пред скорбящей и положила перед образом три земных поклона.

Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутний из Фотьянки.

— А где Феня? — спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо.

— В соседи увернулась, — ответила Устинья Марковна, ни живая, ни мертвая от страху.

— Не нашла время...

Старик вошел в избу, снял с себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился.

— Это на какую причину лампадка теплится? — спросил он.

— А воскресенье завтра, Родивон Потапыч... Банька готова, хоть сейчас можно идти.

— А Прокопий когда успел в баню сходить?

— Да он потом, Родивон Потапыч, он тоже увернулся по делу.

— Порядков не знаете?! — крикнул старик и топнул ногой. — Ты у меня смотри, потатчица...

Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху, потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня:

Как сибирский енерал
Да ста-анового о-обучал!..

Устинья Марковна так и обомлела: она сразу узнала голос пьяного Яши... Не успела она опомниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грузный топот шарашавшихся ног на крыльце.

— Батюшки, да никак и Тарас с ним! — охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц.

Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки.

— Родителю... многая лета... — бормотал Мыльников, как-то сдирая шапку с головы. — А мы вот с Яшей, значит, тово... Да ты говори, Яша?..

Родион Потапыч точно онемел: он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные

как стельки и лезут с мокрым рылом прямо в избу... Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки.

— Так мы, значит, из Тайболы... — объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. — От Федосьи Родивоновны поклончик привезли.

— От какой Федосьи Родивоновны? — повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. — Да вы сбесились, оглашенные?.. Да я...

— А ты не больно, родитель, тово... — неожиданно заявил насмелившийся Яша. — Не наша причина с Тарасом, ежели Феня тово... убежала, значит, в Тайболу. Мы ее как домой тащили, а она свое... Одним словом, дура.

Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитывая:

— Уж и што мы наделали!.. Феня-то сбежала в Тайболу... за кержака, за Акиньку Кожина... Третий день пошел...

Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаньями ухватилась за ногу, но он грубо оттолкнул ее.

— Да вы... вы одурели тут все без меня? — хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. — Да я вас... Яшка, вон!.. Штобы и духу твоего не осталось!

— А ты не больно, родитель, тово... — дерзко ответил Яша.

— Што-о?!.

— А вот это самое... Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно... Пора мне и своим умом жить... Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку, ну обзаведение, а там я сам...

— Правильно, Яша!.. — поощрял Мыльников. — У меня в суседях место продается, первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю...

Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь...

— Да ты не больно!.. — кричал Мыльников уже в сенях. — Ишь какой выискался... Мы тоже и сами с усами!.. Айда, Яша, со мной...

В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла.

— Тятя, родимый!.. Я боюсь!.. Тятя!..

— Ну, вот... — проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. — Ну што я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая...

— Тятенька, миленький...

Яша сразу обессилел: он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу?.. Пока большие бабы судили да рядили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смирненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги.

— Наташка, перестань... брось... — уговаривал ее Мыльников. — Не смущай свово родителя... Вишь, как он сразу укоротился. Яша, што же это ты в самом-то деле?.. По первому разу и испугался родителей...

— И ты тоже хорош, — корил Яша своего сообщника. — Только языком здря болтаешь... Ступай-ка вот, поговори с тестем-то.

Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел попрежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение.

— Ты... ты зачем? — грозно спрашивал его старик.

— А дело есть, Родион Потапыч... Ты вот Тараса Мыльникова в шею, а Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом.

— Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка...

— И не маленькое дельце, Родивон Потапыч, только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как быдто выдет из избы. Женскому полу это не следствует и понимать...

Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благословляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя.

— Дело-то самое короткое, Родивон Потапыч... Шишка-то был у тебя на Фотьянке?

— Ну, был...

— Опрашивал он тебя касаемо допрежних времен и казенной работы?

— Пустой он человек. Болтал разное...

— Ну, так слушай... Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал...

— Да не болтай глупостев, шалая голова!.. Не люблю...

— Донос Шишка пишет, вот што! — точно выстрелил Тарас. — О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал... Значит, как я в те поры на Фотьянке в шорниках состоял, ну, так он и меня записал. Анжинеров Шишка хочет под суд упечь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил, и фотьянских штегеров, и балчуговских, всех в один узел хочет завязать. Вот он каков человек есть, значит, Шишка. Прямо так и говорит: «Всех в Сибирь упеку».

— Не пойму я тебя, Тарас, — сурово проговорил старик. — А ты садись, да и рассказывай толком...

Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку: как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избушки.

— Сперва-то он издалека речь завел, — рассказывал Мыльников. — Насчет Кедровской казенной дачи, што она выходит на волю и што всякий там может работать... Известно, соблазнял, а потом и подсыпался: «Ты, Тарас Матвеич, ходил в шорниках на Фотьянке? Можешь себя обозначить, ежели я в сви-

детели поставлю, как анжинеры золото воровали...» И пошел. Золото, грит, у старателей скупали по одному рублю двадцати копеек за золотник, а в казну его записывали по четыре да по пяти цалковых. И пошел и пошел... И нынешнюю, грит, канпанию заодно подведу, потому, грит, мне заодно пропадать. Вот он каков человек есть, Шишка этот. Самый зловредный выходит...

— Ну, а еще-то што?

— Да все тут... А ежели относительно сестрицы Федосьи Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне.

— Ну, это не твоего ума дело! Убирайся...

— Только и всего?

— Достаточно по твоему великому уму... И Шишка дурак, што с таким худым решетом, как ты, связывается!..

— Ну и дал бог родню!— ругался Мыльников, хлопая дверью.

Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку.

— Ты это што за модель выдумал... а?! — грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. — Кто в дому хозяин?.. Какие ты слова сейчас выражал отцу? С кем связался-то?.. Ну, чего березовым пнем уставился?

— Из твоей воли, тятенька, я не выхожу, — упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. — А желаю выдел получить...

— Какой тебе выдел, полоумная башка?.. Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами...

— А уж што бог даст... Получше нас с тобой, может, с сумой в другой раз ходят. А што касаемо выдела, так уж как волостные старички рассудят; так тому и быть.

Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца, хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван.

— Пора мне и свой угол завести, — продолжал Яша. — Вот по весне выйдет на волю Кедровская дача, так надо не упустить случая... Все кинутся туда, ну и мы сговорились.

— Што-о?..

— Сговорились, говорю. Своя у нас канпания: значит, зять Тарас Матвеич, я, Кишкин...

— Вот так канпания! — охнул Родион Потапыч. — Всех вас, дураков, на одно лыко связать да в воду... Ха-ха!..

Старик редко даже улыбался, а как он хохочет — Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно, так страшно, как еще никогда не было, а ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшаяся за печь Устинья Марковна торопливо крестилась: трехнулся старик...

— Так канпания? А? — спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. — Кедровская дача на волю выйдет? Богачами захотели сделаться... а?..

— Уж это кому какие бог счастки пошлет...

— Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, оболокайся...

Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо Устиньи Марковны.

— Как же насчет Фени-то?.. — шептала она побелевшими от страха губами. — Слезьми, слышь, изошла...

Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил:

— Будь она от меня проклята...

Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятия. В первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним.

— Родион Потапыч, опомнись!.. Родной...

Но он уже спускался по лесенке, а за ним покорно шел Яша.

VI

Родион Потапыч вышел на улицу и повернул вправо, к церкви. Яша покорно следовал за ним на приличном расстоянии. От церкви старик спустился под горку на плотину, под которой горбился деревянный корпус толчеи и промывальни. Сейчас за плотиной направо стоял ярко освещенный господский дом, к которому Родион Потапыч и повернул. Было уже поздно, часов девять вечера, но дело было неотложное, и старик смело вошел в настежь открытые ворота на широкий господский двор.

— Степан Романыч дома? — сурово спросил он стоявшего на крыльце лакея Ганьку.

— У них гости... — с лакейской дерзостью ответил Ганька и даже заслонил дверь своей лакейской особой. — К ним нельзя-с...

— Дурак! — обругал старик, отталкивая Ганьку. — А ты, Яшка, подождешь меня здесь...

Господский дом на Низах был построен еще в казенное время, по общему типу построек времен Аракчеева: с фронтоном, белыми колоннами, мезонином, галереей и подъездом во дворе. Кругом шли пристройки: кухня, людская, кучерская и т. д. Построек было много, а еще больше неудобств, хотя главный управляющий Балчуговских золотых промыслов Станислав Раймундович Карачунский и жил старым холостяком. Рабочие перекрестили его в Степана Романыча. Он служил на промыслах уже лет двенадцать и давно был своим человеком.

В большой передней всех гостей встречали охотничьи собаки, и Родион Потапыч каждый раз морщился, потому что питал какое-то органическое отвращение к псу вообще. На его счастье вышла смазливая горничная в кокетливом белом переднике и отогнала обнюхивавших гостя собак.

— У них гости... — шепотом заявила она, как и Ганька. — Анжинер Оников да лесничий Штамм...

Доносившийся из кабинета молодой хохот не говорил о серьезных занятиях, и Зыков велел доложить о себе.

— Сурьезное дело есть... Так и скажи, — наказывал он с обычной внушительностью. — Не задержу...

Горничная посмотрела на позднего гостя еще раз и, приподняв плечи, пошла в кабинет. Скоро послышались легкие и быстрые шаги самого хозяина. Это был высокий, бодрый и очень красивый старик, ходивший танцующим шагом, как ходят щеголи-поляки. Волнистые волосы снежной белизны были откинуты назад, а великолепная седая борода, закрывавшая всю грудь, эффектно выделялась на черном бархатном жакете. Карачунский был отчаянный франт, настоящий идол замужних женщин и необыкновенно веселый человек. Он всегда улыбался, всегда шутил и шутя прожил всю жизнь. Таких счастливцев остается немного.

— Ну что, дедушка? — весело проговорил Карачунский, хлопая Зыкова по плечу. — Шахту, видно, опустил?..

— С нами крестная сила! — охнул Родион Потапыч и даже перекрестился. — Уж только и скажешь словечко, Степан Романыч...

— Что же, этого нужно ждать: на Спасо-Колчеданской шахте красик пошел, значит, и вода близко... Помнишь, как Шишкаревскую шахту опустили? Ну и с этой то же будет...

— Может и будет, да говорить-то об этом не след, Степан Романыч, — нравоучительно заметил старик.— Не таковское это дело...

— А что?

— Да так... Не любит она, шахта, когда здря про нее начнут говорить. Уж я замечал... Вот когда приезжают посмотреть работы, да особливо который гость похвалит — нет того хуже.

— Сглазить шахту можно?.. — засмеялся Карачунский. — Ну, бог с ней...

Зыков переминался с ноги на ногу, косясь на стоявшую в зале горничную. Карачунский сделал ей знак уйти.

— Что, разве чай будем пить, дедушка? — весело проговорил он. — Что мы будем в передней-то стоять... Проходи.

— Ох, не до чаю мне, Степан Романыч...

Оглядевшись еще раз, старик проговорил упавшим голосом, в котором слышались слезы:

— К твоей милости пришел, Степан Романыч... Не откажи, будь отцом родным! На тебя вся надежа...

С последними словами он повалился в ноги. Неожиданность этого маневра заставила растеряться даже Карачунского.

— Дедушка, что ты... Дедушка, нехорошо!.. — бормотал он, стараясь поднять Родиона Потапыча на ноги. — Разве можно так?..

— Парня я к тебе привел, Степан Романыч... Совсем от рук отбился малый: сладу не стало. Так я того... Будь отцом родным...

— Какого парня, дедушка?

— Да Яшку моего беспутного...

— Ах, да... Ну, так что же я могу сделать?

— Окажи божецкую милость, Степан Романыч, прикажи его, варнака, на конюшне отодрать... Он на дворе ждет.

Карачунский даже отступился, стараясь припомнить, нет ли у Зыкова другого сына.

— Да ведь он уже седой, твой-то парень? Ему уж под шестьдесят?

— Вот то-то и горе, што седой, а дурит... Надо из него вышибить эту самую дурь. Прикажи отправить его на конюшню...

Зыков опять повалился в ноги, а Карачунский не мог удержаться и звонко расхохотался. Что же это такое? «Парнишке» шестьдесят лет, и вдруг его драть... На хохот из кабинета показались молодой горный инженер Оников, бесцветный молодой человек в форменной тужурке, и тощий носатый лесничий Штамм.

— Вот не угодно ли? — обратился к ним Карачунский, делая отчаянное усилие, чтобы не расхохотаться снова. — Парнишку хочет сечь, а парнишке шестьдесят лет... Нет, дедушка, это не годится. А позови его сюда, может быть, я вас помирю как-нибудь.

— Нет, уж это ты оставь, Степан Романыч: не стоит он, поганец, штобы в чистые комнаты его пущали. Одна гадость. Так нельзя, Степан Романыч?

— Я не имею права, да и никто другой тоже.

— Ну, все равно, я его в волости отдеру. Мочи не стало с ним, совсем от рук отбился.

Гости Карачунского из уважения к знаменитому «приисковому дедушке» только переглядывались, а хохотать не смели, хотя у Оникова уже морщился нос и вздрагивала верхняя губа, покрытая белобрысыми усами.

— Вот что, дедушка, снимай шубу да пойдем чай пить, — заговорил Карачунский. — Мне тоже необходимо с тобой поговорить.

Пить чай в господском доме для Родиона Потапыча составляло всегда настоящую муку, но отказаться он не смел и покорно снял шубу. Карачунский повел его прямо в столовую. Родион Потапыч ступал своими большими сапогами по налощенному полу с такой осторожностью, точно боялся что-то пролить. Столовая была обставлена с настоящим шиком: стены под дуб, дубовый массивный буфет с резными украшениями, дубовая мебель, поставец и т. д. Чай разливал сам хозяин. Зыков присел на кончик стула и весь вытянулся.

— Расскажи сначала, дедушка, что у тебя с сыном вышло, — заговорил Карачунский, стараясь смягчить давешний неуместный хохот. — Чем он тебя обидел?

— А за его качества... — сурово ответил Родион Потапыч, хмуря седые брови. — Вот за это за самое.

Налив чай на блюдечко, старик не торопясь рассказал про все подвиги Яши, как он приехал пьяный с Мыльниковым, как начал «зубить» и требовать выдела.

— А главная причина — донял он меня Кедровской дачей, — закончил Родион Потапыч свою повесть. — В старатели хочет идти с зятишкой да с Кишкиным.

— Кишкин? Это тот самый, который дело затевает?

— Вот я и хотел рассказать все по порядку, Степан Романыч, потому как Кишкин меня в свидетели хочет выставить... Забегал он ко мне как-то на

Фотьянку и все выпытывал про старое, а я догадался, што он неспроста, и ничего ему не сказал. Увертлив пес.

— А я только сегодня узнал, дедушка: и до глухого вести дошли. Вон Оников слышал на фабрике... Везде болтают про Кишкина.

— Пустой человек, — коротко решил Зыков. — Ничего из того не будет, да и дело прошло... Тоже и в живых немного уж осталось, кто после воли на казну робил. На Фотьянке найдутся двое-трое, да в Балчуговском десяток.

— А если тебя под присягой будут спрашивать?

— Ничего я не знаю, Степан Романыч... Вот хоша и сейчас взять: я и на шахтах, я и на Фотьянке, а конторское дело опричь меня делается. Работы были такие же и раньше, как сейчас. Все одно... А потом пугал еще меня Кишкин вольными работами в Кедровской даче. Обложат, грит, ваши промысла приисками, будут скупать ваше золото, а запишут в свои книги. Это-то он резонно говорит, Степан Романыч. Греха не оберешься.

— Ничего, все это пустяки... — отшучивался Карачунский. — Мелкие золотопромышленники будут скупать наше золото, а мы будем скупать ихнее. Набавим цену — и вся недолга.

— Было бы из чего набавлять, Степан Романыч, — строго заметил Зыков. — Им сколько угодно дай — все возьмут... Я только одному дивлюсь, што это вышнее начальство смотрит?.. Департаменты-то на что налажены? Все дача была казенная и вдруг будет вольная. Какой же это порядок?.. Изроют старатели всю Кедровскую дачу, как свиньи, растащат все золото, а потом и бросят все... Казенного добра жаль.

— Да ты что так о чужом добре плачешься, дедушка? — в шутливом тоне заговорил Карачунский, ласково хлопая Родиона Потапыча по плечу. — У казны еще много останется от нас с тобой...

Эта шутка задела Родиона Потапыча за живое, и он посмотрел с укоризной на веселого хозяина.

— Как же это так, Степан Романыч?.. — бормотал он. — Все мы от казны хлеб едим... Казна — всему

голова... Да ежели бы старое-то горное начальство поднялось из земли да посмотрело на нынешние порядки, — господи, что же это такое делается? Точно во сне... Да недалеко ходить, вот покойничек, родитель Александра Иваныча (старик указал глазами на Оникова), Иван Герасимыч, бывало, только еще выезжает вот из этого самого дома на работы, а уж на Фотьянке все знают... А как приехал — все в струнку, не дышат, а Иван Герасимыч орлом на всех, и пошла работа. По два воза розог перед работой привозили, а без того и работы не начинали... Вот какие настоящие-то начальники были, Степан Романыч! А инженер Телятников?.. Тот из собственных рук: ка-ак развернется, ка-ак ахнет по скуле... Любимая поговорка у Телятникова была: «Делай мое неладно, а свое ладно забудь!» Телятникова все до смерти боялись... Как-то раз один служащий, — повытчики еще тогда были, — повытчик Мокрушин, седой уж старик, до пенсии ему оставалось две недели, выпил грешным делом на именинах, да пьяненький и попадись Телятникову на глаза: «Зайди, говорит, дедушка, ко мне...» Это, значит, Телятников говорит. У Мокрушина, обыкновенно, душа в пятки. Приходит, Телятников и говорит: «Выбирай из любых — или я тебя сейчас со службы прогоню и пенсии ты лишишься, или выпорю». Ну, старик плакать, в ноги, на коленках ползет за Телятниковым. Другой бы и смиловался, а Телятников достиг своего и отодрал служащего... Только пенсии-то Мокрушин все-таки не получил: помер через три дня. Вот какие начальники были, Степан Романыч: отца родного для казны не пожалеют. Отцы были... Да ежели бы они узнали, что теперь замышляют с Кедровской дачей, — косточки бы ихние в могилках перевернулись.

Карачунский слушал и весело смеялся: его всегда забавлял этот фанатик казенного приискового дела. Старик весь был в прошлом, в том жестоком прошлом, когда казенное золото добывалось шпицрутенами. Оников молчал. Немец Штамм нарушил наступившую паузу хладнокровным замечанием:

— Будем посмотреть, дедушка...

— Што это я сижу-то, — спохватился Родион Потапыч. — Меня ведь парень-то ждет во дворе.

— Оставь, дедушка, — вступился Карачунский. — Мало ли что бывает: не всякое лыко в строку...

— Никак невозможно, Степан Романыч!.. Словечко бы мне с тобой еще надо сказать...

Карачунский проводил старика до передней, и там Родион Потапыч поведал свое домашнее горе относительно сбежавшей Фени.

— Это которая? — припоминал Карачунский. — Одна с серыми глазами была...

— Вот эта самая, Степан Романыч... Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял.

— Да, действительно неприятный случай... — тянул Карачунский, закусывая свою бороду.

— Что же я теперь должен делать?

— Гм... да... Что же, в самом деле, делать? — соображал Карачунский, быстро вскидывая глаза: эта романическая история его заинтриговала. — Собственно говоря, теперь уж ничего нельзя поделать... Когда Феня ушла?

— Да уж четвертые сутки... Вот я и хотел попросить тебя, Степан Романыч, яви ты божецкую милость, вороти девку... Парня ежели не хотел отодрать, ну, бог с тобой, а девку вороти. Служил я на промыслах верой и правдой шестьдесят лет, заслужил же хоть што-нибудь? Цепному псу и то косточку бросают...

— Ах, дедушка, как это ты не поймешь, что я ничего не могу сделать!.. — взмолился Карачунский. — Уж для тебя-то я все бы сделал.

— Парня я выдеру сам в волости, а вот девку-то выворотить... Главная причина — вера у Кожиных другая. Грех великий я на душу приму, ежели оставлю это дело так...

— Ну, хорошо, воротишь, а потом что? Снова девушкой от этого она ведь не сделается и будет ни девка, ни баба.

— У нас есть своя поговорка мужицкая, Степан Романыч: тем море не испоганилось, што пес нала-

кал... Сама виновата, ежели не умела правильной девицей прожить.

— Сколько ей лет?

— Да в спажинки девятнадцатый год пошел.

— Нельзя воротить: совершеннолетняя...

— Как же, значит, я, родной отец, и вдруг не могу? Совершеннолетняя-то она, двадцать одного будет... Нет, это не таковское дело, Степан Романыч, штобы потакать.

— Что же, пожалуй, я могу съездить в Тайболу, — предложил Карачунский, чтобы хоть чем-нибудь угодить старику. — Только едва ли будет успех... Или приглашу Кожина сюда. Я его знаю немного.

Зыков махнул рукой.

— Ежели бы жив был Иван Герасимыч, — со вздохом проговорил он, — да, кажется, из земли бы вырыли девку. Отошло, видно, времечко... Прости на глупом слове, Степан Романыч. Придется уж, видно, через волость.

— Ничего я не могу поделать! — уверял Карачунский.

Старик так и ушел, уверенный, что управляющий не хотел ничего сделать для него. Как же, главный управляющий всех Балчуговских промыслов и вдруг не может отодрать Яшку?.. Своего блудного сына Зыков нашел у подъезда. Яша присел на последнюю ступеньку лестницы, положив голову на руки, и спал самым невинным образом. Отец разбудил его пинком и строго проговорил:

— Вставай, варнак! Ужо, завтра я тебе в волости покажу, какая Кедровская дача бывает...

VII

Золотопромышленная компания «Генерал Мансветов и К°» имела громадную силу и совершенно исключительные полномочия. Кто такой этот генерал Мансветов, откуда он взялся, какими путями он вложился в такое громадное дело — едва ли знал и сам главный управляющий Карачунский. Это был генерал-

невидимка, хотя его именем и вершились миллионные дела. Самая компания возникла на развалинах упраздненных казенных работ, унаследовав от них всю организацию, штат служащих, рабочих и территорию в пятьдесят квадратных верст. Ограничивающим условием при передаче громадных промыслов в частные руки было только одно, именно, чтобы компания главным образом вела разработку жильного золота, покрывая неизбежные убытки в таком рискованном деле доходами с россыпного золота. Затем существовала какая-то подать в пользу казны с добытого пуда, но какая — этого тоже никто не знал, как и генерала Мансветова, никогда не бывавшего на своих промыслах.

Балчуговская дача была усыпана золотом и давала миллионные дивиденды. Пока разведано было меньше половины всего пространства, а остальное служило резервом. Всего удивительнее было то, что в эту дачу попали, кроме казенных земель, и крестьянские, как принадлежавшие жителям Тайболы. Но главная сила промыслов заключалась в том, что в них было заперто рабочее промысловое население с лишком в десять тысяч человек, именно сам Балчуговский завод и Фотьянка. Рабочие не имели даже собственного выгона, не имели усадеб, — тем и другим они пользовались от компании условно, пока находившаяся под выгоном и усадьбами земля не была надобна для работ. Это совершенно исключительное положение создало натянутые отношения между компанией и местным промысловым населением. Полное безземелье отдавало рабочих в бесконтрольное распоряжение компании, — она могла делать с ними, что хотела, тем более что все население рядом поколений выросло специально на золотом деле, а это клало на всех неизгладимую печать. Промысловый человек — совершенно особенный, и, куда вы его ни суньте, он везде будет бредить золотом и легкой наживой. Это была та узда, которой можно было сдерживать рабочую массу, и этим особенно умел пользоваться Карачунский: он постоянно манил рабочих отрядными работами, которые давали известную самостоятельность, а главное,

открывали вечно недостижимую надежду легкого и быстрого обогащения. С ловкостью настоящего дипломата он умел обходить этим окольным путем самые больные места, хотя и вызывал строгий ропот таких фанатиков компанейских интересов, как старейший на промыслах штейгер Зыков. Правда, что население давно вело упорную тяжбу с компанией из-за земли, посылало жалобы во все щели и дыры административной машины, подавало прошения, засылало ходоков, но шел год за годом, а решения на землю не выходило. Когда поднимался вопрос о недоимках, всплывало и дело о размежевании. Непременный член по крестьянским делам выбивался из сил и ничего не мог поделать: рабочие стояли на своем, компания на своем. А недоимки росли с каждым годом все больше, потому что народ бедствовал серьезно, хотя и привык уже давно ко всяким бедствиям. Кричали на сходках больше молодые, которые выросли уже после воли.

Карачунский явился главным управляющим Балчуговских промыслов с критического момента перехода их от казны в руки компании. Это происходило в начале семидесятых годов. Громадное дело было доведено горными инженерами от казны до полного расстройства, так что новому управляющему пришлось всеми способами и средствами замазывать чужие грехи, чтобы не поднимать скандала. Карачунский в принципе был враг всевозможных репрессалий и предпочитал всему те полумеры, уступки и сделки, которыми только и поддерживалось такое сложное дело. По наружному виду, приемам и привычкам это был самый заурядный бонвиван и даже немножко мышиный жеребчик, и никто на промыслах не поверил бы, что Карачунский что-нибудь смыслит в промысловом деле и что он когда-нибудь работал. Но такое мнение было несправедливо: Карачунский отлично знал дело и обладал величайшим секретом работать незаметно. Есть такие особенные люди, которые целую жизнь гору воротят, а их считают чуть не шалопаями. Весь секрет заключался в том, что Карачунский никогда не стонал, что завален работой по горло, как это делают все другие, потом он умел распорядиться своим вре-

менем и, главное, всегда имел такой беспечный, улыбающийся вид. Даже сам Родион Потапыч не понимал своего главного начальника и если относился к нему с уважением, то исключительно только по традиции, потому что не мог не уважать начальства. Старик не понял и того, как неприятно было Карачунскому узнать о затеях и кознях какого-то Кишкина, — в глазах Карачунского это дело было гораздо серьезнее, чем полагал тот же Родион Потапыч. Вообще неожиданно заваривалась одна из тех историй, о которых никто не думает сначала, как о деле серьезном: бывают такие сложные болезни, которые начинаются с какой-нибудь ничтожной царапины или еще более ничтожного прыща.

Когда вечером старик Зыков ушел, Карачунский долго ходил по столовой, насвистывая какой-то игривый опереточный мотив.

— Вы знаете этого... этого Кишкина? — обратился он неожиданно к Оникову.

— Что-то такое слыхал... — небрежно ответил молодой человек. — Даже, кажется, где-то видал: этакой гнусный сморчок. Да, да... Когда отец служил в Балчуговском заводе, я еще мальчишкой дразнил его Шишкой. У него такая кличка... Вообще что-то такое маленькое, ничтожное и... гнусное...

Карачунский издал неопределенный звук и опять засвистал. Штамм сидел уже битых часа три и молчал самым возмутительным образом. Его присутствие всегда раздражало Карачунского и доводило до молчаливого бешенства. Если бы он мог, то завтра же выгнал бы и Штамма и этого молокососа Оникова, как людей, совершенно ему ненужных, но навязанных сильными покровителями. У Оникова были сильные связи в горном мире, а Штамм явился прямо от Мансветова, которому приходился даже какой-то родней.

— А вы как думаете, Карл Иваныч? — обратился к немцу Карачунский.

— Што я думаю? — ответил немец вопросом. — Я думаю, што будем посмотреть...

«Вот два дурака навязались!» — со злостью думал Карачунский, продолжая шагать.

Утром на другой день Карачунский послал в Тайболу за Кожиным и запиской просил его приехать по важному делу вместе с женой. Кожин поставлял одно время на золотопромывальную фабрику ремни, и Карачунский хорошо его знал. Посланный вернулся, пока Карачунский совершал свой утренний туалет, отнимавший у него по меньшей мере час. Он каждое утро принимал холодную ванну, подстригал бороду, притирался косметиками, чистил ногти и внимательно изучал свое розовое лицо в зеркале.

— Сейчас будут-с, — докладывал Ганька, ездивший в Тайболу нарочным.

Действительно, когда Карачунский пил свой утренний какао, к господскому дому подкатила новенькая кошевка. Кожин правил сам своей бойкой лошадкой, обряженной в наборную сбрую. Феня ужасно смущалась своего первого визита с мужем в Балчуговский завод и надвинула новенький шерстяной платок на самые глаза. Привязав лошадь к столбу на дворе, Кожин пошел с женой на крыльцо, где уже их ждал Ганька. Сам Карачунский встретил их в передней, а потом провел в кабинет. Феня окончательно сконфузилась и не смела поднять глаз.

— Вчера у меня был Родион Потапыч, — заговорил Карачунский без предисловий. — Он ужасно огорчен и просил меня... Одним словом, вам нужно помириться со стариком. Я не впутался бы в это дело, если бы не уважал Родиона Потапыча... Это такой почтенный старик, единственный в своем роде.

— Что же, мы всегда готовы помириться... — бойко ответил Кожин, встряхивая напомаженными волосами. — Только из этого ничего не выйдет, Степан Романыч: характерный старик, ни в какой ступе его не утолчешь...

— Все-таки надо помириться... Старик совсем убит.

— И помирились бы в лучшем виде, ежели бы не наша вера, Степан Романыч... Все и горе в этом. Разве бы я стал брать Феню убегом, кабы не наша старая вера.

— Да... это действительно... Как же быть-то, Акинфий Назарыч? Старик грозился повести дело судом...

— А уж што бог даст, — решительно ответил Кожин. — По моему рассуждению так: што, конечно, старику обидно, а судом дела не поправишь... Утихомирится, даст бог.

Феня все время молчала, а тут не выдержала и зарыдала. Карачунский сам подал ей стакан холодной воды и даже принес флакон с какими-то крепкими духами.

— Ничего, все устроится помаленьку, — утешал ее Карачунский, невольно любуясь этим молодым, красивым лицом.

Это молодое горе было так искренне, а заплаканные девичьи глаза смотрели на Карачунского с такой умоляющей наивностью, что он не выдержал и проговорил:

— Хорошо, я постараюсь все это устроить... только для вас, Федосья Родионовна.

— Что же ты не благодаришь Степана Романыча? — говорил Кожин, подталкивая растерявшуюся жену локтем. — Они весьма нам могут способствовать...

— Не нужно, не нужно... — отстранил благодарность Карачунский, когда Феня сделала движение поцеловать у него руку. — Для такой красавицы можно и без благодарности сделать все.

Когда Кожины уезжали, Карачунский стоял у окна и проводил их глазами за ворота. Насвистывая свой опереточный мотив и барабаня пальцами по оконному стеклу, он думал в таком порядке: почему женщина всегда изящнее мужчины, и где тайна этой неотразимой женской прелести? Взять хоть ту же Феню, какая она красавица... Раньше он ее видал мельком у отца, но не обратил внимания. И такая красавица родится у какого-нибудь Родиона Потапыча!.. Удивительно!.. А еще удивительнее то, что такая свежая, благоухающая красота достанется в руки какому-нибудь вахлаку Кожину. Это просто несправедливо. В голове Карачунского заронились ревнивые мысли по адресу Фени, и он даже вздохнул. Вот и седые волосы у него, а сердце все молодо, да еще как молодо... Разве Кожины понимают, как нужно любить хорошенькую женщину? Карачунский сделал даже гримасу и щелкнул пальцами.

Чтобы немного проветриться, Карачунский отправился на золотопромывальную фабрику, работавшую и по праздникам ввиду спешки. За зиму накопилось много работы. Весь двор был завален кучками золотоносного кварца, добытого рабочими. Фабрика не успевала истолочь его и промыть, а рабочим приходилось ждать очереди по месяцам, что вызывало ропот и недовольство. С внешней стороны золотопромывальня представляла собой очень неказистый вид. На месте бывшего каторжного винокуренного завода сейчас стояло всего два деревянных корпуса. В одном работала толчея, а в другом совершалась промывка измельченного кварца на шлюзах, покрытых медными амальгамированными ртутью листами. В первом корпусе работала небольшая паровая машина, так как воды в заводском пруду не хватало и на ползимы. Вообще обстановка самая жалкая, не имевшая в себе ничего импонирующего. Эта несчастная фабрика постоянно возмущала Карачунского своим убожеством, и он мечтал о грандиозном деле. Но что поделаешь, когда и тут приходилось только сводить концы с концами, потому что компания требовала только дивидендов и больше ничего знать не хотела, да и главная сила Балчуговских промыслов заключалась не в жильном золоте, а в россыпном.

На фабрике Карачунский нашел все в порядке. Паровая машина работала, толчея гремела своими пестами, в промывальне шла промывка. Всех рабочих «обращалось» на заводе едва пятьдесят человек в две смены: одна выходила в ночь, другая днем. На «пьяном дворе» Карачунский осмотрел кучки добытого старателями кварца и только покачал головой. Хорошего ничего не оказывалось, за исключением одной кучки из Ульянова кряжа, за Фотьянкой. Здесь Карачунский встретил к своему удивлению Родиона Потапыча. Старик сидел у кучи кварца на корточках и внимательно рассматривал отдельные куски.

— Ну, дедушка, что новенького?

— Да так, из-за хлеба на воду старатели добывают... — угрюмо отвечал Зыков, швыряя куски кварца в кучу.

Карачунский осмотрел эту кучку и понял, что старик не хочет выдать новой находки. Какой-то неизвестный старатель из Фотьянки отыскал в Ульяновом кряже хорошую жилу.

С «пьяного двора» они вместе прошли на толчею. Карачунский велел при себе сейчас же произвести протолчку заинтересовавшей его кучки кварца. Родион Потапыч все время хмурился и молчал. Кварц был доставлен в ручном вагончике и засыпан в толчею. Карачунский присел на верстак и, закурив папиросу, прислушивался к громыхавшим пестам. На других золотых промыслах на Урале везде дробили кварц бегунами, а толчея оставалась только в Балчуговском заводе, — Карачунский почему-то не хотел ставить бегунов.

— Вот что, Родион Потапыч, — заговорил Карачунский после длинной паузы. — Я посылал за Кожиным... Он был сегодня у меня вместе с женой и согласен помириться, то есть просить прощения.

Зыков точно испугался и несколько времени смотрел на Карачунского ничего не понимающими глазами, а потом махнул рукой и проговорил:

— Поздно, Степан Романыч... Я... я проклял Феню.

— А это что значит: проклял?

— А встал перед образом и проклял. Теперь уж, значит, все кончено... Выворотится Феня домой, тогда прощу.

— Ну, это ваше дело, — равнодушно заметил Карачунский. — Я свое слово сдержал... Это мое правило.

Толчея соединялась с промывальной, и измельченный в порошок кварц сейчас же выносился водяной струей на сложный деревянный шлюз. Целая система амальгамированных медных листов была покрыта деревянными ставнями, — это делалось в предупреждение хищничества. Промытый заряд новой руды дал блестящие результаты. Доводчик Ераков, занимавшийся съемкой золота, преподнес на железной лопаточке около золотника амальгамированного золота, имевшего серый оловянный цвет.

— Это с двадцати пудов? — заметил Карачунский. — Недурно... А кто нашел жилу?

— Да их тут целая артель на Ульяновом кряже близко года копалась, — объяснил уклончиво Зыков. — Все фотьянские... Гнездышко выкинулось, вот и золото.

Это открытие обрадовало Карачунского. Можно будет заложить на Ульяновом кряже новую шахту, — это будеть очень эффектно и в заводских отчетах и для парадных прогулок приезжающих на промыслы любопытных путешественников. Значит, жильное дело подвигается вперед и прочее.

В этом хорошем настроении Карачунский возвращался домой, но оно было нарушено встречей на мосту целой группы своих служащих. Заводская контора была для него самым больным местом, потому что именно здесь он чувствовал себя окончательно бессильным. Всех служащих насчитывалось около ста человек, а можно было сократить штат наполовину. Но дело в том, что этот штат все увеличивался, потому что каждый год приезжали из Петербурга новые служащие, которым нужно было создавать место и изобретать занятия. Это была настоящая саранча, очень прожорливая, ничего не умевшая и ничего не желавшая делать. Таких господ высылали из Петербурга разные влиятельные особы, стоявшие близко к делам компании. У каждой такой особы находились бедные родственники, подающие надежды молодые люди и целый отдел «пострадавших», которым необходимо было скрыться куда-нибудь подальше. И вот к Карачунскому являлись разных возрастов молодые люди, снабженные самыми трогательными рекомендациями. И с какими фамилиями, чуть не прямые потомки Синеуса и Трувора! Один был даже с фамилией Монморанси. Про себя Карачунский называл свою заводскую контору богадельней и считал ее громадным злом, съедавшим напрасно десятки тысяч рублей.

«Съедят меня эти Монморанси», — думал Карачунский, напрасно стараясь припомнить что-то приятное, смутно носившееся в его воображении.

VIII

Пока в воскресенье Родион Потапыч ходил на золотопромывальную фабрику, дома придумали средство спасения, о котором раньше никому как-то не пришло в голову.

Яша запировал с Мыльниковым, а из мужиков оставался дома один Прокопий. Первую мысль о баушке Лукерье подала Марья.

— Одна она управится с тятенькой, — говорила девушка потерявшей голову матери, — баушка Лукерья строгая и все дело уладит.

— Да ведь проклял он родное детище, Марьюшка, — стонала Устинья Марковна, заливаясь слезами. — Свою кровь не пожалел...

— Уж баушка Лукерья знает, што сделать... Пока тятенька на заводе, Прокопий сгоняет в Фотьянку.

Прокопий верхом отправился в Фотьянку. Он вернулся всего часа через два. Баушка Лукерья приехала тоже верхом, несмотря на свои шестьдесят лет с большим хвостиком. Это была еще крепкая старуха. Она зимой носила мужскую бобровую шапку и штаны, как мужик. Высокая, крепкая, баушка Лукерья еще цвела какой-то старческой красотой. Лицо у нее было такое свежее, а серые глаза смотрели со строгой ласковостью. Она себя называла «расейкой» в отличие от балчуговских баб, некрасивых и скуластых. Сын, Петр Васильевич, нисколько не походил на мать.

— Ну, што у вас тут случилось? — строго спрашивала баушка Лукерья. — Эй, Устинья Марковна, перестань хныкать... Экая беда стряслась с Феней, и девушка была, кажись, не замути воды. Што же, грех-то не по лесу ходит, а по людям.

С появлением баушки Лукерьи все в доме сразу повеселели и только ждали, когда вернется грозный тятенька. Устинья Марковна боялась, как бы он не проехал ночевать на Фотьянку, но Прокопию по дороге кто-то сказал, что старика видели на золотой фабрике. Родион Потапыч пришел домой только в сумерки.

Когда его в дверях встретила баушка Лукерья, старик все понял.

— Иди-ко сюды, воевода, — ласково говорила старуха. — Иди... вишь, в гости к тебе приехала...

— Здравствуй, баушка. И то давно не видались.

— Горденек стал, Родион Потапыч... На плотине постоянно толчешься у нас, а нет, штобы в Фотьянку завернуть да старуху проведать.

— Некогда все... Собирался не одинова, а тут какая-нибудь причина и выйдет...

— У тебя все причина... А вот я не погордилась и сама к тебе приехала. Угощай гостью...

— Не ко времю гоститься вздумала...

— Вот што я тебе скажу, Родион Потапыч, — заговорила старуха серьезно, — я к тебе за делом... Ты это што надумал-то? Не похвалю твою Феню, а тебя-то вдвое. Девичья-то совесть известная: до порога, а ты с чего проклинать вздумал?.. Ну, пожужил, постращал, отвел душу и довольно...

— Што уж теперь говорить, баушка: пролитую воду не соберешь...

— Да ты слушай, умная голова, когда говорят... Ты не для того отец, штобы проклинать свою кровь. Сам виноват, што раньше замуж не выдавал. Вот Марью-то заморил в девках по своей гордости. Верно тебе говорю. Ты меня послушай, ежели своего ума не хватило. Проклясть-то не мудрено, а ведь ты помрешь, а Феня останется. Ей-то еще жить да жить... Сам, говорю, виноват!.. Ну, што молчишь?..

— Татьяну я не проклинал, хотя она и вышла из моей воли, — оправдывался старик, — зато и расхлебывает теперь горе...

— И тоже тебе нечем похвалиться-то: взял бы да и помог той же Татьяне. Баба из последних сил выбилась, а ты свою гордость тешишь. Да што тут толковать с тобой... Эй, Прокопий, ступай к отцу Акакию и веди его сюда, да штобы крест с собой захватил: разрешительную молитву надо сказать и отчитать проклятие-то. Будет господа гневить... Со своими грехами замаялись, не то што других проклинать.

Родион Потапыч был рад, что подвернулась ба-

ушка Лукерья, которую он от души уважал. Самому бы не позвать попа из гордости, хотя старик в течение суток уже успел одуматься и давно понял, что сделал неладно. В ожидании попа баушка Лукерья отчитала Родиона Потапыча вполне, обвинив его во всем.

Батюшка, о. Акакий, был еще совсем молодой человек, которого недавно назначили в Балчуговский приход, так что у него не успели хорошенько даже волосы отрасти. Он был немало смущен таким редким случаем, когда пришлось разрешать от проклятия. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом, надел епитрахиль и начал читать по требнику установленные молитвы. Баушка Лукерья поставила Родиона Потапыча на колени и строго следила за ним все время. Устинья Марковна стояла у печки и горько рыдала, точно хоронила Феню.

Когда обряд кончился и все приложились ко кресту, о. Акакий сказал коротенькое слово о любви к ближнему, о прощении обид, о безграничном милосердии божием.

— Нет, ты ему, отец, епитимию определи, — настаивала баушка Лукерья. — Надо так сделать, штобы он чувствовал...

Батюшка согласился и на это, назначив по десяти земных поклонов в течение сорока дней.

— А теперь и о деле потолкуем, — решила баушка Лукерья. — Садись, отец Акакий, и образумь нас, темных людей...

Отец Акакий уже знал, в чем дело, и опять не знал, что посоветовать. Конечно, воротить Феню можно, но к чему это поведет: сегодня воротили, а завтра она убежит. Не лучше ли пока ее оставить и подействовать на мужа: может, он перейдет из-за жены в православие.

— Нет, это пустое, отец, — решила баушка Лукерья. — Сам-то Акинфий Назарыч, пожалуй бы, и ничего, да старуха Маремьяна не дозволит... Настоящая медведица и крепко своей старой веры держится. Ничего из того не выйдет, а Феню надо воротить... Главное дело, она из своего православного закону вышла,

а наши роды с испокон века православные. Жиденький еще умок у Фени, вот она и вверилась...

— Силой нельзя заставить людей быть тем или другим, — заметил о. Акакий. — Мне самому этот случай неприятен, но не сделать бы хуже... Люди молодые, все может быть. В своей семье теперь Федосья Родионовна будет хуже чужой...

— А я ее к себе возьму и выправлю, — решила старуха. — Не погибать же православной душе... Уж я ее шелковой сделаю.

— Будь ей заместо матери... — упрашивала Устинья Марковна, кланяясь в ноги. — Я-то слаба, не умею, а Родион Потапыч перестрожит. Ты уж лучше...

— У меня отойдет и дурь свою бросит...

Отец Акакий посидел, сколько этого требовали приличия, напился чаю и отправился домой. Проводив его до порога, Родион Потапыч вернулся и проговорил:

— Славный бы попик, да молод больно...

— Ему же лучше, што и молод и умен. Вон какой очесливый да скромный...

— Ну, вот што, други мои милые, засиделась я у вас, — заговорила баушка Лукерья. — Стемнилось совсем на дворе... Домой пора: тоже не близкое место. Поволокусь как ни на есть...

— Да ты верхом, што ли, пригнала? — сурово спросил Родион Потапыч.

— Пешком-то я угорела уж ходить: было похожено вдосталь...

Старуха сходила в заднюю избу проститься «с девками», а потом надела шапку и стала прощаться.

— Куда ты ускорилась-то? — спрашивал Родион Потапыч, которому не хотелось отпускать старуху. — Ночевала бы, баушка, а то еще заедешь куда-нибудь в ширп...

— Невозможно мне... Гребтится все, как там у нас на Фотьянке. Петр-то Васильич мой што-то больно ноне стал к водочке припадать. Связался с Мыльниковым да с Кишкиным... Не гожее дело.

— Золото хотят искать... Эх, бить-то их некому, баушка!.. А я вот што тебе скажу, Лукерья: погоди ма-

лость, я оболокусь да провожу тебя до Краюхина увала. Мутит меня дома-то, а на вольном воздухе, может, обойдусь...

— И любезное дело, — согласилась баушка, подмигивая Устинье Марковне. — Одной-то мне, пожалуй, и опасливо по нонешнему времю ездить, а сегодни еще воскресенье... Пируют у вас на Балчуговском, страсть пируют. Восетта [1] еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчуговские парни идут. Совсем молодые, а пьяненькие... Увидали меня, озорники, и давай галиться: «Тпру, баушка!..» Ну, я их нагайкой, а они меня обозвали што ни есть хуже, да еще с седла хотели стащить...

— Собака народ стал, баушка...

Родион Потапыч оделся, захватил с собой весь припас, помолился и, не простившись с домашними, вышел. Прокопий помог старухе сесть в седло.

— Вот говорят, што гусь свинье не товарищ, — шутила баушка Лукерья, выезжая на улицу.

Ночь была темная, и только освещали улицу огоньки, светившиеся кое-где в окнах. Фабрика темнела черным остовом, а высокая железная труба походила на корабельную мачту. Издали еще волчьим глазом глянул Ермошкин кабак: у его двери горела лампа с зеркальным рефлектором. Темные фигуры входили и выходили, а в открывшуюся дверь вырывалась смешанная струя пьяного галденья.

— Тьфу!.. — отплюнулся Родион Потапыч, стараясь не глядеть на проклятое место. — Вот, баушка, до чего мы с тобой дожили: не выходит народ из кабака... Днюют и ночуют у Ермошки.

— Ох, и не говори, Родион Потапыч! У нас на Фотьянке тоже мужики пируют без утыху... Што только и будет, как жить-то будут. Ополоумели вконец... Никакой страсти не стало в народе.

— Глаза бы не глядели, — с грустью отвечал Родион Потапыч, шагая по середине улицы рядом с лошадью. — Охальники... И нет хуже, как эти понедель-

---

[1] Восетта — в прошлый раз. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ники. Глаза бы не глядели, как работнички-то наши выйдут завтра на работу... Как мухи травленые ползают. Рыло опухнет, глаза затекут... тьфу!..

Поровнявшись с кабаком, они замолчали, точно ехали по зачумленному месту. Родион Потапыч несколько раз волком посмотрел на кабацкую дверь и еще раз плюнул. Угнетенное настроение продолжалось на расстоянии целой улицы, пока кабацкий глаз не скрылся из виду.

— Помнишь место-то?.. — тихо проговорила баушка Лукерья, кивая головой в сторону черневшей «пьяной конторы». — Много тут наших варнацких слез пролито...

Старик тряхнул головой и ничего не ответил.

— Когда нашу партию из Расеи пригнали, — продолжала тихо старуха, точно боялась разбудить каторжные тени, витавшие здесь, — дорога-то шла через Тайболу... Ну, входит партия в Балчуговский, а покойница-сестрица, Марфа Тимофеевна, поглядела этак кругом и шепчет мне: «Луша, тут наша смертынька». Обнаковенно, там, в Расее-то, и слыхом не слыхали, што такое есть каторга, а только словом-то пугали: «Вот приведут в Сибирь на каторгу, так там узнаете...» И у меня сердце екнуло, когда завиделся завод, а все-таки я потихоньку отвечаю Марфе Тимофеевне: «Погляди, глупая, вон церковь-то... Помрем, так хоть похоронить есть кому!» Глупы-глупы, а это соображаем, што без попа церковь не стоит... И обрадели мы вот этой самой балчуговской церкви, как родной матери. Да и вся наша партия тоже... Известно, женское дело, страшливое: вот, мол, где она, эта самая каторга. По этапам-то вели нас близко полугода, так всего натерпелись и думаем, што в каторге еще того похуже раз на десять.

Так в разговорах они незаметно выехали за околицу. Небо начинало проясняться. Низкие зимние тучи точно раздвинулись, открыв мигавшие звездочки. Немая тишина обступала кругом все. Подъем на Краюхин увал точно был источен червями. Родион Потапыч попрежнему шагал рядом с лошадью, мерно взмахивая правой рукой.

— Привели-то нас, как теперь помню, под вечер... — продолжала баушка Лукерья. — Мужицкая каторга каменная, а наша, бабья, — деревянная и деревянным тыном обнесена. Вот завели партию во двор, выстроили, а покойник Антон Лазарич уж на крыльце стоит и этак из-под ручки нас оглядывает, а сам усмехается. В окнах у казармы тоже все залеплено арестантками: любопытно на свеженьких поглядеть... Этак с крайчику, слева, значит, я стою, а Марфа Тимофеевна жмется около меня; она в партии-то всех помоложе была и из себя красивее. Ну, Антон Лазарич...

— Молчи, ради Христа! Молчи... — простонал Родион Потапыч.

— Дело прошлое, што греха таить... А покойничек Антон Лазарич, не тем будь помянут, больно уж погонный был старичок до девок. Седенький, лысенький, ручки трясутся, а ни одной не пропустит... Баб не трогал, ни-ни, потому, говорит, «сам я женатый человек, и нехорошо чужих жен обижать». Кабы не эта его повадка, так и лучше бы не надо нам смотрителя: добреющий человек и богобоязливый... Каждое воскресенье в церкви вперед всех стоит, молится, а сам слезьми заливается. И жена ведь у него молодая была... Ох, грехи, грехи!..

— Охальник был... — сурово заметил Родион Потапыч. — Собаке собачья и смерть.

— Понапрасну погинул, это уж што говорить! — согласилась баушка Лукерья, понукая убавившую шаг лошадь. — Одна девка-каторжанка издалась упрямая и чуть его не зарезала, черкаска-девка... Ну, приходит он к нам в казарму и нам же плачется: «Вот, говорит, черкаска меня ножиком резала, а я человек семейный...» Слезами заливается. Как раз через три дня его и порешили, сердешнаго.

— Бузун его зарезал... С нашей же каторги беглый. Он около Балчугов бродяжил.

— А пошто же на палача Никитушку говорили?

— Здря народ болтал...

Молчание. Начался подъем на Краюхин увал. Лошадь вытягивает шею и тяжело дышит. Родион

Потапыч, чтобы не отстать, ухватывается одной рукой за лошадиную гриву.

— Сказывают, Никитушку недавно в городу видели, — говорит старуха. — Ходит по купцам и милостыньку просит... Ох-хо-хо!.. А прежде-то какая ему честь была: «Никита Степаныч, отец родной... благодетель...» А он-то бахвалится.

— Пьяный был без просыпа... Перевозили его с одной каторги на другую, а он ничего не помнит.

— Бывал он и у нас в казарме... Придет, поглядит и молвит: «Ну, крестницы мои, какое мне от вас уважение следует? Почитайте своего крестного...» Крестным себя звал. Бабенки улещали его и за себя и за мужиков, когда к наказанию он выезжал в Балчуги. Страшно было на него смотреть на пьяного-то...

— Вот ты, Лукерья, про каторгу раздумалась, — перебил ее Родион Потапыч, — а я вот про нынешние порядки соображаю... Этак как раскинешь умом-то, так ровно даже ничего и не понимаешь. В ум не возьмешь, што и к чему следует. Каторга была так каторга, солдатчина была так солдатчина, одним словом, казенное время... А теперь-то што?.. Не то што других там судить, а у себя в дому, как гнилой зуб во рту... Дальше-то што будет?..

— На промыслах везде одни порядки, Родион Потапыч: ослабел народ, измалодушествовался... Главная причина: никакой народу страсти не стало... В церковь придешь: одни старухи. Вконец измотался народ.

В этих разговорах они добрались до спуска с Краюхина увала, где уже начинались шахты. Когда лошадь баушки Лукерьи поровнялась с караушкой Спасо-Колчеданской шахты, старуха проговорила:

— Ну, прощай, Родион Потапыч... Так ты тово, Феню-то добывай из Тайболы да вези ко мне на Фотьянку, утихомирим девку, коли на то пойдет.

Родион Потапыч что-то хотел сказать, но только застонал и отвернулся: по лицу у него катились слезы. Баушка Лукерья отлично поняла это безмолвное горе: «Эх, если б жива была Марфа Тимофеевна, разве бы она допустила до этого!..»

IX

Неожиданное появление Родиона Потапыча на шахте никого не удивило, потому что рабочие давно уже привыкли к подобным сюрпризам. К суровому старику относились с глубоким уважением именно потому, что он видел каждое дело насквозь, и не было никакой возможности обмануть его в ничтожных пустяках. Всякую промысловую работу Родион Потапыч прошел собственным горбом и «видел на два аршина в землю», как говорили про него рабочие. Это, впрочем, не мешало ругать его за глаза иродом, жидом и проч. Балчуговское воскресенье отдалось и на шахтах: коморник Мутовка, сидевший в караулке при шахте, усиленно моргал подслеповатыми глазами, у машиниста Семеныча, молодого парня-франта, язык заплетался, откатчики при шахте мотались на ногах, как чумная скотина.

— Да вы тут совсем сбесились! — гремел старик на подгулявших рабочих. — Чему обрадовались-то, черти? А где подштейгер?

Подштейгер Лучок, седой старик, был совсем пьян и спал где-то за котлами, выбрав тепленькое местечко. Это уж окончательно взбесило Родиона Потапыча, и он начал разносить пьяную команду вдребезги. Проснувшийся Лучок вдобавок забунтовал, что иногда случалось с ним под пьяную руку.

— А ты не больно тово... — огрызнулся он из своей засады. — Слава богу, не казенное время, штобы с живого человека три шкуры драть! Да...

— Ах, варвары!.. А кто станет отвечать, ежели вы, подлецы, шахту опустите?..

— Обыкновенно, ты ответишь, — согласился Лучок. — Ты жалованья-то пятьдесят цалковых получаешь, ну, значит, кругом и будешь виноват... А с меня за двадцать-то цалковых не много возьмешь.

— Ты еще разговаривать у меня, мокрое рыло?!.

— И скажу завсегда.

Взбешенный Родион Потапыч собственноручно извлек Лучка из-за котлов, нахлобучил ему шапку на пьяную башку и вытолкал из корпуса, а пожитки подштейгера велел выбросить на дорогу.

— Ступай, жалуйся на меня, пес! — кричал старик вдогонку лукавому рабу. — Я на твое место двадцать таких-то найду...

— А мне плевать! — слышался из темноты голос Лучка. — Ишь как расшеперился... Нет, брат, не те времена.

Эта комедия изгнания Лучка со службы проделывалась в год раза три-четыре благодаря его пьяной строптивости. Несколько дней после такой оказии Лучок высиживал в кабаке Ермошки, а потом шел к Родиону Потапычу с повинной. Составлялось примирение на непременном условии, что это «в последний раз». Все знали, что и настоящая история закончится миром, потому что Родион Потапыч не мог жить без Лучка и никому не доверял, кроме него, чем Лучок и пользовался. Если бы не пьянство, Лучок давно «ходил бы в штейгерях», а может быть и главным штейгером. Знал он дело на редкость, и в трудных случаях Родион Потапыч советовался только с ним, потому что горных инженеров и самого Карачунского в приисковом деле в грош не ставил. У Лучка была особенная смелость, которой недоставало Родиону Потапычу, — живо все сообразит и из собственной кожи вылезет, когда это нужно.

По-настоящему, следовало бы спуститься в шахту и осмотреть работы, но Родион Потапыч вдруг как-то обессилел, чего с ним никогда не бывало. Он ни разу в жизнь свою не хворал и теперь только горько покачал головой. Эта пустячная ссора с пьяным Лучком окончательно подорвала старика, и он едва дошел до своей конторки, отгороженной в уголке машинного корпуса. Ключ от конторки был всегда с ним. Здесь он иногда и ночевал, прикорнув на засаленную деревянную скамейку. Родион Потапыч засветил сальную свечу и присел к столу. В маленькое оконце, дребезжавшее от работы паровой машины, глядела ночь черным пятном; под полом, тоже дрожавшим, с хрипеньем и бульканьем бежала поднятая из шахты рудная вода; слышно было, как хрипел насос и громыхали чугунные шестерни. Все это было, как всегда, как запомнит себя Родион Потапыч на промыслах, только сам он уж

не тот. Мысль о бессильной, жалкой старости явилась для него в такой яркой и безжалостной форме, что он даже испугался. Что же это такое?..

Он присел к столу, облокотился и, положив голову на руку, крепко задумался. Семейные передряги и встреча с баушкой Лукерьей подняли со дна души весь накопившийся в ней тяжелый житейский осадок.

Родился и вырос Родион Потапыч дворовым человеком в Тульской губернии. Подростком он состоял при помещичьем доме в казачках, а в шестнадцать на свой грех попал в барскую охоту. Не угодил он барину на волчьей облаве чем-то, кинулся на него барин с поднятым арапником... Окончание этого эпизода барской охоты было уже в Балчуговском заводе, куда Родион Потапыч был приведен в кандалах для отбытия каторжных работ. Но промысловая каторга для него явилась спасением; серьезный не по летам, трудолюбивый, умный и честный, он сразу выдвинулся из своей арестантской среды. Смотрителем тогда был тот самый Антон Лазарич, о котором рассказывала баушка Лукерья. Он очень полюбил молодого Зыкова и устроил так, что десятилетняя каторга для него была не в каторгу, а в обыкновенную промысловую работу, с той разницей, что только ночевать ему приходилось в остроге. Новая работа полюбилась Родиону Потапычу, и он прирос к ней всей душой. Да, что только было тогда, теперь даже и вспоминать как-то странно, точно все это во сне привиделось. Работа кипела, благо каторжный труд ничего не стоил. С одной стороны работал каторжный винокуренный завод, а с другой — золотые промыслы. Балчуговский завод походил на военный лагерь, где вставали и ложились по барабану, обедали и шабашили по барабану и даже в церковь ходили по барабану. На работу выступали поротно и повзводно, отбивая шаг. При встрече с начальством все вытягивалось в струнку и делало «на-краул» даже на работах. На площади между каторгой и «пьяной конторой» в праздники производилось настоящее солдатское учение пригнанных рекрутов, и тут же происходили жесточайшие экзекуции. С одной стороны орудовал «крестный» Никитушка, а с другой —

солдатская «зеленая улица». Сквозь строй гоняли каждое воскресенье, а для большего эффекта приводили народ для этого случая даже с Фотьянки. Кроме своего каторжного начальства и солдатского для рекрутов, в распоряжении горных офицеров находилось еще два казачьих батальона со специальной обязанностью производить наказания на самом месте работ; это было домашнее дело, а «крестный» Никитушка и «зеленая улица» — парадным наказанием, главным образом на страх другим. Когда партия рабочих выступала куда-нибудь на прииск, за ней вместе с провиантом следовал целый воз розог, точно их нельзя было приготовить на месте действия. Военное горное начальство в этом случае рассуждало так, что порядок наказания прежде всего, а работа пойдет сама собой.

Первые два года Родион Потапыч работал на винокуренном заводе, где все дело вершилось исключительно одним каторжным трудом, а затем попал в разряд исправляющихся и был отправлен на промыслы. Винокуренный завод до самого конца оставался за каторгой, а на промыслы высылались только отбывшие каторгу. Родион Потапыч застал Балчуговский завод еще совсем небольшим. Селение шло только по Нагорной высоте, а Низы заселились уже при нем, когда посадили на промыслы сразу три рекрутских набора. Из ссыльно-поселенцев постепенно выросла Фотьянка, которая служила главным каторжным гнездом. На промыслах Родион Потапыч прошел всю работу, начиная с простого откатчика, отвозившего на тачке пустую землю в отвалы. Сколько теперь этих отвалов кругом Балчуговского завода; страшно подумать о том казенном труде, который был затрачен на эту египетскую работу в полном смысле слова. Людей не жалели, и промыслы работали «сильной рукой», то есть высылали на россыпь тысячи рабочих. Добытое таким даровым трудом золото составляло для казны уже чистый дивиденд. Родион Потапыч скоро выбился на промыслах из простых рабочих и попал в десятники. С делом он освоился, и начальство ценило в нем его фанатическое трудолюбие. Чуть только не свихнулся он, когда встретил свою первую жену, Марфу Тимофеевну.

Ее только что пригнали из России, и Антон Лазарич сразу заметил красивую каторжанку. Ей было всего девятнадцать лет, а попала она из помещичьей девичьей на каторгу, как значилось в списке, за кражу сахара. Сестра Лукерья пришла вместе с ней и значилась в краже меда. Чья-то рука изощряла остроумие над судьбой двух сестер, но они должны были отбыть положенные три года, а затем поступили в разряд ссыльных и переселены были на Фотьянку. Антон Лазарич прозвал Марфу Тимофеевну «сахарницей» и на третий же день потребовал ее к себе «по секретному делу». Сестра Лукерья избежала этого секретного дела только потому, что Антона Лазарича во-время успели зарезать.

— Одна сестра с сахаром, другая с медом, — шутил смотритель, — а я до сахару большой охотник...

Родион Потапыч числился в это время на каторге и не раз был свидетелем, как Марфа Тимофеевна возвращалась по утрам из смотрительской квартиры вся в слезах. Эти ли девичьи слезы, девичья ли краса, только начал он крепко задумываться... Заметил эту перемену даже Антон Лазарич и не раз спрашивал:

— Што это с тобой, Родион?.. Как будто ты не в себе...

— Неможется, Антон Лазарич, — сурово отвечал Зыков, стараясь не глядеть на каторжного насильника.

Запала крепкая и неотвязная дума Родиону Потапычу в душу, и он только выжидал случая, чтобы «порешить» лакомого смотрителя, но его предупредил другой каторжанин, Бузун, зарезавший Антона Лазарича за недоданный паек. Гора свалилась с плеч, а потом Марфа Тимофеевна была переведена на Фотьянку, где он с ней сейчас же познакомился и сейчас же женился. Много было каторжанок, и ни одна не осталась непристроенной: все вышли замуж, развели семьи и населили Фотьянку и Нагорную сторону. Замечательно, что среди каторжанок не было ни одной женщины легкого поведения.

Хорошо и любовно зажил Родион Потапыч с молодой женой и никогда ни одним словом не напомнил ее прошлого: подневольный грех в счет не шел. Но сама

Марфа Тимофеевна все время замужества оставалась туманной и грустной и только перед смертью призналась мужу, что ее заело.

— Не девушкой я за тебя выходила замуж... — шептали побелевшие губы. — Нет моей в том вины, а забыть не могла. Чем ты ко мне ласковее, тем мне страшнее. Молчу, а у самой сердце кровью обливается.

— Марфа, бог с тобой, какие ты слова говоришь...

— Я сама себя осудила, Родион Потапыч, и горше это было мне каторги. Вот сыночка тебе родила, и его совестно. Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как бы мы с тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба.

Молодой умерла Марфа Тимофеевна и в гробу лежала такая красивая да белая, точно восковая. Вместе с ней белый свет закрылся для Родиона Потапыча, и на всю жизнь его брови сурово сдвинулись. Взял он вторую жену, но счастья не воротил, по пословице: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет. Поминком по любимой жене Марфе Тимофеевне остался беспутный Яша...

Жизнь для Родиона Потапыча прошла в суровой работе изо дня в день. Он точно раз и навсегда замерз на своем промысловом деле, да больше и не оттаял. Трудно приходилось — молчал, хорошо — молчал, а потом превратился в живую машину. Только раз в течение своей службы он покривил душой, именно в пятидесятых годах, когда на Урал тайно приехал казенный фискал. Несмотря на военные строгости при разработке золота, рабочие ухитрялись его воровать. То же самое было и на других казенных и частных промыслах. Были и свои скупщики, которые проникли и в заколдованный круг Балчуговской каторги. Сыщик успел купить золото кой у кого, но один Родион Потапыч вызнал в нем настоящую птицу и пустил стороной слух, чтобы спасти десятки легковерных людей. Пожалел он дураков... И действительно, Балчуговский завод пострадал меньше, а на других промыслах разразилась страшная гроза. Сотни были прогнаны сквозь строй и сосланы в Восточную Сибирь в бессрочную каторгу. Впрочем, никто не знал на Балчуговских про-

мыслах, кто первый догадался относительно фискала. Родион Потапыч молчал, как будто не его дело. Тогда, между прочим, спасся только чудом Кишкин, замешанный в этом деле: какой-нибудь один час, и он улетел бы в Восточную Сибирь, да еще прошел бы насквозь всю «зеленую улицу».

«Вот я ему, подлецу, помяну как-нибудь про фискалу-то, — подумал Родион Потапыч, припоминая готовившееся скандальное дело. — Эх, надо бы мне было ему тогда на Фотьянке узелок завязать, да не догадался... Ну, как-нибудь в другой раз».

С лишком тридцать пять лет «казенного времени» отбыл Родион Потапыч, когда объявлена была воля. Он совершенно не понимал этого события, никак не укладывавшегося в его голову. Родион Потапыч даже как-то совсем растерялся, особенно когда упразднили каторгу, винокуренный завод закрыли, а казенным промысловым работам пришел конец. Мысль о том, что теперь нужно будет платить каждому рабочему, просто возмущала его. Помилуйте, такая орава рабочих, и вдруг каждому плати, а что же казне-то останется? Казенные работы, переведенные на вольнонаемный труд и лишенные военной закваски, сразу захудали, и добытое этим путем золото, несмотря на готовый инвентарь и всякое промысловое хозяйство, стало обходиться казне в пять раз дороже его биржевой стоимости. Некоторое время поддержала падавшее дело открытая на Фотьянке Кишкиным богатейшая россыпь, давшая в течение трех лет больше ста пудов золота, а дальше случился уже скандал — золотник золота обходился казне в двадцать семь рублей при номинальной его стоимости в четыре рубля. Немало смущали Родиона Потапыча горные инженеры.

Последние пять лет Балчуговские заводы существовали только на бумаге, когда явился генерал Мансветов и компания. Кое-как поддерживалась одна шахта, да работали местами старатели. Водворение компании сразу подняло дело, и Родион Потапыч ожил, перенеся на компанейское дело все свои крепостные симпатии. Когда первое опьянение волей миновало, оказалось, что промысловое население очутилось в полной

экономической зависимости от компании. Между тем это было казенное промысловое население, несколькими поколениями воспитавшееся на своем приисковом деле. В Низах бывшие «некрута» делали отчаянные попытки прожить своим средствием, и здесь некоторое время процветали столяры и сапожники. Нагорная и Фотьянка, эти старые каторжные гнезда, остались верными своему промысловому делу и не увлекались никакими сторонными заработками.

С водворением на Балчуговских промыслах компанейского дела Родион Потапыч успокоился, потому что хотя прежней каторжной и военно-горной крепи уже не существовало, но ее заменила целая система невидимых нитей, которыми жизнь промыслового населения была опутана еще крепче. Промысловому рабочему некуда было деваться, как он ни изворачивался. Пример Низов служил в этом случае лучшим доказательством. Не было внешнего давления, как в казенное время, но «вольные» рабочие со своей волчьей волей не знали куда деваться и шли работать к той же компании на самых невыгодных условиях, как вообще было обставлено дело: досыта не наешься и с голоду не умрешь.

Открытие Кедровской казенной дачи для вольных работ изменяло весь строй промысловой жизни, и никто не чувствовал этого с такой рельефностью, как Родион Потапыч, этот промысловый испытанный волк.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Каждое утро у кабака Ермошки на лавочке собиралась целая толпа рабочих. Издали эта публика казалась ворохом живых лохмотьев — настоящая приисковая рвань. А солнышко уже светило по-весеннему, и рвань ждала того рокового момента, когда «тронется вешняя вода». Только бы вода взялась, тогда всем будет работа... Это были именно чающие движения воды.

Кабак Ермошки помещался в собственном полукаменном домике, отстроенном заново года два назад. Нижний этаж был занят наполовину кабаком и наполовину галантерейной и суровской торговлей, так что получалось заведение вполне. Дом стоял на углу, как раз напротив золотопромывальной фабрики. Раньше он принадлежал Кишкину. В конце улицы красным пятном выделялись кирпичные стены бывшей каторги, а рядом громадное покосившееся бревенчатое здание «пьяной конторы». Собственно каторжный винокуренный завод стоял на месте нынешней золотопромывальной фабрики, но он сгорел уже после воли. Оставалась одна «пьяная контора» да каменный двор с низкими каменными казармами упраздненной каторги. Эти два памятника доброго старого времени для Ермошки были бельмом на глазу. Сидя у себя наверху, он подолгу смотрел на них и со вздохом повторял:

— Этакое обзаведенье и задарма пропадает... Што бы тут можно сделать, кабы к рукам! То есть, кажется, отдал бы все...

Ермошка был среднего роста, раскостый и плечистый мужик с какой-то угловатой головой и серыми вытаращенными глазами, поставленными необыкновенно широко, как у козы. Приплюснутый мягкий нос точно был приклеен с другого лица. Жиденькая клочковатая бороденка придавала ему встрепанный вид, как у человека, который второпях вскочил с постели. Это был типичный российский сиделец, вороватый и льстивый, нахальный и умеющий во-время принизиться. В люди он вышел через жену Дарью, которая в свое время состояла «на положении горничной» у старика Оникова во времена его грозного владычества. Ермошка был лакеем, как теперь Ганька. Старик Оников вдовел и от скуки развлекался крепостными красавицами, в числе которых Дарья являлась последним номером. Она была круглой сиротой, за красоту попала в господский дом, но ничем не сумела бы воспользоваться при своем положении, если бы не подвернулся Ермошка. Оников умер как-то вдруг, и, что всего удивительнее, после него не оказалось никаких сбережений. Стоустая молва приписала его скоропостижную смерть Ермошке, воспользовавшемуся при такой оказии господским добром. Он сейчас же женился на Дарье и зажил своим домом, как следует справному мужику, а впоследствии уже открыл кабак и лавку. Положение Дарьи было самое забитое: Ермошка вымещал на ней худую славу, вынесенную из господского дома. Бедная женщина ходила по своим горницам, как тень, и вся дрожала, когда слышала шаги мужа. Открыто Ермошка ее не увечил, как это делали другие мужики, а изводил ее медленно и безжалостно, как ненужную скотину.

«Хоть бы умереть поскорее...» — мечтала иногда Дарья.

Детей у них не было, и Ермошка мечтал, когда умрет жена, завестись настоящей семьей и имел уже на примете Феню Зыкову. Так рассчитывал Ермошка, но не так вышло. Когда Ермошка узнал, как ушла

Феня из дому убегом, то развел только руками и проговорил:

— Эх, Федосья Родивоновна, не могла ты обождать самую малость, когда моя-то Дарья помрет...

Жалела об этом обстоятельстве и сама Дарья, потому что давно уже чувствовала себя лишней и с удовольствием уступила бы свое место молодой любимой жене.

— Связала я тебя, Ермолай Семеныч, — говорила она мужу о себе, как говорят о покойниках. — В самый бы тебе раз жениться на зыковской Фене... Девка — чистяк. Ох, нейдет моя смертынька...

— Разве не стало невест? — резонировал Ермошка в тон жене. — Как помрешь, сорок ден выйдет, и женюсь...

— В Балчуговском у нас невест непочатый угол, Ермолай Семеныч. Любую да лучшую выбирай.

— В Тайболе возьму, а то и городскую приспособлю... Слава богу, и мы не в угол рожей-то.

— Богатую не бери, а попроще... Сиротку лучше, Ермолай Семеныч, потому как ты уж в годках и будешь на положении вдовца. Богатые-то девки не больно таких женихов уважают...

— Это ты правильно, Дарья... Только помирай скорее, а то время напрасно идет. Совсем из годов выйду, покедова подохнешь...

— Ох, скоро помру, Ермолай Семеныч... Жаль ведь мне глядеть на тебя, как ты со мной маешься.

Дарья употребляла все меры, чтобы умереть, и никак не могла. Она ходила босая по снегу, пила «дорогую траву», морила себя голодом, но ничто не помогало. Ермошка колотил ее только под пьяную руку и давно извел бы вконец, если бы не боялся ответственности. Притом у него было какое-то темное предчувствие, что Дарья — его судьба, которой ни на каком коне не объедешь. Самоунижение Дарьи дошло до того, что она сама выбирала невест на случай своей смерти, и в этом направлении в Ермошкином доме велись довольно часто очень серьезные разговоры. Чета вообще была оригинальная.

Ермошка ждал вешней воды не меньше балчуговских старателей, потому что самое бойкое кабацкое время было связано именно с летним сезоном, когда все промысла были в полном ходу. Он знал свой завод и Фотьянку, как свои пять пальцев: кто захудал из мужиков, кто справился, кто ни шатко ни валко живет. Никакой статистик не мог бы представить таких обстоятельных и подробных сведений о своем «приходе», как называл Ермошка старателей. Низы, где околачивались строгали и швали, он недолюбливал, потому что там царила оголтелая нищета, а в «приходе» нет-нет и провернется счастье.

— Ну-ка, боговы работнички, поворачивай! — покрикивал Ермошка у себя за стойкой на вечно галдевшую толпу старателей.

— Благодетель, на тебя стараемся! — отвечали пьяные голоса. — Мимо тебя ложки в рот не пронесешь... Все у тебя, как говядина в горшке.

— А куды бы вы без меня-то делись? А?..

— Уж это ты правильно, отец родной...

Всех больше надоедал Ермошке шваль Мыльников, который ежедневно являлся в кабак и толкался на народе неизвестно зачем. Он имел привычку приставать к каждому, задирал, ссорился и частенько бывал бит, но последнее мало на него действовало.

— Шел бы ты домой, Тарас, — часто уговаривал его Ермошка, — дома-то, поди, жена тебя вот как ждет. А по пути завернул бы к тестю чаю напиться. Богатый у тебя тестюшка.

— А тебе завидно? И напьемся чаю, даже вот как напьемся.

— А не хочешь того, чем ворота запирают?..

Подвыпивший Мыльников проявлял необыкновенную гордость. Он бил кулаками себя в грудь и выкрикивал на всю улицу, что — погодите, покажет он, каков есть человек Тарас Мыльников, и т. д. Кабацкие завсегдатаи покатывались над Мыльниковым со смеху и при случае подносили стаканчики водки.

— Погодите, братцы, рассчитаюсь... — уверял Мыльников. — Уж я достигну... Дайте только на ноги встать, а там расчет пойдет мелкими.

После пасхи Мыльников частенько стал приходить в кабак вместе с Яшей и Кишкиным. Он требовал прямо полуштоф и распивал его с приятелями где-нибудь в уголке. Друзья вели какие-то таинственные душевные беседы, шептались и вообще чувствовали потребность в уединении. Раз, пошатываясь, Мыльников пошел к стойке и потребовал второй полуштоф.

— Да ты с какой это радости расширился? — спрашивал его Ермошка. — Наследство, што ли, получил?..

— А тебе какая печаль?.. Х-хе... Никто не укажет Тарасу Мыльникову: сам большой, сам маленький. А ты, Ермолай Семеныч, теперь надо мной шутки шутишь, потому как я шваль и больше ничего...

— У всех у вас в Низах одна вера: голь перекатная. Хоть вывороти вас, двоегривенного не найдешь...

— А што, ежели, примерно, богачество у меня, Ермолай Семеныч? Ведь ты первый шапку ломать будешь, такой-сякой... А я шубу енотовую надену, серебряные часы с двум крышкам, гарусный шарф, да этаким чертом к тебе подкачу. Как ты полагаешь?

— По одежде встречают, Тарас... Разбогатеешь, так нас не забудь. Знаешь, кому счастье?..

— Ах ты, курицын сын!.. Да я, может, весь Балчуговский завод куплю и выворочу его совершенно наоборот... Вот я каков есть человек...

— Не пугай вперед, а то еще во сне увижу тебя богатого... Вороны завсегда к ненастью каркают.

Эти сцены повторялись слишком часто, чтобы обращать на себя серьезное внимание. Мыльникову никто не верил, и только удивлялись, откуда он берет деньги на пьянство.

К этой компании потом присоединился Клейменый Мина, старик из балчуговских каторжан, которых уцелело не больше десятка. Это был молчаливый лысый старик с большим лбом и глубоко посаженными глазами. В кабак он заходил редко и скромно сидел все время где-нибудь в уголке. Потом появились старатели с Фотьянки: красавец Матюшка, старый Турка, и сам Петр Васильич Мыльников угощал всех и ходил по кабаку козырем. Промысловые скептики сначала относились к этой компании подозрительно, а потом вдруг

уверовали. Кто-то пустил слух, что раскошелился Кишкин ввиду открытия Кедровской дачи и набирает артель для разведки где-то на реке Мутяшке, где Клейменый Мина открыл золото еще при казне, но скрыл до поры до времени. Даже уверовал сам Ермошка, зараженный охватившей всех золотой лихорадкой. Так он несколько раз уже заговаривал с Кишкиным.

— Андрон Евстратыч, пусти в канпанию...

— Рылом еще не вышел... — отвечал Кишкин торжественно.

— Да ведь все равно мне же золото будете сдавать, — тихо прибавлял Ермошка, прищуривая один глаз.

— Уж это как господь приведет... Одно — сдавать золото, другое — добывать. Рука у тебя тяжелая, Ермолай Семеныч.

— А у Мыльникова легкая?

— Пух — вот какая рука.

Совещания составлявшейся компании не представляли тайны ни для кого, потому что о Мутяшке давно уже говорили, как о золотом дне, и все мечтали захватить там местечко, как только объявится Кедровская дача свободной. Явилась даже спекуляция на Мутяшку: некоторые рабочие ходили по кабакам, на базаре и везде, где сбивался народ, и в самой таинственной форме предлагали озолотить «за красную бумагу». На Мутяшку образовался даже свой курс. Таинственные обогатители сообщали под страшным секретом о существовании какого-нибудь ложка или ключика, где золото греби лопатой. Сложился целый ряд легенд о золоте на Мутяшке, вроде того, что там на золоте положен большой зарок, который не действует только на невинную девицу, а мужику не дается. Рассказывали о каких-то беглых, во времена еще балчуговской каторги, которые скрывались в Кедровской даче и первые «натакались» на Мутяшку и простым ковшом намыли столько, сколько только могли унести в котомках, что потом этих бродяг, нагруженных золотом, подкараулили в Тайболе и убили. Так и осталось неизвестным, где собственно схоронилось мутяшское зо-

лото. Доверчивые люди с замиранием слушали эти рассказы и все сильнее распалялись желанием легкой наживы. Знатоки Мутяшки скоро перестали довольствоваться «красной бумагой», а стали требовать уже четвертной билет. Между прочим, этим промышлял и кривой Петр Васильич, только не в Балчуговском заводе, а в городе. Но лучше всех повел дело Мыльников, который теперь и пропивал дуром полученные деньги. Все знали, что это пропащий человек и что он даже и не знает приискового дела, но такова была жажда золота, что верили пустому человеку, сулившему золотые горы. И разговор у Мыльникова был самый пустой и дурашливый:

— Уж я произведу... Во как по гроб жизни благодарить будете... У меня рука легкая на золото; вот главная причина... Да... Всем могу руководствовать вполне.

Азарт носился в самом воздухе, и Мыльников заговаривал людей во сто раз умнее себя, как тот же Ермошка, выдавший швали тоже красный билет. Впрочем, Мыльников на другой же день поднял Ермошку на смех в его собственном заведении.

— Будешь меня благодарить, Ермолай Семеныч! — кричал он. — А твоя красная бумага на помин моей души пойдет... У волка в зубе — Егорий дал.

Весь кабак надрывался от хохота, а Ермошка плюнул в Мыльникова и со стыда убежал к себе наверх. Центром разыгравшегося ажиотажа явился именно кабак Ермошки, куда сходились хоть послушать рассказов о золоте, и его владелец потерпел законно.

Кроме всего этого, к кабаку Ермошки каждый день подъезжали таинственные кошевки из города. Из такой кошевки вылезал какой-нибудь пробойный городской мещанин или мелкотравчатый купеческий брат и для отвода глаз сначала шел в магазин, а уж потом, будто случайно, заводил разговор с сидевшими у кабака старателями.

— Не надо ли партию? — спрашивали старатели. — Может, насчет того, чтобы ширп ударить...

— Нет, мы этим не занимаемся, — продолжал отводить глаза отпетый городской человек. — Я по своим делам...

Ермошка, спрятавшись наверху, наблюдал в окно этих городских гостей и ругался всласть.

— Вот дураки-то!.. Дарь, мотри, вон какой крендель выкидывает Затыкин; я его знаю, у него в Щепном рынке лавка. Х-ха, конечно, балчуговского золота захотел отведать... Мотри, Мыльников к нему подходит! Ах, пес, ах, антихрист!.. Охо-хо-хо! То-то дураки эти самые городские... Мыльников-то, Мыльников по первому слову четвертной билет заломил, по роже вижу. Всякую совесть потерял человек...

Городской человек, проделав для отвода глаз необходимые церемонии, попадал в кабак и за полуштофом водки получал самые точные сведения, где найти верное золото.

— Да што тут говорить: выставляй прямо четверть!.. — бахвалился входивший в раж Мыльников. — Разве золото без водки живет? Разочнем четверть, — вот тебе и золото готово.

Простые рабочие, не владевшие даром «словесности», как Мыльников, довольствовались пока тем, что забирали у городских охотников задатки и записывались зараз в несколько разведочных партий, а деньги, конечно, пропивались в кабаке тут же. Никто не думал о том, чтобы завести новую одежду или сапоги. Все надежды возлагались на будущее, а в частности на Кедровскую дачу.

— Ишь, как воронье, облепили кабак! — злорадствовал Ермошка. — Только и канпания... Тут ходи да оглядывайся.

Большую сенсацию произвело появление в кабаке известного городского скупщика краденого золота Ястребова. Это был высокий, плечистый и осанистый мужчина со свирепым лицом. Густые брови у него совсем срослись, а ястребиные глаза засели глубоко в орбитах, как у настоящего хищника. Окладистая с проседью борода придавала ему степенный купеческий вид. Одет он был в енотовую шубу и бобровую шапку.

— Никите Яковличу, благодетелю!.. — слышались голоса раболепных прихлебателей. — Не хошь ли местечко потеплее?..

— Ладно, заговаривай зубы, — сурово отвечал Ястребов, окидывая презрительным взглядом приисковую рвань. — Поищите кого попроще, а я-то вполне превосходно вас знаю... Добрых людей обманываете, черти.

Он прошел наверх к Ермошке и долго о чем-то беседовал с ним. Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали; все об этом говорили, но никто и ничего не мог доказать: очень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы. Впрочем, пьяный Ястребов, — он пил запоем, — хлопнув Ермошку по плечу, каждый раз говорил:

— Ну, Ермошка, плачет о нас острог-то!..

— Не те времена, Никита Яковлич, — подобострастно отвечал Ермошка, чувствовавший к Ястребову безграничное уважение.

II

Дома Мыльников почти не жил. Вставши утром и не прочухавшись хорошенько с похмелья, он выкраивал с грехом пополам «уроки» для своей мастерской, ругал Оксю, заведовавшую всей работой, и уходил из дому до позднего вечера.

Избушка у Мыльникова была самая проваленная, как старый гриб. Один угол осел, крыша прогнила, ворота покосились, а надворные постройки постепенно шли на дрова. Одним словом, дом рушился со всех концов, и от него веяло нежилым. Впрочем, на Низах было много таких развалившихся дворов, потому что здесь главным образом царила самая вопиющая бедность. Дело в том, что Нагорная, где поселились каторжные, отбывшие срок наказания, после освобождения осталась верной исконному промысловому делу. То же было и на Фотьянке, где сгруппировались ссыльнопоселенцы. А Низы, населявшиеся «некрутами», захотели после воли существовать «своим средствием», и здесь быстро развились ремесла: столярное и чеботарное. Положим, что балчуговская работа пользовалась очень плохой репутацией, но все дело

сводилось на то, чтобы освободиться от приискового шатания и промысловой маеты. Местом сбыта служил главным образом город, а отсюда уже балчуговское ремесло расходилось по нескольким уездам и дальше. Сотни семей были заняты одним и тем же делом и сбивали цену товара самым добросовестным образом: городские купцы богатели, а Низы захудали до последней крайности. Избушка Мыльникова служила ярким примером подобного промыслового захудания, и ее история служила иллюстрацией всей картины.

Тарас Мыльников был кантонист. Его отец, пригнанный в один из рекрутских наборов в Балчуговский завод, не вынес золотой каторги и за какую-то провинность должен был пройти «зеленую улицу» в несколько тысяч шпицрутенов. Он не вынес наказания и умер на тележке, на которой довозили изнемогших «грешников» до конца улицы. Дело в том, что преступников сначала вели, привязав к прикладу солдатского ружья, и когда они не могли идти — везли на тележке и здесь уже добивали окончательно. Опытные люди знали, что стоит такому грешнику сейчас после наказания напиться воды — и конец. Так было и с Мыльниковым, по крайней мере в семье сохранилось предание, что он умер от воды. Маленький Тарас после отца попал в кантонисты и вынес тяжелую школу в местном батальоне, а когда пришел в возраст, его отправили на промыслы. Здесь он вывернулся с первого раза, потому что поступил в приисковые шорники: и работа нетрудная, да и жил он все время в тепле. Воля избавила Тараса от солдатчины и обязательной промысловой службы. Он сейчас же поселился на Низах, где купил себе избу и занялся столярным делом. Одинокому человеку было нужно немного, и Тарас зажил справно, как следует настоящему мужику. Это время его благосостояния совпало с его женитьбой на Татьяне, которую он вывел из богатого зыковского дома.

Затем последовал крутой поворот. В конце шестидесятых годов, когда начиналась хивинская война, вдруг образовался громадный спрос на балчуговский сапог, и Тарас бросил свое столярное дело. У него был свой расчет: в столярном деле ему приходилось отду-

ваться одному, а при сапожном ремесле ему могли помогать жена и подраставшие дети. Так и вышло: Тарас рассчитал верно. Вся семья запряглась в тяжелую работу, а по мере того как подрастали дети, Тарас стал все больше и больше отлынивать от дела, уделяя досуги любезным разговорам в кабаке Ермошки. Особенно облегчала его жизнь подросшая старшая дочь Окся, корявая и курносая девка, здоровая, как чурбан. Это было безответное существо, обладавшее неистощимым терпением. Жена Татьяна от работы, бедности и детей давно выбилась из сил и больше управлялась по домашности, а воротила всю работу Окся, под непосредственным наблюдением которой работали еще двое братьев-подростков.

— И в кого ты у нас уродилась, Окся, — часто говорила Татьяна, наблюдая дочь. — Ровно у нас таких неуворотных баб и в роду не бывало. Дерево деревом.

— Такая уж уродилась, мамынька, — отвечала Окся, не разгибаясь от работы. — Вся тут...

— Ох, горе ты мое, Окся! — стонала Татьяна. — Другие-то девки вот замуж повыскакали, а ты так в девках и зачичеревеешь... Кому тебя нужно, несообразную!

— Бог пошлет счастья, так и я замуж выйду, мамынька... Слава богу, не хуже других.

— Ох, дура, дура...

Оригинальнее всего было то, что Оксю, кормившую своей работой всю семью, походя корили каждым куском хлеба, каждой тряпкой. Особенно изобретателен был в этом случае сам Тарас. Он каждый раз, принимая Оксину работу, непременно тыкал ее прямо в физиономию чем попало: сапогом, деревянной сапожной колодкой, а то и шилом.

— Стерва, знаешь хлеб жрать! — ругался он. — Пропасти на тебя нет!

Он все больше и больше наваливал работы на безответную девку, а когда она не исполняла ее, хлестал ремнем или таскал за волосы. Окся не жаловалась, не плакала, и это окончательно выводило Тараса из себя.

— Бесчувственная стерва... — удивлялся Тарас, измучившись боем. — Што ее учи, што не учи — один прок.

К счастью Окси, Тарасу некогда было серьезно заниматься наукой, и Окся в его отсутствие наслаждалась покоем. Что она думала — никто не знал, да и не интересовался знать, а Окся работала, не разгибая спины, и вечно молчала. Любимым удовольствием для нее было выйти за ворота и смотреть на улицу. Окся могла простоять таким образом у ворот часа три и все время скалила белые зубы. Парни потешались над ней, как над круглой дурой, и шутили грубые шутки: то грязью запустят, то в волосы закатают сапожного вару, то вымажут сажей. Окся защищалась отчаянно, как обезьяна, и тоже не жаловалась, точно так все и должно быть.

Так шла жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее неожиданно хлынули дикие деньги, какие Тарас вымогал из доверчивых людей своей «словесностью». Раз под вечер он привел в свою избушку даже гостей — событие небывалое. С ним пришли: Кишкин, Яша, Петр Васильич с Фотьянки и Мина Клейменый.

— Милости просим, — приглашал Тарас. — Здесь нам много способнее будет разговоры-то разговаривать, а в кабаке еще, того гляди, подслушают да вызнают... Тоже народ ноне пошел, шильники. Эй, Окся, айда к Ермошке. Оборудуй четверть водки... Да у меня смотри: одна нога здесь, а другая там. Господа, вы на нее не смотрите: дура набитая. При ней все можно говорить, потому, как стена, ничего не поймет.

Окся накинула на голову платок и бросилась к двери.

— Эй ты, пень березовый! — остановил ее отец. — Стой, дура, выслушай перво... Водки купишь, так на обратном пути заверни в лавочку и купи фунт колбасы.

Это уж было совсем смешно, и Окся расхохоталась. Какая такая колбаса? Тоже выдумает тятенька.

— Ну не дура ли набитая? — повторял Тарас, обращаясь уже к гостям.

— Однако и дворец у тебя, Тарас, — удивлялся Кишкин, не зная, куда сесть. — Одним словом, хоромина.

— А вот погоди, Андрон Евстратыч, все справим, бог даст.

Петр Васильич степенно молчал, оглядывая Тарасову худобу. Он даже пожалел, что пошел сюда: срам один. Но предстояло важное дело, которое Мыльников все откладывал: именно сегодня Мина Клейменый должен был рассказать какую-то мудреную историю про Мутяшку. Это был совсем древний старик, остов человека, и жизнь едва теплилась в его потухавших глазах. Свое прозвище он получил от клейм на висках. На старческой ссохшейся и пожелтевшей коже сохранились буквы СК, то есть ссыльно-каторжный. Таких клейменых в Балчуговском заводе оставалось уже немного: старики быстро вымирали. Мина был из дворовых людей Рязанской губернии и попал на каторгу за убийство бурмистра. Было это так давно, что и сам Мина уже не мог хорошенько припомнить, за что убил. Прошлое у него совсем вытерлось из памяти, заслоненное долголетней каторгой.

Когда Окся принесла водки и колбасы, твердой, как камень, разговоры сразу оживились. Все пропустили по стаканчику, но колбасу ел один Кишкин да хозяин. Окся стояла у печки и не могла удержаться от смеха, глядя на них: она в первый раз видела, как едят колбасу, и даже отплюнула несколько раз.

— Так ты нам с начала рассказывай, Мина, — говорил Тарас, усаживая старика в передний угол. — Как у вас все дело было... Ведь ты тогда в партии был, когда при казне по Мутяшке ширпы были?

— Был, как же, — соглашался Мина, шамкая беззубым ртом. — Большая партия была...

— Это при Разове было? — справился Петр Васильич, сохраняя необыкновенную степенность.

— Не перешибай ты его! — останавливал Тарас. — Старичок древний, как раз запутается... Ну-ка, дедушка, еще стаканчик кувырни!

— Большая партия была... — продолжал Мина, точно пережевывал каждое слово. — В кандалах

выгнали на работу, а места по Мутяшке болотистые... лес... Казаки за нами с нагайками... Битва была, а не работа. Ненастье поднялось страшенное, а хлеб-то и подмок... Оголодали... промокли... Ну, Разов нагнал — и сейчас давай нас драть. Он уж без этого не мог... Лютый человек был. Ну, на Мутяшке-то мы цельный месяц му̀ку принимали, а потом и подвернись казакам один старец. Он тут в лесу проживал, душу спасал... Казаки-то его поймали и приводят. Седенький такой старец, а головка трясется. Разов велел и его отпалыскать... Ну, старец-то принял наказание, перекрестился и Разова благословил... «Миленький, говорит, мне тебя жаль, не от себя лютуешь». Разов опять его бить... Тут уж старец слег: разнемогся вконец. И Разова тоже совесть взяла: оставил старца... Ну, мы робим, ширпы бьем, а старец под елочкой лежит и глядит на нас. Глядел-глядел, да и подзывает меня. «Што вы, говорит, понапрасну землю роете?.. И золото есть, да не вам его взять. Не вашими погаными руками...» — «Как же, — говорю я, — взять его, дедушка?» — «А умеючи, говорит, умеючи, потому положон здесь на золоте великий зарок. Ты к нему, а оно от тебя... Надо, говорит, штобы невинная девица обошла сперва место то по три зари, да и ширп бы она же указала...» Ну, какая у нас в те поры невинная девица, когда в партии все каторжане да казаки; так золото и не далось. Из глаз ушло... На промывке как будто и поблескивает, а стали доводить — и нет ничего. Так ни с чем и ушли...

— Ну, а про свинью-то, дедушка, — напомнил Тарас. — Ты уж нам все обскажи, как было дело...

— Тоже старец сказывал... — продолжал Мина, с трудом переводя дух. — Он сам-то из Тайболы, старой веры... Ну, так в допрежние времена, еще до Пугача, один мужик из Тайболы ходил по Кедровской даче и разыскивал тумпасы. Только дошел он до Мутяшки, ударил где-то на мысу ширп, и што бы ты думал, братец ты мой?.. — лопата как зазвенит... Мужик даже испугался... Ну, собрался с духом и выкопал золотой самородок пуда в два весом. Выкопать-то выкопал мужик, да испугался... Первое дело, самородок-то на свинью походил: и как будто рыло и как будто

ноги — как есть свинья. Другое дело, куды ему деваться с самородком? В те поры с золотом-то такие строгости были, одна страсть... Первого-то мужика, который на Балчуговке нашел золото, слышь, насмерть начальство запороло... Вот тайбольскому мужику и сделалось страшно...

— Да не дурак ли? — вздохнул угнетенно Петр Васильич. — Бог счастья послал, а он испугался...

— Не перешибай! — оборвал его Тарас. — Дай кончить.

— И сделалось мужику страшно, так страшно — до смерти... Ежели продать самородок — поймают, ежели так бросить — жаль, а ежели объявить начальству — повернут всю Тайболу в каторгу, как повернули Балчуговский завод. Три ночи не спал мужик: все маялся и удумал штуку: взял да самородок и закопал в ширп, где его нашел. А сам убежал домой в Тайболу и молчал до самой смерти, а когда стал помирать, рассказал все своему сыну и тоже положил зарок молчать до смерти. Сын тоже молчал и только перед смертью объявил все внуку и тоже положил зарок, как дедушка.

— Ах, дурак мужик!.. — воскликнул Кишкин. — Ну, не дурак ли?

— Да еще какой дурак-то: бог счастья послал, а он его опять в землю зарыл... Ему, подлецу, руки по локоть отрубить, а самого в воду. Дурак, дурак...

— Удавить его мало! — заявил со своей стороны Тарас. — Да ежели бы мне бог счастья послал, да я бы сейчас Ястребову в город упер самородок-то, а потом ищи... Дурак мужик!..

Вся компания разразилась такой неистовой руганью по адресу мужика, закопавшего золотую свинью, что Мина Клейменый даже напугался, что все накинулись на него.

— Да ведь это не я, братцы! — взмолился он, забиваясь в угол.

— Ах, дурак мужик!.. Живого бы его изжарить на огне... Дурак, дурак!

Даже скромный Яша и тот ругался вместе с другими, размахивал руками и лез к Мине с кулаками.

Лица у всех сделались красными от выпитой водки и возбуждения.

— А мы его найдем, самородок-то,— кричал Мыльников, — да к Ястребову... Ха-ха!.. Ловко... Комар носу не подточит. Так я говорю, Петр Васильич? Родимый мой... Ведь мы-то с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам.

— Как есть родня: троюродное наплевать.

— А ты не хрюкай на родню. У Родиона Потапыча первая-то жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукерье Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит. Ловко Лукерья Тимофеевна прижала Родиона Потапыча. Утихомирила разом, а то совсем Яшку собрался драть в волости. Люблю...

— Ну, братцы, надо об деле столковаться, — приставал Кишкин. — Первое мая на носу, надо партию...

— Валяй партию, всех записывай! — кричали пьяные голоса. — Добудем Мутяшку... А то и самородку разыщем, свинью эту самую.

— Я на себя запишу заявку-то... — предлагал Кишкин.

— Конечно, на себя: ты один у нас грамотный...

— А я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то, — предлагал Мыльников, — она хоша и круглая дура, а честная...

— Можно и сестру Марью на такой случай вывести... — предлагал расхрабрившийся Яша. — Тоже девица вполне... Может, вдвоем-то они скорее найдут. А ты, Андрон Евстратыч, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага первое дело.

— Да уж надейтесь на меня: не подгадим дела, — уверял Кишкин.

Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окся успела слетать за второй четвертью и на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сенях.

— Они теперь совсем одурели... — коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки. — А тятенька прямо на стену лезет...

— Да разве на одной Мутяшке золото-то? — выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. — Да сколько его хошь, золота: по Худенькой, по Малиновке, по Генералке, а там Свистунья, Ледянка, Миляев мыс, Суходойка, Маякова слань. Бугры золота...

Увлекшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки.

— Перестань врать, непутевая голова! — оборвал его Петр Васильич.

Пьяный Мина Клейменый давно уже лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окся принялась за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь, и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол.

III

Тронувшаяся вешняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением первого мая, когда открывалась Кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Балчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока балчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная голытьба и приисковая рвань. Да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только первого мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии.

— Ничего, пусть поволнуются... — успокаивал Карачунский. — По крайней мере теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь...

— А время-то какое?.. — жаловался Родион Потапыч. — Ведь в прошлом году у нас стоном стон стоял...

Одних старателишек неочерпаемое множество, а теперь они губу на локоть. Только и разговору: Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романыч.

— Вздор... Попробуют и бросят, поверь мне. Во всяком случае, я ничего страшного пока еще не вижу...

Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил:

— Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать... Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его раньше.

— Уж этот уцелеет... Повесить его мало... Теперь у него с Ермошкой кабатчиком такая дружба завелась — водой не разольешь. Рука руку моет... А што на Фотьянке делается: совсем сбесился народ. С Балчуговского все на Фотьянку кинулись... Смута такая пошла, што не слушай теплая хороминка. И этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал раза три... Живым мясом хотят разорвать Кедровскую-то дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя: вот до чего привел господь дожить. Не глядели бы глаза.

— Ну, а что твоя Феня?

Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал.

— Устроил... — коротко ответил он, опуская глаза. — К себе-то в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фотьянку, к сродственнице определил. Баушка Лукерья... Она мне по первой жене своячиной приходится. Ну, я к ней и определил Феню пока што...

— А потом?

— А потом уж што господь пошлет.

После длинной паузы старик прибавил:

— Своячина-то, значит, баушка Лукерья, совсем правильная женщина, а вот сын у ней...

— Петр Васильич? — подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена.

— Он самый... Сродственник он мне, а прямо скажу: змей подколодный. Первое дело — с Кишкиным

канпанию завел, потом Ястребова к себе на фатеру пустил... У них теперь на Фотьянке черт кашу варит.

Чтобы добыть Феню из Тайболы, была употреблена военная хитрость. Во-первых, к Кожиным отправилась сама баушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, буде она явится с повинной.

— Конешно, построжит старик для видимости, — объясняла она старухе Маремьяне, — сорвет сердце... Может, и побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама, поди, знаешь по своим детям.

— А как он ее запрет дома-то? — сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла.

— Запре-от? — удивилась баушка Лукерья. — Да ему-то какая теперь в ней корысть? Была девка, не умели беречь, так теперь ветра в поле искать... Да еще и то сказать, в Балчугах народ балованный, как раз еще и ворота дегтем вымажут... Парни-то нынче ножовые. Скажут: нами брезговала, а за кержака убежала. У них свое на уме...

— Это ты правильно, баушка Лукерья... — туго соглашалась Маремьяна. — Хошь до кого доведись.

— Я-то ведь не неволю, а приехала вас же жалеючи... И Фене-то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Феня-то все-таки своя кровь, из роду-племени не выкинешь.

— Уж ты-то помоги нам, баушка...

Уластила старуха кержанку и уехала. С неделю думали Кожины, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед жениными слезами. Нечего делать, заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожин жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил, а сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяло его сердце беду.

Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаньями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошевни и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась было Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожин ждет ее где-нибудь поблизости, объехал засаду другой улицей, а там мелькнула «пьяная контора», Ермошкин кабак и последние избушки Нагорной.

— Тятенька, родимый, куда ты везешь меня? — взмолилась Феня.

— А вот узнаешь, куда...

Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот и Краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фотьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренно обрадовалась: баушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошевни переехали реку Балчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильича. На топот лошади в волоковом оконце показалась голова самой баушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо встречать дорогих гостей и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама.

— Ты посиди здесь, жар-птица, а я пока потолкую с отцом, — сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой.

Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась капитальной стеной на две комнаты — в первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей.

— Ну, гостенек дорогой, проходи в горницу, — приглашала баушка Лукерья. — Сядем рядком да поговорим ладком...

— О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось... А где у тебя змей-то кривой?

— Ох, не спрашивай... Компанятся они теперь в кабаке вот уж близко месяца, и конца краю нету. Только што и будет... Сегодня зятек-то твой, Тарас Матвеич, пришел с Кишкиным и сейчас к Фролке: у них одно заведенье. Ну, так ты насчет Фени не сумлевайся: отвожусь как-нибудь...

— Ты с нее одежу-то ихнюю сыми первым делом... Нож мне это вострый. А ежели нагонят из Тайболы да будут приставать, так ты мне дай знать на шахты или на плотину: я их живой рукой поверну.

— Всяк кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч... Управимся и без тебя. Чем я тебя угощать-то буду, своячок?.. Водочку не потребляешь?

— Отроду не пивал, не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать... Ну так, своячинушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе бог на душу положит, а там, может, и сочтемся. Што тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай...

Баушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась, чего он боится, именно, встречи с Петром Васильичем и Кишкиным. Она проводила его за ворота.

— Приеду как-нибудь в другой раз... — глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошевни. — А теперь мутит меня... Говорить-то об *ней* даже не могу. Ну, прощай...

Так Феня и осталась на Фотьянке. Баушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее: придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет.

— Баушка, родненькая, мне страшно... — несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить.

— Страшнее того, што сама наделала, не будет...

Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Балчугова ее девичье приданое. Снимая с себя раскольничий косоклинный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьяной, она точно навеки прощалась со своей тайболовской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно

вспоминаючи любовные речи Акинфия Назарыча... Где-то он теперь, мил-сердечный друг? Принесут ему ее дареное платье, как с утопленницы. Баушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала:

— Не о себе ревешь, непутевая... Перестань дурить. То-то ваша девичья совесть... Недаром слово молвится: до порога.

— Хошь бы я словечко одно ему сказала... — плакала Феня. — За привет, да за ласку, да за его любовь...

— Очень уж просты на любовь-то мужики эти самые, — ворчала старуха, свертывая дареное платье. — Им ведь чужого-то века не жаль, только бы свое получить. Не бойся, утешится твой-то с какой-нибудь кержанкой. Не стало вашего брата, девок... А ты у меня пореви, на поклоны поставлю.

Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да баушка Лукерья не пустила, а опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фотьянке.

Баушка Лукерья жила в задней избе одна, и, когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю «казенную жизнь»: как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила «за помещиком», как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поруганья и подожгла барский дом.

— А стыда-то, стыда сколько напринимались мы в девичьей, — рассказывал в темноте баушкин голос. — Сегодня одна, завтра другая... Конешно, подневольное наше девичье дело было, а пригнали нас на каторгу в Балчуги, тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный, за который и взыску нет: чего с каторжанок взять. А и тут, как вышли на поселенье, посмотри-ка, какие бабы вышли: ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой-то не нашлось, штобы польстилась в другую веру уйти... Терпеть — терпели всячину, а этого не было. И бога не забывали и в свою православную церковь

ходили... Только и радости было, што одна церковь, когда каторгу отбывали. Родная мать наша была церковь-то православная: сколько, бывало, поплачем да помолимся, столько и поживем. Вот это какое дело... расейский народ крепкий, не то што здешние.

Феня внимательно слушала неторопливую баушкину речь и проникалась прошлым страшным горем, какое баушка принесла из далекой Расеи сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас баушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда баушка Лукерья сказала:

— А ты того не подумала, Феня, што родился бы у тебя младенец, и потащила бы Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве ихнее крещенье правильное: загубила бы Маремьяна ангельскую душеньку — только и всего. Какой бы ты грех на свою душу приняла?.. Другая девушка не сохранит себя, — вон какой у нас народ на промыслах! — разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет... Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того ты не подумала, што у тебя народилось бы человек пять ребят, тогда как?..

— Баушка, миленькая, я думала, што... Очень уж любит меня Акинфий-то Назарыч, может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думала я об этом и день и ночь...

— А Маремьяна?.. Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое это дело, закостенела она в своей старой вере...

— А ежели Маремьяна умрет, баушка? Не два века она будет жить...

— Тогда другой разговор... Только старые люди сказывали, што свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени...

Каждый вечер происходили эти тихие любовные речи, и Феня все больше проникалась сознанием правоты баушки Лукерьи. А с другой стороны, ее тянуло в Тайболу мертвой тягой: свернулась бы птицей

и полетела... Хоть бы один раз взглянуть, что там делается!

Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Феня, и верхом приехал в Фотьянку. Сначала, для отвода глаз, он завернул в кабак, будто собирается золото искать в Кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильичем. Тот не заставил себя ждать и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильич с час ломал комедию и сговаривался с Кожиным о золоте.

— Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч, — пригласил он, наконец, смущенного Кожина, — может, дома-то лучше сговоримся...

Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком.

— Вот што, друг милый, — заговорил Петр Васильич, — зачем ты приехал — твое дело, а только смотри, штобы тихо и смирно. Все от матушки будет: допустит тебя или не допустит. Так и знай...

— Тише воды, ниже травы буду, Петр Васильич, а твоей услуги не забуду...

— То-то, уговор на берегу. Другое тебе слово скажу: напрасно ты приехал. Я так мекаю, што матушка повернула Феню на свою руку... Бабы это умеют делать: тихими словами как примется наговаривать да как слезами учнет донимать — хуже обуха.

Сначала Петр Васильич пошел и предупредил мать. Баушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей вчуже сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фотьянку нанимать рабочих для заявки.

— Вот што, Акинфий Назарыч, золото-то ты свое уж оставь, — обрезала баушка Лукерья. — Захотел Феню повидать? Так и говори... Прямое дерево ветру не боится. Я ее сейчас позову.

У Кожина захолонуло на душе: он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока баушка Лукерья хо-

дила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильич стоял неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше.

— Феня... — зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней.

— Не подходи, Акинфий Назарыч... — остановила она. — Што тебе нужно от меня?

Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил:

— Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна: своей ты волей попала сюда или неволей?

— Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч... Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайболу я не поеду, ежели...

Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила:

— Хочу, штобы все по нашей вере было...

Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильич крякнул, баушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно мгновение, и она бросилась бы к нему, но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил:

— Бог тебе судья, Федосья Родионовна... Не так у меня было удумано, не так было слажено, душу ты во мне повернула.

— Зачем ты ее сомущаешь? — остановила его баушка Лукерья. — Она про свою голову промышляет...

Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал:

— Баушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя...

— Ладно, я еще сама с тобой поговорю... Феня, ступай к себе.

Разговор оказался короче воробьиного носа: баушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами.

— Не о чем, видно, нам разговаривать-то, — решил он, прощаясь. — Пропадай, голова, ни за грош, ни за копеечку!

Когда Кожин вышел из избы, баушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила:

— Хорош мужик, кабы не старуха Маремьяна.

IV

Кишкин не терял времени даром и делал два дела зараз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключения, — все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровской даче, а это требовало и времени и уменья.

Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире, в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем, — старую газету, которую выпрашивал почитать у кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на дороге, образцы разных горных пород и т. д. В одном уголке стоял заветный деревянный шкафик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о «казенном времени». В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук ткет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился: он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания.

— Всем сестрам по серьгам! — говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. — Что такое

теперь Кишкин: ничтожность! пыль!.. последний человек!.. Хи-хи-хи!.. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет... всех!.. Э, голубчики, будет: пожили, порадовались — надо и честь знать. Поди, думают, что все уж умерло и быльем поросло, а тут вдруг сюрпризец... Пожалуйте, на цугундер, имя рек! Хи-хи... Вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит. Вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет... Погодите, всех выведу на свежую воду! Будете помнить Кишкина.

Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая так, что вдова хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся.

Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около двенадцати верст. Дорога проходила через Тайболу. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на двадцать, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. Вот она, голубушка... Тепленькое дельце заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. «Какой Кишкин?..» Х-ха, вот вам и какой: добренький, старенький, бедненький... Пешечком идет Кишкин и несет вам гостинец.

В городе Кишкин знал всех и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на письменный стол, сказал, что рассмотрит ее.

— Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие, — смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения вот со стороны этого важного чина. — Маленький человек... Подожду.

От прокурора Кишкин прошел в горное правление, в так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось: «золотой стол» находился в ведении одной горной фамилии вот уже пятьдесят лет, и чужому человеку здесь делать было нечего. А тепленькое местечко... В горных делах царила фамилия

Каблуковых: старший брат, Илья Федотыч, служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший, Андрей Федотыч, столоначальником «золотого отряда». Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разное начальство служили только для декорации.

— Ну что, Андрон Евстратыч? — спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной целью хотя этим путем проникнуть в роковой круг. — Каково прыгаешь?

— Да вот думаю золотишко искать в Кедровской даче.

— Разве лишние деньги есть?

— На мои сиротские слезы, может, бог и пошлет счастья...

— Что же, давай бог нашему теляти волка поймати. Подавай заявку, а отвод сейчас будет готов. По старой дружбе все устроим...

— Знаю я вашу дружбу...

Андрей Федотыч был добродушный и веселый человек и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина: хорошо шутить, когда в банке тысяч пятьдесят лежит. Старший брат, Илья Федотыч, наоборот, был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в соседнюю комнату и строго спросил:

— Ты это что, сбесился, Андрошка?

— А што?

— А вот это самое... Думаешь, мы и не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы-то свои пора тебе оставить.

— Не поглянулось?..

— Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку: взвыла собака на свою голову. Так и твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек, и больше ничего.

Кишкин смотрел на Илью Федотыча и только ухмылялся: вот этот вперед всех догадался... Его не проведешь.

— Вот што, Илья Федотыч, — заговорил Кишкин деловым тоном, — теперь уж поздно нам с тобой разговаривать. Сейчас только от прокурора.

— Ах, пес!..

— Вот тебе и пес... Такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной походите. И похóдите, даже очень похóдите... А пока што думаю заявочку в Кедровской даче сделать.

— Не дадим, — коротко отрезал Илья Федотыч.

— Нет, дашь... — так же коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. — В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, кабы не моя сила. Давно бы мне так-то догадаться...

Илья Федотыч с изумлением посмотрел на Кишкина: перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил:

— Ну, черт с тобой, делай заявку...

Эта ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения: сам Илья Федотыч трухнул перед ним, а это что-нибудь значит.

Вернувшись в Балчуговский завод, Кишкин принялся за дело.

Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фотьянкой, где по обоим берегам Балчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления первого мая поисковые партии сосредоточивались в Фотьянке, потому что отсюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, то есть всего верст двенадцать. Первым на Фотьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме, именно у Петра Васильича. Баушка Лукерья не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла.

— Што мы, разве невольники какие для твоего Родиона-то Потапыча? — выкрикивал Петр Васильич. — Ему хорошо, так и другим тоже надо... Как собака лежит на сене: сам не ест и другим не дает. Продался канпании и знать ничего не хочет... Захудал народ вконец, взять хоть нашу Фотьянку, а кто цены-то ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал...

— По кабакам бы меньше пропивали!

— Кабак тут не причина, маменька... Подшибся народ вконец, вот из последних и канпанятся по кабакам. Все одно за канпанией-то пропадом пропадать... И наше дело взять: какая нам такая печаль до Родиона Потапыча, когда с Ястребова ты в месяц цалковых пятнадцать получишь. Такого случая не скоро дождешься... В другой раз Кедровскую дачу не будем открывать.

Старуха сдалась, потому что на Фотьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал пятнадцать рублей в месяц да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем тарантасе и произвел на всю Фотьянку большое впечатление, точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево.

— Ну, баушка, будем жить-поживать да добра наживать, — весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице.

— А я тебе вот што скажу, Никита Яковлич, — ответила старуха, — жить живи себе на здоровье, а только боюсь я...

— Чего испугалась-то прежде времени, баушка?

— Да как же, начнешь золото скупать... И нас засудят.

Ястребов засмеялся.

— Ну, этого у меня заведенья не полагается, баушка, — успокоил он, — у меня один закон для всех: кто из рабочих только нос покажет с краденым золотом — шабаш. Штобы и духу его не было... У меня строго, баушка.

— То-то, миленький, смотри...

— В оба глядим, баушка, где плохо лежит, — пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу. — Не бойся, а только живи веселее, — скорее повесят...

— С тобой, с разговором, и то повесят...

Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча.

Появлением Ястребова в доме Петра Васильича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама баушка Лукерья с Феней.

— Ну, это не фасон, Петр Васильич, — ворчал Кишкин. — Ты што раньше-то говорил: «У меня в избе живите, как дома», «у меня вольготно», а сам пустил Ястребова.

— Ах, Андрон Евстратыч, не я пустил, а мамынька, — отпирался Петр Васильич самым бессовестным образом.

— Не ври уж в глаза-то, а то еще как раз подавишься...

Таким образом баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки: ручной вашгерд, насос, скребки, лопаты, кайлы, пробный ковш и т. д. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину, как главному коноводу.

Канун первого мая для Фотьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Балчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем галдят.

— Это твоя работа, анафема!.. — корил Кишкин Мыльникова, которого брали на разрыв. — Вот сколько народу обоврал...

— Был такой грех, Андрон Евстратыч, в городу деньги легкие... Пусть потешится.

К обеду пригнал сам Ермошка, повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фотьянка сразу опустела, потому что партий тридцать выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фотьянки вела на Мелединский кордон. Это был настоящий поход, точно двигалась какая-нибудь армия. Золотопромышленники ехали верхами, потому что в весеннюю распутицу на колесах здесь не было хода, а рабочие шли пешком. Партия Кишкина выступила одной из последних. Задержал Мыльников, пропавший в самую критическую минуту, — его едва разыскали. Он вообще что-то хитрил.

— Ты у меня, оборотень, смотри!.. — пригрозил Кишкин, вошедший в роль заправилы. — В лесу-то один Никола бог: расчет мелкими дадим.

Партия составлена была из следующих лиц: Кишкин, Петр Васильич, Мыльников, Яша, Мина Клейменый, Турка и Матюшка. Настоящим работником был один Матюшка да разве Петр Васильич с Мыльниковым, а остальные больше для счета. Впрочем, приисковая работа требовала большой сноровки, и старики могли ответить за молодых. Собственно вожаком служил Мина Клейменый, а другие только проверяли его. В хвосте партии плелась Окся, взятая по общему соглашению для счастья. Это была единственная баба на все поисковые партии, что заметно шокировало настоящих мужиков, как Матюшка, делавший вид, что совсем не замечает Окси.

— Ты, дедушка, не ошибись, — упрашивал Кишкин. — Тоже не молодое твое место... Может, и запамятовал место-то?

— Чего его запамятовать-то? — обижался Мина. — Как перейдем Ледянку, сейчас тебе вправо выпадет дорога на Мелединский кордон, а мы повернем влево, к Каленой горе...

— Да ведь ты про Миляев мыс сказывал-то?

— Ах, какой же ты, братец мой, непонятный! Ну, тут тебе и есть Миляев мыс, потому как Мутяшка упала в Меледу под самой Каленой горой.

— Смотри, старый, не ошибись...

Кишкин ужасно волновался и подозрительно оглядывал каждого встречного.

— А где же Ястребов-то? — спохватился он. — Ах, батюшка... Как раз он нагонит нас, да по нашим следам и пойдет.

— Чай остался пить с Ермошкой... — объяснил уклончиво Петр Васильич.

Кедровская дача занимала громадную площадь в четыреста тысяч десятин и из одного угла в другой была перерезана рекой Меледой, впадавшей в Балчуговку верстах в двадцати ниже Фотьянки. Вся дача состояла из непроходимых болот и дремучего леса. Единственным живым пунктом был кордон на Меледе, где зиму и лето жил лесник. В Меледу впадал целый ряд болотных речек, как Мутяшка, Генералка, Ледянка, Свистунья и Суходойка. Застоявшаяся болотная вода этими речонками выливалась в Меледу. Места были все глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», то есть собирать шишки по кедровникам. Дорога в верхотинах Суходойки и Ледянки была еще в казенное время правлена и получила название Маяковой слани, — это была сейчас самая скверная часть пути, потому что мостовины давно сгнили, и приходилось людям и лошадям брести по вязкой грязи, в которой плавали гнилые мостовины. Про Маякову слань рассказывали нехорошие вещи: блазнило здесь и глаза отводило, если кто оробеет. Перед Маяковой сланью партии делали первую передышку, а часть отправилась на заявки вниз по Суходойке.

— Это твоя работа... — шутил Кишкин, показывая Мыльникову на пробитую по берегу Суходойки сакму. — Спасибо тебе скажут.

На Маяковой слани партия Кишкина «затемнала», и пришлось брести в темноте по страшному месту. Особенно доставалось несчастной Оксе, которая постоянно спотыкалась в темноте и несколько раз чуть не растянулась в грязь. Мыльников брел по грязи за ней и в критических местах толкал ее в спину черенем лопаты.

— Ну ты, скотинка богова... — ворчал он. — Ведь уродится же этакая тварина!

У конца Маяковой слани, где шла повертка на кордон, партия остановилась для совещания. Отсюда к Каленой горе приходилось идти прямо лесом.

— Мина, смотри, не ошибись! — кричали голоса.— Кабы на Малиновку не изгадать...

Река Малиновка была правым притоком Мутяшки, о ней тоже ходили нехорошие слухи. Когда партия двинулась в лес, произошло некоторое обстоятельство, невольно смутившее всех.

— Тятька, кто-то на вéршной проехал, — заявила Окся, показывая на повертку к кордону. — Остановился, поглядел и поехал...

— Да куда поехал-то, чучело гороховое?

— А за вами...

Кишкину тоже показалось, что кто-то «следит» за партией на известном расстоянии.

V

Ночь на первое мая была единственной в летописях золотопромышленности: Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в двенадцать часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина; очутился здесь и Ястребов, и кабатчик Ермошка, и мещанин Затыкин, и еще какие-то никому неведомые люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партией на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных.

— Руби столбы, ребята! — командовал Кишкин, размахивая руками. — До двенадцати часов поставлены... Не по закону!

— Врешь, у тебя часы переведены! — кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. — Не тронь мои столбы...

Поднялся шум и гвалт... Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку. Произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова:

— Батюшки, убили!.. Родимые, пустите душу на покаяние!..

Темнота увеличивала суматоху. Свои не узнавали своих, а лесная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключение появился Ястребов, приехавший верхом.

— Что за драка? — крикнул он. — Убирайтесь вон с моего места, дураки!...

— Давно ли оно твоим-то стало? — огрызился Кишкин охрипшим от крика и ругани голосом. — Проваливай в палевом, приходи в голубом...

Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился.

— Ну, ударь?!. — ревел Кишкин, наступая. — Ну?.. Не испугались... Да. Ударь!.. Не смеешь при свидетелях-то безобразие свое показать...

— Не хочу! — отрезал Ястребов. — Вы в моей заявке столбы-то ставите... Вот я вас и уважу...

— Но-но-о?

— Да уж видно так... Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы: как раз пять верст вышло, как по закону для отвода назначено.

— Андрон Евстратыч, надо полагать, Ермошка бросился с заявкой на Фотьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит, — шепотом сообщил Мыльников. — Верно говорю... Должон он быть здесь, а его нет.

Кишкин остолбенел: конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот так дали маху, нечего сказать...

— Вот что, Мыльников, валяй и ты в Фотьянку, — шепнул Кишкин, — может, скорее придешь... Да не заплутайся на Маяковой слани, где повертка на кордон.

— Уж и не знаю, как мне быть... Боязно одному-то. Кабы Матюшка...

— Я вот покажу тебе Матюшку, оборотню! — пригрозил Кишкин. — Лупи во все лопатки...

— А как же, например, Окся?

— Ну тебя к черту вместе и с твоей Оксей...

Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Миляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждая у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и вполголоса беседовал с Миной Клейменым.

— Так где казенные-то ширпы были? — допытывал он.

— А вон туда, к самой горе...

— И старец там лежал под елочкой?..

— Там... Теперь места-то и не узнаешь. Ужо казенные ширпы разыщем...

— Ну, а как насчет свиньи полагаешь? — уже совсем шепотом спрашивал Кишкин. — Где ее старец-то обозначил?..

— Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукою на Мутяшку...

— На Мутяшку?.. И через девицу, говорит, ищите?

— Это он вообще насчет золота...

— Значит, и о свинье тоже, потому как она золотая?..

— Может статься... Болотинка тут есть, за Каленой горой, так не там ли это самое дело вышло.

— Да ведь ты говорил, что мужик в лесу закопал свинью-то?

— Разе говорил? Ну, значит, в лесу...

Окся еще спала, свернувшись клубочком у огонька. Кишкин едва ее разбудил.

— Вставай ты, барышня... Возьму вот орясину да как примусь тебя обихаживать.

— Отстань!.. — ворчала Окся, толкая Кишкина ногой. — Умереть не дадут...

Кишкину стоило невероятных усилий поднять на ноги эту невежливую девицу. Окся решительно ничего не понимала и глядела на своего мучителя совсем дикими глазами. Кишкин схватил ее за руку и потащил за собой. Мина Клейменый пошел за ними. Никто из партии не слыхал, как они ушли, за исключением Петра Васильича, который притворился спящим. Он вообще держал себя как-то странно и во время ночной схватки даже голосу не подал, точно воды в рот набрал. Фотьянский дипломат убедился в одном, что из их предприятия решительно ничего не выйдет. С другой стороны, он не верил ни одному слову Кишкина и, когда тот увел Оксю, потихоньку отправился за ними, чтобы выследить все дело.

— Один, видно, заполучить свинью захотел, — возмущался Петр Васильич, продираясь сквозь чащу. — То-то прохирь: хлебцем вместе, а табачком врозь... Нет, погоди, брат, не на таковских напал.

С другой стороны, его смешило, как Кишкин тащил Оксю по лесу, точно свинью за ухо. А Мина Клейменый привел Кишкина сначала к обвалившимся и заросшим лесом казенным разведкам, потом показал место, где лежал под елкой старец, и, наконец, повел к Мутяшке.

— Ну, народец!.. — ругался Петр Васильич. — Все один сграбастать хочет...

Ему приходилось делать большие обходы, чтобы не попасть на глаза Шишке, а Мина Клейменый вел все вперед и вперед своим ровным старческим шагом. Петр Васильич быстро утомился и даже вспотел. Наконец, Мина остановился на краю круглого болотца, которое выливалось ржавым ручейком в Мутяшку.

— Ну, ищи!.. — толкал Кишкин ничего не понимавшую Оксю. — Ну, чего уперлась-то, как пень?..

— Да я тебе разве собака далась?! — огрызнулась Окся, закрывая широкий рот рукой. — Ищи сам...

— Ах, дура точеная... Добром тебе говорят! — наступал Кишкин, размахивая короткими ручками. — А то у меня, смотри, разговор короткий будет...

Окся неожиданно захохотала прямо в лицо Кишкину, а когда он замахнулся на нее, так толкнула его

в грудь, что старик кубарем полетел на траву. Петр Васильич зажал рот, чтобы не расхохотаться во все горло, но в этот момент за его спиной раздался громкий смех. Он оглянулся и остолбенел: за ним стоял Ястребов и хохотал, схватившись руками за живот.

— Ах, дураки, дураки!.. — заливался Ястребов, качая головой. — То-то дураки-то... Друг друга обманывают и друг друга ловят. Ну, не дураки ли вы после этого?..

— А ты проходи своей дорогой, Никита Яковлич, — ответил Петр Васильич с важностью, — дураки мы про себя, а ты, умный, не ввязывайся.

— Боишься, что вашу свинью найду?

— Это уж не твоего ума дело...

Хохот Ястребова заставил Кишкина опять схватить Оксю за руку и утащить ее в чащу. Мина Клейменый стоял на одном месте и крестился.

— С нами крестная сила! — шептал он, закрывая глаза.

Когда они сошлись опять вместе, Кишкин шепотом спросил старика:

— Слышал? Как *он* захохочет...

— Не поглянулось *ему*... Недаром старец-то сказывал, што зарок положен на золото. Вот *он* и хохочет...

— А у меня инда мороз по коже...

На месте действия оставались Ястребов и Петр Васильич.

— Все я знаю, други мои милые, — заговорил Ястребов, хлопая Петра Васильича по плечу. — Бабьи бредни и запуки, а вы и верите... Я еще пораньше про свинью-то слышал, посмеялся — только и всего. Не положил — не ищи... А у тебя, Петр Васильич, свинья-то золотая дома будет, ежели с умом... Напрасно ты ввязался в эту свою канпанию: ничего не выйдет, окромя того, што время убьете да прохарчитесь...

Петр Васильич и сам думал об этом же, почесывая затылок, хотя признаться чужому человеку и было стыдно.

— Ну, а какая дома-то свинья, Никита Яковлич?

— А такая... Ты от своей-то канпании не отбивайся,

Петр Васильич, это первое дело, и будто мы с тобой вздорим — это другое. Понял теперь?..

— Как будто и понял, как будто и нет...

— Ладно, ладно... Не валяй дурака. Разве с другим бы я стал разговаривать об этаких делах?

Эта история с Оксей сделалась злобой промыслового дня. Кто ее распустил — так и осталось неизвестным, но об Оксе говорили на все лады и на Миляевском мысу и на других разведках. Отчаянные промысловые рабочие рады были случаю и складывали самые невозможные варианты.

— Он, значит, Кишкин, на веревку привязал ее, Оксюху-то, да и волокет, как овцу... А Мина Клейменый идет за ней да сзади ее подталкивает. «Ищи, слышь, Оксюха...» То-то идолы!.. Ну, подвели ее к болотине, а Шишка и скомандовал: «Ползи, Оксюха!» То-то колдуны проклятые! Оксюха, известно, дура: поползла, Шишка веревку держит, а Мина заговор наговаривает... И нашла бы ведь Оксюха-то, кабы *он* не захохотал. Учуяла Оксюха золотую свинью было совсем, а *он* как грянет, как захохочет...

Особенно приставал Петр Васильич, обиженный тем, что Кишкин не взял его на поиск свиньи.

— Ах, и нехорошо, Андрон Евстратыч! Все вместе были, а как дошло дело до богачества — один ты и остался. Ухватил бы свинью, только тебя и видели. Вот какая твоя деликатность, братец ты мой..

— Отстань, смола! — огрызился Кишкин. — Што пасть-то растворил шире банного окна?.. Найдешь с вами, дураками!

Рабочие хотя и потешались над Оксей, но в душе все глубоко верили в существование золотой свиньи, и легенда о ней разрасталась все шире. Разве старец-то стал бы зря говорить?.. В казенное время всячина бывала, хотя нашедший золотую свинью мужик и оказал себя круглым дураком.

Центром заявочных работ служил Миляев мыс, на котором шла горячая работа, несмотря на возникшие недоразумения. На Миляевском же мысу «утвердились» и те партии, которые делали разведки на Мутяшке с ее притоками — Худенькой и Малиновкой,

а также по Меледе и Генералке. Очень уж угодное место издалось, недаром Миляевым мысом называется. Каленая гора в виду зеленой мохнатой шапкой стоит, а от нее прошел лесистый увал до самой Меледы, где в нее пала Мутяшка. В несколько дней по мысу выросли десятки старательских балаганов, кое-как налаженных из бересты, еловой коры и хвои. Этот сборный пункт по вечерам представлял необыкновенно пеструю живую картину — везде пылали яркие костры и шел немолчный людской гомон. В лесу стучал топор, где-то тренькала балалайка, а ухари-рабочие распевали песни. Враждебно встретившиеся партии давно побратались: пусть хозяева грызутся, а рабочим делить нечего. Если что разделяло рабочую массу, так вынесенная еще из домов рознь. Варнаки с Фотьянки и балчуговцы из Нагорной чувствовали себя настоящими хозяевами приискового дела, на котором родились и выросли; рядом с ними строгали и швали из Низов являлись жалкими отбросами, потому что лопаты и кайла в руки не умели взять по-настоящему, да и земляная тяжелая работа была им не под силу. Варнаки относились к ним с подобающим презрением и везде давали чувствовать свое рабочее превосходство. Из-за этого происходили постоянные стычки, перекоры, высмехи и бесконечная ругань.

— Строгали и ходят-то, так ровно на костылях, — смеялся Матюшка, лучший рабочий на Миляевом мысу. — В богадельню им так в самую бы пору!.. Туда же, на золото польстились. Шилом им землю ковырять да стамеской...

В партии Кишкина находился и Яша Малый, но он и здесь был таким же безответным, как у себя дома. Простые рабочие его в грош не ставили, а Кишкин относился свысока. Матюшка дружил только со старым Туркой да со своими фотьянскими. У них были и свои разговоры. Соберутся около огонька своей артелькой и толкуют.

— Обыщем золото, а ухватят его хозяева, — роптал Матюшка, уже затронутый жаждой легкой наживы. — На них не наробишься... Главная причина во всем — деньги.

Раз вечером, когда Матюшка сидел таким образом у огонька и разговаривал на излюбленную тему о деньгах, случилось маленькое обстоятельство, смутившее всю компанию, а Матюшку в особенности.

— Эх, кабы раздобыть где ни на есть рублей с триста! — громко говорил Матюшка, увлекаясь несбыточной мечтой. — Сейчас бы сам заявку сделал и на себя бы робить стал... Не велики деньги, а так и помрешь без них.

— Уж это ты верно... — уныло соглашался Турка, сидя на корточках перед огнем. — Люди родом, а деньги водом. Кому счастки... Вон Ермошку взять, да ему наплевать на триста-то рублей!

Кругом было темно, и только колебавшееся пламя костра освещало неясный круг. Зашелестевший вблизи куст привлек общее внимание. Матюшка выхватил горевшую головню и осветил куст — за ним стояла растерявшаяся и сконфуженная Окся. Она подкралась очень осторожно и все время подслушивала разговор, пока не выдал ее присутствия хрустнувший под ногой сучок.

— Ты, уродина, чего тут делаешь? — накинулся на нее Матюшка.

— Ишь подслушивает, — заметил кто-то из рабочих. — Дура, а на это смысел тоже имеет...

— Гони ее, Матюшка, в три шеи!.. Омморошная какая-то...

Матюшка повернул Оксю за плечо и так двинул в спину, что она отлетела сажени на три. Эта выходка сопровождалась общим хохотом.

— Ай да Матюшка! Уважил барышню... То-то она все шары пялит на него. Вот и вышло, што поглянулась собаке палка.

Окся с трудом поднялась с земли, отошла в сторону, присела в траву и горько заплакала. Ее с детства били, но тут выходило совсем особенное дело. С Оксей случилось что-то необыкновенное, как только она увидела Матюшку в первый раз, когда партия выступала из Фотьянки. И дорогой она все время присматривалась к нему и все время на Миляевом мысу. Смотрит, а сама точно вся застыла... Остальной мир больше для нее не существовал. Оксину душу осветил

внутренний свет, та радость, которая боится сознаться в собственном существовании. Нечто подобное она испытывала в детстве, когда в глухую полночь ударит колокол к Христовой заутрене и недавняя тишина и мрак сменялись праздничной, гулкой и светлой радостью.

VI

Кишкин пользовался горячим временем и, кроме заявки на Миляевом мысу, поставил столбы в трех местах по Мутяшке. Пробные шурфы везде давали хорошие знаки. Но заявки были еще только началом дела. И отвод заявленных местностей ему сделают раньше других, как обещал Каблуков. Вся беда заключалась в том, где взять денег на казенную подать, — по уставу о частной золотопромышленности полагалось ежегодно вносить по рублю с десятины, в среднем это составляло от шестидесяти до ста рублей с прииска. Сумма по своему существу ничтожная, но Кишкин знал по личному опыту, как трудно достать даже три рубля, когда они нужны до зарезу.

— Будет день — будет хлеб!.. — утешал он себя, раздумавшись про свои дела.

Все, что можно было достать, выпросить, занять и просто выклянчить, — все это было уже сделано. Впереди оставался один расчет: продать одну или две заявки, чтобы этим перекрыться на разработку других. А пока Кишкину приходилось работать наравне со всеми остальными рабочими, причем ему это доставалось в десять раз тяжелее и по непривычке к ручному труду и просто по старческому бессилию. Набродившись по лесу за день, старик едва мог добраться до своего балагана. Рабочие сейчас же заваливались спать, а Кишкин лежал, ворочался с боку на бок и все думал. Эх, если бы счастье улыбнулось ему на старости лет... Ведь есть же справедливость, а он столько лет бедствовал и терпел самую унизительную горькую нужду!.. Всего-то найти бы первое счастливое местечко, чтобы расправить руки, а там уже все пошло бы само собой: деньги, как птицы, прилетают и улетают стаями...

— Показал бы я им всем, каков есть человек Андрон Кишкин! — вслух думал старик и даже грозил этим всем в темноте кулаком. — Стали бы ухаживать за мной... лебезить... Нет, брат, шалишь!.. Был раньше дураком, а во второй раз извините.

Занятый этими мыслями и соображениями, Кишкин как-то совсем позабыл о своем доносе, да и некогда о нем теперь было думать, когда каждый день мог сделаться роковым.

Часто Кишкин один ходил по течению Мутяшки и высматривал новые места под заявки. Каждый свободный клочок земли пробуждал в нем какой-то страх: а если золото вот именно здесь спряталось? Если бы была возможность, он захватил бы в свои руки всю Меледу со всеми притоками и никому не уступил бы вершка, отцу родному. Когда он видел чужой заявочный столб, его охватывало знобившее чувство зависти. А свободных мест по Мутяшке уже не оставалось: в течение каких-нибудь трех дней все было расхватано по клочкам. Даже то болотце, к которому водил Мина искать золотую свинью, и оно было захвачено Ястребовым.

— Для счету прихватил, — объяснил Ястребов, встретив как-то Кишкина. — Што ему, болоту, даром оставаться... Так ведь, Андрон Евстратыч?.. Разбогатеем мы, видно, с тобой заодно...

— Гусь свинье не товарищ, Никита Яковлич...

— Кто гусь-то, по-твоему?

— А уж как это тебе поглянется...

Кишкин относился к Ястребову подозрительно, а тот нет-нет и заглянет на Миляев мыс. И все-то у него шуткой да балагурством: конечно, богатый человек, селезенка играет... С ним появлялся иногда кабатчик Ермошка, Затыкин и другие золотопромышленники — мелочь. Острый период заявочной горячки миновал, и предприниматели начали понемногу приглядываться друг к другу. Да и в лесу совсем другое дело, чем где-нибудь в городе: живому человеку каждый рад. Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек, прошедший сквозь огонь, воду и медные

трубы. Соберется такая компания где-нибудь около огонька и балагурит.

— Никита Яковлич, будешь ты наше золото скупать, — подшучивают над Ястребовым. — Как пить дашь.

— Было бы што скупать, — отъедается Ястребов, который в карман за словом не лазил. — Вашего-то золота кот наплакал... А вот мое золото будет оглядываться на вас. Тот же Кишкин скупать будет от моих старателей... Так ведь, Андрон Евстратыч? Ты ведь еще при казне набил руку...

— Было, да сплыло, — огрызался Кишкин. — Вот про себя лучше скажи, как балчуговское золото скупаешь...

— А ты видел, как я его скупаю? Вот то-то и есть... Все кричат про меня, што скупаю чужое золото, а никто не видал. Значит, кто поумнее, так тот и промолчал бы.

Раз Ястребов приехал немного навеселе. Подсев к огоньку у балагана Кишкина, он несколько времени молчал, встряхивая своей большой головой и улыбаясь. Кишкин долго всматривался в его коренастую фигуру и разбойничью рожу, а потом проговорил с лесной откровенностью:

— Гляжу я на тебя, Никита Яковлич, и дивуюсь... Только дать тебе нож в руки и сейчас на большую дорогу: как есть разбойник.

— Это ты правильно... ха-ха!.. — засмеялся Ястребов. — Не было бы разбойника, не стало бы и праведника.

В приливе нежности Ястребов обнял Кишкина и так любовно проговорил:

— Плачет о нас с тобой острог-то, Андрон Евстратыч... Все там будем, сколько ни прыгаем. Ну, да это наплевать... Ах, Андрон Евстратыч!.. Разве Ястребов вор? Воры-то ваша балчуговская компания, которая народ сосет, воры инженеры, канцелярские крысы вроде тебя, а я хлеб даю народу... Компания-то полуторых рублей не дает за золотник, а я все три целковых.

— Так ты, значит, в том роде, как благодетель?

— Теперь-то как хочешь зови, а вот когда не будет Никиты Ястребова, тогда и благодетелем взвеличают.

Эта разбойничья философия рассмешила Кишкина до слез. Воровали и в казенное время, только своим воровством никто не хвастался, а Ястребов в благодетели себя поставил.

— Утешил ты меня, Никита Яковлич... Благодетель, говоришь?!. Ха-ха... В самую пропорцию благодетель. Медаль бы тебе только за усердие... А я, грешный человек, все за разбойника тебя почитал.

Ястребов не обижался и хохотал вместе.

— Что же это Мыльникова нет? — по нескольку раз в день спрашивал Кишкин Петра Васильича. — Точно за смертью ушел.

Он должен был вернуться на другой день и не вернулся. Прошло целых два дня, а Мыльникова все нет.

— Ужо я сам схожу... — предлагал Петр Васильич, которому хотелось улизнуть под благовидным предлогом.

— Ну нет, брат, шалишь! — озлился Кишкин. — Мыльников сбежал, теперь ты хочешь уйти, кто же останется? Тоже компания, нечего сказать...

— Да ведь надо в волости объявиться? — сказал Петр Васильич. — Мы тут наставим столбов, а Затыкин да Ястребов запишут в волостную книгу наши заявки за свои... Это тоже не модель.

— Ладно, сказывай... — ворчал Кишкин. — Знаю я вас, охаверников. Уж только и нар-родец!.. Обождем еще мало места, а потом я сам пойду и все устрою.

— Да ведь ты сорок-то верст две недели проползаешь, Андрон Евстратыч. Ножки у тебя коротенькие, задохнешься на полдороге...

Мыльников явился через три дня совершенно неожиданно, ночью, когда все спали. Он напугал Петра Васильича до смерти, когда потащил из балагана его за ногу. Петр Васильич был мужик трусливый и чуть не крикнул караул.

— А я думал, што Андрона Евстратыча пымал за ногу-то, — объяснял Мыльников. — По ногам-то вы схожи...

— А ты разуй глаза-то сперва... Где пропадал, путаная голова?

— Ох, и не говори.

На шум проснулся Кишкин. Развели потухший огонек, и охавший все время Мыльников, после некоторого ломанья, объяснил все.

— Прихожу это я на Фотьянку, штобы в волости в книгу записать заявку, — рассказывал он слезливым тоном, — а Затыкин-то уж в книге Миляев мыс записал...

— Ну-у? Да не подлец ли... а?! Ах, жулик...

— Верно говорю... Значит, теперь, так сказать, и наша заявка пропала и ястребовская, потому как у Затыкина столбы-то дальше наших поставлены, а пока мы спорились — он и хлопнул свою заявку. Замежевал он нас...

— Ну, это он врет! — сказал Кишкин. — Он, значит, из пяти верст вышел, а это не по закону... Мы ему еще утрем нос. Ну, рассказывай дальше-то...

— Што дальше-то, — обезножил я, вот тебе и дальше... Побродил по студеной вешней воде, ну, и обезножил, как другая опоенная лошадь.

— Ой, врешь!— усомнился Петр Васильич.— Поди, опять у Ермошки в кабаке ноги-то завязил? У всех у вас, строгалей, одна вера-то...

— Одинова, это точно, согрешил... — каялся Мыльников. — Силком затащили робята. Сидим это, братец ты мой, мы в кабаке, напримерно, и вдруг трах! следователь... Трах! сейчас народ сбивать на земскую квартиру и меня в первую голову зацепили, как, значит, я обозначен у него в гумаге. И следователь не простой, а важный — так и называется: важный следователь.

— Это што же, по твоей, видно, жалобе? — уныло спросил Петр Васильич, почесывая в затылке. — Вот так крендель, братец ты мой... Ловко!

— Ну, рассказывай, — торопил Кишкин, принимая деловой вид. — Не важный следователь, а следователь по особо важным делам...

— А скажу я тебе, Андрон Евстратыч, што заварил ты кашу... Ка-ак мне это самое сказали, што гумага и следователь, точно меня кто под коленку ударил, дыхнуть не могу. Уж Ермошка сжалился, поднес стаканчик... Ну, пошел я на земскую квартиру, а там и староста, и урядник, и наших балчуговских стариков человек с пять. Сейчас следователь, напримерно, ко мне: «Вы — Тарас Мыльников?» — «Точно так, ваше высокородие...» — «Можете себя оправдать по делу отставного канцелярского служителя Андрона Кишкина?» — «Точно так-с...» — «А где Кишкин?» Тут уж я совсем испугался и брякнул: «Не могу знать, ваше высокородие... Я его совсем не знаю, а только стороной слыхивал, што какой-то Кишкин служил у нас на промыслах».

— Вот и вышел дурак! — озлился Кишкин. — Чего испугался-то, дурья голова? Небойсь кожу не снимут с живого...

Петр Васильич молчал, угнетенно вздыхая. Вся его фигура теперь изображала собой одно слово: влопался!..

— Да ты послушай дальше-то! — спорил Мыльников. — Следователь-то прямо за горло... «Вы, Тарас Мыльников, состояли шорником на промыслах и должны знать, что жалованье выписывалось пятерым шорникам, а в получении расписывались вы один?» — «Не подвержен я этому, ваше высокородие, потому как я неграмотный, а кресты ставил — это было...» И пошел пытать, и пошел мотать, и пошел вертеть, а у меня поджилки трясутся. Не помню, как я и ушел от него, да прямо сюда и стриганул... Как олень летел!

— Зачем ты про меня-то врал, Тарас?..

— Испужался, Андрон Евстратыч... И сюда-то бегу, а самому все кажется, што ровно кто за мной гонится. Вот те Христос...

Беседа велась вполголоса, чтобы не услышали другие рабочие. Мыльников повторил раз пять одно и то же, с необходимыми вариантами и украшениями.

— Что же ты молчишь, Петр Васильич? — спрашивал Кишкин.

— А што мне говорить, Андрон Евстратыч: плакала, видно, наша золотая свинья из-за твоей гумаги... Поволокут теперь по судам.

— А где моя Окся? — спрашивал Мыльников в заключение.

Хватились Окси, а ее и след простыл: она скрылась неизвестно куда.

VII

Компанейские работы сосредоточивались на нынешнее лето в двух пунктах: в устьях реки Меледы, где она впадала в Балчуговку, и на Ульяновом кряже. В первом пункте разрабатывалась громадная россыпь Дерниха, вскрытая разрезом еще с зимы, а во втором заложена была новая шахта Рублиха. Оба месторождения открыты были фотьянскими старателями, и компания поставила свои работы уже на готовое. Особенно заманчивой являлась Рублиха, из которой старатели дудками добыли около полпуда золота, — это и была та самая жила, которую Карачунский пробовал на фабрике сам. Открыл ее старик Кривушок, из фотьянских старожилов-каторжан. Это был страшный бедняк, целую жизнь колотившийся, как рыба об лед. Открытая им жила сразу его обогатила. Бывали дни, когда Кривушок зарабатывал рублей по триста. Такое дикое богатство погубило бедняту в несколько недель. То, чего не могла сделать бедность, сделало богатство. Кривушок закладывал пачку ассигнаций в голенище и с утра до вечера проводил в кабаке Фролки, в этом заветном месте всех фотьянских старателей. У старика не было семьи,— все перемерли. Жениться было поздно, и он, напившись пьяный, горько плакался на свое обидное богатство, явившееся для него точно насмешкой.

— Кабы раньше жилка-то провернулась... — повторял Кривушок. — Жена заморилась на работе, ребятенки перемерли с голодухи... Куды мне теперь богачество?..

Около Кривушка собралась вся кабацкая рвань. Все теперь пили на его счет, и в кабаке шло кромешное пьянство.

— Ты бы хоть избу себе новую поставил, — советовал Фролка, — а то все пропьешь, и ничего самому на похмелье не останется. Тоже вот насчет одежи...

— Угорел я, Фролушка, сызнова-то жить, — отвечал Кривушок. — На што мне новую избу, коли и жить-то мне осталось, может, без году неделю... С собой не возьмешь. А касаемо одежи, так оно и совсем не пристало: всю жисть проходил в заплатах...

Кривушок кончил скорее, чем предполагал. Его нашли мертвым около кабака. Денег при Кривушке не оказалось, и молва приписала его ограбление Фролке. Вообще все дело так и осталось темным. Кривушка похоронили, а его жилку взяла за себя компания и поставила здесь шахту Рублиху.

Верховный надзор за работами на Дернихе принадлежал Зыкову, но он рассыпным делом интересовался мало, потому что увлекся новой шахтой.

— Смотри, Родион Потапыч, как бы нам не ошибиться с этой Рублихой, — предупреждал Карачунский. — То же будет, что с Спасо-Колчеданской...

— А откуда Кривушок золото свое брал, Степан Романыч?.. Сам мне покойник рассказывал: так, говорит, самоваром жила и ушла вглубь... Он-то пировал напоследях, ну, дудка и обвалилась. Нет, здесь верное золото, не то што на Краюхином увале...

Карачунский слепо верил опытности Зыкова, но его смущало противоречие Лучка, — последний не хотел признавать Рублихи.

— Обманет она, эта самая Рублиха, — упрямо повторял Лучок.

— Да почему обманет-то?

— А так... Место не настоящее. Золото гнездовое: одно гнездышко подвернулось, а другое, может, на двадцати саженях... Это уж не работа, Степан Романыч. Правильная жила идет ровно... Такая надежнее, а эта игрунья: сегодня позолотит, да год будет душу выматывать. Это уж не модель...

Рублиха послужила яблоком раздора между старыми штейгерами. Каждый стоял на своем, а особенно Родион Потапыч, вложивший в новое дело всю душу.

Это был своего рода фанатизм коренного промыслового человека.

— Уж будьте спокойны, Степан Романыч, — уверял Зыков. — Голову отдам на отсеченье, што Рублиха вполне себя оправдает...

Эти уверения напоминали Карачунскому того француза, который доказывал вращение земли своим честным словом. Но у него был свой расчет: новое коренное месторождение выставляло деятельность компании в выгодном свете пред горным департаментом. Значит, она развивается и быстро шагает вперед, а это главное. В крайнем случае Рублиха могла обойтись тысяч в восемьдесят, потому что машины и шахтовые приспособления перевозились с Краюхина увала, а Спасо-Колчеданская жила оказывалась «холостой», так что ее оставили только до осени.

По составленному плану, работы на Рублихе предполагались в больших размерах. Дудка Кривушка оставалась в стороне, а шахта была заложена ниже, чтобы пересечь жилу саженях на двадцати в глубину. Таким образом зараз решались две задачи: откачивалась вода на предельном горизонте, а затем работы можно было вести сразу в двух направлениях — вверх и вниз, по отрезкам жилы. Практика показала, что все жилы имеют падение под углом, как и жила на Ульяновом кряже. Следовательно, можно было по приблизительному расчету выйти на жилу на известной глубине. В каких-нибудь две недели вырос на Ульяновом кряже новый деревянный корпус, поставлены были паровые котлы, паровая машина, и задымилась высокая железная труба. Для служащих построена конторка, где поселился в одной каморке Родион Потапыч, а затем строились амбары для разной приисковой снасти, навесы, конюшни, — одним словом, вся приисковая городьба. Ульянов кряж закрывал Рублиху со стороны Фотьянки, и старик Зыков был очень рад этому обстоятельству, потому что мог теперь жить совершенно в лесу. Он даже по субботам домой в Балчуговский завод не выходил, а только время от времени отправлялся на Дерниху, чтобы посмотреть на работавшую «бутару». Бутара — сибирского типа машина для про-

мывки песков в больших массах. Главную ее часть составляет железный продырявленный цилиндр, который приводится во вращательное движение паровой машиной. Золотоносный песок сваливался в бутару, в нее же проводилась сверху сильная струя воды, и промывка совершалась при страшном грохоте. Одна такая бутара в сутки обрабатывала десятки тысяч пудов песку. Но у Родиона Потапыча вообще не лежало почему-то сердце к этой Дернихе, хотя россыпь была надежная и, по приблизительным расчетам, должна была дать в одно лето около двадцати пудов золота.

— На Фотьянской россыпи больше ста пудов добыли, — повторял Зыков, точно хотел этим унизить благонадежность Дернихи. — Вот ужо Рублиха наша ахнет, так это другое дело...

Место слияния Меледы и Балчуговки было низкое и болотистое, едва тронутое чахлым болотным леском. Родион Потапыч с презрением смотрел на эту «чертову яму», сравнивая про себя красивый Ульянов кряж. Да и россыпное золото совсем не то, что жильное. Первое он не считал почему-то и за золото, потому что добыча его не представляла собой ничего грандиозного и рискованного, а жильное золото надо умеючи взять да еще походить за ним, да не всякому оно и дастся в руки.

Увлечение Рублихой у старика приняло какой-то болезненный характер, точно он закладывал в эту работу последнюю свою энергию. Когда спал неугомонный старик — никто не знал. Во всякое время дня и ночи его можно было встретить на шахте, где он сидел, как коршун, ожидавший своей добычи. Первые сажени углубления были пройдены с поразительной быстротой, а дальше пошел камень «ребровик», требовавший «диомида». Это были первые пропластки основных гранитных пород, а жилы залегают в спаях таких пропластков. Родион Потапыч высчитывал каждый новый вершок углубления и давно определил про себя, в какой день шахта выйдет на роковую двадцатую сажень и пересечет жилу. Он по десяти раз в сутки спускался по стремянке в шахту и зорко наблюдал, как ее крепят, чтобы не было ни малейшей

заминки. Пока все шло отлично, потому что грунт был устойчивый, и не было опасности, что шахта в одно прекрасное утро «сбочится», как это бывает при слоях песка-севуна или мягкой расплывающейся глины. Рабочие тоже невольно заражались энергией старого штейгера и с нетерпением ждали двадцатой сажени.

Если что огорчало Зыкова, так это назначение молодого инженера Оникова главным смотрителем новых жильных работ. Положим, старик уважал Оникова «по отцу», но это не мешало быть ему мальчишкой и щенком. Да и поставил себя Оников с первого раза крайне неудобно: приедет в белых перчатках и давай распоряжаться — это не так, то не так. Сам бы хоть раз в шахту спустился. Как ни был вымуштрован Родион Потапыч относительно всяческого уважения ко всяческому начальству, но поведение Оникова задело его за живое: он чувствовал, что молодой инженер не верит в эту жилу и не сочувствует затеянной работе.

— Приедет, папиросу выкурит — и вся тут работа, — жаловался Зыков Карачунскому. — Ежели бы ты сам, Степан Романыч...

— Нет, мне далеко ездить сюда, да и Оникову нужно же какое-нибудь дело. Куда его мне девать... Как-нибудь уж без меня устраивайтесь.

Родион Потапыч только вздыхал. Находил же время Карачунский ездить на Дерниху чуть не каждый день, а тут от Фотьянки рукой подать: и двух верст не будет. Одним словом, не хочет, а Оникова подослал назло. Нечего делать; пришлось мириться и с Ониковым и делать по его приказу, благо немного он смыслит в деле.

— Ужо будет летом гостей привозить на Рублиху — только его и дела, — ворчал старик, ревновавший свою шахту к каждому постороннему глазу. — У другого такой глаз, што его и близко-то к шахте нельзя пущать... Не больно-то любит жильное золото, когда зря лезут в шахту...

Всего больше боялся Зыков, что Оников привезет из города барынь, а из них выищется какая-нибудь вертоголовая и полезет в шахту: тогда все дело хоть брось. А что может быть другое на уме у Оникова, ко-

торый только ест да пьет?.. И Карачунский любопытен до женского полу, только у него все шито и крыто.

Так шло дело. Шахта была уже на двенадцатой сажени, когда из Фотьянки пришел волостной сотник и потребовал штейгера Зыкова к следователю. У старика опустились руки.

— Это по делу Кишкина? — спросил он.

— Видно, по ему по самому... По первоначалу-то следователь в Балчуговском заводе с неделю выжил, а теперь на Фотьянку перебрался и сбивает народ со всех сторон. Почитай, всех стариков поднял...

Эта неожиданная повестка и встревожила и напугала Зыкова, а главное, не во-время она явилась: работа горит, а он должен терять дорогое время на допросах.

— Следователь-то у Петра Васильича в дому остановился,— объяснил сотник.— И Ястребов там и Кишкин. Такую кашу заварили, што и не расхлебать. Главное, народ весь на работах, а следователь требовает к себе...

Родион Потапыч оделся на скорую руку и зашагал за сотником. Ему случалось бывать в передрягах, но затеянное Кишкиным дело возмущало его до глубины души. Кто богу не грешен, царю не виноват, нельзя же всех по судам таскать. Две версты до Фотьянки промелькнули незаметно. Перед избой Петра Васильича сидели вызванные следователем свидетели. Был тут и подштейгер Лучок, и Мина Клейменый, и Яша, и Турка, и Мыльников — одним словом, вся компания. Все, видимо, чувствовали себя смущенными. Родион Потапыч сухо кивнул головой и пошел прямо в избу. Поднимаясь по лесенке на крыльцо, он лицом к лицу столкнулся с дочерью Феней, которая с тарелкой в руках летела в погреб за огурцами.

— Тятенька!.. — вскрикнула девушка и остановилась.

Родион Потапыч медленно прошел мимо, не ответив на этот крик ни одним движением.

Следователь сидел в чистой горнице и пил водку с Ястребовым, который подробно объяснял приисковую терминологию — что такое россыпь, разрез, борта

россыпи, ортовые работы, забои, шурфы и т. д. Следователь был пожилой лысый мужчина с рыжеватой бородкой и темными умными глазами. Он испытующе смотрел на массивную фигуру Ястребова и в такт его объяснений кивал своей лысой прежде времени головой.

«Вор научит хорошему...» — подумал Зыков, наблюдая эту сцену издали.

В дверях стояли Мыльников и Петр Васильич, заслонившие спинами сидевшего у двери на стуле Кишкина. Сотник протискался вперед и доложил следователю о приводе свидетеля.

— А, очень приятно...— оживился следователь, проглатывая наскоро закуску. — Введите его сюда.

Ястребов поднялся, чтобы выйти, но следователь движением головы удержал его. Родион Потапыч, войдя в комнату, помолился на образа и отвесил следователю глубокий поклон.

— Вы Родион Зыков?

— Точно так-с...

Начался обычный следовательский допрос, причем Зыков отвечал коротко и быстро, по-солдатски.

— Когда была открыта Фотьянская россыпь, вы уже были главным штейгером?

— Точно так-с... Я уже сорок лет состою главным штейгером.

— Ага... — протянул следователь, быстро окидывая его глазами. — Тем лучше... Вы, следовательно, служили при управителе Фролове и его помощнике Горностаеве. Скажите, когда промывался казенный разрез в Выломках?

Ястребов сделал нетерпеливое движение и подсказал:

— Разрабатывался...

— Ну да, когда разрабатывался разрез в Выломках? — повторил следователь.

— Годом не упомню, ваше высокоблагородие, а только еще до воли это самое дело было, — ответил без запинки Зыков.

— Вы тогда служили? Да? И при вас этот разрез разрабатывался? Прекрасно... А не запомните вы, как

при управителе Фролове на этом же разрезе поставлены были новые работы?..

Родион Потапыч ждал этого вопроса и, взглянув искоса на Кишкина, ответил самым равнодушным тоном:

— Какие же новые работы, когда вся россыпь была выработана?.. Старатели, конешно, домывали борта, а как это ставилось в конторе — мы не обычны знать: до конторы я никакого касательства не имел и не имею...

Следователь взглянул вопросительно на Кишкина. Тот заерзал на месте, виновато скашивая глаза на Зыкова, и проговорил:

— Ваше благородие, Родион Потапыч, то есть главный штейгер Зыков, должен знать, как списывались работы в Выломках. От него шли дневные рапортички.

— Да ты не путляй, Шишка! — разразился неожиданно Родион Потапыч, встряхнув своей большой головой. — Разве я к вашему конторскому делу причастен? Ведь ты сидел в конторе тогда да писал, — ты и отвечай...

— Вы должны отвечать только на мои вопросы, — строго заметил следователь.

— А ежели я могу под присягой доказать на него еще по делу о золоте, когда наезжал казенный фискал? — ответил Родион Потапыч, у которого тряслись губы от волнения.

— Это к делу не относится... — заметил следователь, быстро записывая что-то на листе бумаги.

— Вы его под присягой спросите, господин следователь, — подговаривал Кишкин, осклабляясь. — Тогда он сущую правду покажет насчет разреза в Выломках...

— Это уж мое дело, — ответил следователь, продолжая писать. — Господин Зыков, так вы не желаете отвечать на мой вопрос?

— Ваше высокоблагородие, ничего я в этих делах не знаю... — заговорил Родион Потапыч и даже ударил себя в грудь. — По злобе обнесен вот этим самым Кишкиным... Мое дело маленькое, ваше высокоблагородие. Всю жисть в лесу прожил на промыслах, а што

они там в конторе делали, — я неизвестен. Да и давно это было... Ежели бы и знал, так запамятовал.

— Значит, вы знали, да забыли?

Пойманный на слове, Родион Потапыч тяжело переминался с ноги на ногу и только шевелил губами.

— Вы не беспокойтесь, я уже имею показания по этому делу других свидетелей, — ядовито заметил следователь. — Вам должно быть ближе известно, как велись работы... Старатели работали в Выломках?

— Не упомню, ваше высокоблагородие...

— Так я вам напомню: старатели работали и получали за золотник золота по рублю двадцати копеек, а в казну оно сдавалось управлением Балчуговских промыслов по пяти рублей и дороже, то есть по общему расчету работы.

— Не старатели, а золотничники, ваше высокоблагородие...

— Это все равно, только слова разные...

Свои собственные вопросы следователь проверял по выражению лиц Ястребова и Кишкина, которые не спускали глаз с Родиона Потапыча. Из дела следователь видел, что Зыков — главный свидетель, и налег на него с особенным усердием, выжимая одно слово за другим. Нужно было восстановить два обстоятельства: допущенные правлением старательские работы, причем скупленное у старателей золото заносилось в промысловые книги как свое и выставлялись произвольные цены, втрое и вчетверо выше старательских, а затем подновление старого казенного разреза в Выломках и занесение его в отчет за новый.

Дальше следовали другие нарушения: выписка жалованья несуществовавшим промысловым служащим, выписка несуществовавших поденщин и т. д. и т. д.

Собранные свидетели теряли уже вторую неделю, когда работа кипела кругом, и это вызывало общий ропот и глухое недовольство, причем все обвиняли Кишкина, заварившего кашу.

— Мы ему башку отвернем, старой крысе! — ругались рабочие. — Какое время-то стоит — это надо подумать...

Допрошенный в качестве свидетеля Петр Васильич отперся от всего, что обещал показать, чем немало огорчил Кишкина...

— Ты что же это, Петр Васильич? — корил его Кишкин. — Как дошло до дела, так сейчас и в кусты...

— Не наш воз, и не наша песенка, Андрон Евстратыч...

— Ладно... Увидим, што запоешь, когда под присягой будут допрашивать.

Мыльников являлся комическим элементом и каждый раз менял свои показания, вызывая улыбку даже следователя. Приходил он всегда вполпьяна и первым делом заявлял:

— Господин следователь, у меня лицо чистое... Ничем я не замаран, а чтобы насупротив совести — к этому я не подвержен. Вот каков Тарас Мыльников...

Несмотря на всю путаницу и противоречия, развертывалась широкая картина всевозможных злоупотреблений и самого бесшабашного хищничества. Уже собранных фактов было совершенно достаточно для громадного дела, а выступали все новые подробности. Ничего не мог поделать следователь только с Зыковым, который стоял на своем, что ничего не знает. Самый важный свидетель ускользал из рук, и следователь выбился из сил, чтобы довести его до откровенного сознания. Подметив, что старик тяготился бестолковым сиденьем, следователь начал вызывать его чуть не каждый день.

— Ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние! — взмолился, наконец, упрямый старик. — Работа у меня горит, а я здесь попусту болтаюсь.

— Вы сами виноваты, что затягиваете дело...

А из Кедровской дачи шли самые волнующие известия: золото оказывалось везде. О Мутяшке рассказывали чудеса, а потом следовали: Малиновка, Генералка, Свистунья, Ледянка, — сделаны были сотни заявок, и везде «золото оправдывалось в лучшем виде». Все новости и последние известия сосредоточивались, конечно, в кабаке Фролки, куда рабочие приходили прямо с заявок. В праздники этот кабак представлял собой настоящий ад, потому что в Фотьянку народ

сходился со всех сторон. Разрушавшееся селение сразу ожило: не было избы, где не держали бы постояльцев, не готовили хлеба на промысла или какую-нибудь приисковую снасть. Главным образом наживали деньгу фотьяновские бабы, кормившие пришлый народ. Одним словом, произошло какое-то волшебное превращение старого каторжного гнезда, точно на него дунуло свежим воздухом. Мужики складывались в артели, закупали харчи, готовили снасть, чтобы работать старателями на новых вольных промыслах. Это была бешеная игра на свой труд. Своими хозяйскими работами могли добывать золото только двое-трое крупных золотопромышленников вроде Ястребова, а остальные, конечно, сдадут прииски старателям, и это волновало поднятую рабочую массу, разжигая промысловую азартность и жажду легкой наживы.

VIII

Самое бойкое дело выпало на долю богатой избы Петра Васильича, где останавливались все «господа»: и Ястребов и следователь. Сначала старуха, баушка Лукерья, тяготилась этим постоем, а потом быстро вошла во вкус, когда посыпались легкие господские денежки за всякие пустяки: и за постой, и за самовары, и за харчи, и за сено лошадям, и за разные мелкие услуги. Теперь бойкая Феня оказалась как раз на месте и едва успевала помогать старой баушке. Она и самовары подавала, и в погреб бегала, и комнаты прибирала, и господам услуживала.

— Ты уж, голубка, постарайся... — ласково говорила баушка Лукерья. — Ноги-то у тебя молодые...

Всю жизнь прожила баушка Лукерья и не видала денег в глаза, как сама говорила. Да и какие деньги у бабы, которая сидит все дома и убивается по домашности да с ребятишками. Муж-покойник выстроил хорошую избу, завел скотину и всякую домашность, и по-фотьянски семья слыла за богатую. Правда, у баушки Лукерьи были скоплены на смертный час рублей пятнадцать, запрятанных по разным углам, — и только. А тут деньги повалили сразу... Крепкую старуху вдруг

охватила старческая жадность. Ей стало казаться, что все мало и что нужно пользоваться коротким счастьем. Не проходило дня, чтобы она не отложила рубля или двух. Особенно любила она, когда давали ей серебро, — ведь всю жизнь прожила на медные деньги, а тут посыпались серебрушки. Баушка Лукерья с какой-то детской радостью пересчитывала их, прятала и опять добывала, чтобы лишний раз полюбоваться. Это перерождение произошло всего в несколько недель, и баушка Лукерья отлично изучила, кто, когда и сколько дает и как лучше взять. Старуха видела, как господа охотнее дают деньги Фене, и стала ее подсылать. Конечно, молоденькая-то приятнее господам: пошутят, посмеются, да и отвалят в другой раз целую полтину. Сначала Феня артачилась и стыдилась, а потом стала привыкать, чтобы хоть этим угодить старой баушке.

— Чего ты сумлеваешься, глупая? — усовещивала ее старуха. — Дикие у них деньги... Не убудет небойсь, ежели и пошутят в другой раз.

Феня была не жадная и с радостью отдавала деньги баушке.

Встреча с отцом в первое мгновение очень смутила ее, подняв в душе детский страх к грозному родимому батюшке, но это быстро вспыхнувшее чувство так же быстро и улеглось, сменившись чем-то вроде равнодушия. «Что же, чужая так чужая...» — с горечью думала про себя Феня. Раньше ее убивала мысль, что она объедает баушку, а теперь и этого не было: она работала в свою долю, и баушка обещала купить ей даже веселенького ситца на платье.

— Старайся, милушка, и полушалок куплю, — приговаривала хитрая старуха, пользовавшаяся простотой Фени. — Где нам, бабам, взять денег-то... Небойсь любезный сынок Петр Васильич не раскошелится, а все норовит себе да себе... Наше бабье дело совсем маленькое.

Эти планы баушки Лукерьи чуть не расстроились. Раз в воскресенье приехала на Фотьянку сестра Марья. Улучив свободную минуту, она разговорилась с Феней.

— У вас здесь, сказывают, веселье, не то что у нас: сидишь, сидишь — даже одурь возьмет... Прокопий на своей фабрике, Анна с ребятишками, мамынька все вздыхает али жаловаться начнет, а я как очумелая... Завидно на других-то делается.

— Тятенька-то сколько разов был у нас, — рассказывала Феня. — И не глядит на меня... Хуже чужого.

— И домой он нынче редко выходит... С новой шахтой связался и днюет и ночует там. А уж тебе, сестрица, надо своим умом жить, как-никак... Дома-то все равно нечего делать.

Рассказала Феня, как наезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как заливался слезами, а потом перестал ездить, точно отрезал. Рассказывая, Феня всплакнула: очень уж ей жаль было Акинфия Назарыча.

— Гляди, потужит, потоскует, да и женится на своей тайболовской кержанке, — говорила она сквозь слезы.— Молодой он, горе-то скоро износит... Такая на меня тоска нападает под вечер, что и жизни своей не рада.

— Пирует, сказывали, Акинфий-то Назарыч... В город уедет, да там и хороводится. Мужчины все такие: наша сестра сиди да посиди, а они везде пошли да поехали... Небойсь найдет себе утеху, коли уж не нашел.

Между прочим, сестра Марья подвела ловко разговор к деньгам, которые получала теперь баушка Лукерья.

— Пали и до нас слухи, как она огребает деньги-то, — завистливо говорила Марья, испытующе глядя на сестру. — Тоже, подумаешь, счастье людям... Мы вон за богатых слывем, а в другой раз гроша расколотого в дому нет. Тятенька-то не расщедрится... В обрез купит всего сам, а денег ни-ни. Так бьемся, так бьемся... Иголки не на что купить.

— Знаю ведь я, как вы живете. Сладкого не много.

— Ну, сказывали, што и тебе тоже перепадает... Мыльников как-то завернул и говорит: «Фене деньги повалили, — тот двугривенный даст, другой полтину...» Побожился, что не врет.

— Я баушке Лукерье все отдаю, Марья... На што мне деньги?..

— Вот уж это ты совсем глупая... Баушка Лукерья свое возьмет, не беспокойся, обжаднела она, сказывают, а ты ей всего-то не отдавай. Себе оставляй... Пригодятся как-нибудь. Не век тебе жить с баушкой Лукерьей...

Эти речи не понравились Фене. Она даже пристыдила сестру, позавидовавшую чужому счастью.

— Я баушку Лукерью ввек не забуду, — говорила Феня. — Она меня призрела, приголубила... Не наше дело считать ее-то деньги.

Сестры расстались благодаря этому разговору довольно холодно. У Фени все-таки возникло какое-то недоверие к баушке Лукерье, и она стала замечать за ней многое, чего раньше не замечала, точно совсем другая стала баушка и даже из лица похудела.

А баушка Лукерья все откладывала серебро и бумажки и смотрела на господ такими жадными глазами, точно хотела их съесть. Раз, когда к избе подкатил дорожный экипаж главного управляющего и из него вышел сам Карачунский, старуха ужасно переполошилась, куда ей поместить этого самого главного барина. Карачунский был вызван следователем в качестве эксперта по делу Кишкина. Обе комнаты передней избы были набиты народом, и Карачунский не знал, где ему сесть.

— Пойдем, касатик, в заднюю избу... — предложила баушка Лукерья. — Здесь-то негде тебе и присесть, а там пока посидишь.

— Спасибо, бабушка, — охотно согласился Карачунский.

— Может, самоварчик поставить? А то молочка али яишенку...— говорила заученным тоном старуха.— Жарко теперь летним делом, а следователь-то еще когда позовет.

Карачунский приехал раньше, чем следовало, и ему действительно приходилось подождать. Отворив дверь в заднюю избу, он на пороге столкнулся с Феней и даже как будто смутился, до того это было неожиданно. Феня тоже потупилась и вся вспыхнула.

— Вы какими судьбами попали сюда, Федосья Родионовна? — спрашивал удивленный Карачунский. — Вот приятная неожиданность...

— Я уж давно здесь... у баушки Лукерьи...

— Ага... — протянул Карачунский, пристально поглядев на наблюдавшую его старуху. — Так... Что же, дело прекрасное! Отлично... Я даже что-то такое слышал. Баушка, так вы похлопочите относительно самоварчика.

— С-сею минуту, касатик...

Старуха, повидимому, что-то заподозрила и вышла из избы с большой неохотой. Феня тоже испытывала большое смущение и не знала, что ей делать. Карачунский прошелся по избе, поскрипывая лакированными ботфортами, а потом быстро остановился и проговорил:

— Послушайте, Федосья Родионовна, вы так похорошели за последнее время, что я даже не узнал вас с первого раза.

Феня еще больше потупилась и раскраснелась.

— Вы смеетесь, Степан Романыч... — тихо прошептала она со слезами на глазах. — Не до красоты мне.

— Да, да... Догадываюсь. Ну, я пошутил, вы забудьте на время о своей молодости и красоте, и поговорим, как хорошие старые друзья. Если я не ошибаюсь, ваше замужество расстроилось?.. Да? Ну, что же делать... В жизни приходится со многим мириться. Гм...

Он присел к столу и своим душевным тоном начал расспрашивать Феню, давно ли она здесь, как ей живется вообще, не скучает ли и т. д. Никто еще с ней не говорил так, а потом пред ее глазами пронеслась сцена поездки с мужем в Балчуговский завод, когда Степан Романыч уговаривал их помириться с отцом. Да, это был почти родной человек, который смотрел на нее так участливо и ласково, а главное, так просто, что Феня почувствовала себя легко именно с ним. Она подробно рассказала, как баушка Лукерья выманила ее из Тайболы и увезла сюда, как приезжал несколько раз Акинфий Назарыч и как она сама истомилась в этой неволе.

— Бедненькая... — еще ласковее проговорил Карачунский и потрепал ее по заалевшей щеке. — Надо как-нибудь устраивать дело. Я переговорю с Акинфием Назарычем и даже могу заехать к нему по пути в город.

Феня отрицательно покачала головой и тяжело вздохнула. Карачунский понял совершавшийся в ее душе перелом и не стал больше расспрашивать. Баушка Лукерья втащила самовар.

— Ну, бабуся, как вы тут поживаете?

— Ничего, касатик... Пока бог грехам терпит. Феня, ты уж тут собери чайку, а я в той избе управляться пойду.

Карачунский выпил стакан чаю, а когда его пригласили к следователю, сунул Фене скомканную ассигнацию.

— Што вы, Степан Романыч...

— За хлопоты: я ничего даром не люблю брать...

Из-за этих денег чуть не вышел целый скандал. Приходил звать к следователю Петр Васильич и видел, как Карачунский сунул Фене ассигнацию. Когда дверь затворилась, Петр Васильич орлом налетел на Феню.

— Ну-ка, кажи, што он тебе дал?..

Феня инстинктивно сжала деньги в кулаке и не знала, что ей делать, но к ней на выручку прибежала баушка Лукерья и оттолкнула сына.

— Мамынька, хоть издали покажи, сколь он дал!.. — упрашивал Петр Васильич, заинтригованный бабьей жадностью.

Баушка Лукерья сделала непростительную ошибку, в которой сейчас же раскаялась, — она развернула скомканную ассигнацию при всех.

— Пять цалковых!.. — изумленно прошептал Петр Васильич, делая шаг к матери. — Мамынька, што же это такое? Ежели, примерно, ты все деньги будешь загробаздывать...

— Не твое дело!.. — зыкнула старуха. — Разве я твои деньги считаю?..

— Однако это даже весьма мне удивительно, мамынька... Кто у нас, примерно, хозяин в дому?..

Феня, в другой раз ты мне деньги отдавай, а то я с живой кожу сниму.

— Нет, нет! — сказала старуха с искаженным лицом. — Мне!.. Мне!..

— Мамынька, побойся ты бога!

— Уйди от греха, а то прокляну!..

Феня ужасно перепугалась возникшей из-за нее ссоры, но все дело так же быстро потухло, как и вспыхнуло. Карачунский уезжал, что было слышно по топоту сопровождавших его людей... Петр Васильич опрометью кинулся из избы и догнал Карачунского только у экипажа, когда тот садился.

— Степан Романыч, напредки милости просим!.. — бормотал он, цепляясь за кучерское сиденье. — На Дерниху поедешь, так в другой раз чайку напиться... молочка... Я, значит, здешний хозяин, а Феня моя сестра. Мы завсегда...

Карачунский с удивлением взглянул через плечо на «здешнего хозяина», ничего не ответил и только сделал головой знак кучеру. Экипаж рванулся с места и укатил, заливаясь настоящими валдайскими колокольчиками. Собравшиеся у избы мужики подняли Петра Васильича на смех.

— А ты собачкой за ним побеги, Петр Васильич... Ах, прокурат!.. Глаз-то кривой у него как заиграл...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Зыковский дом запустел как-то сразу. Родион Потапыч живмя жил на своей шахте и домой выходил очень редко, недели через две. Яша «старался» на Мутяшке в партии Кишкина, а дома из мужиков оставался один безответный зять Прокопий. Прежде было людно, теперь хоть мышей лови, как в пустом амбаре. Сама Устинья Марковна что-то все недомогалась, замужняя дочь Анна возилась со своими ребятишками, а правила домом одна вековушка Марья с подраставшей Наташкой, — последнюю отец совсем забыл, оставив в полное распоряжение баушки. Скучно было в зыковском доме, точно после покойника, а тут еще Марья на всех взъедается.

— Да што это с тобой попритчилось? — недоумевала Устинья Марковна, удивляясь сварливости дочери. — Какой бес поехал на тебе?..

— Чему радоваться-то у нас? — грубила Марья. — Хуже каторжных живем... Ни свету, ни радости!.. Вон на Фотьянке... Баушка Лукерья совсем осатанела от денег-то. Вторую избу ставят... Фене баушка-то уж второй полушалок обещала купить да ботинки козловые.

— А тебе завидно стало? Нашла тоже кому и позавидовать... — корила ее мать. — Достаточно натерпелась всего Феня-то.

— Чего она натерпелась-то? Живет да радуется... Румяная такая стала да веселая. Ужо вот как замуж выскочит... У них на Фотьянке-то народу теперь нетолченая труба... Как-то целовальник Ермошка наезжал, увидал Феню и говорит: «Ужо, вот моя-то Дарья подохнет, так я к тебе сватов зашлю...»

— Ну, Ермошкины-то слова, как худой забор: всякая собака пролезет... С пьяных глаз чего-нибудь городил. Да и Дарья-то еще переживет его десять раз... Такие ледащие бабенки живучи.

— Не Ермошка, так другой выищется... На Фотьянке теперь народу видимо-невидимо, точно праздник. Все фотьянские бабы лопатами деньги гребут: и постой держат, и харчи продают, и обшивают приисковых. За одно лето сколько новых изб поставили... Всех вольное-то золото поднимает. А по вечерам такое веселье поднимается... Наши приисковые гуляют.

— Эк тебе далась эта Фотьянка, — ворчала Устинья Марковна, отмахиваясь рукой от пустых слов. — Набежала дикая копейка — вот и радуются. Только к дому легкие-то деньги не больно льнут, Марьюшка, а еще уведут за собой и старые, которые у кого велись.

— Много денег на Фотьянке было раньше-то... — смеялась Марья. — Богачи все жили. У всех-то вместе одна дыра в горсти... Бабы фотьянские теперь в кумачи разрядились, да в ботинки, да в полушалки, а сами ступить не умеют по-настоящему. Смешно на них и глядеть-то: кувалды кувалдами супротив наших балчуговских.

— Петр Васильич, сказывают, больно што-то форсит?..

— Сапоги со скрипом завел, пуховую шляпу, — так петухом и расхаживает. Я как-то была, так он на меня, мамынька, и глядеть не хочет. А с баушкой Лукерьей у них из-за денег дело до драки доходит: та себе тянет, а Петр Васильич себе. Фенька, конешно, круглая дура, потому што все им отдает...

— И то дура... — невольно соглашалась Устинья Марковна, в которой шевельнулся инстинкт бабьего стяжательства. — Вот нам и делить нечего... Што отец даст, тем и сыты.

— Весь народ из Балчугов бежит на Фотьянку... — со вздохом прибавила Марья.

Анна редко принимала участие в этих разговорах, занятая своими ребятишками. Ей было до себя. Да и вообще это была смирная и безответная бабенка, характером вся в мать. Подраставшая Наташка была у тетки «в няньках» и без утыху возилась с ребятами. Эта бойкая девочка в тяжелой обстановке дедовского дома томилась больше всех и жадно вслушивалась в наговоры вечно роптавшей Марьи. До детских ушей долетал далекий гул Фотьянки, и Наташка представляла себе что-то необыкновенное, совсем сказочное. История тетки Фени в ее голове тоже была окружена поэтическими подробностями и сейчас сливалась неразрывно с бойкой жизнью на промыслах. Теперь везде говорили про Фотьянку. Отец Яша в целое лето показывался дома всего раза два, чтобы повидать ребятишек и захватить одежи и харчей. Он сильно исхудал в лесу и еще больше облысел.

— Ну, показывай золото-то... — приставала к нему Устинья Марковна. — Хоть бы поглядеть, какое оно бывает.

— Погоди, мамынька, будет и золото, — коротко отвечал Яша, таинственно улыбаясь. — Тогда сама увидишь...

— Вот затощал ты, Яшенька, это-то я вижу... Ох, и проклятненное ваше золото, ежели разобрать. А где Мыльников-то?..

— Робит с нами на Мутяшке, только плохая у нас на него надежа: и ленив и вороват.

— Отца-то ты давно не видал? Зашел бы на шахту, по пути ведь...

— Нет, мамынька, достаточно с меня... Обругает, как увидит. Хоть и тяжело на промыслах, а все-таки своя воля... Сам большой, сам маленький...

Появление отца для Наташки было настоящим праздником. Яша Малый любил свое гнездо какой-то болезненной любовью и ужасно скучал о детях. Чтобы повидать их, он должен был сделать пешком верст шестьдесят, но все это выкупалось радостью свиданья. И Наташка и маленький Петрунька так и повисали на

отцовской шее. Особенно ластилась Наташка, скучавшая по отце более сознательно. Но Яша точно стеснялся радоваться открыто и потихоньку уходил с ребятишками куда-нибудь в огород и там пестовал их со слезами на глазах.

— Тятенька, золотой, возьми меня с собой! — каждый раз просила Наташка. — Тошнехонько мне здесь...

— Погоди, возьму... Куда тебя в лес-то, глупая, я возьму?..

— Я обшивать бы тебя стала, рубахи мыть, стряпать, — я все умею.

— А Петрунька как?

— И Петруньку с собой возьмем...

— Погоди, говорю.

— Да, тебе-то хорошо, — корила Наташка, надувая губы. — А здесь-то каково: баушка Устинья ворчит, тетка Марья ворчит... Все меня чужим хлебом попрекают. Я и то уж бежать думала... Уйду в город да в горничные и наймусь. Мне пятнадцатый год в спажинки пойдет.

— Вот ты и вышла глупая, Наташка: а Петрунька куды без тебя?

Только с отцом и отводила Наташка свою детскую душу и провожала его каждый раз горькими слезами. Яша и сам плакал, когда прощался со своим гнездом. Каждое утро и каждый вечер Наташка горячо молилась, чтобы бог поскорее послал тятеньке золота.

Последнее появление Яши сопровождалось большой неприятностью. Забунтовала, к общему удивлению, безответная Анна. Она заметила, что Яша уже не в первый раз все о чем-то шептался с Прокопием, и заподозрила его в дурных замыслах: как раз сомустит смирного мужика и уведет за собой в лес. Долго ли до греха. И то весь народ точно белены объелся...

— Што вы, сестрица Анна Родионовна! — уговаривал ее Яша. — Неужто и словом перемолвиться нам нельзя с Прокопием?.. Сказали, не укусили никого...

— Знаю я, о чем вы шепчетесь! — выкрикивала Анна. — Трое ребятишек на руках: куды я с ними

деваюсь. Ты вот своих-то бросил дедушке на шею, да еще Прокопия смущаешь...

— Ах, сестрица, какие вы слова выражаете!.. Денно-ночно я думаю об ребятишках-то, а вы: бросил.

Как на грех, Прокопий прикрикнул на жену, и это подняло целую бурю. Анна так заголосила, так запричитала, что вступились и Устинья Марковна и Марья. Одним словом, все бабы ополчились, соединившись в одно причитавшее и ревевшее целое.

— Да перестаньте вы, бабы! — уговаривал Прокопий. — Без вас тошно...

— Я тебе, сомустителю, зенки выцапаю! — ругала Яшу сестрица Анна. — Сам-то с голоду подохнешь, да и нас уморить хочешь...

В сущности бабы были правы, потому что у Прокопия с Яшей действительно велись любовные тайные переговоры о вольном золоте. У безответного зыковского зятя все сильнее въедалась в голову мысль о том, как бы уйти с фабрики на вольную работу. Он вынашивал свою мечту с упорством всех мягких натур и затаился даже от жены. Вся сцена закончилась тем, что мужики бежали с поля битвы самым постыдным образом и как-то сами собой очутились в кабаке Ермошки.

— Жизнь треклятая! — проговорил Прокопий, бросая свою шапку о пол. — Очумел я с бабами, Яша...

— Погоди, зять, устроимся, — утешал Яша покровительственным тоном. — Дай срок, утвердимся... Только бы однова дыхнуть. А на баб ты не гляди: известно, бабы. Они, брат, нашему брату в том роде, как лошади железные путы... Знаю по себе, Проня... А в лесу-то мы с тобой зажили бы припеваючи... Надоела, поди, фабрика-то?

— Хуже смерти... Как цепной пес у конуры хожу. Ежели бы не тятенька Родивон Потапыч, одного часу не остался бы.

Этот вольный порыв, впрочем, сменился у Прокопия на другой же день молчаливым унынием, и Анна точила его все время, как ржавчина.

— Туда же расхрабрился, ворона! — выкрикивала она. — Вот тятенька узнает, так он тебе покажет.

Устинья Марковна поддакивала дочери своим молчанием и вздохами, и только заступилась одна Марья:

— Будет тебе, Анна... Надоело слушать-то.

Не успели проводить Яшу на промысла, как накатилась новая беда. Раз вечером кто-то осторожно постучал в окно. Устинья Марковна выглянула в окно и даже ахнула: перед воротами стояла чья-то «долгушка», заложенная парой, а под окном расхаживал Мыльников с кнутиком.

— В гости приехал, тещенька... — объяснил он. — Пусти-ка в избу, дельце есть маленькое.

— Да ты бы днем, Тарас, а то на ночь глядя лезешь.

— Говорю, дело...

Когда Марья выскочила отворить ворота, она была изумлена еще больше: с Мыльниковым приехал Кожин. Марья инстинктивно загородила дорогу, но Кожин прошел мимо, как сонный.

— Не тронь его... — объяснил Мыльников, оттаскивая Марью. — Не бойсь, не потронет.

От Мыльникова, по обыкновению, пахнуло перегорелой водкой, как из винной бочки. Наклонившись, он удушливо прошептал:

— А новость слышала, Марьюшка?

— Какую новость?..

— А такую... Все будешь знать, скоро состаришься.

Устинья Марковна стояла посреди избы, когда вошел Кожин. Она в изумлении раскрыла рот, замахала руками и бессильно опустилась на ближайшую лавку, точно пред ней появилось привидение. От охватившего ее ужаса старуха не могла произнести ни одного слова, а Кожин стоял у порога и смотрел на нее ничего не видевшим взглядом. Эта немая сцена была прервана только появлением Марьи и Мыльникова.

— Устинье Марковне, любезной нашей теще, многая лета... — заговорил Мыльников с пьяной развязностью. — А слышала новость?

— Не подходи ты ко мне близко-то, Тарас... — причитала Устинья Марковна. — Не до новостей нам... Как увидела тебя в окошко-то, точно у меня што оборва-

лось в середке. До смерти я тебя боюсь... С добром ты к нам не приходишь.

— Это уж не моя причина, тещенька...

— Да говори толком-то! — понукала его Марья, сгоравшая от нетерпенья. — Ну, чего принес?

— А ты вот его спрашивай, — указал Мыльников на Кожина. — Мое дело сторона... Да сперва пригласи садиться, сестрица. Честь завсегда лучше бесчестья...

— Да ну тебя, болтушка... Садитесь.

Кожин, пошатываясь, прошел к столу, сел на лавку и с удивлением посмотрел кругом, как человек, который хочет и не может проснуться. Марья заметила, как у него тряслись губы. Ей сделалось страшно, как и матери. Или пьян Кожин, или не в своем уме.

— Окся-то моя определилась к баушке Лукерье, — проговорил, наконец, Мыльников, удушливо хихикая. — Сама, стерва, пришла к ней...

— А как же Феня? — зараз спросили Устинья Марковна и Марья.

— Приказала долго жить... тьфу!.. То-бишь, жива она, а только тово...

Имя Фени заставило очнуться Кожина, точно по нему выстрелили. Он хотел что-то сказать, пошевелил губами и махнул рукой.

— Да говори ты толком... — приставал к нему Мыльников. — Убегла, значит, наша Федосья Родивоновна. Ну, так и говори... И с собой ничего не взяла, все бросила. Вот какое вышло дело!

— У Карачунского она... — прошептал, наконец, Кожин. — Своими глазами видел. В горничные нанялась...

Он ударил кулаком по столу и застонал, как раненый человек, которого неосторожно задели за больное место. Марья смотрела на Устинью Марковну, которая бессмысленно повторяла:

— У Карачунского? Зачем ей быть у Карачунского? Как же баушка-то Лукерья не доглядела? Што-нибудь да не так...

— Нет, так!.. — ответил Кожин. — Известно, какие горничные у Карачунского... Днем горничная, а ночью сударка. А кто ее довел до этого? Вы довели!.. вы!..

Феня, моя голубка... родная... Што ты сделала над собой?..

— Убьет он Карачунского, — спокойно заметил Мыльников. — Это хоть до кого доведись...

Опомнилась первой Марья и проговорила:

— Да ведь ты женился, сказывают, Акинфий Назарыч? Какое тебе дело до нашей Фени?.. Ты сам по себе, она сама по себе.

— А ежели она у меня с ума нейдет?.. Как живая стоит... Не могу я позабыть ее, а жену не люблю. Мамынька женила меня, не своей волей... Чужая мне жена. Видеть ее не могу... День и ночь думаю о Фене. Какой я теперь человек стал: в яму бросить — вся мне цена. Как я узнал, что она ушла к Карачунскому, — у меня свет из глаз вон. Ничего не понимаю... Запряг долгушку, бросился сюда, еду мимо господского дома, а она в окно смотрит... Што тут со мной было — и не помню, а вот спасибо Тарас меня из кабака вытащил.

— Да когда это было-то, Акинфий Назарыч?

— Не упомню, не то сегодня, не то вчера... Горюшко лютое, беда моя смертная пришла, Устинья Марковна. Разделились мы верами, а во мне душа полымем горит... Погляжу кругом, а все красное. Ах, тоска смертная... Фенюшка, родная, што ты сделала над своей головой?.. Лучше бы ты померла...

Заголосили бабы от привезенной Тарасом новости, как не голосят над покойниками, а Кожин уронил голову на стол, как зарезанный.

— Ну, пошли!.. — удивлялся Мыльников. — Да я сам пойду к Карачунскому и два раза его выворочу наоборот... Приведу сюда Феню, вот вам и весь сказ!.. Перестань, Акинфий Назарыч... От живой жены о чужих бабах не горюют...

— Отстань... убью!.. — шептал Кожин, глядя на него дикими глазами.

— А што Родион-то Потапыч скажет, когда узнает? — повторяла Устинья Марковна. — Лучше уж Фене оставаться было в Тайболе: хоть не настоящая, а все же как будто и жена. А теперь на улицу глаза нельзя будет показать... У всех на виду наше-то горе!

II

Мыльников действительно отправился от Зыковых прямо к Карачунскому. Его подвез до господского дома Кожин, который остался у ворот дожидаться, чем кончится все дело.

— Ты меня тут подожди, — уговаривался Мыльников. — Я и Феню к тебе приведу... Мне только одно слово ей сказать. Как из ружья выстрелю...

Карачунский был дома. В передней Мыльникова встретил лакей Ганька и, по своему холуйскому обычаю, хотел сейчас же заворотить гостя.

— Мне Федосью Родионовну повидать, своячину... — упирался Мыльников в дверях. — Одно словечко молвить...

— Ступай, ступай! — напирал Ганька. — Я вот покажу тебе словечко... Не велено пущать.

Такое поведение лакея Ганьки возмутило Мыльникова, и он без лишних слов вступил с холуйским отродьем врукопашную. На крик Ганьки в дверях гостиной мелькнуло испуганное лицо Фени, а потом показался сам Карачунский.

— Ваше благородие, Степан Романыч... — взмолился Мыльников, изнемогавший в борьбе с Ганькой. — Одно словечушко молвить.

— Ну, говори... — коротко ответил Карачунский, узнавший Мыльникова. — Что тебе нужно, Тарас?

— Прикажите Ганьке уйти... Имею до тебя, Степан Романыч, особенное дельце.

Ганька был удален, и Мыльников, оправив потерпевший в схватке костюм, проговорил удушливым шепотом:

— Кожин меня за воротами ждет, Степан Романыч... Очертел он окончательно и дурак дураком. Я с ним теперь отваживаюсь вторые сутки... А Фене я сродственник: моя-то жена родная ейная сестра, значит, Татьяна. Ну, значит, я и пришел объявиться, потому как дело это особенное. Дома ревут у Фени, Кожин грозится зарезать тебя, а я с емя со всеми отваживаюсь... Вот какое дельце, Степан Романыч. Силушки моей не стало...

— Я Кожина не боюсь, — спокойно ответил Карачунский. — И даже готов объясниться с ним.

— Што ты, Степан Романыч: очертел человек, а ты разговаривать с ним. Мне впору с ним отваживаться... Ежели бы ты, Степан Романыч, отвел мне деляночку на Ульяновом кряже, — прибавил он совершенно другим тоном, — уж так и быть, постарался бы для тебя... Гора-то велика, што тебе стоит махонькую деляночку отвести мне?

Этот шантаж возмутил Карачунского, и он сморщился.

— Нет, не могу... — решил Карачунский после короткой паузы. — Отвести тебе деляночку — и другим тоже надо отводить.

— Ах, андел ты мой, да ведь то другие, а я не чужой человек, — с нахальством объяснял Мыльников. — Уж я бы постарался для тебя.

— Нет, не могу... — еще решительнее ответил Карачунский, повернулся в дверях и ушел.

У Карачунского слово было законом, и Мыльников ушел бы ни с чем, но когда Карачунский проходил к себе в кабинет, его остановила Феня.

— Степан Романыч, дозвольте мне переговорить с зятем?

— Нет, это лишнее, — ласково отговаривал Карачунский. — Я уже сказал все... Он требует невозможного, да и вообще для меня это подозрительный человек.

Но Феня так ласково посмотрела на него, что Карачунский только махнул рукой. О, женщины... Везде они одинаковы со своими просьбами, слезами и ласками!.. Карачунский еще лишний раз убедился в этом и почувствовал вперед, что ему придется изменить своему слову для нового «родственника». Последнее слово кольнуло его, но он опять видел одни ласковые глаза Фени и ее просящую улыбку. Разве можно отказать женщине? Феня в это время уже была в передней и умоляла Мыльникова, чтобы он увез куда-нибудь от греха дожидавшегося у ворот Кожина.

— И увезу, а ты мне срукоHводствуй деляночку на Краюхином увале, — просил в свою очередь Мыльни-

ков. — Кедровскую-то дачу бросил я, Фенюшка... Ну ее к черту! И канпания у нас была: пришей хвост кобыле. Все врозь, а главный заводчик Петр Васильич... Такая кривая ерахта!.. С Ястребовым снюхался и золото для него скупает... Да ведь ты знаешь, чего я тебе-то рассказываю. А ты деляночку-то приспособь... В некоторое время пригожусь, Фенюшка. Без меня, как без поганого ведра, не обойдешься...

— Дома-то у нас ты был, Тарас?

— Сейчас оттуда... Вместе с Кожиным были. Ну, там Мамай воевал: как учали бабы реветь, как учали причитать — святых вон понеси. Ну, да ты не сомлевайся, Фенюшка... И не такая беда изнашивается. А главное, оборудуй мне деляночку...

— А што мамынька? — спрашивала Феня свое. — Ах, изболелось мое сердечушко, Тарас... Не увижу я их, видно, больше, пропала моя головушка...

— Перестань печалиться, глупая, — утешал Мыльников. — Москва нашим-то слезам не верит... А ты мне деляночку-то охлопочи. Изнищал я вконец...

— Ах, какой ты, Тарас, непонятный! Я про свою голову, а он про делянку. Как я раздумаюсь под вечер, так впору руки на себя наложить. Увидишь мамыньку, кланяйся ей... Пусть не печалится и меня не винит: такая уж, видно, выпала мне судьба злосчастная...

— Ничего, привыкнешь. Ужо погляди, какая гладкая да сытая на господских хлебах будешь. А главное, мне деляночку... Ведь мы не чужи, слава богу, со Степаном-то Романычем теперь...

При последних словах Мыльников подмигнул и прищелкнул языком, заставив Феню покраснеть, как огонь. Она убежала, не простившись, а Мыльников стоял и ухмылялся. «Эх, бабы, всех-то вас взять да сложить вместе — один грех выйдет».

— Эй ты, галман, отворяй дверь! — вслух обратился Мыльников к появившемуся лакею Ганьке. — Без очков-то не узнал Тараса Мыльникова?.. Я вас всех научу, как на свете жить.

Выйдя на крыльцо, Мыльников еще постоял, покрутил своей беспутной головой и зашагал к воротам.

— Ну, твое дело табак, Акинфий Назарыч, — объявил он Кожину с приличной торжественностью. — Совсем ведь Феня-то оболоклась было, да тот змей-то не пустил... Как уцепился в нее, ну, известно, женское дело. Знаешь, што я придумал: надо беспременно на Фотьянку гнать, к баушке Лукерье; без баушки Лукерьи невозможно...

Последнее придумал Мыльников, стоя на крыльце. Ему не хотелось шагать до Фотьянки пешком, а Кожин на своей парочке лихо довезет. Он вообще повиновался теперь Мыльникову во всем, как ребенок. По пути они заехали еще к Ермошке раздавить полштоф, и Мыльников шепнул кабатчику:

— Битый небитого везет, Ермолай Семеныч...

— Скоро ли тебя повесят, Тарас? — ответил Ермошка в тон. — Я веревку пожертвую на свой счет...

— Еще осина не выросла, на которой нас с тобой повесят...

Кожин все время молчал и пил. Даже Ермошка его пожалел: совсем замотался мужик.

Всю дорогу до Фотьянки Мыльников болтал без утыху и даже рассказал, как он пил чай с Карачунским сегодня, пока Кожин ждал его у ворот господского дома.

— Мне, главная причина, выманить Феню-то надо было... Ну, выпил стакашик господского чаю, потому как зачем же я буду обижать барина напрасно. А теперь приедем на Фотьянку: первым делом самовар... Я как домой к баушке Лукерье, потому моя Окся утвердилась там заместо Фени. Ведь поглядеть, так дура набитая, а тут ловко подвернулась... Она уж во второй раз с нашего прииску убежала да прямо к баушке, а та без Фени, как без рук. Ну, Окся и соответствует по всем частям...

На Фотьянку они приехали уже совсем поздно, хотя в избе Петра Васильича еще и светился огонек, — это сидел Ястребов и вел тайную беседу с хозяином.

— Ты куда прешь-то ни свет ни заря? — накинулась баушка Лукерья на Мыльникова. — Дня-то тебе мало, шатущему?

— Об Оксе больно соскучился, баушка... — врал Мыльников, не сморгнув глазом. — Трудно, поди, ей управляться одной-то. Непривычное дело, вот главная причина...

— Воду на твоей Оксе возить — вот это в самый раз, — ворчала старуха. — В два-то дня она у меня всю посуду перебила... Да ты, Тарас, никак с ночевой приехал? Ну, нет, брат, ты эту моду оставь... Вон Петр Васильич поедом съел меня за твою-то Оксю. «Ее, говорит, корми, да еще родня-шаромыжники навяжутся...» Так напрямки и отрезал.

— Вот так уважил... Што же это такое, баушка Лукерья? На печи проезду не стало мне от сродственников... Ежели такие ваши речи, так я возьму Оксю-то назад.

— Сделай милость, бери... Не заплачем. Говорю, всю посуду расколотила. А ты не накладывайся ночевать у нас: без тебя тесно.

— Ах, боже мой... Вот так роденьку бог дал!.. — удивлялся Мыльников, распоясываясь. — Я сломя голову к тебе из Балчугов гоню, а она меня вон каким шампанским встретила...

— Да ты с какой радости разгонялся-то?

— А я с Кожиным цельных три дня путался. Он за воротами остался... Скажи ему, баушка, штобы ехал домой. Нечего ему здесь делать... Я для родни в ниточку вытягиваюсь, а мне вон какая от вас честь. Надоело, признаться сказать...

Баушка Лукерья сама вышла за ворота и уговорила Кожина ехать домой. Он молча ее выслушал, повернул лошадей и пропал в темноте. Старуха постояла, вздохнула и побрела в избу. Мыльников уже спал, как зарезанный, растянувшись на лавке.

— Этакие бесстыжие глаза... — подивилась на него старуха, качая головой. — То-то путаник-мужичонко!.. И сон у них у всех один: Окся-то так же дрыхнет, как колода. Присунулась до места и спит... Ох, согрешила я! Не нажить, видно, мне другой-то Фени... Ах, грехи, грехи!..

Баушка Лукерья, снедаемая недугом своей старческой жадности, ужасно тосковала о Фене, являвшейся

для нее той сказочной курицей, которая несла золотые яйца. Приветливая была бабенка, обходительная, и всякое дело у ней в руках горело. А как ушла Феня, точно все ножом обрезало... Где же одной старухе управиться, да и не умела она потрафить постояльцам, как Феня. Баушка Лукерья не раз даже всплакнула по Фене, проклиная Карачунского, ухватившего ласковую бабенку. Польстилась Феня на сладкое господское житье и позабыла про свою девичью честь.

Мыльников с намерением оставил до следующего дня рассказ о том, как был у Зыковых и Карачунского, — он рассчитывал опохмелиться на счет этих новостей и не ошибся. Баушка Лукерья сама послала Оксю в кабак за полштофом и с жадным вниманием прослушала всю болтовню Мыльникова, напрасно стараясь отличить, где он говорит правду и где врет.

— Кланяться наказывала тебе, баушка, Феня-то, — врал Мыльников, хлопая одну рюмку за другой. — «Скажи, грит, што скучаю, а промежду прочим весьма довольна, потому как Степан Романыч барин добрый и всякое уважение от него вижу...»

— Пес он, Степан-то Романыч. Не стало ему других девок? Из городу привез бы...

— Значит, Феня ему по самому скусу пришлась... хе-хе!.. Харч, а не девка: ломтями режь да ешь. Ну, а што было, баушка, как я к теще любезной приехал да объявил им про Феню, што, мол, так и так... Как взвыли бабы, как запричитали, как заголосили истошными голосами — ложись помирай. И тебе, баушка, досталось на орехи. «Захвалилась, говорят, старая крымза, а Феню не уберегла...» Родня-то, баушка, по нынешним временам везде так разговаривает. Так отзолотили тебя, што лучше и не бывает, вровень с грязью сделали.

Слушал эти рассказы и Петр Васильич, он относился к ним совершенно равнодушно. Он отступился от матери, предоставив ей пользоваться всеми доходами от постояльцев. Будет Окся или другая девка — ему было все равно. Вранье Мыльникова просто забавляло вороватого домовладыку. Да и мамынька пусть поки-

пятится за свою жадность... У Петра Васильича было теперь свое дело, в которое он ушел весь.

Опохмелившись, Мыльников соврал еще что-то и отправился в кабак к Фролке, чтобы послушать, о чем народ галдит. У кабака всегда народ сбивался в кучу, и все новости собирались здесь, как в узле. Когда Мыльников уже подходил к кабаку, его чуть не сшибла с ног бойко катившаяся телега. Он хотел обругаться, но оглянулся и узнал любезную сестрицу Марью Родивоновну.

— Куды ускорилась, сестрица?

— А баушку проведать поехала, — нехотя отвечала Марья, понукая лошадь.

— Так-с... Настоящее уважение старушке делаете.

Когда телега повернула за угол, Мыльников раскинул умом и живо сообразил, зачем ехала проведывать баушку любезная сестрица. Ухмыльнувшись, он подумал вслух:

— Поздно-с, Марья Родивоновна... Местечко-то занято.

На этот раз Мыльников ошибся. Пока он прохлаждался в кабаке, судьба Окси была решена: ее место заняла сама любезная сестрица Марья Родивоновна.

— Ты теперь ступай, голубка, домой, — объясняла баушка Лукерья ничего не понимавшей Оксе. — Спасибо, всю посуду переколотила...

— Не пойду... — упрямо повторяла Окся, которой нравилось жить у баушки.

Произошла комическая сцена, в которой должен был принять участие даже Петр Васильич.

— Как же ты, милая, не пойдешь, ежели тебе сказано? — разъяснял он Оксе. — Надо и честь знать...

— Да што ты ко мне привязался, кривой черт? — озлилась, наконец, Окся, перенеся все свое неудовольствие на Петра Васильича. — Сказала, не пойду...

— Мамынька, что же это такое? — взмолился Петр Васильич. — Я ведь, пожалуй, и шею искостыляю, коли на то пошло. Кто у нас в дому хозяин?..

Баушка Лукерья сунула Оксе за ее службу двугривенный и вытолкала за дверь. Это были первые деньги,

которые получила Окся в свое полное распоряжение. Она зажала их в кулак и так шла все время до Балчуговского завода, а дома спрятала деньги в сенях, в расщелившемся бревне. Оксю тоже охватила жадность, с той разницей от баушки Лукерьи, что Окся знала, куда ей нужны деньги.

Мысль о бегстве из отцовского дома явилась у Марьи в тот же роковой вечер, когда она узнала о новой судьбе сестры Фени. Она не спала всю ночь, раздумывая, как устроить ей все дело. Что ей ждать в отцовском доме? Из-за отца и в девках осталась, а когда старик умрет, тогда и деваться будет некуда. Дом зятю Прокопию достанется «на детей», как обещал Родион Потапыч, не рассчитывавший на своего Яшу как на достойного наследника. Жаль было Марье старухи матери, да жить-то ведь ей, Марье, а мать свой век изжила. Девушка со слезами простилась с родным гнездом, сама запрягла лошадь и отправилась на Фотьянку.

III

Компания Кишкина и существовала и как будто не существовала. Дело в том, что Мыльников сбежал окончательно, обругав всех на чем свет стоит, а затем Петр Васильич бывал только «находом», — придет, повернется денек и был таков. Настоящими рабочими оставались сам Кишкин, Яша Малый, Матюшка, Турка и Мина Клейменый, — последний в артели отвечал за кашевара. Миляев мыс так и остался спорным, а работа шла на отводах вверх по реке Мутяшке. Маякова слань была исправлена лучше, чем в казенное время, и дорога не стояла часу, — шли и ехали рабочие на новые промысла и с промыслов. В одно лето все течение Меледы с притоками сделалось неузнаваемым: лес везде вырублен, земля изрыта, а вода текла взмученная и желтая, унося с собой последние следы горячей промысловой работы.

Дела у Кишкина шли ни шатко ни валко. Он много выиграл тем, что получил отвод прииска раньше других и, следовательно, раньше мог начать работу.

Прииск получил название Сиротки, по логу, который выходил на Мутяшку с правой стороны. Для работы «сильной рукой» не хватало средств, а поэтому дело велось наполовину старательскими работами, наполовину иждивением самого Кишкина, раздобывшегося деньгами к общему удивлению. Никто и не подозревал, что эти таинственные деньги были ему даны знаменитым секретарем Ильей Федотычем. Это была своего рода взятка, чтобы Кишкин не запутал знаменитого дельца в проклятое дело о Балчуговских промыслах.

— Ты у меня смотри... — погрозил Илья Федотыч, выдавая деньги. — Знаешь поговорку: клоп клопа ест — последний сам себя съест...

По-настоящему работы на Сиротке нужно было начать с генеральной разведки всей площади прииска, то есть пробить несколько шурфов в шахматном порядке, чтобы проследить простирание золотоносного пласта, его мощность и все условия залегания. Но подобная разведка стоила бы около тысячи рублей, а таких денег не было и в помине. Еще больше стоила бы «вскрыша россыпи», то есть снятие верхнего пласта пустой породы, что делается на больших хозяйских работах. Это и выгодно, и вперед можно рассчитать содержание золота. Но пришлось вести работы старательским способом: взяли угол россыпи и пошли вверх по логу «ортами». Зараз производились и вскрышка верховника и промывка песков. Содержание золота оказалось порядочное, хотя и не везде одинаковое.

— Какая это работа: как мыши краюшку хлеба грызем, — жаловался Кишкин. — Все равно как лестницу мести с нижней ступеньки.

В «забое», где добывались пески, работал Матюшка с Туркой, откатывал на тачке пески Яша Малый, а Мина Клейменый стоял на промывке с Кишкиным. Собственно промывка — бабья, легкая работа. Дело все-таки шло очень недурно и «оправдывало себя». На пятерых в день намывали до двух золотников золота, что составляло поденщину рубля в полтора. Одно смущало Кишкина, что золото шло неровное — то убавится, то прибавится. Другая беда была

в том, что близилась зима, а зимой или ставь теплую казарму, или бросай все дело до следующей весны. Пока все жили в одной избушке, кое-как защищавшей от дождя. Мысль о зиме не давала Кишкину покоя: партия разбредется, а потом начинай все сызнова.

Если бы не эти заботы, совсем было бы хорошо. Проведенное в лесу лето точно размягчило Кишкина, и он даже начинал жалеть о заваренной каше. Недавняя озлобленность, вызванная многолетними неудачами, нуждой и одиночеством, сменилась бодрым, хорошим настроением. Да и хорошо жить в лесу... Какие ночи выпадали, какие ясные горячие деньки: двадцать лет с плеч долой. День за работой, а вечером такой здоровый отдых около своего огонька в приятной беседе о разных разностях. С других приисков народ заходил, и вся Мутяшка была на вестях: у кого какое золото идет, где новые работы ставят и т. д. Вся Мутяшка представляла одно громадное целое, жившее одними интересами и надеждами.

— Эх, нету у нас, Андрон Евстратыч, первое дело, лошади, — повторял каждый день Матюшка, — а второе дело, надо нам беспременно завести бабу... На других приисках везде свои бабы полагаются.

— Окся, подлая, убежала... — оправдывался Кишкин.

Было несколько попыток приобрести бабу, но все они закончились полнейшей неудачей. Про фотьянских баб и думать было нечего: они совсем задорожились. У себя дома не успевали поправляться. Были, конечно, шатущие по промыслам девки, отбившиеся от своих семей, но такую и к артельному котелку никто не пустит. Бабы вообще шли нарасхват. Главным поставщиком этого товара служил Балчуговский завод. На Сиротке жили несколько времени две таких бабы, но не зажились. Прииск был небольшой, рабочих мало, да и то почти все старики.

— Скушно у вас, — говорили бабы и уходили куда-нибудь на соседний прииск к Ястребову.

Мыльников приводил свою Оксю два раза, и она оба раза бежала. Одним словом, с бабой дело не клеи-

лось, хотя Петр Васильич и обещал раздобыть таковую во что бы то ни стало.

— Да тебя как считать-то: не то ты с нами робишь, не то отшибся? — спрашивал Кишкин Петра Васильича. — День поробишь да неделю лодырничаешь.

— Ужо погодите, управлюсь с делами, так в первой голове пойду.

— Расчета тебе нет, Петр Васильич: дома-то больше добудешь. Проезжающие номера открыл, а теперь, значит, открывай заведение с арфистками... В самый раз для Фотьянки теперь подойдет. А сам похаживай петушком да командуй — всей и работы.

— Кишок, пожалуй, не хватит, Андрон Евстратыч, — скромничал Петр Васильич, блаженно ухмыляясь. — Шутки шутишь над нашей деревенской простотой... А я как-то раз был в городу в таком-то заведении и подивился, как огребают денежки.

— Озарился, поди?.. Лют ты до чужих денег, Петр Васильич. Глаз у тебя так и заиграет, как увидит деньги-то...

Зачем шатался на прииски Петр Васильич, никто хорошенько не знал, хотя и догадывались, что он спроста не пойдет время тратить. Не таковский мужик... Особенно недолюбливал его Матюшка, старавшийся в компании поднять на смех или устроить какую-нибудь каверзу. Петр Васильич относился ко всему свысока, точно дело шло не о нем. Однако он не укрылся от зоркого и опытного взгляда Кишкина. Раз они сидели и беседовали около огонька самым мирным образом. Рабочие уже спали в балагане.

— Это у тебя что пазуха-то отдулась? — самым невинным образом спрашивал Кишкин.

Петр Васильич схватился за свою пазуху, точно обожженный, а Кишкин засмеялся и покачал головой.

— Эх, Петр Васильич, Петр Васильич, — повторял он укоризненно. — И воровать-то не умеешь. Первое дело, велики у тебя весы: коромысло-то и обозначилось. Ха-ха...

— Н-но-о?.. Это я в починку захватил...

— В лесу починивать?.. Ну, будет, не валяй дурака... А ты купи маленькие вески, есть такие, в

футляре. Нельзя же с безменом ходить по промыслам. Как раз влопаешься. Вот все вы такие, мужланы: на комара с обухом. Три рубля на вески пожалел, а головы не жаль... Да смотри, моего золота не шевели: порошину тронешь — башка прочь.

— Ну, и глаз у тебя, Андрон Евстратыч: наскрозь. Каюсь, был такой грех... Одинова попробовал, а лестно оно.

— От кого?

Петр Васильич опять замялся и заерзал на месте.

— Ну, ну, без тебя знаю, — успокоил его Кишкин. — Только вот тебе мой сказ, Петр Васильич... Видал, как рыбу бреднем ловят: большая щука уйдет, а маленькая рыбешка вся тут и осталась. Так и твое дело... Ястребов-то выкрутится: у него семьдесят семь ходов с ходом, а ты влопаешься со своими весами, как кур во щи.

Это отеческое внушение и сознание собственной мужицкой глупости подействовали на Петра Васильича самым угнетающим образом. Ему было бы легче, если бы Кишкин прямо обругал его. Со всяким бывают такие скверные положения, когда человек рад сквозь землю провалиться, то же самое было и с Петром Васильичем. Убежать прямо от Кишкина было совестно, да и оставаться тоже. Петр Васильич сидел и моргал единственным глазом, как сыч. Мужицкая совесть тяжелая, и Петр Васильич чувствовал, как он начинает ненавидеть Кишкина, ненавидеть за его собачью догадливость. Главное, посмеялся Кишкин над его глупостью.

— Ну, так как же? — спрашивал Кишкин, хлопая его по плечу.

— А все то же, Андрон Евстратыч... Напрасно ты мне весками-то укорил: пошутил я, никаких весков нету со мной. Посмеялся я, значит...

— Ладно, разговаривай...

— Может, ты скупаешь здесь золото-то, тебе это сподручнее?.. Охулки на руку не положишь, а уж где нам, дуракам!..

Они расстались врагами.

Кишкин угадал относительно таинственной деятельности Петра Васильича, занявшегося скупкой хищнического золота на новых промыслах. Дело было не трудное, хотя и приходилось вести его осторожно, с разными церемониями. Сам Ястребов не скупал золота прямо от старателей и гнал их в три шеи, если кто-нибудь приходил к нему. Это все знали и несли золото к Ермошке или другим мелким ястребовским скупщикам. Петр Васильич был еще внове, рабочие его мало знали, и приходилось самому отправляться на промысла и вести дело «под рукой». Опытные рабочие не доверяли новому скупщику, но соблазн заключался в том, что к Ермошке нужно было еще везти золото, а тут получай деньги у себя на промыслах, из руки в руку.

У Петра Васильича было несколько подходов, чтобы отвести глаза приисковым смотрителям и доверенным. Так, он прикидывался, что потерял лошадь, и выходил на прииск с уздой в руках.

— Не видали ли, братцы, мою кобылу? — спрашивал он. — Правое ухо порото, левое пнем... Вот третьи сутки в лесу брожу.

— Да ты сам-то откедова взялся? — подозрительно спрашивал кто-нибудь.

— Я с Мутяшки... У Кишкина на Сиротке робим.

Разговор завязывался. Петр Васильич усаживался куда-нибудь на перемывку, закуривал «цыгарку», свернутую из бумаги, и заводил неторопливые речи. Рабочие — народ опытный и понимали, какую лошадь ищет кривой мужик.

— Шерсть-то какая у твоей кобылы?

— Да желтая шерсть... Ни саврасая, ни рыжая, а какая-то желтая уродилась. Такая уж мудреная скотинка...

Побеседовав, Петр Васильич уходил и дожидался добычи где-нибудь в сторонке. Он пристраивался где-нибудь под кустиком и открывал лавочку. Подходил кто-нибудь из старателей.

— Почем?

— Три бумажки...

— На Малиновке по четыре дают.

— Много дают, да только домой не носят... А мои три бумажки сейчас.

В переводе этот торг заключался в желании скупщика приобрести золотник золота за три рубля, а продавец хотел продать по четыре. После небольшого препирательства победа оставалась за Петром Васильичем. Он с необходимыми предосторожностями добывал из-за пазухи свои весы, завернутые в платок, и принимался весить принесенное золото, причем не упускал случая обмануть, потому что весы были «с привесом». Второпях продавцу было не до проверки, хотя он долго потом чесал затылок, прикидывал в уме и ругал кривого черта вдогонку.

Иногда Петр Васильич показывался на прииске верхом на своей желтой кобыле и разыгрывал «заплутавшегося человека», иногда приходил прямо в приисковую контору и предлагал доставлять какой-нибудь харч по очень сходной цене и т. д. Вместе с практикой развились его изобретательность и нахальство. Его уже знали на промыслах, и в большинстве случаев ему стоило только показаться где-нибудь поблизости, как слетались сейчас же хищники. А золота в Кедровской даче оказалось достаточно. Везде шла самая горячая работа, хотя особенно богатого золота, о котором гласила стоустая молва, и не оказалось. Все-таки работать было можно, и тысячи рабочих находили здесь кусок хлеба.

Добытое таким нелегким путем золото сдавалось Ястребову за двадцать копеек, то есть он прибавлял за каждый золотник двадцать копеек премии. Сначала Петр Васильич был чрезвычайно доволен, потому что в счастливый день зашибал рублей до трех, да, кроме того, наживал еще на своих провесах и обсчетах рабочих. В общем получались довольно кругленькие денежки. Но с Петром Васильичем повторилось то же самое, что с матерью. Его охватило такое же чувство жадности, и ему все казалось мало. В самом деле, он наживал с золотника двадцать копеек, а Ястребов за здорово живешь сдавал в казну этот же золотник за четыре рубля пятьдесят копеек и получал целый рубль. Конечно, Ястребов давал деньги на золото, раз-

носил его по книгам со своих приисков и сдавал в казну, но Петр Васильич считал свои труды больше, потому что шлялся с уздой, валял дурака и постоянно рисковал своей шкурой как со стороны хозяев, так и от рабочих. И шею могут накостылять, и ограбить, и начальству головой выдать, а пожаловаться некому. Природная трусость Петра Васильича исчезла под магическим освещением золота, и он действовал смелее самых опытных скупщиков. Ах, если бы у него были свои деньги, что можно было бы сделать! Почище Ястребова подвел бы механику. С тем же Кишкиным вошел бы в соглашение, чтобы записывать скупленное золото на Сиротку. Но лиха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильич хранил до поры до времени про себя и Ястребову не показывал вида, что недоволен.

По предварительному уговору, с внешней стороны Петр Васильич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе.

— Мамынька, это ты пустила постояльца! — накидывался Петр Васильич на мать. — А кто хозяин в дому?.. Я ему пок-кажу... Он у меня споет голландским петухом. Я ему нос утру...

Баушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка, но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху.

— Надулся пузырь и думает: шире меня нет!.. — выкрикивал он по адресу Ястребова. — Нет, погоди, брат... Я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат. На чужие деньги распух...

Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал:

— Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлич. Одному-то тебе скучно будет ехать.

Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильича вызывали волостные старички для внушения.

— Ты не показывай из себя богатого-то, — усовещивали старички огрызавшегося Петра Васильича, — как раз насыплем, штобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерахте?

— А вот это самое и помешал, — не унимался Петр Васильич. — Терпеть его ненавижу... Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается, а потом с судом не расхлебаешься. Тоже можем свое понятие иметь...

— Отодрать тебя, пса, вот и весь разговор... Што больно перья-то распустил?

IV

Известие о бегстве Фени от баушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент, именно, когда Рублиха выходила на роковую двадцатую сажень, где должна была произойти «пересечка». Старик так был увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье, или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеянье чужим людям.

Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем, а встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке.

— Обманула, видно, нас двадцатая-то сажень? — спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой.

— Сдвиг дала жила, — так же спокойно ответил Родион Потапыч. — Некуда ей деваться... Не иголка.

Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского-управляющего от Карачун-

ского — соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой вот в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие ассигновки. Инженер Оников с самого начала был против новой шахты и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было бы и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем.

Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаньями и слезами, он ответил всего одним словом:

— Знаю...

Больше о Фене в зыковском доме ничего не было сказано, точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фотьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стало Марьи — лишний рот с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее... Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рехнулся.

«Хоть бы для видимости построжил, — даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. — Какой же порядок в дому без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит, или зять Прокопий задурит».

Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком, точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой.

Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала вкривь и вкось вся Фотьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников благодаря ходатайству Фени получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь ста саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю-«пустяк» на полати, устроенные из краденых с шахты досок. Окся сваливала «пустяк» в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка.

— Да ты с ума сошел, безумная голова? — накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. — Куды залез-то?..

— Родиону Потапычу сорок одно с кисточкой... — весело ответила голова Тараса из ямы. — Аль завидно стало? Не бойсь, твоего золота не возьму... Разделимся как-нибудь.

— Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый!.. Ступай на Краюхин увал: там ваше место.

— Сам ступай, коли так поглянулось, а я здесь останусь. Промежду прочим, сам Степан Романыч соблаговолил отвести деляночку... Его спроси.

— Ну, это уж ты врешь!..

— Вот што я тебе скажу, Родион Потапыч: и чего нам ссориться? Слава богу, всем матушки-земли хватит, а я из своих двадцати пяти сажен не выйду и вглыбь дальше десятой сажени не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы... Спроси, говорю, Степан-то Романыча!.. Благодетель он...

Старый штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел.

— Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец! — кричал вслед ему Мыльников. — Как бы самому же напиться не пришлось... Всяко бывает. Я вот тебе такое золото обыщу, што не поздоровится. А ты, Окся, што пнем стала? Чему обрадовалась-то?

Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой. «Эх, слаб Степан Романыч до женского полу и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охàет его везде. Пес и есть пес: добра не помнит».

Карачунский действительно не показывался на Рублихе с неделю: он совестился неподкупного старого штейгера.

А Мыльников копал себе да копал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Окся «выхаживала» воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фотьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. Ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачовой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать.

— Эй, тятенька, шевели бородой! — покрикивал Мыльников палачу из своей ямы.

Это была, во всяком случае, оригинальная компания: отставной казенный палач, шваль Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать; но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окся варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб.

Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем, — уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами.

— Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосовал прежде каторжан, — страшно сделается? Тоже ведь и в палаче живая душа... а?..

— Отстань, смола...

Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком, — пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта.

Втроем работа подвигалась очень медленно и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогло делу. Наступившие заморозки увеличили неудобства: нужно было и теплую одежу и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла всего еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в «пустяке» камень-ребровик, который точно черт подсовывал.

— Теперь уж скоро жилка будет, — уверял самого себя Мыльников. — Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда, бывало, вместе пировали. Родион-то Потапыч достигает ее на глыби, а она вся поверху расщепилась. Расшибло ее, жилу...

Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил, но нужно было чему-нибудь верить, а у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец, в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил оземь мокрую шапку и рукавицы и проговорил:

— А черт с ней и с дудкой... Через этот самый «пустяк» и с диомидом не пролезешь. Глыбко ушла жила... Должно полагать, спьяна наврал проклятый Кривушок, не тем будь помянут покойник.

Палач угрюмо молчал, Окся тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робил-робил и, кроме «пустяка», ни синь-пороха. Хоть бы поманило чем-нибудь... Эх, жисть! Лучше бы уж у Кишкина на Мутяшке пропадать.

— Так, значит, тово... пошабашим? — спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном.

— Кто это тебе сказал? — воспрянул духом Мыльников; раздумье с него соскочило, как с гуся вода. — Ну, нет, брат... Не таковский человек Тарас Мыльников, штобы от богачества отказался. Эй, Окся, айда в дудку...

— Не полезу... — решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский азям.

Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю влоск, — надо же было на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце.

— Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку! — орал Мыльников, устав от внушения. — Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим.

Палач был согласен. Ввиду такого критического положения Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху, но, с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бадей «пустяка», как вся промокла — и ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. Как она пойдет с Ульянова кряжа на Фотьянку — околеет дорогой. А Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси.

— Вот я тебя! — кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. — Я тебя выучу, как родителя слушать... То-то наказал господь-батюшка дурой неотесанной!.. Хоть пополам разорвись...

Тяжело достался Оксе этот проклятый день... А когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал.

— Беги бегом, дура, согреешься на ходу! — пожалел ее чадолюбивый папаша. — А то как раз замерзнешь еще... Наотвечаешься за тебя!..

Окся действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фотьянку, а в противоположную сторону, к Рублихе.

— Не туда, дура!.. — кричал ей вслед Мыльников. — Ах, дура... не туда!..

Но Окся быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех, самого старика в этот критический момент не случилось дома — он закладывал шпур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Окся так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно себе представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу.

— Эй ты, птаха... — тряс ее за плечо рассерженный старик. — Не туды залетела!.. Чья ты будешь-то?

Окся открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычала несуразное. Странная вещь, — ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коли вся в глине, черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади, — это тоже послужило смягчающим обстоятельством.

— Из дудки только вылезла... — коротко объяснила Окся, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрядинной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и кофточки на каком-то собачьем меху. — Едва не околела от холоду...

— Может, и поесть хочешь?

— С утра не едала...

Разговор был вообще несложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою «паужну» и разделил с Оксей, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки, и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще.

— Откудова ты взялась-то, птаха?..

— А с дудки... от Мыльникова.

— Так он тебя в дудку запятил? То-то безголовый мужичонко... Кто же баб в шахту посылает: такого закону нет. Ну, и дурак этот Тарас... Как ты к нему-то попала? Фотьянская, видно?

— Дочь я Тарасу, Окся...

Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого он уж никак не ожидал... Вот так внучка! Закусив, Окся опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза.

— Ну, теперь ступай... — сурово проговорил старик, не повертываясь. — Поела, согрелась и ступай.

— Вот еще выдумал! Куды я пойду-то? Тоже и сказал...

— Да ты с кем разговариваешь-то?

— Отстань, што привязался-то... Вот еще выискался...

Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окся уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела, из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методические постукивания шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырывавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую

улыбку, которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же схоронилась в глубоких морщинах старческого лица.

— Ведь сама пришла, птаха... — вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенное радостное настроение. — Вот и поди, потолкуй с ней!.. Как домой пришла...

Вся Рублиха, то есть машинист, кочегары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, тряпиц и «переменок». Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Оксе, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окся — родная внучка Родиону Потапычу и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, — какое уж тут золото.

— Ты бы, Родион Потапыч, и то выгнал Оксюху-то, — советовал подручный штейгер. — Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте... Не модель, одним словом.

Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмехался. Поговорят да перестанут...

V

С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за исключением пяти-шести больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей Сиротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить: не брала сила. От летней работы у него оставалось около ста рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ.

— Жирно будет, пожалуй, подавишься...

— Да ведь дело-то верное, Илья Федотыч!.. Вот только бы теплушку-казарму поставить... Вернее смерти. На золотник вышли бы [1].

— Ладно, рассказывай... Слыхали мы про ваши золотники. Все вы рехнулись с этой Кедровской дачей...

— Так и не дашь?

— И сам не дам и другому закажу, чтобы не давал.

— Ирод ты после этого... Своей пользы не понимаешь! У Ястребова есть заявка на Мутяшке, верстах в десяти от моего прииска... Болотинка в берег ушла, ну, он пошурфовал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорились, а он мне: «Бери хоть даром болотину-то...» А я все к ней приглядывался еще с лета: приличное местечко. В том роде, как тогда на Фотьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты: «жирно будет». Своего счастья не понимаешь. Вторая Фотьянка будет, уж ты поверь моему слову...

Это предположение рассмешило сердитого секретаря до слез.

— Так своего счастья не понимаю? Ах вы, шуты гороховые... Вторая Фотьянка... ха-ха... Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрошка... Лягушек в болоте давить, а он богатства ищет. Нет, ты святого на грех наведешь.

Посмеялся секретарь Каблуков над «вновь представленным» золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было проявиться на общих судебных основаниях. Именно такой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное — выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощанье он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил:

[1] На золотник выйти — найти золотоносный пласт с содержанием золота в 100 пудах песку 1 золотник. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Только ты себя осрамил, Андрошка... Выйдет тебе решение как раз после морковкина заговенья. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас... Эх ты, чижиково горе!..

— А што, разве есть слухи?

— Ну, это уж тебя не касается. Ступай да поищи лучше свою вторую фотьянскую россыпь... Лягушатник тебе пожертвует Ястребов.

— Ах, ирод... Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч...

— Помяну в родительскую субботу...

Итак, все ресурсы были исчерпаны вконец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела. На Кишкина напало то глухое молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский завод, когда ему на дороге попал пьяный Кожин, кричавший что-то издали и размахивавший руками.

— Слышал новость, Андрон Евстратыч?

— Черт с печи упал?..

— Хуже... Тарас-то Мыльников ведь натакался на жилку. Верно тебе говорю... Сказывают, золото так лепешками и сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай. Этакой жилки, сказывают, еще не бывало сроду. Окся эта самая робила в дудке и нашла...

— Ты куда, Акинфий Назарыч, едешь-то?

— А сам не знаю... В город мчу, а там видно будет.

— Поедем-ка лучше на Фотьянку: продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то...

— Не я пью, Андрон Евстратыч: горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь... Мамынька посулилась проклятие наложить, ежели не остепенюсь.

— Так едем... Жилку у Тараса поглядим. Вот именно, что дуракам счастье... И Окся эта самая глупее полена.

Они вместе отправились на Фотьянку. Дорогой пьяная оживленность Кожина вдруг сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоми-

ная свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке, — хитер Илья Федотыч, как раз подошлет кого-нибудь к Ястребову и отобьет. От него все станется... Под этим впечатлением завязался разговор.

— Какие подлецы на белом свете живут, Акинфий Назарыч...

— Это ты насчет меня?

— Нет... Я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться, а пришел старый приятель, попросил денег на дело, так нет. Ведь не дал... А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельце-то какое: повернее в десять раз, чем жилка у Тараса. Одним словом, богачество... Уж я это самое дело вот как знаю, потому как еще за казной набил руку на промыслах. Сотню тысяч можно зашибить, ежели с умом...

— Сотню?

— Больше...

Кожин как-то сразу прочухался от такой большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким.

— Руку легкую надо на золото... — заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние.

— А кто фотьянскую россыпь открыл?..

— Это точно... Ах, волк тебя заешь. Правильно... Сколько тебе денег-то надобно?

— Самые пустяки: рублей пятьсот на первый раз...

— Пять катеринок... Так он, друг-то, не дал?.. А вот я дам... Што раньше у меня не попросил? Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал, а сейчас бери, потому как мои деньги сейчас счастливые... Примета такая есть.

— Это ты насчет Федосьи Родионовны?

— Об ней об самой... Для чего мне деньги, когда я жизни своей постылой не рад, ну, они и придут ко мне.

Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная...

— Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч: увези меня с собой в лес, а то все равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня... родная... голубка...

Нужно было ехать через Балчуговский завод; Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья, точно эти пятьсот рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело, точно оно уже было совершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись: оба несчастные, оба не знают, куда голову приклонить. Да тут золото само полезет. И как это раньше ему Кожин не пришел на ум?.. Ну, да все к лучшему. Оставалось уломать Ястребова.

Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фотьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком, и какое золото!.. В несколько дней выросла целая легенда об «Оксиной жиле». Рассказывали чудеса о том, как жила не давалась самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окся, сколько ее ни допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял «около домашности», поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал...

— Это от Кривушки отшиблась жилка-то, — объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. — Он сам сказывал: «Так, грит, самоваром золото-то и ушло вглыбь...» Ну, канпания свою Рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшатился. Из глаз ушло золото-то у Родиона Потапыча...

В несколько дней Мыльников совершенно преобразился: он щеголял в красной кумачовой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке

и новых пимах (валенках). Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недосягаемой мечтой Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруе и с пошевнями — садись и поезжай.

Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов: от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову: он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых три рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала.

— Озолочу всех... — бахвалился Мыльников перед женой.

Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как Тарас забросил свое сапожное ремесло, — трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась и сама теперь удивлялась этому.

— Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим, — хвастался Мыльников. — В том роде, как была «пьяная контора»... Сказал: всех озолочу!

В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадеры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадеру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик... В заключение Мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стену и проговорил:

— Дыра какая-то анафемская!..

У него сейчас мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фотьянке начали мужики строиться — там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться.

Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фотьянку и приехали Кишкин с Кожиным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошевнях сидела целая ватага пьяных мужиков.

— Андрону Евстратычу!.. — кричал Мыльников, размахивая шапкой. — Што больно скукожился? Хошь денег?.. Вот только четвертной билет разменяю в заведении...

— Эк, вино-то в тебе разыгралось, Тарас!.. — подивился Кишкин. — Очень уж перья-то распустил... Да и приятелей хороших нашел.

— Ох, и не говори: такая канпания, што знакомому черту подарить, так не возьмет... А какова у меня лошадка, Акинфий Назарыч? Сорок цалковых дадена...

— Замучишь, только и всего, — заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. — Не к рукам конь...

На Фотьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который на счастье случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фотьянку; приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас все симпатии. Если не судил бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью, — девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась: пополнела, сделалась такой бойкой, а в глазах огоньки так и играют.

— Погодите, Марья Родионовна, пусть только моя Дарья издохнет, — уговаривался Ермошка вперед, — сейчас же сватов зашлю...

— Андроны едут, когда-то будут, — отшучивалась Марья. — Да и мое-то девичье время уж прошло. Поможе найдете, Ермолай Семеныч.

— В самый вы раз мне подойдете, Марья Родионовна... Как на заказ.

Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионовну и молчал.

— Вы не насчет ли золота? — спросила она его.

— Желаю попробовать счастья, Марья Родионовна: где наше не пропадало. Вот с Кишкиным в канпанию вступаю...

— И весьма напрасно-с, — заметил Ермошка, — пустой старичонко и пустые слова разговаривает...

Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожин оставался и продолжал молчать.

— А што Феня? — тихо спросил он. — Знаете, што я вам скажу, Марья Родионовна: не жилец я на белом свете. Чужой хожу по людям... И так мне тошно, так тошно!.. Нет, зачем я это говорю?.. Вы не поймете, да и не дай бог никому понимать....

— Вы богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч...

— Ах, пробовал... Ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет... Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите... скажите, как Акинфий Назарыч любил ее... ах, как любил, как любил!.. Еще скажите... да нет, ничего не нужно. Все равно она не поймет... она теперь вся скверная... убить ее мало...

— Што вы говорите, Акинфий Назарыч! Опомнитесь...

— Да, да... Опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная... А Феня, она хорошая... Голубка, Феня... родная!..

Кожин не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смея дохнуть. Ничего подобного она еще не видала, а это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала... Но в этот момент вошел в избу Петр Васильич, слегка пошатывавшийся на ногах... Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал:

— Кто здесь хозяин? а?.. Ты о чем ревешь-то,

Кожин?.. Эх, брат, у баб последнее рукомесло отбиваешь...

Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь.

— Ступай, ступай, Петр Васильич, — наговаривала она. — Потом придешь. Без тебя тошно...

— Марьюшка, а кто хозяин в дому? а? А Ястребова я распатроню!.. Я ему по-кажу-у... Я, брат Марья, с горя маненько выпил. Тоже обидно: вон какое богачество дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?..

Открытая Мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильича, который от зависти норовил уже несколько дней и несколько раз лез даже в драку со счастливым обладателем сокровища.

— Только товар портишь, шваль! — ругался Петр Васильич. — Што добыл, то и стравил канпании ни за грош... По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников... Руки бы тебе по локоть отрубить... утопить... Дурак, дурак, дурак! Нашел жилку и молчал бы, а то растворил хайло: «Жилку обыскал!» Да не дурак ли?.. Язык тебе, подлому, отрезать...

Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заартачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он так же неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условие.

— Ну, владай, твое счастье! — смеялся Ястребов. — У меня и без Мутяшки дела по горло. Один Ягодный чего стоит...

VI

Карачунский переживал свой медовый месяц. Вся его долгая жизнь представляла непрерывную цепь любовных приключений, причем он любил делать резкие переходы от одной категории женщин к другой. Были у него интрижки с женщинами «из общества», при поджигающей обстановке постоянной опасности, сцен

ревности, изящных слез и неизящных попреков. Да, женщины любили его, но он не отдавался вполне ни одной и вел свои дела так, что всегда было готово отступление. Это была сама житейская мудрость, которая завершалась письмами. Ах, какая это была своеобразная литература, если бы кто-нибудь имел терпенье проследить ее во всех стадиях! Карачунского обвиняли во всех преступлениях, грозили, умоляли, и постепенно все дело сводилось к желанному концу, то есть «на нет». Что возмущало Карачунского, так это то, что все эти женщины из общества повторяли одна другую до тошноты — и радость, и горе, и восторги, и слезы, и хитрость носили печать шаблонности. И достоинство тоже было одно: все эти «сюжеты» умели молчать. Параллельно с этим Карачунский в виде отдыха позволял себе легкие удовольствия с «детьми природы», которые у него фигурировали мимолетно под видом горничных или экономок. До сих пор все они кончались очень печально: дитя природы устраивало крупный скандал с угрозой жаловаться мировому и проч. Но «дети природы» имели одну общую слабость: Карачунский откупался от них деньгами. Знакомые смотрели на все это, как на милые шалости старого холостяка, а Карачунский был счастлив тем, что с ним не случалось никаких «органических последствий». У него не было детей, и это его спасало.

Из этой установившейся долголетней практики Карачунского совершенно выбила история с Феней. Это была совершенно незнакомая ему натура. О деньгах тут не могло быть и речи, а, с другой стороны, Карачунский чувствовал, как он серьезно увлекся этой странной девушкой, не походившей на других женщин. Прежде всего в ней много было природного такта и того понимания, которое читает между строк. Последнее было даже тяжело, потому что Карачунский привык третировать всех женщин свысока, в самых изысканных, но все-таки обидных формах. Здесь же все было на виду, каждое движение, каждое слово, каждая мысль. Карачунский знал, что Феня уйдет от него сейчас же, как только заметит, что она лишняя в этом доме. Эта благородная женская гордость, эта

готовность к самопожертвованию заставила его уважать именно эту простую, но полную жизни женскую натуру. Больше: Карачунский с ужасом почувствовал, что он теряет свою опытную волю и что делается тем жалким рабом, который в его глазах всегда возбуждал презрение. Мужчина должен быть полным хозяином в той сфере, где женщине самой природой отведена пассивная и подчиненная роль. Одним словом, он почувствовал, что серьезно влюблен в первый еще раз в жизни. Это открытие испугало его и опечалило. Он долго рассматривал свое цветущее старческой красотой лицо, вздохнул и подумал вслух:

— Ведь это не любовь, а старость... Бессильная, подлая старость, которая цепенеющими руками хватается за чужую молодость!.. Неужели я, Карачунский, повторю других, выживших из ума, стариков?

И Феня все это понимает, хотя словами, вероятно, и не сумела бы объяснить всего происходившего. Она и тогда это чувствовала, когда он заезжал на Фотьянке к баушке Лукерье под разными предлогами, а в сущности для того, чтобы увидеть Феню и перекинуться с ней несколькими словами. Сначала его удивляло то, почему Феня не вернулась к Кожину, но потом понял и это: молодое счастье порвалось, и склеить его во второй раз было невозможно, а в нем она искала ту тихую пристань, к какой рвется каждая женщина, не утратившая лучших женских инстинктов. В нем, в Карачунском, Феня чутьем угадала существование таких душевных качеств, о которых он сам не знал. Прежде всего он не был злым человеком, а затем в нем сохранилось формальное чувство известной внешней порядочности. Вот те два пункта, на которых возникли их отношения.

Но это было еще не все. Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила:

— Позвольте мне уйти, Степан Романыч...

— Куда уйти?.. Что такое случилось?..

— Да уж так нужно... Не хочу вас срамить.

Феня опустила глаза и раскраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом, точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное.

Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда *оно* случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость... Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена — это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело, а мать — это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Феня будет матерью его собственного ребенка... Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой Фене. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фотьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому заныло в его душе.

— Куда же ты хочешь уйти? — машинально спрашивал он.

— В город... — коротко ответила Феня. — А там уж как-нибудь поправлюсь.

— Так... да...

Ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжестью.

Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом. Ничтожный промежуток времени, и на свет появится таинственный пришлец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов, а одна жестокая зоологическая правда. «Вы меня не звали и не ждали, а вот я пришел...» Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого.

Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть, совесть — этот неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело!.. Жениться на Фене? Она первая не согласится... Усыновить ребенка — обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни на волос не подвинулось вперед.

Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух, и снежные зимние дни, и это низкое, серое зимнее небо. Пара закормленных вяток неслась вихрем; особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке и с удовольствием правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключение фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни, затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы.

Потом Карачунский заставил себя думать о Рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и пред-

ставил относительно новых жильных работ громадную смету. Вопрос, главным образом, шел о вассер-штольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Балчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает «долить» на горизонте тридцати сажен, с этого пункта должна была выйти и вассер-штольня. Все это было очень рискованно, и Карачунский знал, что Оников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой.

— Вот наши старателишки на Фотьянку лопочут, — заметил кучер Агафон, с презрением кивая головой на толпу оборванных рабочих. — Отошла, видно, Фотьянка-то... Отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-посиди.

В этих словах сказывалось ворчанье дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив, — успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей.

Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился начистоту.

— Что же это такое, Степан Романыч, — ворчал старик, — житья мне не стало...

— Что опять случилось?

— Да как же: под носом Мыльникову жилу отдали... Какой же это порядок? Теперь в народе только и разговору, што про мыльниковскую жилу. Галдят по кабакам, ко мне пристают... Проходу не стало. А главное, обидно уж очень. На смех поднимают...

— Ну, это все пустяки! — успокаивал Карачунский. — Другой делянки никому не дадим... Пусть Мыльников, по условию, до десятой сажени дойдет, и конец делу. Свои работы поставим... Да и убытка компании от этой жилки нет никакого: он обязан сдавать по полтора рубля золотник... Даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел.

— И еще другое дело, Степан Романыч: зятя сманил Мыльников-то, моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил, а теперь точно белены объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке... Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его, подлеца, было нужно тогда, Степан Романыч, штоб малый не баловался. Лето-то прошатался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова — вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спасо-Колчеданской шахте, Семенычем звать, — хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?..

— Это ваши семейные дела, дедушка... Меня это не касается.

— Нет, все от тебя, Степан Романыч: ты потачку дал этому змею Мыльникову. Вот оно и пошло... Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу... На гармонии играют, песни орут, — разве это порядок?..

— Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?..

— Пока ничего не обозначилось... Заложили рассечку на полдень, — все тот же ребровик.

— А штольня?

— На девятую сажень выбежала... Мы этой самой штольней насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, што есть, чего нет. Да и вода показалась. Как тридцатую сажень кончили, точно ножом отрезало: везде вода. Во всей даче у нас одно положенье...

Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все «пройденные» породы и проектированные «рассечки» в разных горизон-

тах и в разных направлениях. И Карачунский и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в Спасо-Колчеданской шахте. Тогда бросай все работы, особенно если покажется роковой «красик». Общих признаков, конечно, было много, но обращали внимание главным образом на особенности напластования, мощность отдельных пород и тот порядок, в котором они следовали одна за другой. Пока в этом смысле все шло хорошо, хотя жилы не было и звания, а только изредка попадались пустые прожилки кварца.

Среди этой деловой беседы у Карачунского мелькнула мысль, заставившая его похолодеть. Он взглянул на убежденное, умное лицо своего собеседника, потер лоб и проговорил:

— Послушайте, Родион Потапыч, ведь мы попали на так называемую блуждающую жилу? Это совершенно ясно... Мы бьемся над пустым местом. Лучшее доказательство: шахта Мыльникова...

Зыков в свою очередь посмотрел на главного управляющего, разгладил свою окладистую седую бороду и ответил:

— А откуда Кривушок взял свое золото, Степан Романыч? Прямо, говорит, самоваром оно ушло в землю... Это как?

— Однако мы ничего еще пока не нашли? Или жила расщепилась, или она... Да нет, это с нашей стороны громадная ошибка.

Карачунский опять посмотрел на главного штейгера и теперь понял все: перед ним сидел сумасшедший человек, какие встречаются только в рискованных промышленных предприятиях. Да, совершенно сумасшедший, который похоронит и себя и его вот в этой шахте-могиле. Никакие слова, доводы и убеждения здесь не могли иметь места, раз человек попал на эту мертвую точку. А всего хуже было то, что он, Карачунский, попался, как мальчишка, которого следовало выдрать за уши. И отступать было поздно, потому что дело слишком далеко зашло. Самое лучшее было забросить эту проклятую Рублиху, но в переводе это значило загубить свою репутацию, а продолжая работы,

можно было по меньшей мере выиграть целый год времени. Мало ли что может случиться: можно наткнуться на случайную жилу, на новое «гнездо» и т. д. Тогда возместится хотя часть произведенных расходов, чтобы отступить с честью. Проклятая Рублиха съест все, и, главное, ее остановить нельзя. Карачунский чувствовал, как все начинает вертеться у него перед глазами, и паровая машина работала точно у него в голове.

— Только бы нам штольню пройти... — повторял Родион Потапыч. — Тогда все обозначится, как на ладони.

— Да нечему обозначиться-то...

Карачунский отвечал машинально. Он был занят тем, что припоминал разные случаи семейной жизни Родиона Потапыча, о которых знал через Феню, и приходил все больше к убеждению, что это сумасшедший, вернее — маньяк. Его отношения к Яше Малому, к Фене, к Марье — все подтверждало эту мысль.

VII

Своим поведением Мыльников удивил даже людей, видавших всякие виды. Случаи дикого счастья время от времени перепадали и в Балчуговском заводе и на Фотьянке, когда кто-нибудь находил «гнездо» золота или случайно натыкался на хороший пропласток золотоносной россыпи где-нибудь в бортах. Эти случаи сейчас же иллюстрировались непременно лошадью новокупной, новой одежой, пьянством и новыми крышами на избах, а то и всей избой. За последнее лето таких новых изб появилось на Фотьянке до десятка, а новых крыш и того больше. Куда только заглядывал золотой луч, сейчас сказывалось его чудотворное влияние. Тихо было только в Балчуговском заводе, потому что из балчуговцев никому не посчастливило кедровское золото. Мыльников, отыскав жилку, поступал так, как никто до него еще не делал. Он не работал «сплошь», день за день, а только тогда, когда были нужны деньги.

— Не велика жилка в двадцати-то пяти саженях, как раз ее в неделю выробишь! — объяснял он. — Добыл все, деньги пропил, а на похмелье ничего и не осталось... Видывали мы, как другие протчие потом локти кусали. Нет, брат, меня не проведешь... Мы будем сливочками снимать свою жилку, по удоям.

Так Мыльников и делал: в неделю работал день или два, а остальное время «компанился». К нему приклеился и Яша Малый, и зять Прокопий, и машинист Семеныч. Было много и других желающих, но Мыльников чужим всем отказывал. Исключение представлял один Семеныч, которого Мыльников взял на зло дорогому тестюшке Родиону Потапычу.

— Пусть старый черт чувствует... — хихикал Мыльников. — Всю его шахту за себя переведу. Тоже родню бог дал...

Появление зятя Прокопия было следствием той же политики, подготовленной еще с лета Яшей Малым. Хоть этим старались донять грозного старика, семья которого распалась на крохи меньше чем в один год. Все разбрелись куда глаза глядят, а в зыковском доме оставались только сама Устинья Марковна с Анной да ребятишками. Произошел полный разгром крепкой старинной семьи, складывавшейся годами. Устинья Марковна как-то совсем опустилась и отнеслась к бегству Прокопия почти безучастно: это была та покорность судьбе, какая вызывается стихийным несчастьем. Не так посмотрела на дело Анна. Эта скромная и не поднимавшая голоса женщина молча собралась и отправилась прямо на Ульянов кряж, где и накрыла мужа на самом месте преступления: он сидел около дудки и пил водку вместе с другими. Как вскинулась Анна, как заголосила, как вцепилась в мужа — едва оттащили.

— Разоритель! погубитель!.. По миру всех пустил... — причитала Анна, стараясь вырваться из державших ее рук. — Жива не хочу быть, ежели сейчас же не воротишься домой... Куды я с ребятами-то денусь?.. Ох, головушка моя спобедная...

— Перестаньте, любезная сестрица Анна Родивоновна, — уговаривал Мыльников с ядовитой любез-

ностью. — Не он первый, не он последний, ваш-то Прокопий... Будет ему сидеть у тестя на цепи.

— Ах, ты... Да я тебе выцарапаю бесстыжие-то глаза!.. Всех только смущаешь, пустая башка. Пропьете жилку, а потом куда Прокопий-то?

— Ах, сестричка Анна Родивоновна: волка ноги кормят. А што касаемо того, што мы испиваем малость, так ведь и свинье бывает праздник. В кой-то годы господь счастки послал... А вы, любезная сестричка, выпейте лучше с нами за канпанию стаканчик сладкой водочки. Все ваше горе как рукой снимет... Эй, Яша, сдействуй нащет мадеры!..

— Да я вас, проклятущих, и видеть-то не хочу, не то што пить с вами! — ругалась любезная сестрица и даже плюнула на Мыльникова.

У Мыльникова сложился в голове набор любимых слов, которые он пускал в оборот кстати и некстати: «канпания», «руководствовать», «модель» и т. д. Он любил поговорить по-хорошему с хорошим человеком и обижался всякой невежливостью вроде той, какую позволяла себе любезная сестрица Анна Родивоновна. Зачем же было плевать прямо в морду? Это уж даже совсем не модель, особенно в хорошей канпании...

Так Анна и ушла ни с чем для первого раза, потому что муж был не один и малодушно прятался за других. Оставалось выжидать случая, чтобы поймать его с глазу на глаз и тогда рассчитаться за все.

Мы должны теперь объяснить, каким образом шла работа на жилке Мыльникова и в чем она заключалась. Когда деньги выходили, Мыльников заказывал с вечера своим компаньонам выходить утром на работу.

— У меня штобы в самую точку, как в казенное время... — уговаривался он для внешности. — Ужо колокол повешу, штобы на работу и с работы отбивать. Закон требует порядка...

Утром рано все являлись на место действия. В дудку Мыльников никого не пускал, а лез сам или посылал Оксю. Дудка углублялась на какой-нибудь аршин. Сначала поднимали «пустяк»; теперь «воротниками» или «вертелами» состояли Яша Малый и

Прокопий, а отвозил добытый «пустяк» в отвал Семеныч. При четверых мужиках работа спорилась, не то что когда работали сначала при палаче Никитушке. Кстати, последний не вынес пьянства и куда-то скрылся. Затем добывалась самая «жилка», то есть куски проржавевшего кварца с вкрапленным в него золотом. Обыкновенно и при хорошем содержании «видимого золота» не бывает, за исключением отдельных «гнездовок», а «Оксина жила» была сплошь с видимым золотом. В отдельных кусках благородный металл «сидел медуницами».

— Точно плюнуто золотом-то! — объяснял сам Мыльников, когда привозил свою жилку на золотопромывальную фабрику. — А то как масло коровье али желток из курячьего яйца...

Из ста пудов кварца иногда «падало» до фунта, а это в переводе означало больше ста рублей. Значит, день работы обеспечивал целую неделю гулянки. В одну из таких получек Мыльников явился в свою избушку, выдал жене положенные три рубля и заявил, что хочет строиться.

— И то пора бы, — согласилась Татьяна. — Все равно пропьешь деньги.

— Молчать, баба! Не твоего ума дело... Таку стройку подымем, што чертям будет тошно.

Архитектурные планы у Мыльникова были свои собственные. Он сначала поставил ворота. Это было нечто грандиозное: столбы резные, наверху шатровая крыша, скоба луженая, а на крыше вырезанный из жести петух, который повертывался по ветру. Ворота были поставлены в несколько дней, и Мыльников все время не знал покоя. Но, истощив свою архитектурную энергию, он бросил все и уехал на Фотьянку. Избушка при новых воротах казалась еще ниже, точно она от огорчения присела. Соседи поднимали Мыльникова на смех, но он только посмеивался: хороший хозяин сначала кнут да узду покупает, а потом уж лошадь заводит.

Мы уже сказали выше, что Петр Васильич ужасно завидовал дикому счастью Мыльникова и громко роптал по этому поводу. В самом деле, почему богатство

«прикачнулось» дураку, который пустит его по ветру, а не ему, Петру Васильичу?.. Сколько одного страху наберется со своей скупкой хищнического золота, а прибыль вся Ястребову. Тут было о чем подумать... И Петр Васильич все думал и думал. Наконец, он придумал, что было нужно сделать. Встретив как-то пьяного Мыльникова на улице, он остановил его и слащаво заговорил:

— Все еще портишь товар-то, беспутная голова?..

— А тебе какое горе приключилось от этого, кривая ерахта?

— Да так... Вчуже на дураков-то глядеть тошно.

— Это ты к чему гнешь?

Петр Васильич огляделся, нет ли кого поблизости, хлопнул Мыльникова по плечу и шепотом проговорил:

— Дурак ты, Тарас, верно тебе говорю... Сдавай в контору половину жилки, а другую мне. По два с полтиной дам за золотник... Как раз вдвое выходит супротив компанейской цены. Говорю: дурак... Товар портишь.

Мыльников задумался. Дурак-то он дурак, это верно, да и «прелестные речи» Петра Васильича тоже хороши. Цена обидная в конторе, а все-таки от добра добра не ищут.

— Нет, брат, неподходящая мне эта модель, — ответил Мыльников, встряхивая головой. — Потому как лицо у меня чистое, не замаранное.

— Ах, дурак, дурак...

— Таков уродился... Говорю не подвержен, штобы такая, например, модель.

— Да не дурак ли... а? Да ведь тебе, идолу, башку твою надо пустую расшибить вот за такие слова.

Такие грубые речи взорвали деликатные чувства Мыльникова. Произошла настоящая ругань, а потом драка. Мыльников был пьян, и Петр Васильич здорово оттузил его, пока сбежался народ и их розняли.

— Вот тебе, новому золотопромышленнику, старому нищему! — ругался Петр Васильич, давая Мыльникову последнего пинка. — Давайте я его удавлю, пса...

Мыльников поднялся с земли, встряхнулся, поправил свой пострадавший во время свалки костюм и, покрутив головой, философски заметил:

— Наградил господь родней, нечего сказать...

Это родственное недоразумение сейчас же было залито водкой в кабаке Фролки, где Мыльников чувствовал себя как дома и даже часто сидел за стойкой, рядом с целовальником, чтобы все видели, каков есть человек Тарас Мыльников.

Но Петр Васильич не ограничился этой неудачной попыткой. Махнув рукой на самого Мыльникова, он обратил внимание на его сотрудников. Яша Малый был ближе других, да глуп. Прокопий, пожалуй, и поумнее, да трус — только телята его не лижут... Оставался один Семеныч, который был чужим человеком. Петр Васильич зазвал его как-то в воскресенье к себе, велел Марье поставить самовар, купил наливки и завел тихие любовные речи.

— Трудненько, поди, тебе, Семеныч, с казенного-то хлеба прямо на наше волчье положенье перейти? — пытал Петр Васильич, наигрывая единственным оком. — Скушненько, поди, а?

— Сперва-то сумневался, это точно, а потом приобык...

— Оно, конешно, привычка, а все-таки... При машине-то в тепле сидел, а тут на холоду да на погоде.

Семеныч от наливки и горячего чая заметно захмелел, и язык у него стал путаться. А тут Марья все около самовара вертится и на него поглядывает.

— Не заглядывайся больно-то, Марьюшка, а то после тосковать будешь, — пошутил Петр Васильич. — Парень чистяк, уж это што говорить!

— Наш, поди, балчуговский, без тебя знаю... — смело отвечала Марья, за словом в карман не лазившая вообще. — Почитай в суседях с Петром Семенычем жили...

— В субботу, когда с шахты выходил домой, мимо вас дорога была, Марья Родивоновна... Тошно, поди, вам здесь на Фотьянке-то?.. Одним словом, кондовое варнацкое гнездо.

— А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожься... — шепнул Петр Васильич, моргая оком. — Дельце у нас с Петром Семенычем.

Марья вышла с большой неохотой, а Петр Васильич подвинулся еще ближе к гостю, налил ему еще наливки и завел сладкую речь о глупости Мыльникова, который «портит товар». Когда машинист понял, в какую сторону гнул свою речь тароватый хозяин, то отрицательно покачал головой. Ничего нельзя поделать. Мыльников, конечно, глуп, а все-таки никого в дудку не пускает: либо сам спускается, либо посылает Оксю.

— Так, так... — соглашался Петр Васильич, жалея, что напрасно только стравил полуштоф наливки, а парень оказался круглым дураком. — Но, Семеныч, теперь ты тово... ступай, значит, домой.

Когда Семеныч, пошатываясь, выходил из избы, в полутемных сенях его остановила Марья, — она его караулила здесь битый час.

— Петр Семеныч, голубчик, не верьте вы ни единому слову Петра-то Васильича, — шепнула она. — Неспроста он улещал вас... Продаст.

Вместо ответа Семеныч привлек к себе бойкую девушку и поцеловал прямо в губы. Марья вся дрожала, прижавшись к нему плечом. Это был первый мужской поцелуй, горячим лучом ожививший ее завядшее девичье сердце. Она, впрочем, сейчас же опомнилась, помогла спуститься дорогому гостю с крутой лестницы и проводила до ворот. Машинист, разлакомившись легкой победой, хотел еще раз обнять ее, но Марья кокетливо увернулась и только погрозила пальцем.

— Ужо выходи вечерком за ворота... — упрашивал разгоревшийся Семеныч.

— Больно ускорился... Ступай да неси и не потеряй.

Когда Марья вихрем взлетела на крыльцо, охваченная пожаром своего позднего счастья, ее встретила баушка Лукерья. Старуха молча ухватила племянницу за ухо и так увела в заднюю избу.

— Ты это што придумала-то, негодница?

— Баушка, миленькая... золотая...

— Я тебе покажу баушку?!. Фенька сбежала, да ты сбежишь, а я с кем тут останусь? Ну, диви бы молоденькая девчонка была, у которой ветер на уме, а то... тьфу!.. Срам и говорить-то... По сеням женихов ловишь, срамница!

Марья терпеливо выслушала ворчанье и попреки старухи, а сама думала только одно: как это баушка не поймет, что если молодые девки выскакивают замуж без хлопот, так ей надо самой позаботиться о своей голове. Не на кого больше-то надеяться... Голова у Марьи так и кружилась, даже дух захватывало. Не из важных женихов машинист Семеныч, а все-таки мужчина... Хорошо баушке Лукерье теперь бобы-то разводить, когда свой век изжила... Тятенька Родион Потапыч такой же: только про себя и знают.

Много было подходов к Мыльникову от своих и чужих, желавших воспользоваться его жилкой, но пока все проходило благополучно. Мыльников твердо вел свою линию и знать ничего не хотел. Так, он во-время был предупрежден относительно готовившейся ночной экспедиции на его жилку и устроил засаду. Воры попались. Затем, чтобы предупредить подобные покушения, он прикрыл свою дудку тяжелой западней, запиравшейся на два громадных замка. Но и все эти меры не спасли Мыльникова от хищения: вор оказался хитрее его и предупредительнее. Вышло это следующим образом. Мыльников спускался в дудку сам или посылал Оксю, когда самому не хотелось. Последнее вошло мало-помалу в обычай, так что с середины зимы сам Мыльников перестал совсем спускаться в дудку, великодушно предоставив это Оксе.

— Эй, Оксюха, поворачивай! — кричал он ей сверху. — Не острами своего родителя...

В ответ слышалось легкое ворчанье Окси или какой-нибудь пикантный ответ. Окся научилась огрызаться, а на дне дудки чувствовала себя в полной безопасности от родительских кулаков. Когда требовалась мужицкая работа, в дудку на канате спускался Яша Малый и помогал Оксе, что нужно. Вылезала из дудки Окся черт чертом, до того измазывалась глиной, и сейчас же отправлялась к дедушке на Рублиху,

чтобы обсушиться и обогреться. Родион Потапыч принимал внучку со своей сердитой ласковостью.

— Опять ты пришла свинья свиньей, Аксинья: рылом-то пошто в глину тыкалась?..

— Посадить бы самого в дудку, так поглядела бы я на тебя, каким бы ты анделом оттуда вылез, — отвечала Окся.

— По закону бабам совсем не полагается в подземные работы лазать. Я вот тебя еще в тюрьму посажу.

— А мне все одно: сади. Эк, подумаешь, испугал...

Родион Потапыч любил разговаривать с Оксей и даже советовался с ней относительно «рассечек» в шахте, потому что у Окси была легкая рука на золото.

Никто не знал только одного: Окся каждый раз выносила из дудки куски кварца с золотом, завернутые в разном тряпье, а потом прятала их в дедушкиной конторке, — безопаснее места не могло и быть. Она проделывала всю операцию с ловкостью обезьяны и бесстрастным спокойствием лунатика.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Заручившись заключенным с Ястребовым условием, Кишкин и Кожин, не теряя времени, сейчас же отправились на Мутяшку. Дело было в январе. Стояли страшные холода, от которых птица замерзала на лету, но это не удержало предпринимателей. Особенно торопил Кожин, точно за ним кто гнался по пятам.

— Увези ты меня в лес, Андрон Евстратыч! — упрашивал он. — Может, в лесу отойду...

— Смотри, уговор на берегу: не сбеги из лесу-то. Не сладко там теперь...

— Сам буду работать, своими руками, как простой рабочий, только бы избыть свою муку мученическую.

— Ну, от этого вылечим, а на молодом теле и не такая беда изнашивается.

Партия составилась из Матюшки, Турки и Мины Клейменого, которые работали летом, да прибавилось еще двое молодых рабочих. Недоставало Мыльникова, Петра Васильича и Яши Малого, но о них Кишкин не жалел: хороши, когда спят, а днем на работе точно их нет. Лошади такие бывают, которые на оглобли оглядываются, чтобы лишнее не перебежать. Зимняя дорога в Кедровскую дачу была гораздо удобнее, да и пробили ее на промысла, как прииск Ягодный. Снег выпал в два аршина, так что лошадь тонула в нем,

стоило сбиться с накатанного «полоза». Зимние сани поэтому делались на высоких копыльях, чтобы не запруживало в передок снегом. На таких санях и ехали новые компаньоны.

— Посмотри, благодать-то какая! — умиленно повторял Кишкин, окидывая зеленые стены дремучего ельника. — Силища-то прет из земли... А тут снежком все подернуло.

Действительно, трудно представить себе что-нибудь лучше такого ельника зимой, когда он стоит по колена в снегу, точно очарованный. Траурная зелень приятно контрастировала с девственной белизной снега. Мертвое молчание такого леса напоминало сказочный богатырский сон. Не шелохнет, не скрипнет, не пискнет, — торжественное молчание охватило все кругом, как на молитве. Именно такое молитвенное настроение испытывал Кожин, когда они ехали с Фотьянки на Мутяшку. Точно мерзлая глыба отваливалась с души... Еще есть белый свет, и не клином сошлась земля. Давно ничего подобного не переживал Кожин, и ему хотелось плакать от радости. Уйти от своей беды, схорониться от всех в лесу, уложить здесь свою силу богатырскую — да какого же еще счастья нужно? Он припоминал своих раскольничьих старцев, спасавшихся в пустыне, печальные раскольничьи «стихи», сложенные вот по таким дебрям, и ему начинал казаться этот лес бесконечно родным, тем старым другом, к которому можно прийти с бедой и найти утешение. А мороз какой здоровый — так и хватает прямо за душу! Дышать больно. Снег слепит глаза, а впереди несметной ратью встает все тот же красавец лес, заснувший богатырским сном.

Зимний день короток, чуть заря с зарей не сходится. На Мутяшку приехали под вечер, когда между деревьями начали кутаться быстрые зимние сумерки.

— Вот, слава богу, мы и дома! — весело сказал Кишкин, вылезая из саней в снег. — А вон и дворец...

На берегу Мутяшки к самому лесу приткнулась старательская землянка, полузанесенная снегом. Пришлось ее отгребать, а потом заново сложить печку-каменку, какие устраиваются на живую руку по охот-

ничьим зимовьям. Весь пол был устлан сейчас же свежей хвоей, а также широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Когда вспыхнул в каменке веселый огонек и красным языком лизнул старую сажу в отдушине, все точно повеселело кругом. Весело загремел в лесу топор, а синий дымок потянул столбом кверху, как это бывает только в сильные морозы. Закипел первый котелок, повешенный над самым «пальмо́м», и промысловый ужин был готов.

— Чаю мы с тобой завтра напьемся, — утешал Кишкин притихшего компаньона. — Ужо надо выйти из балагана-то, а то как раз угоришь: от сырости всегда угарно бывает.

Ночь выпала звездная, светлая. На искрившийся синими огоньками снег было смотреть больно. Местность было трудно узнать — так все кругом изменилось. Именно здесь случился грустный эпизод неудачного поиска свиньи. Кишкин только вздохнул и заметил Мине Клейменому:

— Ведь нашла, подлая, жилку, а нам не хотела указать...

— Отодрать бы ее тогда на этом самом месте, — ответил старый каторжанин. — Небойсь сказала бы...

Долго смотрел Кишкин на заветное местечко и про себя сравнивал его с фотьянской россыпью: такая же береговая покать, такая же мочежинка языком влизалась в берег, так же река сделала к другому берегу отбой. Непременно здесь должно было сгрудиться золото: некуда ему деваться. Он даже перекрестился, чтобы отогнать слишком корыстные думы, тяжелой ржавчиной ложившиеся на его озлобленную старую душу.

И ночью Кишкину не спалось. То шаги какие-то слышатся, то птичий клекот, то шушуканье, — не совсем чистое место. А зато намерзшийся за день Кожин спал мертвым сном. Известно, молодое дело: только до места — и готов. Сто раз пересчитал Кишкин свой капитал и высчитал вперед по дням, сколько можно продержаться на эти деньги. Не велик капитал, а ко времени дорог... Перед самым утром едва забылся старик, да и тут увидел такой сон, что сейчас же проснулся.

Видел он во сне старое дуплистое дерево, а на вершине сидели два ворона и клевали прямо сердцевину. Как будто и хорошо, и как будто не совсем.

Утром на другой день поднялись все рано и успели закусить и напиться чаю еще до свету. На брезгу началась и работа. Предварительно были осмотрены ястребовские шурфы, пробитые по первым заморозкам. Только опытный промысловый глаз мог открыть едва заметные холмики, состоявшие из земли и снега. Летом исследовать содержание болота было трудно, а изподо льда удобнее: прорубалась прорубь, и землю вычерпывали со дна большими промысловыми ковшами на длинных чернях. Такая работа требовала умелых рук. Кожин не мог себе представить, что можно было сделать с таким болотом. Сейчас эти условия работы окончательно облегчались тем обстоятельством, что болото промерзло насквозь, и вода оставалась только в глубоких колдобинах и болотных «окнах». Кишкин еще с лета рассмотрел болото в мельчайших подробностях и про себя вырешал вопрос, как должна была расположиться предполагаемая россыпь — где ее «голова» и где «хвост». Главным действующим лицом в образовании ее, конечно, являлась река Мутяшка, которая раньше подбивалась здесь к самому берегу и наносила золотоносный песок, а потом, размыв берег, ушла, оставив громадную заводь, постепенно превратившуюся в болото. Для Кишкина картина всей этой геологической работы была ясна, как день, и он еще летом наметил пункты, с которых нужно было начать разведку.

— Ну, братцы, с богом, — проговорил Кишкин, очерчивая пешней размеры первого шурфа. — Акинфий Назарыч, давай-ко, начни, благословясь... Твоя рука легкая.

Рабочие очистили снег, и Кожин принялся топором рубить лед, который здесь был в аршин. Кишкин боялся, что не осталась ли подо льдом вода, которая затруднила бы работу в несколько раз, но воды не оказалось — болото промерзло насквозь. Сейчас подо льдом начиналась смерзшаяся, как камень, земля.

Здесь опять была своя выгода: земля промерзла всего четверти на две, тогда как без льда она промерзла на все два аршина. Заложив шурф, Кожин присел отдохнуть. От него пар так и валил.

— Што, хорошо, Акинфий Назарыч?

— Лучше не бывает.

— То-то, тебе в охотку поработать. Молодой человек, не знаешь, куда с силой деваться...

Пока Кожин отдыхал, его место занял Матюшка, у которого работа спорилась вдвое. Привычный человек: каждое движение рассчитано. Кишкин всегда любовался на Матюшкину работу. До обеда едва прошли всего один аршин, а после обеда началась уже легкая работа, потому что шла талая земля, которую можно было добывать кайлом и лопатой. На глубине двух аршин встретился первый фальшивый пропласток мясниковатого песку, перемешанного с синей речной глиной. Кишкин долго рассматривал кусок этой глины и молча передал ее Мине Клейменому.

— Эта не обманет... — задумчиво проговорил старый каторжанин, растирая на ладони глину. — Мать наша эта синяя глинка.

— Случается и пустая, — заметил Кишкин.

Уже к самому вечеру вышли на настоящий песок, так что пробу пришлось делать уже в избушке. Эта операция производилась в большом азиатском ковше. Кишкин набрал полный ковш песку и начал медленно размешивать песок вместе с водой, сбрасывая гальки и хрящ и сливая мутную воду. Последовательно продолжая отмучивать глину и выбирать крупный песок, он встряхивал ковш, чтобы крупинки золота, в силу своего удельного веса, осаждались на самое дно, вместе с блестящим черным песочком — по-приисковому «шлихи». Эти последние, как продукт разрушения бурого железняка, осаждались на самое дно в силу своей тяжести; шлихов получилось достаточное количество, и, когда вода уже не взмучивалась, старик долго и внимательно их рассматривал.

— Поблескивает одна золотина... — проговорил он.

— Не корыстное дело, — ответил за всех Турка.

Так открылись зимние работы. Ежедневно выбивалось от двух до трех шурфов, причем Кожин быстро «наварлыжился» в земляной работе и уступал только одному Матюшке. Пробу производил постоянно сам Кишкин, не доверявший никому такого ответственного дела. В хвосте россыпи было таким образом пробито десять шурфов, а затем перешли прямо к «голове». Это было уже через неделю, как партия жила в лесу. День выдался теплый, и падал мягкий снежок. Первый шурф был пробит еще до обеда, и Кишкин стал делать пробу тут же около огонька, разложенного на льду. Рабочие отдыхали. Кожин сидел у самого костра и задумчиво смотрел на весело трещавший огонек.

— Ну, так как же насчет свиньи-то, дедко? — спрашивал Матюшка, обращаясь к Мине Клейменому. — Должна она быть беспременно...

— Куда ей деваться? — уверенно отвечал старик. — Только вот взять-то ее умеючи надо... К рукам она, свинья эта самая. На счастливого, одно слово...

— Уползла, видно, она к Мыльникову, — подшутил Турка. — Мы ее здесь достигаем, а она вон где обозначилась: зарылась в Ульяновом кряжу, еще и не одна, а с поросятами вместе...

— Ну, то другая статья, — авторитетно заметил Матюшка, закуривая цыгарку. — Одно — жилка, другое — россыпь...

В этот момент Кишкин слабо вскрикнул, точно его что придавило, и выпустил ковш из рук. Все оглянулись на него.

— Ох, как стрелило... — прошептал Кишкин, хватаясь за живот. — Инда свет из глаз выкатился. Смотрю в ковш-то, а меня как в становую жилу ударит...

— Это от наклону кровь в голову кинулась, — объяснил Мина.

Покрывшееся мертвой бледностью лицо Кишкина служило лучшим доказательством схватившей его немочи.

— Перцовкой бы тебе поясницу натереть, Андрон Евстратыч, — посоветовал очнувшийся от своего забытья Кожин. — Кровь-то и разбило бы...

— Да ищо запустить этой самой перцовки в нутро, — прибавил Матюшка, — горошком соскочил бы...

Кишкин с трудом поднялся на ноги, поохал «для прилику», взял ковш и выплеснул пробу в шурф.

— И не поманилю... — объяснил он равнодушным тоном. — Вот тебе и синяя глина... Надо ужо теперь по самой середке шурф ударить.

— А отчего не здесь? — спросил Матюшка. — Надо для счету шурфов пять пробить, а потом и в середку болотины ударить...

— Нет, здесь не надо, — решительно заявил Кишкин. — Попусту только время потеряем...

Этот спор продолжался и в землянке, пока обедали рабочие. Сам Кишкин ни к чему не притронулся и, лежа на нарах, продолжал охать.

— Пожалуй, ты еще окачуришься у нас... — пошутил над ним Турка. — Тоже дело твое не молоденькое, Андрон Евстратыч.

— Ничего, отлежусь как-нибудь, а вы пока в средине болота шурф пробейте...

Кишкин едва дождался, когда рабочие кончат свой обед и уйдут на работу. У него кружилась голова и мысли путались.

— Господи, что же это такое? — повторял он про себя, чувствуя, как спирает дыхание. — Не поблазнило ли уж мне грешным делом...

Наконец, все ушли на работу, и Кишкин остался один в землянке. Он несколько времени лежал с закрытыми глазами, потом осторожно поднялся и выглянул в дверь, — рабочие уже были на средине болота. Это его успокоило. Приперев плотно дверь и поправив в очаге огонь, Кишкин присел к нему и вытащил из кармана правую руку с онемевшими пальцами: в них он все время держал щепотку захваченной из ковша пробы. Оглянувшись кругом еще раз, он бережно высыпал высохшие шлихи на ладонь и принялся рассматривать их с жадным вниманием. На ладони блестели крупинки золота... Счетом их было больше двадцати. Господи, да ведь это богатство, страшное богатство, о каком он не смел и мечтать

когда-нибудь!.. По приблизительному расчету, можно было на сто пудов песку положить золотника три, а при толщине пласта в полтора аршина и при протяжении россыпи чуть не на целую версту в общем можно было рассчитывать добыть пудов двадцать, то есть по курсу на четыреста тысяч рублей.

— Господи, что же это такое?.. — изнеможенно повторял Кишкин, чувствуя, как у него на лбу выступают капли холодного пота.

Он бережно собрал всю пробу в бумажку и замер над ней, не веря своим старым глазам. Да, это было богатство, страшное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое открытие и выплеснул пробу в шурф — в первую минуту он не давал отчета и самому себе, а действовал по инстинкту самосохранения, точно кто-нибудь мог отнять у него добычу из рук. О, никто не может ничего сделать... С Ястребовым покончено по всей форме, с Кожиным можно развязаться. Странно, что сейчас Кишкин вдруг ненавидел своего компаньона с его жалкими пятьюстами рублей. Просто взять и прогнать его — вот и весь разговор. Ведь он сдуру забрался в лес. А деньги можно будет отдать назад, да еще с такими процентами, каких никто не видал. Отлично... Сказаться больным, шурфовку забастовать, а потом и начать тепленькое дельце в полной форме.

С другой стороны, к радостному чувству примешивалось горькое и обидное сознание: двадцать лет нищеты, убожества и унижения и дикое счастье на закате жизни. К чему теперь деньги, когда и жить-то осталось, может быть, без году неделя? Кишкину сделалось до того горько, что он даже всплакнул старческими, бессильными слезами. Эх, раньше бы такое богатство прикачнулось... Затем у него явилась мысль о сделанном доносе. Для чего он заварил всю эту кашу? Воров не переведешь, а про себя славу худую пустишь... Ах, нехорошо, да еще как нехорошо-то! Конечно, он со злости подстроил всю механику, чтобы отомстить старым недругам, а теперь это совсем было лишним.

— С горя и помутился тогда, — вслух думал Кишкин.

Когда вечером рабочие вернулись в землянку, Кишкин лежал на нарах, закутавшись в шубу.

— Ну, што, Андрон Евстратыч, аль ущемило?

— Разнемогся совсем, братцы... — слабым голосом ответил хитрый старик.— Ужо бросим это болото да выедем на Фотьянку. После Ястребова еще никто ничего не находил... А тебе, Акинфий Назарыч, деньги я ворочу сполна. Будь без сумления...

В заключение Кишкин неожиданно расхохотался до того, что закашлялся. Все с изумлением смотрели на него.

— Илья-то Федотыч... Илья-то Федотыч в каких дураках! — прохрипел, наконец, Кишкин, бессильно отмахиваясь рукой. — Илья-то Федотыч...

Кожин решил про себя, что старик сорвался с винта.

II

Дальнейшее поведение Кишкина убедило всех окончательно, что старик рехнулся. Во-первых, он бросил разведки на Мутяшке и вывел свою партию на Фотьянку, где и произвел всем полный расчет, а Кожину возвратил все взятые у него деньги. Это последнее поставило всех в недоумение, потому что откуда быть деньгам у Кишкина? Впрочем, Кожин интересовался этим меньше всех. Он заметно остепенился в лесу и бросил пить, так что вернулся в Тайболу совершенно трезвым. Кишкин оставался в Фотьянке и что-то, видимо, замышлял. Пока он квартировал у Петра Васильича, занимая ту комнату, в которой жил Ястребов, уехавший до весны в город.

Мысль о деньгах засела в голове Кишкина еще на Мутяшке, когда он обдумал весь план, как освободиться от своих компаньонов, а главное от Кожина, которому необходимо было заплатить деньги в первую голову. С этой мыслью Кишкин ехал до самой Фотьянки, перебирая в уме всех знакомых, у кого можно было бы перехватить на такой случай. Таких

знакомых не оказалось, кроме все того же секретаря Ильи Федотыча.

«Нет, брат, к тебе-то уж я не пойду! — думал Кишкин, припоминая свой последний неудачный поход. — Разве толкнуться к Ермошке?.. Этому надо все рассказать, а Ермошка все переплеснет Кожину — опять нехорошо. Надо так сделать, чтобы и шито и крыто. Пожалуй, у Петра Васильича можно бы было перехватить на первый раз, да уж больно завистлив пес: над чужим счастьем задавится... Еще уцепится, как клещ, и не отвяжешься от него...»

Так ничего и не придумал Кишкин: у богатства без гроша очутился. То была какая-то ирония судьбы. Но его осенила счастливая мысль. Одна удача не приходит.

Вечером, когда уже все спали, он разговорился с баушкой Лукерьей, которая жаловалась на племянницу Марью, отбивавшуюся от рук на глазах у всех.

— Ведь скромница была, как жила у отца... — рассказывала старуха, — а тут девка из ума вон. Присунулся этот машинист Семеныч, голь перекатная, а она к нему... Стыд девичий позабыла, никого не боится, только и ждет проклятущего машиниста. Замуж, говорит, выйду за него... Ох, согрешила я с этими девками!..

— Ну, что же делать, баушка... — утешал Кишкин. — Всякая живая душа калачика хочет.

— Тьфу ты, срамник!.. Ему дело говорят, а он... тьфу!.. Распустили ноне девок, вот и дурят...

Эта старушечья злость забавляла Кишкина: очень уж смешно баушка Лукерья сердилась. Но, глядя на старуху, Кишкину пришла неожиданно мысль, что он ищет денег, а деньги перед ним сидят... Да, лучше и не надо. Не теряя времени, он приступил к делу сейчас же. Дверь была заперта, и Кишкин рассказал во всех подробностях историю своего богатства. Старушка выслушала его с жадным вниманием, а когда он кончил — широко перекрестилась.

— Умненько я сделал, баушка? Комар носу не подточит... Всех отвел и остался один, сам большой — сам маленький.

— Ох, умно, Андрон Евстратыч! Столь-то ты хитер и дошл, што никому и не догадаться... В настоящие руки попало. Только ты, смотри, не болтай до поры до времени... Теперь ты сослался на немочь, а потом вдруг... Нет, ты лучше так сделай: никому ни слова, будто и сам не знаешь, — штобы Кожин после не вступался... Старателишки тоже могут к тебе привязаться. Ноне вон какой народ пошел... Умен, умен, нечего сказать: к рукам и золото.

Чтобы еще больше разжечь старуху, Кишкин достал бумажку с пробой и показал блестевшие крупинки золота.

— Плохо я вижу, голубчик... — шептала баушка Лукерья, наклонясь к самой бумажке. — Слепой курице все пшеница.

— От ста пудов песку золотника с три падет, баушка... Я уж все высчитал. А со всего болота снимем пудов с двадцать...

— Н-но-о?..

— Вернее смерти...

В заключение Кишкин рассказал, как он просил денег у Ильи Федотыча и брал его в пай, а тот пожадничал и отказался.

— То-то он взвоет теперь, секретарь-то!.. Жаднящий до денег, а тут сами деньги приходили на дом: возьми ради Христа. Ха-ха!.. На стену он полезет со злости.

Баушка Лукерья заливалась дребезжавшим старческим смехом над промахнувшимся секретарем и даже ударила Кишкина по плечу, точно сама принимала участие во всей этой истории.

— А тебе денег-то сколько достанется, Андрон Евстратыч?

— Ох, и выговорить-то страшно... Считай: двадцать тысяч за пуд золота, за десять пудов это выйдет двести тысяч, а за двадцать все четыреста. Ничего, кругленькая копеечка... Ну, за работу придется заплатить тысяч шестьдесят, не больше, а остальные голенькими останутся. Ну, считай для гладкого счета триста тысяч.

— Триста тысяч?.. Этак ты всю нашу Фотьянку купишь и продашь... Ловко!.. Умен, тебе и деньгами владать.

— Взять их только надо умненько, баушка... Так никто мне не даст, значит, зря, а надо будет открыться.

— Што ты, што ты!.. Ни под каким видом не открывайся — все дело испортишь. Загалдят, зашумят... Стравят и Ястребова и Кожина, — не расхлебаешься потом. Тихонько возьми у какого-нибудь верного человека.

Кишкин только развел руками: нет такого верного человека, который дал бы тихонько. После некоторой паузы он сказал:

— Баушка, ссуди меня сотней-другой... Разочтемся потом. За рубль два отдам...

Старуха испуганно замахала обеими руками, точно ее обожгли.

— Што ты, миленький, какие у меня деньги? Да двух-то сотельных я отродясь не видывала! На похороны себе берегу две красненьких — только и всего...

— Ну, тогда придется идти к Ермошке. Больше не у кого взять, — решительно заявил Кишкин. — Его счастье — все одно, рубль на рубль барыша получит не пито — не едено.

Баушку Лукерью взяло такое раздумье, что хоть в петлю лезть: и дать денег жаль, и не хочется, чтобы Ермошке достались дикие денежки. Вот бес-сомуститель навязался... А упустить такой случай — другого, пожалуй, и не дождешься. Старушечья жадность разгорелась с небывалой еще силой, и баушка Лукерья вся тряслась, как в лихорадке. После долгого колебания она заявила:

— У меня у самой-то ничего нет, а попытаюсь добыть у одного знакомого старичка... Мне-то он, может, поверит.

— Ну, мне это все одно: кто ни поп, тот батька.

Конечно, все это была одна комедия.

Баушка Лукерья не спала всю ночь напролет, раздумывая, дать или не дать денег Кишкину. Выходило надвое: и дать хорошо, и не дать хорошо. Но ее подмывало налетевшее дикое богатство, точно она сама

получит все эти сотни тысяч. Так бывает весной, когда полая вода подхватывает гнилушки, крутит и вертит их и уносит вместе с другим сором.

«Омманет еще, — думала тысячу первый раз старуха. — Нет, шабаш, не дам... Пусть поищет когонибудь побогаче, а с меня что взять-то».

Эти разумные мысли разлетелись, как сон, когда баушка Лукерья встретилась утром с Кишкиным. Ей вдруг сделалось так легко, точно она это делала для себя.

— Ну, что твой старичок? — спрашивал Кишкин, лукаво подмигивая. — Вон секретарь Илья Федотыч от своего счастья отказался, может, и твой старичок на ту же руку...

Баушка Лукерья опять засмеялась: очень уж глупым оказал себя секретарь-то... Нет, старичок, видно, будет маленько поумнее...

— А ты мне расписку напиши... — настаивала старуха, хватаясь за последнее средство.

— На что тебе расписка-то: ведь ты неграмотная. Да и не таковское это дело, баушка... Уж я тебе верно говорю.

Передача денег происходила в ястребовской комнате. Сначала старуха притащила завязанные в платке бумажки и вогнала Кишкина в три пота, пока их считала. Всех денег оказалось меньше двухсот рублей.

— Мало... — заявил Кишкин. — Пусть старичок-то серебреца поищет.

— Ох, уж и не знаю, право, Андрон Евстратыч... Окружил ты меня и голову с живой сымаешь.

— Давай серебро-то, а ворочу золотом. Понимаешь, банк будет выдавать по ассигновкам золотыми, и я тебе до последней копеечки золотом отдам... На, да не поминай Кишкина лихом!..

Что было отвечать на такие змеиные слова? Баушка Лукерья молча принесла свое серебро, пересчитала его раз десять и даже прослезилась, отдавая сокровище искусителю. Пока Кишкин рассовывал деньги по карманам, она старалась не смотреть на него, а отвернулась к окошку.

— Ну, теперь прощай, баушка...

Старуха только махнула рукой, — ее душило от волнения. Впрочем, она догнала Кишкина уже на дворе и остановила.

— Забыла словечко тебе молвить, Андрон Евстратыч... Разбогатеешь, так и меня, старуху, может, помянешь.

— В чем дело?..

— Не женись на молоденькой... Ваша братья, старики, больно льстятся на молодых, а ты бери вдову или девицу в годках. Молодая-то хоть и любопытнее, да от людей стыдно, да еще она же рукавом растрясет все твое богатство...

— Вот тоже придумала! — изумился Кишкин, ухмыляясь.

До настоящего момента мысль о женитьбе не приходила ему в голову.

— Жалеючи тебя говорю... Попомни старушечье словечко.

Марья была на дворе и слышала всю эту сцену. У ней в голове остались такие слова, как «богачество» и «девица в годках», а остального она не поняла. Ее удивило больше всего то, что у баушки завелись какие-то дела с Кишкиным, тогда как раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и затейщике, сбивавшем с толку мужиков. Что-то неладное творится, ежели Кишкин обошел самое баушку Лукерью... Впрочем, эти свои бабьи мысли Марья оставила про себя до встречи с милым дружком, которому рассказывала все, что делалось в доме. Когда она поднималась на крыльцо, перед ней точно из земли вырос Петр Васильич.

— Какие такие дела завел Шишка с мамынькой? — зыкнул он на нее.

— А я почем знаю?.. Спроси сам баушку...

— У, змея!.. — зашипел Петр Васильич, грозя кулаком. — Ужо, девка, я доберусь до тебя.

— Руки коротки...

Марья заметила, что в задних воротах мелькнула какая-то тень, — это был Матюшка, как она убедилась потом, подглядев из-за косяка. С Петром Васильичем вообще что-то сделалось, и он просто бросался на

людей, как чумной бык. С баушкой у них шли постоянные ссоры, и они старались не встречаться. И с Марьей у баушки все шло «на перекосых», — зубастая да хитрая оказалась Марья, не то что Феня, и даже помаленьку стала забирать верх в доме. Делалось это само собой, незаметно, так что баушка Лукерья только дивилась, что ей самой приходится слушаться Марьи.

— Лукавая девка... — ворчала старуха. — Всех обошла, а себя раньше других...

За Кишкиным уже следили. Матюшка первый заподозрил, что дело не чисто, когда Кишкин прикинулся больным и бросил шурфовку. Потом он припомнил, как Кишкин выплеснул пробу в шурф и не велел бить следующих шурфов по порядку. Вообще все поведение Кишкина показалось ему самым подозрительным. Встретившись в кабаке Фролки с Петром Васильичем, Матюшка спросил про Кишкина, где он ночует сегодня. Слово за слово, — разговорились. Петр Васильич носом чуял, где неладно, и прильнул к Матюшке, как пластырь.

— Обыскали свинью-то? — приставал он к Матюшке.

— С поросятами оказалась наша свинья...

Распили полуштоф; захмелевший Матюшка рассказал Петру Васильичу свои подозрения.

— А што бы ты думал, андел мой?.. — схватился Петр Васильич. — Ведь ты верно... Неспроста Шишка бросил шурфовку. Вон какой оборотень...

— Хорошую пробу, видно, добыл, да нас всех и сплавил. Не захотел поделиться... Кожин, известно, дурак, а Кишкин и нас поопасился.

— Ах, старый пес... Ловкую штуку уколол. А летом-то, помнишь, как тростил все время: «Братцы, только бы натакаться на настоящее золото — никого не забуду». Вот и вспомнил... А знаки, говоришь, хорошие были?

— По первоначалу средственные, а потом уж обозначились... Выплеснул он пробу-то. Невдомек никому это было, покеда он болесть на себя не накинул и не пошабашил всю шурфовку...

— Хоть бы глазком поглядеть на пробу-то... Можно ведь добыть ее и без него?

— Отчего не добыть, да толку от этого не будет: все одно — прииск по кондракту сейчас Кишкина. Кабы раньше...

Петр Васильич даже застонал от мысли, что ведь и он мог взять у Ястребова это самое болото ни за грош, ни за копеечку, а прямо даром. С горя он спросил второй полуштоф.

— Да тебе-то какая печаль? — удивлялся Матюшка.

— А такая!.. Вот погляди ты на меня сейчас и скажи: «Дурак ты, Петр Васильич, да еще какой дурак-то... ах, какой дурак!.. Недаром кривой ерахтой все зовут... Дурак, дурак!..» Так ведь?.. а?.. Ведь мне одно словечко было молвить Ястребову-то, так болото-то и мое... а?.. Ну, не дурак ли я после этого? Убить меня мало, кривого подлеца...

В избытке усердия он схватил себя за волосы и начал стучать головой в стену, так что Матюшка должен был прекратить этот порыв отчаяния.

— Будет баловаться, Петр Васильич.

— Нет, ты лучше убей меня, Матюшка!.. Ведь я всю зиму зарился на жилку Мыльникова, как бы от нее свою пользу получить, а богачество было прямо у меня в дому, под носом... Ну, как было не догадаться?.. Ведь Шишка догадался же... Нет, дурак, дурак, дурак!.. Как у свиньи под рылом все лежало...

— Погоди печаловаться раньше времени, — тихонько заметил Матюшка. — А Кишкин наших рук не минует... Мы его еще обработаем, дай срок. Он всех ладит обмануть...

— Верно! — обрадовался Петр Васильич. — Так достигнем, говоришь? Ах, андел ты мой, ничего не пожалею...

Чтобы не терять напрасно времени, новые друзья принялись выслеживать Кишкина со следующего же утра, когда он уходил от баушки Лукерьи.

Странная вещь, вся Фотьянка узнала об открытой Кишкиным богатой россыпи раньше, чем кто-нибудь мог подозревать об этом: сам Кишкин сказал только

баушке Лукерье, а потом Матюшка сообщил свою догадку Петру Васильичу — только и всего. И Кишкин, и баушка Лукерья, и Матюшка, и Петр Васильич знали только про себя, а между тем загалдела вся Фотьянка, как один человек, точно пчелиный улей, по которому ударили палкой. Когда Кишкин на другой день приехал в город, молва уже опередила его, и первым поздравил его секретарь Илья Федотыч.

— Хорошее дело, кабы двадцать лет назад оно вышло... — ядовито заметил великий делец, прищуривая один глаз. — Досталась кость собаке, когда собака съела все зубы. Да вот еще посмотрим, кто будет расхлебывать твою кашу, Андрон Евстратыч: обнес всех натощак, а как теперь сытый-то будешь повыше усов есть. Одним словом, в самый раз.

III

Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фотьянку, — точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дело в том, что прежде фотьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на Фотьянке обжились новые люди, которые и распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгон, и покосы, и всякое угодье, о посланных ходоках «с бумагой», о «члене», который наезжал каждую зиму ревизовать волостное правление. У волости и в кабаке Фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер: кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на Кедровскую дачу оправдались вполовину: летние работы помазали только по губам, а зимой там оставался один прииск Ягодный да

небольшие шурфовки. Народу нечего было делать, и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез: на Рублихе околачивалось человек пятьдесят, на Дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам — промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время.

На зимних работах опять проявилось неуклонное бдение старого штейгера Зыкова, притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов.

— Когда только он дрыхнет? — удивлялись рабочие. — Днем по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун.

— Сбросить его в дудку куда-нибудь, штобы не заедал чужой хлеб, — предлагали решительные люди.

— Не беспокойся: другой почище выищется...

— Ну, другого такого компанейского пса не сыскать: один у нас Родька на всю округу.

Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на Рублиху «чужестранных» рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили, и дети будут робить тут же... Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на распри с компанией и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела, а зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пятачка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса, но Оников уперся, как пень, и нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фотьянку до глубины души, как самое кровное оскорбление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры: он хотя и теснил рабочих, но по закону, а это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим.

— Пустяки, — уверял Оников со спокойной усмешечкой. — Надо их подтянуть...

— И подтянуть умеючи надо, Александр Иваныч, — смело заявил старый штейгер. — Двумя чужестранными рабочими мы не управим дела, а своих раздразним понапрасну... Тоже и по человечеству нужно рассудить.

— Послушайте, каналья, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждения! С вас нужно начать...

Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапыч весь побелел от нанесенного оскорбления и дрогнувшим голосом ответил:

— Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в штегерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время... да.

— Молчать!!

Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион Потапыч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем Феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь.

— Рассуди нас, Степан Романыч, — спокойно заявил старик. — Уж на што лют был покойничек Иван Герасимыч Оников, живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать... Неужто теперь хуже каторжного положенья? Да и дело мое правое, Степан Романыч... Уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно.

— Все это правда, Родион Потапыч, но не всякую правду можно говорить. Особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно: ссориться нам с Ониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить... Понимаете?.. Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком...

«Вот это так сказал, как ножом обрезал... — думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. — Эх, золотая голова, кабы не эта господская слабость...»

С Ониковым у Карачунского произошла, против ожидания, крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню.

— Вы... вы забываетесь, молодой человек! — проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие. — Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего...

— В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков и старатель Мыльников являются вашими креатурами... Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Вообще вы распустили рабочих и служащих...

— Относительно служащих я согласен с вами, а поэтому попрошу вас оставить меня: я говорю с вами как ваш начальник.

Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера — с мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо и еще раз глупо.

А рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая Кишкиным новая россыпь, названная им Богоданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голь и нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками.

— Нашли Кишкину свинью, а теперь ступайте на подножный корм! Эх вы, вороны...

Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильич, снедаемый ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались Мина Клейменый и старый Турка. Теперь только и было разговоров, что о Богоданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина и как надует всякого.

— Известно, старая конторская крыса! — рычал Матюшка. — У них у всех одна вера-то... Кровь нашу пьют.

— А вон Мыльников тоже вместе с нами старался, а теперь как взвеселил себя...

— Тоже через контору: Фенька подсдобила делянку.

— А мы чем грешнее Мыльникова? Ему отвели делянку, и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору... Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил спервоначалу, а потом и других поставит... Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай...

— Удавить их всех, а контору разнести в щепы! — кричал Матюшка в пьяном азарте. — Двух смертей не будет, а одной не миновать. Да и Шишку по пути вздернуть на первую осину.

Волнения с Фотьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голытьба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей протолчку добытого старателями золотоносного кварца, выдачу денег и т. д. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые «шламы», то есть уже промытые пески, получившиеся от протолчки кварца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах оставалось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались. Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызывала громкий ропот. Карачунский, со своей стороны, не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунский мог только удивляться

самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестранные рабочие, шламы — это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы поправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятков новых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов — это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов.

— Эх, Степан Романыч... — заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. — Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхают...

Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать, именно: на Дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего так боялся в настоящую минуту Карачунский: ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу бестолково и глупо, как это и бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал: он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху, один, как всегда ездил, и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей.

Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал.

— Что такое случилось? — спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих.

— Мы не согласны!.. — крикнул чей-то голос сзади. — Достаточно...

— Что вам нужно? Объясните, кто потолковее...

Из толпы выделился Матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза.

— Первое дело, Степан Романыч, ты нас не тронь... — грубо заявил Матюшка. — Мы не дадим отвал... Вот тебе и весь сказ. А твоих штейгеров мы в колья...

Карачунский вместо ответа спустился в старательскую яму, из-за которой вышло все дело, осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал:

— Хорошо. Работайте... Дня на два еще хватит вашего золота. А ты, молодец, тебя Матвеем звать? из Фотьянки?.. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично, вместо штейгера.

Этого никто не ожидал, а всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою Рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга.

— Вот это так орел... — заметил, наконец, кричавший давеча голос. — Как топором зарубил Матюшку-то!.. Ловко... Сразу компанейским песиком сделался. Ужо жалованье тебе положат четыре недели на месяц.

В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырех. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего. Даже Петр Васильич пожалел его.

— Не весь голову, Матюша, не печалуй хозяина! За нами с тобой и не это пропадало.

Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Оников рано торжествовал свою победу... В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившейся за него.

— Ну, вот все и кончилось, — проговорил он, обнимая ее. — Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его штуки.

— А я так боялась... Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались... злые поневоле... Прежде-то я боялась, што тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь...

Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богоданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского — взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой, тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела: Карачунский ревновал ее к Кожину, ревновал молча, тяжело, выдержанно, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню, а любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз?.. Нет, довольно и того, что было.

Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроения, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Карачунский на последнюю не обратил никакого внимания, а письмо узнал по адресу: такими прямыми буквами писали только старинные повытчики да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина, — писал старик своими прямыми буквами, — подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу. Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уни-

чтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся и вместе с ним зашатались стены.

— Что с вами, Степан Романыч? — со страхом спрашивала Феня.

— Ничего... так...

IV

Мыльников провел почти целых три месяца в каком-то чаду, так что это вечное похмелье надоело, наконец, и ему самому. Главное, куда ни приди — везде на тебя смотрят, как на свой карман. Это в конце концов было просто обидно. Правда, Мыльников успел поругаться по нескольку раз со своими благоприятелями, но каждое такое недоразумение заканчивалось новой попойкой.

— Монетный двор у меня, што ли? — выкрикивал Мыльников, когда к нему приставали с требованием денег его подручные: Яша Малый, зять Прокопий и Семеныч. — На вас никаких денег не напасешься...

Пьяная расточительность, когда Мыльников бахвалился и сорил деньгами, сменялась трезвой скупостью и даже скаредностью. Так, он, как настоящий богатый человек, терпеть не мог отдавать заработанные деньги все сразу, а тянул, сколько хватало совести, что бы за ним походили. Далее Мыльников стал относиться необыкновенно подозрительно ко всем окружающим, точно все только и смотрели, как бы обмануть его.

— Тарас, будет тебе богатого-то показывать! — корил его даже добродушный Яша Малый. — Над кем изневаживаешься?..

— А ты меня не учи... Терпеть ненавижу!.. Все вы около меня, как тараканы за печкой.

В результате выходило так, что сотрудники Мыльникова довольствовались в чаянии каких-то благ крохами, руководствуясь общим соображением, что свои люди сочтутся. Исключение составлял один Семеныч, которому Мыльников, как чужому человеку, платил поденщину сполна. Свои подождут, а чужой человек и молча просит, как голодное брюхо.

Семеныч вообще держал себя наособицу и мало «якшил»[1] с остальными родственниками. Впрочем, это продолжалось только до тех пор, пока Мыльников не сообразил о тайных делах Семеныча с сестрицей Марьей и, немедленно приобщив к лику своих родственников, перестал платить исправно.

— Ты это што же, Тарас? — удивился Семеныч. — Што расчет-то недодаешь?

— А так, голубь мой сизокрылый... Не чужие, слава богу, сочтемся, — бессовестно ответил Мыльников, лукаво подмигивая. — Сестрице Марье Родивоновне поклончик скажи от меня... Я, брат, свою родню вот как соблюдаю. Приди ко мне на жилку сейчас сам Карачунский: милости просим — хошь к вороту вставай, хошь на отпорку. А в дудку не пущу, потому как не желаю обидеть Оксю. Вот каков есть человек Тарас Мыльников... А сестрицу Марью Родивоновну уважаю наособицу за ее развертной карахтер.

Так и пошло. Новый родственник ничего не мог сказать в ответ. Сестрица Марья быстро забрала его в руки и торопила свадьбой, только не хватало денег на первое обзаведенье. Она была старше жениха лет на шесть, но казалась совсем молоденькой, охваченная огнем своей первой девичьей страсти. У Семеныча был тайный расчет, что когда умрет старик Родион Потапыч, то Марья получит свою часть наследства из несметных богатств старого штейгера, а пока можно будет перебиться и в черном теле. Сестрица Марья сама навела его на эту счастливую мысль разными обиняками, хотя прямо ничего и не говорила с чисто женской осторожностью. Пока между ними условлено было окончательно только то, что свадьба будет сыграна сейчас после Фоминой недели. Свадьба предполагалась самокрутка, чтобы меньше расходов, как делали в Балчуговском заводе. А пока время летело птицей, от одного свиданья до другого, как у всех влюбленных. Деловитая и энергичная Марья понимала, что Семенычу нечего делать у Тараса и что он только напрасно

[1] Якшить — от татарского слова якши — да, поддакивать, дружить. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

теряет время, а поэтому, когда проездом на свою Богоданку Кишкин остановился у баушки Лукерьи, она улучила минутку и, подавая самовар, ласково проговорила:

— Андрон Евстратыч, вы мне не откажете, если я попрошу вас об одном дельце?

— Как попросишь, тоже умеючи надо просить... хе-хе!.. Ишь какая вострая стала на Фотьянке-то!.. Ну, проси...

Марья мигом села к нему на колени, обняла одной рукой за шею и еще ласковее зашептала:

— Голубчик, Андрон Евстратыч, есть у меня один человек... то есть парень...

— Вот и неладно: ты себе проси, коза. Ничего не пожалею.

— Себе? Ну, а кто у вас на Богоданке хозяйничать будет?.. Надо и за стряпкой приглядеть, и горницы прибрать, и старичку угодить... старенькому, седенькому, богатенькому, хитренькому старичку.

— Так, так... Верно. Ай да коза... Ну, а дальше?..

— Дальше-то опять про парня... Какое-нибудь местечко ему приткнуться. Парень на все руки, а женится после Фоминой — жена будет на приисковой конторе чистоту да всякий порядок соблюдать. Ведь без бабы и на прииске не управиться...

— Ах, Марья Родивоновна: бойка, да речиста, да увертлива... Быть, видно, по-твоему. Только умей ухаживать за стариком... по-настоящему. Нарочно горенку для тебя налажу: сиди в ней канарейкой. Вот только парень-то... Ну, да это твое девичье дело. Уластила старика, егоза...

Разыгравшаяся сестрица Марья даже расцеловала размякшего старичка, а потом взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась в сени. Кишкин несколько минут сидел неподвижно, точно в каком тумане, и только моргал своими красными веками. Ну, и девка: огонь бенгальский... А Марья уж опять тут — выглядывает из-за косяка и так задорно смеется.

— Цып, цып... — манил ее Кишкин, сыпля на пол мелкое серебро. — Цып, курочка!..

— Ну, этим ты меня не купишь! — рассердилась сестрица Марья. — Приласкать да поцеловать старичка и так не грешно, а это уж ты оставь...

— Цып, цып... Старичку все можно, Машенька: никто ничего не скажет.

— Ах, бесстыдник...

Когда баушка Лукерья получила от Марьи целую пригоршню серебра, то не знала, что и подумать, а девушка нарочно отдала деньги при Кишкине, лукаво ухмыляясь: вот-де тебе и твоя приманка, старый черт. Кое-как сообразила старуха, в чем дело, и только плюнула. Она вообще следила за поведением Кишкина, особенно за тем, как он тратил деньги, точно это были ее собственные капиталы.

— Ты, бесстыдница, чего это над стариками галишься? [1] — строго заметила она Марье. — Смотри, довертишь хвостом... Ох, согрешила я с этими проклятущими девками!

— Молодо-зелено, погулять велено, — заступился Кишкин, находившийся под впечатлением охватившей его теплоты. — И стыд девичий до порога... Вот это какое девичье дело.

Мыльников хотя и хвастался своими благодеяниями родне, а сам никуда и глаз не показывал. Дома он повертывался гостем, чтобы сунуть жене трешницу.

— Когда же строиться-то мы будем? — спрашивала Татьяна каждый раз. — Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то...

— Ученого учить — только портить... Мне и самому надоело пировать-то. Родня на шею навязалась — вот главная причина. Никак развязаться не могу...

— Ты бы хоть Оксю-то приодел... Обносилась она. У других девок вон приданое, а у Окси только и всего, что на себе. Заморил ты ее в дудке... Даже из себя похудела девка.

— Всех ублаготворю, а Оксю наособицу... Нет, брат, теперь шабаш: за ум возьмусь. Канпанию к черту, пусть отдохнут кабаки-то...

---

[1] Галиться — насмехаться. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

У Мыльникова действительно были серьезные хозяйственные намерения. Он даже подрядил плотников срубить для новой избы сруб и даже выдал задаток, как настоящий хозяин. Постройкой приходилось торопиться, потому что зима была на исходе, — только успеют вывезти бревна из лесу, а поставят сруб о великом посте. Первый транспорт бревен привел Мыльникова в умиление: его заветная мечта поставить новую избу осуществлялась. Когда весь двор был завален бревнами, Мыльниковым овладело такое нетерпение, что он решил сейчас же сломать старую избушку. Такое быстрое решение даже испугало Татьяну: столько лет прожили в ней, и вдруг ломать.

— А куды я-то с ребятишками денусь? — взмолилась она.

— На фатеру определю... А то и у батюшки-тестя поживешь. Не велика важность, две недели околотиться. Немного мы видели от тестюшки...

Без дальних слов Мыльников отправился к Устинье Марковне и обладил дело живой рукой. Старушка тосковала, сидя с одной Анной, и была рада призреть Татьяну. Родион Потапыч попустился своему дому и все равно ничего не может.

— Да ведь я заплачу, — с гордостью заявлял Мыльников. — Всю родню теперь воспитываю.

Неприятность вышла только от Анны, накинувшейся на него с худыми бабьими словами. Она в азарте даже тыкала в нос Мыльникову грудным ребенком.

— Любезная сестрица, Анна Родивоновна, вот какая есть ваша благодарность мне? — удивлялся Мыльников. — Можно сказать, головы своей не жалею для родни, а вы неистовство свое оказываете...

— Перестань, Анна, — оговорила дочь Устинья Марковна, — не одни наши мужики помутились с золотом-то, а Тарас тут ни при чем...

— Куды мы с робятами-то? — голосила Анна. — Вот Наташка с Петькой объедают дедушку, да мои, да еще Тарасовы будут объедать... От соседей стыдно.

— Молчи! — крикнула мать. — Зубы у себя во рту сосчитай, а чужие куски нечего считать... Перебьемся

как-нибудь. Напринималась Татьяна горя через число: можно бы и пожалеть.

— И как еще напринималась-то!.. — соглашался Мыльников. — Другая бы тринадцать раз повесилась с таким мужиньком, как Тарас Матвеевич... Правду надо говорить. Совсем было измотал я семьишку-то, кабы не жилка... И удивительное это дело, тещенька любезная, как это во мне никакой совести не было. Никого, бывало, не жаль, а сам в кабаке день-деньской, как управляющий в конторе.

Пристроив семью, Мыльников сейчас же разнес свое пепелище в щепы и даже продал старые бревна кому-то на дрова. Так было разрушено родительское гнездо...

— Теперь, брат, на господскую руку все наладим, — хвастался Мыльников на всю улицу.

Занятый постройкой, он совсем забросил жилку, куда являлся только к вечеру, когда на фабрике «отдавали свисток с работы». Он приезжал к дудке, наклонялся и кричал:

— Окся, ты тут?

— Здесь, тятенька, — откликался из земных недр Оксин голос.

— То-то, у меня смотри...

Работа шла уже на седьмой сажени. Окся не только добывала «пустяк» и «жилку», но сама крепила шахту и вообще отвечала за настоящего ортового рабочего. Жила она на Рублихе, в конторке дедушки Родиона Потапыча, полюбившего свою внучку какой-то страстной любовью. Он все прощал Оксе, даже грубости, чего никогда не простил бы родным дочерям, и молча любовался непосредственностью этой придурковатой от избытка здоровья девушки. Ей точно лень быть умной. Не один раз они ссорились, и Родион Потапыч грозился выгнать Оксю, но та только ухмылялась.

— Куды я пойду-то, ты подумай, — усовещивала она старика. — Мужику это все одно, а девка сейчас худую славу наживет... Который десяток на свете живешь, а этого не можешь сообразить.

— К отцу ступай, дура... Не в чужие люди гоню.

— У меня и отец такой же, как ты: ничего сообразить не может.

— Ах, Окся, Окся... да не Окся ли?!. Какие ты слова выражаешь?..

В начале марта провернулось несколько теплых весенних деньков. На пригревах дорога почернела, а снег потерял сразу свою ослепительную белизну. Воздух сделался совсем особенный, — такой бодрящий и свежий. Вешняя вода была близко, и все опять заволновались, как это происходило каждую весну. Рабочая лихорадка охватила и Фотьянку и Балчуговский завод. В прошлом году в Кедровской даче шли только разведки, а нынче пойдут настоящие работы. Старатели сбивались артелями и ходили с Фотьянки на Балчуговский завод и обратно, выжидая нанимателей. Издали они походили на проснувшихся после зимней спячки пчел, ползавших по своему улью. В числе других ходил и Матюшка, оставшийся без работы: золото на Дернихе кончилось ровно через два дня, как сказал Карачунский. Встречая на дороге Мыльникова, Матюшка несколько раз говорил:

— Тарас Матвеевич, што меня не возьмешь на жилку?..

— У меня своей родни девать некуда.

— Родня родней, а старую хлеб-соль забывать тоже нехорошо. Вместе бедовали на Мутяшке-то...

Первое дыхание весны всех так и подмывало. Очухавшийся Мыльников только чесал затылок, соображая, сколько стравил за зиму денег по кабакам... Теперь можно было бы в лучшем виде свои работы открыть в Кедровской даче и получать там за золото полную цену. Все равно на жилку надеяться долго нельзя: много продержится до осени, ежели продержится.

— Бить некому было старого черта! — вслух ругал Мыльников самого себя. — Еще как бить-то надо было, бить да приговаривать: не пируй, варнак! Не пируй, каторжный!..

Именно в таком тревожном настроении раз утром приехал Мыльников на свою дудку. «Родственники» не ожидали его и мирно спали около огонька. Мыльников

пришел к вороту, наклонился к отверстию дудки и крикнул:

— Эй, Оксюха, жива, што ли?..

Ответа не последовало, только проснулись сконфуженные родственники.

— Где же Окся? — грозно накинулся на них Мыльников. — Эй, Окся, не слышишь без очков-то!.. Уж не задавило ли ее грешным делом?

— Мы ее на свету спустили в дудку, — объяснял сконфуженный Яша. — Две бадьи подала пустяку, а потом велела обождать...

Встревоженный Мыльников спустился в дудку: Окси не было. Валялись кайло и лопатка, а Окси и след простыл. Такое безобразие возмутило Мыльникова до глубины души, и он «на той же ноге» полетел на Рублиху, — некуда Оксе деваться, окромя Родиона Потапыча. Появление Мыльникова произвело на шахте общую сенсацию.

— Окся здесь? — строго спрашивал Мыльников.

— Была твоя Окся, да вся вышла...

— Да вы толком говорите, омморошные!.. Она с дудки, надо полагать, опять ушла сюда...

— Поищи, может, найдешь. А вернее, братцы, што на Оксе черт уехал по своим делам.

Родион Потапыч вышел на шум из своей конторки и молча нахмурился, завидев дорогого зятя.

— Оксю потерял, Родион Потапыч... Была в дудке, а тут как сквозь землю провалилась. Работнички-то мои проспали.

— Выгоните этого дурака, — коротко приказал грозный старик. — Здесь не кабак, штобы шум подымать.

— Меня?.. Да я...

Чадолюбивого родителя без церемоний вытолкали за дверь.

Мыльников с Рублихи отправился прямо на Фотьянку к баушке Лукерье... Окси и там не было; потом — в Балчуговский завод, — Окся точно в воду канула. Так и пропала девка.

Вместе с Оксей ушло и счастье Мыльникова. Через неделю его дудку залило подступившей вешней водой,

а машину для откачки воды старатели не имели права ставить, и ему пришлось бросить свою работу. От всего богатства Мыльникова остались одни новые ворота да сотни три бревен, которые подрядчик увез к себе, потому что за них не было заплачено. С горя Мыльников опять засел в кабак к Ермошке и начал пропивать помаленьку нажитое добро: сначала лошадь, потом кошевку, лошадиную сбрую и, наконец, всю одежу с себя. Наступало лето, и одежа была не нужна.

Раз, когда Мыльников сидел в кабаке, Ермошка сказал:

— А Окся-то твоя ловкую штуку уколола: за Матюшку замуж вышла...

— Н-но-о?.. — изумился Мыльников.

— Приданое, слышь, вынесла: целый фунт твоего-то золота Матюшка продал Петру Васильичу за четыре сотельных билета... Она, брат, Окся-то, поумнее всех оказала себя.

— Ах, курва... Да я ее растерзаю на мелкие части!

— Ну, теперь дудки: Матюшка-то изувечит всякого... Другую такую-то дуру наживай.

V

На Рублихе дела оставались в прежнем положении. Углубляться было нельзя, пока не кончена штольня. Работы в последней подвигались к концу, что вызывало общее возбуждение. Штольня пробуравила Ульянов кряж поперек, но в этом горизонте, к общему удивлению, ничего интересного не было найдено: пласты березитов, сланцы, песчаники, глина — и только. Кварц встречался ничтожными прослойками без всякого содержания золота. Все надежды теперь сосредоточились именно на этой штольне, потому что она отведет всю рудную воду в Балчуговку, и тогда можно начать углубление в центральной шахте. Родион Потапыч спускался в штольню по два раза в день и оставался там часов по пяти. Работы шли под его личным руководством. Старик никому не доверял и все делал сам.

Что неприятно поражало Родиона Потапыча, так это то, что Карачунский как будто остыл к Рублихе и совершенно равнодушно выслушивал подробные доклады старого штейгера, точно все это не касалось его. Так продолжалось месяца два, а потом Карачунский точно проснулся. Он «зачастил» на Рублиху и подолгу оставался здесь. То спустится в шахту и бродит по рассечкам, то сидит наверху. Вообще с ним что-то «попритчилось», как решили все.

— Скоро ли? — спрашивал он каждый день Родиона Потапыча.

— Еще восемнадцать аршин осталось... К реке скорее пойдем, потому там ребровик да музга́ пойдут.

Музгой рабочие называли всякую смесь, а в данном случае музга состояла из глины и разрушившихся песчаников. Попадались еще прослойки белой вязкой глины с крупинками кварца, носившей название «кавардака». Вероятно, оно дано было сначала кем-нибудь из горных инженеров и было подхвачено рабочими, да так и пошло гулять по всем промыслам, как забористое и зубастое словечко, тем более что такой белой глины рабочие очень не любили, — лопата ее не брала, а кайло вязло, как в воске. Такой «кавардак» встречается только в полосе березитов как продукт их разрушения.

Новое увлечение Карачунского Рублихой находилось в связи с его душевным настроением: это была его последняя ставка. «Оправдает себя» Рублиха, и Карачунский спасен... Часто он совершенно забывался, сидя где-нибудь у машины и прислушиваясь к глухой работе и тяжелым вздохам шахты. Там, в темной глубине, творилась медленная, но отчаянная борьба со скупой природой, спрятавшей в какой-то далекий угол свое сокровище. И в душе у человека, в неведомых глубинах, происходит такая же борьба за крупицы правды, добра и чести. Ах, сколько тьмы лежит на каждой душе, и какими родовыми муками добываются такие крупицы... Большинство людей счастливо только потому, что не дает себе труда заглянуть в такие душевные пропасти и вообще не дает отчета в пройденном пути. Родион Потапыч потихоньку наблюдал

Карачунского издали и старался в такие минуты не мешать барину «раздумываться». Ничего, пусть подумает... Раз они встретились глазами именно в такую минуту, и Карачунский весело улыбнулся.

— Знаешь, о чем я думал сейчас, Родион Потапыч?

— Не могу знать, Степан Романыч... У господ свои мысли, у нас, мужиков, свои, а чужая душа потемки... А тебе пора и подумать о своем-то лакомстве... У всех господ одна зараза, а только ты попревосходней других себя оказал.

— Вся разница в том, Родион Потапыч, что есть настоящие господа и есть поддельные. Настоящий барин за свое лакомство сам и рассчитывается... А мужик полакомится — и бежать.

— Видал я господ всяких, Степан Романыч, а все-таки не пойму их никак... Не к тебе речь говорится, а вообче. Прежнее время взять, когда мужики за господами жили, — правильные были господа, настоящие: зверь так зверь во всю меру, добрый так добрый, лакомый так лакомый. А все-таки не понимал я, как это всякую совесть в себе загасить... Про нынешних и говорить нечего: он и зла-то не может сделать, засилья нет, а так, одно званье што барин.

— А как ты меня понимаешь, Родион Потапыч?..

— Тебя-то? Бочка меду да ложка дегтю — вот как я тебя понимаю. Кабы не твое лакомство, цены бы тебе не было... Всякая повадка в тебе настоящая, и в слове тверд даже на редкость.

Карачунский приезжал на Рублиху даже ночью. Он вдруг потерял сон и ужасно этим мучился. А тут проехаться верст пять по свежему воздуху — отлично... Весна уже брала свое. За день дорога сильно подтаивала, а к ночи все подмерзало. Заторы и колдобины покрывались тонким, как стекло, льдом, который со звоном хрустел под лошадиными копытами и санным полозом. А как легко дышится в такую весеннюю ночь... Небо бледное, звезды лихорадочно светят, в воздухе разлита чуткая дремота. Вообще хорошо. Нервы напряжены, а в теле разливается такая бодрая теплота, как в ранней молодости. В такие минуты хорошо думается и хорошо чувствуется. Раз, когда так ночью

Карачунский ехал один, ему вдруг пришла мысль: а что, если бы умереть в такую ночь?.. Умереть бодрым, полным сил, в полном сознании, а не беспомощным и жалким. Кучер, должно быть, вздремнул на козлах, потому что лошади поднимались на Краюхин увал шагом; колокольчик сонно бормотал под дугой, когда коренник взмахивал головой; пристяжная пряла ушами, горячим глазом вглядываясь в серый полумрак. Именно в этот момент точно из земли вырос над Карачунским верховой; его обдало горячее дыхание лошади, а в седле неподвижно сидел, свесившись на один бок по-киргизски, Кожин. Карачунский узнал его и почувствовал, как по спине пробежала холодная струйка. Кучер встрепенулся и подтянул вожжи.

— Эй ты, подальше, полуношник! — крикнул кучер.

Кожин ничего не отвечал, а только пустил лошадь рядом. Карачунский инстинктивно схватился за револьвер.

— Не бойсь, не трону, — ответил Кожин, выпрямляясь в седле. — Степан Романыч, а я с Фотьянки... Ездил к подлецу Кишкину: на мои деньги открыл россыпь, а теперь и знать не хочет. Это как же?..

— У вас условие было какое-нибудь? — спрашивал Карачунский, сдерживая волнение.

— Какие там условия...

— Ну, тогда ничего не получите.

Кожин молча повернул лошадь, засмеялся и пропал в темноте. Кучер несколько раз оглядывался, а потом заметил:

— Не с добром человек едет...

— А что?

— Да уж так... Куда его черт несет ночью? Да и в словах мешается... ночным делом разе можно подъезжать этак-ту: кто его знает, што у него на уме.

— Пустяки...

Ночью особенно было хорошо на шахте. Все кругом спит, а паровая машина делает свое дело, грузно повертывая тяжелые чугунные шестерни, наматывая канаты и вытягивая поршни водоотливной трубы. Что-то такое было бодрое, хорошее и успокаивающее в этой неумолчной, гигантской работе. Свои домашние мысли

и чувства исчезали на время, сменяясь деловым настроением.

— Разве так работают... — говорил Карачунский, сидя с Родионом Потапычем на одном обрубке дерева. — Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть — вот это разведка. Тогда уж золото не ушло бы у нас...

— Куда ему деваться, Степан Романыч... В горе оно спряталось.

— Да и вообще все наши работы ничего не стоят, потому что у нас нет денег на большие разведки и на настоящие, большие работы.

— Это ты правильно... Кабы настоящим образом ударить тот же Ульянов кряж...

Карачунский рассказывал подробно, как добывают золото в Калифорнии, в Африке, в Австралии, какие громадные компании основываются, какие страшные капиталы затрачиваются, какие грандиозные работы ведутся и какие баснословные дивиденды получаются в результате такой кипучей деятельности. Родион Потапыч только недоверчиво покачивал головой, а с другой стороны, очень уж хорошо рассказывал барин, так хорошо, что даже слушать его обидно.

— Мы как нищие... — думал вслух Карачунский. — Если бы настоящие работы поставить в одной нашей Балчуговской даче, так не хватило бы пяти тысяч рабочих... Ведь сейчас старатель сам себе в убыток работает, потому что не пропадать же ему голодом. И компании от его голода тоже нет никакой выгоды... Теперь мы купим у старателя один золотник и наживем на нем два с полтиной, а тогда бы мы нажили полтину с золотника, да зато нам бы принесли вместо одного пятьдесят золотников.

— Ну, это уж невозможно! — сказал Родион Потапыч. — Им, подлецам, сколько угодно дай — все равно потащат Ястребову.

— Тогда мы стали бы платить столько же, сколько платит Ястребов: если ему выгодно, так нам в сто раз выгоднее. Главное-то свои работы...

На этом пункте они всегда спорили. Старый штейгер относился к вольному человеку-старателю с

ненавистью старой дворовой собаки. Вот свои работы — другое дело... Это настоящее дело, кабы сила брала. Между разговорами Родион Потапыч вечно прислушивался к смешанному гулу работавшей шахты и, как опытный капельмейстер, в этой пестрой волне звуков сейчас же улавливал малейшую неверную ноту. Раз он соскочил совсем бледный и даже поднял руку кверху.

— Что случилось?

— Вода, Степан Романыч... — прошептал старик, опрометью бросаясь к насосу.

Несмотря на самое тщательное прислушиванье, Карачунский ничего не мог различить: так же хрипел насос, так же лязгали шестерни и железные цепи, так же под полом журчала сбегавшая по «сливу» рудная вода, так же вздрагивал весь корпус от поворотов тяжелого маховика. А между тем старый штейгер учуял беду... Поршень подавал совсем мало воды. Впрочем, причина была найдена сейчас же: лопнуло одно из колен главной трубы. Старый штейгер вздохнул свободнее.

— Ну, это не велика беда, — говорил он с улыбкой. — А я думал, не вскрылась ли настоящая рудная вода на глуби. Беда, ежели настоящая-то рудная вода прорвется: как раз одолеет и всю шахту зальет. Бывало дело...

Они, кажется, переговорили обо всем, кроме главного, что лежало у обоих на душе. Родион Потапыч не проронил ни одного слова о Фене, а Карачунский молчал о деле Кишкина. Но это последнее неотступно преследовало его, получив неожиданный оборот. Следователь по особо важным делам вызывал Карачунского в свою камеру уже три раза. Эти вызовы производили на Карачунского страшное, двойственное впечатление: знакомый человек, с которым он много раз играл в клубе в карты и встречался у знакомых, и вдруг начинает официальным тоном допрашивать о звании, имени, отчестве, фамилии, общественном положении и подробностях передачи казенных промыслов.

— Господин Карачунский, вы не могли, следовательно, не знать, что принимаете приисковый инвен-

тарь только по описи, не проверяя фактически, — тянул следователь, записывая что-то, — чем, с одной стороны, вы прикрывали упущения и растраты казенного управления промыслами, а с другой — вводили в заблуждение собственных доверителей, в данном случае компанию.

— Господин следователь, вам небезызвестно, что и в казенном деле и в частном есть масса таких формальностей, какие существуют только на бумаге, — это известно каждому. Я сделал не хуже, не лучше, чем все другие, как те же мои предшественники... Чтобы проверить весь инвентарь такого сложного дела, как громадные промысла, потребовались бы целые годы, и затем...

— И затем?

— И затем я не желал подводить под обух своих предшественников, которые, как я глубоко убежден, были виноваты столько же, сколько я в данный момент.

— Вот это и важно, что вы сознательно прикрывали существование злоупотребления!

— Позвольте, господин следователь, я этого совсем не желал сказать и не мог... Я хотел только объяснить, как происходят подобные вещи в больших промышленных предприятиях.

— Это одно и то же, только вы говорите другими словами, господин Карачунский.

Такой прием злил Карачунского, и он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим профессиональным бесстрастием. Правосудие должно было быть удовлетворено, и козлом отпущения являлся именно он, Карачунский. Конечно, он мог свалить на своих предшественников, но такой маневр был бы просто глупым, потому что он сейчас не мог ничего доказать. И следователь был по-своему прав, выматывая из него душу и цепляясь за разные мелочи и пустяки. В конце концов Карачунский чувствовал себя в положении травленого зверя, которого опутывали цепкими тенетами. Могла разыграться очень скверная штука вообще, да, кажется, в этом сейчас не могло быть и сомнения. По крайней мере Карачунский в этом

смысле ни на минуту не обманывал себя с первого момента, как получил повестку от следователя.

Интересна была произведенная следователем очная ставка Карачунского с Кишкиным. Присутствие доносчика приподняло Карачунского, и он держал себя с таким леденящим достоинством, что даже у следователя заронилось сомнение. Кишкин все время чувствовал себя сильно смущенным...

— Господин следователь, я желаю взять назад свой донос... — заявил Кишкин в конце концов, виновато опуская глаза.

— Я уже сказал вам, что это невозможно, — сухо отвечал следователь, продолжая писать.

— А если я по злобе это сделал?.. Просто от неприятностей, и сейчас сам не помню, о чем писал... Бедному человеку всегда кажется, что все богатые виноваты.

— Теперь вы, кажется, разбогатели и не можете жаловаться на судьбу... Одним словом, это к делу не относится...

Когда Карачунский вышел на подъезд следовательской квартиры, Кишкин догнал его и торопливо проговорил:

— А я не виноват, Степан Романыч... Про вас-то я ни одного слова не говорил, а про других.

— Что вам от меня нужно?.. — сурово спросил Карачунский, меряя старика с ног до головы. — Я вас совсем не знаю и не желаю знать...

Это презрение образумило Кишкина, точно на него пахнуло холодным воздухом, и он со злобой подумал:

«Погоди, шляхта, ужо запоешь матушку-репку, когда приструнят...»

Карачунскому этот подлый старичонко доносчик внушал непреодолимое отвращение, как пресмыкающаяся гадина. Сознавая всю опасность своего положения, он гордился тем, что ничего не боится и встретит неминучую беду с подобающим хладнокровием. Теперь уже в отношениях собственных служащих он замечал свое фальшивое положение: его уже начинали игнорировать, особенно Монморанси, которых он прокармливал. Из допросов следователя Карачунский

понимал, что, кроме доноса Кишкина, был еще чей-то дополнительный донос прямо о нем, и подозревал, что его сделал Оников. Этот молодой человек старательно избегал встреч с Карачунским, чем еще больше подтверждал подозрения. Промысловые служащие, конечно, знали о всем происходившем и смотрели на Карачунского как на обреченного человека. Все это создавало взаимно-фальшивые отношения, и Карачунский желал только одного, чтобы все это поскорее разрешилось так или иначе.

Вот о чем задумывался он, проводя ночи на Рублихе. Тысячу раз мысль проходила по одной и той же дороге, без конца повторяя те же подробности и производя гнетущее настроение. Если бы открыть на Рублихе хорошую жилу, то тогда можно было бы оправдать себя в глазах компании и уйти из дела с честью: это было для него единственным спасением.

В то время, пока Карачунский все это думал и передумывал, его судьба уже была решена в глубинах главного управления компании Балчуговских промыслов: он был отрешен от должности, а на его место назначен молодой инженер Оников.

VI

На Фоминой вековушка Марья сыграла свадьбу-самокрутку и на свое место привела Наташку, которая уже могла «отвечать за настоящую девку», хотя и выглядела тоненьким подростком. Баушку Лукерью много утешало то, что Наташка лицом напоминала Феню, да и характером тоже.

— Живи и слушайся баушки, — наказывала строго Марья. — И к делу привыкнешь и, может, свою судьбу здесь-то и найдешь... У дедушки немного бы высидела, да там и без тебя полная изба едоков.

Наташка была рада этой перемене и только тосковала о своем братишке Петруньке, который остался теперь без всякого призора. Отец Яша вместе с Прокопьем пропадали где-то на промыслах и дома показывались редко.

— Смаялась я с девками, — ворчала баушка Лукерья. — На одном году четвертую беру... А все промысла. Грех один с этими девками...

Марья с мужем поступила к Кишкину на Богоданку, где весной закипела горячая работа. На берегу Мутяшки по щучьему веленью выросла новая контора, а при ней была налажена обещанная стариком горенка для Марьи. Весело было на Богоданке, как в праздник. Рабочих набралось больше трехсот человек. Со стороны Мутяшки еще зимой была устроена из глины и хворосту плотина, а затем вся вода из болота выкачена паровой машиной. Зимой же половина россыпи была вскрыта, и верховик пошел на плотину, так что зараз делалось два дела. Пески промывали бутарой, которая гремела день и ночь, как прожорливое чудовище с железным брюхом. Россыпь оказалась прекрасной — в среднем около полуторых золотников содержания. Кишкин жил в своей конторе и сам смотрел за всем, не доверяя постороннему глазу. При нем происходила доводка золота в полдень и вечером, и он сам отжигал на огне полученную «сортучку», как называют на промыслах соединение ртути с золотом. Мелкое золото улавливалось ртутью. Несколько старательских артелей были допущены только для выработки бортов, как на больших промыслах, и Кишкин каялся в этом попущении, потому что вечно подозревал старателей в воровстве. Старик ни в чем не изменил образа жизни и ходил в таком же рваном архалуке, как и в прошлом году. Единственная роскошь, которую он позволил себе, — была трубка с длинным черешневым чубуком. Жил он очень грязно, ходил в грязном белье и скупился ужасно. Даже чай ходил пить к своему штейгеру Семенычу, чтобы сэкономить на этой разорительной привычке. Марья, впрочем, не подавала вида, что замечает эту старческую жадность, и охотно угощала старика всем, что было под рукой.

— Все кричат: богатство! — жаловался Кишкин. — А только вот я не вижу его до сих пор... Нечем долг заплатить баушке Лукерье. Тут тебе паровая машина, тут вскрыша, тут бутара, тут плотина... За все деньги подай, а деньги из одного кармана.

— А как же баушка-то Лукерья? Завидная она до денег...

— Проценты плачу... Ох, разоренье, Марьюшка!..

— Ну, как-нибудь, Андрон Евстратыч. Бог не без милости...

— Главное, всем деньги подавай: и штейгеру, и рабочим, и старателям. Как раз без сапогов от богатства уйдешь... Да еще сколько украдут старателишки. Не углядишь за вором... Их много, а я-то ведь один. Не разорваться...

Всего больше Кишкин не любил, когда на прииск приезжали гости, как тот же Ястребов. Знаменитый скупщик делал такой вид, что ему все равно и что он нисколько не завидует дикому счастью Кишкина.

— Старайся, старайся, старичок божий... — весело говорил он, похлопывая Кишкина своей тяжелой рукой по плечу. — Любая половина моих рук не минует... Пряменько скажу тебе, Андрон Евстратыч. Быль молодцу не укора...

— Знаю я вас, разбойников! — брюзжал Кишкин. — Только ведь со мной шутки-то плохие, Никита Яковлич...

— Не пугай ради Христа... ха-ха!.. А что сделаешь?

— А вот это самое... Я, брат, дубленый: все ваши ходы и выходы знаю. Меня, брат, не проведешь...

В другой раз Ястребов привез с собой самого Илью Федотыча, ездившего по промыслам для собственного развлечения.

— Посмотреть приехал на тебя, чудо-юдо, — пошутил секретарь милостиво. — Разбогател, так и меня знать не хочешь.

— Он нынче гордый стал, — поддержал Ястребов расшутившегося секретаря. — Голой рукой и не возьмешь...

— А еще однокашники, — продолжал Илья Федотыч. — Скоро, пожалуй, на улице встретит и не узнает... Вот тебе и дружба. Хе-хе... А еще говорят, что старая хлеб-соль впереди.

Сильный был человек Илья Федотыч, так что Кишкин для него послал в Балчуговский завод за

бутылкой мадеры, благо секретарь остается ночевать в Богоданке.

— Да, вот какие дела, Андрон... — говорил он вечером, когда они остались в конторе одни. — Приехал получить с тебя должок. Разве забыл?

— Все отдам, Илья Федотыч, только дай с деньгами собраться... — жалостливо уверял Кишкин. — Никак не могу сбиться деньгами-то. Вот еще свои в землю закапываю...

— Перестань врать!.. Других морочь, а меня-то оставь.

Марья вертелась на глазах целый вечер и сумела угодить Илье Федотычу. Она подала и сливок к чаю и ягод, а на ужин состряпала такие пельмени, что язык проглотишь. Кишкин только поморщился, что разгулялась баба на чужую провизию, но Марья успокоила его: она все делала из своего.

— Нельзя же кое-как, Андрон Евстратыч, — уговаривала она старика своим уверенным тоном. — Пригодится еще Илья-то Федотыч... Все за ним ходят, как за кладом.

— Ох, знаю, Марьюшка... Да мне-то какая от этого корысть?.. Свою голову не знаю, как прокормить... Ты расхарчилась-то с какой радости?

— Нельзя, Андрон Евстратыч: порядок того требует. Тоже видали, как добрые люди живут...

Илья Федотыч за бутылкой хереса сообщил Кишкину последнюю новость, именно о назначении Оникова главным управляющим Балчуговских промыслов.

— А куда же Карачунский? — удивился Кишкин.

— Ну, это его дело... Может, ты же ему место-то приспособил своим доносом. Влетел он в это самое дело, как кур во щи... Ах, Андрошка, бить-то тебя было некому!..

— От бедности очертел тогда, — согласился Кишкин. — Терпел-терпел и надумал...

За бутылкой вина старики разговорились о старине, о прежних людях, о похороненном казенном времени, о нынешних порядках и нынешних людях. Илья Федотыч как-то осовел и точно размяк.

— Пожалеют балчуговские-то о Карачунском, — повторял секретарь. — И еще как пожалеют... В узде держал, а только с толком. Умный был человек... Надо правду говорить. Оников-то покажет себя...

— Народ изварначился нынче, Илья Федотыч...

— Ну, это тоже суди на волка и суди по волку. Промысла-то везде одинаковы, — сегодня вскачь, а завтра хоть плачь.

— Разжалобился ты што-то уж очень, Илья Федотыч... У себя в канцелярии так зверь зверем сидишь, а тут жалость напустил.

— Ох, помирать скоро, Андрошка... О душе надо подумать. Прежние-то люди больше нас о душе думали; и греха было больше и спасения было больше, а мы ни богу свеча, ни черту кочерга. Вот хоть тебя взять: напал на деньги и съежился весь. Из пушки тебя не прошибешь, а ведь подохнешь, с собой ничего не возьмешь. И все мы такие, Андрошка... Хороши, пока голодны, а как насосались — и конец.

— Тебе в попы идти, Илья Федотыч, — рассердился Кишкин. — В самый раз с постной молитвой ездить...

Это жалостливое настроение Ильи Федотыча, впрочем, сменилось быстро игривым. Он долго смотрел на Марью, а потом весело подмигнул и заметил:

— Игрушка?..

— Хороша Маша, да не наша... С мужем живет.

— Што же, это еще лучше, коли с мужем... хи-хи!.. Из-за мужа-то и хозяина пожалеет...

Илья Федотыч рано утром был разбужен неистовым ревом Кишкина, так что в одном белье подскочил к окну. Он увидел каких-то двух мужиков, над которыми воевал Андрон Евстратыч. Старик расходился до того, что, как петух, так и наскакивал на них и даже замахивался своей трубкой. Один мужик стоял с уздой.

— Грабить меня пришли?!. — орал Кишкин. — Петр Васильич, побойся ты бога, ежели людей не стыдишься... Знаю я, по каким делам ты с уздой шляешься по промыслам!..

— Мы нащет работы, Андрон Евстратыч, — заявил другой мужик. — Чем мы грешнее других-прочих?.. Отвел бы делянку — вот и весь разговор.

Это были Петр Васильевич и Мыльников, шлявшиеся по промыслам каждый по своему делу. На крик Кишкина собрались рабочие и подняли гостей на смех.

— Ты их обыщи, Андрон Евстратыч, — советовал кто-то. — Мыльников-то заместо коромысла отвечает у Петра Васильича.

— Ну и обыщи, коли на то пошло! — согласился Петр Васильич, распоясываясь. — Весь тут... Хоть выворoти.

— А мне надо сестрицу Марью повидать, — заявлял Мыльников не без достоинства. — Кожин тебе кланяется, Андрон Евстратыч.

Выскочившая на шум Марья увела родственников к себе в горенку и этим прекратила скандал.

— Скупщики... — коротко объяснил Кишкин недоумевавшему гостю. — Вот этот, кривой-то, настоящий и есть змей... От Ястребова ходит.

— Ну, у хлеба не без крох, — равнодушно заметил секретарь. — А я думал, что тебя уж режут...

— И зарежут...

Мыльников сидел в горнице у сестрицы Марьи с самым убитым видом и говорил:

— Вот, Марьюшка, до чего дожил: хожу по промыслам и свою Оксю разыскиваю. Должна же она своего родителя ублаготворить?.. Конешно, она в законе и всякое прочее, а целый фунт золота у меня стащила...

— Мало ли что зря люди болтают, — успокаивала Марья. — За терпенье Оксе-то бог судьбу послал, а ты оставь ее. Неровен час, Матюшка-то и бока наломает.

— Прямо убьет, — соглашался Мыльников. — Зятя бог послал... Ох, Марьюшка, только и жисть наша горемышная.

— Пировал бы меньше, Тарас... Правду надо говорить. Татьяну-то сбыл тятеньке на руки, а сам гуляешь по промыслам.

Мыльников удрученно молчал и чесал затылок. Эх, кабы не водочка!.. Петр Васильич тоже находился в удрученном настроении. Он вздыхал и все посматривал на Марью. Она по-своему истолковала это настроение милых родственников и, когда вечером вернулся с работы Семеныч, выставила полуштоф водки с закуской из сушеной рыбы и каких-то грибов.

— Не обессудьте на угощении, гостеньки дорогие... — приговаривала она.

— Ах, Марьюшка, родная сестрица! — ахнул Мыльников. — Вот когда ты уважила...

Семеныч чувствовал себя настоящим хозяином и угощал с подобающим радушием. Мыльников быстро опьянел, — он давно не пил, и водка быстро свалила его с ног. За ним последовал и Семеныч, непривычный к водке вообще. Петр Васильич пил меньше других и чувствовал себя прекрасно. Он все время молчал и только поглядывал на Марью, точно что хотел сказать.

— Очертел Шишка-то... — заговорил, наконец, Петр Васильич, когда остался с глазу на глаз с Марьей. — Как змей накинулся даве на нас...

— Его не обманешь: наскрозь видит каждого.

— Видит, говоришь? — засмеялся Петр Васильич. — Кабы видел, так не бросился бы... Разе я дурак, штобы середи бела дня идти к нему на прииск с весками, как прежде? Нет, мы тоже учены, Марьюшка...

— Спрятал в лесу где-нибудь весы-то свои?

— Обыкновенно... И Тарас не видал, потому несуразный он человек. Кажное дело мастера боится... Вот твое бабье дело, Марья, а ты все можешь понимать.

Петр Васильич придвинулся к ней поближе и спросил шепотом:

— А есть у тебя какое-нибудь женское дело с Шишкой?

Марья отрицательно покачала головой и засмеялась.

— Себя соблюдаешь, — решил Петр Васильич. — А Шишка, вот погляди, сбрендит... Он теперь отдохнул и первое дело за бабой погонится, потому как хоша и не настоящий барин, а повадку-то эту знает.

— Так поглядывает, а штобы приставал — этого нет, — откровенно объяснила Марья. — Да и какая ему корысть в мужней жене... Хлопот много. Как-то он проезжал через Фотьянку и увидал у вас Наташку. Ну, приехал веселый такой и все про нее расспрашивал: чья да откуда...

— Про Наташку, говоришь? Польстился, значит...

— Не корыстна еще девчонка, а ему любопытно. Востроглазая, говорит... С баушкой-то у него свои дела. Она ему все деньги отвалила и проценты получает...

— Так, так... Ума последнего решилась старуха. Уж я это смекал... Так, своим умом дошел... Ах, пес! Ловко обошел мамыньку... Заграбастал деньги. Пусть насосется хорошенько... Поди, много денег-то у старого черта?

— А кто его знает... Мне не показывает. На ночь очень уж запираться стал: к окнам изнутри сделал железные ставни, дверь двойная и тоже железом окована... Железный сундук под кроватью, так в ем у него деньги-то...

— В сундуке? Так, Марьюшка... А тяжелый сундук-то?

— Да не унести его совсем, потому к полу он привинчен... Я как-то мела в конторе и хотела передвинуть, а сундук точно пришит...

Петр Васильич еще ближе придвинулся к Марье и слушал эти объяснения, затаив дыхание. Когда Марья взглянула на это искаженное конвульсивной улыбкой лицо, то даже отодвинулась от страха.

— Петр Васильич...

— А што?..

— Нет, к чему ты выспрашиваешь-то? Да ты в уме ли? Христос с тобой...

Петр Васильич опомнился и отвернулся. У него стучали зубы от охватившей его лихорадки. Марья схватила его за руку — рука была холодная, как лед.

— Ключик добудь, Марьюшка... — шептал Петр Васильич. — Вызнай, высмотри, куда он его прячет... С собой носит? Ну, это еще лучше... Хитер старый пес. А денег у него неочерпаемо... Мне в городу сказывали,

Марьюшка. Полтора пуда уж сдал он золота-то, а ведь это тридцать тысяч голеньких денежек. Некуда ему их девать. Выждать, когда у него большая получка будет, и накрыть... Да ты-то чего боишься, дура?

— Ах, страшно... уйди...

— Одинова страшно-то, а там на всю жисть богачество... Живи себе барыней. Только твоей и работы: ключик от сундука подглядеть.

Побелевшая Марья отчаянно замахала обеими руками. Петр Васильич посмотрел на нее с ненавистью и прошипел:

— Не хочешь, так Наташку приспособим... Девчонка вострая, а старичку это и любопытно.

В ночь Петр Васильич ушел с Богоданки, а Марья осталась, как ошпаренная. Даже муж заметил, что с бабой творится что-то неладное.

— Неможется што-то, — коротко объяснила она.

VII

— Когда же ты помрешь, Дарья? — серьезно спрашивал Ермолай свою супругу. — Этак я с тобой всех невест пропущу... У Зыковых было две невесты, а теперь ни одной не осталось. Феня с пути сбилась, Марья замуж выскочила. Докуда я ждать-то буду?..

— А Наташка? — виновато отвечала Дарья. — Может, к осени господь меня приберет, а Наташка к этому времени как раз заневестится...

— Опять омманешь, лахудра!.. — ругался Ермошка, приходя в отчаяние от живучести Дарьи. — Ведь в чем душа держится, а все скрипишь... Пожалуй, еще меня переживешь этак-то.

— Помру, Ермолай Семеныч. Потерпи до осени-то.

С горя Ермошка запивал несколько раз и бил безответную Дарью чем попало. Ледащая бабенка замертво лежала по нескольку дней, а потом опять поднималась.

— Не по тому месту бьешь, Ермолай Семеныч, — жаловалась она. — Ты бы в самую кость норовил... Ох,

в чужой век живу! А то страви чем ни на есть... Вон Кожин как жену свою изводит: одна страсть.

— Дурак он, Кожин-то: еще наотвечается потом...

Нет такого положения, хуже которого не было бы. Так было и здесь. Плохо жилось Дарье. Она давно записалась в живые покойники, а у Кожиных было хуже. Кожин совсем озверел и на глазах у всех изводил жену. В мороз он выгонял ее во двор босую, гонялся за ней с ножом, бил до беспамятства и вообще проделывал те зверства, на какие способен очертевший русский человек. Знали об этом все соседи, женина родня, вся Тайбола, и ни одна душа не заступилась еще за несчастную бабу, потому что между мужем и женой один бог судья. Бабенка попалась молоденькая и совершенно безответная. Такую выбрала сама мамынька Маремьяна, желавшая оставаться в дому полной хозяйкой. Даже беременность не спасла эту несчастную, и Кожин бил ее еще сильнее, вымещая свое неизбывное горе. Ведь не могла затяжелеть Феня, — тогда бы все другое вышло. Мамынька Маремьяна пробовала заступаться за невестку, но из этого ничего не вышло.

— Твоя работа: гляди и казнись! — кричал Кожин, накидываясь на жену с новой яростью. — Убью подлюгу... Видеть ее не могу.

В раскольничьем мире нравы не отличаются мягкостью, но все домашние дела покрывались чисто раскольничьим молчанием, из принципа — не выносить сора из дому.

Дошли слухи о зверстве Кожина до Фени и ужасно ее огорчали. В первую минуту она сама хотела к нему ехать и усовестить, но сама была «на тех порах» и стыдилась показаться на улицу. Ее вывел из затруднения Мыльников, который теперь завертывал пожаловаться на свою судьбу.

— Тарас, хоть бы ты усовестил Акинфия Назарыча...

— Могу соответствовать, Фенюшка... Ах, какой грех, подумаешь!

— Ты ему так и скажи, что я его прошу... А то пусть сам завернет ко мне, когда Степана Романыча не будет дома. Может, меня послушает...

— Нет, это не модель, Фенюшка. Тот же Ганька переплеснет все Степану Романычу... Негожее это дело. А я в лучшем виде все оборудую... Я его напугаю, Акинфия-то Назарыча.

— Да ты поскорее, Тарас... Долго ли до греха: убьет еще Акинфий-то Назарыч жену...

Для большего поощрения Феня сунула Тарасу немного денег.

— Живой рукой слетаю, Федосья Родивоновна. Я его сокращу, Акинфия Назарыча... Со мной, брат, короткие разговоры.

Действительно, Мыльников сейчас же отправился в Тайболу. Кстати, его подвез знакомый старатель, ехавший в город. Ворота у кожинского дома были на запоре, как всегда. Тарас «помолитвовался» под окошком. В окне мелькнуло чье-то лицо и сейчас же скрылось.

— Да это я! — кричал Мыльников, влезая на завалинку и заглядывая в окно. — Не узнали, што ли?.. Баушка Маремьяна... а?..

Наконец, показался сам Кожин. Он, видимо, был чем-то смущен и неохотно отворил окно.

— Чего лезешь-то? — неприветливо спросил он.

— А дело есть, от того самого и лезу...

— Врешь!

— Вот сейчас провалиться...

— Ну, иди...

Кожин сам отворил ворота и провел гостя не в избу, а в огород, где под березой, на самом берегу озера, устроена была небольшая беседка. Мыльников даже обомлел, когда Кожин без всяких разговоров вытащил из кармана бутылку с водкой. Вот это называется ударить человека прямо между глаз... Да и место очень уж было хорошее. Берег спускался крутым откосом, а за ним расстилалось озеро, горевшее на солнце, как расплавленное. У самой воды стояла каменная кожевня, в которой летом работы было совсем мало.

— Ах, какое приятное место! — восхищался Мыльников. — Только водку пить на таком месте...

— Какое дело-то? Опять золотом обманывать хочешь?

— Нет, брат, с золотом шабаш!.. Достаточно... Да потом я тебе што скажу, Акинфий Назарыч: дураки мы... да. Золото у нас под рылом, а мы его по лесу разыскиваем... Вот давай ударим ширп у тебя в огороде, вон там, где гряды с капустой. Ей-богу... Кругом золото у вас, как я погляжу.

Они выпивали и болтали о разных разностях. Мыльников рассказал о Кишкине, как тот «распыхался» на своей Богоданке, о старательских работах, о том, как Петр Васильич скупает золото, о пропавшем без вести Матюшке и т. д. Кожин больше молчал, прислушиваясь к глухим стонам, доносившимся откуда-то со стороны избы. Когда Мыльников насторожился в этом направлении, он равнодушно заметил:

— Собака у меня, надо полагать, сбесилась... Ужо пристрелить надо стерву.

Когда Кожин ушел в избу за второй бутылкой, Мыльников не утерпел и побежал посмотреть, что делается в подклети, устроенной под задней избой. Заглянув в небольшое оконце, он даже отшатнулся: ему показалось, что у стены привязан был ремнями мертвец... Это была несчастная жена Кожина, третьи сутки стоявшая у стены в самом неудобном положении, — она не могла выпрямиться и висела на руках, притянутых ремнями к стене. Мыльников перепугался до того, что весь хмель у него вышибло из головы, когда вернулся Кожин. Что было делать? Первая мысль — сейчас бежать и заявить в волости. Нельзя же так тиранить живого человека. Эти кержаки расстервенятся, так кожу готовы снять с живого человека. Но, с другой стороны, ведь вся Тайбола знает, что Кожин изводит жену насмерть, и волостные знают и вся родня, а его дело сторона. Еще по судам учнут таскать... Да и дело совсем чужое, никого не касаемое. Убьет жену Кожин — сам и ответит, а пока жена в живности — никого это не касаемо, потому муж, хоша и сводный.

Так Мыльников ничего и не сказал Кожину, движимый своей мужицкой политикой, а о поручении Фени

припомнил только по своем возвращении в Балчуговский завод, то есть прямо в кабак Ермошки. Здесь пьяный он разболтал все, что видел своими глазами. Первым вступился, к общему удивлению, Ермошка. Он поднял настоящий скандал.

— Да разве это можно живого человека так увечить?! — орал он на весь кабак, размахивая руками. — Кержаки — так кержаки и есть... А закон и на них найдем!..

Весь кабак был на его стороне. Много помогал темный антагонизм православного населения к раскольникам, который окрасился сейчас вполне определенными чувствами. В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно-хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка.

— Нет, братцы, так нельзя! — выкрикивал он своим хриплым кабацким голосом. — Душа ведь в человеке, а они ремнями к стене... За это, брат, по головке не погладят.

— Своими глазами видел... — бормотал Мыльников, не ожидавший такого действия своих слов. — Я думал, мертвяк, и даже отшатился, а это она, значит, жена Кожина распята... Так на руках и висит.

— Прямо к прокурору надо объявить, потому самое уголовное дело, — заявлял Ермошка тоном сведущего человека. — Учить жену учи, а это уж другое...

— Да мы сами пойдем и разнесем по бревнышку все кержацкое гнездо! — кричали голоса. — Православные так не сделают никогда... Случалось, и убивали баб, а только не распинали живьем.

— Нет, погодите, братцы, я сам оборудую... — решил Ермошка.

Первым делом он пошел посоветоваться с Дарьей: особенное дело выходило совсем, Дарья даже расплакалась, напутствуя Ермошку на подвиг. Чтобы не потерять времени и не делать лишней огласки, Ермошка

полетел в город верхом на своем иноходце. Он проникся необыкновенной энергией и поднял на ноги и прокурорскую власть, и жандармерию, и исправника.

— Застанем либо нет ее в живых! — повторял он в ажитации. — Христианская душа, ваше высокоблагородие... Конечно, все мы, мужики, в зверстве себя не помним, а только и закон есть.

В Тайболу начальство нагрянуло к вечеру. Когда подъезжали к самому селению, Ермошка вдруг струсил: сам он ничего не видал, а поверил на слово пьяному Мыльникову. Тому с пьяных глаз могло и померещиться незнамо что... Однако эти сомнения сейчас же разрешились, когда был произведен осмотр кожинского дома. Сам хозяин спал пьяный в сарае. Старуха долго не отворяла и бросилась в подклеть развязывать сноху, но ее тут и накрыли.

Картина была ужасная. И прокурорский надзор и полиция видали всякие виды, а тут все отступили в ужасе. Несчастная женщина, провисевшая в ремнях трое суток, находилась в полусознательном состоянии и ничего не могла отвечать. Ее прямо отправили в городскую больницу. Кожин присутствовал при всем и оставался безучастным.

— Будет тебе два неполных!.. — заметил ему Ермошка. — Еще бы венчанная жена была, так другое дело, а над сводной зверство свое оказывать не полагается.

Кожин только посмотрел на него остановившимися страшными глазами и улыбнулся. У него по странной ассоциации идей мелькнула в голове мысль, почему он не убил Карачунского, когда встретил его ночью на дороге, — все равно бы отвечать-то. Произошла раздирательная сцена, когда Кожина повезли в город для предварительного заключения. Старуху Маремьяну едва оттащили от него.

— Оставь, мамынька... — сухо заметил Кожин, а потом у него дрогнуло лицо, и он снопом повалился матери в ноги. — Родимая, прости!

— Голубчик... кормилец... — завывала старуха в исступлении.

— Надо бы и ее, ваше высокоблагородие, старушонку эту самую... — советовал Ермошка. — Самая вредная женщина есть... От нее все...

Когда Кожин сел в телегу, то отыскал глазами в толпе Ермошку и сказал:

— Скажи поклончик Фене, Ермолай Семеныч... А тебя бог простит. Я не сердитую на тебя...

В толпе показался Мыльников, который нарочно пришел из Балчуговского завода пешком, чтобы посмотреть, как будет все дело. Обратно он ехал вместе с Ермошкой.

— На каторгу обсудят Акинфия Назарыча? — приставал он к Ермошке.

— А это видно будет... На голосах будут судить с присяжными, а это легкий суд, ежели жена выздоровеет. Кабы она померла, ну, тогда крышка... Живучи эти бабы, как кошки. Главное, невенчанная жена-то — вот за это за самое не похвалят.

— И венчанных-то тоже не полагается увечить... — усомнился Мыльников.

— Про венчанную так и говорится: мужняя, а эта ничья. Все одно, как пригульная скотина... Я, брат, эти все законы наскрозь произошел, потому в кабаке без закону невозможно.

— Уж это известное дело...

По дороге Мыльников завернул в господский дом, чтобы передать Фене обо всем случившемся.

— Управился я с Акинфием Назарычем, — хвастался он. — Обернул его прямо на каторгу, вольное поселение... Теперь шабаш!..

Феня тихо крикнула и едва удержалась на ногах. Она утащила Мыльникова к себе в комнату и заставила рассказать все несколько раз. Господи, да что же это такое? Неужели Акинфий Назарыч мог дойти до такого зверства?..

— Как посадили его на телегу, сейчас он снял шапку и на четыре стороны поклонился, — рассказывал Мыльников. — Тоже знает порядок... Ну, меня увидал и крикнул: «Федосье Родивоновне скажи поклончик!» Так, помутился он разумом... не от ума...

Это происшествие совершенно разбило Феню, так что она слегла в постель, а ночью выкинула мертвого ребенка. Карачунский чувствовал себя тоже ошеломленным, точно над его головой разразился неожиданно удар грома. У него точно что порвалось в душе, та больная ниточка, которая привязывала его к жизни. Больная Феня казалась совсем другой — лицо побледнело, вытянулось, глаза округлились, нос заострился. Она не жаловалась, не стонала, не плакала, а только смотрела своими большими глазами, как смертельно раненная птица. Карачунскому было и совестно и больно за эту молодую, неудовлетворенную жизнь, которую он не мог ни согреть, ни успокоить ответным взглядом.

— Я *его* больше не люблю... — прошептала Феня в одну из таких молчаливых сцен.

— Девочка, милая...

— А все-таки, Степан Романыч, лучше бы мне умереть...

— Жить еще будем, Феня.

У кабатчика Ермошки происходили разговоры другого характера. Гуманный порыв соскочил с него так же быстро, как и налетел. Хорошие и жалобные слова, как «совесть», «христианская душа», «живой человек», уже не имели смысла, и обычная холодная жестокость вступила в свои права. Ермошке даже как будто было совестно за свой подвиг, и он старательно избегал всяких разговоров о Кожине. Прежде всего начал вышучивать Ястребов, который нарочно заехал посмеяться над Ермошкой.

— С чего ты это сунулся в чужое дело? — приставал Ястребов. — Этак ты и на меня побежишь жаловаться?..

— Стих такой накатился, Никита Яковлич... Обидно стало, что живого человека тиранят.

— Да ты-то разе прокурор?.. Ах, Ермолай, Ермолай... Дыра у тебя, видно, где-нибудь есть в башке, не иначе я это самое дело понимаю. Теперь в свидетели потащат... ха-ха!.. Сестра милосердная ты, Ермошка...

Естественным результатом всей этой истории было то, что Дарья получила науку хуже прежнего. Разозленный Ермошка вымещал теперь на ней свое унижение.

— Скоро ли ты издохнешь, змея подколодная? — рычал он, пиная Дарью тяжелым сапогом. — Убить тебя мало...

Что возмущало Ермошку больше всего, так это то, что Дарья переносила все побои как деревянная, — не пикнет.

VIII

Кедровская дача нынешнее лето из конца в конец кипела промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой. Все это были разведки, а настоящих работ поставлено было пока сравнительно немного. Одни места оказались не стоящими разработки по малому содержанию золота, другие не были еще отведены в полной форме, как того требовал горный устав. Работало десятка три приисков, из которых одна Богоданка прославилась своим богатством.

Женившийся Матюшка вместе со своей молодайкой исходил всю дачу, присматриваясь к местам. Заявлять свой прииск он не хотел, потому что много хлопот с такими заявками, да и ждать приходилось, пока сделают отвод. Это Кишкину было хорошо, когда своя рука в горном правлении, а мужик жди да подожди. Вместе с Матюшкой ходили старый Турка, Яша Малый и Прокопий. Они артелью кое-где брали старательские делянки на приисках у Ястребова, работали неделю или две, а потом бросали все и уходили. Всех тянуло разыскать настоящее место вроде Богоданки. Можно было купить уже готовый прииск у мелких золотопромышленников или взять в аренду.

— Только бы поманило малость, — повторял Матюшка с деловым видом. — Обыщем золото...

Матюшке, впрочем, было с полгоря прохлаждаться, потому что все знали, какие у него деньги запрятаны

в кожаном кисете, висевшем на шее. Положим, он своих денег никому не показывал, но все знали досконально, что Петр Васильич отсчитал четыре сотенных билета за выкраденное Оксей золото. Плохо приходилось Яше Малому и Прокопию, но они крепились: сыты, и то хорошо. Огорчала их носившаяся быстро на работе одежда и обувь, но ведь все это было только пока, временно, а найдется золото, тогда сразу все поправятся. Мыльников так и не заплатил им.

— Простому рабочему везде плохо: што у канпании нашей работать, што у золотопромышленников... — жаловался иногда Яша Малый, когда оставался с зятем Прокопием с глазу на глаз. — На што Мыльников, и тот вон как обул нас на обе ноги.

Прокопий, по обыкновению, молчал. Ему нравилась эта бродячая жизнь, если бы не заботила своя семья. Целые ночи он продумывал о жене Анне и своих ребятишках: что-то они там, как живут, как перебиваются?.. Иногда его брало такое горе, хоть петлю на шею, так в ту же пору. И зачем он ушел тогда с фабрики, — жил бы теперь в тепле, в сухе и без заботы. Но это раздумье разлеталось вместе с ночным сумраком... Разве один он так-то волком бродит по лесу?.. Тысячи рабочих бьются на промыслах, и у всех одно положенье. Стоило вообще мужику или бабе один раз попасть в промысловое колесо, как он сразу делался обреченным человеком.

— Ты, Оксюха, уж постарайся для нас-то, — шутили часто рабочие над своей молодайкой. — Родителю приспособила жилку, ну и нам какое-нибудь гнездышко укажи.

Окся была счастлива коротким бабьим счастьем и даже как будто похорошела. Не стало в ней прежней дикости, да и одевалась она теперь лучше, главным образом потому, чтобы не срамить мужа.

Матюшка часто с удивлением смотрел на нее и только качал своей кудрявой головой. Вот уж поистине от судьбы не уйдешь, — какие девки заглядывались на него, а женился на Оксе. Впрочем, на мужицкий промысловый аршин Окся была настоящая приисковая баба, лучше которой и не придумать: она

обшивала всю артель, варила варево, да впридачу еще работала за мужика. И мужики любили ее, хоть и вышучивали при случае. Работящая баба, настоящая двужильная лошадь, да и здоровье такое, что мужику впору. Яша Малый и Прокопий даже ухаживали за Оксей, которая придавала их промысловому скитанью почти семейный характер, да кроме всего этого и человек-то свой. По вечерам около огонька шли такие хорошие домашние разговоры, центром которых всегда была Окся.

— Корову бы нам, Оксюха, — мечтал Яша. — Корму в лесу сколько угодно... Ловко бы?.. Водили бы ее за собой с прииска на прииск, как цыгане...

— И лучше бы не надо... — соглашалась Окся авторитетным тоном настоящей бабы-хозяйки. — С молоком бы были, а то всухомятку надоело...

Окся с собой таскала целый ворох каких-то тряпиц и всю походную кухню. Мужики ругались, когда приходилось перетаскивать с прииска на прииск этот скарб, но зато на стоянках было все свое — и чашки, и ложки, и даже что-то вроде подушек. По праздникам Окся клала бесчисленные заплаты на обносившуюся промысловую одежду и в свою очередь ругала мужиков, не умевших иглы взять в руки. А главное, Окся умела починивать обувь и одним этим ремеслом смело могла бы существовать на промыслах, где обувь — самое дорогое для рабочего, вынужденного работать в грязи и по колена в воде. Все другие рабочие завидовали талантам Окси и не могли ею нахвалиться, так что Матюшка только удивлялся, какой клад, а не баба ему досталась.

— Одного нам теперь недостает, Оксюха, — шутили мужики, — разродись ты нам мальчонкой или девчонкой... Вполне бы с хозяйством были.

Деньги Матюшки, как он ни крепился, уплывали да уплывали, потому что за все и про все приходилось расплачиваться за всю артель ему. Старательского своего заработка едва хватало на прокорм, а там постоянные прогулы, потому что Матюшке не сиделось подолгу на одном месте. Поработает артель неделю-другую на прииске, а его и потянет куда-нибудь в

другое место, про которое наскажут с три короба. Очень уж много таких слухов ходило... Таким образом Матюшка присмотрел местечка три подходящих, которые можно было бы арендовать, но все еще не решался, на котором из них остановиться. В одном просили за прииск прямо сто рублей, в другом отдавали «из половины», то есть половину чистой прибыли хозяину, в третьем — продавали прииск совсем. Денег у Матюшки оставалось всего рублей триста, и он боялся ими рискнуть. Одним из главных препятствий было еще и то, что в артели никого не было грамотных, а на своем прииске надо было и книги вести и бумагу прочитать.

Все эти сомнения разрешились совершенно неожиданно. Раз вечером появился нежданно-негаданно Петр Васильич. Он с собой привел лакея Ганьку, которому Карачунский отказал.

— Давно не видались, а как будто и не соскучились, — проговорил неприветливо Матюшка, не любивший хитрого мужика.

— Ах, Матюша, разе мы чужие?.. — ответил Петр Васильич и даже ударил себя в грудь кулаком. — А я-то вас разыскивал по всем промыслам...

Петр Васильич принес с собой целый ворох всевозможных новостей: о том, как сменили Карачунского и отдали под суд, о Кожине, сидевшем в остроге, о Мыльникове, который сейчас ищет золото в огороде у Кожина, о Фене, выкинувшей ребенка, о новом главном управляющем Оникове, который грозится прикрыть Рублиху, о Ермошке, как он гонял в город к прокурору.

— Вот, Оксинька, какие дела на белом свете делаются, — заключил свои рассказы Петр Васильич, хлопая молодайку по плечу. — А ежели разобрать, так ты поумнее других протчиих народов себя оказала... И ловкую штуку уколола!.. Ха-ха... У дедушки, у Родиона Потапыча, жилку прятала?.. У родителя стянешь да к дедушке?.. Никто и не подумает... Верно!.. Уж так-то ловко... Родитель-то и сейчас волосы на себе рвет. Ну, да ему все равно не пошла бы впрок и твоя жилка. Все по кабакам бы растащил...

К общему удивлению, Окся заступилась за отца и обругала Петра Васильича. Не его дело соваться в чужие дела. Знал бы свои весы, пока в тюрьму вместе с Кожиным не посадили. Хорошее ремесло тоже выискал.

— Ай да Окся, молодца!.. — хвалили ее рабочие, поднимая на смех смутившегося Петра Васильича. — Носи, не потеряй да другим не сказывай... Хорошенько его, Оксенька, оборотня!

— Ты чего в самом-то деле к бабе привязался, сера горючая? — накинулся Матюшка на гостя. — Иди своей дорогой, пока кости целы...

— Да вы, черти, белены объелись? — изумлялся Петр Васильич. — Я к вам, подлецам, с добром, а они на дыбы... На кого ощерились-то, галманы?.. А ты, Матюшка, не больно храпай... Будет богатого из себя показывать. Побогаче тебя найдутся... А што касаемо Окси, так к слову сказано. Право, черти... Озверели в лесу-то.

Мужики без малого не подрались, если бы не вступилась за Петра Васильича Окся.

— Будет вам вздорить-то!.. Чему обрадовались? Может, и в самом деле мужик-то с делом пришел...

Во всей этой истории не принимал участия один Ганька, чувствовавший себя как дворовая собака, попавшая в волчью стаю. Загорелые и оборванные старатели походили на настоящих разбойников и почти не глядели на него. Петр Васильич несколько раз ободрял его, подмигивая своим единственным оком. Когда волнение улеглось, Петр Васильич отвел Матюшку в сторону и заговорил:

— Жаль мне вас, Матвей, что вы задарма по промыслам бродите... Ей-богу!.. А дело-то под носом... Мне все одно, а я так жалеючи говорю. У Кишкина пустует Сиротка-то: вот бы ее взять? Верно тебе говорю...

— Да ведь она пустая, Сиротка-то? — возражал Матюшка.

— Была пустая, когда Кишкин работал... А чем она хуже Богоданки?.. Одна Мутяшка-то, а Кишкин только чуть ковырнул. Да и тебе ближе знать это самое дело. Места нетронутого еще много осталось...

— Да ты-то о чем хлопочешь, кривой черт?..

— Ах, какой ты несообразный человек, Матюшка!.. Ничего-то ты не понимаешь... Будет золото на Сиротке, уж поверь мне. На Ягодном-то у Ястребова не лучше пески, а два пуда сдал в прошлом году.

— Ты вот куда метнул... Ну, это, брат, статья неподходящая. Мы своим горбом золото-то добываем... А за такие дела еще в Сибирь сошлют.

— А Ганька на што? Он грамотный и все разнесет по книгам... Мне уж надоело на Ястребова работать: он на моей шкуре выезжает. Будет, насосался... А Кишкин задарма отдает сейчас Сиротку, потому как она ему совсем не к рукам. Понял?.. Лучше всего в аренду взять. Платить ему двугривенный с золотника. На оборот денег добудем, и все как по маслу пойдет. Уж я вот как теперь все это дело знаю: наскрозь его прошел. Вся Кедровская дача у меня как на ладонке...

Петр Васильич по пальцам начал вычислять, сколько получили бы они прибыли и как все это легко сделать, только был бы свой прииск, на который можно бы разнести золото в приисковую книгу. У Матюшки даже голова закружилась от этих разговоров, и он смотрел на змея-искусителя осовелыми глазами.

— Я тебе скажу пряменько, Матвей, што мы и Кедровскую дачу не тронем; ни одной порошины золота не возьмем... Будет с нас Балчуговского. Вон Они">ков-то как поступил, и сейчас старателям плату сбавил... А ведь им тоже пить-есть надо. Ну, и несут мне... Раньше-то я на наличные покупал, а теперь и в долг верят. Только все-таки должóн я все это золото травить Ястребову ни за грош... Понял? А самому мне брать прииск на себя тоже неподходящая статья, потому как слава-то уж про меня идет. Понял теперь, для чего мне тебя-то надо?

Матюшка колебался, почесывая в затылке. Тогда Петр Васильич проговорил совершенно другим тоном:

— Ну, видно, не сойдемся мы с тобой, Матвей... Не пеняй на меня, ежели другого верного человека найду.

Этот маневр произвел надлежащее действие. Матюшка и Петр Васильич ударили по рукам.

— Давно бы так... Только никому, смотри, ни гугу!..

— А я тебе скажу одно: ежели чуть што замечу — башку оторву.

— Да ты и сейчас это показывай, для видимости, будто мы с тобой вздорим. Такая же модель и у меня с Ястребовым налажена... И своя артель штобы ничего не знала. Слово сказал — умер...

«Видимость» устроена была тут же, и Матюшка прогнал Петра Васильича вместе с Ганькой. Старатели надрывались от смеха, глядя, как Петр Васильич улепетывал с прииска.

Через несколько дней Матюшка отправился на Богоданку. Кишкин его встретил очень подозрительно, а когда зашла речь о Сиротке, сразу отмяк.

— Охота Оксины деньги закопать? — пошутил он. — Только для тебя, Матюха, потому как раньше вместе горе-то мыкали... Владей, Фаддей, кривой Натальей. Один уговор: штобы этот кривой черт и носу близко не показывал... понимаешь?..

— Да ведь ты меня знаешь, Андрон Евстратыч, — клялся Матюшка, встряхивая головой. — Я ему ноги повыдергаю...

Сейчас же было заключено условие, и артель Матюшки переселилась на Сиротку через два дня. К ним присоединились лакей Ганька и бывший доводчик на золотопромывальной фабрике, Ераков. Народ так и бежал с компанейских работ: раз — всех тянуло на свой вольный хлеб, а второе — новый главный управляющий очень уж круто принялся заводить свои новые порядки.

— Все уйдут... — рассказывал Ераков. — Пусть чужестранных рабочих наймет. При Карачунском куда было лучше... С понятием был человек.

Ганька благоговел перед Карачунским и уверял всех, что Оников только временно, а потом «опять Степан Романыч наступит». Такого другого человека и не сыскать.

На Сиротке была выстроена новая изба на новом месте, где были поставлены новые работы. Артель точ-

но ожила. Это была своя настоящая работа, — сами большие, сами маленькие. Пока содержание золота было не велико, но все-таки лучше, чем по чужим приискам шляться. Ганька вел приисковую книгу и сразу накинул на себя важность. Матюшка уже два раза уходил на Фотьянку для тайных переговоров с Петром Васильичем, который, по обыкновению, что-то «выкомуривал» и финтил.

Скоро все дело разъяснилось. Петр Васильич набрал у старателей в кредит золота фунтов восемь да прибавил своего около двух фунтов и хотел продать его за настоящую цену помимо Ястребова. Он давно задумал эту операцию, которая дала бы ему прибыли около двух тысяч. Но в городе все скупщики отказались покупать у него это золото, потому что не хотели ссориться с Ястребовым: у них рука руку мыла. Тогда Петр Васильич сунулся к Ермошке.

— Дурак ты, Петр Васильич, — вразумил его кабатчик. — Зазнамый ты ястребовский скупщик, кто же у тебя будет покупать... Ступай лучше с повинной к Никите Яковличу; может, и смилуется...

Раздумался Петр Васильич. Ежели на Сиротку записать, так надо и время выждать и с Матюшкой поделиться. Думал-думал и решил повести дело с Ястребовым начистоту.

— Это не на твои деньги куплено золото-то, так уж ты настоящую цену дай, — торговался вперед Петр Васильич.

— Ладно, разговаривай... По четыре с полтиной дам, — решил Ястребов.

Цена подходящая. Петр Васильич принес мешочек с золотом, передал Ястребову, а тот свесил его и уложил к себе в чемодан.

— Ну, а теперь прощай, — заговорил Ястребов. — Кто умнее Ястребова хочет быть, трех дней не проживет. А ты дурак...

— А деньги?!

Ястребов только засмеялся, погрозил револьвером и вытолкал Петра Васильича в шею из избы. Он не в первый раз проделывал такую штуку.

Результатом этого было то, что Ястребов был арестован в ту же ночь. Произведенным обыском было обнаружено не записанное в книги золото, а таковое считается по закону хищничеством. Это была месть Петра Васильича, который сделал донос. Впрочем, Ястребов судился уже несколько раз и отнесся довольно равнодушно к своему аресту.

— Пожалеете меня, подлецы! — заметил он собравшейся толпе, когда его под конвоем увозили с Фотьянки в город. — Благодетеля своего продали...

Второй крупной новостью было то, что Карачунский застрелился. Он сдал все дела Оникову, сжег какие-то бумаги и пустил пулю в висок. Феню он обеспечил раньше.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Новый главный управляющий Балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая, по пословице, чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было:

— У меня — не у Степана Романыча... Да...

Служащим были убавлены жалованья, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. «Монморанси», конечно, остались попрежнему: реформатор не был им страшен. На фабрике увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и «сокращены» два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На Дернихе вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих. Но главное внимание обращено было на хищничество золота: Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал сплеча все, что попадало под руку.

В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья

на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди не угодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел, где нужно, и не видеть и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово, и, наконец, произнесен был приговор, выражавшийся одним словом:

— Чистоплюй!..

Кто придумал это слово, кто его сказал первый — осталось неизвестным, но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. Чистоплюй — и делу конец. Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости и реформы нового главного управляющего были похоронены под этим одним словом, и больше никто не боялся его и никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно, — это опять черта русского человека, который в массе, в артели, делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен.

Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где попрежнему «руководствовал» один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый штейгер и новый главный управляющий. Предположениям и догадкам не было конца. Все знали, что Оников «терпеть ненавидел» Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это случится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каж-

дый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за тридцатую сажень.

Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из западни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку.

— Ну что, как дела? — спросил он, не глядя на старика.

— Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту, — спокойно ответил старик.

У Оникова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил с деланой мягкостью:

— Мне нужно серьезно поговорить... Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы... Во всяком случае, я думаю расширить работы в этом пункте.

Родион Потапыч опустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова, свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых да ранний выискался... У старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин доконала и Рублиха. Эх, маленько бы обождать — все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня и с улыбкой сказал: «Ну, дедушка, мне три дня осталось жить — торопись!» В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый и уже ничего не спросил, а глазами прочитал свой ответ на лице старого штейгера. Они вместе спустились в последний раз в шахту, обошли работы, и

Карачунский похвалил штольни, прибавив: «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, а через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй... Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку.

— Ну, что же вы молчите? — спросил, наконец, Оников, обиженный равнодушием старого штейгера.

— Што же тут говорить, Александр Иванович: наше дело подневольное... Што прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны: Рублиха себя вполне оправдает...

— Есть хорошие знаки?..

— Будут и знаки...

Одним словом, дело не склеилось, хотя непоколебимая уверенность старого штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит! Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее.

Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же кучер Агафон, а то, да не то... От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми оставались одни глаза, упрямые, сердитые, умные... Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу Рублихи, а когда все устроилось само собой — его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры-времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с «пустяком».

«Нет, брат, я тебя достигну!.. — сердито думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. — Шалишь, не уйдешь».

Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, ежели бы не продала проклятая Рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь...

Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла все одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин и что именно его противную скобленую рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте и не имел ли какого-нибудь разговора с Карачунским.

— Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романыч приехал... — рассказывал кочегар. — Ну, Кишкин сидел уж дивно [1] времени... Сидит, лясы точит, а што к чему — не разберешь. Известный оммморок! Ну, как увидел Степана Романыча и даже как будто из лица выступил... А потом ушел куды-то, да и бежит: «Ох, беда... Степан Романыч порешил себя!..» Он ведь не впервой захаживает, Шишка: то спросит, другое. Все ему надо знать, штобы у себя на Богоданке наладить. Одним словом, омморошной черт.

Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько

---

[1] Дивно — порядочно, достаточно. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

раз «наведывался» на Рублиху, чтобы высмотреть кое-что для себя, но с Карачунским встречаться он совсем не желал, а когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался... Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. «Вот черт несет...» — подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавшийся школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего «пустяка» и долго следил за Карачунским, как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о случившемся.

При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча: «Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж... Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости. Друзей не имел, врагов прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки; от этой записки пахнуло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротень-

кая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по-писаному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе.

— Табак дело...— решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. — Записку-то ты покажи в полицию, а деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, а отдай мне.

Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги.

— Пенцию тебе оставил Степан-то Романыч, дуре, а ты уряднику...

— Отстань, сера горючая...

— Дело тебе говорят. Кабы мне такую уйму деньжищ, да я бы... Первое дело, сгреб бы их, как ястреб, и убежал куды глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скатертью дорога...

Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а «приобщена к делу» только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой: целый день ревела о записке.

— Мне дороже записка-то этих денег, — плакалась Феня. — Поминать бы стала по ней Степана Романыча.

Искреннее всех горевал о Карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала Рублиха... Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого наваждения. Ох, много и хороших и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать.

На Рублиху вечерами завертывали старички с Фотьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и

что. Без меры лютовал чистоплюй, особенно над старателями.

— Умякнет, — отвечал старый штейгер. — Не больно велик в перьях-то.

— Утихомирится?.. Дай бы бог, кабы по твоим-то словам. Затеснил старателев вконец... Так и рвет, так и мечет.

— Утишится!

— Упыхается... Главная причина, што здря все делает. Конечно, вашего брата, хищников, не за што похвалить, а суди на волка — суди и по волку. Все пить-есть хотят, а добыча-то не велика. Удивительное это дело, как я погляжу. Жалились раньше, что работ нет, делянками притесняют, ну, открылась Кедровская дача — кажется, места невпроворот. Так? А все народ беднится, все в лохмотьях ходит...

— Погоди, Родион Потапыч, дай время, поправятся... На Фотьянке народ улучшается на глазах: там изба новая, там ворота, там лошадь... Конешно, много еще малодушия в народе, особливо когда дикая копейка навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь, а народ бедный, необычный, ну, осталось у него двадцать цалковых — он и не знает, што с ними делать. Все равно голодный: дай ему вволю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает... Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам, а тоже дуреют. Как-то Затыкин — он на Генералке прииск заявил — в неделю четыре фунта намыл золота и пошел чертить. Едет из города с деньгами, кучера всю дорогу хересом поит, из левольверта палит. Дня через три едва очувствовался... А уж где же старателю совладать, когда у него сроду четвертной бумажки в руках не бывало!

II

Баушка Лукерья в каких-нибудь два года так состарилась, что ее узнать было нельзя: поседела, сгорбилась и пожелтела, как осенний лист. Живыми остались одни глаза. И Петр Васильич тоже поседел от

заботы и разных треволнений, сделался угрюмым и мало с кем разговаривал. Соседи говорили, что они состарились от денег, которые хлынули дуром. Петр Васильич начал было строить новую избу, но поставил сруб и махнул на него рукой. Его заела какая-то недомашняя дума. Пропадал он по неделям на промыслах, возвращался домой мрачный и непременно приставал к матери:

— Мамынька, а где у тебя деньги... а?.. Скажи, а то, неровен час, помрешь, мы и не найдем опосля тебя...

— Тьфу! Тоже и скажет, — ворчала старуха. — Прежде смерти не умрем... И какие такие мои деньги?..

— А вот те самые, какие Кишкину стравила?..

— Ничего я не знаю...

— Не отдаст он тебе, жила собачья. Вот попомни мое слово... Как он меня срамил-то восетта, мамынька: «Ты, грит, с уздой-то за чужим золотом не ходи...» Ведь это што же такое? Ястребов вон сидит в остроге, так и меня в пристяжки к нему запречь можно эк-ту.

— А ты сколько фунтов Ястребову-то стравил? — язвила баушка Лукерья. — Ловко он тебя тогда обезживотил.

— Мамынька, не поминай... Нож это мне самое дело. Тяжеленько досталось мое-то золото Ястребову, да и мне не легче...

— Дураком ты себя оказал, и больше ничего... Пошутил с тобой тогда Ястребов-то, а ты и его и себя утопил.

— Медведь тоже с кобылой шутил, так одна грива осталась... Большому черту большая и яма, а вот ты Кишкину подражаешь для какой такой модели?.. Пусть только приедет, так я ему ноги повыдергаю. А денег он тебе не отдаст...

— Не твоя печаль... Ты сходи к Ястребову в острог, да и спроси про свои-то капиталы, а о моих деньгах и собаки не лают.

— Ах, мамынька...

— Два года ходил с уздой своей по промыслам, да сразу все и профукал... А еще мужик называешься! Не тебе, видно, мои-то деньги считать...

Эти ядовитые обидные разговоры повторялись при каждой встрече, причем ожесточение обеих сторон доходило до ругани, а раз баушка Лукерья бегала даже в волость жаловаться на непокорного сына. Волостные старички опять призвали Петра Васильича и сделали ему внушение.

— Ты смотри, кривой черт... Тогда на Ястребова лез собакой, а теперь мать донимаешь, изъедуга. Мы тебя выучим, как родителев почитать должон... Будет тебе богатого показывать!..

Петр Васильич сгоряча нагрубил старикам и попал в холодную... Он здесь только опомнился, что опять свалял дурака. Дело было совсем не в том, что он ссорился с матерью, — за это много-много поворчали бы старики. А ему теперь косвенно мстили за Ястребова... Вся Фотьянка знала, из-за кого попал в острог знаменитый скупщик, и кляла Петра Васильича на чем свет стоит, потому что в лице Ястребова все старатели лишились главного покупателя. Смелый был человек и принимал золото со всех сторон, а после него остались скупщики-мелкота: купят золотник и ожигаются. Одним словом, благодетель был Никита Яковлич, всех кормил... Общественное мнение было против Петра Васильича, который из-за своей глупости подвел всех. Зачем отдавал золото Ястребову дуром, кривая собака? Умеючи каждое дело надо делать... Теперь вся Фотьянка бедует из-за кривого черта. Посаженный в холодную, Петр Васильич понял, что попался, как кур во щи, и что старички его достигнут своим волостным средствием. И действительно, старички охулки на руку не положили. Сначала выдержали в холодной три дня, а потом вынесли резолюцию:

— Ты в желетке ноне щеголяешь, Петр Васильич, так мы тебе рукава наладим к желетке-то...

Действительно, Петр Васильич незадолго до катастрофы с Ястребовым купил себе жилетку и щеголял в ней по всей Фотьянке, не обращая внимания на

насмешки. Он сразу понял угрозу старичков и весь побелел от стыда и страха.

— Старички, есть ли на вас крест? — взмолился он. — Ежели пальцем тронете, так всю Фотьянку выжгу.

— А, так ты вот какие слова разговариваешь... Снимай-ка желетку-то, мил-сердечный друг, а рукава мы тебе на обчественный счет приставим. Будешь родителев уважать...

Без дальних разговоров Петра Васильича высекли... Это было до того неожиданно, что несчастный превратился в дикого зверя: рычал, кусался, плакал и все-таки был высечен. Когда экзекуция кончилась, Петр Васильич не хотел подниматься с позорной скамьи и некоторое время лежал как мертвый.

— Перестань дурака-то валять, а ступай да помирись с матерью, — посоветовали старички.

— Куды я теперь пойду? — застонал Петр Васильич.

— А уж это твое дело, милаш...

Петр Васильич сел, посмотрел на своих судей своим единственным оком и заскрежетал зубами от бессильной ярости. Что бы он теперь ни сделал, а бесчестья не поправить...

— Выжгу... зарежу... — бормотал он, сжимая кулаки. — Будете меня помнить, ироды...

— А ты с миром не ссорься, голова. Лучше бы выставил четвертную бутылочку старичкам да поблагодарил за науку.

Первой мыслью, когда Петр Васильич вышел из волости, было броситься в первую шахту, удавиться — до того тошно на душе. Теперь глаз показать никуда нельзя... Худая-то слава везде пробежит. Свои, фотьянские, проходу не дадут. Его взяло такое горе, стыд, отчаяние, что он присел на волостное крылечко и заплакал какими-то ребячьими слезами. Вся жизнь была погублена... Куда теперь идти?.. Что делать?.. А главное, он понимал, что все против него, и волостные старички только выполнили волю «мира». Прохожие останавливались, смотрели на него, качали головами и шли дальше. Несколько раз раздавалось про-

клятое слово «железка», которое приводило Петра Васильича в отчаяние: в нем вылилась тяжелая мужицкая ирония, пригвоздившая его именно этим ничего не значащим словом к позорному столбу. Потом Петр Васильич поднялся и, как говорили очевидцы, погрозил кулаком всей Фотьянке. Домой он не зашел, а его встретили старатели около Маяковой слани.

Вечером этого рокового дня у баушки Лукерьи сидел в гостях Кишкин и удушливо хихикал, потирая руки от удовольствия. Он узнал проездом о науке Петра Васильича и нарочно завернул к старухе.

— Давно бы тебе догадаться, баушка, — повторял Кишкин. — Шелковый будет... хе-хе!.. Ловко налетел с кривого-то глаза. В лучшем виде отполировали...

— А ты-то чему обрадовался? — напустилась на него старуха. — От чужого безвременья тебе лучше не будет...

— А не скупай чужого золота! Вперед наука... Теперь куда денется твой-то Петр Васильич?

— И то, слышь, грозится выжечь всю Фотьянку... Ох, и не рада я, што заварила кашу. Постращать думала, а оно вон што случилось... Жаль мне.

— Да ведь не за тебя его драли-то, а за Ястребова. Не беспокойся... Зуб на него грызли, ну, а он и подвернулся.

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра Васильича, когда Кишкин поднял его на смех. Большой мужик, теперь показаться на людях будет нельзя. Чтобы чем-нибудь досадить Кишкину, она пристала к нему с требованием своих денег.

— Отдай, Андрон Евстратыч... Покорыстовался ты моей простотой, пора и честь знать. Смертный час на носу...

— Тебя жалеючи не отдаю, глупая... У меня сохраннее твои деньги: лежат в железном сундуке за пятью замками. Да... А у тебя еще украдут, или сама потеряешь.

— Ты мне зубов не заговаривай, а подавай деньги.

— А где у тебя расписка?

— На совесть даваны...

— Ха-ха... Тоже и сказала: на совесть. Ступай-ка расскажи, никто тебе не поверит... Разе такие нынче времена?

Когда остервенившаяся старуха пристала с ножом к горлу, Кишкин достал бумажник, отсчитал свой долг и положил деньги на стол.

— Вот твои деньги, коли не понимаешь своей пользы...

— Да ведь я так... У тебя все хи-хи да ха-ха, а мне и полсмеха нет.

— Ко мне же придешь, поклонишься своими деньгами, да я-то не возьму... — бахвалился Кишкин. — Так будут у тебя лежать, а я тебе процент заплатил бы. Не пито, не едено огребала бы с меня денежки.

Баушка бережно взяла деньги, пересчитала их и унесла к себе в заднюю избу, а Кишкин сидел у стола и посмеивался. Когда старуха вернулась, он подал ей десятирублевую ассигнацию.

— Это твой процент, получай...

Руки у старухи дрожали, когда она брала несчитанные деньги, — ей казалось, что Кишкин смеется над ней, как над дурой.

— Бери, баушка, не поминай меня лихом... Найди другого такого-то дурака.

— Да ведь я так, Андрон Евстратыч... по бабьей своей глупости. Петр Васильич уж больно меня сомущал... «Не отдаст, грит, тебе Кишкин денег!»

— Ты ему отдай, так он тебе и спасибо не скажет, Петр-то Васильич, а теперь ему деньги-то в самый раз...

— Старая я стала... глупа...

— Ну, ладно, будет нам с тобой делиться. Посылай-ко помоложе себя, чтобы мне веселее было, а то нагнала тоску... Где Наташка?

— А куды ей деваться?.. Эй, Наташка... А ты вот что, Андрон Евстратыч, не балуй с ней: девчонка еще не в разуме, а ты какие ей слова говоришь. У ней еще ребячье на уме, а у тебя седой волос... Не пригожее дело.

— А у меня характер веселый, баушка... Люблю с молоденькими пошутить.

— Шути с Марьей, коли такая охота напала...

— У Марьи свой шутник есть. Погоди, вот женюсь, возьму богатую купчиху в городе, тогда и остепенюсь.

— В годы еще не вошел жениться-то, — пошутила старуха. — А Наташку оставь: стыдливая она, не то што Марья. Ты и то нынче наряжаешься в том роде, как жених... Форсить начал.

— Недавно на триста рублей всякого платья заказал, — хвастался Кишкин. — Не все оборвышем ходить... Вот часы золотые купил, потом перстень.

— Ох, мотыга, мотыга...

С Кишкиным действительно случилась большая перемена. Первое время своего богатства он ходил в своем старом рваном пальто и ни за что не хотел менять на новое. Знакомые даже стыдили его. А потом вдруг поехал в город и вернулся оттуда щеголем во всем новом, и первым делом к баушке Лукерье.

— Сватать Наташку приехал, — шутил он. — Наташка, пойдешь за меня замуж? Одними пряниками кормить буду...

Наташка, живя на Фотьянке, выровнялась с изумительной быстротой, как растение, поставленное на окно. Она и выросла, и пополнела, и зарумянилась — совсем невеста. А глазами вся в Феню: такие же упрямо-ласковые и спокойно-покорные. Кишкина она терпеть не могла и пряталась от него. Она даже плакала, когда баушка посылала ее прислуживать Кишкину.

— Ну, недотрога-царевна, пойдешь за меня? — повторял Кишкин. — Лучше меня жениха не найдешь... Всего-то я поживу года три, а потом ты богатой вдовой останешься. Все деньги на тебя в духовной запишу... С деньгами-то потом любого да лучшего жениха выбирай.

Девушка только отрицательно качала головой и смотрела на жениха исподлобья. Впрочем, потом она стала смелее и даже потихоньку начала подсмеиваться над смешным стариком. Всего больше Кишкину нравилась Наташкина коса, тяжелая да толстая. У крестьянских девок никогда таких кос не бывает.

Кишкин часто любовался красавицей и начинал говорить глупости, совсем не гармонировавшие с его сединами. В сущности он серьезно влюбился в эту дикарку и думал о ней день и ночь. Эта старческая запоздалая страсть делала его и смешным и жалким. Баушка Лукерья раньше других сметила, в чем дело, и посвоему эксплуатировала стариковское увлечение, подсылая Наташку за подарками. Только Кишкин не любил давать деньги, потому что знал, куда они пойдут, а привозил разные сласти, дешевенькие бусы, лежалого ситцу.

— Ты ей приданое сделай, — советовала старуха. — Сирота не сирота, а в том роде. Помрешь — поминать будет.

— Эх, баушка, баушка... Помереть все помрем, а лиха беда в том, что мысли-то у меня молодые. Пусть меня уважит Наташка, и приданое сделаю... Всего-то в гости ко мне на Богоданку приехать.

— Ишь чего захотел, старый пес... Да за такие слова я тебя и в дом к себе пущать не буду. Охальничать-то не пристало тебе...

— Шутки шучу...

Странные дела творились в дому у баушки Лукерьи. Наташкой она была довольна, но целый ряд недоразумений выходил из-за маленького Петруньки и отца, Яши Малого. Старуха видеть не могла ни того, ни другого, а Наташка убивалась по ним, как большая женщина. Дело кончилось тем, что она перетащила к себе Петруньку и в свободное время пестовала братишку где-нибудь в укромном уголке. Старуха выходила из себя и поедом ела Наташку. Она возненавидела ребенка какой-то слепой ненавистью и преследовала его на каждом шагу. Много слез пролила Наташка из-за этой ненависти и сама возненавидела старуху.

— Объедаете меня... — корила баушка каждым куском. — Не напасешься на вас!.. Жил бы Петрунька у дедушки: старик побогаче нас всех.

— Баушка, да ведь у дедушки и Анна с ребятенками и Татьяна тоже. А мне ничего не надо: только Петрунька бы со мной.

— А ты поразговаривай... Самоё кормят, так говори спасибо. Вон какую рожу наела на чужих-то хлебах...

Петрунька чувствовал себя очень скверно и целые дни прятался от сердитой баушки, как пойманный зверек. Он только и ждал того времени, когда Наташка укладывала его спать с собой. Наташка целый день летала по всему дому стрелой, так что ног под собой не слышала, а тут находила и ласковые слова, и сказку, и какие-то бабьи наговоры, только бы Петрунька не скучал.

— Большим мужиком будешь, тогда меня кормить станешь, — говорила Наташка. — Зубов у меня не будет, ходить я буду с костылем...

— Я старателем буду, как тятька... — говорил Петрунька.

Настоящим праздником для этих заброшенных детей были редкие появления отца. Яша Малый прямо не смел появиться, а тайком пробирался куда-нибудь в огород и здесь выжидал. Наташка точно чувствовала присутствие отца и птицей летела к нему. Тайн между ними не было, и Яша рассказывал про все свои дела, как Наташка про свои.

— Боюсь я, тятенька, этого старичонки Кишкина, — жаловалась Наташка. — Больно нехорошо глядит он... Уставится, инда совестно сделается.

— Наплюнь на него, Наташка... Это он от денег озорничать стал. Погоди, вот мы с Тарасом обыщем золото... Мы сейчас у Кожина в огороде робим. Золото нашли... Вся Тайбола ума решилась, и все кержаки по своим огородам роются, а конторе это обидно. Ооников-то штейгеров своих послал в Тайболу: наша, слышь, дача. Што греха у них, и не расхлебать... До драки дело доходило.

— Это все Тарас... — говорила серьезно Наташка. — Он везде смутьянит. В Тайболе-то и слыхом не слыхать, штобы золотом занимались. Отстать бы и тебе, тятька, от Тараса, потому совсем он пропащий человек... Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребятенками, а сам шатуном шатается.

— И то брошу, — соглашался уныло Яша. — Только чуточку бы поправиться...

III

Петр Васильич прошел прямо на Сиротку. Там еще ничего не знали о его позоре, и он мог хоть отдохнуть, чтобы опомниться и очувствоваться. Он был своим человеком здесь, и никто не обращал внимания на его таинственные исчезновения и неожиданные появления. После истории с Ястребовым он вообще сделался рассеянным и разговаривал только с Матюшкой. Добравшись до прииска, Петр Васильич залег в землянку, да и не вылезал из нее целых два дня. Чего только он ни передумал, а выходило все скверно, как ни поверни. Ясно было только одно: на Фотьянке ему больше не жить. Мальчишки задразнят: драный! драный!.. И перед своими тоже совестно. Нужно было уходить куда глаза глядят. Мало ли золотых промыслов на севере, на Южном Урале, в «оренбургских казаках» — везде с уздой можно походить. Эта мысль засела у него гвоздем, и Петр Васильич лежал и думал:

«Ах, и жаль только свое родное место бросать, насиженное...»

— Да ты что лежишь-то? — спросил, наконец, Матюшка. — Аль неможется?..

— Весь немогу... — глухо отвечал Петр Васильич.

О своих планах и намерениях он, конечно, не желал говорить никому, а всех меньше Матюшке.

На Сиротке догадывались, что с Петром Васильичем опять что-то вышло, и решили, что или он попался с краденым золотом, или его вздули старатели за провес. С такими-то делами все равно головы не сносить. Впрочем, Матюшке было не до мудреного гостя: дела на Сиротке шли хуже и хуже, а Оксины деньги таяли в кармане, как снег...

Главной ошибкой было то, что Матюшка не довольствовался малым и затрачивал деньги на разведки. Ведь один раз найти золото-то, так думают все, и так же думал Матюшка. Он сильно похудел от забот и неудач, а главное, от зависти: каких-нибудь десять верст податься по Мутяшке до Богоданки, а там золото так и валит. В хорошую погоду ясно можно было слышать свисток паровой машины, работавшей на Бо-

годанке, и Матюшка каждый раз вздрагивал. Да, там богатство, а здесь разорение, нищета... Петр Васильич тогда подтолкнул взять Сиротку, теперь с ней и не расхлебаешься. Бывший лакей Ганька, «подводивший» приисковые книги, еще больше расстраивал Матюшку разными наговорами — там богатое золото объявилось, в другом месте еще богаче, а в третьем уж прямо «фунтит», то есть со ста пудов песку дает по фунту золота. Положим, такого дикого золота еще никто не видал, но чем нелепее слух, тем охотнее ему верят в таком азартном и рискованном деле, как промысловое.

— И чего ты привязался к Мутяшке, — наговаривал Ганька. — Вон по Свистунье, сказывают, какое золото, по Суходойке тоже... На одну смывку с вашгерда по десяти золотников собирают. Это на Свистунье, а на Суходойке опять самородки... Ледянка тоже в славу входит...

— Везде золота много, только домой не носят. Супротив Богоданки все протчие места наплевать... Тем и живут, што друг у дружки золото воруют.

Между прочим Петр Васильич заманил на Сиротку и тем, что здесь удобно было скупать всякое золото — и с Богоданки и компанейское. Но и это не выгорело, потому что Петр Васильич влетел в историю с Ястребовым и остался без гроша денег, а на скупку нужны наличные. До поры до времени Матюшка ничего не говорил Петру Васильичу, принимая во внимание его злоключение, а теперь хотел все выяснить, потому что денег оставалось совсем мало. Рассчитывать рабочих приходилось в обрез. Хорошо, что свой брат, — потерпят, если и «недостача» случится. Даже даром будут робить, ежели в пай принять. Все промысловые на одну колодку: ничего не жаль.

Выждав время, когда никого не было около избушки, Матюшка приступил к Петру Васильичу с серьезным разговором.

— Нету денег-то, Петр Васильич... — начал Матюшка издали.

— Ненастье перед вёдром бывает.

— Людей рассчитывать нечем. Кабы ты тогда не

захвалился, так я ни в жисть бы не стал робить на Сиротке...

— За волосы тебя никто не тащил! Свои глаза были... Да ты што пристал-то ко мне, смола? Своего ума к чужой коже не пришьешь... Кабы у тебя ум... што я тебе наказывал-то, оболтусу? Сам знаешь, што мне на Богоданку дорога заказана...

Матюшка привык слышать, как ругается Петр Васильич, и не обратил никакого внимания на его слова, а только подсел ближе и рассказал подробно о своих подходах.

— Захаживал я не одинова на Богоданку-то, Петр Васильич... Заделье прикину, да и заверну. Ну, конечно, к Марье — тоже не чужая, значит, мне будет, тетка Оксе-то.

— Вся сила в Марье...

— Дура она, вот што надо сказать! Имела и силу над Кишкиным, да толку не хватило... Известно, баба-дура. Старичонка-то подсыпался к ней и так и этак, а она тут себя и оказала дурой вполне. Ну, много ли старику нужно? Одно любопытство осталось, а вреда никакого... Так нет, Марья сейчас на дыбы: да у меня муж, да я в законе, а не какая-нибудь приисковая гулеванка.

— Да уж речистая баба: точно стреляет словами-то. Только и ты, Матюшка, дурак, ежели разобрать: Марья свое толмит, а ты ей свое. Этакому мужику да не обломать бабенки?.. Семеныч-то у машины ходит, а ты ходил бы около Марьи... Поломается для порядку, а потом вся чужая и сделается: известная бабья вера.

— Было и это... — сумрачно ответил Матюшка, а потом рассмеялся. — Моя-то Оксюха ведь учуяла, што я около Марьи обихаживаю, и тоже на дыбы. Да ведь какую прыть оказала: чуть-чуть не зашибла меня. Вот как расстервенилась, окаянная!.. Ну, я ее поучил малым делом, а она ночью-то на Богоданку как стрелит, да прямо к Семенычу... Тот на дыбы, Марью сейчас избил, а меня пообещал застрелить, как только я нос покажу на Богоданку.

— Ну, теперь твоя вся Марья, — решил Петр Васильич. — Тоже умеючи надо и баб учить. Марья-то со злости што хошь сделает.

— И то сделает... Подсылала уж ко мне, — тихо проговорил Матюшка, оглядываясь. — А только мне-то она, Марья-то, совсем не надобна, окромя того, штобы вызнать, где ключи прячет Шишка... Кажный день, слышь, на новом месте. Потом Марья же сказывала мне, што он теперь зачастил больше к баушке Лукерье и Наташку сватает.

— Так, дурит... Комариное-то сало разыгралось.

— Марья и говорит, что иначе нельзя, как через Наташку...

После короткой паузы Матюшка опять засмеялся и прибавил:

— Окся ужо до тебя доберется, Петр Васильич... Она и то обещается рассчитаться с тобой мелкими. «Это, грит, он, кривой черт, настроил тебя»... То-то дура... Я и боялся к тебе подойти все время: пожалуй, как раз вцепится... Ей бы только в башку попало. Тебя да Марью хочет руками задавить.

Дальше разговор пошел уже совсем шепотом. Матюшка сидел, опустив в раздумье свою кудрявую голову, а Петр Васильич говорил:

— Чего ждать-то?.. Все одно пропадать... а старичонке много ли надо: двинул одинова, и не дыхнет...

Голова Матюшки сделала отрицательное движение, а его могучее громадное тело отодвинулось от змея-искусителя. Землянка почти зашевелилась. «Ну нет, брат, я на это не согласен», — без слов ответила голова Матюшки новым, еще более энергичным движением. Петр Васильич тяжело дышал. Он сейчас ненавидел этого дурака Матюшку всей душой. Так бы и ударил его по пустой башке чем попадя...

— Эй, кто жив человек в землянке? — послышался веселый голос.

Петр Васильич вздрогнул, узнав по голосу Мыльникова. Матюшка отскочил от него и сделал вид, что поправляет каменку. А Мыльников был не один: с ним рядом стоял Ганька.

— Здесь... — шептал Ганька, показывая головой на землянку. — Третий день пластом лежит.

Ганька только что узнал от Мыльникова пикантную новость и сгорал от нетерпения видеть своими

глазами *драного* Петра Васильича. Это было жадное лакейское любопытство. Мыльников тоже был счастлив, что первым принес на Сиротку любопытную весточку.

— Кого там черт принес? — отозвался Матюшка с деланой грубостью.

— Так богоданных родителев принимают? — обиделся Мыльников, просовывая свою голову в дверь. — В гости пришел, зятек...

— Милости просим... Проходите почаще мимо-то, тестюшка...

Мыльников уставился на Петра Васильича, который лежал неподвижно на нарах.

— Чего ощерился, как свинья на мерзлую кочку? — предупредил его Петр Васильич с глухой злобой. — Я самый и есть... Ты ведь за тридцать верст прибежал, штобы рассказать, как меня в волости драли. Ну, драли! Вот и гляди: я самый... Ты ведь за этим пришел?

Петр Васильич дико захохотал, а голова Мыльникова мгновенно скрылась. Матюшка торопливо вышел из землянки и накинулся на незваного гостя.

— Што тебе здесь понадобилось, Тарас? Уходи добром, пока цел...

— Мне бы Оксю повидать... — бормотал виновато Мыльников. — Больно я по ней соскучился.. Сказывают, брюхатая она.

— Не твое дело... Проваливай. А ты, Ганька, тоже с ним можешь идти, коли глянется.

К общему удивлению, показался Петр Васильич и проговорил:

— Матюшка, не тронь в сам деле Тараса... Его причины тут нет. Так он, по своему малодушеству...

— Да я тебя-то жалеючи, Петр Васильич! — заговорил Мыльников, набираясь храбрости. — Какое такое полное право волостные старики имеют, например, драть тебя?.. Да я их вот как распатроню... Прямо губернатору бумагу подать, а то в правительственный синод. Найдем дорогу, не беспокойся...

Эта болтовня не встретила никакого ответа. Матюшка упорно отворачивался от дорогого тестюшки,

Ганька шмыгал глазами, подыскивая предлог, чтобы удрать, а Петр Васильич вызывающе смотрел на Мыльникова своим единственным оком, точно хотел его съесть.

— Что же, я и уйду, — решил вдруг Мыльников. — Нахлебался у зятя щей через забор шляпой... эх, роденька!..

Он прошел на прииск и разыскал Оксю, которая действительно находилась в интересном положении. Она, видимо, обрадовалась отцу, чем и удивила и тронула его. Грядущее материнство сгладило прежнюю мужиковатость Окси, хотя красивей она не сделалась. Усадив отца на пустые вымостки, Окся расспрашивала про родных, а потом спокойно проговорила:

— Помру скоро, тятя...

— Перестань молоть!.. Это для первого разу страшно, а бабы живущи...

— Нет, помру... Кланяйся мамыньке. Так и скажи ей.

Петр Васильич и Матюшка ушли с Сиротки вместе и так шли до самой Богоданки. В виду самого прииска Петр Васильич остановился и тяжело вздохнул.

— Вот как поворачивает Кишкин, братец ты мой!.. Красота... Помирать не надо. А прежнего места и званья не осталось...

Промысловые волки долго любовались работавшим богатым прииском, как настоящие артисты. Эти громадные отвалы и свалка верховика и перемывок, правильные квадраты глубоких вымоек, где добывался золотоносный песок, бутара, приводимая в движение паровой машиной, новенькая контора на взгорье, а там, в глубине, дымки старательских огней, кучи свежего хвороста и движущиеся тачки рабочих — все это было до того близкое, родное, кровное, что от немого восторга дух захватывало. Это настоящая работа, настоящее золото, недосягаемая мечта, высший идеал, до которого только в состоянии подняться промысловое воображение. Дух захватывает, глядя на такую работу, не то, что на Сиротке, где копнуто там, копнуто в другом месте, копнуто в третьем, а настоящего ничего.

Петр Васильич остался, а Матюшка пошел к конторе. Он шел медленно, развалистым мужицким шагом, приглядывая новые работы. Семеныч теперь у своей машины руководствует, а Марья управляется в конторе бабьим делом одна. Самое подходящее время, если бы еще старый черт не подвернулся. Под новеньким навесом у самой конторы стоял новенький тарантас, в котором ездил Кишкин в город сдавать золото, рядом новенькие конюшни, новенький амбар — все с иголочки, все как только что облупленное яичко.

А Марья уже завидела гостя, и ее улыбающееся лицо мелькает в окне.

— Наше вам, Марья Родивоновна... Легко ли прыгаете?..

— Не до прыганья, Матюшка; извелась вконец.

— Какая такая причина случилась?

— По одном подлом человеке сохну... Я-то сохну, а ему, кудрявому, и горюшка мало.

— Тоже навяжется лихо...

Марья болтает, а сама смеется и глазами в Матюшку так упирается, что ему даже жутко делается. Впрочем, он встряхивает своими кудрями и подсаживается на завалинку, чтобы выкурить цыгарку, а потом уж идет в Марьину горенку; Марья вдруг стихает, мешается и смотрит на Матюшку какими-то радостно-испуганными глазами. Какой он большой в этой горенке, — Семеныч перед ним цыпленок.

— Ну, так как же, Марья Родивоновна?

— Да все то же, Матюшка... Давно не видались, а пришел — и сказать нечего. Я уж за упокой собиралась тебя поминать... Жена у тебя, сказывают, на тех порах, так об ней заботишься?..

— Экой у тебя язык, Марья...

Марья наклонилась, чтобы достать какое-то угощенье из-за лавки, как две сильных волосатых руки схватили ее и подняли, как перышко. Она только жалобно пискнула и замерла.

— Черт, отстань...

— Выходи ужо в лес... Выдешь?..

— Да ты ошалел никак? Ступай к своей-то Оксе и спроси ее, куда мне приходить... Отпусти, медведь!

Марья плохо помнила, как ушел Матюшка. У нее сладко кружилась голова, дрожали ноги, опускались руки... Хотела плакать и смеяться, а тут еще свой бабий страх. Вот сейчас она честная мужняя жена, а выйди в лес — и пропала... Вспомнив про объятия Матюшки, она сердито отплюнулась. Вот охальник! Потом Марья вдруг расплакалась. Присела к окну, облокотилась и залилась рекой. Семеныч, завернувший вечерком напиться чаю, нашел жену с заплаканным лицом.

— Ты это што? — спросил он участливо.

— Да так.. голова болит... скушно.

Семеныч был добрый и обходительный муж. Никогда слова поперечного не скажет. Марье сделалось ужасно стыдно, и она чуть удержалась, чтобы не рассказать про охальство Матюшки. Но, взглянув на Семеныча и мысленно сравнивая его с могучим Матюшкой, она промолчала: зачем напрасно тревожить мужа? Полезет он на Матюшку с дракой, а Матюшка его одним пальцем раздавит. Сама виновата, ежели разобрать. Доигралась... Нет, вперед этого уж не будет. «Выходи в лес», говорит. Тоже нашел дуру! Так и побежала, как собачонка... Да как он смеет, вахлак, такие речи говорить?..

До самого вечера Марья проходила в каком-то тумане, и все ее злость разбирала сильнее. То-то охальник: и место назначил — на росстани, где от дороги в Фотьянку отделяется тропа на Сиротку. Семеныч улегся спать рано, потому что за день у машины намаялся, да и вставать утром надо на брезгу. Лежит Марья рядом с мужем, а мысли бегут по дороге в Фотьянку, к росстани.

«Поди, думает леший, што я его испугалась, — подумала она и улыбнулась. — Ах, дурак, дурак... Нет, я еще ему покажу, как мужнюю жену своими граблями царапать!.. Небо с овчинку покажется... Не на таковскую напал. Напугал... ха-ха!..»

Марья поднялась, прислушалась к тяжелому дыханию мужа и тихонько скользнула с постели. Накинув сарафан и старое пальтишко, она, как тень, вышла из горенки, постояла на крылечке, прислушалась и торопливо пошла к лесу.

IV

Раз вечером баушка Лукерья была до того удивлена, что даже не могла слова сказать, а только отмахивалась обеими руками, точно перед ней явилось привидение. Она только что вывернулась из передней избы в погребушку, пересчитала там утренний удой по кринкам, поднялась на крылечко и остановилась как вкопанная: перед ней стоял Родион Потапыч.

— Да ты давно онемела, што ли? — сердито проговорил старик и, повернувшись, пошел в переднюю избу.

Наташка, завидевшая сердитого деда в окно, спряталась куда-то, как мышь. Да и сама баушка Лукерья трухнула: ничего худого не сделала, а страшно. «Пожалуй, за дочерей пришел отчитывать», — мелькнуло у ней в голове. По дороге она даже подумала, какой ответ дать. Родион Потапыч зашел в избу, помолился в передний угол и присел на лавку.

— Случай вышел к тебе... — заговорил старик, добывая из кармана окровавленный платок. — Вот погляди, старуха.

В платке лежали бережно завернутые четыре передних зуба. Баушка Лукерья «ужахнулась» бабьим делом, но ничего не могла понять.

— Где взял-то? — спросила она, чувствуя, что говорит совсем не то.

— Не украл, а свои собственные...

В подтверждение своих слов старик раскрыл рот и показал окровавленные десны. Теперь баушка ахнула уже от чистого сердца.

— Где это тебя угораздило-то?

— В шахте... Заложил четыре патрона, поджег фитиля: раз ударило, два ударило, три, а четвертого нет. Што такое, думаю, случилось?.. Выждал с минутку и пошел поглядеть. Фитиль-то догорел, почитай, до самого патрона, да и заглох, ну, я добыл спичку, подпалил его, а он опять гаснет. Ну, я наклонился и начал раздувать, а тут ка-ак чебурахнет... Опомнился я уже наверху, куда меня замертво выволокли. Сам цел остался, а зубы повредило, сам их добыл...

— Ах, батюшки... да как это тебя угораздило-то?

— Вот и пришел... Нет ли у тебя какого средствия кровь унять да против опуха: щеку дует. К фершалу стыдно ехать, а вы, бабы, все знаете... Может, и зубы на старое место можно будет вставить?

— Нет, этого нельзя, а кровь уймем... Есть такая травка.

К особенностям Родиона Потапыча принадлежало и то, что он сам никогда не хворал и в других не признавал болезней, считая их притворством, то есть такие болезни, как головная боль, лихоманка, горячка, «сердце схватило», «весь не могу» и т. д. Всякая болезнь в его глазах являлась только предлогом не работать. Из-за этого происходили часто трагикомические случаи. Еще при покойном Карачунском одному рабочему придавило в шахте ногу. Его отправили в больницу. Это до того возмутило старика, что он сейчас же заявился к Карачунскому с формальной жалобой:

— Это он нарошно, Степан Романыч.

— Как нарошно? Фельдшер говорит, что кости повреждены и, может быть, придется даже отнять ногу...

— Нарошно, Степан Романыч, ногу подставил, штобы в больнице полежать, а потом пенсию будет клянчить... Известно, какой наш народ.

В восемьдесят лет у Родиона Потапыча сохранились все зубы до одного, и он теперь искренне удивлялся, как это могло случиться, что вышибло «диомидом» сразу четыре зуба. На лице не было ни одной царапины. Другого разнесло бы в крохи, а старик поплатился только передними зубами. «Все на счастливого», как говорили рабочие.

Старуха сбегала в заднюю избу, порылась в сундуках и натащила разного старушечьего снадобья: и коренья, и травы, и наговоренной соли, и еще какого-то мудреного зелья, завернутого в тряпочку. Родион Потапыч принимал все с какой-то детской покорностью, точно удивлялся самому себе, что дошел до такого ничтожества.

— А вот это к ночи прими, — наставительно повторяла старуха, — кровь разбивает... Хорошее способие

от бессонницы, али кто нехорошо задумываться начнет.

Родион Потапыч улыбнулся.

— И то меня за сумасшедшего принимают, — заговорил он, покачав головой. — Еще покойничек Степан Романыч так-то надумал... Для него-то я и был, пожалуй, сумасшедший с этой Рублихой, а для Оникова и за умного сойду. Одним словом, пустой колос кверху голову носит... Тошно смотреть-то.

— Все жалятся на него... — заметила баушка Лукерья. — Затеснил совсем старателей-то... Тоже ведь живые люди: пить-есть хотят...

— И старателей зря теснит и своего поведения не понимает.

Оглядевшись и понизив тон, старик прибавил:

— А у меня уж скоро Рублиха-то подастся... да. Легкое место сказать, два года около нее бьемся, и больших тысяч это самое дело стоит. Как подумаю, што при Оникове все дело оправдается, так даже жутко сделается. Не для его глупой головы удумана штука... Он-то теперь льнет ко мне, да мне-то его даром не надо.

Еще более понизив голос, старик прошептал на ухо баушке Лукерье:

— Приходил ведь ко мне Степан-то Романыч...

— С нами крестная сила!..

— Верно тебе говорю... Спустился я ночью в шахту, пошел посмотреть штольню и слышу, как он идет за мной. Уж я ли его шаги не знал!..

— А-ах, ба-атюшки... Да я бы на месте померла.

— Ну, раньше смерти не помрешь. Только не надо оборачиваться в таких делах... Ну, иду я, он за мной, повернул я в штрек, и он в штрек. В одном месте надо на четвереньках проползти, чтобы в рассечку выйти, — я прополз и слушаю. И *он* за мной ползет... Слышно, как по хрящу шуршит и как под ним хрящ-то осыпается. Ну, тут уж, признаться, и я струхнул. Главная причина, што без покаяния кончился Степан-то Романыч, ну, и бродит теперь...

— Почему же около шахты ему бродить?

— А почему он порешил себя около шахты?.. Неприкаянная кровь пролилась в землю.

— Ну, так што дальше-то было? — спрашивала баушка Лукерья, сгорая от любопытства. — Слушать-то страсти...

— Дальше-то вот и было... Повернулся, а он из штрека-то и вылезает на меня.

— Батюшки!.. Угодники... Ой, смертынька!

— А я опять знаю, што двигаться нельзя в таких делах. Стою и не шевелюсь. Вылез он и прямо на меня... бледный такой... глаза опущены, будто што по земле ищет. Признаться тебе сказать, у меня по спине мурашки побежали, когда он мимо прошел, совсем близко, чуть локтем не задел.

Родион Потапыч перевел дух. Баушка Лукерья вся дрожала со страху и даже перекрестилась несколько раз.

— Ну и бесстрашный ты человек, Родион Потапыч!

— Ты слушай дальше-то: *он* от меня, а я за ним... Страшновато, а я уж пошел на отчаянность: што будет. Завел он меня в одну рассечку да прямо в стену и ушел, в забой. Теперь понимаешь?

— Ничего я не понимаю, голубчик. Обмерла, слушавши-то тебя...

— А я понял: *он* мне показал, где жила спряталась.

— А ведь и то... Ах, глупая я какая!..

— Ну, я тут на другой же день и поставил работы, а мне по первому разу зубы и вышибло, потому как не совсем чистое дело-то...

— А што ты думаешь, ведь правильно!.. Надо бы попа позвать да отчитать хорошенько...

В этот момент под окнами загремел колокольчик, и остановилась взмыленная тройка. Баушка Лукерья даже вздрогнула, а потом проговорила:

— Погляди-ка, как наш Кишкин отличается... Прежде Ястребов так-то ездил, голубчик наш.

Родион Потапыч только нахмурился, но не двинулся с места. Старуха всполошилась: как бы еще чего не вышло. Кишкин вошел в избу совсем веселый. Он ехал с обеда от горного секретаря.

— Передохнуть завернул, баушка, — весело говорил он, не снимая картуза. — Да и лошадям надо подобрать мыло. Запозднился малым делом... Дорога лесная, пожалуй, засветло не доберусь до своей Богоданки.

— Здравствуй, Андрон Евстратыч... Разбогател, так и узнавать не хочешь, — заговорил Зыков, поднимаясь с лавки.

— Ах, Родион Потапыч! — обрадовался Кишкин. — А я-то и не узнал тебя. Давненько не видались... Когда в последний-то раз мы с тобой встретились? Ах, да, вот здесь-то, у следователя. Еще ты меня срамил...

— Мало срамил-то, Андрон Евстратыч, потому как по твоему малодушеству не так бы следовало...

— Правильно, Родион Потапыч, кабы знал да ведал, разе бы довел себя до этого, а теперь уж поздно... Голодный-то и архирей украдет.

— Претит, значит, совесть-то? Ах, Андрон Евстратыч, Андрон Евстратыч...

— От бедноты это приключилось, — объяснила баушка Лукерья, чтобы прекратить неприятный разговор. — Все мы так-то: в чужом рту кусок велик...

— Через тебя в землю-то ушел Степан Романыч, — наступал старый штейгер. — Истинно через тебя... Метил ты в других, а попал в него.

— Так уж случилось.... — смущенно повторял Кишкин. — Разе я теперь рад этому?.. И то он, Степан-то Романыч, как-то привиделся мне во сне, так я напринялся страху. Панихиду отслужил по нем, так будто полегче стало...

Родион Потапыч и баушка Лукерья переглянулись, а потом старик проговорил:

— Старинные люди, Андрон Евстратыч, так сказывали: покойник у ворот не стоит, а свое возьмет... А между прочим, твое дело, тебе ближе знать.

Наступило неловкое молчание. Кишкин жалел, что не во-время попал к баушке Лукерье, и тянул время отъезда, — пожалуй, подумают, что он бежит.

— Ты бы переночевал? — предлагала баушка Лукерья. — Куда, на ночь глядя, поедешь-то?

— А мне пора в сам деле!.. — поднялся Кишкин. — Только-только поспею засветло-то... Баушка,

посылай поклончик любезному сынку Петру Васильичу. Он на Сиротке теперь околачивается... Шабаш, брат: и узду забыл и весы — все ремесло.

— Ох, и не говори, — застонала баушка Лукерья. — Домой-то и глаз не кажет. Не знаю, што уж теперь и будет.

— Ничего, обмякнет, дай время, — успокаивал Кишкин. — До свежих веников не забудет...

— А ты напрасно, баушка, острамила своего Петра Васильича, — вступился Родион Потапыч. — Поучить следовало, это верно, а только опять не на людях... В сам-то деле, мужику теперь ни взад ни вперед ходу нет. За рукомесло за его похвалить тоже нельзя, да ведь все вы тут ополоумели и последнего ума решились... Нет, не ладно. Хоть бы со мной посоветовались: вместе бы и поучили.

Когда Кишкин вышел за ворота, то увидел на завалинке Наташку, которая сидела здесь вместе с братишкой, — она выжидала, когда сердитый дедушка уйдет.

— Ты это што, птаха, по заугольям прячешься? — спрашивал Кишкин, усаживаясь в тарантас.

— Дедушки боюсь... — откровенно призналась Наташка, краснея детским румянцем.

— Ну, страшен сон, да милостив бог... Поедем ко мне в гости?..

Когда лошади тронулись и дрогнули колокольчики под дугой, торопливо выскочила за ворота баушка Лукерья.

— Постой-ка, Андрон Евстратыч!.. — кричала она задыхавшимся голосом. — Возьми ужо деньги-то от меня...

— Ага... а где ты раньше-то была? Нет, теперь ты походи за мной, а мне твоих денег не надо...

Тарантас укатил, заливаясь колокольчиками, а баушка Лукерья осталась со своими деньгами, завязанными в старенький платок. Она постояла на месте, что-то пробормотала и, пошатываясь, побрела назад. Заметив Наташку, она ее обругала и дала тычка.

— Вот дармоеды навязались!.. — ворчала раздосадованная старуха. — Богадельня у меня, што ли?..

Родион Потапыч против обыкновения засиделся у баушки Лукерьи. Это даже удивило старуху: не таковский человек, чтобы задарма время проводить.

— И впрямь, надо полагать, с ума схожу, — печально говорил старик, разглаживая бороду. — Никак даже не пойму, што к чему... Прежнее-то все понимаю, а нынешнее в ум не возьму. Измотыжился народ вконец...

— Ох, и не говори!..

— Што мужики, што бабы — все точно очумелые ходят. Недалеко ходить, хоть тебя взять, баушка. Обжаднела и ты на старости лет... От жадности и с сыном вздорили, а теперь оба плакать будете. И все так-то... Раздумаешься этак-то, и сделается тошно... Ушел бы куды глаза глядят, только бы не видать и не слыхать про ваши-то художества.

Баушка Лукерья угнетенно молчала. В лице Родиона Потапыча перед ней встал позабытый мир, где все было так строго, ясно и просто и где баба чувствовала себя только бабой. Сказалась старая «расейка», несшая на своих бабьих плечах всяческую тяготу. Разве можно применить нонешнюю бабу, особенно промысловую? Их точно ветром дует в разные стороны. Настоящая беспастушная скотина... Не стало, главное, строгости никакой, а мужик измалодушествовался. Правильно говорит Родион-то Потапыч.

Старики разговорились про старину и на время забыли про настоящее, чреватое непонятными для них интересами, заботами и пакостями. Теперь только поняла баушка Лукерья, зачем приходил Родион Потапыч: тошно ему, а отвести душу не с кем.

Родион Потапыч ушел уж в сумерках. Ему не хотелось идти через Фотьянку при дневном свете, чтобы не встречаться с галдевшим у кабака народом. Фотьянка вечером заживала лихорадочной жизнью. Из ближайших промыслов съезжались все рабочие, и около кабака была настоящая давка. Родион Потапыч обошел подальше проклятое место, гудевшее пьяными голосами, звуками гармоний, песнями и ораньем, спустился к Балчуговке и только ступил на мост, как Ульянов кряж весь заалелся от зарева. Оглянувшись,

он подумал, что горит кабак... Вечер был тихий, и пламя поднималось столбом.

— Да ведь это баушка Лукерья горит! — вскрикнул старик, бегом бросаясь назад.

Действительно, горел дом Петра Васильича, занявшийся с задней избы. Громадное пламя так и пожирало старую стройку из кондового леса, только треск стоял, точно кто зубами отдирал бревна. Вся Фотьянка была уже на месте действия. Крик, гвалт, суматоха и никакой помощи. У волостного правления стояли четыре бочки и пожарная машина, но бочки рассохлись, а у машины не могли найти кишки. Да и бесполезно было: слишком уж сильно занялся пожар, и все равно сгорит дотла весь дом.

— Сам поджег свой-то дом!.. — галдел народ, запрудивший улицу и мешавший работавшим на пожарище. — Недаром тогда грозился в волости выжечь всю Фотьянку. В огонь бы его, кривого пса!..

— Сказывают, девчонка его видела!.. Он с огородов подкрался и карасином облил заднюю-то избу.

Родион Потапыч никак не мог найти в толпе баушку Лукерью.

— Да она, надо полагать, того... — объяснил неизвестный мужик. — В самое пальмо попала. Бросилась, слышь, за деньгами, да и задохлась.

Старик в ужасе перекрестился.

V

На другой же день после пожара в Фотьянку приехала Марья. Она первым делом разыскала Наташку с Петрунькой, приютившихся у соседей. Дети обрадовались тетке после ночного переполоха, как радуются своему и близкому человеку только при таких обстоятельствах. Наташка даже расплакалась с радости.

— Тетя, родная, што только и было, — рассказывала она, припадая к Марье. — И рассказывать-то — так одна страсть...

— Дедушка-то зачем был?

— А так навернулся... До сумерек сидел и все

с баушкой разговаривал. Я с Петрунькой на завалинке все сидела: боялась ему на глаза попасть. А тут Петрунька спать захотел... Я его в сени потихоньку и свела. Укладываю, а в оконцо — отдушинка у нас махонькая в стене проделана, — в оконцо-то и вижу, как через огород человек крадется. Вижу, несет он в руках бурак берестяный и прямо к задней избе, да из бурака на стенку и плещет. Испугалась я, хотела крикнуть, а гляжу: это дядя Петр Васильич... ей-богу, тетя, он!..

— Уж это ты врешь, Наташка. Тебе со страху показалось... Да и как ты в сумерки могла разглядеть?.. Петр Васильич на прииске был в это время... Ну, потом-то што было?

— А потом я хотела позвать баушку, да побоялась. Ну, как дедушка ушел, я только к баушке, а она как на меня зыкнет... Целый день она сердилась на меня за Петруньку. Ну, я со страху и замолчала. А тут баушка погнала в погреб... Выскочила я из погреба-то, а на дворе дым и огонь в задней избе... Я забежала в сенки, схватила Петруньку и не помню, как выволокла на улицу сонного... А баушки нет... Я опять в сенки, а баушка на моих глазах в заднюю избу бросилась, прямо в огонь. Она за сундуком это... Там ее и нашли, около сундука... Обгорела вся... ничего не узнать...

Наташка в заключение так разрыдалась, что Марье пришлось отваживаться с ней.

— Народ-то все Петра Васильича искал, — продолжала Наташка, — все хотели его в огонь бросить.

— А ты бы еще больше болтала, глупая!.. Все изза тебя... Ежели будут спрашивать, так и говори, што никого не видала, а наболтала со страху.

— Да я видела...

— Молчи, дура!.. Из-за твоих-то слов ведь в Сибирь сошлют Петра Васильича. Теперь поняла?.. И спрашивать будут, говори одно: ничего не знаю.

Пожарище представляло собой страшную картину. За ночь точно языком слизнуло целых три дома. Торчали печные трубы да обгорелые столбы. Около места, где стояла задняя изба баушки Лукерьи, толкался народ. Там среди обгорелых бревен лежало обуглив-

шееся, неузнаваемое «мертвое тело» самой баушки Лукерьи. Чья-то добрая рука прикрыла его белым половиком. От волости был наряжен сотский, который сторожил мертвое тело до приезда станового. От этой картины даже у Марьи сердце сжалось, особенно когда она узнала валявшиеся около баушки Лукерьи железные скобы от ее заветного сундука... Вероятно, старуха так и задохлась на своем сокровище. Народ усиленно галдел. Все ругали Петра Васильича. Марья попробовала было заступиться за него, но ее чуть не прибили.

— Мы его, пса, еще утихомирим!.. Его работа... Сам грозился в волости выжечь всю Фотьянку.

Вообще народ был взбудоражен. Погоревшие соседи еще больше разжигали общее озлобление. Ревели и голосили бабы, погоревшие мужики мрачно молчали, а общественное мнение продолжало свое дело.

— Надо его своим судом, кривого черта!.. А становой што поделает... Поджег, а руки-ноги не оставил. Удавить его мало, вот это какое дело!..

Таким образом Петр Васильич был объявлен вне закона. Даже не собирали улик, не допрашивали больше Наташки: дело было ясно, как день.

На пожарище Марья столкнулась носом к носу с Ермошкой, который нарочно пришел из Балчуговского завода, чтобы посмотреть на пожарище и на сгоревшую старуху...

— Приказала баушка Лукерья долго жить, — заметил он, здороваясь с Марьей. — Главная причина — без покаяния старушка окончание приняла. Весьма жаль... А промежду протчим, очень древняя старушка была, пора костям и на покой, кабы только по всей форме это самое дело вышло.

— Все под богом ходим, Ермолай Семеныч... Кому уж где господь кончину пошлет.

— Это точно-с. Все мы люди-человеки, Марья Родивоновна, и все мы помрем... Сказывают, старушка на сундучке так и сгорела? Ах, неправильно это вышло...

— Мало ли что зря болтают! Просто, опахнуло старушку дымом, ну и обеспамятела... Много ли ста-

рому человеку нужно! А про сундучок это зря болтают.

— Конечно, зря, а я только к слову. До свидания, Марья Родивоновна... Поклон Андрону Евстратычу. Скоро в гости к нему приеду.

— Милости просим...

Ермошка отошел, но вернулся и, оглядываясь, проговорил:

— А моя-то Дарья пласт-пластом лежит... Не сегодня-завтра кончится. Уж так-то она рада этому самому...

Поймав улыбку Марьи, он смущенно прибавил:

— Вы не подумайте, штобы через мои руки она помирала... Пальцем не тронул. Прежде случалось, а теперь ни боже мой...

— Жениться будете?

— Как сорочины минуют, подумываю... Вот вы-то меня не дождались, Марья Родивоновна!..

— Сватайте Наташку: она лицом-то вся в Феню. Я ее к себе на Богоданку увезу погостить...

— А ведь оно тово, действительно, Марья Родивоновна, статья подходящая... ей-богу!.. Так уж вы, тово, не оставьте нас своею милостью... Ужо подарочек привезу. Только вот Дарья бы померла, а там живой рукой все оборудуем. Федосья-то Родивоновна в город переехала... Я как-то ее встретил. Бледная такая стала да худенькая...

Марье пришлось прожить в Фотьянке дня три, но она все-таки не могла дождаться баушкиных похорон. Да надо было и Наташку поскорее к месту пристроить. На Богоданке-то она и свою голову прокормит и пользу еще принесет. Недоразумение вышло из-за Петруньки, но Марья вперед все предусмотрела. Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из девчонки можно было веревки вить.

— Я твоего Петруньку тоже устрою, — говорила Марья, испытующе глядя на свою жертву. — Много ли парнишке надо. Покойница-баушка все взъедалась на него, а я так рада: пусть себе живет. Не чужие ведь...

Наташка точно оттаяла от этих слов, хотя раньше и не любила Марьи. Марья, не теряя времени, сей-

час же увезла ее на прииск и улещала всю дорогу разными наговорами, как хороший конокрад. Нужно заметить, что приезжала она на Фотьянку настоящей барыней, на лошадях Кишкина и в его долгушке. Наташку дорогой взяло раздумье относительно надоедавшего ей старика, но Марья и тут сумела ее успокоить, а кому же верить, как не Марье. Когда она жила еще дома, так все под ее дудку плясали: и сама Устинья Марковна, и тетка Анна, и тетка Феня.

— Старичок ежели и пошутит, так не велика беда, — наговаривала Марья. — Это не то, што молодые парни зубы скалят...

Таким образом, Марья торжествовала. Она обещала привезти Наташку и привезла. Кишкин, по обыкновению, разыграл комедию: накинулся на Марью же и долго ворчал, что у него не богадельня и что всей Марьиной родни до Москвы не перевешать. Скоро этак-то ему придется и Тараса Мыльникова кормить и Петра Васильича. На Наташку он не обращал теперь никакого внимания и даже как будто сердился. В этой комедии ничего не понимал один Семеныч и ужасно конфузился каждый раз, когда жена цеплялась зуб за зуб с хозяином.

— Очень уж ты свободно разговариваешь с ним, Маша, — усовещивал он жену. — От места еще мне откажет...

— Не откажет, старый черт!.. А откажет, так и без него местов добудем.

Устроив Наташку на прииске в своей горенке, Марья опять склалась и погнала на Фотьянку хоронить баушку Лукерью, а оттуда в Балчуговский завод проведать своих. Она уже слышала стороной, что отец не совсем тверд в разуме, и, того гляди, всем имуществом завладеет Анна. Она и то разжалобила отца своими ребятишками. Яша Малый, конечно, ничего не получит, да и Татьяна тоже, — разе удобрится мамынька Устинья Марковна да из своей части отвалит. Старушка тоже древняя и тоже очень не тверда разумом-то... А главная причина поездки заключалась в желании видеться с Матюшкой, который по уговору должен был ее подождать у Маяковой слани. Марья

уезжала одна, в приисковой тележке, в каких ездили все старатели.

— Смотри, не пообидел бы кто-нибудь дорогой, — говорил Семеныч, провожая жену, — бродяги по лесу шляются...

— Ты вот за Наташкой-то не очень ухаживай, — огрызнулась Марья.

Она раньше боялась мужа, потом стыдилась, затем жалела и, наконец, возненавидела, потому что он упорно не хотел ничего замечать. И таким маленьким он ей казался... Вообще с Марьей творилось неладное: она ходила как в тумане, полная какой-то странной решимости.

— Наташка, будешь убираться в конторе, так пригляди, куды прячет Андрон Евстратыч ключ от железного сундука, — наказывала она перед отъездом. — Да возьми припрячь его при случае...

Наташка не поняла, для чего нужно было прятать ключ. Марья окончательно обозлилась и объяснила:

— Надоел он мне, как горькая редька... Пусть поищет, старая крыса. За тебя с Петрунькой поедом съел. Положи ключик-то на полочку под образа. Поняла?

Наташка теперь поняла и даже ухмыльнулась. Ей понравилась мысль испугать противного старичонку, который опять начал поглядывать на нее маслеными глазами.

Семеныч «ходил у парового котла» в ночь. День он спал, а с вечера отправлялся к машине. Кстати сказать, эту ночную работу мужа придумала Марья, чтобы Семеныч не мешал ей пользоваться жизнью. Она сама просила Кишкина поставить мужа в ночь.

— Играешь, Марьюшка, — посмеялся Кишкин. — Ну, ну, я ничего не вижу и ничего не знаю... Между мужем и женой бог судья. Ты мне только тово...

— А вот я уеду в Балчуговский завод, так вы уж сами тут промышляйте. В конторе одна Наташка останется... Ну што, довольны теперь?..

— Озолочу, Марьюшка.

Около полуночи, когда Семеныч дремал у своей машины, прибежал кто-то и сказал, что в конторе

неладно. Все бросились туда. Там произошло нечто ужасное... В самой конторе лежал зарезанный Кишкин. Он был в одном белье и, видимо, отчаянно защищался, потому что руки были страшно изрезаны. В горенке Семеныча оказалось целых три трупа: в своей постели на полу лежал убитый Петрунька, — видимо, его убили сонного, Наташка лежала в самых дверях с размозженным черепом, а на крылечке сама Марья. Все было залито кровью. Цель убийства была ясна: касса оказалась пустой... У всех мелькнула одна и та же мысль при виде этой картины: некому этого сделать, кроме все того же Петра Васильича. Пошел мужик на отчаянность. Конечно, его работа. Кому же больше? Оставалось непонятным только одно, как Марья опять вернулась в свою горенку? Все видели, как она еще днем уехала на Фотьянку. Лошадь нашли на дороге, — она была привязана к дереву в стороне от дороги. Подозрение на Петра Васильича увеличилось еще тем, что его видели именно в этот день недалеко от прииска, а потом он вдруг точно в воду канул. Конечно, его дело... С Сиротки он ушел после обеда. Матюшка лежал больной у себя в землянке. Он защищал Петра Васильича. Мало ли по лесу бродяг шляется: подглядели и прикончили всех.

Приехали на Богоданку следователь, урядник, понятые. Произвели следствие, которое подтвердило общее подозрение: за кассой нашли шапку Петра Васильича, которую все признали. Очевидно, он забыл ее второпях. Следователь уже составил полный план, как совершилось преступление: Петр Васильич встретил Марью на дороге и под каким-то предлогом уговорил вернуться домой. Может быть, он ей сказал, что Кишкин и Наташка убиты, а когда она вернулась, он убил и ее, чтобы скрыть всякие следы. В сущности это было очень неясное объяснение, но пока единственное.

Когда следователь уехал уже домой, раскрылось новое обстоятельство, перевернувшее все: недалеко от Маяковой слани нашли убитого Петра Васильича. Очевидно, он был убит на дороге, а затем уже стащен в болото.

VI

Дела у компании шли плохо. Старательские работы сведены были на нет, и этим самым уничтожено было в корне хищничество, но вместе с тем компания лишилась и главной части своих доходов, которые получались раньше от старателей. Но Оников хотел быть последовательным и решился вести дело исключительно компанейскими работами. Во-первых, был расчет на Рублиху, а потом немного пониже Фотьянки отводили течение реки Балчуговки в другое русло, — нужно было взять россыпь, по которой протекала эта река, целиком. Уже второй год устраивалась громадная плотина, отводившая реку в новое русло. Целую зиму велась эта грандиозная работа, стоившая десятков тысяч. Когда вода была отведена, приступили к вскрыше верхнего пласта, покрывавшего россыпь. Вместе с наступлением весны должна была открыться и промывка этой россыпи, для чего поставлено было несколько бутар и две паровые машины. Новый прииск лежал немного пониже Ульянова кряжа, так что по всем признакам россыпь образовалась из разрушавшихся жил, залегавших именно в этом кряже, так что золото зараз можно было взять и из россыпи и из коренного месторождения.

— Мы возьмем золото с хвоста и с головы, — повторял Оников, встречаясь с Родионом Потапычем.

— Что же, ваши бы слова да богу в уши, — уклончиво отвечал старик, окончательно возненавидевший Оникова.

Положение Фотьянки было отчаянное. Кедровское золото кое-кого поманило, кое-кого даже помазало по губам, но в общем масса бедствовала хуже прежнего, потому что кончились старательские работы собственно в Балчуговской даче. Эти работы давали крохи, но эти крохи и были дороги, потому что приходились главным образом на голодное зимнее время. Нерасчетливый промысловый рабочий не умел сберегать на черный день, а добытые на приисках гроши пели петухами. Отдельные случаи более или менее

случайного обогащения совершенно терялись в общей массе рабочей бедности.

Уничтожение старательских работ в компанейской даче отразилось прежде всего на податях. Недоимки были и раньше, а тут они выросли до громадной суммы. Фотьянский старшина выбился из сил и ничего не мог поделать: хоть кожу сдирай. Наезжал несколько раз непременный член по крестьянским делам присутствия вместе с исправником и тоже ничего не могли поделать.

— Как же это так, — удивлялся член, — кругом золото, а вы не можете податей заплатить?..

— Точно так, вашескородие, — отвечал староста. — Кругом золото, а в середке бедность... Все от компании зависит: ежели бы объявили старательские работы, оно все же передышка... Не настоящее дело, а из-за хлеба на воду робили.

Переговоры с Ониковым по этому поводу тоже ни к чему не повели. Он остался при своем мнении, ссылаясь на прямой закон, воспрещающий старательские работы. Конечно, здесь дело заключалось только в игре слов: старательские работы уставом о частной золотопромышленности действительно запрещены, но в виде временной меры разрешались работы «отрядные» или «золотничные», что в переводе значило то же самое.

— Я поступаю только по закону, — говорил Оников с упрямством безнадежно помешанного человека. — Нужно же было когда-нибудь вырвать зло с корнем...

— Да... гм... Но апостол Павел сказал, что «по нужде и закону применение бывает». Ваши реформы отзываются на казенных интересах.

— О, это напрасно! Дайте что угодно рабочим, они все пропьют... Что дала Кедровская дача?..

Дело в том, что собственно рабочим Кедровская дача дала только призрак настоящей работы, потому что здесь вместо одного хозяина, как у компании, были десятки, — только и разницы. Пока благодетелями являлись одни скупщики вроде Ястребова.

Затем мелкие золотопромышленники могли работать только летом, а зимой прииски пустовали.

Недовольство рабочих новым главным управляющим пережило свою острую форму. Его даже не ругали, а глухое мужицкое недовольство росло и подступало, как выступившая вода из берегов.

— У меня разговор короткий: чуть что, сейчас рабочих из других мест кликну, — хвастался Оников. — Всякое дело необходимо доводить до конца.

Родион Потапыч сидел на своей Рублихе и ничего не хотел знать. Благодаря штольне углубление дошло уже до сорок шестой сажени. Шахта стоила громадных денег, но за нее поэтому так и держались все. Смертельная болезнь только может подтачивать организм с такой последовательностью, как эта шахта. Но Родион Потапыч один не терял веры в свое детище и боялся только одного, что компания не даст дальнейших ассигновок.

Раз ночью старик сидел в конторке и дремал. Его разбудил осторожный стук в окно.

— Кто там, крещеный?

— Можно зайти, дедушка, обогреться?..

— Дня-то тебе не стало? — удивился Родион Потапыч, разглядывая чье-то молодое лицо с окладистой русой бородкой. — Ступай в двери.

Через несколько минут в дверях конторки показался Матюшка, весь засыпанный снегом. Родион Потапыч с трудом признал его.

— Ты што это полуношничаешь? — сердито спросил его старик. — Мало ли тут шляющихся по лесу-то...

— Я с делом, дедушка... — рассеянно ответил Матюшка, перебирая шапку в руках. — Окся приказала долго жить...

— Кончилась?.. — участливо спросил старик, сразу изменившись. — Ах, сердяга... Омманула она меня тогда, ну, да бог ее простит.

— Цельную неделю, дедушка, маялась и все никак разродиться не могла... На голос кричала цельную неделю, а в лесу никакого способия. Ах, дедушка, как она страждила... И тебя вспомнила. «Помру, грит,

Матюшка, так ты сходи к дедушке на Рублиху и поблагодари, што узрел меня тогда».

— Вспомнила?

— И еще как, дедушка... А перед самым концом как будто стишала и поманила к себе, штобы я около нее присел. Ну, я, значит, сел... Взяла она меня за руку, поглядела этак долго-долго на меня и заплакала. «Што ты, говорю, Окся: даст бог, поправишься...» — «Я, грит, не о том, Матюшка. А тебя мне жаль...» Вон она какая была, Окся-то. Получше в десять раз другого умного понимала...

Постоял Матюшка у порога, рассказал еще раз о смерти Окси и начал прощаться. Это опять удивило Родиона Потапыча.

— Да ты чего это ночью-то хочешь идти? — проговорил ему старик. — Оставайся у нас на шахте переночевать.

Матюшка переминался с ноги на ногу, а потом вдруг у него по лицу посыпались быстрые молодые слезы.

— Тошно мне, дедушка... — шептал он задыхавшимся голосом. — Ах, как тошно...

Старик нахмурился: разве модель мужику реветь?..

Матюшка так и не остался ночевать. Он несколько раз нерешительно подходил к двери конторки, останавливался и опять отходил. Вообще с Матюшкой было неладно, как заметили все рабочие.

В другой раз он спустился в самую шахту и отыскал Родиона Потапыча в забое, где он закладывал динамитные патроны для взрыва.

— Эк ты напугал меня, — рассердился Родион Потапыч. — Ну, чего опять?..

Матюшка молчал. Старик с удивлением посмотрел на него. Этакой молодчага-парень, ежели бы не дурь. Руки одни чего стоят. Вот бы в забой поставить!

Когда взрыв был произведен и Родион Потапыч взглянул на обвалившиеся куски камня, то даже отшатнулся, точно от наваждения. Взрывом была обнажена прекрасная жила толщиной в полтора аршина, а в проржавевшем кварце золотыми слезами блестел драгоценный металл.

— Что же это такое? — изумлялся старик, глядя на Матюшку. — Сколь бились мы над ней, над жилой, а она вон когда обозначилась... На твои счастки, Матюшка, выпала она!..

Матюшка опять молчал, а у Родиона Потапыча блестели слезы на глазах. Это было его последнее золото... Выломав несколько кусков получше, старик велел забойщикам подняться наверх, а западню в шахту запер на замок собственноручно... Оно меньше греха.

Открытие жилы в Ульяновом кряже произвело настоящий переполох. Оников прискакал сломя голову и расцеловал Родиона Потапыча из щеки в щеку. Спустившись в шахту, он долго любовался жилой и вслух делал примерные вычисления. На худой конец оправдаются все произведенные расходы да столько же получится дивиденда.

— Надо деньги-то считать, когда они в карман положены, — строго заметил Родион Потапыч.

— Ничего, сосчитаем и не в кармане...

Старик молча торжествовал свою победу: Рублиха не обманула, хотя и стоила страшно дорого. Да, он показал, какое золото в Ульяновом кряже старые штейгеры открывают... Вот только голубчик Степан Романыч не дожил.

Приехал полюбоваться Рублихой и сам горный секретарь Илья Федотыч. Спустился в шахту, отломил на память кусок кварцу с золотом и милостиво потрепал старого штейгера по плечу.

— Молодые-то хоть и поют петухами, а без нас, стариков, дело, видно, тоже не обойдется. Так, Родион Потапыч?

— Молодых-то гусей по осени считают, Илья Федотыч...

На Рублихе пока сделана была передышка. Работала одна паровая машина, да неотступно оставался на своем месте Родион Потапыч. Он, добившись цели, вдруг сделался грустным и задумчивым, точно что потерял. С ним теперь часто дежурил Матюшка, повадившийся на шахту неизвестно зачем. Раз они сидели вдвоем в конторке и молчали. Матюшка совершенно

неожиданно рухнул своим громадным телом в ноги старику, так что тот даже отскочил.

— Дедушка, голубчик, тошно мне, а силы своей не хватает... Отвези ты меня к следователю в город. Мое дело...

— Да ты рехнулся, парень?.. Какое дело?..

— А на Богоданке?.. Я всех троих порешил. Петр Васильич подбил: ограбим да ограбим Кишкина. Ну, я и соблазнился и Марью настроил, штобы ключ добыла, а она через Наташку... Я ее на дороге встретил, ну, вместе на прииск ночью и пришли. Петр Васильич в сторожах сперва стоял, а я в горницу к Марье прошел. Ключ-то Наташка у старика выкрала... Ну, я захожу в контору из Марьиной горницы, а Кишкин и проснись на грех... Как закричит... Все у меня в голове перемешалось... ударил я его и сразу заморил, а Петр Васильич уже около кассы с ключом и какие-то бумаги себе за пазуху сует... Потом Наташка очнулась; ну, мы всех прикончили разом, штобы никакого следа. Деньги захватили — и в лес. Ночью около огонька принялись делить... Вижу, Петр Васильич омманывает меня, а потом, думаю, уйдет он с деньгами-то куды глаза глядят, а на меня все свалят... Ну, тут я и его прикончил. Все равно выдал бы... На него все улики были. Ночью же пришел я домой и сказался больным, а Окся-то и догадалась, што неладное дело. Так ничего и не сказала, а только перед самой смертью выговорила все... «За твой, грит, грех помираю!» И так мне стало тошно с того с самого время: легче вот руки наложить на себя... места не найду...

Родион Потапыч молча его выслушал, молча взял веревку и молча связал ему крепко руки.

— Повремени малость... — сказал старик, не глядя на Матюшку. — Я тебя предоставлю куды следует.

Захватив с собой топор, Родион Потапыч спустился один в шахту. В последний раз он полюбовался открытой жилой, а потом поднялся к штольне. Здесь он прошел к выходу в Балчуговку и подрубил стойки, то же самое сделал в нескольких местах посредине и у самой шахты, где входила рудная вода. Земля быстро обсыпалась, преграждая путь стекавшей по штольне

воде. Кончив эту работу, старик спокойно поднялся наверх и через полчаса вел Матюшку на Фотьянку, чтобы там передать его в руки правосудия.

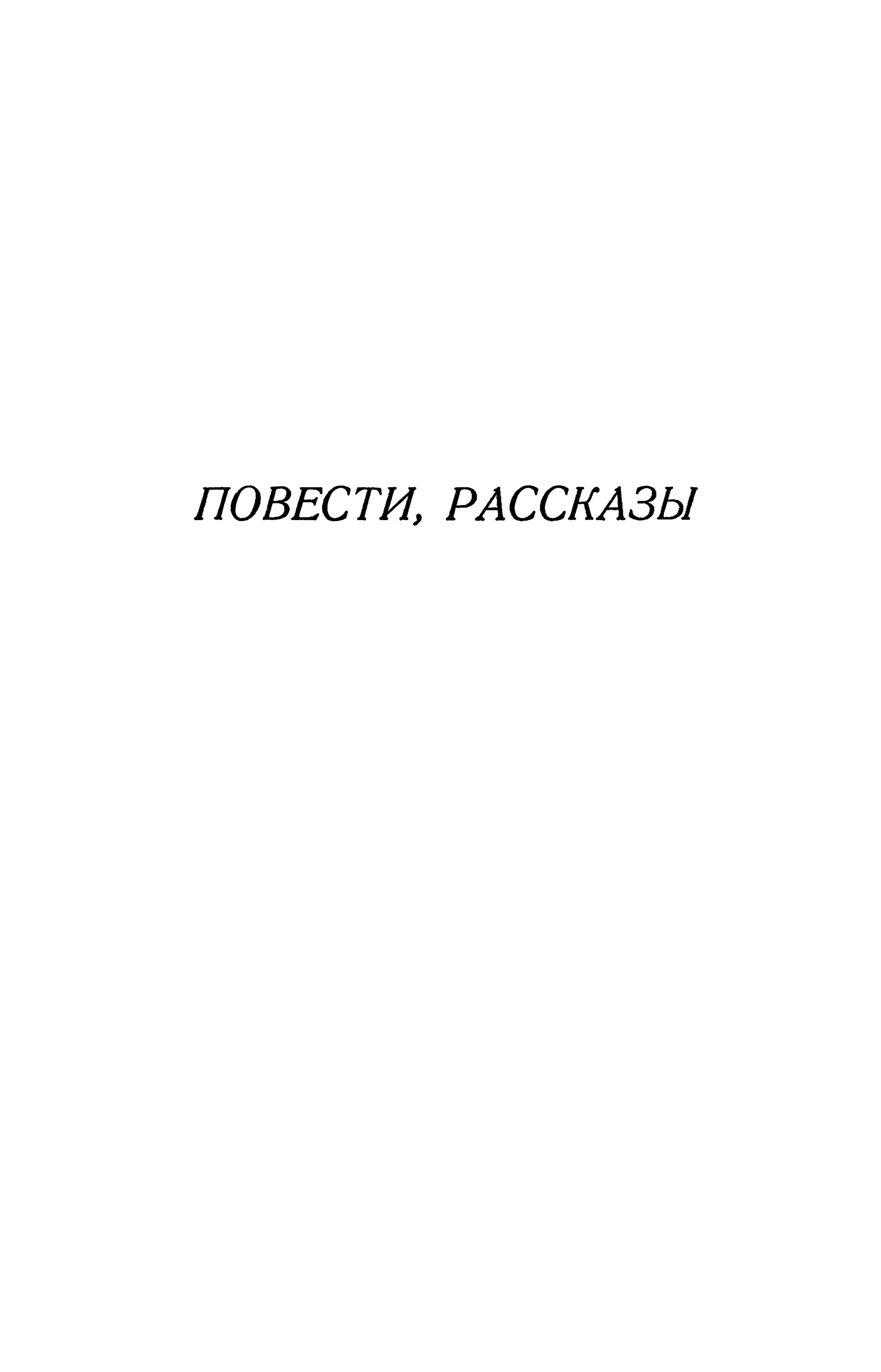
В эту же ночь Рублиху залило водой, а старый штейгер сидел наверху и смеялся теперь уже сумасшедшим смехом.

Залитую водой Рублиху возобновить было, пожалуй, дороже, чем выбить новую шахту, и найденная старым штейгером золотоносная жила была снова похоронена в землю. Да и компании теперь было не до нее. Устроенная плотина на Балчуговке была размыта весенней водой, и все работы, подготовленные с громадными затратами, были покрыты речным илом. Эти две больших неудачи отозвались в промысловом бюджете очень сильно, так что представленные Ониковым сметы не получили утверждения, и компания прекратила всякие работы за их невыгодностью. И это в такой местности, где при правильном хозяйстве могло благоденствовать стотысячное население и десяток таких компаний...

Родион Потапыч действительно помешался. Это было старческое слабоумие. Он бредил каторгой и ходил по Балчуговскому заводу в сопровождении палача Никитушки, отдавая грозные приказания. За этой парой всегда шла толпа ребятишек.

Феня ушла в Сибирь за партией арестантов, в которой отправляли Кожина: его присудили в каторжные работы. В той же партии ушел и Ястребов. Когда партия арестантов выступала из города, ей навстречу попалась похоронная процессия: в простом сосновом гробу везли из городской больницы Ермошкину жену Дарью, а за дрогами шагал сам Ермошка.

Матюшка повесился в тюрьме.



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

ОХОНИНЫ БРОВИ

Повесть

Часть первая

I

В нижней клети усторожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец Брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дьячок из Служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Усторожье воеводой Полуектом Степанычем Чушкиным. А дело было не маленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе.

— Имею большую причину от игумена Моисея, — жаловался дьячок Арефа товарищам по несчастью. — Нещадно он бил меня шелепами... [1] А еще измòром морил на всякой своей монастырской работе. Яко лев рыкающий, забрался в нашу святую обитель... Новшества везде завел, с огнепальною яростию работы египетские вменил... Лютует над своею монастырскою братией и над крестьянами.

[1] Шелепы — мешки с песком. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— И долютовал, — отвечал слепец Брехун. — Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье... Не поглянулось, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке.

— Жив смерти боится, — угнетенно соглашался Арефа и тяжко вздыхал.

— А тебя-то он за што изживал?

— Немощь у меня, Брехун.

— Насчет Дивьей обители, што ли? — ядовито спрашивал Брехун. — Может, дьячиха нажалилась отцу игумену...

— Тоже и сказал человек! Статочное ли это дело про Дивью обитель такие словеса изрыгать?

Слепец Брехун любил подтрунить над дьячком: надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время.

— Немощь у меня к зелену вину, — объяснял дьячок, — а соблазн везде... Своя монастырская братия стомаха ради и частых недуг вкушает, а потом поп Мирон в Служней слободе, казаки из слобод, воинские люди... Ох, великое искушение, ежели человек слабеет!.. Ну, игумен Моисей и истязал меня многажды...

— И шелепами, и плетями, и батожьем?

— Всячески... Он и на попов не очень-то глядит, чуть што, сейчас отправит на конюшенный двор, а там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение, белым попом был. Ну, а разъярится, так необыкновенную скорость на руку оказывал... Так и попадью свою уходил: за обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин... На великой реке Оби остяков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская огромадная: близко ста тыщ десятин земли, на них девять деревень, да четыре поселка, да шесть заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодья, да три рыбных озера, да двои рыбные пески в низовье Яровой... Свои четыре мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше двунадесять тыщ копен... Монастырских крестьян близко трех тыщ податных душ со-

стояло и одного оброка тыщу рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты: все ограничили сразу — и землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей и лютует... Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети[1] не оставили, а тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно.

— Сказывай! — недоверчиво ворчал Брехун. — Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля божья... Государский указ монахи скрыли. Кабы не воевода Полуехт Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут.

— Нечем трясти-то, коли все отняли.

— Щука умерла, а зубы остались.

Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиною бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось, а в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одною рукой семь пудов. Синий подрясник из домашней крашенины придавал ему вид отшельника. Желтые волосы были заплетены в две жиденьких косички, постоянно вылезавших из-под высокого стоячего воротника подрясника. Слепец Брехун, потерявший глаза еще во время второго башкирского бунта, когда по Зауралью проходили воровские башкирские шайки под предводительством Пепени, Майдары и Тулкучуры, являлся полною противоположностью «мухортого» дьячка. Это был плотный, совсем лысый старик с неподвижным лицом, как у всех слепцов. Он был в одной холщовой рубахе и таких же портах. Слепец Брехун и дьячок Арефа вели между собой долгие разговоры, причем первый рассказывал больше про свой монастырь, а Брехун вспоминал свои скитанья по Зауралью и Оренбургской степи.

---

[1] Четь — четверть. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Бывал я и в степе, — задумчиво говорил дьячок. — С благословения прежнего игумена Поликарпа ездил на рыбные ловли и по степную соль на озеро Ургач. А все домой тянет: не могу без Служней слободы жить.

— Как цепная собака без своей конуры?

— Тянет меня и сейчас: хоть бы одним глазком поглядел, што делается там... Одной-то дьячихе моей трудненько управляться. Тоже и пашенка есть, и скотинка, и огород, — по женскому делу весьма трудно за всем углядеть. Одна надежда на нашего заступника Прокопия, иже о Христе юродивого: все за ним сидим, как тараканы за печью. Орда-то прежде частенько-таки набегала на монастырскую вотчину, — домишки сожгут, а людей поколют или в полон возьмут. Не можно было ущититься, а спасал все он же, преподобный Прокопий. Великая сила ему дана на всю сибирскую сторону. Восьмого июлия монастырь празднует, и торжок бывает в нашей слободе, так и называется — прокопьевский торжок.

— Прокопьев-то день по всей Сибири прошел, — объяснял Брехун, — крестьяны по всем местам его весьма уважают.

В этих беседах не принимали участия только башкир Аблай и казак Белоус. Первый, правда, по вечерам затягивал свои унылые башкирские песни про старшину Сеита или Алдар-бая. Это пение походило на протяжный волчий вой и нагоняло на всех страшную тоску. Подземелье, где сидели узники, выходило на божий свет всего одним оконцем, обрешеченным железом. Слабая полоса света не освещала и четвертой части подземелья. Особенно трудно было ночью, когда узники укладывались вповалку на земляной пол и каждое движение во сне сопровождалось лязгом железа. Другим неудобством было то, что рядом с этим подземельем находилась воеводская «заплечная», где снимали показания с провинившихся. Работа начиналась с раннего утра, и слышно было, как хрустели кости на дыбе, а палачиный кнут резал живое человеческое тело. Мертвая тишина оглашалась отчаянными

воплями, хрипением и визгами, как визжит железо под пилой.

— Ох, горе душам нашим! — вздыхал Арефа, съеживался и шептал молитву.

— Што, не глянется? — смеялся Брехун. — Это, видно, получше будет ваших монастырских шелепов... Воевода Полуехт Степаныч тешит свою душеньку, а ка̀том [1] у него башкир Кильмяк — такая собака, што не приведи бог во сне увидать... С одного раза может убить человека, когда расстервенится. Кнутом наказали душ пятнадцать за дубинщину, а другим ноздри повырывали... И игумен вместе с ним: все, слышь, прибавки просит. Тоже с Баламутских заводов сам Гарусов наезжал: у него с Полуэхтом-то Степанычем рука руку моет.

— Слышь, как резанул опять Кильмяк?.. Батюшки-светы, преподобный Прокопий! — молился вслух Арефа, прислушиваясь к заплечной работе. — Што же это будет такое? Душеньку вынули...

Молчал один Белоус, хотя ему приходилось больше всех бояться кровавой работы Кильмяка. Это был важный преступник, попавшийся с поличным, и разлакомившийся кровавою расправою воевода приберегал его на закуску. Все остальные содержались по оговору или по подозрению, а дьячок Арефа представлен был самим грозным игуменом Моисеем, как зачинщик и подстрекатель крестьянского бунта. Белоуса уже два раза выводили на допрос, и два раза его приносили с допроса замертво и в таком виде приковывали к пруту. Он дней по пяти не мог подняться на ноги, и Арефа залечивал раны на спине его хлебным мякишем. Искусный был дьячок и слыл за колдуна.

Узники содержались давно, а Белоус не сказал и десяти слов. Его молчание было нарушено только раз, именно утром, когда в оконце узникам подавали еду, то есть несколько ломтей ржаного хлеба с луком. В это утро, вместо усатой солдатской рожи, в оконце показалось румяное девичье лицо.

---

[1] Кат — палач. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Здесь батя? — спрашивал девичий голос, перехваченный слезами.

— Охонюшка, милая... да тебя ли я вижу, свет мой ясный! — откликнулся Арефа, подходя к оконцу. — Да как в город-то попала, родная?

— Матушка прислала, батя... Горюет она по тебе, а тут поп Мирон наклался в город ехать, вот матушка и прислала меня проведать тебя. Слезьми вся изошла матушка-то...

— Да как же ты, Охонюшка, в чужом-то месте не боишься?

— А мы на монастырском подворье встали, батя... Ловко там. Монашек Гермоген там же... Он еще не монашек, а на послушанье.

— Какой Гермоген, Охонюшка? Чего-то ровно такого не упомню в Прокопьевском... Разве пришлый какой?

— Нет... Пономарь-то наш Герасим, помнишь? — он самый и будет. Сейчас после святой пошел в монастырь и теперь в служках, а потом пострижется.

— Ах, какой грех... то есть оно, конешно, божье дело, а жаль парня. Как же это так вышло-то, Охонюшка?.. Ну, его дело, ему и ближе знать. А поп Мирон што?

— Ничего, батя... Пытал он Герасима-то уговаривать, тот не послушался. Надоело, говорит, в миру жить... А я к тебе, батя, каждое утро буду приходить. Матушка гостинцев прислала. «Отдай, говорит, бате», а сама без утыху плачет.

Охоня присела к окошечку на корточки и тоже всплакнула, когда увидела исхудалое и пожелтевшее лицо старика отца. Это была среднего роста девушка с загорелым и румяным лицом. Туго заплетенная черная коса ползла по спине змеей. На скуластом лице Охони с приплюснутым носом и узкими темными глазами всего замечательнее были густые, черные, сросшиеся брови — союзные, как говорили в старину. Такие брови росли, по народному поверью, только у счастливых людей. Одета она была во все домашнее, как простая деревенская девка.

— Это чья такая будет? — спрашивал Белоус, когда Охоню от оконца оттащила дюжая солдатская рука: шел на допрос сам воевода.

— Моя, видно, — ответил Арефа не без гордости. — Дочерью прежде звали...

— Что-то не похожа на тебя, — усомнился Белоус.

— Говорят тебе, что моя! — сказал Арефа. — Не лошадь, тавра не положено.

— То-то вот и есть, что дочь твоя, а тавро-то чужое...

— Молчи, пес! Может, она поближе, чем своя, а как уж она мне приходится, и сам не разберу... Эх, вышло тут одно неудобь-сказуемое дельце. Еще при игумене Поликарпе вышло-то, когда он меня на неводьбу в орду посылал, на степные озера. Съездил я до трех раз и все благополучно: преподобный Прокопий проносил, а тут моя-то дьячиха и увяжись за мной. «Скушно мне без тебя, Арефа, поеду с тобой». — «Куда ты, глупая? В степе-то наедут кыргызы и заколют обоих». — «Ничего, говорит, когда, говорит, я у батюшки в Черном Яру в девках еще жила, так они, собаки, два раза наезжали, а я из ружья в них палила, в собак»... Дьячиха-то у меня орел-баба. Ну, собрались мы со своею худобой и поехали в степь. На озера приехали благополучно и целую неделю так-то и прожили, а тут ночью, под Ильин день, собаки-кыргызы и наехали... Мы вместе с дьячихой-то спали, — ну, один кыргыз меня копьем к земле приколол, а другой ухватил дьячиху и уволок. Не далась бы она живою, кабы не сонная, — мертвый у ней сон. Так ее, сердешную, в степь и увезли, а меня в монастырь предоставили колотого. Полгода я лежал так-то, — нога у меня наскрозь копьем пройдена. Пришел после в свою избенку на Служней слободе и горько всплакал: не стало моей дьячихи. Однако помолился я преподобному Прокопию, а он и ущитил мою дьячиху от орды: через полгода выворотилась дьячиха-то из степи... Ушла одвуконь ночным делом, когда орда спала. Ну, а только выворотилась она такая...

— Какая?

— Да уж такая... Отяжелела в орде моя дьячиха, вот какая... Ну, а потом разродилась вот этою самою Охоней. Других детей у нас нет, вот нам и вышла радость на старости лет. За свою растим... Бог дал Охоню.

Белоус ничего не сказал, а только съежил богатырские плечи. Красивый был казак, кудрявый, глаза серые, бойкие, а руки железные. День и ночь он думал об одном, а Охоня нарушила его вольные казацкие мысли.

II

Охоня стала ходить к судной избе каждое утро, чем доставляла немало хлопот караульным солдатам. Придет, подсядет к окошечку, да так и замрет на целый час, пока солдаты не прогонят. Очень уж жалела отца Охоня и горько плакала над ним, как причитают по покойникам, — где только она набрала таких жалких бабьих слов!

— Родимый ты мой батюшка, застава наша богатырская! — голосила Охоня, припадая своей непокрытой девичьей головой к железной оконной решетке. — Жили мы с матушкой за тобой, как за горою белокаменной, зла-горя не ведали...

Эти причеты и плачи наводили тоску даже на солдат, — очень уж ревет девка, пожалуй, еще воевода Полуект Степаныч услышит, тогда всем достанется. Охоня успела разглядеть всех узников и узнавала каждого по голосу. Всех ей было жаль, а особенно сжималось ее девичье сердце, когда из темноты глядели на нее два серых соколиных глаза. Белоус только встряхивал кудрями, когда Охоня приваливалась к их окну.

— Не застуй [1], девка... — заметил он ей всего один раз. — Без тебя тошно.

Ходила, ходила Охоня, надоело попу Мирону ее ждать, и уехал он домой вместе со служкой Гермоге-

---

[1] Не застуй — не заслоняй света. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

ном, а Охоня дошла-таки до своего. Пришла она раз своим обычаем к судной избе, припала к оконцу, а солдаты накинулись отгонять ее.

— Убирайся, девка, откуда пришла! — кричал на нее сердитый капрал.

— Я не девка, а отецкая дочь, — бойко отвечала Охоня.

— Сказывай, а все-таки убирайся подобру-поздорову... Воевода придет, так наотвечаешься за тебя, а вся-то твоя девичья цена: наплевать. Проваливай, говорят...

— Не пойду!.. Не трожь, говорят!

Сначала солдаты старались оттолкнуть Охоню вежливенько, кто плечом, кто кулаком, но она остервенилась и накинулась на солдат, как волчица.

— Креста на вас нет, скобленые рыла!.. — кричала Охоня, цепляясь за солдатскую амуницию. — Девка им помешала... Стыда у вас в глазах нет!..

Слово за слово, и кончилось дело рукопашной. Проворная и могутная была дьячковская дочь и надавала команде таких затрещин, что на нее бросился сам капрал. Что тут произошло, трудно сказать, но у Охони в руках очутилась какая-то палка, и, прислонившись к стене, девушка очень ловко защищалась ею от наступавшего врага. Во время свалки у Охони свалился платок с головы, и темные волосы лезли на глаза.

— Не давайся, Охоня, вшивой команде! — послышался из подземелья знакомый молодой голос. — Катай их по бритым-то рылам!

В самый критический момент, когда Охоня уже ослабевала, к судной избе подъехал верхом на гнедом иноходце сам воевода Полуект Степаныч.

— Стой, команда! — зычно крикнул он на солдат. — Что за драка?

— Вот девка увязалась, — жаловался капрал. — Никак не могли ее отогнать от избы.

— Не девка, а отецкая дочь! — с гордостью ответила Охоня.

Воевода Чушкин, старик с седою коренною бородкой, длинным носом и изрытым оспой «шадривым» лицом, держался в седле еще молодцом. Он оглядел

Охоню с ног до головы и только покачал головой. Смущенная стража сбилась в одну кучу, как покрытые решетом молодые петухи. Воспользовавшись воеводским раздумьем, Охоня кубарем бросилась начальству в ноги, так что шарахнулся в сторону иноходец, а затем уцепилась за воеводское стремя.

— Ущити, воевода, честную отецкую дочь! — кричала Охоня. — Твои солдаты безвинно опростоволосили и надругались над моею дивьей красотой... Смертным боем хотели убить.

— Постой, дура! — крикнул воевода, сдерживая шарашившуюся лошадь. — Откедова ты взялась-то, жар-птица?.. Чего тебе надобно?

— Батю отдай, воевода... моего батю... Безвинно он на цепь посажен. Мамушка слезами изошла... Дьячил батя в Служней слободе, а игумен Моисей по злобе его заковал.

Воевода грозно нахмурился, стараясь припомнить дьячка из Служней слободы. Мало ли у него народа по затворам сидит. Но какая-то неожиданная мысль осенила воеводское чело, и старик подозвал капрала.

— Выпустить колодников! — приказал он. — А ты, отецкая дочь, лошадь-то не пугай у меня! Дуры эти бабы, прямо сказать. Ну, чего голосишь-то? Надень платок, глупая...

Загремел тяжелый замок у судной тюрьмы, и узников вывели на свет божий. Они едва держались на ногах от истомы и долгого сиденья. Белоус и Аблай были прикованы к середине железного прута, а Брехун и Арефа по концам. Воевода посмотрел на колодников и покачал головой, — дескать, хороши голуби.

— Ну, отецкая дочь, выбирай любого, — сказал воевода. — Ни которого не жаль.

Конечно, Охоня бросилась к отцу и повисла на его шее со своими бабьими причитаньями, так что воевода опять нахмурился.

— Будет, не люблю, — сказал он и прибавил, обращаясь к капралу: — Раскуйте этого дурака-дьячка, а с игуменом я свой разговор буду иметь.

Арефа стоял и не мог произнести ни одного слова, точно все происходило во сне. Сначала его отковали от

железного прута, а потом сняли наручни. Охоня догадалась и толкнула отца, чтобы падал воеводе в ноги. Арефа рухнул всем телом и припал головой к земле, так что его дьячковские косички поднялись хвостиками вверх, что вызвало смех выскочивших на крыльцо судейских писчиков.

— Кормилец, Полуехт Степаныч, безвинно от игумна претерпел, — заговорил Арефа, стукаясь лбом в землю.

— Ну, ладно, потом разберем, — ответил воевода. — Кабы не вырастил такую вострую дочь, так отведать бы тебе у Кильмяка лапши... А ты, отецкая дочь, уводи отца, пока игумен не нагнал, в город.

Охоня, как птица, подлетела к воеводе и со слезами целовала его волосатую руку. Она отскочила, когда позади грянула цепь, — это Белоус схватил железный прут и хотел броситься с ним на воеводу или Охоню, — трудно было разобрать. Солдаты во-время схватили его и удержали.

— Гей, приковать его за шею отдельно от других! — скомандовал воевода.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Белоус, делая отчаянную попытку вырваться из вцепившихся в него дюжих рук. — А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса.

Эти слова заставили Охоню задрожать — не боялась она ни солдат, ни воеводы, а тут испугалась. Белоус так страшно посмотрел на нее, а сам смеется. Его сейчас же увели куда-то в другое подземелье, где приковал его к стене сам Кильмяк, пользовавшийся у воеводы безграничным доверием. На железном пруте остались башкир Аблай да слепец Брехун, которых и увели на старое место. Когда их подводили к двери, Брехун повернул свое неподвижное лицо и сказал воеводе:

— Не в пору ты разлакомился, Полуехт Степаныч... Дерево не по себе выбираешь, а большая кость у волка поперек горла встает.

Арефе сделалось даже совестно, когда низенькая деревянная дверь, обитая толстыми железными полосами, точно проглотила его недавних товарищей по сиденью в «узилище». Сам он через девку вышел на

волю и читал немой укор своей мужской гордости на окружающих лицах.

Воевода подождал, пока расковали Арефу, а потом отправился в судную избу. Охоня повела отца на монастырское подворье, благо там игумена не было, хотя его и ждали с часу на час. За ними шла толпа народу, точно за невиданными зверями: все бежали посмотреть на девку, которая отца из тюрьмы выкупила. Поровнявшись с соборною церковью, стоявшею на базаре, Арефа в первый раз вздохнул свободнее и начал усердно молиться за счастливое избавление от смертной напасти.

— Охонюшка, милая, не ты меня выкупила своими слезами, — сказал он дочери, — а бысть мне в нощи прещение... Видел я преподобного Прокопия и слезно плакался: его молитвами умягчилось воеводное сердце.

— Скорее бы только из городу выбраться, батя, — говорила Охоня, — а там уж все вместе помолитвуем преподобному.

— Ох, и то бы скорее!..

Арефа шел с трудом: и ноги, избитые кандалами, болели, да и сам он шатался от слабости. Когда купцы увидали выпущенного на волю колодника, то надавали ему медных денег. Арефа даже прослезился от сыпавшейся на него благодати.

Город Усторожье был не велик: дворов на шестьсот. Постройки все деревянные, как воеводский двор и старая церковь. Каменное здание было одно — новый собор, выстроенный тщанием, а отчасти иждивением воеводы Чушкина. Все это деревянное строение было обнесено земляным валом, а на валу шел тын из бревен, деревянные рогатки и «надолбы». По углам, где сходились выси, поднимались срубленные в паз деревянные башни-бойницы. Трое ворот вели из города: одни — на полдень, другие — на север, а третьи — прямо в орду, то есть в сторону степи. Усторожье вырос из небольшого пограничного острожка, в котором казаки отсиживались и от башкир, и от киргизов, и от калмыков. Боевое местечко выдалось, и в случае «заворохи» сюда сбегались поселыщики из всех окрестных деревень, поселков и займищ, пока не улегалась гроза.

Монастырское подворье было сейчас за собором, где шла узкая Набежная улица. Одноэтажное деревянное здание со всякими хозяйственными пристройками и большими хлебными амбарами было выстроено еще игуменом Поликарпом. Монастырь бойко торговал здесь своим хлебом, овсом, сеном и разными припасами. С введением духовных штатов подворье точно замерло, и громадные амбары стояли пустыми.

— Жаль, што поп-то Мирон уехал, — жалел Арефа, присаживаясь на скамеечку у ворот подворья перевести дух. — Довез бы он нас по пути.

— И пешком дойдем, батя, только бы из города поскорее вырваться, — говорила Охоня, занятая одною мыслью. — То-то мамушка обрадуется...

В подворье сейчас никого не было, кроме старца Спиридона, проживавшего здесь на покое, да нескольких амбарных мужиков из своей монастырской вотчины. Арефу встретили, как выходца с того света, а дряхлый Спиридон даже прослезился.

— Мертв был, а теперь ожил, — шептал старик и качал своею седою головой, когда Охоня рассказывала ему, как все случилось. — На счастливого все, Охоня. Вот поп-то Мирон обрадуется, когда увидит Арефу... Малое дело не дождался он: повременить бы всего два дни. Ну, да тридцать верст[1] до монастыря — не дальняя дорога. В двои сутки обернетесь домой.

Первым делом, конечно, была истоплена монастырская баня, — Арефа едва дождался этого счастья. Узникам всего тяжелее доставалось именно это лишение. Изъеденные кандалами ноги ему перевязала Охоня, — она умела ходить за больными, чему научилась у матери. В пограничных деревнях, на которые делались постоянные нападения со стороны степи, женщины умели унимать кровь, делать перевязки и вообще «отхаживать сколотых».

— Зело оскорбел во узилище, доченька, — жаловался Арефа. — Сидел на гноище, как Иов многострадальный...

---

[1] В старину версты считались в тысячу сажен. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Забравшись в бане на полок, Арефа блаженствовал часа два, пока монастырские мужики нещадно парили его свежими вениками. Несколько раз он выскакивал на двор, обливался студеною колодезною водой и опять лез в баню, пока не ослабел до того, что его принесли в жилую избу на подряснике. Арефа несколько времени ничего не понимал и даже не сознавал, где он и что с ним делается, а только тяжело дышал, как загнанная лошадь. Охоня опять растирала ему руки и ноги каким-то составом и несколько раз принималась плакать.

— Перестань, дура, — проговорил очнувшийся Арефа. — Исхитил преподобный Прокопий из львиных челюстей невредима, а вперед — бог. Сподобился и в бане попариться.

После бани старец Спиридон преподнес Арефе монастырского травника, который на подворье не переводился, и недавний узник даже крякнул от удовольствия. Но не успел он поднести чарку ко рту, как в дверях появились два солдата с воеводского двора.

— Где здесь дьячок Арефа? — спрашивал старший.

— Нету его, — уехал домой! — ответила за отца Охоня.

— А нас прислал воевода за ним: надобен на воеводский двор немедля. Строгий наказ от самого воеводы. Погоню пошлет, ежели уехал.

Арефа перекрестился, выпил чару и отвечал:

— Здесь! Девка по глупости сболтнула, што уехал. Вот ужо оболокусь и предстану воеводе.

— Ты поскорее, дьячок, — воевода не любит ждать.

У Охони даже сердце упало, когда она увидала воеводских «приставов»: надо было сейчас же бежать из города, а теперь воевода опомнился и опять посадит батю в темницу. Она помогала отцу одеваться, а сама была ни жива ни мертва, даже зубы чокали, точно в трясовице.

— Батя, не ходи: расказнит тебя воевода, — шепнула она отцу. — А то лучше я с тобой сама пойду.

Освеженный баней, Арефа совсем расхрабрился и даже цыкнул на дочь, зачем суется не в свое дело.

Главное, не было в городе игумена Моисея, а Полуект Степаныч помилует, ежели подвернуться в добрый час.

Бедная Охоня опять горько плакала, когда пристава повели отца на воеводский двор.

III

Воевода Полуект Степаныч, проводив дьячка Арефу, отправился в судную избу производить суд и расправу, но сегодня дело у него совсем не клеилось. И жарко было в избе, и дух тяжелый. Старик обругал ни за что любимого писчика Терешку и вообще был не в духе. Зачем он в самом-то деле выпустил Арефу? Нагонит игумен Моисей и поднимет свару, да еще пожалуется в Тобольск, — от него все станет.

— А девка — мак! — вслух проговорил воевода, когда Терешка подсунул ему какую-то бумагу.

— Мак-то мак, да не совсем, — ответил Терешка, один из всей приказной челяди осмеливавшийся разговаривать с воеводой.

— А што?

— Да так... Неспроста это дело вышло, Полуехт Степаныч: дьячок-то Арефа зазнамый волхит [1].

— Н-но-о?

— Да уж верно: и кровь умеет заговаривать и траву всякую знает. Кого змея укусит, лошадь разнеможется, с глазу кому попритчится, — все к Арефе идут. Не прост человек, одним словом...

Это известие заставило воеводу задуматься. Дал он маху — девка обошла, а теперь Арефа будет ходить по городу да бахвалиться. Нет, нехорошо. Когда пришло время спуститься вниз, для допроса с пристрастием, воевода только махнул рукой и уехал домой. Он вспомнил нехороший сон, который видел ночью. Будто сидит он на берегу, а вода так и подступает; он бежать, а вода за ним. Вышибло из памяти этот сон, а то не видать бы Арефе свободы, как своих ушей.

Воеводский двор стоял тоже у базарной площади,

---

[1] Волхит — волшебник. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

как и монастырское подворье, только по другую сторону, где шли мелкие лавочки с разным товаром. Одноэтажный деревянный дом со слюдяными оконцами и железною крышей тянулся сажен на десять и на улицу выходил пузатым раскрашенным крылечком. Внутренние покои были низки, но уютны. В одной половине воевода проживал сам, а в другой помещалась его воеводская канцелярия. Места в доме хватило бы еще на две семьи, благо Полуект Степаныч жил с женой Дарьей Никитичной сам-друг, — детей у них не было. Покои внутри были расписаны, а на полу везде лежали бухарские ковры, которые воевода получал в благодарность с менового двора и торговых застав. Всякого добра было достаточно у воеводы, кроме того, что детками господь не благословил. Это всего больше сокрушало воеводшу, ездившую много раз в Прокопьевский монастырь, советовавшуюся со знахарями и бабами-ведуньями, а толку никакого. Брюзглая и толстая Дарья Никитична горько плакалась на свою судьбу, а бабьи годы все уходили да уходили...

— Што воротился-то спозаранку? — встретила она мужа.

— Так, — коротко ответил воевода. — Не твоего бабьего ума дело.

Воевода выпил чарку любимого травника от сорока немощей, который ему присылали из монастыря, потом спросил домашнего меду, — ничто не помогало. Проклятый дьячок не выходил из головы, хоть ты что делай. Уж не напустил ли он на него какой-нибудь порчи, а то и прямо сглазил?.. Долго ли до греха? Вечером воеводе совсем стало невтерпеж, и он отправил за дьячком своих приставов.

«А девка гладкая, — думал воевода и отплевывался от нечестивой мысли, заползавшей в старую голову. — Как ее звать-то? А ловко она солдат орясиной шарашила... Одним словом, удалая девка».

В ожидании дьячка воевода сильно волновался и несколько раз подходил к слюдяному окну, чтобы посмотреть на площадь, не ведут ли пристава волхита. Когда он увидел приближающуюся процессию, то вол-

нение достигло высшей степени. Арефа, войдя в воеводские покои, повалился воеводе прямо в ноги.

— Ну, вот што, несообразный человек, — заговорил воевода, — выпустить я тебя выпустил, а отвечать-то игумену кто будет?

— Безвинно я томился в узилище, Полуехт Степаныч, — взмолился Арефа, стоя на коленях. — Крестьяне бунтовали и хотели игумна убить, а я не причинен... Служил я в своей слободе у попа Мирона и больше ничего не знаю. Весь тут, Полуехт Степаныч, дома нисколько не осталось.

— Хорошо, хорошо... Там после увидим, а что ты теперь-то думаешь делать?

— А в Служнюю слободу домой проберусь. Моя дьячиха, слышь, без утыху ревет.

— Ах, глупая голова!.. Ну, придешь ты к себе в слободу, а игумен опять тебя закует в железо и привезет ко мне... Это как?.. Тогда уже пеняй на себя, а во второй раз я не буду тебя выпускать... Дьячиха-то твоя тогда не так заревет.

— Смилуйся, Полуехт Степаныч, житья мне не стало от игумна... Безвинно он лютует.

— Ну, это ваше дело, а я не судья монастырские дела разбирать. Без того мне хлопот с вашим монастырем повыше усов... А я тебе вот что скажу, Арефа: отдохнешь денек-другой на подворье, да подобру-поздорову и отправляйся на Баламутские заводы... Прямо к Гарусову приедешь и скажешь, што я тебя прислал, а я с ним сошлюсь при случае...

— А как же дьячиха-то, Полуехт Степаныч?

— Увидишь и дьячиху по пути, когда поедешь мимо монастыря. Только проезжай ночью, штобы на глаза игумену не попасть. Тебе же добра желаю, дураку...

Это предложение совсем обескуражило Арефу, и он никак не мог взять в толк, что он будет делать на заводах у Гарусова. Совсем не по его духовной части, да и расстаться с Служнею слободой тяжко. Ох, как тяжко, до смертыньки!

— Ну, один разговор кончили, а теперь заведем другую речь, — заговорил воевода ласково и даже

потрепал Арефу по плечу. — Вот што, милый друг, сказывал мне один человек, што ты зазнамый волхит: и кровь заговариваешь и с порчеными людьми отваживаешься.

— Поклепали напрасно, Полуехт Степаныч. Куда мне при моей худости этакими неподобными делами заниматься?

— На виноватого с поклепом! — засмеялся воевода. — Не бойся, не выдам никому, а дельце есть у меня к тебе, и не маленькое...

Старик огляделся, припер дверь на всякий случай и, усадив дьячка на скамью, проговорил тихим голосом:

— Два у меня дела к тебе, Арефа... Озолочу, коли потрафишь, а не потрафишь — не взыщи. Первое дело, не наградил меня господь детками, а моя воеводша уж в годках и совсем жиром заплыла.

— Слыхивал, Полуехт Степаныч, только мудреное дело... У меня так же с дьячихой было, пока ее в полон не угнали.

— Дурак... Што же мне свою жену, по-твоему, в полон тоже отдать? Прямой ты дурак, дьячок.

— Обмолвился, Полуехт Степаныч... Есть хорошее средствие от неплодия: изловить живого воробья, вынуть из него сердце, сжечь и пеплом поить воеводшу по три утренних зари, а самому медвежьей желчью намазаться. Помогает, особливо ежели с молитвой... На всякое любовное дело способствует и от неплодия разрешает.

— Чего-нибудь врешь, поди?

— Сейчас провалиться, не вру... А другое средство, Полуехт Степаныч, совсем уже секретное и даже неудобь-сказуемое.

— Говори.

— Да ведь грешно и говорить-то!..

— Говори.

— Видишь ли какое дело, Полуехт Степаныч. В степи я слышал от одного кыргыза: у них ханы завсегда так-то делают. Ты уж не сердитуй на меня за глупое слово. Ежели, примерно, у хана нет детей, а главная ханша старая, так ему привозят молоденькую полоняночку, штоб он размолодился с ней. Разгорится

у него сердце с молоденькой, и от старой жены плод будет.

— Послушай, Арефа, за такие твои слова тебя надо к Кильмяку отправить, — пошутил воевода и ухмыльнулся. — Ах ты, оборотень, што придумал!.. Только мне это средство не по моему чину и не по закону христианскому, да и свою Дарью Никитишну не желаю обижать на старости лет. Ах, какое ты мне слово завернул, Арефа. Да ведь надо, штобы молодая-то полюбила старика!

— Ну, это не больно кручиновато дело, Полуехт Степаныч. Самому можно помолодеть, коли понадобится. И нет того проще... Закажи белый плат, чтобы его выткала безвинная девица, да тем платом по семь зорь снимай с пшеничного колоса росу и мажь ей лицо, а то и обвяжи этим платом. Которое лицо рябое или угриновато, все сгонит росой-то...

— Верно говоришь?

— Уж так верно, што вернее не бывает.

Воевода совсем развеселился и даже подал дьячку из собственных рук чарку заветного монастырского травника.

— Из нашей обители травничок, — заметил Арефа, пропустив чарку. — Лучше его нигде не сыщешь.

За хороший совет воевода наградил дьячка еще деньгами и отпустил домой, повторив свой наказ поскорей убираться из города. В последнем случае хитрый старик хлопотал не столько о дьячке, сколько о самом себе: выпустил он дьячка, а того гляди, игумен нагонит.

Воеводе Полуекту Степанычу уже надоело возиться с разборкой монастырской «дубинщины», тем более что бунтовавшие крестьяне уже отписаны были от монастыря по новым духовным штатам. Из разборки ясно выступало одно, что кругом был виноват перестроживший игумен Моисей, утеснявший своих монастырских крестьян непосильными работами и наказывавший их нещадно за малейшую провинность. Целых два года тянулась разборка, и Полуект Степаныч, наконец, устал. Конечно, и крестьянишки были тоже виноваты, зачем поднялись «с уязвительным оружием» на игумена и чуть не порушили самый монастырь. И как

ведь поднялись: тысячи три народу сбилось. Озверели вконец, полезли к монастырским стенам, а игумен их кипятком со стен варил, горячею смолою обливал, из пищалей палил и смертным боем бил. Хорошо, что вовремя дошла весть о монастырской «заворохе» в Усторожье, и монастырь выручили рейтары, проживавшие на винтер-квартирах, да драгунский полк, подоспевший из Тобольска. Как ударила эта воинская сила, так дубинщина и разбежалась по своим углам.

— Суди бог игумена, — часто повторял Полуект Степаныч, производя расправу над крестьянами. — Не нам, грешным, судить его высокий сан.

Целыми толпами приводили в Усторожье замешанных в дубинщине крестьян, и воевода творил нещадный суд. А игумен разгорелся яростью и присылал все новых виновников, которых разыскивал по бывшим монастырским деревням. Опалился на них игумен больше всего за то, что вскоре за дубинщиной введены были духовные штаты, и крестьяне объясняли, что это они своей дубинщиной доняли монастырь. Игумен хватал без разбору каждого, на кого только доносили. К таким случайным бунтарям принадлежал и дьячок Арефа, вины которого воеводский сыск не мог найти, несмотря ни на какое пристрастие. И слепец Брехун тоже, — он попал за какие-то «поносные речи» на игумена. Вот беломестный казак Белоус — другое дело: этот кругом виноват... Он подводил толпы дубинщиков к монастырским воротам и похвалялся разнести весь монастырь по кирпичику. Попался Белоус в руки воеводы одним из последних, потому что после дубинщины больше года скрывался где-то на Яике, по казачьим уметам.

— Арефу выпустил, а с Белоусом разделаюсь, — утешал себя воевода.

IV

Из Усторожья под вечер выезжала простая крестьянская телега, в которой ехал Арефа с дочерью Охоней по монастырской дороге. Лошадь и телегу они должны были сдать в монастырь.

— Пронесло тучу мóроком, а все преподобный Прокопий, о Христе юродивый, — повторял дьячок вслух и крестился. — Легкое место сказать, высидел в узилище цельную зиму, а теперь отрыгнут на волю, яко от кита Иона.

Охоня правила лошадью и больше молчала. Она часто оглядывалась, точно боялась за собой погони. Да и было чего бояться: у нее с ума не шел казак Белоус, который пригрозил ей у судной избы: «А ты, отецкая дочь, попомни Белоуса!» Даже во сне грезился Охоне этот лихой человек, как его вывели тогда из тюрьмы: весь в лохмотьях, через которые видно было покрытое багровыми рубцами и не зажившими свежими ранами тело, а лицо такое молодое да сердитое. Когда Белоус бросился на воеводу, Охоня закрыла лицо руками и покорно ждала, как он ударит ее железным прутом, ей так и казалось, что сейчас смерть. Не теперь, так потом убьет, коли пообещал... Ухаживая на монастырском подворье за отцом, Охоня все время думала о Белоусе и вздрагивала от малейшего шороха. И теперь дорогой она все боялась, хотя не говорила отцу ни слова.

Дорога в монастырь наполовину шла лесом. Ехать ночью, пожалуй, было и опасно, если бы не гнала крайняя нужда. Арефа поглядывал все время по сторонам и говорил несколько раз:

— Ну, чего с нас взять, Охоня, ежели разбойные люди подвернутся?

— Ничего у нас нет, батя, — соглашалась Охоня.— Поп Мирон вон не боится... А на него грозились, потому как он с собой деньги возит.

— Попа-то Мирона не скоро возьмешь, — смеялся Арефа. — Он сам кого бы не освежевал. Вон какой он проворнящий поп... Как-то по зиме он вез на своей кобыле бревно из монастырского лесу, ну, кобыла и завязла в снегу, а поп Мирон вместе с бревном ее выволок. Этакого-то зверя не скоро возьмешь. Да и Герасим с ним тоже охулки на руку не положит, даром што иноческий чин хочет принять. Два медведя, одним словом.

Ночь застала путников на полдороге, где кончался лес и начинались отобранные от монастыря угодья. Арефа вздохнул свободнее: все же не так жутко в чистом поле, где больше орда баловалась. Теперь орда отогнана с линии далеко, и уже года два, как о ней не было ни слуху ни духу. Обрадовался Арефа, да только рано: не успела телега отъехать и пяти верст, как у речки выскочили четверо и остановили ее.

— Стой!.. Кто жив человек едет?

Двое ухватили лошадь, а двое приступили к телеге.

— Обознались, други милые, — ответил Арефа. — Поймали, да не ту птицу... Дьячок Арефа из затвору едет, а взять с него нечего, окромя язв и ран.

— Ах ты, дурень старый! — ругались разбойные люди. — А мы думали, кто другой.

— Ступайте к попу Мирону, у него денег много, — посоветовал ехидно Арефа. — Будет пожива... Пожалуй, вот девку мою возьмите, надоело мне ее кормить.

— Не до девок нам, дурья голова!

Разбойные люди расспросили дьячка про розыск, который вел в Усторожье воевода Полуект Степаныч, и обрадовались, когда Арефа сказал, что сидел вместе с Белоусом и Брехуном. Арефа подробно рассказал все, что сам знал, и разбойные люди отпустили его. Правда, один мужик приглядывался к Охоне и даже брал за руку, но его оттащили: не такое было время, чтобы возиться с бабами. Охоня сидела ни жива ни мертва, — очень уж она испугалась. Когда телега отъехала, Арефа захохотал.

— Вот дураки-то! — говорил он. — Они за лошадь, а я преподобному Прокопию молитву творю... Прямо дураки!.. Где же им супротив нашего заступника устоять, Охонюшка?

Все-таки благодаря разбойным людям монастырской лошади досталось порядочно. Арефа то и дело погонял ее, пока не доехал до реки Яровой, которую нужно было переезжать вброд. Она здесь разливалась в низких и топких берегах, и место переправы носило старинное название «Калмыцкий брод», потому что здесь переправлялась с испокон веку всякая степная орда. От Яровой до монастыря было рукой подать,

всего верст с шесть. Монастырь забелел уже на свету, и Арефа набожно перекрестился.

— Привел господь мне, недостойному, узреть святую обитель, — проговорил он и даже прослезился.

Начались пашни, а в сторону Яровой ушли зеленою полосой монастырские поемные луга, на которых случалось работать и Арефе, когда он состоял в обители на смирении. И хороши места — скатерть-скатертью! И Яровая-то как разливается... Арефа глядел по сторонам и не мог налюбоваться. Под самым монастырем река была сдавлена каменистой грядой. Правый берег поднимался высокой кручей, на которой красовался густой сосновый бор. Левый берег широким языком вдавался в реку, и на этом откосе рассыпала свои деревянные избушки Служняя слобода с бревенчатою церковкой посредине. Монастырь стоял ниже, на самом берегу, и далеко белел своими зубчатыми каменными стенами, сложенными еще игуменом Поликарпом. Арефа на околице вылез из телеги и велел Охоне ехать одной.

— А ты куда, батя?

— Поезжай, дура...

Когда телега с Охоней скрылась, Арефа пал на землю и долго молился на святую обитель, о которой день и ночь думал, сидя в своем затворе. Самое угодное место, и не будь дьячихи, Арефа давно бы постригся в монахи, как Герасим. Да и не стоило на миру жить. Отдохнуть хотел Арефа и успокоить свою грешную душу. Будет, до зла-горя черпнул он мирской суеты, и пора о душе позаботиться. Всегда Арефа завидовал нескверному иноческому житию, и сама дьячиха уже не один раз говорила ему, что пора за божье дело приниматься, а о мирском позабыть.

Домой Арефа пошел задáми, чтобы кто-нибудь на Служней его не узнал и не донес игумену Моисею. Он шел берегом Яровой и несколько раз перелезал через прясла огородов, выходивших прямо к реке. Вверх по реке, сейчас за Служней слободой, точно присела к земле своею ветхой деревянною стеною Дивья обитель, — там вся постройка была деревянная, и давно надо было обновить ее, да грозный игумен Моисей не

давал старицам ни одного бревна и еще обещал совсем снести эту обитель, потому что не подобало ей торчать на глазах у Прокопьевского монастыря: и монахам соблазн, да и мирские люди напрасные речи говорили. Только была одна причина, которая делала игумена Моисея бессильным: в Дивьей обители сидела в затворе вот уже двадцать лет присланная из Петербурга неизвестная «болярыня». Кто она такая, знал один игумен Моисей. Когда умерла императрица Елизавета, игумен думал, что болярыню выпустят, но наступил Петр III, потом Екатерина II, а болярыня все сидела и сидела: ее забыли там, в Петербурге. Так Дивья обитель и держалась своею именитою узницей.

Дьячковская избушка стояла недалеко от церкви, и Арефа прошел к ней огородом. Осенью прошлого года схватил его игумен Моисей, и с тех пор Арефа не бывал дома. Без него дьячиха управлялась одна, и все у ней было в порядке: капуста, горох, репа. С Охоней она и гряды копала и в поле управлялась. Первым встретил дьячка верный пес Орешко: он сначала залаял на хозяина, а потом завизжал и бросился лизать хозяйские руки. На его визг выскочила дьячиха и по обычаю повалилась мужу в ноги.

— Родимый ты мой, Арефа Кузьмич! — причитала она истошным голосом, обнимая мужа за ноги. — И не думала я тебя в живых видеть, солнышко ты мое красное!..

— Тише, баба!.. — окликнул Арефа жену. — Чему обрадела-то?

Дьячиха Домна Степановна была высокая, здоровенная женщина, широкая в кости и с таким рябым лицом, про которое все соседи говорили, что по ночам на нем черт горох молотил. Некрасива была дьячиха, но зато могла воротить весь дом, да еще успевала обругать всю свою улицу. На прокопьевской ярмарке она торговала квасом и калачами, а по зимам сама ездила за дровами. Одним словом, клад — не баба, если б не побывала в полоне у орды. Чуть что, свои бабы и начнут корить богоданною дочкою Охоней, которую дьячиха из орды принесла. Охоня часто плакала, когда ребята на улице ей проходу не давали: и раскосая, и

черная, и киргизская кость. Матери подучат, а ребятишки выкрикивают.

Вошел Арефа в свою избушку и долго молился образу Прокопия, который стоял в переднем углу, а потом уже поздоровался с женой.

— Ну, здравствуй, Домна Степановна... Каково живешь-можешь?

— Ох, и не спрашивай, Арефа Кузьмич! — всплакала дьячиха. — И свету божьего без тебя не видала... Глазыньки все проплакала.

Лошадь Арефа отправил к попу Мирону с Охоней, да заказал сказать, что она приехала одна, а он остался в Усторожье. Не ровен час, развяжет поп Мирон язык не ко времени. Оставшись с женой, Арефа рассказал, как освободила его Охоня, как призывал его к себе воевода Полуект Степаныч и как велел, нимало не медля, уезжать на Баламутские заводы к Гарусову.

— Опять ты сиротой останешься, Домна Степановна, — проговорил он ласково, жалея жену. — Сколь времени, а поживу у Гарусова, пока игумен утишится... Не то горько мне, што в ссылку еду и тебя одну опять оставлю, а то горько, што на заводах все двоеданы [1] живут. Да и сам Гарусов двоеданит и ихнюю руку держит... Тошно и подумать-то, Домна Степановна.

Запричитала и завыла дьячиха пуще прежнего, пока муж не цыкнул на нее. Потом он осмотрел хозяйским глазом всю свою домашнюю худобу и за все похвалил дьячиху: все в порядке и на своем месте, любому мужику впору.

— День-то проболтаюсь у тебя, а в ночь выеду на заводы, — сказал Арефа, когда послышались шаги Охони. — Смотри, никому ни гугу...

Так целый день и просидел Арефа в своей избушке, поглядывая на улицу из-за косяка. Очень уж тошно было, что не мог он сходить в монастырь помолиться. Как раз на игумена наткнешься, так опять сцапает и

---

[1] Двоеданами называли при Петре I раскольников, потому что они были обложены двойной податью. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

своим судом рассудит. К вечеру Арефа собрался в путь. Дьячиха приготовила ему котомку, сел он на собственную чалую кобылу и, когда стемнело, выехал огородами на заводскую дорогу. До Баламутских заводов считали полтораста верст, и все время надо было ехать берегом Яровой.

За околицей Арефа остановился и долго смотрел на белые стены Прокопьевского монастыря, на его высокую каменную колокольню и ряды низких монастырских построек. Его опять охватило такое горе, что лучше бы, кажется, утопиться в Яровой, чем ехать к двоеданам. Служняя слобода вся спала, и только в Дивьей обители слабо мигал одинокий огонек, день и ночь горевший в келье безыменной затворницы.

— Двум смертям не бывать, а одной не миновать, — решил Арефа, понукая свою чалую кобылу.

Прокопьевский монастырь был основан в конце XVII столетия пустынножителем Саввой, в иночестве Савватием, когда кругом жила еще «орда» «обонпол Яровой». Около Савватия собрались благоуветливые старцы, искавшие спасения «в отишии» дремучих лесов по Яровой. Так возникла новая обитель, «яже в сибирстей стране», а потом она переименовалась в общежительный монастырь. Инок Савватий по происхождению был не чужим для орды, потому что его мать была татарка. Казаки в большинстве случаев женились на татарках, о чем сибирский летописец повествует так: «Поколение в казацком сословии первоначально пошло от крови татарок, которые, быв обласканы смелыми пришельцами, взошли на ложе их, впоследствии законное, по подобию сабинянок, и с чертами кавказского отродья не обезобразили мужественного потомства». Это обстоятельство много помогло Савватию удержаться в незнакомой стране, принадлежавшей кочевникам. На новую обитель делались частые нападения, и благоуветливые иноки отсиживались за деревянными стенами с разным «уязвительным оружием» в руках. Решительный момент для обители наступил, когда в степь был выдвинут новый городок Усторожье. Русская колонизация сразу двинулась вперед, и лихие времена для обители миновали навсегда.

Если и приходилось ей терпеть напасти от орды, то помощь теперь была под рукой: воинские люди приходили из Усторожья и выручали обитель. Главное богатство Прокопьевского монастыря заключалось в земельных угодьях, захваченных еще до основания Усторожья. Лес, пашенные места, сенокосы, рыбные ловли, бортные ухожья и хмельники — всего было вволю, и монастырь быстро вырос и украсился на славу. Вклады благочестивых людей в монастырскую казну усилили это богатство, а несколько тысяч крестьян, осевших на монастырской земле, представляли собой даровую рабочую силу. Так было до введения духовных штатов, когда за монастырем не осталось и десятой части его земельных богатств, а крестьяне монастырских вотчин перечислены были на государя. Дубинщина являлась последним ударом. Игумен Моисей попал в разгар монастырского лихолетья, и это окончательно его ожесточило.

Одним словом, наступало новое время и новые порядки, и тот же игумен Моисей предпочел бы стародавние времена, когда приходилось выстаивать обители перед ордой одними своими силами, минуя всякую воинскую помощь.

V

После отъезда дьячка Арефы из Усторожья воевода Полуект Степаныч ходил как в воду опущенный. Всякое дело у него из рук валилось, и он точно забыл про судную избу, где заканчивалось дело по разборке монастырской «заворохи». Ходит воевода по своим покоям и тяжко вздыхает. А по ночам сна решился. Воеводша Дарья Никитична заприметила, что с мужем что-то попритчилось, но ни к чему не могла приложить своего бабьего ума. Она и наговорную соль клала воеводе под подушку, и мазала волчьим салом все пороги в доме, и даже с уголька спрыснула воеводу, когда он выходил из бани, — ничего не помогало. Дело раскрылось само собой, когда пришла к воеводше старуха, мать Терешки-писчика, и под великим секретом сообщила, что воевода испорчен волхитом, дьячком из

Служней монастырской слободы, который через свое волшебство и из тюрьмы выпущен на соблазн всему городу. Приплела старая баба и отецкую дочь Охоню, которая ульстила своими девичьими слезами воеводино сердце.

Вскипело сердце у старой воеводши от неслыханного позора, и поднялась она настоящей медведицей.

— Ужо расскажу все игумну Моисею! — грозила она мужу. — Не буду я, ежели не скажу... Где это показано, штобы живых людей изводить?

— Перестань, старая дура! — огрызался воевода. — Истинно сказано, што долог волос у бабы, а ум короче воробьиного носу...

— А на девок зачем заглядываешься, несытые глаза?.. Все я знаю... Все... и все игумну Моисею расскажу, как на духу.

Не взлюбились такие поносные слова Полуекту Степанычу, снял он со стены киргизскую нагайку и поучил свою старую воеводшу, чтобы хоть чем-нибудь унять проклятый бабий язык.

— Не ты меня бьешь, Полуехт Степаныч, а дьячковский заговор! — вопила воеводша.

— А вот тебе и за дьячковский заговор прибавка! — орал воевода, работая тяжелой нагайкой. — Будешь еще поносные слова выговаривать?

Давно не бивал жены Полуект Степаныч, пожалуй, все лет пятнадцать, и стало ему совестно, когда воеводша слегла в постель от его науки... Не гожее это дело, когда старики дерутся, а вот попутал враг. Чтобы сорвать сердце, отправился воевода в судную избу, сел за свой стол и велел вывести на допрос беломестного казака Тимошку Белоуса. Загремели замки, заскрипели проржавевшие железные петли у дверей, вошли сторожа в яму к Тимошке, а его и след простыл. Когда он ушел и как ушел — все осталось неизвестным. Наказали плетьми сторожей да солдат, прокарауливших самого главного преступника, а Полуект Степаныч совсем опустил голову. Все неспроста делалось кругом.

Окончательно заскучал усторожский воевода и заперся у себя в горнице. Поняла и воеводша, что не-

ладно повела дело с самого начала: надо было без разговоров увезти воеводу в Прокопьевский монастырь да там и отмолить его от напущенных волхитом поганых чар. Теперь она подходила к воеводской горнице, стучалась в дверь и говорила:

— Голубчик, Полуехт Степаныч, поедем в монастырь, помолимся угоднику Прокопию. Не гожее это дело грешить нам с тобой на старости лет... Я на тебя сердца не имею, хотя и обидел ты меня напрасно.

— А игумну Моисею не будешь жалиться?

— Сказала, не буду. Только поедем...

— Што же, поедем... В монастырь так в монастырь, а у игумна Моисея зело добрый травник.

Воеводше только это и нужно было. Склалась она в дорогу живой рукой, чтобы воевода как не раздумал. Всю дорогу воевода молчал, и только когда их колымага подъезжала к Прокопьевскому монастырю, он проговорил:

— Испортил меня проклятый дьячок вконец.

Обыкновенно Полуект Степаныч завертывал к попу Мирону, а потом уже пешком шел в монастырь, но на этот раз колымага остановилась прямо у монастырских ворот. Воеводша так рассчитала, чтобы попасть прямо к обедне. В старой зимней церкви как раз шла служба. Народу набралось-таки порядочно.

— Што это у вас, никак праздник? — спросила воеводша служку-вратаря.

— Нет, сегодня пострижение нашего служки Герасима.

Церковь была полна, но народ расступился перед воеводой. Он стал на свое место у правого клироса, а воеводша на свое у левого. Длинная монастырская служба только еще начиналась. Любил воевода эту монастырскую службу: по-настоящему правил игумен Моисей весь церковный устав и даже завел своих певчих. Сегодня и служба была особенная... Начал молиться Полуект Степаныч, — и точно, ему сразу полегчало: гора с плеч. И воеводша тоже со слезами молится. Вот уже братия привела и ставленника, накрытого черным. Вышел игумен Моисей из алтаря, подали большие ножницы. Ставленник три раза сам подавал

их игумену, и три раза игумен возвращал их, а в четвертый взял. Теперь только воевода заметил ставленника: такой рыжий, некрасивый да еще сутулый. Сам игумен был важный старик, с такими строгими голубыми глазами. Когда он занес ножницы над головой ставленника, в толпе раздался женский крик, от которого вздрогнула вся церковь.

Воевода оглянулся, точно ударили его ножом в сердце: в трех шагах от него выделилось из всех лиц искаженное отчаянием молодое женское лицо. Это была она, Охоня. Ее подхватили под руки и увели из церкви, а Полуект Степаныч стоял ни жив ни мертв, точно туманом его обдало. Страшно ему вдруг сделалось за свою грешную душу, за смелость, с какой он вошел в святой божий храм, за свое грешное бессилие, точно постригали его, а не безвестного служку Герасима. Он не помнил, как вышел из церкви и как очутился в келье у игумена.

— Грех, грех... — шептал Полуект Степаныч, глотая слезы. — Грешный я человек... душу свою погубил...

Так сидел усторожский воевода в игуменской келье и горько плакал. Он ждал только одного, чтобы поскорее пришел со службы сам игумен: все расскажет ему Полуект Степаныч, до последней ниточки. Пусть игумен епитимию наложит, какую хочет, только бы снять с души грех. В растворенное окно кельи, выходившее на монастырский двор, он видел, как пошел народ из церкви, как прошла его воеводша с Мироновой попадьей, как вышел из церкви и сам игумен Моисей, благословлявший народ. Вот он уже идет по двору, вот зашел в сени и поднимается по ступенькам. Дух занялся в груди у воеводы: вот сейчас распахнется дверь, и он кинется в ноги строгому игумену. Но дверь распахнулась, вошел игумен Моисей, а воевода не двинулся с места и не проронил ни одного слова.

— Что же ты, овца погибшая, благословением моим брезгуешь? — спросил игумен, останавливаясь посреди кельи. — Как ветром дунуло даве из церкви-то: легче пуху вылетел. Эх, Полуект Степаныч, Полуект Степаныч!.

Воевода опустил голову и не смел дохнуть. Грозный игумен нахмурился и, подойдя совсем близко, проговорил:

— Зачем против моей воли идешь, Полуект Степаныч, а? Кто дьячка Арефу выпустил? Кто Тимошку Белоуса выпустил?

— Ну, уж про Тимошку-то ты врешь, игумен, — ответил воевода, приходя в себя. — Дьячка я выпустил, мой грех, а Тимошка сам ушел...

— Тебе же хуже, воевода... У меня бы небойсь не ушли.

Опомнившись, Полуект Степаныч земно поклонился игумену и принял от него благословение.

— Бог тебя благословит, Полуект Степаныч...

— Прости, святой отец. Грешен я перед тобой, яко пес смердящий... Но не таю своей вины и приехал покаяться.

— Вот все вы так-то: больно охочи каяться, чтобы грешить легче было. Знаю, с чем приехал-то...

Игуменская келья походила на все другие братские кельи, с тою разницей, что окна у нее были обрешечены железом и дверь была тоже обита железом. В келье стояли простые деревянные лавки, такой же стол и деревянная кровать: игумен спал на голых досках. Единственную роскошь составлял киот в переднем углу с иконами в дорогих окладах. Узкое окно, пробитое в стене крепостной толщины, открывало вид на весь монастырский двор, так что игумен мог каждую минуту видеть, что делается у него во дворе. Пока игумен Моисей снимал свой клобук и мантию, Полуект Степаныч откровенно рассказал, как вышло дело с дьячком Арефой и как он ослабел окончательно.

— Это та самая девка, которая в церкви сегодня выкликала? — сурово спросил игумен.

— Она самая, святой отец.

— И тебе не стыдно, воевода? — загремел игумен Моисей, размахивая четками. — Што не глядишь-то на меня? Бесу послужил на старости лет... Свою честную седину острамил.

Игумен теперь оставался в одном подряснике из своей монастырской черной крашенины, препоясанный

широким кожаным поясом, на котором висел большой ключ от железного сундука с монастырской казной. Игумен был среднего роста, но такой коренастый и крепкий.

— Мирской человек, отец святой... Согрешил окаянный...

— И своей воеводши Дарьи Никитишны не постыдился?.. Нескверное житие погубил навеки и другим пагубный пример оказал, яко козел смрадный. Простой человек увязнет в грехе — себя одного погубит, а ты другим дорогу показываешь, воевода...

Недавнее смирение вдруг соскочило с Полуекта Степаныча, когда игумен замахнулся на него своими четками.

— Да ты никак сдурел, игумен? Я к тебе с покаянием, как на духу, а ты лаешь... Какой я тебе козел?

— Ты у меня поговори! Заморю на поклонах... Ползать будешь за мной, Ахав нечестивый.

Это уже окончательно взорвало воеводу.

— Поп, молчи!.. Тебе говорю, молчи! Я свою вину получше тебя знаю, а ты кто таков есть сам-то?.. Попомни-ка, как говяжьею костью попадью свою уходил, когда еще белым попом был? Думаешь, не знаем? Все знаем... Теперь монахов бьешь нещадно, крестьянишек своих монастырских изволочил на работе, а я за тебя расхлебывай кашу...

Воевода вскочил на ноги и наступал на игумена все ближе. Теперь он видел в нем простого черного попа. Игумен понял его настроение, надел мантию и клобук и проговорил:

— Так ты за этим ко мне приехал, смердящий пес?

Полуект Степаныч сразу опомнился, повалился в ноги игумену и, стукаясь головой о пол, заговорил:

— Прости, святой отец!.. Вконец меня испортил проклятый дьячок... Прости, игумен... Из ума выступил... осатанел...

— Ладно, прощу, коли смирение вынесешь, — ответил игумен, снимая клобук. — А смирение тебе будет монастырский двор подметать, чтобы другие глядели на тебя и казнились... Согласен?

Как ни умолял Полуект Степаныч, как ни ползал на коленях за игуменом, тот остался непреклонным.

— Любя наказую твою воеводскую гордость, — решил игумен. — Гордость свою смири...

— Да ведь стыдно будет перед всем народом с метлой-то выходить.

— А не стыдно было на девку заглядываться? Не стыдно было старую воеводшу увечить? Не я тебя наказую, а ты сам себя...

Полуект Степаныч сел на лавку и горько заплакал. Игумен тоже стишал и молча его наблюдал.

— Не могу *ее* забыть, — повторял воевода слабым голосом. — И днем и ночью стоит у меня перед глазами как живая... Руки на себя наложить, так в ту же пору.

— Ну, эту беду мы уладим, как ни на есть... Не печалуйся, Полуект Степаныч. Беда избывная... Вот с метелкой-то походишь, так дурь-то соскочит живой рукой. А скверно то, што ты мирволил моим ворогам и супостатам... Все знаю, не отпирайся. Все знаю, как и Гарусов теперь радуется нашему монастырскому безвременью. Только раненько он обрадовался. Думает, захватил монастырские вотчины, так и крыто дело.

— Да ведь ваши-то духовные штаты не Гарусовым придуманы?

— Чужое место он захватил, вот што... И сам не обрадуется потом, да поздно будет. Да и ты помянешь мои слова, Полуект Степаныч... Ох, как еще помянешь-то!.. Жаль мне тебя, миленького.

— К чему ты эту речь гнешь, игумен?.. Невдомек мне как будто...

— А вот будешь с метелкой по нашему двору похаживать, так, может, и догадаешься. Ты ничего не слыхал, какие слухи пали с Яика?

— Казачишки опять чего-нибудь набунтовали?

— Не казачишками тут дело пахнет, Полуект Степаныч. Получил я опасное письмо, штобы на всякий случай обитель ущитить можно было от воровских людей. Как бы похуже своей монастырской дубинщины не вышло, я так мекаю... А ты сидишь у себя в

Усторожье и сном дела не знаешь. До глухого еще вести не дошли.

— Приказу ниоткуда не получал, а мое дело тоже подневольное: по приказам должо́н поступать. Только мне все невдомек, игумен, каким рожном ты меня пугаешь?

Игумен огляделся, припер дверь кельи и тихо проговорил:

— На Яике объявился не прост человек, а именующий себя высокою персоною... По уметам казачишки уже толкуют везде об нем, а тут, гляди, и к нам недалеко. Мы-то первые под обух попадем... Ты вот распустил дубинщину, а те же монастырские мужики и подымутся опять. Вот попомни мое слово...

— А на што рейтарские и драгунские полки, владыка? Воинская опора велика... У тебя еще после дубинщины страх остался.

— Я за свой монастырь не опасаюсь: ко мне же придете в случае чего. Те же крестьяны прибегут, да и Гарусов тоже... У него на заводах большая тягота, и народ подымется, только кликни клич. Ох, не могу я говорить про Гарусова: радуется он нашим безвременьем. Ведь ничего у нас не осталось, как есть ничего...

— Везде новые порядки, владыка честной. Вот и наше городовое дело везде по-новому... Я-то последним воеводой досиживаю в Усторожье, а по другим городам ратманы да головы объявлены. Усторожье позабыли — вот и все мое воеводство. Не сегодня-завтра и с коня долой. Приказные люди в силу входят, и везде немцы проявляются, особливо в воинском нашем деле... Поэтому и разборку твоей монастырской дубинщине с большой опаской делал. Сам, как сорока, на колу сижу... А што касаемо самозванца, так не беспокойся, я один его узлом завяжу. В орду хаживали, и то не боялись....

— Домашняя-то беда, Полуект Степаныч, всегда больше... Аще бес разделится на ся, погибнуть бесу тому.

— Ну, это по писанию, а мы по-своему считаем беды-то.

Так сидели и рядили старики про разные дела. Служка тем временем подал скудную монастырскую трапезу: щи рыбные, пирог с рыбой, кашу и огурцы с медом.

— Вот последние крохи проедаем, — грустно заметил игумен, угощая воеводу. — Где-то у меня травник остался...

Воевода только вздохнул: горек показался ему теперь этот монастырский травник.

После обеда игумен Моисей повел гостя в свой монастырский сад, устроенный игуменскими руками. Раньше были одни березы, теперь пестрели цветники. Любил грозный игумен всякое произрастание, особенно «крин сельный». Для зимы была выстроена целая оранжерея, куда он уходил каждый день после обеда и работал.

VI

Из церкви воеводша прошла с попадьей Миронихой в Служнюю слободу, в поповский дом, где уже все было приготовлено к приему дорогой гостьи. Сам поп Мирон выскочил встречать ее за ворота.

— Как живешь-можешь, поп? — спрашивала воеводша. — Отгащивать к тебе приехала... Давно ли ты у нас был в Усторожье, а теперь мы с воеводой наклались в обитель съездить.

— Уж не взыщи на нашей худобе, матушка Дарья Никитишна! — плакался поп Мирон. — Чем тебя только и принимать будем: по-крестьянски живем...

— А мне до места, отдохнуть — вот и угощенье. А вечерком ужо с попадьей в Дивью обитель сходим... Давно я игуменью, мать Досифею, не видала.

Поповский дом был не велик. Своими руками строил его поп Мирон и выстроил переднюю избу сначала, а потом заднюю, да наверху светелку. Главное, чтобы зимой было тепло попадье да поповым ребятишкам. Могутный был человек поп Мирон: косая сажень в плечах, а голова, как пивной котел. Прост был и увертлив, если бы не слабость к зелену вину.

Еще дорогой попадья Мирониха рассказала воеводше, отчего в церкви выкликнула Охоня, — совесть ее ущемила. Из-за нее постригся бывший пономарь Герасим... Сколько раз засылал он сватов к дьячку Арефе, и сама попадья ходила сватать Охоню, да только уперлась Охоня и не пошла за Герасима. Набаловалась девка, живучи у отца, и никакого порядку не хочет знать. Не все ли равно: за кого ни выходить замуж, а надо выходить.

— Видела я ее даве в церкви-то, — задумчиво говорила воеводша, покачивая головой. — Ничего девка, только рожей калмыковата, в кого она у них уродилась такая раскосая?

Тут уже начались бабьи шепоты, а Мирониха выгнала своего попа из избы и даже дверь затворила на крюк. Все рассказала попадья, что только знала сама, а воеводша слушала и качала головой.

— Ишь какое зелье уродилось! — проговорила важная гостья, когда попадья рассказала про дьячихин полон. — То-то оно и заметно...

— А то мудреное дело, матушка Дарья Никитишна, — тараторила попадья, желавшая угодить воеводше, — што отец с матерью не надышатся на свою Охоньку... Другие бы стыдились, што приблудная она, а они радуются. Эвон, легка на помине наша дьячиха!..

На поповский двор действительно прибежала сама дьячиха и так завыла и запричитала, что все из избы повыскакивали, а поп Мирон впереди всех.

— Што стряслось-то, говори толком? — спрашивал он валявшуюся в ногах дьячиху.

— Управы пришла искать на игумена! — вопила дьячиха, стоя на коленях. — К матушке-воеводше пришла... Дьячка моего Арефу сжил со свету игумен, а теперь и дочь отнял... Прямо из церкви уволокли Охонюшку в Дивью обитель и в затвор посадили, а какая ее вина — не ведомо!.. Схватилась я, горькая, побежала в Дивью обитель, а меня и близко не пустили к Охоне: игумен не приказал... Ох, горькая я!.. И зачем только на свет родилась?.. Одна только заступа

осталась: матушка-воеводша... Слезно пришла плакаться на свою злосчастную судьбу.

Вышла на крылечко и сама воеводша Дарья Никитична и поманила голосившую дьячиху в избу. Опять бабы заперлись там, и начались новые бабьи шепоты. Усадила воеводша дьячиху на лавку и стала выспрашивать, какая беда приключилась.

— Не печалуйся прежде поры-время, — проговорила она, когда дьячиха рассказала все. — Суров игумен Моисей, да сан на нем велик: не нам, грешным, судить его. А твою Охоню я сегодня же повидаю... Мне надо к матери Досифее побывать. Молитвенница наша... Ужо поговорю с ней.

— Матушка-воеводша, заступись! — вопила дьячиха. — На тебя вся надежда... Извел нас игумен вконец и всю монастырскую братию измором сморил, да белых попов шелепами наказывал у себя на конюшне. Лютует не по сану... А какая я мужняя жена без мово-то дьячка?.. Измаялась вся на работе, а тут еще Охоню в затвор игумен посадил...

Сжалилась воеводша над горюшей-дьячихой и подарила ей серебряный рубль.

— Ну, будет убиваться, — говорила попадья. — Вот расскажи лучше, как в полоне была в орде.

— Ох, помереть бы мне там, — плакала дьячиха. — У других баб грех-то с крещеными, а мой грех с ордой неумытой... Тьфу! Растерзали было меня совсем киргизы до смерти. Стыдно и рассказывать-то... Дух от них, как от псов. Наругались они надо мной... Ох, стыдобушка головушке! Тошнехонько и вспоминать-то, матушка-воеводша. Арканом меня связывали, как лошадь, — свяжут и ругаются, а я им в морды плюю. А потом ночью и ушла из орды... Погоня гналась за мной две ночи, а я одвуконь бежала. Конечно, не своею бабьею немощью ослобонилась, а дьячковской молитвой: он умолил угодника Прокопия...

Воеводша слушала дьячиху и тихо смеялась: очень уж забавно о своем полоне дьячиха рассказывала.

— Ну, теперь ступай домой, — сказала она дьячихе, — а мы с попадьей в Дивью обитель сходим.

Дьячиха опять заголосила и повалилась в ноги матушке-воеводше, так что поп Мирон едва ее оттащил.

— Загостился мой воевода у игумена, — говорила воеводша, делая удивленное лицо. — И што бы ему столько время в монастыре делать? Ну, попадья, пойдем к матери Досифее.

Воеводша пошла пешком, благо до Дивьей обители было рукой подать. Служняя слобода была невелика, а там версты не будет. Попадья едва поспевала за гостьей, потому что задыхалась от жира, — толстая была попадья.

— И место у вас только угодливое! — любовалась воеводша на высокий красивый берег Яровой, под которым приютилась своими бревенчатыми избушками Дивья обитель. — Одна благодать... У нас, в Усторожье, гладко все, а здесь и река, и лес, и горы. Умольное место... Ох-хо-хо! Мужа похороню, так сама постригусь в Дивьей обители, попадья. Будет грешить-то...

— Нет лучше иноческого тихого жития, — соглашалась попадья со вздохом. — Суета мирская одолела да детишки, а то и я давно бы в обитель к матери Досифее ушла... Умольная жисть обительская.

Дивья обитель издали представляла собой настоящий деревянный городок, точно вросший от старости в землю. Срубленные в паз бревенчатые стены давно покосились, деревянные ворота затворялись с трудом, а внутри стен тянулись почерневшие от времени деревянные избы-кельи; деревянная ветхая церковь стояла в середине. Место под обитель было выбрано совсем в «отишии», осененное сосновым бором. Сестра-вратарь, узнавшая попадью Мирониху, пропустила гостей в обитель с низким поклоном.

— Дома мать Досифея? — спрашивала попадья.

— Дома... Куда ей деться-то? Все здоровьем скудается... Обезножила наша матушка.

Проходя монастырским двором, попадья показала глазами на отдельную избу, у которой ходил «профос» с ружьем, — это и был «затвор» таинственной узницы Фоины, содержавшейся под нарочитым военным караулом царских приставов. Сестра Фоина находилась

в «неисходном содержании под прикрытием сержанта Сарычева».

— Жалятся благоуветливые старицы на Фоину, — шепотом сообщала попадья. — Мирской мятеж проявляет и доходит до остервенения злобы. Игуменье Досифее постоянно встречные слова говорит, ссорится и супротивничает. Холопками сестер величает...

— Легко ли ей в затворе-то сидеть, голубке? — жалела воеводша, качая головой. — Сказывают, из знатных персон она, а тут в отишие попала... Тоже живой человек.

— Мать Досифея бьется-бьется с ней... Шелепами, слышь, наказывала как-то за непослушание.

— Ох, страсть какая! Статошное ли это дело?

Келья матери игуменьи стояла вблизи церкви. Это была бревенчатая пятистенная изба со светелкой и деревянным шатровым крылечком. В сенях встретила гостей маленькая послушница в черной плисовой повязке. Она низко поклонилась и, как мышь, исчезла неслышными шагами в темноте.

— Ишь как выстрожила матушка сестер, — полюбовалась попадья. — Ходят, как тени.

Игуменская келья состояла из двух низеньких комнат с бревенчатыми стенами. В первой весь передний угол занят был образами, завешанными шелковою пеленой; перед киотом «всех скорбящих радости» горела «неугасимая» и стоял кожаный аналой. У стены помещены были две укладки с книгами. В церковь игуменья не могла выходить и молилась у себя дома. В обители служил черный поп Пафнутий, он же монастырский келарь, или поп Мирон. Пол был устлан половиками своего монастырского дела. Игуменья лежала в другой комнате на деревянной кровати. Та же послушница пригласила гостей к самой.

— Кто там, крещеный человек? — спрашивал старушечий брюзжащий голос. — Никак ты, попадья?

— Я, многогрешная, матушка... А какую гостью тебе я привела: то-то спасибо попадье скажешь! Радость всей вашей обители.

Игуменья Досифея была худая, как сушеная рыба, старуха, с пожелтевшими от старости волосами. Ей

было восемьдесят лет, из которых она провела в своей обители шестьдесят. Строгое восковое лицо глядело мутными глазами. Черное монашеское одеяние резко выделяло и эту седину и эту старость: казалось, в игуменье не оставалось ни одной капли крови. Она встретила воеводшу со слезами на глазах и благословила ее своею высохшею, дрожавшею рукой, а воеводша поклонилась ей до земли.

— Трудница ты наша, матушка, побеспокоила я тебя, — извинялась воеводша. — Давно я собиралась к тебе, да все недосужилось...

Мутные старческие глаза пытливо смотрели на воеводшу, а сухие побелевшие губы шептали беззвучные слова.

— Игумен Моисей помереть не дает, — заговорила игуменья, усаживаясь на кровати; она теперь походила на привидение. — Обитель рушится... все развалилось... а он одно твердит, што изничтожит нас вконец. Лесу не дает на поправку... теснит... Вот я и не могу помереть: сестер жаль. Куда они без меня-то денутся?.. Три десятка сестер, а кто промыслит про них все?.. Тоже надо и обуть, и одеть, и накормить. Облютел игумен Моисей на нашу обитель... Соблазн, говорит, монастырю... Вот какие дела, Дарья Никитишна! Когда игумен Поликарп монастырские стены клал, так обещался и Дивью обитель подновить, да только бог веку ему не дал. А теперь все у нас повалилось да сгнило, скоро и затвориться будет нечем...

— Жалеем мы все тебя, матушка... да што с игумном Моисеем поделаешь? Лютует он на всех...

— Жаль и мне его, — устало проговорила игуменья, опуская глаза. — Воздай ему бог за зло добром, а только жалею я...

Попадья и воеводша переглянулись: игуменья Досифея слыла за прозорливицу и неспроста пожалела гордого игумена Моисея.

— А надо бы нам стенки-то подкрепить, — точно бредила игуменья. — Ох, как надо! И ворота вон совсем развалились... Башенки прежде на углах-то стояли, когда орда приходила. Когда Алдар-бай с башкирью набегал, так крестьяне со всех деревень укры-

вались в Дивьей обители... Тоже и от Пепени с Тулкучарой... под самые стены набегала орда, и господь ущитил.

— Што же, матушка, опять орда набежит? — спрашивала воеводша.

— Горе будет, миленькие... Тогда и моя смертенька.

Потом игуменья сразу спохватилась:

— Што же это я томлю вас, миленькие?.. Анфиса, сбегай в келарню к сестре Маремьяне и накажи ей... Она знает порядок.

— Мы не за угощеньем пришли, матушка, а тебя проведать, — говорила воеводша. — Чего тебе беспокоиться-то для нас?

Игуменья взглянула на воеводшу, пожевала губами и проговорила, обращаясь к попадье.

— Ступай-ка ты сама, попадейка, в келарню... Пожалуй, лучше будет.

Воеводша виновато опустила голову: проникла ее тайную мысль прозорливица. Наступило неловкое молчание. Игуменья откинулась на подушку и лежала с закрытыми глазами.

— Ну, рассказывай, зачем пришла, — тихо прошептала она. — Вижу, што неспроста... Говори. По лицу вижу, што не с добром пришла. Ох, грехи!..

Эти слова сразу разжалобили воеводшу, и она опять повалилась в ноги прозорливице. Все время крепилась и ничем не выдала себя ни попадье, ни дьячихе, а теперь ее прорвало... Она долго плакала, прежде чем поведала свое бабье горе и мужнюю обиду. Игуменья лежала попрежнему, с закрытыми глазами, и только сухие губы продолжали шевелиться.

— Жизнь прожили душа в душу, а тут вон какая пакость приключилась, — причитала воеводша, — всю душеньку истомило...

— Монастырские служки привели ко мне Охоню,— ответила игуменья. — Игумен прислал за выклики... Ну, я ее в келарню посадила. Девка-то не причинна тут, Дарья Никитишна, а так она... роковая. Как зародилась, так и помрет...

— Охота мне на нее поглядеть, матушка: какая-такая моя лютая беда завелась? На што польстился Полуехт-то Степаныч?

— И глядеть нечего, — сурово ответила игуменья. — Девка как девка... Пытала она убиваться даве: так рекой и разливается. Прибегала к ней матка, дьячиха, да я не пустила. Соблазн один...

Воеводша посидела малым делом, прикушала обительского взварцу да сыченого меду, а потом стала прощаться.

— Ничего, твоя беда износится, — успокоила ее на прощанье игуменья. — А воеводу твоего игумен утихомирит... Постыдится воевода твой, да поздненько будет. А ты не кручинься без пути... Мы не выпустим Охоню.

Простившись с игуменьей, воеводша не утерпела и на обратном пути завернула в келарню, где сидела попадья. Чернички в келарне разбирали прошлогоднюю сушеную рыбу, присланную из Тобольска богатой купчихой. Между ними пряталась и Охоня, резко выделявшаяся своим девичьим румянцем и союзными бровями. Попадья успела малым делом клюкнуть какой-то обительской настойки и совсем разомлела.

— Вон она, Охоня, — ткнула она на дьячковскую дочь. — Ишь какая гладкая!.. Ягода, а не девка...

— Ну-ка, подойди ко мне, отецкая дочь, — проговорила воеводша.

Зарделась Охоня, как маков цвет, и не двигалась с места, пока чернички не окружили ее и не стали подталкивать.

— Подойди, не бойся, — проговорила воеводша. — Хочу поглядеть на тебя, какая ты есть отецкая дочь. Ну, иди же... не упирайся!.. Не из страшливых ты, коли воеводы не испугалась... Ну, што молчишь-то?

— Себя не помнила, — бормотала Охоня, не поднимая глаз. — Солдаты тогда учали меня срамить, а тут воевода присунулся...

— Так, так... Ну, а в церкви-то отчего выкликала?..

Охоня вздрогнула и закрыла побледневшее лицо руками.

— Застыдилась девонька, — пожалела ее попадья. — Ну, ин я за тебя скажу, Охоня: совестно тебе стало, как Герасима постригали. Из-за тебя в монахи он ушел...

— Несчастная я уродилась, — шептала Охоня. — Не люб он мне был, когда сватался, а тут... ох, горькое мое горюшко!.. Свету белого я не взвидела, как игумен взял ножницы... дух у меня занялся... умереть бы мне...

VII

Воевода Полуект Степаныч остался в монастыре, чтобы вынести «послушание» на глазах у игумена. Утром на другой день его разбудил келарь Пафнутий.

— Вставай, Полуект Степаныч... Игумен уж тебя ждет во дворе.

— О, господи, господи! — взмолился усторожский воевода, соображая предстоящий позор. — И до чего я дожил?

— Оболокайся, воевода. Игумен у нас не больно-то любит ждать, а то еще на поклоны поставит.

Нечего делать, пришлось подниматься ни свет ни заря, и старый воевода невольно вспомнил свое Усторожье, где спал вволю и никого не боялся. Келарь принес с собой затрапезный кафтанишко и помог его надеть.

— Ну вот, теперь совсем, — повторял келарь, оглядывая воеводу в новом наряде.

— А ты чему обрадовался, долгогривый? — обозлился воевода. — Вот возьму да и не пойду...

— Воеводушка, не кобенься ты ради Христа, — уговаривал испугавшийся келарь. — И тебе и мне достанется...

Приземистый, курносый, рябой и плешивый черный поп Пафнутий был общим любимцем и в монастыре, и в обители, и в Служней слободе, потому что имел веселый нрав и с каждым умел обойтись. Попу Мирону он приходился сродни, и они часто вместе «угобжались от вина и елея». Угнетенные игуменом шли за

утешением к черному попу Пафнутию, у которого для каждого находилось ласковое словечко.

— А ежели народ пойдет в церковь да меня увидит в затрапезном-то одеянии? — спрашивал воевода уже в дверях.

— Никто не увидит, воеводушка... будний день сегодня, кому в монастырь идти, окромя своих же монастырских?

— Достаточно и монастырских.

Игумен гулял в саду, когда пришел воевода.

— Вот тебе метелка, — сурово проговорил игумен, показывая на стоявшую в уголке метлу. — Я пойду к заутрене, а ты тут все прибери. Да, смотри, не ленись... У меня из алтаря все будет видно.

Сказал и ушел, а воевода остался с метлой в руке. Огляделся он кругом — никого, слава богу, нет. Монахи уже прошли в церковь. И принялся Полуект Степаныч за свою работу, только метелка свистит. Из церкви монашеское пенье несется, и легко стало у воеводы на душе: что же, привел господь в монастырских служках поработать... Метет Полуект Степаныч и слышит за собой легкие знакомые шаги. Оглянулся, а это Дарья Никитишна идет в церковь, идет, а сама и глаза опустила, будто ничего не замечает. Опять горько стало воеводе... Присел он на лавочке и пригорюнился.

— Эй, чего расселся, ленивый раб?

Это крикнул игумен в свое окошечко из алтаря.

Опять работает воевода, даже вспотел с непривычки, а присесть боится. Спасибо, пришел на выручку высокий рыжий монах и молча взял метелку. Воевода взглянул на него и сразу узнал вчерашнего ставленника, — издали страшный такой, а глаза добрые, как у младенца.

— Эге, да это тебя вчера... тово? — обрадовался воевода.

— Видно, меня...

Плохая была воеводская работа, и новый монашек показал ему, как надо было по-настоящему делать. Потом повел он воеводу в оранжерею и там показал все. Славный такой монашек, и воевода про себя даже пожалел его.

— Трудно тебе будет в монастыре, Гермоген?

— И в миру не легко... По крайности здесь одному богу послужу, а на миру больше маммоне служат да своему лакомству. И игумен у нас строгий, не даст поблажки.

Воевода проработал в саду вплоть до обеда, пока игумен не послал за ним.

— Ну, и умаял ты меня, владыка, — ворчал Полуект Степаныч. — Пожалуй, не обрадуешься твоему-то послушанию... Хоть бы ворота в монастырь велел запереть, а то даве гляжу, моя Дарья Никитишна идет. Страм...

— Ты у меня поговори... Не хочешь на хлебе да на воде неделю высидеть? А то и похуже будет: наших монастырских шелепов отведаешь...

Не стерпел обиды Полуект Степаныч и обругал игумена по своему воеводскому обычаю, а игумен запер его в своей келье, положил ключ себе в карман и ушел к вечерне. Тут уж зло-горе взяло воеводу, и начал он ломиться в дверь и лаять игумена неподобными словами, пока не выбился из сил. А игумен воротился из церкви и спрашивает через дверь:

— Будешь еще борзость свою показывать да лаять меня?

— Ох, владыка, прости ты меня, многогрешного! Не я тебя лаял, а напущено на меня проклятым дьячком...

— Не заговаривай зубов: поумней тебя найдутся.

Тяжело достался первый день монастырского послушания усторожскому воеводе, а впереди еще целых шесть дней, — на неделю зарок положен игуменом. Всплакался Полуект Степаныч, а своя воля снята...

Другой день послушания как будто был полегче: в келарне пришлось с братией постные монастырские щи варить да кашу. Все же не на виду у всех и не с метлой. Третий день воевода провел на скотном дворе, — тоже ничего. Добрая скотинка у игумена Моисея, кормная и береженая. На четвертый день Полуект Степаныч звонил на колокольне, и это ему больше всего понравилось: никто его не видит, а ему всех видно. Любовался он и рекой Яровой, и Служнею

слободою, и Дивьею обителью и с тоской глядел на дорогу в свое Усторожье. Ох, убраться бы поскорее из монастыря домой... Будет, напринимался всего. Но не так думал игумен Моисей и приготовил еще испытание воеводе: поставил его вратарем. Тут уж не увернешься: у всех на виду, как глаз во лбу.

«Уж постой, игуменушко, перетерплю я у тебя все, да и ты меня попомнишь! — думал про себя воевода, низко кланяясь проходившим в ворота богомольцам.— Дай только ослобониться».

«Лаять» игумена в глаза Полуект Степаныч не смел, а то и в самом деле монастырских шелепов отведаешь, как дьячок Арефа.

Стоит воевода у ворот и горюет, а у ворот толкутся нищие, да калеки, да убогие, кто с чашкой, кто с пригоршней. Ближе всех к новому вратарю сидит с деревянною чашкою на коленях лысый слепой старик, сидит и наговаривает:

— Попал сокол в воронье гнездо... Забыл свою повадку соколиную и закаркал по-вороньему. А красная пташка, вострый глазок, сидит в бревенчатой клетке, сидит да горюет по ясном соколе... Не рука соколу прыгать по-воробьиному, а красной пташке убиваться по нем...

— Ты это што бормочешь-то? — удивился Полуект Степаныч, прислушиваясь.

— Я-то бормочу, а другой послушает... У слепого язык вместо глаз: старую хлеб-соль видит. А вот зачем зрячие слепнями ходят?

Этими словами слепой старик точно придавил вратаря. Полуект Степаныч узнал его: это был тот самый Брехун, который сидел на одной цепи с дьячком Арефой. Это открытие испугало воеводу, да и речи неподобные болтает слепой бродяга. А сердце так и захолонуло, точно кто схватил его рукой... По каком ясном соколе убивается красная пташка?.. Боялся догадаться старый воевода, боялся поверить своим ушам...

— Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за ней взмоет ясен сокол... Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел, да и сижу-посижу, ничего не знаю.

В руке Брехуна звякнули два серебряных рубля. Он поднялся, взял свою чашку, длинную палку и пошел к Служней слободе, а воевода стоял, смотрел ему вслед и чувствовал, как перед ним ходенем ходит вся Служняя слобода, Яровая, и лес за Яровой, и горы. И страшно ему и радостно... Проводив глазами слепца, Полуект Степаныч припомнил обещания дьячка Арефы относительно приворота. Вот оно когда сказалось! Захолонуло на душе у воеводы: погибал он окончательно... Теперь прощай и воеводша, и грозный игумен Моисей, и монастырское послушание, и нескверное воеводское житие. Красные круги заходили в глазах у Полуекта Степаныча.

К вечеру воевода исчез из монастыря. Забегала монастырская братия, разыскивая по всем монастырским щелям живую пропажу, сбегали в Служнюю слободу к попу Мирону, — воевода как в воду канул. Главное дело, как объявить об этом случае игумену? Братия перекорялась, кому идти первому, и все подталкивали друг друга, а свою голову под игуменский гнев никому не хотелось подставлять. Вызвался только один новый ставленник Гермоген.

— Я пойду объявлюсь, братие, — говорил он со смирением.

— Захотел на конюшню, видно, попасть, брат Гермоген? Не знаешь ты игумна, каков он под сердитую руку...

— А уж што бог даст, — повторял Гермоген.

Братию вывел из затруднения келарь Пафнутий, который вечером вернулся от всенощной из Дивьей обители. Старик пришел в одном подряснике и без клобука. Случалось это с ним, когда он в Служней слободе у попа Мирона «ослабевал» дня на три, а теперь келарь был чист, как стеклышко. Обступила его монашеская братия и немало дивилась случившейся оказии.

— Да куда у тебя одеяние-то девалось, отец честной?

— Не знаю, — хмуро отвечал келарь. — После вечерни зашел проведать игуменью Досифею, ну, и снял

рясу и клобук: зело жарко было. Посидел малое время, собрался домой, — нет моей ряски и клобука. Уж искали-искали, всю обитель вверх ногами поставили, а пропажи не нашли.

Благоуветливые иноки только качали головами и в свою очередь рассказали, как из монастыря пропал воевода, которого тоже никак не могли найти. Теперь уж совсем на глаза не показывайся игумену: разнесет он в крохи благоуветливую монашескую братию, да и обительских сестер тоже. Тужат монахи, а у святых ворот слепой Брехун ведет переговоры со служкой-вратарем.

— Вот, служка, нашел я находку, — говорил Брехун, подавая монашескую рясу и клобук. — Не мирского дела одежда, а валяется на дороге. Соблазн бы пошел на братию, кабы натакался на нее мирской человек, — ну, а я-то, пожалуй, и помолчу...

— Да как ты нашел, когда ты и видеть не можешь?

— Видеть не вижу, а глаз все-таки есть, — посмеялся Брехун, показывая свой черемуховый посошок. — Я-то иду, а глаз впереди меня...

Усомнился вратарь в подлинных словах слепца, запер врата и понес находку в кельи, а там келарь Пафнутий о своем клобуке чуть не плачет. Сразу узнал он свое одеяние. Кинулись монахи к воротам, а от Брехуна и след простыл.

— Наваждение! — шептал келарь Пафнутий, разглядывая свой клобук. — Кому понадобилось?.. А горше всего, ежели игумен Моисей вызнает... Острамился келарь на старости лет: скажут, в Дивьей обители клобук потерял!

Пока благоуветливые иноки судили да рядили, в Дивьей обители шла жестокая переборка. Этакого сраму не видно было, как поставлены обительские стены... Особенно растужилась игуменья Досифея и даже прослезилась: живьем теперь съест Дивью обитель игумен Моисей.

— Не без того это дело вышло, матушка, што нечистая сила объявилась в обители, — объясняла

сестра-келарша Маремьяна. — Попущение божецкое на святую обитель...

Всего удивительнее было то, что сестра-вратарь клятвенно уверяла, как своими глазами видела выходившего в обительские врата келаря Пафнутия, — два раза он выходил и в первый раз ушел в рясе и в клобуке.

— Дьявольское прещение бысть, — объясняла келарша. — Не мог он два раза выходить, когда сидел у матушки игуменьи в опочивальне.

Когда первая суматоха прошла, хватились Охони, которой и след простыл. Все сестры сразу поняли, куда девались ряска и клобук черного попа Пафнутия: проклятая девка выкрала их из игуменской кельи, нарядилась монахом, да и вышла из обители, благо темно было.

Это предположение подтвердилось, когда на другой день утром сестры узнали, как пропал из монастыря воевода Полуект Степаныч и как ночью слепец Брехун принес монашеское одеяние черного попа Пафнутия.

— Девки-поганки дело, — решила и мать-игуменья. — Не инако могло быть, как через нее. Она, поганка, переиначила себя в честный образ мниха... То-то, кыргызское отродье, посмеялась над святою обителью. Сорому не износить теперь...

А слепец Брехун ходил со своим «глазом» по Служней слободе как ни в чем не бывало. Утром он сидел у монастыря и пел Лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочестивые люди шли к вечерне. Дня через три после бегства воеводы, ночью, Брехун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным казаком Белоусом, который вызвал его туда через одного нищего.

— Где Охоня? — повторял Белоус, схватив Брехуна за горло. — Ты все знаешь. Сказывай!..

— Где ей быть, окромя Усторожья?.. Вместе с воеводой Полуектом Степанычем бежала. Пали слухи, что Полуект-то Степаныч привез девку прямо на свой воеводский двор и запер ее там, а когда пригнала

воеводша домой, выгнал воеводшу-то. Осатанел старик вконец.

Застонал Белоус от этой весточки, грянулся на землю и плакался, как ребенок малый.

— Охоня, што ты меня не подождала? — выкрикивал Белоус и грозил кулаком в сторону Усторожья. — Эх, Охоня, Охоня!.. А с воеводой я еще переведаюсь. Будет помнить Белоуса... Да и Прокопьевским монастырем тряхнем!.. Эх, Охонюшка!

Слушал Брехун эти причитанья и радовался: связала бы девка Белоуса по рукам и ногам, как лесной хмель, а теперь беломестный казак — вольная птица. Пронесло тучу мороком... Не пропадать казачьей голове из-за девичьей красы, а утихнет казачье сердце, и казачья буйная голова пригодится. А кто свел воеводу с Охоней? Кто научил глупую девку, как уйти из обители, нарядившись монахом? Эх, куда бы им, если б не подвернулся слепец Брехун... Сказал бы спасибо ему Белоус, когда бы догадался, кто просватал отецкую дочь Охоню. Ну, семь бед — один ответ, а беломестный казак Белоус цел останется.

Последним узнал о всем случившемся игумен Моисей и возревновал, яко скимен. Досталось больше всех келарю Пафнутию, которому в послушание пришлось звонить на колокольне, где недавно звонил усторожский воевода. Не успел утишиться игумен, как приехала из Усторожья воеводша Дарья Никитична и горько плакалась на свою злую беду.

— Видеть меня не хочет Полуект Степаныч... Со свету сживает: обошла его вконец девка-поганка. Как чирей, теперь сидит и пухнет в моем дому... Ох, горюшко, игумен, а одна надежда на тебя, как ты изволишь мне быть.

— Прокляну я воеводу — вот тебе и весь мой сказ.

— Да ведь не своею волей грешит-то мой Полуект Степаныч, а напущено на него проклятым дьячком. Сам мне каялся, когда я везла его к тебе в монастырь. Я-то в обители пока поживу, у матушки Досифеи, может, и отмолю моего сердечного друга. Связал его сатана по рукам и ногам.

Часть вторая

I

Целых три дня ехал Арефа до заводов. Степь давно осталась позади, а впереди уже высились лесистые горы, из которых выбегала бойкая горная река Яровая. Баламутский завод был построен Гарусовым на монастырской вотчине, на том самом месте, где когда-то стояла раструсная монастырская мельница. Монахи давно открыли в горах железную и медную руду по чудским «копаням» и плавили ее на свою монастырскую потребу в ручных домницах. Гарусов имел дело с монастырем, скупая монастырский хлеб. При игумене Поликарпе он арендовал место под мельницей, запрудил Яровую и поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты, у Гарусова очутился громадный заводский участок на полном праве собственности: устроили это дело ему в Тобольске его дружки-приказные. Игумен Моисей поэтому питал большую злобу к Гарусову и считал его одним из главных виновников введения духовных штатов в Зауралье.

Подъезжая к заводу, Арефа испытывал неприятное чувство: все кругом было чужое — и горы, и лес, и каменистая заводская дорога. Родные поля и степной простор оставались далеко назади, и по ним все больше и больше ныло сердце Арефы.

— Помяни, господи, игумна Моисея и воздай ему сторицей добром за зло! — вслух молился Арефа. — По его злобе и неистовству не знаю, куда главу преклонить.

Не доезжая верст десяти до завода, Арефа догнал вершника на мохноногом и горбоносом киргизе. Вершник одет был совсем по-мужицки: в зипуне, в сибирских котах и в высокой шляпе, только сидел на седле не по-мужицки.

— Мир доро́гой, добрый человек, — поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику. — Куда бог несет?

— По одной дороге едем, так увидишь.

Лицо у вершника было обветрелое, со следами зимнего озноба на щеках и на носу, темные волосы по-раскольничьи стрижены в скобу, сам он точно был выкроен из сыромятной кожи. Всего более удивили Арефу глаза: серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба.

— Откуда путь держишь? — полюбопытствовал вершник в свою очередь.

— А к двоеданам... Значит, к Гарусову на завод. Меня воевода Полуект Степаныч послал из Усторожья, штобы ущититься у Гарусова от игумна Моисея... Сам-то я из Служней слободы буду.

— Променял кукушку на ястреба! — засмеялся вершник, поглядывая на Арефу сбоку. — Хорош твой игумен Моисей, а Гарусов, пожалуй, и того почище будет...

— Пали и до нас слухи о Гарусове, это точно... Народ заморил на своей заводской работе. Да мне-то, мил человек, выбирать не из чего: едва ноги уплел из узилища...

— Хорош и ты... Ну, да Гарусов выколотит из тебя монастырскую-то пыль. У него это живой рукой...

Обрадовался Арефа живому человеку и разболтался, а вершник все слушал и посмеивался. Рассказал Арефа о своих монастырских порядках, о лютом характере игумена Моисея, о дубинщине и духовных штатах и своем сиденье в Усторожье.

— А мне глянется игумен-то, — ответил вершник, — крепкий человек, хоша бы и не монахом быть... Монастырские-то ваши мужичонки при Поликарпе совсем измотались, да и монашеская честная братия тоже, а Моисей и взнуздал. Он правильно, Моисей-то...

— Тебя бы ему отдать в правило, так не то бы запел. От одних шелепов глаза бы повылезли.

— А Гарусов еще полютей будет... Народ в земляной работе заморил, а чуть неустойка — без милости казнит. И везде сам поспевает и все видит... А работа заводская тяжелая: все около огня. Пожалуй, ты и просчитался, што поехал к двоеданам.

— Двум смертям не бывать, одной — не миновать, — храбрился Арефа. — Не боюсь я твоего Гару-

сова, хоша он на мелкие части меня режь... В орде бывал и из полону цел ушел, а от Гарусова и подавно.

— Не захваливайся, дьячок!

Показался засевший в горах Баламутский завод. Строение было почти все новое. Издали блеснул заводский пруд, а под ним чернела фабрика. Кругом завода шла свежая порубь: много свел Гарусов настоящего кондового леса на свою постройку. У Арефы даже сердце сжалось при виде этой незнакомой для степного глаза картины. Эх, невеселое место: горы, лес, дым, и сама Яровая бурлит здесь по-сердитому, точно никак не может вырваться из стеснивших ее гор.

— Молодец Гарусов! — похвалил вершник, любуясь заводом. — Вон какое обзаведенье поставил: любо-дорого... Раньше-то пустое место было, а теперь работа кипит... Эвон, за горой-то, влево, медный рудник у Гарусова, а на горе железная руда. Сподобишься и ты поробить на Гарусова.

— Ах, штоб тебе пусто было вместе и с Гарусовым!.. Не боюсь я никого, окромя игумна Моисея...

У самого завода они расстались. Вершник указал, куда ехать Арефе, где остановиться и где найти самого Гарусова.

Арефа отыскал постоялый, отдохнул, а утром пошел на господский двор, чтобы объявиться Гарусову. Двор стоял на берегу пруда и был обнесен высоким тыном, как острог. У ворот стояли заводские пристава и пускали во двор по допросу: кто, откуда, зачем? У деревянного крыльца толпилась кучка рабочих, ожидавших выхода самого, и Арефа примкнул к ним. Скоро показался и сам... Арефа, как глянул, так и обомлел: это был ехавший с ним вершник.

— Што, монастырская крыса, обознал теперь, какой есть Гарусов? — засмеялся сам и махнул рукой приставам: — Эй, возьмите ворону да посадите ее в яму, штобы поменьше каркала.

Шесть сильных рук схватили Арефу и поволокли с господского двора, как цыпленка. Дьячок даже закрыл глаза со страху и только про себя молился преподобному Прокопию: попал он из огня прямо в полымя. Ах, как попал... Заводские пристава были

почище монастырских служек: руки как железные клещи. С господского двора они сволокли Арефу в какой-то каменный погреб, толкнули его и притворили тяжелою железною дверью. Новое помещение было куда похуже усторожского воеводского узилища.

— А как же дьячиха? — вопил Арефа, царапаясь в железную дверь. — Эй, вы... дьячиха-то моя как?

Ответа не последовало. Присел Арефа на какой-то обрубок дерева и «плакаша горько».

Когда он огляделся, то заметил в одной стене черневшее отверстие, которое вело в следующий такой же подвал. Арефа осторожно заглянул и прислушался. Ни одного звука. Только издали доносился грохот работавшей фабрики, стук кричных молотов и лязг железа. Не привык Арефа к заводской огненной работе, и стало ему тошнее прежнего. Так он и заснул в слезах, как малый ребенок.

Ранним утром на другой день его разбудили.

— Эй ты, ворсина, поднимайся... Айда в контору!

Несмотря на ранний час, Гарусов уже был в конторе. Он успел осмотреть все ночные работы, побывал на фабрике, съездил на медный рудник. Теперь распределялись дневные рабочие и ставились новые. Гарусов сидел у деревянного стола и что-то писал. Арефа встал в толпе других рабочих, оглядывавших его, как новичка. Народ заводский был все такой дюжий, точно сшитый из воловьей кожи. Монастырский дьячок походил на курицу среди этих богатырей.

— Тарас Григорьич, ослобони... — повторял какой-то испитой мужик с взлохмаченной головой. — Изнеможили мы у тебя на твоей заводской работе.

— А уговор забыл? — заревел на него Гарусов, ударив кулаком по столу. — Задатки любите брать, а?.. Да с кем ты разговариваешь-то, челдон?

— Последняя лошаденка пала, — не унимался мужик. — Какой я тебе теперь работный человек?.. На твоей работе последнего живота решился... А дома ребятенки мал-мала меньше остались.

Другие рабочие представляли свои резоны, а Гарусов свирепел все больше, так что лицо у него покраснело, на шее надулись толстые жилы, и даже глаза

налились кровью. С наемными всегда была возня. Это не то, что свои заводские: вечно жалуются, вечно бунтуют, а потом разбегутся. Для острастки в другой раз и наказал бы, как теперь, да толку из этого не будет. Завидев монастырского дьячка, Гарусов захотел на нем сорвать расходившееся сердце.

— Ну-ка, ты, кутья, иди сюда... На какую ты работу поступить хочешь? В монастыре-то вас сладко кормят, спите вволю, а у меня, поди, не поглянется. Што делать-то умеешь, чертова кукла?

— А все умею, — без запинки ответил Арефа. — И церковную службу могу управить, и пашню спашу, и дровишек нарублю...

— Да ты повернись, монастырская ворона... Дай поглядеть на тебя с разных сторон. Нечего сказать, хорош гусь!

Дьячок повернулся при общем смехе и не понимал, для чего это нужно.

— Хлеб есть даром — вот и всей твоей работы, — решил Гарусов и прибавил, обратившись к стоявшему около приказчику: — Сведи его на фабрику да поставь, где потеплее. Пусть разомнется для первого раза...

Все переглянулись. Куда этакому цыпленку в огненную работу? На верную смерть посылал Гарусов ледащего дьячка.

— А насчет харчей как? — спрашивал Арефа. — Со вчерашнего дни маковой росинки не бывало во рту... Окромя того, у меня кобыла. Последний живот со двора...

— Ты у меня поговори!..

Приказчик уже вытолкнул дьячка из конторы и по дороге дал ему здоровую затрещину, так что у бедняги в ушах зазвенело. Арефа, умудренный опытом, перенес эту обиду молча. Ему всегда доставалось за язык, а дьячиха Домна Степановна не раз даже колачивала его, и пребольно колачивала. Мысль о дьячихе постоянно его преследовала, как было и теперь. Что-то она поделывает без него, мил-сердечный друг?

Приказчик довел Арефу до фабрики и передал с рук на руки какому-то надзирателю.

— Вот какого орла зацепил, — объяснил он, презрительно указывая на своего подневольника. — На подтопку годится.

Надзиратель, суровый старик с окладистою седою бородой, как-то сбоку взглянул на дьячка и только покачал головой. Куда этакую птицу упоместить?.. Приказчик объяснил, как Тарас Григорьевич наказывал поступить.

— Будет тепло, — решил надзиратель.

Фабрика занимала большой квадрат под плотиной, которой была запружена Яровая. Ближе всего к плотине стояли две доменных печи, в которых плавили железную руду. Средину двора занимали два кирпичных корпуса, кузницы, листокатальная и слесарная, а дальний конец был застроен амбарами и складами. Вся фабрика огораживалась деревянным бревенчатым тыном. Ворота были одни, и у них всегда стоял свой заводский караул. Надзиратель повел Арефу в кричный корпус и приставил к одной из печей, в которых нагревались железные полосы для проковки. Рабочие в кожаных фартуках встретили нового товарища довольно равнодушно.

— Вот тут будешь работать, — сказал надзиратель, передавая Арефу уставщику. — Смотри, не ленись.

Работа в кричной показалась Арефе с непривычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук двадцати тяжелых молотов. Собственно, ему работа досталась не особенно тяжелая, да и Арефа был гораздо сильнее, чем мог показаться. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень уж жарило от раскаленной печи. Двое подмастерьев указали ему, как «сажать» крицу в печь, как ее накаливать добела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего: раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными, запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе.

— Ну, поворачивай, дьячок! — покрикивал на нового рабочего мастер.

Арефа старался, обливаясь пóтом. После второй «садки» у него отнялись руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги.

«Ох, смертынька моя приходит, — подумал Арефа с унынием. — Погинула напрасно православная душа...»

Его главным образом огорчало то, что все рабочие были раскольники-двоеданы. Они косились на его подрясник и две косицы. Уставщик тоже был двоедан. Он похаживал по фабрике с правилом в руках и зорко поглядывал на работу: чтоб и ковали скоро и чтоб изъяну не было. Налетит сам, — всем достанется.

Но тут же Арефа заметил, что есть что-то такое, чего он не знает и что всех занимает. В другое время ему не дали бы прохода, а теперь почти не замечали, — всякому было до себя. Заметил это Арефа по тем отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот работавших молотов, когда уставщики отходили. О чем они переговаривались, Арефа не мог понять. Чаще всего повторялись слова: «батюшка» и «змей». Но, видимо, вся фабрика была занята какою-то одной мыслью, носившеюся в воздухе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа.

Когда работа кончилась, Арефа шатался на ногах, как пьяный. Ему нужно было идти вместе с другими в особую казарму. Но он сначала прошел в господскую конюшню и разыскал свою кобылу: это было единственное родное живое существо, которое напоминало ему и Служнюю слободу, и свой домишко, и всю дьячковскую худобу. Арефа обнимал кобылу и обливал слезами. Он тут бы и ночевать остался, если бы конюхи не выгнали его. В казарме ждала Арефу новая неприятность: рабочие уже поужинали и полегли спать, а двери казармы были заперты на замок. Около казармы всю ночь ходил караул.

— Ты это где пропадал? — накинулся на Арефу пристав. — Порядков не знаешь... Смотри у меня: всю душу вытрясу.

— А ты не больно аркайся! — рассердился дьячок, изнемогавший от усталости и еще больше от горя. — Я слободской человек, иду, куда хочу... Над своими изневаживайтесь.

За такие поносные слова пристав ударил Арефу, а потом втолкнул в казарму, где было и темно и душно, как в тюрьме. Около стен шли сплошные деревянные нары, и на них сплошь лежали тела. Арефа только здесь облегченно вздохнул, потому что вольные рабочие были набраны Гарусовым по деревням, и тут много было крестьян из бывших монастырских вотчин. Все-таки свои, православные, а не двоеданы. Одним словом, свой, крещеный народ. Только не было ни одной души из своей Служней слободы.

— Поснедать бы... — проговорил Арефа, приглядываясь к темноте.

— Видно, уже завтра поешь, мил человек, — ответил голос из темноты.

Арефа только вздохнул и прилег на свободное место поближе к дверям. Что же, сам виноват, а будет день — будет и хлеб. От усталости у него слипались глаза. Теперь он даже плакать не мог. Умереть бы поскорее... Все равно один конец. Кругом было тихо. Все намаялись за день и рады были месту. Арефа сейчас же задремал, но проснулся от тихого шепота.

— Объявился наш батюшка... Будет нам муку мученическую принимать от Гарусова. Слышь, по казачьим уметам на Яике царская воля прошла... Набегали башкиришки и сказывали.

— Давно об этом молва-то идет... Пора. Занищал народ вконец, хоть одинова надо дыхнуть, а батюшка на выручку хрестьянам идет. И до нас дойдет... Увидит нашу маету и вырешит всех. Двоеданы, слышь, засылку уже делали на Яик, да ни с чем выворотилась засылка: повременить казаки наказывали.

Опять тишина, опять Арефа дремлет и опять слышит сквозь сон:

— А как же, сказывают, батюшка-то двоеданским крестом молится? Што-нибудь да не так. Нам, хрестьянам, это, пожалуй, и не рука.

II

Гарусов провел скверную ночь. Накануне он узнал о «засылке» своих рабочих к казакам. Это его взбесило. Скверно было то, что затеяли эту «засылку» свои же заводские рабочие, а не деревенские. Старик рвал и метал, а взять было не с кого. Конечно, он мог бы разыскать виноватых и примерно их наказать, но лиха беда в том, что он сам начинал побаиваться. А что, ежели и в самом деле казачишки подымутся, да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки, да слобожане с заводскими? Это будет почище монастырской дубинщины, от которой игумен Моисей еле жив ушел. Так думал и передумывал Гарусов, и, как ни думал, все выходило плохо. Ни игумен Моисей, ни воевода Чушкин ничего не понимали, потому что надеялись — один на свои каменные монастырские стены, а другой на воинскую опору. Вот Баламутские заводы открыты на все четыре стороны, и не на что было надеяться, а поднимутся свои же работники и приколют. Работа тяжелая, народ непривычный — только ждут случая.

Жил Гарусов в деревянном одноэтажном доме, выстроенном из кондового леса. В низеньких комнатах и зиму и лето было натоплено, как в бане. Жена с детьми занимала две задних комнаты, а Гарусов четыре остальных, то есть в них помещалась и контора, и касса, и четыре заводских писчика, подводивших заводские книги. Строгий был человек Гарусов, и весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смел дохнуть. Особенно доставалось старухе жене, женщине простой, всего боявшейся, а пуще всего своего мужа. Она вышла замуж еще в то время, когда Гарусов был простым гуртовщиком и гонял из степи баранов. Как говорила стоустая молва, он и жить пошел с того, что зарезал в степи какого-то богатого киргиза. Он сейчас же бросил свои гурты, высмотрел угодливое местечко в верховьях Яровой, арендовал его у монастыря и поставил первую домну. Дело быстро пошло в ход, благо в чугуне и железе везде была нужда, а тут руды сколько хочешь, лесу тоже,

воды тоже. Лет через пять присмотрел Гарусов медную руду и завел новый промысел, который оправдал себя лучше железного. Все горе выходило из-за рабочих. Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских горных заводов, а к ним пристали «расейские» выходцы, бежавшие с Поволжья, с Керженца, с Беломорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро, а своих рук не хватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные села и деревни, а во-вторых, народ был непривычный к огненной работе. Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Гарусов изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков. Не один раз слободские бунтовали, и Гарусову приходилось усмирять их при помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья доброхотом-воеводой, с которым у Гарусова были свои дела.

Так дело шло не один десяток лет. Гарусов все богател, и чем делался богаче, тем сильнее его охватывала жадность. Рабочих он буквально морил на тяжелой горной работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил самым жестоким образом: батожья, кнут, застенок — все шло в ход.

Слухи о занимавшейся смуте на Яике подняли в душе Гарусова воспоминания о прошлых заводских бунтах. Долго ли до греха: народ дикий, рад случаю... Всю ночь он промучился и поднялся на ноги чем свет. Приказчик уже ждал в конторе.

— Ну, что нового? — спросил Гарусов.

— Нового, слава богу, ничего нет, Тарас Григорьич... Стороной я кое-што вызнал. А между прочим, пустяки болтают разные бродяги... Не надо им давать веры...

— Ну, это уж я знаю... А бродягам я покажу...

Приказчик сразу увидел, что Гарусов ступил левой ногой, и молчал, выжидая приказаний. Старик прошелся несколько раз по конторе, посмотрел в окно на двор, зевнул и нахмурился. Дома он ходил на мужиц-

кий лад, в одной рубахе и босиком. Да и по своим делам тоже разъезжал мужичком. Летом одевался в кафтан, а зимой в простой полушубок. Любил Гарусов и помудрить в другой раз. Пристанет к какому-нибудь обозу на дороге и попросит довезти даром или разыграет комедию где-нибудь на постоялом дворе. Все знали эти выходки богатея-заводчика и все-таки попадались впросак, а Гарусов этим путем вызнавал все, что ему нужно было и чего он не мог бы узнать ни за какие деньги. Главное, он умел неожиданно являться там, где его совсем не ждали, и наводил на всех страх. Да и дома никто не знал, что у него на уме и куда он собирается. Услужливая молва говорила, что Гарусов знается с нечистым и может зараз в нескольких местах объявляться.

Накинув заплатанный кафтанишко, Гарусов отправился сначала на фабрику. Приказчик едва поспевал за ним, — очень уж легок был старик на ногу. Дорогой он несколько раз встряхивал головой, что не сулило добра. Скверная примета, которую все знали. С фабрики выходила ночная смена, когда они подошли к воротам. Рабочие шарахнулись, когда завидели грозного старика, но он прошел мимо, никого не тронув. Но не успел он пройти ворота, как сторож за его спиной махнул шестом, — условленный знак для всех рабочих. Гарусов оглянулся как раз в этот момент, и сторож обомлел.

— В подвал! — коротко сказал Гарусов. — Там ему покажут, как надо палками-то размахивать!

Повторять приказание было не нужно, и сторож моментально исчез. Гарусов окончательно нахмурился. Ему сегодня казалось все как-то не так, и он только встряхивал головой. Ах, никому нельзя верить: все продадут ни за грош, продадут да еще ногой придавят. Черною тучею прошел Гарусов по своим фабрикам и только мельком вглядывался в некоторых рабочих, которые казались ему особенно подозрительными. Но придраться решительно было не к чему: работа шла на отличку, точно назло. Завидев работавшего у горна Арефу, Гарусов остановился, тряхнул головой и точно обронил роковое слово:

— В медную гору...

Арефа даже побелел весь, когда услыхал роковой приказ. Работа в медном руднике являлась своего рода домашней каторгой, и туда посылали только за особые вины.

— Ты у меня узнаешь, как у каменного попа едят железные просвиры, — проговорил Гарусов безмолвствовавшему несчастному дьячку.

Арефа что-то хотел сказать в свое оправдание, хотел взмолиться истошным голосом и пасть в ноги, но заводские пристава уже волокли его прямо в кузницу, где сейчас же были надеты на него железные «поручни» и «поножни» и заклепаны. Так отправляли всех в медную гору... Дьячок только в кузнице немного опомнился и понял, что Гарусов принял его за «шпына», то есть за подосланного игуменом Моисеем шпиона, а его жалобы на игумена — за прелестные речи, чтобы отвести глаза. Гарусов, несомненно, стороной уже знал о поносных словах, которые говорились рабочими, его же двоеданами, и завинил дьячка, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать сердце.

Повезли Арефу в медный рудник, нимало не медля, под строгим надзором, как разбойника. Старик сидел в телеге и громко молился «иже о Христе юродивому Прокопию», спасавшему его от стольких бед.

— Не от себя лютует Тарас Григорьич, а по дьявольскому наущению, как и игумен Моисей, — выкрикивал Арефа. — Не сердитую я на ихнюю темноту и ослепление... Воздай им, господи, добром за зло, а мои худые слезы видит один Прокопий преподобный.

— Закаркала ворона, — ворчали на дьячка провожатые, давая ему подзатыльники.

И здоровенные эти двоеданы, а руки — как железные. Арефа думал, что и жив не доедет до рудника. Помолчит-помолчит и опять давай молиться вслух, а двоеданы давай колотить его. Остановят лошадь, снимут его с телеги и бьют, пока Арефа кричит и выкликает на все голоса. Совсем озверел заводский народ... Положат потом Арефу замертво на телегу и сами же начнут жаловаться:

— Замаялись мы с тобой, воронье пугало!.. Из сил выбились... Замолчи, окаянный!

— По слепоте вашей приемлю раны...

— Ты опять разговаривать, шпын?

Провожатые удивлялись только одному, что очень уж живуч дьячок, — такой маленький да дохлый, а ничего ему не делается. Привезли они его на рудник пласт-пластом и долго жаловались смотрителю, что замучил их дьячок дорогой, а теперь вот притворился, накинул на себя черную немочь и только глазами моргает.

Медный рудник спрятался совсем в горах, на лесном безлюдье. Руда была найдена в «отбочине», на левом берегу Яровой, которая здесь выбивалась из гор маленькой речкой. Обрадовалось сердце Арефы, когда он увидел родную реку, которая отсюда скатывалась под самый Прокопьевский монастырь и дальше в «орду». Рудничное строение облегло отбочину горбатыми крышами. Стояли одни казармы, такая же контора-казарма и ряд шахт. Весь берег Яровой был завален пустою породою, которую добывали из шахт, — свеже-добытая земля так и желтела. Рабочих было мало видно: все в шахте. А наверху копошились одни откатчики да отвальщики. И казармы здесь были устроены по-тюремному — из толстых бревен, с крохотными оконцами, едва руку просунуть, с толстыми дверями и высоким тыном кругом. Смотритель даже не взглянул на нового рабочего, а только мотнул головой, чтобы сволокли его в казарму, пока «оклемается». Видал он таких представленных...

Опять Арефа очутился в узилище, — это было четвертое по счету. Томился он в затворе монастырском у игумена Моисея, потом сидел в Усторожье у воеводы Полуекта Степаныча, потом на Баламутском заводе, а теперь попал в рудниковую тюрьму. И все напрасно... Любя господь наказует, и нужно любя терпеть. Очень уж больно дорогой двоеданы проклятые колотили: места живого не оставили. Прилег Арефа на соломку, сотворил молитву и восплакал. Лежит, молится и плачет.

— Ты это о чем, человече? — послышался голос из темноты.

Арефа думал, что он один, и испугался. В тюрьме было совершенно темно, и он ничего не мог разглядеть.

— Кто жив человек? — спросил он, обрадовавшись в следующий момент живому человечьему голосу.

— А ты кто?

— Я по злобе игумена Моисея... Да ты иди поближе, зачем спрятался?

В ответ грянула тяжелая железная цепь и послышался стон. Арефа понял все и ощупью пошел на этот стон. В самом углу к стене был прикован на цепь какой-то мужик. Он лежал на гнилой соломе и не мог подняться. Он и говорил плохо. Присел около него Арефа, ощупал больного и только покачал головой: в чем душа держится. Левая рука вывернута в плече, правая нога плеть-плетью, а спина, как решето.

— Из бегунов я, — тяжело шептал несчастный. — Три раза из рудника убегал, ну, и попал в лапы приставам. Чуть душу не вытрясли...

— Плохо твое дело, милаш! — жалел дьячок, потряхивая своими железами. — Кабы сила-мочь, так я бы травкой тебя попользовал. Есть такие в степи пользительные травки от убоя, от раны, ото всякой лихой болести... Да вот под руками ничего нет.

— Тошнехонько мне... под сердце подкатывает... Прибрал бы господь-батюшка поскорее, а то моченьки не стало... Я из слободских, из Черного Яру... женишка осталась, ребятенки... вся худоба... к ним урваться хотел, а меня в горах и пымали...

— Не из двоедан, значит? — обрадовался Арефа.

— Православный... От дубинщины бежал из-под самого монастыря, да в лапы к Гарусову и попал. Все одно помирать: в медной горе али здесь на цепи... Живым и ты не уйдешь. В горе-то к тачке на цепь прикуют... Может, ты счастливее меня будешь... вырвешься как ни на есть отседова... так в Черном Яру повидай мою-то женишку... скажи ей поклончик... а ребятенки... ну, на миру сиротами вырастут: сирота растет — миру работник.

— Как тебя звать-то, милаш?

— Трофимом... В Черном Яру скажут...

Дольше больной говорить не мог, охваченный тяжелым забытьем. Он начал бредить, метался и все поминал свою жену... Арефу даже слеза прошибла, а помочь нечем. Он оборвал полу своего дьячковского подрясника, помочил ее в воде и обвязал ею горячую голову больного. Тот на мгновенье приходил в себя и начинал неистово ругать Гарусова.

— Погоди, отольются медведю коровьи слезы!.. Будет ему кровь нашу пить... по колен в нашей крови ходить... Вот побегут казаки с Яика да орда из степи подвалит, по камушку все заводы разнесут. Я-то не доживу, а ты увидишь, как тряхнут заводами, и монастырем, и Усторожьем. К казакам и заводчина пристанет и наши крестьяне... Огонь... дым...

Арефа просидел над больным целый день и громко молился. Под утро Трофим как будто стишал, а потом попросил воды. Арефа подал ему деревянную чашку, но не нужно было уже ни воды, ни лекарств...

— Помяни, господи, новопреставленного раба твоего Трофима, — молился Арефа, стоя на коленях... — Прости ему вольные и невольные прегрешения, вся, яже содеял ведением и неведением, яже словом, яже помышлением.

Затем он проговорил молитву на исход души и благословил усопшего узника, в мире раба божьего Трофима, а потом громко наизусть принялся читать заупокойный канон о единоумершем. Службу церковную он знал наизусть, потому что по-печатному разбирал с грехом пополам, за что много претерпел и от своего попа Мирона и от покойного игумена Поликарпа.

Рудниковые пристава нашли дьячка у покойника и еще раз обругали его, а затем поволокли в медную гору, в наряд. Упало дьячковское сердце, когда его посадили в большую деревянную бадью и начали опускать в шахту. Он со страху закрыл глаза и громко читал канон преподобному Прокопию: точно сама земля разверзлась и поглощала его грешное дьячковское тело черной пастью. Где-то гудела вода, скрипели насосы, и бадья летела все вниз со своей живою

добычей. Но вот в глубине мелькнул живой огонек, и взыграло дьячковское сердце: жив господь, и жив дьячок Арефа. По дороге попалась другая бадья, которая шла наверх с рудой. Но вот и дно шахты. Бадья остановилась. Двое рабочих поддержали ее и помогли дьячку вылезти.

— Трофим приказал долго жить, братцы, — сказал Арефа. — Под утро кончился, сердяга...

Рудниковые молча сняли шапки и молча перекрестились. Они с удивлением разглядывали дьячка.

— Да ты откелева взялся-то, мил человек?

— А я из монастырской слободы, яже в Сибирстей стране, у Прокопьевского монастыря... По злобе игумна Моисея...

Его поволокли куда-то в боковую шахту, и там кузнец расковал его... Все равно отсюда не убежишь, а работать в железах неспособно. Возблагодарил Арефа бога, что опять мог двигать руками и ногами, а его уже повели в наряд. Идти пришлось по темной боковой шахте, укрепленной лиственничными плахами. Везде сочилась вода и пахло прелым деревом. Так привели его в забой, где добывали медную руду кайлами и ломами. Работа, пожалуй, и нетрудная, кабы не глухой воздух. Да и жарко при этом... С дьячка катился пот градом, когда он проработал первую смену.

III

Работа в медной горе считалась самою трудной, но Арефа считал ее отдыхом. Главное, нет здесь огня, как на фабрике, и нет вечного грохота. Правда, что и здесь донимали большими уроками немилосердные пристава и уставщики, но все-таки можно было жить. Арефа даже повеселел, присмотревшись к делу. Конечно, под землей дух тяжелый и теплынь, как в бане, а все-таки можно перебиваться.

— Чему ты радуешься, дурень? — удивлялись другие шахтари. — Последнее наше дело. Живым отсюда не выпущают.

— Вы-то не уйдете, а я уйду.

— Не захваливайся.

— Из орды ушел колотый, а от Гарусова и подавно уйду... Главная причина, кто сильнее: преподобный Прокопий али Гарусов? Вот то-то вы, глупые... Над кем изневаживается Гарусов-то?.. Над своими же двоеданами, потому как они омрачены... А преподобный Прокопий вызволит и от Гарусова.

Вообще дьячок говорил многое «неудобь-сказуемое», и шахтари только покачивали головами. И достанется дьячку, ежели Гарусов вызнает про его поносные речи. А дьячок и в ус себе не дует: копает руду, а сам акафист преподобному Прокопию читает.

— Я вольный человек, — говорил он рабочим, — а вас всех Гарусов озадачил... Кого одежей, кого харчами, кого скотиной, а я весь тут. Не по задатку пришел, а своей полной волей. А чуть што, сейчас пойду в судную избу и скажу: Гарусов смертным боем убил мужика Трофима из Черного Яру. Не похвалят и Гарусова. В горную канцелярию прошение на Гарусова подам: не бей смертным боем.

«Озадаченные» Гарусовым рабочие только почесывали в затылках. Правильно говорил дьячок Арефа, хотя и не миновать ему гарусовских плетей. Со всех сторон тут были люди: и мещане из Верхотурья, и посадские из Кайгородка, и слобожане, и пашенные солдаты, и беломестные казаки, и монастырские садчики, и разная татарва. Гарусов не разбирал, кто откуда, а только копали бы руду. И всех одинаково опутывал задатками. Вольная птица, монастырский дьячок составлял единственное исключение.

Но эта дьячковская воля продолжалась недолго. Через две недели Арефу повели в рудниковую контору. Приказчик сидел за деревянной решеткой и издали показал дьячку лоскуток синей бумаги, написанной кудрявым почерком.

— Узнаешь, вольный человек? — глухо спросил приказчик и засмеялся.

Арефа даже зашатался на месте. Это была его собственная расписка, выданная секретарю тобольской консистории, когда ему выдавали ставленническую грамоту. Долгу было двадцать рублей, и Арефа запла-

тил уже его два раза — один раз через своего монастырского казначея, а в другой присылал деньги «с оказией». Дело было давнишнее, и он совсем позабыл про расписку, а тут она и выплыла. Это Гарусов выкупил ее через своих приставников у секретаря и теперь закабалил его, как и всех остальных.

— Ну, что скажешь, вольный человек? — смеялся приказчик. — Похваляться умеешь, а у самого хвост завяз... Так-то? Да еще с тебя причитается за прокорм твоей кобылы... понимаешь?..

Арефа как-то сразу упал духом, точно его ударили обухом по голове: и его «озадачил» Гарусов... А все отчего? За похвальбу преподобный Прокопий нашел... Вот тебе и вольный человек! Был вольный, да только попал в кабалу. С другой стороны, Арефа обозлился. Все одно пропадать...

— Искать буду с Гарусова, — смело заявил он. — Я письменный человек и дорогу найду... У меня и свое монастырское начальство есть, и горная канцелярия, и воеводу Полуехта Степаныча знаю... да.

— И везде тебе скажут, что ты дурак...

— Я дурак?.. Дурак да про себя, а на Гарусова я имею извет. Попомнит он у меня единоумершего хрестьянина Трофима из Черного Яру, вот как попомнит!..

На такие слова приказчик сейчас же «ощерился» и собственноручно избил зубастого дьячка, а потом велел запереть его в деревянные «смыги» накосо: левую ногу с правой рукой, а правую ногу с левой рукой. Поместили Арефу в то самое узилище, где умер Трофим и для безопасности приковали цепью к деревянному стулу. Положение было самое неудобное: ни встать, ни сесть, ни лежать. Два дня таким образом промучился Арефа, а на третий день не вытерпел и заявил приставу, что желает учинить разборку своего дела в судной избе на Баламутском заводе.

— Тебе же хуже, — посмеялся приказчик. — Теперь тебе наши деревянные смыги не поглянулись, ну, переменим на железную рогатку и посадим тебя на стенную цепь. За язык бы тебя следовало приковать, да еще погодим малое время...

Две недели высидел Арефа в своей рогатке. Железо въедалось ему в плечи, и тонкая шея была покрыта струпьями. Каждое движение вызывало страшную боль. А главное, нельзя было спать. Никак нельзя прилечь: железо еще сильнее впивалось в живое тело. Так прислонится к стенке Арефа и дремлет. Как будто забудется, как будто дремота одолевает, а открыл глаза — голова с плеч катится. Стал совсем изнемогать Арефа, и стало ему казаться, что он совсем не дьячок, а черноярский мужик Трофим, и что он уж мертв, а мучится за свои грехи одна плоть.

Арефа лежал без памяти, когда в тюрьму привели новых преступников. Это были свои заводские двоеданы, провинившиеся на уроках. Они пожалели Арефу и отваживались с ним по две ночи. Тут уж смилостивился и приказчик и велел расковать дьячка.

— К Трофиму еще успеем тебя отправить, коли соскучился, — пригрозил он ему.

В казарме вылежал Арефа две недели. Лежит Арефа и молчит, молчит и думает: за свой язык он муку принимал и чуть живота не решился. Нет, теперь, брат, шабаш: про себя лучше знать... Лежит и думает Арефа о том, как бы ему вырваться опять на волю и уйти от Гарусова. Кругом места дикие, не скоро поймают... Эх, кабы еще кобылу добыть, так и того бы лучше. А там и своя Служняя слобода, и дьячиха Домна Степановна, и милая дочь Охонюшка, и поп Мирон, и весь благоуветливый иноческий чин. Точно ножом кто ударит, как только вспомнит Арефа про свое тихое убежище.

Да, легко бежать, а каково будет, когда поймают? Арефа уже совсем решился на бегство, но ему помешал случай: с Баламутского завода бежало несколько рабочих, их переловили и привели наказывать на рудник. Что тут было, и не рассказать. Всех рудниковых выстроили на дворе, и наказание учинили на глазах, чтобы остальные смотрели и казнились. Двоих наказали кнутом, троих плетьми, а остальных нещадно били батожьем. Это было похуже, чем расправа «с пристрастием» у самого воеводы Полуекта Степаныча. Всех наказанных сволокли замертво в тюрьму.

Со страху Арефа не спал целую ночь, и ему все казалось, что он уже бежал и его ловят. Вот настигли совсем, он даже глаза закрыл... вот, вот... Заводские пристава стреляли бегунов прямо из ружей, а потом убитых списывали за пропавших без вести. Мертвый не пойдет искать, а живым до себя.

Но, видно, от судьбы не уйдешь. Только Арефа поправился и спустился в свою шахту, а там уже все готово: смена, в которой он работал, сговорилась бежать в полном составе.

— Ежели ты с нами не пойдешь, мы тебя живым не оставим, — объяснил Арефе главный зачинщик из слобожан. — Гинуть, так всем зараз, а то еще продашь...

— Братцы, куда же я? — взмолился Арефа. — Игумен Моисей истязал меня шелепами, воевода Полуехт Степаныч в железах выдержал целую зиму, Гарусов в кабалу повернул... А сколько я натерпелся от приставов?.. В чем душа... Вы-то убежите, а меня поймают...

Но Арефу никто не слушал. Пока он сидел в своей рогатке да выздоравливал, что-то случилось, чего он не знал, а мог только догадываться. Рабочие шушукались между собой и скрывали от него. Может, от казаков с Яика пришла весточка?.. Покойный Трофим что-то болтал, а потом рабочие галдели по казармам... Слухи шли давно, еще во время монастырской «дубинщины», и Арефа плохо им верил. Так темное мужичье болтает, а никто хорошенько ничего не знает. Положим, у Гарусова постоянно бунтовали рабочие, а потом Полуект Степаныч их усмирял воинскою силою, — ну, и теперь в этом же роде, надо полагать.

Это было на другой день после успенья. Еще с вечера слобожанин Аверкий шепнул Арефе:

— Смотри, завтра у нас вода побежит... Теперь самый раз, потому приказчик не сторожится: думает, испугал всех наказанием. Понял?..

Арефа молчал. Будь что будет, а чему быть, того не миновать... Он приготовил на всякий случай котомочку и с тупою покорностью стал ждать. От мира не уйдешь, а на людях и смерть красна.

По уговору двое рабочих перед вечернею сменой затеяли драку. Приказчик вступился в это дело, набежали пристава, а в это время шахтари обрубили канат с бадьей, сбросили сторожа в шахту и пустились бежать в лес. Когда-то Арефа был очень легок на ногу и теперь летел впереди других. Через Яровую они переправились на плоту, на котором привозили камень в рудник, а потом рассыпались по лесу.

Погоня схватилась позже, когда беглецы были уже далеко. Сначала подумали, что оборвался канат, и бадья упала в шахту вместе с людьми. На сомнение навело отсутствие сторожа. Прошло больше часу, прежде чем ударили тревогу. Приказчик рвал на себе волосы и разослал погоню по всем тропам, дорогам и переходам.

В смене было двенадцать человек. Сначала бежали гурьбой, а потом разбились кучками по трое, чтобы запутать следы. За ночь нужно пройти верст двадцать. Арефа пристал к слобожанам, — им всем была одна дорога вниз по Яровой.

— Меня бы только до монастыря господь донес, — мечтал Арефа. — А там укроюсь где ни на есть... Да што тут говорить: прямо к игумну Моисею приду... Весь тут и кругом виноват. Хоть на части режь, только дома... Игумен-то с Гарусовым на перекосых и меня не выдаст. Шелепов отведать придется, это уж верно, — ну, да бог с ним.

Слобожане отмалчивались. Они боялись, как пройдут мимо Баламутского завода: их тут будут караулить... Да и дорога-то одна к Усторожью. Днем бродяги спали где-нибудь в чаще, а шли, главным образом, по ночам. Решено было сделать большой круг, чтобы обойти Баламутский завод. Места попадались все лесные, тропы шли угорами да раменьем, того гляди, еще с дороги собьешься. Приходилось дать круг верст в пятьдесят. Когда завод обошли, слобожане вздохнули свободнее.

— Пронес господь тучу мороком...

Один дьячок закручинился. Присел на пенек и сидит.

— Эй, дьячок, будет сидеть... Пойдем. Аль стосковался по Гарусове?

— А я ворочусь на завод, братцы, — ответил Арефа.

— Да ты в уме ли?

— А кобыла? Первое дело, не доставайся моя кобыла Гарусову, а второе дело — как я к дьячихе на глаза покажусь без кобылы? Уехал на кобыле, а приду пешком...

— Ах, дурья голова... Ведь кожу с тебя сымет Гарусов теперь, как попадешься к нему в лапы... А ему кобыла далась...

— А преподобный Прокопий на што?

Бродяги обругали полоумного дьячка и пошли своею дорогой. Отдохнул Арефа, помолился и побрел обратно к заводу. Припас всякий вышел, а в лесу по осени нечего взять. Разве где саранку выкопаешь да медвежью дудку пососешь... Затощал дьячок вконец, чувствует, что из последних сил выбивается. Пройдет с полверсты и приляжет. Только на другой день добрался до завода. Добраться добрался, а войти боится. Целый день пролежал за околицей, выжидая ночи, чтобы в темноте пробраться на господские конюшни, где стояла кобыла. Лежит Арефа недалеко от проезжей дороги в кустах, а у самого темные круги перед глазами начинают ходить. А тут под самый вечер, глядит он, едут по дороге вершники. Поглядел дьячок и глазам своим не верит: везут связанными его слобожан. Попались где-то сердяги... Перекрестился дьячок: ухранил преподобный Прокопий. Скоро провезли слобожан на полных рысях. У одного голова белым платком перевязана, а сам едва в седле держится, — должно полагать, стреляный. А пристава везут и все оглядываются, точно боятся погони. Удивительно это показалось дьячку.

Темною ночью пробрался он в Баламутский завод, а там стоит дым коромыслом. Все на ногах, все бегают, а сам Гарусов скрылся неизвестно куда. Сначала Арефа перепугался, а потом сообразил, что ему под шумок всего лучше выкрасть свою кобылу. На него никто не обращал внимания: всякому было до себя.

— Орда валит!.. Казаки идут... — слышалось со всех сторон. — А наш-то орел схоронился...

— Догадлив, пес!

Работы были остановлены, и народ бродил по улицам, как пьяный. Слухи росли, а с ними увеличивалось и общее смятение. Это было не свое заводское волнение, успокаиваемое отчасти домашними средствами, отчасти воинскою рукой, а откуда-то извне надвигалась страшная гроза. Определенного никто ничего еще не знал, и это было хуже всего. Общую панику увеличило неожиданное бегство Гарусова, получившего какое-то важное известие с нарочным. На заводе всегда было много недовольных, и они сейчас объявились. Открытого возмущения не существовало, но уже сказывалось глухое недовольство и ропот. Это особенно проявилось тогда, когда приказчики потребовали рабочих на постройку вала, надолбов и рогаток.

— Пусть сам Гарусов строит! — галдела толпа. — Небойсь удрал!

Более благоразумные люди говорили, что вся эта кутерьма только один подвох со стороны Гарусова, а потом он налетит и произведет жестокую расправу с ослушниками и своевольцами. Старик любил выкидывать штуки... Именно такие благоразумные и отправились копать рвы и делать рогатки. Работа была спешная, при освещении костров.

Арефа отлично воспользовался общею суматохою и прокрался на господскую конюшню, где и разыскал среди других лошадей свою кобылу. Она тоже узнала его и даже вильнула хвостом. Никто не видел, как Арефа выехал с господского двора, как он проехал по заводу и направился по дороге в Усторожье. Но тут шли главные работы, и его остановили.

— Куда черт понес?

— А по своему делу...

— Братцы, да ведь это дьячок с рудника! Держи его, оборотня!

Поднялся гвалт, десятки рук ухватились за кобылу, но Арефа сказал верному коню заветное киргизское

словечко, и кобыла взвилась на дыбы. Она с удивительною легкостью перепрыгнула ров и понеслась стрелой по дороге в Усторожье.

— Держи дьячка!.. Братцы, держи!..

Вдогонку грянуло несколько выстрелов, но Арефа припал к шее верного коня, и опасность осталась позади.

IV

Арефа был совершенно счастлив, что выбрался жив из Баламутского завода. Конечно, все это случилось по милости преподобного Прокопия: он вызволил грешную дьячковую душу прямо из утробы земной. Едет Арефа и радуется, и даже смешно ему, что такой переполох в Баламутском заводе и что Гарусов бежал. В Служней слободе в прежнее время, когда набегала орда, часто такие переполохи бывали и большею частью напрасно. Так, бегают, суетятся, галдят, друг дружку пугают, а беду дымом разносит.

— Нет, Гарусов-то какого стрекача задал! — говорил Арефа своей кобыле. — Жив смерти, видно, боится... Это его преподобный Прокопий устигнул: не лютуй, не пей чужую кровь, не озорничай. Нет, брат, мирская-то слеза велика...

Отъехав верст двадцать, Арефа свернул в лесок покормить свою кобылу. «Ведь вот тварь, а чувствует, что домой идет, и башкой вертит». Прилег Арефа на травку, а кобыла около него ходит да травку пощипывает. «Хорошо бы огонек разложить, да страшно: как раз кто-нибудь наедет на дым, и повернут раба божия обратно в Баламутский завод. Нет, уж достаточно натерпелся за свою простоту».

— Эх, перекусить бы малую толику! — вслух думал Арефа. — Затощал вконец... Ну, да потерплю, а там дьячиха Домна Степановна откормит. Хорошо она заказные блины печет... Ну и редьки с квасом похлебать тоже отлично. Своя редька-то... А то рыбка найдется солененькая: карасики, максунинка... Да еще капустки пластовой прибавить, да кашки пшенной на молочке, да взварцу из черемухи, да вишенки...

От этих суетных мыслей у Арефы окончательно подвело живот. Лучше уж не думать, не тревожить себя напрасно.

Не успел Арефа передумать своих голодных мыслей, а хлеб сам пришел к нему. Лежит Арефа и слышит, как сучок хрустнул. Потом тихо стало, а потом опять шелест по траве. Чуткое дьячковское ухо, сторожливое, потому как привык сызмала в орде беречься: одно ухо спит, а другое слушает.

«Башкирятин кобылу скрасть хочет», — подумал Арефа и успокоился: не таковская кобыла, чтобы чужого человека подпустить.

И кобыла тоже учуяла, насторожилась и храпнула. Тоже степная тваринка, не скоро возьмешь... А человек действительно подкрадывался. Он долго разглядывал лежавшего на земле дьячка, спрятавшись за деревом.

— Ну, чего ты воззрился-то? — окликнул его Арефа. — Добрый человек, так милости просим на стан, а худой, так проходи мимо... У меня разговор короткий...

В сущности Арефа струхнул, а напустил на себя храбрость для видимости: ночью-то не видно. Таинственный человек еще раз огляделся кругом и подошел. Это был плечистый мужик в рваном зипуне и рваной шляпенке.

— Вот што, мил человек, — заговорил он, подсаживаясь к Арефе, — едешь ты на кобыле один, а нам по пути...

— Н-нн-о?

— Верно тебе говорю... Я от Гарусова с заводу бежал. Погони боюсь.

Арефа почесал за ухом и прикинулся, что не узнал по голосу, что за птица налетела. Он и в темноте сразу узнал самого Гарусова, хотя он и был переодет. Вот он, хороняка и бегун, где шляется... Но главное внимание Арефы обратила на себя теперь отдувавшаяся пазуха самозванного бегуна, и дьячок даже понюхал воздух.

— Знаешь сказку, мил человек, — заговорил Арефа, — поедешь налево — сам сыт, конь голоден, поедешь направо — конь сыт, сам голоден.

Мужик засмеялся и достал из-за пазухи здоровую краюху хлеба. Арефа только перекрестился: господь невидимо пищу послал. Потом он переломил краюху пополам и отдал одну половинку назад.

— Какой ты добрый на чужое-то, — засмеялся мужик. — Тоже, видно, от Гарусова бежишь?

— Ну, мы с Гарусовым-то душа в душу жили, — отшучивался Арефа, уплетая хлеб за обе щеки. — У нас все пополам было: моя спина — его палка, моя шея — его рогатка, мои руки — его руда... Ему ничего не жаль, и мне ничего не жаль. Я, брат, Гарусовым доволен вот как... И какой добрый: душу оставил.

Арефу забавляло, что Гарусов прикинулся бродягой и думал, что его не признают: от прежнего зверя один хвост остался. Гарусов в свою очередь тоже признал дьячка и решил про себя, что доедет на его кобыле до монастыря, а потом в благодарность и выдаст дьячка игумену Моисею. У всякого был свой расчет.

— Утро вечера мудренее, мил человек, — говорил Арефа. — Ужо кобыла отдохнет, на брезгу и поедем.

Ночью, однако, никому не спалось. Они караулили друг друга, чтобы один без другого не уехал на кобыле. Под утро они притворились, что спят, и Гарусов храпел, как зарезанный. Арефа, наконец, поднялся и поймал кобылу. Когда они сели верхом, дьячок проговорил:

— Бит небитого везет.

— А ты как знаешь?

— Рожа у тебя толстая... Закормил, видно, Гарусов-то с осени. Вишь, как нащечился!

— А тебя Гарусов-то, видно, мало еще бил: вон как язык болтается!

Так они и поехали вместе, как лучшие друзья, и только кряхтела одна кобыла. Дьячок сидел впереди и правил, а Гарусов сидел за ним. Арефа ехал и в умилении думал о том, как господь смиряет гордыню и превозносит убогих. Вот хоть сейчас, стоит захотеть, и Гарусов пойдет пешком... Дорогой от нечего делать они болтали о разных разностях и подшучивали друг над другом. Здесь же в первый раз Арефа услыхал,

что проявился в казаках не прост человек, прозвищем Пугач, и что этот человек принял на себя августейшую персону государя Петра III. Молва уже облетела по казачьим уметам и станицам, перекинулась в орду и дошла до заводов. Бунтовали пока ближние башкиришки, которые грозились пожечь русские селения. К ним пристал разный сброд, шатавшийся по дорогам. Казакам тоже верить нельзя, — эти продадут. Арефа только качал своею маленькою головкой, припоминая, о чем болтали рабочие на руднике. Конечно, Гарусов не все рассказывает, а бежал он неспроста. Едут на одной кобыле, а мысли разные. Дорога была пустынная, а где попадалась деревушка, они объезжали ее стороной.

Так они ехали целый день и заночевали в лесу. Теперь до монастыря оставалось полтора дня ходу.

— Только бы до монастыря добраться, — повторял Арефа, укладываясь спать. — Игумен Моисей травником угостит... а то и шелепов не пожалеет. Он простоват, игумен-то...

— Ах ты, шиликун! — смеялся Гарусов. — Прост игумен?..

— С Гарусовым два сапога — пара... И любят друг дружку, водой не разольешь.

Друзья крепко спали, когда пришла нежданная беда. Арефа проснулся первым, хотел крикнуть, но у него во рту оказался деревянный «кляп», так что он мог только мычать. Гарусов в темноте с кем-то отчаянно боролся, пока у него кости не захрустели: на нем сидели четверо молодцов. Их накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. Арефа и Гарусов поняли, что их везут в «орду».

«Ох, съедят мою кобылу башкиришки!» — думал Арефа в горести.

Гарусов и Арефа знали по-татарски и понимали из отрывочных разговоров схвативших их конников, что их везут в какое-то стойбище, где большой сбор. Ох, что-то будет?.. Всех конников было человек двадцать, и все везли в тороках награбленное по русским

деревням добро, а у двоих за седлами привязано было по молоденькой девке. У орды уж такой обычай: мужиков перебьют, а молодых девок в полон возьмут.

Так они ехали два дня и всего один раз пленникам дали напиться воды. Особенно страдал Гарусов. Лицо у него даже почернело, а оба глаза были подбиты. Отряд шел к стойбищу напрямик, по степной сакме. Лес и горы остались далеко назади. За пленниками усиленно следили, чтоб они не могли между собой разговаривать. Выехали на стойбище только на третий день к вечеру. Издали в степи показалось яркое зарево горевших костров. Навстречу вылетела стая высоких киргизских псов, а за ними прискакали другие конники. Все окружили пленников, осматривали их, щупали руками и всячески издевались. Особенно доставалось Арефе за его дьячковскую косицу.

На стойбище сбилось народу до двух тысяч. Тут были и киргизы, и башкиры, и казаки, и разные воровские русские люди, укрывавшиеся в орде и по казачьим станицам. Не было только женщин и детей, потому что весь этот сброд составлял передовой отряд. Пленников привязали к коновязям, обыскали и стали добывать языка: кто? откуда? и т. д. Арефа отрывисто рассказал свою историю, а Гарусов начал путаться и возбудил общее подозрение.

— Повесить их! — кричали голоса. — Они нас подведут при случае!

— Повесить успеем всегда, — спорил кто-то, — а надо из них правды добыть... На угольках поджарить али водой холодной полить: развяжут язык-то скорее.

К счастью Арефы, его опознал какой-то оборванец, бывший в Прокопьевском монастыре. Сейчас же его развязали и пустили на волю, то есть он оставлен был при шайке вместе с другими пленниками, которых было за сто человек. «Орда» давно бы передушила их всех, да не давали в обиду свои казаки, которые часто вздорили с «ордой». От этих пленников, набранных с разных мест, Арефа узнал досконально положение дела. О батюшке Петре Федорыче говорили везде, и все бежали к нему: сила у него несметная и всем жа-

лует волю. Одно смущало Арефу, что Петр Федорыч очень уж мирволил двоеданам и, как сказывали, сам крестился раскольничьим двуперстием. Второе было то, что казаки испокон веку смуту разводили, и верить им было нельзя. Продувной народ, особенно на Яике. Одних беглых сколько укрывалось по казачьим землям, раскольников и всяких лихих людей. А тут вдруг батюшка Петр Федорыч объявился в казаках... Как будто оно и не совсем похоже.

Гарусову досталось от казаков. Его не признали за настоящего мужика и долго пытали, что за человек. Но крепок был Гарусов — все вынес. И на огне его припекали, и студеною ключевою водой поливали, и конским арканом пытали душить. Совсем зайдется, посинеет весь, а себя не выдает. Арефа не один раз вступался за него, не обращая внимания на тумаки и издевательства.

— Ты заодно с ним, дьячок?.. Вместе на кобыле-то ехали...

— Неизвестный мне человек, — уверял Арефа. — Мало ли шляется по нонешним временам беспризорного народу. С заводов, грит, бежал.

— Смотри, дьячок, худо будет.

Особенно досталось Гарусову, когда он наотрез отказался есть кобылятину. Казаки хотя и считались по старой вере, а ели конину вместе с «ордой», потому что привыкли в походах ко всему. Арефа хоть и морщился, а тоже ел, утешая себя тем, что «не сквернит входящее в уста, а исходящее из уст». Гарусов даже плюнул на него, когда увидел.

— Ужо вот я скажу игумну-то Моисею, — пригрозил он. — Он из тебя всю душу вытрясет.

— А ты помалкивай лучше, кабы я чего не сказал, — ответил Арефа. — Ворочусь в монастырь и сам замолю свои грехи.

На стойбище простояли близко двух недель. А потом налетели казаки и увели своих. Пленные остались с одной «ордой». Вести были получены невеселые, и стойбище волновалось из конца в конец. Только одни пленные не знали, в чем дело. Скоро, впрочем, выяснилось, что и «орда» тоже снимается в поход. Сборы

были короткие: заседлали коней, связали в торока разный скарб — и все тут. Пленных повели пешком, одною кучею, под прикрытием пяти джигитов, подгонявших отстававших нагайками. Страшнее этого Арефа ничего не видал. Немилостивая «орда» не знала пощады и заколачивала нагайками насмерть. Кормили тоже плохо, и пленные едва держались на ногах. Арефа всех лечил, перевязывал раны и вообще ухаживал за больными. Благодаря этой доморощенной медицине он спас и свою кобылу. Правда, что он валялся в ногах у немилостивой «орды», слезно плакал и, наконец, добился своего.

— Ну, потом съедим твою кобылу, — в виде особенной милости согласился главный вожак, тоже лечившийся у Арефы.

— А как я без кобылы к апайке[1] покажусь?.. — объяснял Арефа со своей наивностью. — Как к ней пешком-то ворочусь?

Две недели брели по степи, пока добрались до русской селитьбы. Из пленных едва уцелела «любая половина». А там пошла новая потеха: «орда» кинулась на русские деревни с особенным ожесточением, все жгла, зорила, а людей нещадно избивала, забирая в полон одних подростков-девушек. Кровь лилась рекой, а «орда» не разбирала, — только бы грабить. В виде развлечения захваченных пленных истязали, расстреливали из луков и предавали самой мучительной смерти. Испуганные жители не знали, в какую сторону им бежать. А впереди везде по ночам кровавыми пятнами стояло зарево пожаров...

Пленных было так много, что «орде» наскучило вешать и резать их отдельно, а поэтому устраивали для потехи казнь гуртом: топили, расстреливали, жгли. Раз Арефа попался в такую же свалку и едва ушел жив. «Орда» разграбила одну русскую деревню, сбила в одну кучу всех пленных и решила давить их оптом. Для этого разобрали заплот у одной избы, оставив последнее звено. На него в ряд уложили десятка полтора пленных, так что у всех головы очутились по другую

---

[1] Апайка — жена. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

сторону заплота, а шеи на деревянной плахе. Сверху спустили на них тяжелое бревно и придавили. Это была ужасная картина, когда из-под бревна раздались раздирающие душу крики, отчаянные вопли, стоны и предсмертное хрипение. «Орда» выла от радости... Не все удавленники кончились разом. К общему удивлению, в числе удавленников оказался и дьячок Арефа. Он оказался живым благодаря своей тонкой шее.

— Ах ты, шайтан! — удивлялись башкиры, освобождая его из общей массы мертвых тел. — Да как ты-то попал?

Арефа со страху ничего не мог ответить, а только моргал. Его сильно помяли, и он дня три не мог произнести ни одного слова, а потом отошел. Этот случай всех насмешил, даже пленных, ожидавших своей очереди.

— Вызволил преподобный Прокопий от неминучей смерти, — слезливо объяснял Арефа. — Рядом попались мужики с толстыми шеями, — ну, меня и не задавило. А то бы у смерти конец...

Все эти ужасы были только далеким откликом кровавого замирения Башкирии, когда русские проделывали над пленными башкирами еще бо́льшие жестокости: десятками сажали на кол, как делал генерал Соймонов под Оренбургом, вешали сотнями, отрубали руки, обрезывали уши, морили по тюрьмам и вообще изводили всяческими способами тысячи людей. Память об этом зверстве еще не успела остыть, и о нем пели заунывные башкирские песни, когда по вечерам «орда» сбивалась около огней. Всех помнила эта народная песня, как помнит своих любимых детей только родная мать: и старика Сеита, бунтовавшего в 1662 году, и Кучумовичей с Алдар-баем, бунтовавших в 1707 году, и Пепеню с Майдаром и Тулкучурой, бунтовавших в 1736 году. Много их было, и все они полегли за родную Башкирию, как ложится под косой зеленая степная трава.

Курились башкирские огоньки, а около них башкирские батыри пели кровавую славу погибшим бойцам, воодушевляя всех к новым жестокостям. Кровь смывалась кровью... У Арефы сердце сжималось, когда башкиры затягивали эти свои проклятые песни.

V

Пока дьячок Арефа томился в огненной работе, в медной горе, а потом в полоне, Прокопьевский монастырь переживал тревожное время. Со всех сторон надвигались плохие вести, и со всех сторон к монастырю сбегался народ из разоренных и выжженных деревень и сел. Не в первый раз за монастырскими толстыми стенами укрывались от напастей, но тогда наступала, зорила и жгла «орда», а теперь бунтовали свои же казаки, и к ним везде приставали не только простые крестьяне, а и царские воинские люди, высылаемые для усмирения. Творилось что-то ужасное, непонятное, громадное, и главное — сейчас нельзя было даже приблизительно определить размеры поднимавшейся грозы. Слухи о самозванце тоже немало смущали: то он идет с несметною силой, то его нет, то он появится в таком месте, где никто его не ожидал. К казакам прежде всего пристала «орда», а потом потянули на их же сторону заводские люди, страдавшие от непосильных работ и еще более от жестоких наказаний, бывшие монастырские крестьяне, еще не остывшие от своей дубинщины, слобожане и всякие гулящие люди, каких так много бродило по боевой линии, разграничивавшей русские владения от «орды».

Прокопьевский монастырь ввиду всех этих обстоятельств чередился сильною рукой. Игумен Моисей самолично несколько раз обошел все стены, подробно осмотрел сторожевые башни, бойницы и привел в известность весь воинский снаряд, хранившийся по монастырским подвалам и кладовым. Всех башен было пять по углам окаймлявшей монастырь стены. В каждой стояло по три пушки в двадцать пудов весом, затем меньшие пушки спрятаны были в бойницах, а на особых площадках открыто помещались чугунные мортиры. Самая большая пушка, весившая сто двадцать пудов, стояла на монастырском дворе против полуденных ворот, — это было самое опасное место, откуда нападала «орда». На случай, если бы неприятель сбил ворота, он был бы встречен двадцатифунтовым ядром. Особенно любовался этою большою пушкою новый

инок Гермоген. Он по нескольку раз в день обходил ее кругом, ощупывал лафет и колеса, любовно гладил и еще более любовно говорил келарю Пафнутию:

— Это наша матушка игуменья... Как ахнет старушка, так уноси ноги.

Вообще Гермоген ужасно интересовался всякою воинскою снастью и даже надоел грозному игумену своими расспросами, как и что и что к чему. Чугунных ядер и картечи в кладовых было достаточно — несколько тысяч, а пороху не хватало — всего было двенадцать пудов и несколько фунтов. Кроме пушек и мортир, в монастыре было три десятка старинных затинных пищалей и до ста ружей — фузей, турок, мушкетонов и простых дробовиков. В особом амбаре хранилось всякое ручное оружие — луки, копья, сабли, пики, а также проволочные кольчуги, старинные шишаки и брони. Весь этот воинский скарб был добыт из подвалов и усиленно приводился в порядок монахами. Из Усторожья воевода Полуект Степаныч прислал нарочито двух пушкарей, которые должны были учить монахов воинскому делу. Положим, пушкари были очень древние старцы, беззубые и лысые, но и от них Гермоген успел научиться многому: сколько «принимала зелья» каждая пушка, как закладывается ядро, как наводить цель, как чистить после стрельбы и т. д. По совету Гермогена, одну трехфунтовую пушку монахи втащили на каменную колокольню собора. Из нее можно было отстреливаться на далекое расстояние, особенно по течению Яровой.

А у игумена Моисея, кроме своего монастыря, много было забот с Дивьей обителью, которая тоже всполошилась. Главная причина заключалась в том, что там томилась в затворе именитая узница, а потом наехала воеводша Дарья Никитична, сильно неладившая с воеводой благодаря девке Охоньке. Игумен Моисей раз под вечер самолично отправился в Дивью обитель, чтобы осмотреть все. Не любил он это «воронье гнездо» и годами не заглядывал сюда, а теперь пришлось. Скрепил сердце игумен Моисей и отправился в сопровождении черного попа Пафнутия. Вся обитель всполошилась, когда появился редкий гость, и только

лежала одна игуменья Досифея, прикованная к одру своею тяжкою болезнью. В другой комнате игуменской кельи проживала воеводша. Игумен Моисей обошел кругом стены и только покачал головой: все сгнило, обвалилось и кричало о запустении. Башен было всего две, да и те покосились и грозили падением ежечасно.

— Плохо место, — заметил Пафнутий, поглядывая на обительские стены. — Одна труха осталась... Пожалуй, и починивать нечего.

— Пора совсем порушить это лукошко, — задумчиво ответил игумен. — Не подобает ему здесь быти... Пронесет господь грозу, сейчас же снесу обитель напрочь.

— А куда же сестры денутся?

— По другим монастырям разошлем... Да и разослал бы раньше, кабы не эта наша княжиха. Нет моей силы на нее... Сам подневольный человек и ответ за нее держу. Ох, связала меня княжиха по рукам и по ногам!

Все хмурился игумен Моисей, делая обзор захудавшей обители. Он побывал и в келарне и в мастерских, где сестры ткали себе холсты, и отсюда уже прошел к игуменье.

На пороге встретила грозного игумена сама воеводша Дарья Никитична. Сильно она похудела за последнее время, постарела и поседела: горе-то одного рака красит. Игумен благословил ее и ласково спросил:

— Ну, как поживаешь, матушка-воеводша?

— Ох, не спрашивай... Какое мое житье: ни баба, ни девка, ни вдова. Просилась у Полуехта Степаныча на пострижение в обитель, так он меня так обидел, так обидел... Истинно сказать, последнего ума решился.

— Мудреное ваше дело, воеводша. Гордыня обуяла воеводу, а своя-то слабость очень уж сладка кажется... Ему пора бы старые грехи замаливать, а он вон што придумал. Писал я ему, да только ответа не получал... Не сладкие игуменские письма.

Дарья Никитична только опустила глаза. Плохо она верила теперь даже игумену Моисею: не умел он устрашить воеводу во-время, а теперь лови ветер

в поле. Осатанел воевода вконец, и приступу к нему нет. Так на всех и рычит, а знает только свою поганку Охоньку. Для нее подсек и свою честную браду, и рядиться стал по-молодому, и все делает, что она захочет, поганка. Ходит воевода за Охонькой, как медведь за козой, и радуется своей погибели. Пробовала воеводша плакаться игумену Моисею, да толку вышло мало.

— У меня с игуменом будет еще свой разговор, — хвастался воевода. — Он еще у меня запоет матушку-репку...

Воевода не мог забыть монастырской епитимии, которой его постоянно корила Охоня. Старик только отплевывался, когда заводилась речь про монастырь. Очень уж горько ему досталось монастырское послушание: не для бога поработал, а только посмешил добрых людей. То же самое и Охоня говорила...

— Все лежишь, Досифея? — спрашивал игумен Моисей.

— Бог за всех наказывает, — смиренно ответила больная игуменья. — Молитвы-то наши недоходны к богу, вот и лежу второй год. Хоть бы ты помолился, отец...

— И то молюсь по своему смирению... Вот стенки пришел поглядеть: плохо ваше место, игуменья. Даже и починивать нечего... Одна дыра, а целого места и не покажешь.

— А чья вина? — заговорила со слезами Досифея. — Кто тебя просил поправить обитель? Вот и дождались: набежит орда, а нам и ущититься негде. Небойсь сам-то за каменною стеною будешь сидеть да из пушек палить...

— Еще неизвестно, што будет, а ты зря болтаешь...

— Чего зря-то: неминучее дело. Не за себя хлопочу, а за сестер. Вон слухи пали, Гарусов бежал с своих заводов... Казачишки с «ордой» хрестьян зорят. Дойдут и до нас... Большой ответ дашь, игумен, за души неповинные. Богу один ответ, а начальству другой... Вот и матушка-воеводша с нами страдать остается, и сестра Фоина в затворе.

— Будет, мать Досифея... Без тебя знаю, — сурово ответил игумен. — Тебя не прошу за себя ответ держать...

— Горденек стал, игумен, а господь и тебя найдет. С меня нечего взять: стара и немощна. А жалеючи трудниц, говорю тебе... Их некому ущитить будет в обители. Сиротские слезы велики... Ты вот зол, а, может, позлее тебя найдутся.

— Да што ты мне грозишь?! — крикнул игумен, стукнув костылем. — Раскаркалась ворона к ненастью...

— А я скажу, все скажу, — не унималась Досифея. — Все тебя боятся, а я скажу. Меня ведь бить не будешь, а в затвор посадишь, за тебя же бога буду молить. Денно-нощно прошу смерти, да бог меня забыл... Вместе с обителью кончину приму. А тебя мне жаль, игумен, — тоже напрасную смерть примешь... да. Ох, как надо молиться тебе... крепко молиться.

Не выносил игумен Моисей встречных слов и зело распалился на старуху: даже ногами затопал. Пуще всех напугалась воеводша: она забилась в угол и даже закрыла глаза. Впрямь последние времена наступили, когда игумен с игуменьей ссориться стали... В другой комнате сидел черный поп Пафнутий и тоже набрался страху. Вот-вот игумен размахнется честным игуменским посохом, — скор он на руку, — а старухе много ли надо? Да и прозорливица Досифея недаром выкликает беду, — быть беде.

Так и ушел игумен Моисей, ни с кем не простившись. Гневен был и суров свыше меры. Пафнутий едва поспевал за ним.

— Завтра поеду в Усторожье, — объявил игумен Моисей келарю Пафнутию, когда они входили в монастырь, — у нас в монастыре все в порядке... Надо с воеводой переговорить по нарочито важному делу. Я его вызывал, да он не едет... Время не ждет.

Келарь Пафнутий только опустил глаза, проникая в тайный смысл игуменского намерения. Стыдно ему стало за игумена. И ночью плохо спалось черному попу Пафнутию. Все он думал про игумена и смущался от черных мыслей, которые так и кружились над

ним, как летний овод. И грешно было думать так, и стыдно за игумена... Славу пустит про себя неудобосказуемую, да и на весь монастырь вместе. Благоуветливый инок тяжко вздыхал и всю ночь проворочался с боку на бок. А подумать было о чем: ведь он должен был заместить игумена Моисея и за все отвечать. Может, и напрасно он смущается — опять хорошего мало. Сумрачен встал Пафнутий на другой день, а игумен уж успел собраться: живою рукою склался. Тороплив не ко времени сделался.

— Я скоро ворочусь, а вы на всякий случай сторожитесь, — советовал игумен, благословляя братию. — Поднимается великая смута, но да не смутится сердце ваше: господь любя наказует...

Братия молча поклонилась игумену в землю, и никто не проронил ни одного слова на игуменский увет. Какое-то смущение овладело всеми, а когда игуменская колымага, запряженная четверней цугом, выехала из ворот, неизвестный голос сказал:

— Однако и напугала его матушка Досифея!..

Все оглянулись, а кто сказал, так и осталось неизвестным. Келарь Пафнутий поник своею лысою головою: худая весть об игуменском малодушестве уже перелетела из Дивьей обители в монастырь.

Сумрачен ехал игумен Моисей в Усторожье: туча тучей. Все как-то не клеилось у него... Не успела утихнуть дубинщина, как поднимается новая завороха, да еще похуже старой. Со всех сторон шли худые вести, а от гражданской власти никакой помощи пока еще не видали. Тот же воевода засел себе в Усторожье и знать ничего не хочет. Черные мысли одолели игумена Моисея, а тут еще выжившая из ума Досифея каркает про напрасную смерть... Покажет он прозорливице, какая бывает напрасная смерть, только бы сперва избыть свою беду.

В Усторожье игумен прежде останавливался всегда у воеводы, потому что на своем подворье и бедно и неприборно, а теперь велел ехать прямо в Набежную улицу. Прежде-то подворье ломилось от монастырских припасов, разных кладей и рухляди, а теперь один Спиридон управлялся, да и тому делать было нечего.

У ворот подворья сидел какой-то оборванный мужик. Он поднялся, завидев тяжелую игуменскую колымагу, снял шапку и, как показалось игумену, улыбнулся.

— Што за человек? — сурово спросил игумен старца Спиридона, глядевшего на него оторопелыми глазами. — Там, у ворот?..

— А там... неведомо кто, владыка. Пришел, да и прижился. Близко недели, как на подворье... Из «орды», сказывает, едва ушел, из полону. Отдыхает теперь... Он будто верхом приехал, а сам зело немощен. Били, сказывает, нещадно...

Оглядевшись, старец Спиридон прибавил уже шепотом:

— Одно неладно, владыка: лошадь-то я опознал у него. Дьячок тут в Служней слободе был, так его, значит, кобыла...

Игумен велел позвать таинственного мужика и, когда тот вошел, притворил дверь на крюк. Мужик остановился у порога и смело смотрел на грозного игумена, который в волнении прошелся несколько раз по комнате.

— Што, сладко ли в орде было? — спросил игумен, останавливаясь. — Все, видно, бросил, ничего с собою не взял... Монастырское-то добро впрок не пошло? Вижу твое рубище, а не вижу смирения...

— Не под силу нам, мирским людям, смирение, когда и монахов гордость обуяла, — смело ответил мужик. — Я свою гордость пешком унес, а ты едва привез ее на четверне...

— Смейся, заблудящий пес... Скитаешься по орде, яко Каин, стяный и трясыйся, а других коришь гордостью. Дивно мне поглядеть на тебя...

— А мне еще дивнее тебя видеть, как ты бросил свой монастырь и прибежал схорониться к воеводе. Ты вот псом меня взвеличал, а в писании сказано, што «пес живой паче льва мертва...» Вижу твой страх, игумен, а храбрость свою ты позабыл. На кого монастырь-то бросил? А промежду прочим будет нам бобы разводить: оба хороши. Только никому не сказывай, который хуже будет... Теперь и делить нам с тобой

нечего. Видно, так... Беда-то, видно, лбами нас вместе стукнула.

Смелый мужик положил шапку и протянул руку игумену.

— Здравствуй, Тарас Григорьевич... Сильно ты помят, пожалуй, и не признать бы сразу.

— И то никто не узнает, а я и рад... Вот выправлюсь малым делом, отдохну, ну, тогда и объявлюсь. Да вот еще к тебе у меня есть просьба: надо лошадь переслать в Служнюю слободу. Дьячкова лошадь-то, а у нас уговор был: он мне помог бежать из орды на своей лошади, а я обещал ее представить в целости дьячихе. И хитрый дьячок: за ним-то следили, штобы не угнал на своей лошади, а меня и проглядели... Так и жив ушел.

Гарусов был совершенно неузнаваем благодаря ордынскому полону. Только игумен узнал его сразу. Долго они проговорили запершись, и игумен качал головой, пока Гарусов рассказывал про свои злоключения. Всего он натерпелся и сколько раз у смерти был, да и погиб бы, кабы не дьячок. Рассказал Гарусов, что делается в орде и в казаках и как смута разливается уже по Южному Уралу. Мятежники захватили заводы и сами льют себе пушки.

— А воевода Полуехт Степаныч сидит в Усторожье да радуется, — заключил Гарусов свой рассказ. — Свое стариковское лакомство одолело... Запрется, слышь, с дьячковскою дочерью и кантует.

— А вот мы доберемся до него.

Вечером игумен Моисей и Гарусов пешком отправились к воеводскому двору, а там и ворота на запоре и ставни закрыты. Постучали в окошко. Выглянул сам воевода.

— Што вам нужно, полуношники? — громко спросила воеводская голова.

— А к тебе в гости пришли, Полуехт Степаныч... Аль не признал?.. Ну-ко, растворись да принимай дорогих гостей честь-честью...

Голова скрылась. Долго пришлось ждать гостям, пока распахнулись тяжелые ворота и дорогих гостей

пустили на воеводский двор. Сам Полуект Степаныч вышел на крыльцо.

— Благослови, владыка...

— Нет тебе благословения, блудник! — отрезал игумен Моисей, проходя в горницы. — Где девку спрятал? Подавай ее... Она моя, из нашей Служней слободы, а ты ее уволок тогда с послушания, как волк овцу. Подавай девку... Сейчас прокляну!..

Затрясся весь Полуект Степаныч, из лица выступил и только прошептал:

— Ничего я не знаю, владыка... Бери сам, а я не знаю.

Игумен Моисей обошел воеводские покои и нашел Охоню в опочивальне. Он ухватил ее за руку и вывел с воеводского двора, а потом привел на подворье, толкнул в баню и сам запер на замок. Охоня молчала все время. Одета она была, как боярыня: в парчовом сарафане, в кокошнике, в шелковой рубашке. Старец Спиридон сунул ей в окно холщовую исподницу и крестьянский синий дубас. Она так же молча переоделась и выкинула в окно свой боярский наряд и даже ленту из косы, а оставила себе только одно золотое колечко с яхонтом.

VI

Охоня высидела в бане целых три дня и все время почти не ела. Да и нечего было есть. Только старец Спиридон сжалится иной раз и принесет какую-нибудь корочку.

— Эй, Охоня, што ты все молчишь? — спросил старик.

— Тошно... отстань...

— Эх, девонька, неладно твое дело, а поправить нельзя: пролакомила свою честь девичью на воеводском дворе.

— А што мне было дожидать?.. Хоть час, да мой... Было бы в чем покаяться да под старость вспомнить.

— Девка, молчи!..

— И то молчу... А ты не спрашивай без пути. Говорят тебе: тошно.

— Грех-то какой ты на душу приняла, а? — брюзжал Спиридон. — Ты подумай только, грех-то какой...

— У девки один грех, а ты осудил, — грех-то и вышел на тебе. Помру, ты же замаливать будешь.

— Ну и девка! — удивлялся Спиридон. — Ты как должна бы себя содержать: на голос реветь... А то молчит, как березовый пень.

— Может, плакать-то не о чем. Надоел... уйди.

Старец Спиридон только вздохнул. Ну, и чадушко только зародилось у дьячка. Того гляди, еще что-нибудь сделает над собой. А Охоня действительно сильно задумывалась: забьется в угол и по целым часам не шевельнется. Думает-думает, закроет глаза, и кажется ей, точно она по воде плывет. Все дальше, все дальше, а тут обомрет сердце, дух захватит, и она вскочит, как сумасшедшая. Страх нападал на нее по ночам. Все какие-то шаги слышатся, а потом знакомый сердитый голос спрашивает: «А, ты вот где!» Хочет Охоня крикнуть и не может. У самой руки и ноги трясутся, пот холодный выступает. Ах, как страшно, как горько, как обидно! Всю-то свою девичью жизнь вспоминает Охоня, как она у бати жила в Служней слободе, ничего не знала, не ведала, как батю в Усторожье увезли, как ходила к нему в тюрьму... А там в окно глядели на нее два соколиных молодецких глаза, — глядели прямо в душу, и запал молодецкий взгляд. Горячие девичьи сны грезой прошли, а потом все повернулось по-другому. Очень уж не поглянулось Охоне обительское послушание: убежала она к старому да корявому воеводе. Стыдно ей было сначала, а больше того муторно. Ласковый был к ней Полуект Степаныч, и боялась она, когда он к ней подходил. Припадочный какой-то старичонка, а размякнет — не глядели бы глазыньки. Туда же — целоваться лезет, сторожит, заглядывает... Смешно даже было, когда Охоня, случалось, прогонит его, а воевода сядет и заплачет, как ребенок малый.

— Сняла ты с меня голову, Охоня, а теперь гонишь... Молодого тебе надо. Скучно со стариком...

В другой раз Охоня и пожалеет воеводу, приголубит, засмеется, и воевода повеселеет.

Да, было всего, а главное — стала привыкать Охоня к старому воеводе, который тешил ее да баловал. Вот только кончил скверно: увидел игумена Моисея и продал с первого слова, а еще сколько грозился против игумена. Обидно Охоне больше всего, что воевода испугался и не выстоял ее. Все бы по-другому пошло, кабы старик удержался.

А воевода тоже думал и передумывал об Охоне все эти три дня. Старик даже плакал, запершись у себя в опочивальне. А когда ему принесли с подворья весь дареный Охонин наряд, воевода затрясся, припал головой к парчовому сарафану и зарыдал. Все прислала назад, ничего не оставила, кроме перстенька с яхонтом. Такое лютое горе схватило воеводу, такое горе, что хуже и не бывает. Пробовал он было подослать на подворье верного раба, писчика Терешку, но тот вернулся, почесывая бока, — больно дерется игуменский посох... А через три дня игумен взял у воеводы нарочитую колымагу и отправил в Дивью обитель за воеводшей. Повесил седую голову Полуект Степаныч, закручинился... Молодая-то радость вспорхнула, и нет ее, а воеводшу не скоро-то избудешь. Возвратится из обители, поселится и будет жить, как бельмо на глазу. Эх, Охоня, Охоня!.. Эх, старость проклятая!.. Одного не знал воевода, что в колымаге отправлена была и Охоня, под крепким караулом. Ее прямо должны были привезти в Дивью обитель и посадить в затвор, как сидела инокиня Фоина.

Утешался Полуект Степаныч только травником, да и то приходилось пить одному, — ни игумен, ни Гарусов не принимали даже стомаха ради. Выпьет воевода, задумается, а у самого слезы катятся.

— Ну, будет тебе дурить! — бранил его игумен. — На старости лет натворил того, што и подумать-то нелепо. С лукавою плотью нужно бороться и нещадно ее терзать.

— А ежели меня дьячок испортил? — оправдывался воевода. — Я-то знаю хорошо, как все это дело вышло... Вот как испортил: не успел я глазом мигануть. Какие он мне слова-то говорил?.. Ох, горюшко душам нашим!

— Ну, это уж ты врешь! — спорил игумен, стукая посохом. — Дьячок просто дурак, а ты дурака слушал... Я вот его на цепь прикую, как только выворотится из орды. Сколько ни погуляет, а моих рук не минует.

— Теперь ты не удивишь его ничем, — посмеивался Гарусов. — После моей науки нечему учить... Сам дьячок-то мне говорил, что у вас в монастыре только по губам мажут, а настоящего и нет.

— Ну, ты уж тово, как медведь, — ворчал воевода. — Зачем на смерть-то забивать крестьянишек?

— А ежели они не хотят задатков отрабатывать?

— Помалкивай, Тарас Григорьич... Знаем, што знаем, а промежду прочим дело твое, ты и в ответе.

Гарусов был скучный такой и редко вступался в разговор. Сидит, молчит и вздыхает. Забота у него была о своем деле. Что-то там творится?.. Плохо место, когда свои работники поднимутся, а приказчикам без него не управиться. Сколько уже теперь времени-то прошло... А ведь все там осталось, на Баламутском заводе да на руднике. Разорят вконец, ежели казачишки захватят все обзаведение. Поправлять поруху хуже, чем заново строиться. Эх, плохо дело... А начальство ничего не хочет помочь, да и силы нет. Вот ждут в Усторожье со дня на день рейтар и драгун из Тобольска, а о них ни слуху ни духу. Улита едет, когда-то будет. И все так у начальства: схватятся, а дело уже сделано.

А время-то как летит. Вот и осень миновала, и первый снежок пал. Мерзлая земля гудит под конским копытом, как стекло. Яровая покрылась льдом. Сиверком начало подувать. А у Гарусова даже шубы своей нет. Пришлось взять шубенку у воеводы и в чужой щеголять. Тошно Гарусову: бродит он по Усторожью, как неприкаянный, и все смотрит в свою сторону. Заберется на башню и смотрит, как по степи гуляет сиверко да сухой снег подметает. А потом стыдно делается Гарусову, когда он с игуменом Моисеем встретится: оба бежали. Воевода, когда немножко отошел от своей лихоты, стал травить гостей. Нет-нет, да и завернет кусательное словечко, а гостей коробит.

— Хорошо, што вы во-время помирились, — язвит Полуект Степаныч. — А то делились, делились, никак разделиться не могли... Игумну своего жаль, а Гарусов чужое любит.

— Кто старое помянет, тому глаз вон, Полуехт Степаныч. Вот што ты заговоришь, когда воеводша Дарья Никитишна из обители выворотится.

— А ежели на меня напущено было? Да ты, Тарас Григорьич, зубов-то не заговаривай... Мой грех, мой и ответ, а промеж мужа и жены один бог судья. Ну, согрешил, ну, виноват — и весь тут... Мой грех не по улице гуляет, а у себя дома. Не бегал я от него, не прятался, не хоронил концов.

— Так, так, — повторял игумен. — Хороший ты человек, воевода, когда спишь. А днем-то мы тебя што-то немного видим. Вот и сидим у тебя да ждем погоды. Засилья нам не даешь, а то и мы бы выворотились к своим местам...

— Ужо по заморозкам рейтары придут, — отвечал воевода. — Они теперь на винтер-квартирах... Мне и то маэор Мамеев засылку делал... Тоже приказу ждут. Неведомо еще, куда их пошлют. А вас и без рейтар ущитим... Тоже видали виды...

В Усторожье приходили беглецы с линии и приносили невеселые вести. Смута росла, как пожар. Теперь уже все было охвачено: и бывшая монастырская вотчина и южные заводы, которые были в Оренбургской губернии. Воровские люди заняли весь Яик, а потом разошлись по казачьим станицам на Ую. А там башкиры поднялись. У них свой батырь объявился. Тесное житьишко везде, народ разбежался куда глаза глядят, а помощи ниоткуда. По станицам гарнизоны сами сдаются самозванцу, а попы даже с крестом встречают и на ектеньях поминают царя Петра Федорыча.

— Что же это будет-то? — спрашивал Гарусов, наступая на воеводу. — Где же начальство-то? Чего оно смотрит?..

— А вы сами виноваты, — объяснял Полуект Степаныч. — Затеснили вконец крестьян, вот теперь и расхлебывайте кашу... Озлобился народ, озверел. У всякого своя причина. Суди на волка, суди и по волку...

А главная причина — темнота одолела. Вот я, — у меня все тихо, потому как никого я напрасно не обижал... У меня порядок.

Похвастался воевода, а тут как раз писчик Терешка сбежал к мятежникам да еще подбросил на воеводский двор «противное» письмо, в котором всячески обзывал старого воеводу и грозил ему выдергать по волоску всю «поганую бороденку».

— Что же, не кормя, не поя, вóрога не наживешь, — грустно заметил Полуект Степаныч.

Побег Терешки обозначал, во-первых, близость поднимавшейся грозы, а во-вторых, то, что и в Усторожье не все было спокойно и что существовали какие-то тайные сношения с неприятелем. Полуект Степаныч сразу встряхнулся и принялся за дело. Он осмотрел вал и ров, деревянные стены с надолбами, рогатки, башни, ворота, привел в известность воинский снаряд и произвел смотр своей команде. Старик сам подтянулся, вспомнив былые походы в орду и сторожевую службу по линии. Городские жители тоже готовились к предстоящему сиденью, потому что и зима велика, а народу набежит со всех сторон достаточно. А тут подметное письмо нашли на паперти собора и другое в судной избе. Это был — «именной указ самодержавного императора Петра Федоровича Всероссийского и проч., и проч., и проч.», в котором говорилось: «Как деды и отцы ваши служили, так и вы мне послужите, великому государю, верно и неизменно, до последней капли крови. А когда вы исполните мое именное повеление и за то будете жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями, денежным жалованием и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностию. И повеление мое исполните со усердием. Ко мне приезжайте, то совершенно меня за оное приобрести можете к себе мою монаршескую милость; а ежели вы моему указу противиться будете, то вскорости восчувствовати на себя праведный мой гнев. Власти всевышнего создателя нашего и гнева моего избегнуть не может никто, — от сильныя нашея руки защищать не может». Дальше следовала именная подпись: «Великий государь Петр Третий

Всероссийский». В народе, вероятно, такие возмутительные листы ходили еще раньше.

Возмутительные листы были прочитаны в воеводском доме соборне. Воевода только покачал головой, рассматривая тот лист, который был подкинут в судную избу.

— Терешкина рука, — проговорил он со вздохом. — Ах, сквернавец!..

— А это дьячкова рука, — уверял игумен Моисей, разглядывая другой лист. — Напрасно ты его до смерти не замучил, Тарас Григорьич... Хорошим ремеслом занялся, нечего сказать. Повесить мало... А что же наша воеводша не едет?

— Пора бы ей быть дома, — смущенно заявлял воевода. — Не попритчилось ли какого дурна на дороге, не ровен час!..

В сущности воевода думал про себя, что как бы хорошо вышло, ежели бы бунтовщики порешили его воеводшу, а он остался бы вдовцом. Время бурное, и все может быть. Прямо он этого не высказывал, но про себя согрешил, подумал. И жаль воеводшу, пожалуй, и хорошо бы пожить на своей полной воле. Воеводша приехала совершенно неожиданно ночью, когда ее никто не ждал. Колымага прилетела к городским воротам на всех рысях, спасаясь от погони. Ударили тревогу, и всполошился весь город. Оказалось, что колымагу остановили пять вершников еще на Калмыцком броду, чуть не в виду Прокопьевского монастыря. Первый, кто заглянул в колымагу, был Терешка-писчик. Дарья Никитична вся обмерла со страху, ожидая неминучей смерти, но Терешка ограничился только тем, что обыскал ее и забрал кошелек да разную ценную рухлядь.

— Терешка, побойся ты бога, — взмолилась воеводша.

— Это вы побойтесь теперь бога-то, а мы достаточно его боялись, — с холопскою наглостью ответил Терешка. — Поклончик воеводе... Скоро увидимся, и то я уж соскучился.

Из других вершников напугал воеводшу рослый молодой детина в бараньей шапке с красным верхом.

Он, видимо, был за начальника. Заглянув в кибитку, молодец схватил уже воеводшу за руку, но Терешка его остановил:

— Оставь, Тимошка... Старуха добрая, и воевода по ней соскучился. Пусть порадуется, што старушка благополучно доехала.

По всем приметам, это был Тимошка Белоус, тот самый беломестный казак, который сидел за дубинщину в усторожской судной избе и потом бежал. О нем уже ходили слухи, что он пристал к мятежникам и даже «атаманит».

— Посмеялись они над нелюбимою женою, — жаловалась воеводша. — Ну, да бог их простит... Чужой человек и обидит, так не обидно, а та обида, которая в своем дому.

Воеводша встретилась с мужем, как и следует жене: вида никакого не подала, что сердится или обижена. Воевода порядком струхнул и немного совестился. Оба вместе думали одно и то же: напущена беда со стороны. Старуха обошла свои покои вместе с игуменом Моисеем и попросила окропить их святою водою, чтоб и духу от недавней нечисти не осталось. А потом, как ни в чем не бывало, стала рассказывать привезенные новости. Воровские люди уже завладели Баламутским заводом, контору сожгли вместе со всеми бумагами, господский дом разграбили, а на фабрике стали лить чугунные ядра да пушки. На медном руднике затопили все шахты и освободили колодников, а приказчиков перебили. Народ ходит пьяный. Приставов и уставщиков перевязали и мучат всякими муками.

— Похваляются Прокопьевский монастырь взять, — рассказывала воеводша, покачивая головой. — На монастырскую казну зарятся... А потом, говорят, и Усторожью несдобровать.

— А про дьячка Арефу не слыхать? — полюбопытствовал Гарусов.

— Как же, пали слухи и про него... Он теперь у них в чести и подметные письма пишет. Как-то прибегала в обитель дьячиха-то и рекой разливалась... Убивается старуха вот как. Охоньку в затвор посадили...

Косу ей первым делом мать Досифея обрезала. Без косы-то уж ей деваться будет некуда. Ночью ее привезли, и никто не знает. Ох, срамота и говорить-то... В первый же день хотела она удавиться, ну, из петли вынули, а потом стала голодом себя морить. Насильно теперь кормят... Оборотень какой-то, а не девка.

VII

В Прокопьевском монастыре в конце 1773 года скопилась масса народа, сбежавшегося сюда со всей Яровой и ордынской линии. Другие пока пристроились в Служней слободе, потому что монастырских помещений не хватало. А время было зимнее, холодное, и всем нужно было тепло. Сначала келарь Пафнутий принимал всех без разбора, а потом пришлось отказывать. Хлебная и квасоварня и часть иноческих келий отошли под пришлый народ, а сами благоуветливые старцы сбились в общей братской трапезе. Келарь Пафнутий постоянно чесал затылок, когда встречалось какое-нибудь затруднение. Беда все близилась. Дороги к Усторожью, в «орду» и на заводы были захвачены мятежниками. Беглецы являлись в монастырь в самом жалком виде и рассказывали ужасы. Взбунтовались заводские рабочие, башкиры, монастырские крестьяне, и все сбивались в одну шайку, чтоб идти на Прокопьевский монастырь.

— В Башкири свой атаман объявился, — рассказывали беглецы. — Из тептярей он, Салават Юлаев... С ним великое множество конников. Все грабят, жгут, зорят...

Но Башкирь была не страшна, потому что она хозяйничала в своих горах и по ту сторону Урала, куда наступали пугачевские скопища, пролагая себе кровавый путь. Страшнее был новый пугачевский атаман Тимошка Белоус, который грозился разнести Прокопьевский монастырь по кирпичику. Он прославился еще в монастырскую дубинщину, и за ним свои крестьяне шли толпами. Рассказывали, что при Белоусе главным советником состоит слепец Брехун, томив-

шийся с ним вместе в усторожской тюрьме, а писчиками Терешка и дьячок Арефа. Последнее смущало монастырскую братию больше всего. Как это могло случиться, чтобы смирный дьячок пошел на такое богопротивное дело? Монастырская братия негодовала, и защищал Арефу только один инок Гермоген.

— Не своею волей Арефа подметные письма пишет, — говорил он. — Застращали его, ну, он и впал в малодушие. Жив смерти боится...

— В животе и смерти один господь волен...

— Хорошо так-то говорить, сидя за стеной. Я-то уж хорошо знаю Арефу. Не таковский человек, штобы назло, а так уже судьба выдалась злосчастная... Напринимался он муки и в Усторожье и у Гарусова.

— На одной цепи у Полуехта Степаныча сидел с Белоусом: вот и сосватались в тюрьме. Не покрывай Арефу, Гермоген, не гоже... Из пушки его мало застрелить за его воровство.

О Белоусе было известно все. Ходил он в белом полушубке из домашней овчины с перевязью из полотенца через левое плечо; на голове казачья шапка с красным верхом. За ним вели двух гнедых иноходцев, на которых он выезжал. Ничего не пил Белоус, не льстился на баб и девок и держал себя очень сурово, особенно ежели «встреча» случалась. Первым летел Белоус в огонь и с пленными расправлялся коротко. Повесить — и весь сказ. Все это знали, и все боялись грозного атамана. Мало с кем он разговаривал, кроме слепого Брехуна, подучивавшего атамана на какое-нибудь воровство. Главная шайка сбилась еще под Баламутским заводом и теперь катилась к монастырю, как ком снега. К ней пристала почти поголовно вся бывшая монастырская вотчина. Белоус сделал главную стоянку в Черном Яру, повыше монастыря верст на тридцать. Высокое было место, усторожливое и для шайки самое способное.

Рассказывали, что Белоус не один раз наезжал в Служнюю слободу для каких-то тайных переговоров со своими единомышленниками и что будто его лошадь видели привязанной у задворков попа Мирона. Последнее уже было совсем несообразно. Политика

Белоуса, впрочем, была понятна. Ему хотелось переманить на свою сторону Служнюю слободу и под ее прикрытием начать осаду монастыря. Первым догадался об этом инок Гермоген и нарочито отправился к попу Мирону, чтобы выпытать у него, как и что. Сумрачен вернулся Гермоген в монастырь и сказал только одному Пафнутию, что дело скверно.

— Плохая надежда на Служнюю слободу, отец келарь, — говорил он. — Смущает мужиков Белоус, а поп Мирон древоголов вельми...

— А што он говорит?

— Вот то-то и дело, что отмалчивается поп Мирон не к добру. Нечисто дело, отец келарь... Только и Белоус ничего не возьмет: крепок монастырь, а за нас предстательство преподобного Прокопия.

Больным местом готовившейся осады была Дивья обитель, вернее сказать — сидевшая в затворе княжиха, в иночестве Фоина. Сам игумен Моисей не посмел ее тронуть, а без нее и сестры не пойдут. Мать Досифея наотрез отказалась: от своей смерти, слышь, никуда не уйдешь, а господь и не это терпел от разбойников. О томившейся в затворе Охоне знал один черный поп Пафнутий, а сестры не знали, потому что привезена она была тайно и сдана на поруки самой Досифее. Инок Гермоген тоже ничего не подозревал.

— Обитель захватят воры прежде всего, — говорил Гермоген, рассматривая с башни позицию. — Ловкое место, штобы наш монастырь осаждать... Сжечь бы ее надо было.

— Указу нет относительно затвора, ничего не поделаешь, — повторял Пафнутий с сокрушением. — Связала нас княжиха по рукам и по ногам, а то всех сестер перевели бы к себе в монастырь. Заодно отсиживаться-то...

В большой тревоге встретила монастырская братия рождество, потому что на праздниках ждали наступления шайки Белоуса, о которой имели точные сведения через переметчиков. Атаман готовился к походу и только поджидал пушек с Баламутского завода.

Так прошли первые дни праздника. Тихо было в Служней слободе, как в будень день. Никому празд-

ник на ум не шел. Белоусовские воры начали появляться в Служней слободе среди белого дня, подъезжали к самым монастырским стенам и кричали:

— Эй вы, вороны, сдавайтесь батюшке Петру Федорычу! А то силой возьмем: хуже будет. Игумен бежал, а вам нечего больше ждать... На чужом месте сидите!

Мятежники пускали в монастырь стрелы с подметными письмами, в которых ругали игумена Моисея. Иноки отписывались и называли мятежников ворами.

«Какой у вас Петр Федорыч? — писал им отписку келарь Пафнутий. — Царь Петр III помре божиею милостью уже тому время дванадесять лет... А вы, воры и разбойники, поднимаете дерзновенную руку против ее императорского величества и наследия преподобного Прокопия, иже о Христе юродивого. Сгинете, проклятые нечестивцы, яко смрад, а мы вас не боимся. В остервенении злобы и огнепальной ярости забыли вы, всескверные, страх божий, а секира уже лежит у корня смоковницы... Тако будет, яко во дни нечестивого Ахава. Буди...»

Монахи боялись за крещенье, когда из монастыря совершался церковный ход на иордань, устраиваемую на Яровой. Но и крещенье прошло благополучно, хотя Гермоген и просидел все время на колокольне, чтобы во-время подать знак. Враг появился только на третий день крещенья. Погода была тихая, и в воздухе крутился легкий снежок. Передовые конники показались с нагорной стороны, и монастырский колокол ударил набат. Поднялись все на ноги. Монахи расставлены были вперед по убойным местам, у пушек и на бойницах. Распоряжался всем инок Гермоген, рыжие волосы которого мелькали везде. Простой народ высыпал тоже на стены. Бабы причитали и плакали. А гроза все надвигалась... За передовыми конниками показалась густая ватага, которую вел сам Белоус. За ней везли на санях тяжелые пушки и всякий воинский припас, а там вдали шла несметная пешая толпа, вооруженная чем попало. С колокольни видно было дорогу верст на пять, и вся она была усыпана мятежниками, двигавшимися одною живою черною лентой,

точно муравьище. Келарь Пафнутий долго смотрел на эту картину и упал духом. Кабы еще игумен был, так все же легче.

— И без игумена управимся, — утешал его Гермоген. — Он нам из Усторожья подмогу приведет.

Как предполагал Гермоген, так и случилось. Мятежники первым делом заняли Дивью обитель, а потом остановились. Служняя слобода находилась в страшном волнении, но к монастырю никто и не думал идти. Между слобожанами и атаманом велись какие-то переговоры, а потом на деревянной церкви в Служней слободе раздался трезвон, и показался церковный ход с попом Мироном во главе. Инок Гермоген так и замер и даже протер себе глаза, — не во сне ли все это делается. Нет, колокола радостно гудели, и Белоус был встречен честь-честью, как воевода. К его шайке примкнула вся слобода: куда поп, туда и приход. А потом началось веселье. Всех слобожан остригли в кружок, на казацкий лад. При занятии Дивьей обители оказали сопротивление только профосы и сержант Сарычев, сторожившие княжиху в затворе. Казаки двух профосов изрубили, а всех остальных забрали живьем. Белоус сам вошел в затвор, где неисходно томилась именитая узница.

— Батюшка-царь Петр Федорыч жалует тебя волей, — заявил он. — По злобе ты засажена была сюда...

Узница отнеслась к своей воле совершенно равнодушно и даже точно не поняла, что ей говорил атаман. Это была средних лет женщина с преждевременно седыми волосами и точно выцветшим от долгого сидения в затворе лицом. Живыми оставались одни глаза, большие, темные, сердитые... Сообразив что-то, узница ответила с гордостью:

— Я хочу, чтобы сам царь меня пожаловал, а не псарь.

Она даже засмеялась таким нехорошим смехом. Вскипел Белоус, но оглянулся и обомлел. В углу, покрытая иноческим куколем, стояла с опущенными глазами Охоня... Дрогнуло атаманское сердце, и не поверил он своим глазам.

— Ты... ты кто такая будешь? — тихо спросил он.

— А все та же... была отецкая дочь...

Ударил себя в грудь атаман, и глаза его сверкнули, а потом застонал он, зашатался и упал на скамью. Во-время прибежал за ним слепец Брехун с поводырем и вывел атамана из затвора.

— Не время теперь девок разглядывать, — ворчал он. — Была Охоня, да на воеводском дворе вся вышла.

Кинулся было Белоус назад в затвор, да Брехун повис у него на руке и оттащил. Опять застонал атаман, но стыдно ему сделалось своих, а обитель кишела народом. А Охоня стояла на том же месте, точно застыла. Ах, лучше бы атаман убил ее тут же, чем принимать позор. Брехун в это время успел распорядиться, чтобы к затвору приставить своих и беречь затворниц накрепко.

Игуменья Досифея была найдена в своей келье на следующее утро мертвой, и осталось неизвестным, была она задушена разбойниками или кончилась своею смертью.

Тихое обительское житье сменилось гулом военного стойбища. Сестер выдворили в Служнюю слободу, а все обительские здания были заняты воинскими людьми. В нескольких местах ветхая обительская стена правилась заново. Ставили новые срубы, забивали их землей и на таких бастионах поднимали привезенные пушки. Отсюда Прокопьевский монастырь был точно на ладони. Работами распоряжались особые пушкари из взятых в плен солдат. Квартира атамана была устроена в обительской келарне, где стояла громадная теплая печь. Сюда принесли и сундук с обительскою казною, которой налицо оказалось очень немного: бедная была обитель. Всем распоряжался сам Белоус, ходивший как пьяный. За ним ходил дьячок Арефа и наговаривал:

— Пусти меня, атаман...

— Куда тебя пустить?

— А к дьячихе. До смерти стосковался по своем домишке.

— Ну, ступай, черт с тобой, да только не сбеги у меня, а то...

— Теперь уже мне некуда бежать. Будет... Мне бы только дьячиху повидать, а тут помирать, так в ту же пору.

Побежал Арефа к себе в Служнюю слободу, а сам ног под собой не слышит. Это уж было под вечер. Зимний день короток, — не успели мигнуть, а его уж нет. На полдороге дьячок остановился перевести дух. Служняя слобода так и гудела, как шмелиное гнездо, в Дивьей обители ярко пылали костры на работах, поставленных в ночь, а в Прокопьевском монастыре было тихо-тихо, как в могиле. Несколько огоньков едва теплилось только на сторожевых башнях. Смущение напало на Арефу при виде монастырских стен. Ах, неладно... Но что он может сделать, маленький человек? Может, и в самом деле государь Петр Федорович есть, а может, и нет. Вон поп Мирон соблазнился... Прост он, Мирон-то, хоть и поп, а, между прочим, никому ничего неизвестно.

Дьячиха встретила Арефу довольно сурово. Она была занята своею бабьей стряпней, благо было кому теперь продавать и калачи и квас. Почище ярмарки дело выходило.

— Здравствуй, Домна Степановна.

— Здравствуй, Арефа Кузьмич... Каково тебя бог носит? Забыл ты нас совсем... Спасибо, што хоть кобылу прислал.

— А где Охоня?

Дьячиха ничего не ответила, а только сердито застучала своими ухватами. В избу то и дело приходили казаки за хлебом. Некогда было дьячихе бобы разводить. Присел Арефа к столу, поснедал домашних штец и проговорил:

— Трудненько будет, Домна Степановна... В Дивьей обители атаман пушки ставит, а завтра из пушек по монастырю палить будет.

— И в монастыре тоже пушки налажены... Только, сказывают, бонбы-то вѐрхом пролетят над Служнею слободой. Я и то бегала к попу Мирону... У него Терешка-писчик из Усторожья сидел, так он сказывал. Дожили мы с тобой, Арефа Кузьмич, до самого нельзя, што ни взад ни вперед...

— Ничего, не бойся: маленькие мы люди, с нас и ответ не велик.

Опять обошел все хозяйство Арефа и подивился: все в исправности у Домны Степановны и всего напасено вдоволь. Не покладаючи рук работала старуха. Целую ночь провел Арефа дома и все рассказывал жене про свои злоключения, а дьячиха охала, ахала и тихо плакала. Жаль ей стало бедного дьячка до смерти, да и рассказывал он уж очень жалобно. В свою очередь она рассказывала, как бежал игумен из монастыря и как чередился монастырь уже после него, как всем руководствует Гермоген, как увезли воеводшу из Дивьей обители, как бежала Охоня и как ухватил ее нечестивый Ахав-воевода. Ездила дьячиха в Усторожье, только пристава ее не допустили к дочери. Напринималась она сраму и воротилась ни с чем. Потом пали слухи, что Охоню беглый игумен Моисей своими руками схватил в воеводском доме и сослал неведомо куда. Теперь уж Арефа слушал и плакал.

— Забыл, видно, нас преподобный Прокопий, — повторял дьячок. — Ни в живых, ни в мертвых живем.

И дома Арефе не довелось отдохнуть порядком. Дьячиха поднялась с петухами, чтобы не упустить квашню, а дьячок спал на своих полатях. Только стало светать, как с монастырской колокольни грянула вестовая пушка. Инок Гермоген сам навел ее на мятежный стан и выпалил. Ждать было нечего. Всю ночь около стен рыскали воровские люди и всячески пробовали подняться, но напрасно. Со стен их обливали горячею водой и варили варом. А утром видно было, как зашевелилась вся Дивья обитель. Конники выстроились, а на бастионах чередились пушки. Инок Гермоген не мог перенести этого зрелища и выпалил. Легкое трехфунтовое ядро ударилось в Яровую и застряло в снегу. На выстрел всполошилась вся Служняя слобода. Немного погодя грянула первая пушка из Дивьей обители, и тяжелое чугунное ядро впилось в каменную монастырскую стену.

Это было началом, а потом пошла стрельба на целый день. В виду энергичной обороны, скопище мятежников не смело подступать к монастырским стенам совсем близко, а пускали стрелы из-за построек Служней слободы и отсюда же палили из ружей. При каждом пушечном выстреле дьячок Арефа закрывал глаза и крестился. Когда он пришел в Дивью обитель, Брехун его прогнал.

— Ступай к своей дьячихе, а нам и без тебя хлопот достаточно...

К дьячихе так к дьячихе, Арефа не спорил. Только когда он проходил по улице Служней слободы, то чуть не был убит картечиной. Ватага пьяных мужиков бросилась с разным дрекольем к монастырским воротам и была встречена картечью. Человек пять оказалось убитых, а в том числе чуть не пострадал и Арефа. Все видели, что стрелял инок Гермоген, и озлобление против него росло с каждым часом.

VIII

Осада монастыря затянулась. Белоус, повидимому, рассчитывал на переметчиков, которые отворят мятежникам монастырские ворота. Но из этого ничего не вышло, потому что Гермоген ни днем, ни ночью не знал отдыха и везде следил сам. Переметчики были переловлены и посажены в тюрьму. Монашеская братия заразилась энергией Гермогена и мужественно вела оборону. Приводил всех в отчаяние один келарь Пафнутий, который сидел на запоре у себя в келье и не внимал никаким увещаниям. Когда начиналась пушечная пальба, он закрывал голову шубой и так лежал по нескольку часов. Это был какой-то панический страх.

— Ох, смертынька моя пришла! — бормотал старик, когда кто-нибудь из иноков старался его ободрить. — Конец мой... тошнехонько...

Даже Гермоген ничего не мог поделать.

Когда наступила очередная служба в соборе, Пафнутий долго не решался перебежать из своей кельи до церкви. Выходило даже смешно, когда этот тучный

старик, подобрав полы монашеской рясы, жалкою трусцой семенил через двор. Он вздыхал свободнее, только добравшись до церкви. Инок Гермоген сердился на старика за его постыдную трусость.

— А ежели меня вот на этом самом месте убьют? — упавшим голосом объяснял сконфуженный старик.

— Где это?

— А на дворе... Мне это покойная мать Досифея объяснила. Прозорливица была и очень жалела меня...

— А тебе мать Досифея не сказывала, какой сан ты носишь и какой пример другим должен подавать?.. Монах от мира отрекся, чего же ему смерти бояться?.. Только мирян смущаешь да смешишь, отец келарь.

Инок Гермоген не спал сряду несколько ночей и чувствовал себя очень бодро. Только и отдыху было, что прислонится где-нибудь к стене и, сидя, вздремнет. Никто не знал, что беспокоило молодого инока, а он мучился про себя, и сильно мучился, вспоминая раненых и убитых мятежников. Конечно, они в ослеплении злобы бросались на монастырь не от ума, а все-таки большой ответ за них придется дать богу. Напрасная христианская кровь проливается...

Было уже несколько больших приступов, отбитых с уроном у той и другой стороны. Доставалось больше всего мятежникам. В монастыре первым был убит молоденький монашек Анфим. Смирный такой был. Пришел в монастырь незадолго до осады и, несмотря на молодость, пожелал принять иночество. По происхождению он был из сибирских боярских детей. Стоял он на стене рядом с Гермогеном, когда прилетела горячая пуля. Без слова повалился Анфим прямо на руки Гермогену, точно подкошенный. Снес его Гермоген на руках со стены и положил на снег. И сколь же хорош был молоденький монашек, когда лежал на снегу мертвый! Лицо какое-то девичье, льняные длинные волосы, на голове черная монашеская шапочка, весь такой строгий, как воин Христов, и вместе кроткий, как агнец. Горько плакал инок Гермоген над усопшим братом и со слезами выкопал ему могилу.

Вся братия плакала, когда хоронили Анфима, а Гермоген больше всех. Очень уж хороший и бесстрашный был монашек... Кругом стояла густая толпа запершегося в монастыре народа и тоже плакала над раннею могилкой раба божия Анфима. Это была первая кровь, пролитая на брани.

— Вот учись, как умирать надо, — заметил Гермоген плакавшему келарю Пафнутию. — Ты — старик, а боишься...

Немало огорчало инока Гермогена и то, что большинство обвиняло именно его в пролитии крови. Подъезжавшие к стенам мятежники так и кричали:

— Эй, Гермоген, побойся бога, не проливай напрасной крови... Келарь Пафнутий давно бы сдал нам монастырь и братия тоже, а ты один упорствуешь. На твою голову падет кровь на брани убиенных. Бог-то все видит, как ты из пушек палишь. Волк ты, а не инок.

В ответ на это с монастырской стены сыпалась картечь и летели чугунные ядра. Не знал страха Гермоген и молча делал свое дело. Но случилось и ему испугаться. Задрожали у инока руки и ноги, а в глазах пошли красные круги. Выехал как-то под стену монастырскую сам Белоус на своем гнедом иноходце и каким-то узелком над головой помахивает. Навел на него пушку Гермоген, грянул выстрел — трое убито, а Белоус все своим узелком машет.

— Эй, Гермоген, принимай гостинец, — кричал Белоус. — Спасибо скажешь, святая душа.

Выискался бойкий башкирятин, подскакал к самой стене и бросил на пике узелок прямо к ногам Гермогена. Все столпились вокруг атаманского подарка. Почуял беду Гермоген, поднимая узелок. Мягкое что-то завернуто в тряпице, а сверху привязана записка: «Иноку Гермогену от атамана Белоуса». Развернул Гермоген узелок, а из него, как змея, выползла черная девичья коса. Побелел инок, как полотно, и зашатался: он сразу узнал Охонину косу. И стыдно ему стало, и страшно, и обидно. Да, горько посмеялся вольный атаман над смиренным иноком. Подняла эта отрезанная девичья коса старое мирское горе, похороненное под

монашескою рясою. Долго стоял Гермоген на одном месте и ничего не видел и не слышал, что делалось кругом.

Кто-то из приспешников уже донес келарю Пафнутию о случившемся поругании всей монашествующей братии, и старик, перемогая страх, сам отправился на стену, чтобы уговорить Гермогена.

— Не Белоус отрезал косу Охоне, а мать Досифея, — рассказывал он. — Затаил я это самое дело, штобы напрасно не тревожить тебя... Ты тут ни при чем. Это писчик Терешка да слепец Брехун подучили атамана. Ихнее это дело.

— А где же Охоня? — тихо спросил Гермоген, не поднимая глаз.

— Была в Дивьей обители на затворе, — а сейчас неведомо где.

Больше ни одного слова не проронил инок Гермоген, а только весь вытянулся, как покойник. Узелок он унес с собой в келью и тут выплакал свое горе над поруганною девичьей красой. Долго он плакал над ней, целовал, а потом ночью тайно вырыл могилу и похоронил в ней свое последнее мирское горе. Больше у него ничего не оставалось.

Опять загудели монастырские пушки, и посыпались чугунные гостинцы на Дивью обитель. Метко стрелял Гермоген и сбил две пушки у Белоуса.

— Это поминки по Охоне, — смеялся Брехун, подружившийся с Терешкой-писчиком. — Не поглянулся Гермогену наш-то подарок... А Белоус ходит темнее ночи.

— Видел он Охоню вдругорядь аль нет?

— И близко не подходит к затвору... Ну, пусть погорюет, а Охони все-таки не воротит... Уела добра молодца дивья красота.

— И не говорит ничего про нее?

— Ни-ни. Теперь и Арефу на глаза к себе не пущает, а тот и рад. У дьячихи своей жирует...

Атаман не подавал и виду, что его заботит присутствие Охони. Да и некогда ему было пустяками заниматься. Осада монастыря затянулась, а тут, того и гляди, подоспеет помощь из Усторожья. Всего два дня

перехода до монастыря. Сердился Белоус на свое сборное войско, которое могло только грабить беззащитных, а когда привелось настоящее дело делать, так и нет никого. Мужики-слобожане тоже были несвычны настоящему ратному делу. Шумят, галдят, руками машут, мы да мы, а как пошли на приступ — нет их. Пошлет Гермоген по мятежникам несколько зарядов картечи, и всех точно метлой выметет. И перебито народу до сотни человек совсем напрасно. Белоус чувствовал, как начало колебаться к нему доверие всей этой толпы, набранной с бору да с сосенки. Нужно было торопиться. Гонцы с оренбургской стороны привозили другие вести: сдавались самые крепкие станицы, и батюшка Петр Федорыч шел уже тою стороной Урала.

— Надо будет из-за возов с сеном добывать монастырь, — советовал Брехун. — Лучше этого нет средствия... К самым стенам подкатим воза.

Конечно, Белоус знал это испытанное средство, но приберегал его до последнего момента. Он придумал с Терешкой другую штуку: пустить попа Мирона с крестным ходом под монастырь, — по иконам Гермоген не посмеет палить, ну, тогда и брать монастырь. Задумано, сделано... Но Гермоген повернул на другое. Крестного хода он не тронул, а пустил картечь на Служнюю слободу и поджег несколько домов. Народ бросил крестный ход и пустился спасать свою худобу. Остался один поп Мирон да дьячок Арефа.

— Сдавайтесь! — кричал Мирон своим зычным голосом. — Может, батюшка Петр Федорыч и помилует!

— Вот ужо придет к нам подмога из Усторожья, так уж тогда мы с тобой поговорим, оглашенный, — отвечали со стены монахи. — Не от ума ты, поп, задурил... Никакого батюшки Петра Федорыча нету, а есть только воры и изменщики. И тебе, Арефа, достанется на орехи за твое воровство.

— Я не своею волей, братие, — смиренно оправдывался Арефа.

Так выдумка и не удалась, а половины Служней слободы как не бывало. Мужики-слобожане во всем завиняли неистового инока Гермогена, который недавно еще с ними вместе пил и ел, а тут не пожалел

родного гнезда. Выискались охотники, которые выслеживали Гермогена, когда он показывался на стене, и стреляли по нем, но инок точно был заколдован.

— Измором возьмем это воронье гнездо, — грозился Брехун. — Народу заперлось много в монастыре, съедят весь запас, тогда сами выйдут к нам.

Белоус не верил этому. Крепок монастырь, а тут как раз подоспеет помощь из Усторожья. Он как-то вдруг опустился и начал крепко задумываться. Сидит у себя и молчит. Ах, сколько передумала эта буйная казацкая головушка!.. Думала и передумывала, а сердце так огнем и горит. То злоба его охватит к Охоне, — своими руками задавил бы змею подколодную,— то жалость такая схватит прямо за сердце, что сам бы задавился. Жизни своей постылой не рад атаман, а Охоню увидать боится пуще того. Что он ей скажет, как она ему в глаза посмотрит? Ах, нет, лучше и не думать, а тоска, как змея лютая, сердце сосет... И день и ночь думает атаман про Охоню и про свою несчастную судьбу. Мало ли девушек по казачьим станицам, мало ли красных по уметам, да милой нет... А вот пришла отецкая дочь и заворожила горячее казацкое сердце. Близко пришлась степная красавица, и оторвать ее невозможно. Силы нет... А тут еще люди нашептывают. Слышал как-то атаман, как Брехун и Терешка переговаривались между собою про Охоню, как она сперва Гермогена подманивала, а потом к воеводе сбежала. Своею волею ушла... Целовалась и миловалась с старым да корявым, а про казацкую голову позабыла. Мягко спала, сладко ела-пила, красно одевалась и честь свою девичью на воеводском дворе оставила. Как вспомнит атаман про воеводу, так его точно кто ножом в самое сердце ударит. Схватится он за волосы и застонет... И себя и его погубила Охоня, а взять не с кого. Закроет глаза атаман и все видит, как старый воевода голубит его Охоню. Вскочит он, как бешеный, метнется по комнате и себя не помнит. Не воротить Охони, не переломить молодецкого сердца, не износить мертвого горя. Несколько раз ночью атаман подходил к затвору, брался за дверную скобу — и уходил ни с чем: не хватало его силы.

Пока думал да передумывал атаман свое горе, из Усторожья прилетел гонец: идут к Усторожью рейтарские полки, а ден через пять и под монастырем будут. Вскинулся атаман, закипел и сейчас же назначил приступ с возами. Надо было добывать монастырь теперь же, не медля, пока помощь не подоспела. Загудела опять Дивья обитель. Теперь снимали пушки и перевозили их в Служнюю слободу, против главных монастырских ворот. Сено было заготовлено раньше. Главный приступ был назначен ночью, чтобы застать монахов врасплох. Умаялся двухнедельною осадой Гермоген и бродит по монастырю как тень. Не укрылось от него, как готовили засаду воровские люди. Все он видел и все понимал. Монастырские пушки незаметно были поставлены поближе к воротам, чтобы встретить гостей честь-честью. Приготовлены были и пищали, и ружья, и сабли, и камни, и горячая смола. Сам келарь Пафнутий оставил свой бабий страх и торжественно исповедал и причастил всех мужчин, готовившихся к бою. Неизвестно, кто жив останется, а кого бог приберет.

А тут и ночь на дворе, настоящая волчья ночь, когда хоть глаза выколи — ничего не увидишь. Не спит монастырь. Женщины и дети собрались в церкви, а мужчины у пушек, в бойницах, на башнях. Снежок около ночи начал падать, значит теплее будет. Ходит Гермоген по стене и слушает. Тихо в Служней слободе, только мелькают огоньки, точно волчьи глаза. Слышится изредка сдержанный конский топот. Но вот грянула первая пушка, и ядро пробило монастырские ворота. Со стены ответила монастырская пушка, наведенная прямо на Служнюю слободу. С этого и началась осада. Незаметно в темноте подкатились воза с сеном к самым стенам, а из-за них невидимые люди стреляли кверху и лезли по лестницам на стены. На стенах завязалась рукопашная. Все мятежники надели через левое плечо по белому полотенцу и по этому знаку отличали своих от чужих. В темноте слышался один громкий голос, который посылал все вперед, — это был сам атаман. Он скакал на своей лошади под стеной, а потом бросил лошадь и полез на стену впе-

реди других. Этого только и ждал Гермоген. Навел он все пищали, и посыпались с лестницы убитые, а атаманский голос замолк. Служняя слобода опять горела, и зарево пожара освещало теперь страшную картину. Мало было защитников в монастыре, притомились все, а некоторые были уже перебиты. Зато не убывал народ под монастырской стеной, а подходили все новые силы. Ожесточение росло. Смутилась монашеская братия и другие монастырские вои, но в это время показался келарь Пафнутий с крестом в руках и стал ободрять смутившихся. Он стоял посредине двора, и здесь его положило неприятельское ядро. Окончательно смутился весь народ, но в это время толпа мятежников начала ломиться в главные ворота, и все бросились туда. Гермоген сам навел большую пушку, стоявшую во дворе, и приложил фитиль. Грянул страшный выстрел, ядро пробило ворота и пронеслось в Служнюю слободу, оставив на своем пути до десятка убитых. Простреленные ядрами ворота еще держались на железных связях, и их заваливали изнутри бревнами и кирпичами.

Так шайка и не могла взять монастыря, несмотря на отчаянный приступ. Начало светать, когда мятежники отступили от стен, унося за собой раненых и убитых. Белоус был контужен в голову и замертво снесен в Дивью обитель. Он только там пришел в себя и первое, что узнал, это то, что приступ отбит с большим уроном.

— Надо, атаман, убирать подобру-поздорову пяты, — советовал Терешка. — Черт с ними, с монахами... Того гляди, из Усторожья нагрянут рейтары и драгуны.

— Уходи, коли боишься...

— Да я так...

Неудачный приступ навел на всех тяжелое уныние. Белоус велел отступать по дороге на заводы. Сначала был двинут обоз с запасами, за ним везли пушки, а после всех следовала пестрая толпа пехарей. Из Служней слободы многие пристали к шайке. В Дивьей обители оставался один атаман со своею казачьею сотнею. Белоус точно еще на что-то надеялся и все

выжидал. Так прошло томительно-долгих три дня. Атаман не двигался. Казаки уже начинали роптать, попрекая его неудачным походом. Сколько людей перебито, сколько пороху изведено, а толку на волос нет.

Наконец, прилетел гонец с известием, что три рейтарских полка выступили из Усторожья по дороге к монастырю. Тогда атаман отпустил свою сотню, сказав, что догонит ее на дороге. С ним остались только Терешка и Брехун.

— Атаман, смотри, живьем заберут...

— Пусть!..

Рейтары были уже совсем близко, у Калмыцкого брода через Яровую, когда Белоус, наконец, поднялся. Он сам отправился в затвор и вывел оттуда Охоню. Она покорно шла за ним. Терешка и Брехун долго смотрели, как атаман шел с Охоней на гору, которая поднималась сейчас за обителью и вся поросла густым бором. Через час атаман вернулся, сел на коня и уехал в тот момент, когда Служнюю слободу с другого конца занимали рейтары. Дивья обитель была подожжена.

Охоня была найдена зарезанной на горе, в виду Служней слободы.

Инок Гермоген с радостью встретил подмогу, как и вся монашеская братия. Всех удивило только одно: когда инок Гермоген пошел в церковь, то на паперти увидел дьячка Арефу, который сидел, закрыв лицо руками, и горько плакал. Как он попал в монастырь и когда, — никто и ничего не мог сказать. А маэор Мамеев уже хозяйничал в Служней слободе и первым делом связал попа Мирона.

Послесловие

Главная грозовая туча миновала Яровую и пронеслась по ту сторону Урала. Скопища Пугачева прошли на Казань, а по всей Яровой шла деятельная «разборка». В Баламутском заводе неистовствовал вернувшийся с драгунами Гарусов, в Прокопьевском монастыре чинили суд и расправу игумен Моисей и маэор

Мамеев, а в Усторожье усиленно трудился воевода Полуект Степаныч. Попорченная административная машина была снова пущена в ход. Собственно говоря, в руки местной администрации попался один «ровнячок», та безличная масса, которая была виновата в полном составе, а отдельные лица не имели самостоятельного значения. Отсюда выработалась и своя система наказания — «брать десятого». Этого несчастного десятого били кнутом, драли плетьми, дули батожьем и вообще истязали всяческими средствами доброго старого времени.

«Головка» бунта ушла на Урал, куда потянула главная масса зачинщиков. Игумен Моисей особенно жалел, что не удалось захватить таких важных бунтарей, как Белоус и Брехун. Они ушли целы и невредимы и затерялись в шайке Пугачева. Из крупных попались только трое: поп Мирон, дьячок Арефа и писчик Терешка. Они, как важные преступники, были отправлены в Усторожье и заключены в узилище под судною избою, где раньше уже сидел Арефа вместе с Белоусом. Воевода Полуект Степаныч хотя и чинил жестокую расправу над мятежниками, но делал это только по обязанности, а сам рад был уже уйти на отдых. Он гордился тем, что Усторожье удержалось от общей «шатости» и не примкнуло к самозванцу.

— Э, пора костям и на покой, — устало говорил воевода. — Будет, послужил... Да и своих грехов достаточно. Пора о душе подумать...

Воевода даже осуждал игумена Моисея и Гарусова, неистовавших у себя с неослабною энергией, возмещая свое позорное бегство на чужих спинах. Служняя слобода давно повинилась, как один человек, «десятый» был наказан по всей форме, а игумен все выискивал виноватых своими домашними средствами и одолевал воеводу все новыми просьбами о наказаниях.

Замирившийся край представлял собой печальную картину. Половина селитьбы пустовала, а оставшиеся в целых жители неохотно шли на старые пепелища, боясь розысков и жестокой расправы. Особенно пострадала бывшая монастырская вотчина, несшая на себе тройной гнет дубинщины, заводского ига и

пугачевщины. Пашни оставались непаханными, крестьянское хозяйство везде рушилось, и бывшие монастырские людишки брели врозь. Немалым злом являлись разбойничьи шайки, бродившие за Яровой и разорявшие остатки. Это были осколки разбитых скопищ. У каждой являлся свой атаман, и каждая работала в свою голову.

Для суда над попом Мироном, дьячком Арефой и писчиком Терешкой собрались в Усторожье все: и воевода Полуект Степаныч, и игумен Моисей, и Гарусов, и маэор Мамеев. Долго допрашивали виновных, а Терешку даже пытали. Связали руки и ноги, продели оглоблю и поджаривали над огнем, как палят свиней к празднику. Писчик Терешка не вынес этой пытки и «волею божиею помре», как сказано было в протоколе допроса. Попа Мирона и дьячка Арефу присудили к пострижению в монастырь.

— Слава богу, — проговорил Арефа, перекрестившись. — Давно бы так-то, так оно бы лучше. Конечно, жаль дьячихи Домны Степановны, только на што я ей теперь? Был конь, да уезжен.

Таким образом, все успокоилось.

Игумен Моисей тоже успокоился. Нет худа без добра: во время осады умерла игуменья Досифея, а потом и вся Дивья обитель сгорела. Когда на пожарище прибежали слободские мужики и хотели спасать из затвора княжиху, последняя взбунтовалась в последний раз и не захотела выйти. Она заперлась изнутри и сгорела живая. По слухам, она давно уже была не в своем уме. Остался один Прокопьевский монастырь, а в нем засел крепче прежнего игумен Моисей. Плохо пришлось теперь монастырской братии, изнуряемой египетскими работами и тяжелыми наказаниями. Особенно донимал игумен инока Гермогена, которого возненавидел за защиту монастыря. Доставалось и попу Мирону, в иночестве Мисаилу, и дьячку Арефе, в иночестве Агафангелу. Все трое несли на себе игуменскую опалу с подобающею кротостью.

Прошло несколько лет.

Одряхлел воевода Полуект Степаныч и просился на покой. Он оставался последним воеводой, а в дру-

гих городах были устроены уже ратуши и магистраты, и управлялись новые люди, бритоусы и табачники. Полуект Степаныч совсем не понимал новых порядков и скорбел душой. Единственным его утешением было съездить в Прокопьевский монастырь к игумену Моисею. Все оно как будто легче на душе... Любил старик покалякать с опальными иноками о недавней заворохе, особенно с Агафангелом. Бывший дьячок много мог рассказать о своих злоключениях и всегда заканчивал свою скорбную повесть слезами о неповинно зарезанной Охоне и дьячихе Домне Степановне, переехавшей на житье в Усторожье, — она торговала там своими калачами и квасом в обжорном ряду.

— Все мы грешные люди, — повторял с грустью Полуект Степаныч, качая своею седою головою. — А на каждом грехов, как на черемухе цвету...

Агафангел иногда начинал заговариваться, приходил в ярость, и его уводили на послушание в особую келью. Старик повихнулся. Игумен Моисей тоже начинал сильно задумываться. Не люб ему стал свой монастырь, и задумал он небывалое, именно, перенести монастырь на новое место, на Калмыцкий брод. Задумано — сделано. Как ни уговаривали старика, а он поставил на своем. Небывалая работа закипела. Разбирали каменные монастырские стены и кирпич свозили на плотах по Яровой к Калмыцкому броду. После того разобрали кельи, все хозяйственные пристройки и только оставили до времени один собор, стоявший на пустыре. В одном месте зорили, а в другом строили. Монахи выбились из сил на этой новой работе, а игумен Моисей был неумолим и успокоился только тогда, когда переехал на новое место, в свою новую келью с толстыми крепостными стенами, железными дверями и железными решетками. К себе в келью игумен свез всю монастырскую казну и дорогую церковную утварь. Иноки строили новую церковь и клали новые стены, а игумен Моисей любовался новым местом, которое не напоминало ему ни о дубинщине, ни о пугачевщине.

Опустел Прокопьевский монастырь, обезлюдела и Служняя слобода. Монастырские крестьяне были

переселены на Калмыцкий брод к новому монастырю, а за ними потянули и остальные. Но новый монастырь строился тихо. Своих крестьян оставалось мало, да и монастырская братия поредела, а новых иноков не прибывало. Все боялись строгого игумена и обегали новый монастырь.

Лет через пять после пугачевщины под Усторожьем показалась шайка разбойников. Предводителем был старый пугачевский атаман Белоус. Воровские люди грабили по дорогам купеческие обозы и наезжали к самому городу. Говорили, что Белоус часто бывает даже в самом Усторожье. Старый воевода встрепенулся. Надо было ловить разбойников. Он несколько раз выступал с поиском, а шайка все уходила прямо из-под носу. Пока воевода гонялся за разбойниками, они успели напасть на новый монастырь, убили игумена Моисея, а казну захватили с собой. Это дерзкое убийство утроило энергию Полуекта Степаныча. Он самолично отправился ловить Белоуса, но это предприятие закончилось совершенно неожиданно и необычно. Разбойники разбили воеводских воинских людей, взяли самого Полуекта Степаныча в полон, высекли и отпустили домой... Так печально кончил последний усторожский воевода.

Сейчас от Прокопьевского монастыря, Дивьей обители и Служней слободы остались одни пустыри. Только попрежнему высоко поднимается правый гористый берег Яровой, где шумел когда-то вековой бор. Теперь торчат одни пни, а от прежнего осталось одно название: народ называет и сейчас горы «Охониными бровями».

ГОСПОДИН СКОРОХОДОВ

I

— Тихон Петрович, господин Скороходов, здравствуйте! — весело кричал каждое утро сапожник Гаврилыч, выставляясь в окно своего подвала, выходившее на двор.

— Здравствуй, Гаврилыч!.. — отвечал тоненький детский голосок.

— Как поживаете, господин Скороходов?

— Скверно, Гаврилыч...

— Ах, братец ты мой... Дело табак, Тихон Петрович.

— Да, не особенно красиво.

В детском голосе звучали какие-то особенные, недетски-серьезные нотки, что придавало ему печальную оригинальность чего-то созревшего прежде времени и бессильного. Сапожник Гаврилыч каждый раз с каким-то изумлением прислушивался именно к этому удивительному голосу, задумчиво крутил стриженой по-солдатски головой и точно смущался, что вот он, Гаврилыч, такой здоровенный, сильный и могучий человек. Если бы было возможно, так, кажется, взял бы да и отдал половину здоровья Тихону Петровичу с его девичьим голосом или бы сказал за него, как здоровому человеку хочется откашляться за больного.

У сапожника было такое красное, точно выдубленное лицо. Тут сказалось все — и солдатский загар, и

слабость к рюмочке, и главное — неиспорченная деревенская кровь. В свои пятьдесят лет Гаврилыч выглядел молодцом. Он никогда еще не хворал и удивлялся, как это другие могут хворать. Больше — у Гаврилыча являлось брезгливое отношение ко всем больным или просто к людям, которые могут захворать. Исключение представлял один Тихон Петрович, бледное, бескровное личико которого казалось сапожнику таким близким, родным, точно оно притягивало его к себе.

— Велико ли еще место, всего-то семь годков, — рассуждал вслух Гаврилыч, — это было его слабостью, а может быть, и принадлежностью мастерства. — Еще дите, андельская душенька Тихон-то Петрович, а господь ему все открыл... Да. Большого поучит... Эх, кабы господину Скороходову ножки да здоровьишка — вот какой бы человек вышел!

Знакомство сапожника с г. Скороходовым состоялось только в прошлом году, вот так же о весне. Двор только очистили от снега, и на него выползла из своих углов разная петербургская детвора, точно галчата. Крик, шум, гам, — известно, ребячье дело. Как-то в понедельник у сапожника очень трещала голова с похмелья. Гаврилыч был мрачен и с особенным ожесточением тыкал шилом какую-то невинную подметку, точно она была главной причиной его скверного душевного настроения. Два подмастерья работали молча, стараясь не глядеть на хозяйскую муку-мученическую. С похмелья Гаврилыч делался зол, и теперь его раздражал шум и гвалт детских голосов на дворе. Он уже несколько раз сердито поглядывал в раскрытое окно, подыскивая случай придраться. И случай представился... Вся детвора столпилась у окна в подвал напротив и кого-то дразнила. Слышался задорный смех, вызывающий крик, детская брань.

— Вот я вас, акробаты! — ругнул ребятишек Гаврилыч, высовываясь в окно.

Но никто не обратил на его окрик ни малейшего внимания, что окончательно взорвало Гаврилыча, особенно когда послышался тихий детский плач.

— Обезьяна!.. обезьяна!.. — выкрикивали детские голоса.

Гаврилыч не стерпел и вылетел на двор, чтобы обследовать дело. Он увидел следующую картину: у открытого окна подвала сидел в подушках худенький бледный мальчик и плакал.

— Что вам нужно от меня? — говорил он, обращаясь к детям. — Ведь я вам не мешаю, и вы мне не мешайте...

— Обезьяна... обезьяна...

— Я вас, наконец, прошу, господа, оставьте меня в покое. Это просто невежливо. Вы играйте, а я буду смотреть на вас... Я и сам с удовольствием поиграл бы с вами, но, к сожалению, не могу.

Дети с детской жестокостью дразнили больного ребенка и не хотели оставлять его.

— Господа, вы мне мешаете читать, — продолжал тоненький детский голосок уже со слезами. — Ведь это мое единственное удовольствие... Вы здоровы, можете бегать, кричать, а я должен сидеть на одном месте.

— Обезьяна!..

— Эй вы, акробаты, брысь! — крикнул Гаврилыч так, что больной мальчик в окне вздрогнул и даже закрыл глаза со страха. — Вот я вас... Ежели кто подойдет вот к этому окошку, так я пропишу такую встрепку... Слышали?

Детвора мигом рассыпалась, как стая воробьев. Самые храбрые показывали языки, другие ругались недетскими словами. Увлекшись своим подвигом, Гаврилыч бросился с поднятыми кулаками, и маленький неприятель исчез врассыпную.

Больной мальчик с удивлением и удовольствием смотрел на своего заступника, и ему все в нем понравилось, начиная с жилистых рук и кончая загорелым лицом. Когда сапожник подошел к окну, мальчик протянул ему свою исхудалую, почти прозрачную руку и серьезно проговорил:

— Благодарю вас... Вы меня избавили от большой неприятности. Ведь я никому не мешаю...

— Да вы только скажите мне, барин. Я их распатроню в лучшем виде.

— Нет, зачем же обижать детей. Они по-своему правы... Я не сержусь. Меня зовут Тихоном Петровичем, фамилия Скороходов. Точно в насмешку такая фамилия, потому что, как видите, я совсем не могу ходить, а должен сидеть. А вас как зовут?

— Сапожник Гаврилыч... Меня тут все знают, потому как я живу в этом доме четвертый год. А вы, господин Скороходов, видно, недавно еще переехали к нам?

— Перед пасхой, когда мой папа умер. Он служил в типографии и умер от чахотки. Я живу с мамой. Ей, бедной, трудно достается. Она тоже служит и приходит домой только вечером, когда я ложусь спать. Знаете, больные люди должны вести правильный образ жизни.

Так и состоялось это оригинальное знакомство. Гаврилыч присел к окну, набил солдатскую трубочку-носогрейку и закурил. Его поразил необыкновенный мальчик, говоривший тоном большого человека.

Новые знакомые довольно бесцеремонно оглядели друг друга с ног до головы, а потом мальчик заметил:

— Отчего от вас пахнет водкой, Гаврилыч?

Сапожник сконфузился. Его трубочка захрипела, точно он хотел высосать из нее свое оправдание.

— Видите ли, господин Скороходов, такое уж наше положение, значит, сапожничецкое... Сидишь-сидишь неделю-то, в том роде, как идол какой, ну, а в субботу грешным делом и разрешишь. Окромя всего этого, я человек неженатый, ну, стало быть, такая плепорция... У всякого своя плепорция.

— Нехорошо, — наставительно ответил мальчик и посмотрел на Гаврилыча такими печальными глазами. — Я говорю: нехорошо.

— Уж что тут хорошего, господин Скороходов... Самая эта вредная вещь водка, ежели разобрать. А что в башке делается с похмелья. Себя бы самого растерзал, кажется.

— Для чего же тогда вы пьете?

Гаврилыч ничего не мог ответить, а только развел руками. Плепорция такая... сапожничецкое положенье...

Таким образом завязалось знакомство. Каждое утро отворялось окно в подвале, и в нем показывалось бледное личико г. Скороходова. Сапожнику очень нравился больной ребенок, и он раз забрался в квартиру. Мать г. Скороходова была дома. Она очень походила на сына, только казалась серее, точно ее покрыла пыль столичной мостовой. По бедному платью, плохенькой дешевой обуви и всей обстановке бедной квартиры сапожник сразу определил бедственное положение. Да, не красно жилось вдове.

— Не будет ли чего насчет починки? — объяснил Гаврилыч. — Я тут на дворе живу, значит, сапожник... Вы не сумлевайтесь, деньги могу подождать, потому как из-за дела подмахну заплатку. Вот мальчику, может, что понадобится...

— Ах, это вы и есть... — обрадовалась вдова. — Мне Тиша говорил про вас. Очень вам благодарна...

— Помилуйте, сударыня. Пустяковое дело... Известно, ребята пристали. Ну, я их пугнул малым делом... Озорники, одним словом. А ежели что касаемо починки, так уж вы только скажите...

— Зайдите ко мне, Гаврилыч, — послышался из следующей комнаты тоненький детский голосок. — Я буду рад вас видеть...

Сапожник высморкался, обдернул свой рваный «спинджак» и осторожно прошел в следующую комнату, где в старом клеенчатом кресле лежал больной ребенок. Теперь он показался Гаврилычу совсем маленьким, точно цыпленок. Головка маленькая, шея тонкая, а личико, как у большого, — умное личико, а глазенки совсем не по-детски смотрят. Особенно хорошо Тихон Петрович улыбался — тоже умненько так, как улыбаются хорошо сохранившиеся старички. Детское тельце совсем было скрыто под старым пледом. Это двойное впечатление ребенка и большого человека ставило Гаврилыча втупик, и он не знал, как ему говорить с мудреным мальчонкой.

— Садитесь... — предлагал маленький хозяин. — Мама, ты, может быть, нам дашь чаю? Впрочем, сахару осталось всего два куска...

— Нет, не нужно чаю, — отказался политично Гаврилыч. — Я так, на минутку завернул... Насчет работы. Вот господину Скороходову можем новые сапожки оборудовать...

Ребенок печально улыбнулся: он не нуждался в сапогах, потому что не мог ходить.

«Эх, невпопад слово вырвалось, — подумал Гаврилыч, почесывая свой красный затылок. — Большим себя дураком оказал...»

Сапожник посидел недолго. Он боялся помешать, да и вообще как-то конфузился, точно самой фигурой производил обидный диссонанс в этой маленькой подвальной квартирке.

— Заходите, когда будете свободны, — приглашал мальчик. — Я-то постоянно свободен и буду рад вас видеть... Целый день сижу один. Только вот квартира у нас сырая, а у меня по вечерам бывает лихорадка...

Когда сапожник ушел, ребенок задумался. Он внимательно следил за матерью своими печальными глазами и, наконец, проговорил:

— А он славный, мама, этот сапожник. Ты заметила, какие у него сильные руки и какой он весь большой? Дышит так, что на улице слышно... Ах, мама, как бы я желал быть таким же здоровяком!.. Ведь это, должно быть, очень хорошо, когда ничего не болит... и когда можешь работать. Я тебе мог бы помогать тогда, а теперь тебе так трудно с больным ребенком. Ведь я все понимаю, мама, и часто думаю, что мне лучше умереть.

— Перестань, Тиша. Глупости... Куда же я без тебя?..

— Нет, мама, нужно смотреть серьезно на вещи. Ведь я тебя только стесняю, а пользы от меня никакой. Это обидно... Конечно, тебе будет очень жаль, когда я умру; но ведь весь я не умру: душа останется... Я всегда буду с тобой, только тогда не нужно будет ухаживать за мной. Ты, пожалуйста, не огор-

чайся... Ведь все равно когда-нибудь нужно будет умирать. И ты умрешь, и даже этот сапожник... Ах, какой он здоровый, мама! Мне точно лучше сделалось, когда он вошел ко мне в комнату... Здоровые люди должны быть добрее, потому что их ничто не должно раздражать.

Подобные разговоры часто велись в маленькой квартире, и мать Тиши уходила в другую комнату, чтобы скрыть слезы. Это было одно из тех страшных несчастий, для которых нет слов...

Болезнь Тиши развивалась медленно, но с той последовательностью, какую имеют только болезни. Ребенок родился здоровым, почти крепышом, и таким оставался до трех лет, а потом вдруг начал хиреть. Причин болезни было много: сырые квартиры, плохое питание, нездоровый воздух — одним словом, все то, что дает столица бедному люду. Маленькое детское тельце подавало в отставку, а живой оставалась одна голова. Мысль работала упорно и неугомонно, сосредоточив в себе все силы. В пять лет Тиша уже свободно читал. Его лучшими друзьями сделались книги. Ребенок их глотал с жадностью и особенно любил путешествия. Фантазия работала с поразительной яркостью.

— Когда я читаю путешествия, то чувствую себя здоровым и сильным человеком, а это такое счастье... — объяснял ребенок. — Вот тоже во сне, мама, я всегда вижу себя здоровым и тоже счастлив.

В маленькой детской головке ярко цвели пестрые картины тропической природы, где царит вечная весна, бушевал океан, быстро неслись громадные реки, величественно поднимались неприступные горы со снеговыми вершинами, расстилались цветущие степи и покрытая снегом тундра, таинственно шумели вековые леса, пели птицы и ласково улыбались цветы. Ах, сколько было цветов... Это были золотые сны, те счастливые грезы, от которых не хочется проснуться. Мальчика угнетало только одно, именно, что ему не с кем было поделиться всеми этими богатствами, а мама от усталости даже не могла его слушать.

II

Странные бывают психические сближения, как это было и в данном случае. Сапожник Гаврилыч сделался дорогим гостем в квартире Скороходовых. Больной мальчик каждый раз оживлялся, когда в его комнате неуклюже помещалась массивная фигура отставного солдата, насквозь пропитанная смешанным запахом кожи и махорки. Сначала сапожник очень смущался, а потом привык. Чтобы не портить воздуха своим куревом, он уходил с трубочкой в сени или смешно присаживался на корточки к топившейся печке. Мальчик любовно смотрел своими умными глазами на эту большую фигуру и делался как-то спокойнее, когда сапожник сидел около него. Ведь он был такой сильный и здоровый. Часто ребенок трогательно просил его:

— Гаврилыч, вы посидите около меня, пока я засну...

— В лучшем виде посижу, господин Скороходов.

— Вы держите мою руку, Гаврилыч... Вот так. Только, пожалуйста, не дышите на меня...

И Гаврилыч сидел, не смея шевельнуться, как самая заботливая нянька. Правда, что это было не легко, но что поделаешь с г. Скороходовым. Маленькая прозрачная ручка сначала крепко держала жилистую руку Гаврилыча, а потом распускалась — такая маленькая, совсем ребячья рука. Больной спал в своем кресле всегда в одной позе, немного склонив головку на один бок. Гаврилыч терпеливо выжидал, когда послышится ровное дыхание заснувшего, и удалялся таким осторожным шагом, точно шел с огнем в пороховом погребе. Он даже захватывал свой рот ладонью и свободно переводил дух только в сенях.

Это удивительное сближение произошло главным образом на духовной почве. Гаврилыча поражал необыкновенный ум ребенка. Кажется, все-то на свете он знал и так удивительно хорошо умел рассказывать обо всем. Слушая своего маленького друга, Гаврилыч чувствовал себя ужасно глупым и совершенно темным человеком. Ничего-то, ничего он не знал, а вот мальчонка так все произошел. И насчет звезд, и насчет

разных стран, и насчет городов иноземных, и про войны, и про всяких полководцев. А то еще стишки прочитает — все больше жалобные стишки. И про святых угодников тоже отлично понимал. Гаврилыч с все возраставшим удивлением слушал маленького оракула и только встряхивал головой, как взнузданная лошадь.

— Так в темноте и кончимся, Тихон Петрович, — говорил он уныло, подавленный своим незнанием. — Прямо сказать: все мы от пня народ... Вот и службу прошел, оболванивали тоже, а как ничего не знал, так и остался. Живем, как во сне...

Мальчику нравилась та непосредственность, с которой Гаврилыч относился ко всему. Он так хорошо умел слушать и так увлекался всем.

— Вот так штука, братец ты мой, господин Скороходов... Дерево в семьдесят сажен высоты? Ловко... Это повыше адмиралтейского шпица. А вот что я скажу вам, господин Скороходов: и деревья разные, и горы, и моря-окияны, а люди-то везде одинаковые. Так, чуть-чуть разность маленькая... И все должны работать, и забота у всех одинаковая, и семьишка такая же, и детишки.

Был один пункт, в котором Гаврилыч оказывался неизмеримо сильнее маленького мудреца. Именно, г. Скороходов видел только один Петербург, а об остальном знал только из книжек. Другое дело Гаврилыч — он много видел, начиная со своей деревни. Когда заходила речь о последней, роли сразу менялись, и г. Скороходов превращался в самого обыкновенного ребенка, предлагавшего иногда вопросы, наивные до смешного. Здесь наступала очередь Гаврилыча удивляться, что есть такие люди, которые не понимают самых простых вещей, как пашня, лес и т. д. Сапожник даже сердился на г. Скороходова. Как этого-то не понять? Конечно, обидно...

— А в деревне нет мостовых? — спрашивает, на́пример, г. Скороходов.

— Какие там мостовые... Одно слово, деревня. Тут тебе пашня, тут река, тут лес. Значит, как есть деревня настоящая, значит, вполне... грязь...

— Вот вы говорите, Гаврилыч, лес... Кто же его садил?

— А никто... Сам лес растет. Так уж это назначено от господа... Где быть лесу, там он и растет.

Недоразумения происходили главным образом потому, что ребенок никогда не был за чертой Петербурга, и живое представление о природе у него сложилось из того, что он только видел. А видел он мостовые, пятиэтажные дома, дворы колодцами, чахлые петербургские скверы, гранитные берега Невы. Тут бессильны были все книги, и Гаврилыч в свою очередь должен был объяснять многое такое, что для деревенского жителя понятно само собой.

— Главное дело в деревне — пашня, — объяснял он с какой-то особенной торжественностью. — Все от пашни... Без пашни, брат, шабаш. Вот и мы с тобой чужой хлеб едим... А он дорого стоит настоящему мужику. Это, брат, штука!..

— Один раз посеять хлеб, он и будет расти.

— А вот и не будет. Ты его посеял, снял, а на следующий год та же музыка сначала. Да еще может случиться засуха или ненастье... В деревне-то с молитвой живут, не то что в городу. Здесь мне што — плевать. Вёдро так вёдро, ненастье так ненастье, а в деревне-то... Да что тут говорить!..

— Лучше в деревне?

— Какое же сравнение: конечно, лучше. Возьмите хоть меня, господин Скороходов: какой я есть человек, ежели разобрать? Ведь денег я зарабатываю уйму, ежели это по-деревенски считать, а где они у меня, деньги-то?.. То-то вот и есть. Весь тут, дома ничего не осталось. А в деревне у меня бы и своя избенка была, и лошаденка, и коровенка, и всякое обзаведение... Ну, как следовает настоящему мужику быть. А здесь что: тьфу!.. Разве это жисть?... Вот придет суббота и натрескаюсь, как свинья. А отчего?.. Такая плепорция городская... И в деревне пьют, только с умом: на праздниках, на свадьбах, а не так, чтобы дуром. Вот и вы, господин Скороходов, ежели бы родились в деревне, разве такой бы были?.. В деревне

народ здоровый, потому как вольный воздух первое дело.

— Отчего же вы не уедете в деревню, Гаврилыч?

— Я-то? А немножко, значит, угорел... Привык к городскому легкому хлебу. Ослабел...

Заговорив о деревне, сапожник весь изменялся. Он делался совсем другим человеком. Даже голос не тот. Мальчик смотрел на него с удивлением и никак не мог понять причины такой перемены. В действительности Гаврилыч идеализировал деревню и деревенскую жизнь, но тем не менее чувствовалось, что она его захватывала всего, несмотря ни на какую городскую «плепорцию». Эти разговоры очень нравились мальчику, и у него складывалось самое фантастическое представление о той России, которая начиналась сейчас за Петербургом. И он, петербургский выродок, никогда не увидит этой настоящей русской деревни, настоящего леса, желтеющих нив и всего того, чем живут десятки миллионов настоящих русских людей. Петербург ему представлялся громадной тюрьмой, где люди не живут, а мучатся, и больше всех он, Тихон Петрович Скороходов, такой маленький, такой бессильный и такой жалкий, как те чахлые деревца, которые растут в петербургских скверах. Ах, если бы можно было взглянуть хоть одним глазком, как живут там, не в Петербурге, — взглянуть и умереть! Там и за квартиру не нужно платить; там и подвалов нет, и дворов колодцами, и болезней... Вот отчего Гаврилыч такой здоровый, и вот отчего он делается совсем другим человеком, когда начинает говорить о деревне.

Прошла гнилая петербургская весна, и наступило лето. Каменные дома днем накалялись от солнца, воздух был пропитан едкой кислой пылью, нечем было дышать. Господин Скороходов мучился теперь от того, что нечем было дышать, как весной страдал от подвальной сырости. Раз, накануне воскресенья, Гаврилыч сказал:

— Вот что, Тихон Петрович, мы завтра с вами разгулку устроим. До Юсупова-то сада от нас рукой подать... У меня есть знакомая барыня, а у барыни стоит детская колясочка.

— Да ведь вам будет скучно со мной, Гаврилыч... В трактире веселее.

— И трактир от нас не уйдет, а в Юсупов сад все-таки съездим.

Это было целым событием в жизни г. Скороходова. Сборов было столько, точно снаряжалась экспедиция по меньшей мере к северному полюсу. Как волновался ребенок за этот роковой день! Какая-то будет погода? Не раздумал бы Гаврилыч? Не закапризничала бы барыня с коляской? Мать Тиши волновалась еще сильнее, хотя и старалась не выдавать себя.

— Какой добрый этот Гаврилыч! — повторяла она.

— Ты его, мама, еще не знаешь!..

Ночь прошла почти без сна. Господин Скороходов ужасно волновался. В нем проснулся тот живой ребенок, которого не могла похоронить никакая петербургская пыль. В шесть часов утра он уже проснулся и наблюдал по противоположной стене двора, какая будет погода. К ним в подвал солнце никогда не заглядывало, и метеорологические наблюдения ребенок производил по противоположной стене: стена освещена, значит есть солнце.

Гаврилыч заканчивал какую-то спешную работу и явился только часам к одиннадцати. Он даже умылся, приоделся и выглядел франтом. Но главный восторг был в колясочке. Правда, она была немного мала, но с этим приходилось мириться. Больной был уложен в колясочку, и Гаврилыч торжественно повез ее. День был праздничный. На тротуарах происходила настоящая давка, и только благодаря силе и ловкости Гаврилыча колясочка благополучно добралась до Юсупова сада.

— Вот мы как! — хвастался Гаврилыч, когда коляска покатилась по усыпанной песком дорожке.

Но г. Скороходов был разочарован. Все деревья стояли серые от пыли, и, главное, тот же кислый воздух. Вдобавок все уголки были усыпаны детворой, а г. Скороходов не выносил шума. Господи, сколько тут было детей, этих несчастных петербургских детей!.. Бледные, худенькие, с тонкими ручками и ножками, они напоминали те бледные цветы, которые вы-

растают в подвалах без солнца. Правда, они играли, бегали, кричали, дрались, как и следует детям, но это было не настоящее детское веселье. Господин Скороходов, лежа в своей колясочке, с какой-то тоской наблюдал их своими не по-детски умными глазами, и ему делалось ужасно скучно. Все это было не то, чего ему хотелось, точно самый воздух был здесь насыщен какой-то фальшью, а «скверные» деревья только притворялись зелеными. Да, не то... А эта петербургская детвора, набравшаяся сюда из своих подвалов и чердаков, — что могло быть печальнее?.. На детских личиках уже сквозила недетская тревога, а в глазах светилось то раздражение, которое не оставляет настоящего петербуржца даже летом. Больной мальчик наблюдал детей с таким видом, точно он сам был вот этими самыми детьми, принимая сотни всевозможных превращений. О, он так все отлично понимал!..

— Ах ты, братец ты мой, господин Скороходов, — ворчал Гаврилыч, огорченный неудавшейся поездкой. — Пыль одна, а не сад. Так, название...

Так прошло все лето, тяжелое и мучительное. Даже Гаврилыч затосковал, бросил работу и кутил недели две. Он явился к Тихону Петровичу таким виноватым и никак не мог взглянуть прямо в глаза ребенку.

— Нехорошо, Гаврилыч...

— Ах, как нехорошо, Тихон Петрович... Уж скорее бы осень. По крайности, сидишь у себя в норе и никуды тебя не тянет.

Осень не заставила себя долго ждать. Пошли дожди, потом ударил первый морозец — все шло своим порядком. В конце сентября выдалось несколько таких крепких и хороших осенних деньков. Именно в один из таких дней Гаврилыч пришел к г. Скороходову и заявил без всяких предисловий:

— Ну, и дурак же я, Тихон Петрович... ах, какой дурак!..

— Что случилось?

— А тогда-то, ну, когда мы в Юсупов сад путешествовали... Ну, конечно, дурак! Нужно было не в Юсупов сад вас везти, а за город. Что мне стоило

в колясочке-то вас скатать хоть в то же Парголово... И настоящий лес посмотрели бы, и пашню, и травку зеленую. Положим, не настоящая деревня, а нашибает.

Господин Скороходов молчал. Такое путешествие было его заветной мечтой, но он боялся даже думать о нем, как о чем-то недосягаемом и несбыточном.

— Не буду я, ежели будущим летом не свожу вас за город, господин Скороходов, — решил Гаврилыч, чтобы хоть чем-нибудь утешить пригорюнившегося ребенка. — Ей-богу, так... Только бы зиму пережить...

Ждать целый год... Это был такой ужасный срок, особенно когда приходилось жить в сыром подвале. Но уже самая мысль подкрепляла г. Скороходова, и ребенок любил разговаривать на эту тему. Маршрут был выработан во всех подробностях, с точностью военной диспозиции. Гаврилыч сто раз рассказал весь путь, и мальчик запомнил его от начала до конца.

— Ах, только бы нам зиму смотать! — повторял сапожник. — Как это мне раньше-то в башку не пришло... а?..

Много было разговоров в длинные зимние вечера на эту тему, и мальчик каждый раз оживлялся. Он считал, сколько осталось дней до этого события, и чувствовал, как одна мысль о нем живит и подкрепляет его.

— Мама, я тогда умру спокойно, — повторял ребенок с каким-то особенным чувством. — Ведь мне так немного нужно... Только один раз взглянуть...

А время ползло ужасно медленно. Гаврилыч приходил к г. Скороходову почти каждый вечер и при его помощи переплывал море-окиян, путешествовал в тропических лесах, сгорал от жажды в Сахаре, замерзал в полярных льдах при освещении северным сиянием, спускался в глубины земных недр, поднимался на воздушном шаре, сражался при Фермопилах, защищая свободную Грецию от персидских полчищ, открывал Америку вместе с Колумбом, изобретал паровую машину и даже заглядывал в то далекое будущее, когда пароходы, железные дороги и телеграфы покажутся жалкими игрушками. Слабая детская рука вела этого

большого и сильного человека от одного чуда к другому, из одной страны в другую, и Гаврилыч чувствовал только одно, что самое главное чудо вот этот больной ребенок с его девичьим голосом и печальными глазами. Старый солдат привязался к нему всей душой и был счастлив, когда бледное детское личико озарялось улыбкой.

III

Мы ничего не сказали о матери Тиши. Ее звали Настасьей Антоновной. Родилась и выросла она в Петербурге и, кроме Петербурга, ничего не знала. Образование получила домашнее, другими словами — никакого. После отца осталась двенадцатилетней девочкой и скоро познакомилась с нуждой. Мать была больная женщина и едва существовала крошечной пенсией. Маленькой Насте пришлось поступить в магазин швеей. Шестнадцати лет она познакомилась с молодым типографским наборщиком и скоро вышла за него замуж. Он был приезжий из далекой провинции и мечтал со временем завести свое дело. Но вышло иначе. Петербургский климат и непосильная работа надломили силы. Ребенку было пять лет, когда чахотка свалила с ног отца. Прислушиваясь к разговорам Тиши и сапожника, Настасья Антоновна живо припоминала мужа: больной, он тоже мучился тоской о своей далекой провинции, мечтал о ней и умер с мыслью о ней. Ребенок шел по отцовской дороге, и мать чувствовала, что он скоро умрет. Да и примета такая есть: если больной начнет собираться в дорогу — дело скверно. А какой рос мальчик — понятливый, умненький, совсем особенный. Еще при отце выучился читать и целые дни проводил за книгами.

— Не жилец он у вас, сударыня, — говорил не раз Гаврилыч, качая головой.

— Что же я поделаю? И то вытянулась вся...

— Божья воля... да.

Последнюю зиму Настасья Антоновна сама прихварывала и уставала от работы. Придет домой и рада

месту, а тут то нужно, другое, третье, и везде приходится самой. Хоть и маленькое, а все-таки хозяйство. Да еще шитье разное да починка. От нужды и забот бедная женщина начинала тупеть, и ее охватывало то тупое отчаяние и равнодушие, которому нет исхода. Иногда она думала, что уж лучше Тише умереть, чем так мучиться. Положим, что он никогда и ни на что не жаловался, но она чувствовала его страдания. Сапожник Гаврилыч являлся счастливой находкой, и она не знала, как его благодарить за участие к больному ребенку. Раз она даже попробовала это сделать, но Гаврилыч только сконфузился.

— Что вы, что вы, сударыня... Да ведь я хожу-то к вам для себя. Очень уж любопытно... Даже и рассказать не умею, как любопытно. Совсем особенный у вас Тихон Петрович... Господь умудряет младенцев.

Настасья Антоновна расплакалась. Гаврилыч нахмурился. Не любил он этих бабьих слез. Плачет, а того не подумает, что все под богом ходим — сегодня живы, а завтра и поминай как звали.

— А за город я его свожу, как только земля оттеплеет, — бормотал сапожник, точно оправдываясь.— Уж вы не сумлевайтесь, Настасья Антоновна. Надо потешить младенчика.

Ласковые слова у Гаврилыча выходили как-то особенно хорошо, и сам он точно светлел от них.

Поддаваясь течению событий, Настасья Антоновна и сама увлеклась идеей путешествия Тиши за город. Какие это смешные пустяки для других, а для них троих в этих пустяках было все: интерес целой зимы, интерес будущего. Если бы отнять эту мысль о поездке, все трое почувствовали бы себя ужасно несчастными. В жизни большое и маленькое меряется личным настроением. Так было и тут, в подвальной квартире, где сошлись такие противоположные люди, как больной ребенок и отставной солдат. Ах, скорее бы наступало лето... Это было самое томительное ожидание, сопровождавшееся иллюзиями и фантазиями, вроде того, что ведь может быть лето и в апреле месяце — стоит только теплу ударить, и зиме капут.

Роковой момент приблизился почти неожиданно. Это было в середине мая. С вечера выпал такой теплый весенний дождичек. Ранним утром Гаврилыч сбегал в Юсупов сад и принес радостное известие, что деревья уже распустились и высыпала зеленая травка.

— Только в скверных местах зелень-то раньше показывается, господин Скороходов, — объяснял сапожник. — Потому камень кругом, солнышком-то и угреет. Надо обождать денька три... Пока што, а пусть там все распустится.

Еще три дня самого томительного ожидания. Накануне поездки у Гаврилыча явился неожиданный план.

— Не махнуть ли нам, господин Скороходов, по Финляндской железной дороге? До вокзалу в колясочке доедем, а там колясочку в багаж, сами в вагон...

— Нет, Гаврилыч... — заупрямился г. Скороходов.

Ребенок слишком сжился с первым маршрутом, который знал наизусть: по Парголовскому шоссе, мимо Лесного, мимо Поклонной горы, Озерков — нет, так лучше. Да и на вокзале будет много людей, а тут совсем одни.

Рано утром восемнадцатого мая голова Гаврилыча высунулась из окна. Светило яркое солнце, значит отлично.

— Тихон Петрович, господин Скороходов, вы встамши?

— Здесь, Гаврилыч, — ответил тоненький голосок.

Колясочка была готова еще две недели тому назад. Необходимая провизия лежала завязанная в газетную бумагу. Гаврилыч не забыл сунуть сапожный нож за голенище. Одним словом, путешествие форменное.

— Ну, с богом, — говорила Настасья Антоновна, провожая путешественников за ворота. — Гаврилыч, вы смотрите, осторожнее... Где-нибудь еще под конку попадете.

— Не сумлевайтесь, сударыня...

Мальчик показался матери таким бледным сегодня, точно восковой. Она слышала, как он сегодня всю ночь надрывался от кашля. Да и лихорадка всю весну мучит... А колясочка катилась по тротуару. Вот она уже на углу. Гаврилыч остановился, оглянулся и сде-

лал Настасье Антоновне под козырек. В последний раз мелькнуло бледное детское личико, и Настасья Антоновна вернулась в свою нору, вытирая непрошенную слезу.

— Господин Скороходов, вот мы и поехали...

— Да...

Мальчик задумчиво смотрел на закипавшие жизнью центральные улицы. В воздухе еще чувствовалась свежесть. Отворялись магазины; бежали кухарки с корзинками и кульками; дворники мели мостовую, подымая облака пыли. Начинался тревожный столичный день. Ах, как все это надоело — и эта вечная суета, и треск экипажей, и вечная пыль!

А колясочка катилась да катилась. Вот и новый Александровский мост, и клиника, и паровая конка. Дома делались все ниже. Начинался фабричный квартал. Гаврилыч попутно делал некоторые объяснения.

— Только бы нам до московских казарм добраться, а там мостовой шабаш, господин Скороходов. Солдатские огороды начнутся...

Доехали и до казарм, и колясочка мягко покатилась по утрамбованному шоссе. Ребенок с особенным вниманием смотрел кругом, ожидая какого-то чуда. Вот там лес...

— Гаврилыч, ведь это настоящий лес?..

— Нет, еще не настоящий... Так, дачи. А эвон на горке Лесное, значит парк: шапка шапкой.

Навстречу попадались чухонцы в своих таратайках, ломовые, возвращавшиеся с дач порожняком, извозчики. Пронеслась мимо «паровушка».

У подъема к Лесному Гаврилыч сделал первый привал, поставив колясочку в тени дачного сада. Везде уже зеленела трава, деревья распустились. Сапожник с особенным удовольствием раскурил свою трубочку.

— Хорошо, господин Скороходов?

— Отлично... А лес скоро?..

— Скоро, скоро... Вот только проедем Лесное, сейчас можно свернуть влево, к Коломягам — и там лес, а то можно вправо ударить, по Старо-Парголовскому шоссе — тоже лес.

— Нет, я хочу на Поклонную гору...

Ребенка огорчало то, что город все еще не кончался, — все эти дачи были только его продолжением. Конечно, это не Юсупов сад, а все-таки настоящего еще нет.

— Ну, трогай! — покрикивал Гаврилыч, вкатывая колясочку на пригорок, где стоит церковь и конка делает поворот с шоссе вправо.

Мимо потянулись бесконечные дачи. Должно быть, хорошо здесь жить. Воздух совсем другой, и столько зелени. В одном месте Гаврилыч сделал неожиданную остановку. Как проедешь мимо постоялого двора «Распутье»? Он быстро юркнул к буфету, хватил стаканчик и вернулся обратно, на ходу прожевывая какую-то корочку.

— Зарядил малым делом, господин Скороходов.

Было уже около десяти часов утра, когда колясочка подъехала к Поклонной горе. Господин Скороходов был в восторге. Господи, как здесь хорошо... И сосновый бор, и какая даль там, внизу, и какое высокое небо здесь. У мальчика начинала кружиться голова и перед глазами точно летали мухи, но он крепился и ничего не говорил Гаврилычу. Свежий воздух его пьянил. Хотелось ехать вперед без конца...

— Хорошо, господин Скороходов?

— Ах, как хорошо...

Здесь дач было уже меньше. Встречные попадались редко, так что Гаврилыч даже затянул какую-то необыкновенную солдатскую песню:

Мы Расеюшку наскрозь пройдем,
Да граф Па... граф Паскевича в полон возьмем!..

Скоро показался и тот лесок, о котором говорил целую зиму Гаврилыч. Был тут и луг, и какой-то безыменный ручеек, и целый островок из сосен и берез. Колясочка свернула с шоссе и скрылась в лесу. Как мягко катились колеса по этой зеленой траве, как ласково шептались только что распустившиеся зеленые листочки, как весело выглядывали из травы первые весенние цветочки!..

— Стоп, машина! — скомандовал Гаврилыч, останавливаясь на опушке леса с той стороны, с которой не видно было шоссе. — С благополучным прибытием, господин Скороходов...

Господин Скороходов что-то хотел ответить, но только раскашлялся. Бледное личико покраснело от натуги, потом посинело.

— Это от пыли... — объяснял Гаврилыч, тоже кашляя, точно хотел откашляться за своего маленького друга. — А мы сейчас огонек разложим, чайничек согреем... Хотите на травку, господин Скороходов?

Мальчик ничего не ответил, а только смотрел на Гаврилыча своими печальными глазами. Он не мог говорить от охватившего его волнения. Гаврилыч устроил сам все, что было необходимо. Разостлал по траве плед и подушки и перенес г. Скороходова на новое место, а сам сейчас же принялся разводить огонь. Мальчик лежал и смотрел в голубое высокое небо, на тихо шумевшие вершины сосен, на плывшие по небу белоснежные облака — смотрел и чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное. Его точно уносила какая-то сила... Не было ни боли, ни усталости, ни той тяжести, которая давила его маленькое сердце. Глаза закрывались сами собой.

«Намаялся дорогой-то, пусть соснет», — думал Гаврилыч, сидя на корточках около огонька.

Ребенок заснул, заснул с таким счастливым выражением на лице, как засыпают только дети.

Чайник закипал уже три раза. Прошло больше часа, а ребенок продолжал лежать с закрытыми глазами.

— Тихон Петрович, господин Скороходов... — тихонько будил его Гаврилыч. — Будемте чаевать...

Ответа не последовало.

Господин Скороходов заснул, чтобы больше не просыпаться...

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЯШКА

I

Глубокая осень. Последний осенний караван «выбежал из камней» только к 8 сентября. На реке Чусовой «камнями» бурлаки называют горы. Пониже камней Чусовая катится уже в низких берегах. Скалы и хвойный лес быстро сменяются самой мирной сельской картиной: по берегам стелется пестрая скатерть пашен, заливных лугов и редких перелесков. Изредка выглянет глухая деревушка, изредка мелькнет далекая сельская церковь... и опять глухой простор на десятки и сотни верст.

Выбежав из камней, караван отдыхал. Тяжелая бурлацкая работа осталась позади, — там, где, сдавленная каменными кручами, река бурлила и играла, как дикий зверь. Опасность плавания усложнялась осенними дождями, которые подпирали реку в несколько часов иногда аршина на два. Главным образом играли безыменные горные речушки; они стремительно несли в Чусовую дождевую воду, что скатывалась с гор. Так бывает только осенью, когда земля уже достаточно пропитается влагой.

— Теперь будем переваливаться с плеса на плес, как блин по маслу, — говорил бурлак Яшка, делая преуморительную рожу.

— У тебя везде масло на уме, — ворчал сплавщик[1] Лупан, припоминая последнюю хватку, когда Яшка напился до зла горя. — Все ищет, где полегче да где плохо лежит. У непутевого человека и разговор непутевый...

На барке было шестнадцать бурлаков и в том числе три бабы. Собрались они с разных сторон: какие-то отбившиеся от работы заводские мастеровые, двое татар из Казанской губернии; остальные — свой чусовской прибрежный народ, выросший на сплавах.

Из этой пестрой массы Яшка выделился сразу, как непутевый человек. Среднего роста, какой-то весь взъерошенный, кривой на один глаз — одним словом, не настоящий мужик, а так, как мякина в зерне. Особенно страдал Яшка по части одежды: на нем, кроме пестрядинной рубахи и таких же штанов, ничего не было. И это в сентябре, когда и холод, и ветер, и холодный осенний дождь.

— Как же это ты так ошибся одежей-то? — журил его водолив[2].

— А вот за работой согреюсь... Который бог вымочит, тот и высушит.

— Пропил одежу-то?

Яшка только встряхивал головой и улыбался. Что же, было дело!.. Кто его знал, что на реке по ночам так студено будет. Ну, да одежа — дело наживное: не с одежей жить, а с добрыми людьми.

Таких молодцов на барке было еще трое, и все забубенные пьяницы. Яшка отличался от них только особенным мужицким балагурством, которое иногда переходило в шутовство. Шутовства-то ему и не прощали. Можно быть и пьяницей и забулдыгой, чем угодно, но только не шутом. А Яшка не мог утерпеть — нет-нет да и выкинет коленце, так что все помирают со смеху.

— Ах, Яшка, хрен тебе в голову!.. Ну и Яшка!

На третий день сплава, когда барка бежала еще в камнях, Яшка чуть не подрался.

---

[1] Лоцман. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Водолив откачивает воду из барки и в то же время служит сторожем. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Дело было так.

Ранним утром барка бежала мимо лесистого берега. Бурлаки стояли сумрачные, озябшие, озлобленные. С реки так и поддавало холодным осенним туманом. Яшка стоял у потеси[1] вместе с другими и корчился, как грешная душа. Вдруг он прищурил зрячий глаз и жалостливым голосом проговорил:

— Эх, кабы ружье!..

— А что, Яша?

— Да вот жаркое-то как насвистывает...

В лесу действительно перекликались рябчики.

— И вкусен теперешний осенний рябчик, — объяснял Яшка. — Ишь как выделывает, шельмец!.. Рраз!.. — и жаркое. Нет лучше этого осеннего рябчика... Падает убитый с дерева, так кожа у него от жира лопается.

— Да ты охотник, что ли, непутевая голова?

— Случалось... Лет с двадцать ружьишком промышлял.

— Куда же ты его дел, ружье-то?..

Яшка хотел объяснить, но его предупредил какой-то шутник:

— Да он его пропил, ружье-то...

— Я? Пропил?..

Яшка вдруг обиделся, и это послужило потехой для всей барки. Так мог сделать только непутевый человек. Настоящий мужик и вида не показал бы, что его задели за живое, а Яшка выдал себя головой.

— Ах, Яша, Яша, зачем же это ты ружье-то пропил? — притворно жалели его. — Вот теперь и стой у потеси... Ел бы жареных рябчиков, кабы ружье-то... Ах, Яша, Яша!..

— Ничего вы не понимаете, черти! — ругался Яшка. — Едал я этих самых рябчиков достаточно. И глухарей, и уток, и косачей — сколько даже угодно.

Слово за слово — и дело кончилось дракой. Яшку едва оттащили от большого, здоровенного бурлака, в которого он вцепился, точно кошка.

---

[1] Потеси — длинные бревна с широкой доской на конце; служат вместо руля. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

II

Слышу я всю эту перебранку. Вглядываюсь в лицо Яшки и вдруг припоминаю такой же ненастный осенний день в горах, ночлег в охотничьем балагане, неожиданное появление глухой ночью охотника-промышленника... Это был он, Яшка! Как это я не узнал его сразу?.. А между тем лицо у Яшки принадлежало к числу тех лиц, которые трудно забыть.

Впрочем, наша встреча происходила ночью, а ранним осенним утром Яшка уже ушел на промысел. На расстоянии пяти-шести лет таких встреч — сотни, и можно забыть даже самое заметное лицо.

Да и Яшка сильно постарел, как-то весь вылинял, совсем подходил к тем пропащим людям, из каких составляются бурлацкие ватаги.

Непонятно было одно: как Яшка, вольный человек, охотник, попал в бурлацкую неволю?

— А ты меня не признаешь? — обратился я к нему, когда Яшка грелся у огонька, горевшего посреди барки на особом очаге.

Яшка равнодушно посмотрел на меня своим единственным глазом, почесал затылок и проговорил:

— Как будто и не припомню этакого барина...

— А как-то на Белой горе вот так же осенью ночевали вместе в балагане?.. Ты за рябчиками ходил...

Яшкино лицо точно просветлело.

— А ведь точно... — заговорил он как-то особенно быстро. — Ах ты, братец ты мой!.. Еще у вас тогда собачка рыженькая была, на переднюю ножку припадала? Вот-вот... У меня тогда тоже собака, Куфта, была — аккуратный песик! Вот как глухарей по осеням на листвени облаивала... спелую белку искала!.. И на медведя хаживала!..

Эти воспоминания были прерваны новым взрывом досады:

— А вот привел господь бурлачины отведать, барин!.. Самый пустой народ... «Ружье, говорят, пропил»,

а того не понимают, галманы, что такое ружье. Разве его можно пропивать?.. Нет, прямые подлецы они, барин, вот это самое бурлачье. Пропил!.. Варнаки!..

Оглядевшись кругом, Яшка прибавил вполголоса:

— Ружьецо-то у меня скапутилось... да. Пошел по первому снегу за оленями; выследил одного, подкрался — трах!.. казенник [1] и вырвало. Лучше бы, кажется, руку оторвало... Какой я человек без ружья? Хуже меня нет. Уж я и поправлять его отдавал, ружье-то, денег на поправку стравил видимо-невидимо, а толку не вышло. Мастеришки плохие и вконец извели. Вот я и подумал сплыть на караване до Перми: зароблю [2] восемь целковых, да там и цапну новенькую орудию.

Последние слова Яшка проговорил с каким-то особенным вкусом и даже закрыл глаза, предвкушая удовольствие.

Ружье для него составляло все, и он вынашивал мысль о нем, вероятно, целую зиму. Добыть новое ружье было для него большою задачей: он знал, что, добыв ружье, бросит бурлацкое дело и опять станет вольным человеком.

Эта встреча доставила мне много удовольствия, хотя водолив, в балагане которого я скрывался на ночь от холода, и косился на Яшку, когда тот с охотничьим простодушием расположился «чаевать» со мною.

— Разве они што понимают?— объяснял Яшка с некоторой снисходительностью. — Так, темный народ... Конечно, я на барке-то «пришей хвост кобыле», а поглядели бы на меня в лесу. Ну-ка, попробуй!.. Ты десять раз мимо прошел, а Яшка уж нашел. По лесу-то я барином хожу... Хочу — у огонька буду сидеть, хочу — завалюсь спать. Разве они это могут

---

[1] Казенник — большой железный винт, который вставляется в заднюю часть ружейного ствола. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] «Зароблю» — заработаю. Таков говор в Пермском крае. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

понимать?.. Яшка — вольная птица... Вот только бы господь сподобил касательно ружья!..

Мне очень хотелось приютить Яшку около себя, но это оказывалось невозможным — третьего места в балагане не было.

Вечером я укладывался, и мне тяжело было думать, что я лежу в сухе и в тепле, а Яшка корчится около огонька...

— Ведь не я один колею, — объяснил Яшка. — Конечно, они варнаки и ничего не понимают, а только все же человеки...

III

Это была ужасная ночь... Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали три. По скрипу потесей, бултыхавших воду с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку, — делали «хватку», а теперь барка плыла, потому что, кроме мелей, никакой опасности не предвиделось. Работы было меньше, и бурлаки разделились на две смены — дневную и ночную.

Когда я вышел из своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега... Вся барка была покрыта слоем этого снега по крайней мере на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия.

Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше под стать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан, седой важеватый старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча, движением руки, точно и он боялся нарушить мертвую тишину.

— А где Яшка? — спросил я водолива, отливавшего воду.

Он, тоже молча, мотнул головой на кладку медных полос — «штык», проходивших поленницей посредине барочного дна, от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое из разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью.

Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по шести штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро медной штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы, — там по крайней мере не заносило снегом, — но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу.

Я прислушался, — из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека.

Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы человечество, если бы не было огня! Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на штыках, наверно, только потому, чтобы быть поближе к огоньку.

— Шли бы вы, барин, к себе в балаган, — посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев. — Дело-то ваше непривычное: как раз лихоманка ухватит, а то и паралик расшибет.

Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под силу. Ушел я в балаган, кое-как сгороженный из досок, рогож и еловой коры, — на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном.

IV

Проснулся я поздно, — проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет. Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени...

Над баркой с гоготаньем тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застигнутая ранним снегом, падала в реку. До десятка гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь — очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов.

— Лови, робя, бей!.. — галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей.

Работа была брошена, и на барке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший.

— Братцы!.. Родимые мои!.. Што вы делаете?.. Ах, варнаки... ах, подлецы!.. Братцы, миленькие, не троньте божью тварь!.. Разе можно ее трогать в этакое время?.. Очумели вы, галманы отчаянные!.. Креста на вас нет, на отчаянных... Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!...

Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уже двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу.

— Што ты делаешь-то, дурья голова?.. Вот я тебя расчешу... Право, отчаянные варнаки!.. Братцы!.. Черти!..

Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у баб гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу.

— А сам-то небось стреляешь всякую птицу, ярыга! — ответно ругалась обиженная баба. — Сбесился, деревянный черт!..

— И стреляю, дура-баба... да! — орал Яшка, закипая новой яростью. — Только не на перелетах... Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замерзлая. Вот ты бурчишь, дура-баба, а того не знаешь,

что убить человека грешно, а за убитого странника вдесятеро взыщется. Так и с птичкой перелетной... Нажралась бы ты этой гусятины и околела бы сама. Одно слово: дура!.. Птичка-то к нам насела,— дескать: «дадут передохнуть, а может, и накормят», — а ты навалилась на нее, как жернов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?..

— В самом деле, братцы, не троньте божью птицу! — поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. — Нехорошо!... Пусть передохнет, а потом сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит...

— Да ведь это харч, — нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. — Такое бы варево заварили, Лупан Степаныч!..

— А ты, оболдуй, слушай ухом, а не брюхом!.. Яшка-то всех умнее себя обозначил. Да!.. Он уж это дело знает.

— Ах, боже мой, да ведь грех-то какой! — умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. — Вон какая смирная птичка... Сама в руки идет. Только вот не говорит: «Устала, мол, я, притомилась, иззябла...» А вы ее бить!..

Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал Чусовую, точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага — человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам.

Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся.

— Будто еще должен один быть? — думал он вслух, оглядывая недоверчиво толпу бурлаков.

— Все тут, Яшка...

— Ну, и слава богу!.. Спасибо, братцы!

А снег все валил. Вода казалась такой темной в этих побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки.

— Эй, будет валандаться попусту! — скомандовал сплавщик. — Держи нос-от направо...

Потеси лениво забултыхали в воде. Гусиный косяк сгрудился и стройной массой с гусиной важностью

отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготаньем.

— Правильная птица! — заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. — Умнее ее нет... И живет пàрами, по-божески. Не то что, например, косач...

Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном:

— Эх, ежели бы вот таких гуськов десяточек, был бы Яшка с ружьем и не колел бы, как пес! В Перми бы продал по целковому штуку...

V

Вечером мы вместе пили чай в балагане — я, водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее — не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка.

— Тебя не знобит? — спрашивал я.

— Нет, зачем знобить?.. Вот ежели бы мокрый-то я у огня начал греться, ну, тогда пропасть.

Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся.

— Ну, теперь пойду на свою перину, барин...

Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал водолив, Яшка укоризненно покачал головой:

— Эх, Павел Евстратыч... а?.. Эх!..

— Что? — спросил водолив, воровато шмыгая глазами.

— Эх, Павел Евстратыч!.. То-то я давеча не досчитался одного гуська... Где у тебя совесть-то?..

— Ну, ну, подержи язык за зубами.

— Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь...

Из-под изголовья высовывался гусиный хвост.

— Да ведь я его не ловил! — оправдывался водолив. — Сам он забежал в балаган. Ну, я его и пожалел: приколол.

— У волка в зубе Егорий дал?.. Эх, Павел Евстратыч, нехорошо... Вот как нехорошо!

ПИР ГОРОЙ

Повесть

I

Над озером Увек спускался весенний вечер. Скиты стояли на правом высоком берегу, в тени векового бора, от которого потянулись длинные тени. На низинах и по оврагам еще лежал рыхлый почерневший снег, а на пригреве уже чернела земля и топорщилась прошлогодняя сухая и желтая трава. Избитая и почерневшая дорога шла к скитам от громадного селенья, залегшего на низком озерном берегу верст на пять. Селенье называлось тоже Увеком, как и озеро. Зимой в скиты ездили прямо по озеру, а сейчас уже выступили желтые наледи, и дорога шла горой. Именно по этой дороге и шел странник, мужик лет пятидесяти, с обветрелым и загорелым лицом. За плечами у него болталась небольшая котомка, прикрепленная к берестяному обочью, какие делают в Сибири; в руках была тяжелая черемуховая палка, точно изгрызенная с одного конца, — она говорила о далеком пути.

Странник остановился на угорье и невольно полюбовался развертывавшейся перед ним широкой картиной. Да, хорошее место Увек, — недаром слава о нем прошла на большие тысячи верст, а увекские скиты привлекали к себе тысячи богомольцев. И озеро хорошо, верст на пятнадцать, а кругом лесистые горы.

В дальнем конце озера зелеными шапками выделялись острова.

— Угодное место... — проговорил странник и перекрестился.

Долго он шел сюда, а теперь оставалось сделать всего несколько шагов. Вот уж приветливо смотрят бревенчатые скитские избы, и старая деревянная моленная, и целый ряд хозяйственных пристроек. Все это вместе обнесено было высоким деревянным заплотом (забором), а большие шатровые ворота всегда были на запоре. Около ворот одним маленьким волоковым оконцем глядела небольшая избушка, в которой жила сестра-вратарь. К ней и направился странник. Он постучал в оконце и помолитвовался:

— Господи, Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Ответа пришлось подождать. Странник посмотрел на деревянную полочку, приделанную к окну с левой стороны, и улыбнулся. На полочке лежал кусок хлеба для заблудящего странного человека, — исконный сибирский обычай. Только на второе молитвованье в окошечко «отдали аминь», и показалась старушечья голова, замотанная платком.

— Аминь, добрый человек... Кого тебе, миленький?

— А Якова Трофимыча, мать честна̀я...

— Якова Трофимовича? Нету у нас такого, миленький...

— Как нету?.. Должон быть.

— А вот и нет...

Голова быстро скрылась, а окно сердито захлопнулось. Страннику пришлось молитвоваться в третий раз и ждать дольше. Крепко живут старицы.

— Што ты привязался-то? — ворчала старушечья голова, приотворяя оконце вполовину. — Сказано: нет. Иди своей дорогой, миленький...

— А ежели у меня грамотка к матери Анфусе?..

Строгие старушечьи глаза посмотрели на странника довольно подозрительно, точно взвешивали его.

— Погоди ужо... — ответила старуха и скрылась.

Опять странник остался у ворот. Солнце уже село, и потянуло резким весенним холодком. С Увека доно-

сился хриплый лай цепных собак, — селенье раскольничье, и жили в нем по старине, крепко.

— Угодное место... — еще раз проговорил странник, подсаживаясь на приворотную скамейку. — Боголюбивые народы недаром строились... Вон как селитьба-то разлеглась, верст на шесть по берегу будет.

— Кто там хрещеный? — послышался голос в окне.

Теперь выглянуло уже другое лицо, помоложе, в черной монашеской шапочке.

— Дельце есть небольшое...

— Да ты сам-то кто будешь?

— Я-то? Ну, я, видно, дальний, а завернул в обитель с грамоткой от отца Мисаила... Крепко наказал кланяться и грамотку прислал.

— Давай грамотку-то...

— Не могу, честна́я старица: наказано матери Анфусе в собственные руки, а не иначе этого.

Скитские старицы пошептались, и только после этих переговоров тяжело громыхнул монастырский железный затвор. Когда странник вошел в калитку, его еще раз осмотрели и потом уже пустили дальше.

Скитский двор занимал большую площадь, обставленную простыми бревенчатыми избами. Самая большая была келарней. Двор был вычищен, а оставшийся снег таял большими кучами в стороне. Скитницы жили уютно и обихо́живали свой укромный уголок с охотой, как рабочие пчелки. Сестра-вратарь провела пришлеца в ближайшую избу с высоким крыльцом, где и жила сама честна́я мать Анфуса.

— Ужо подожди здесь... — остановила гостя сестра-вратарь, поднимаясь на крыльцо.

В окошке показалось молодое девичье лицо и посмотрело на странника удивленными серыми глазами. Это была совсем молодая девушка, лет шестнадцати, и ее лицо казалось еще моложе от черной скитской шапочки, в каких ходят послушницы. Потом это лицо сделало знак страннику идти в избу. Послушница встретила его в полутемных сенях и повела в заднюю избу. Она была такая высокая и стройная, так что странник даже полюбовался про себя. Хороши на Увеке послушницы, нечего сказать!..

Войдя в избу, странник положил начал и, поклонившись сидевшей на лавке толстой старухе, проговорил:

— Прости, матушка, благослови, матушка...

— Бог тебя простит, странничек, бог благословит, — не по летам певуче ответила старуха, оглядывая гостя. — От Мисаила сказался?

— От его, видно, — ответил странник, добывая из-за пазухи кожаный кошель. — Вот тебе и грамотка, честна́я мать...

Старуха взяла сложенную трубочкой засаленную грамотку, внимательно ее осмотрела и проговорила:

— Егор-то Иваныч дожидает тебя. Нарочно сегодня пригнал из городу... Спиридоном тебя звать? Так, так... Давненько про тебя пали слухи. Аннушка, проведи ты его к Якову Трофимычу...

Послушница низко поклонилась и, опустив по-скитски глаза, вышла из избы. Спиридон, отвесив поклон честной матери, пошел за ней. Они опять вышли на двор. Девушка повела его в дальний угол, где двумя освещенными окнами глядел новенький бревенчатый флигелек, поставленный в усторонье.

— Из тайги пришел? — спрашивала послушница, легкой тенью двигаясь в темноте.

— Оттедова, голубушка... А ты кто такая здесь будешь?

— Я-то? А дочь Егора Иваныча... Мамынька-то у меня померла, ну, тятя сюда меня и отдал под начал матери Анфусе. Четвертый год здесь проживаюсь...

— Так, так...

У флигеля пришлось опять молитвоваться, пока в волоковом оконце не показалось бледное женское лицо.

— Это ты, Аннушка?

— Я, Агния Ефимовна... Вот привела к вам таежного мужика.

Окно захлопнулось. Потом где-то скрипнула дверь, и в сенях показался колебавшийся свет. Агния Ефимовна сама отворила сени и впустила гостя. Он снял шапку и вошел в низенькую горницу, слабо освещенную нагоревшей сальной свечой. У стола в переднем

углу сидели два старика — один совсем лысый, с закрытыми глазами, другой плотный и коренастый, с целой шапкой седых кудрей и строгими серыми глазами. Спиридон по этим глазам узнал в нем отца Аннушки. Положив начал, он поклонился и встал у двери. Аннушка передала грамотку отцу и ушла с Агнией Ефимовной в соседнюю горницу, притворив за собой дверь.

Егор Иваныч надел большие очки в медной оправе и принялся читать грамотку Мисаила. Читал он долго, поглаживая седую бороду и изредка взглядывая поверх очков на стоявшего у дверей странника. Слепой лысый старик сидел понуро на своем месте и жевал губами.

— Ну, што? — спросил слепой, когда Егор Иваныч снял очки и начал их укладывать в медный футляр.

— А вот спросим Спиридона, — ответил Егор Иваныч. — Ну, Спиридон, што ты нам скажешь?

Спиридон тяжело переступил с ноги на ногу, опять вытащил из-за пазухи свой кожаный кошель, добыл из него что-то завернутое в тряпочку, развязал ее зубами и положил на стол. На тряпочке ярко желтело мелкое золото.

— Вот оно самое... — тихо проговорил он, оглядываясь на запертую дверь.

— Может, у бухарцев купил? — недоверчиво спрашивал Егор Иваныч, перегребая пальцем золотой порошок.

— Нет, сам добыл, Егор Иваныч... На охоте с орочоном встретился, а он мне и указал место. Могу доказать... Богачество, Егор Иваныч!.. Ежели бы господь благословил, так большие тысячи можно в тайге добыть...

II

Слухи о сибирском золоте ходили уже давно среди уральских раскольников, особенно среди тех из них, которые вели крупные торговые дела с киргизской степью. Егор Иваныч вырос в подручных у крупных торговцев салом, Ивачевых, и не один год провел

в степи. Там, на степных стойбищах, в киргизских аулах и кибитках, он слышал десятки рассказов о сибирском золоте, скрытом в глубинах непроходимой тайги, как заветный клад. Эти рассказы переходили из рода в род, и никому еще до сих пор не удалось добраться до сокровища, несмотря на очень смелые попытки, как, например, история знаменитых братьев Поповых, положивших на это дело миллионы. Егор Иваныч успел состариться, а сокровище оставалось нетронутым. И вот теперь, когда уже его голова покрылась первым снегом, оно само пришло к нему, это сокровище. Во всей истории было что-то сказочное: и Спиридон, и старец Мисаил, и слухи, которые опередили Спиридона. Сам Спиридон не внушал Егору Иванычу доверия: мало ли по Сибири таких бродяг шатается. Просто купил у бухарцев золота и подманивает.

— Ну, вот что, мил друг, утро вечера мудренее, — строго проговорил Егор Иваныч, поднимаясь с места. — Сегодня ты ступай в Увек, там заночуешь. Третья изба с краю... Скажи, что Егор Иваныч прислал. Да смотри: ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.

Мужик посмотрел на Егора Иваныча исподлобья, как настоящий травленый волк, а потом свернул свою тряпочку с золотом и ответил:

— Што же тут держать-то: я никого не неволю. Дело полюбовное, Егор Иваныч.

Егор Иваныч покраснел, но сдержался и только сухо заметил:

— Што же, другим понесешь золото?

— А хошь бы и так... Ведь ты меня не купил. Говорю: любовное дело. Брюхо за хлебом не ходит...

— Как ты сказал, мил человек?..

— А так и сказал... Сначала коня запрягают, а потом в сани садятся. Я-то вот тыщи с три верстов отмерял до тебя, а ты меня пирожком накормил...

У Егора Иваныча глаза потемнели от бешенства, — очень уж дерзкий мужичонко, — но он переломил себя и только заметил:

— Зубы-то, мил человек, побереги. Пригодятся...

— У волка в зубе — Егорий дал! — смело ответил странник.

Когда он вышел, Егор Иваныч громко ударил по столу кулаком.

— Нет, как он разговаривает-то, челдон?!. — кричал старик, давая волю накопившемуся негодованию. — Слышал, Яков Трофимыч?

— Как не слышать... — равнодушно подтвердил слепой. — Значит, вполне надеется оправдать себя, ежели такие слова выражает. И то сказать, што ему кланяться нам со своим золотом...

— Да ведь это еще в трубе углем написано, его-то золото!.. Надо его еще найти, а он вперед на дыбы поднимается... Одним словом, варнак...

— Не велик, видно, зверь, да лапист. А Мисаил-то што пишет?

— Да вот послушай, Яков Трофимыч... Очень уж уверился старичок вот в этом самом Спиридоне. Как бы ошибки не вышло...

Егор Иваныч опять оседлал свой нос очками, развернул грамотку и только приготовился читать, как в горницу вошли Агния Ефимовна и Аннушка. Старик нахмурился и проговорил, обращаясь к дочери:

— Анна, ты иди-ка к себе в келью. Не бабьего это ума дело, штобы наши разговоры слушать...

Послушница простилась и вышла, а Агния Ефимовна как ни в чем не бывало подсела к мужу, положила к нему руку на плечо и вызывающе посмотрела на сердитого гостя своими большими карими глазами. Егор Иваныч вскочил и грузно заходил по комнате.

— Ну, што же Мисаил-то? — спросил слепой.

— Ах, отстань... Терпеть ненавижу, когда, например, всякая баба будет нос совать не в свое дело. Всяк сверчок знай свой шесток...

— Куда же мне идти от слепого мужа? — спрашивала Агния Ефимовна самым простым тоном. — Он как малый ребенок без меня...

— Не тронь ее, Егор Иваныч, — вступился за жену слепой. — Она у меня разумница... Не бойсь, не разболтает, чего не следует. Ты, Агнюшка, не бойся...

— И то не боюсь, Яков Трофимыч. Не какая-нибудь, а мужняя жена. Некуда мне уходить-то...

Агния Ефимовна была еще молода, всего по тридцатому году, и сохраняла еще свою женскую красоту. Лицо у нее было тонкое, белое, нос с легкой горбинкой, брови черные, губы алые; сиденье в скитском затворе около слепого мужа придавало этому лицу особенную женскую прелесть. Вывез жену Яков Трофимыч откуда-то с Волги, когда зрячим ездил по своим делам в Нижний. Егор Иваныч как-то инстинктивно не любил вот эту Агнию Ефимовну, правильнее сказать — не верил ни ее ласковому бабьему голосу, ни этому смиренному взгляду, ни ее любви к мужу. Сейчас в особенности старик ненавидел эту женскую прелесть, мешавшую делать большое мужское дело.

— Ну что же ты, Егор Иваныч? — спрашивал слепой. — Што тебе Мисаил-то пишет?

— Не мне, а матери Анфусе, — поправил его Егор Иваныч. — Дело не в письме, Яков Трофимыч... Нет, не могу я с тобой по-сурьезному разговоры разговаривать!..

Слепой тихо засмеялся, откинув назад голову. Агния Ефимовна поднялась, выпрямилась и заговорила твердым голосом:

— Ты не можешь, Егор Иваныч, так я тебе скажу...

— Ну, ну, скажи! — подзадоривал старик, усаживаясь к столу. — В чем дело, Агния Ефимовна? Поучите нас, дураков...

— Приходится, видно, поучать... Зачем Спиридона отвел сейчас? Характер свой захотел потешить?.. Только одно забыл, што этот Спиридон из тайги сюда три месяца шел, што ежели бы его поймали на дороге с золотом, так ни дна бы ни покрышки он не взвидел, што... Одним словом, нужный человек, а ты ему ни два ни полтора.

— Верно, Агнюшка, — поддакивал слепой. — И я то же говорил... Егор Иваныч, ты не серчай, а у нас все заодно: у одного на уме, а у другого на языке.

— Так, так... Правильно! — иронически согласился Егор Иваныч. — Еще не скажешь ли чего, матушка

Агния Ефимовна? Откедова ты это все вызнала-то, скажи-ко попервее всего?

— А сорока на хвосте принесла...

— А не сказала тебе сорока, чего будет стоить эта игрушка со Спиридоном?

— Тысяч на тридцать можно обернуться...

— А где их взять?

— Яков Трофимыч даст... Дело верное, ежели старец Мисаил одобряет. Не таковский человек, штобы зря говорить.

Егор Иваныч поднялся, прошелся по комнате, остановился около слепого и проговорил сдавленным голосом:

— Дашь, што ли, Яков Трофимыч, ежели дело на то пойдет? Мисаил-то пишет действительно того...

— Дать, Агнюшка? — спрашивал слепой.

— Ежели старец Мисаил благословляет, так, известно, дать, — решила Агния Ефимовна. — Ему-то ближе нашего знать...

Егор Иваныч стоял и молча смотрел на мудреную бабу. Ох, велика человеческая слабость, особливо когда бес прикачнется вот на такой лад, с бабьими лестными словами... И сам он то же думал, только не хотел показывать виду, а баба все и вывела на свежую воду, как пить дала...

— А ты бы, Агния Ефимовна, все-таки вышла бы лучше в свою горенку, — проговорил Егор Иваныч, выдерживая характер. — Бабье-то «так» пером по во̀де плавает...

— Не тронь ты ее!.. — взмолился слепой. — Она у меня вместо глаза. Поговорим ладом... Што она, што я — разговор один.

— А ежели не привык я с бабьем разговаривать? Ну, да дело твое... Немощь тебя обуяла, Яков Трофимыч. Оно и взыскивать не с кого... Я это так, к слову пришлось...

Беседа задлилась во флигельке за полночь. Говорил один Егор Иваныч, обсуждая новое дело со всех сторон. Агния Ефимовна все время не проронила ни одного слова, точно воды в рот набрала. В конце концов состоялось соглашение, и старики ударили по рукам.

— По первопутку поеду в тайгу со Спиридоном сам, — говорил Егор Иваныч. — А там, што бог даст...

Агния Ефимовна вышла провожать старика в сени и, стоя на пороге, проговорила:

— Моя любая половина, Егор Иваныч...

— Из чего это половина-то?

— А из чистых барышей...

Старик только тряхнул головой: черт, а не баба.

III

Появление Спиридона в Увеке наделало шуму во всем раскольничьем мире. Молву о сибирском мужике, отыскавшем золото, разнесли по богатым раскольничьим милостивцам разные старушонки богомолки, странники, приживальцы — вообще весь тот люд, который питался от крох падающих. Откуда могли вызнать все это проходимцы — трудно сказать, тем более что переговоры Спиридона с Егором Иванычем происходили келейно. Как-никак, а молва докатилась через несколько дней до города Сосногорска, где жили богатые промышленники и заводчики: Огибенины, Рябинины, Мелкозеровы. По богатым палатам сосногорских толстосумов шли теперь оживленные толки, и все они сводились на Егора Иваныча, который продался слепому Густомесову. Каждому хотелось отведать сибирского золота, и каждый мог только завидовать счастью слепого Якова Трофимыча, — вот уж именно «слепое счастье». С другой стороны, всем было понятно, как совершились события: старец Мисаил, к которому пришел Спиридон, сделал засылку честно̀й матери Анфусе, чтобы оповестила богатых милостивцев, а честна̀я мать Анфуса давно дружила с Егором Иванычем, единственная дочь которого воспитывалась в скиту у Анфусы. Дальше уж пошло само собой: Густомесов проживал в скиту уж близко десяти лет и кормил всю обитель, — ну, Анфуса и направила к нему Егора Иваныча, а Егору Иванычу тоже не вредно, если поведет все дело на капиталы слепого хозяина — сам большой, сам маленький будет во всем. Одним

словом, история разыгралась, как по-писаному, и комар носа не подточит.

Нашлись любопытные, которые нарочно ездили в Увек, чтобы хоть издали поглядеть на таинственного сибирского мужика. Он проживал в избе у старухи бобылки и показывался только на озере, куда выезжал на плотике удить рыбу. Целые дни проводил он за этим «апостольским ремеслом» и ни с кем не хотел водить знакомства. Даже в скит к Анфусе ходил редко и то на службу. Крепкий был мужик, одним словом. Выискался было один шустрый подручный от Рябининых, который с удочкой подчалил на лодке к плотику Спиридона, чтобы завести знакомство, но и из этого ничего не вышло, — хитрый сибирский мужик даже не взглянул на него и сейчас же поплыл к своему берегу.

— Оборотень какой-то! — ругали все сибирского мужика. — Чего он сторонится всех, как чумной бык?

Дальше интересовало всех, как обойдется Егор Иваныч со своим хозяином, Мелкозеровым, у которого служил с малых лет. Мелкозеров был из сальников, вместе еще с Густомесовым вел дела в степи, а потом попал в случай — продавались железные заводы у промотавшихся наследников, и Мелкозеров купил их. Все дивились необычайной смелости Мелкозерова, — дело было миллионное, непривычное, а он не побоялся. Много было волокиты и хлопот, чтобы просто купить эти заводы, потому что приобретать населенные имения могли только дворяне, а не купцы. Сильно тряхнул тугой мошной Мелкозеров и добился своего, а потом уже развернулся во всю ширь. Дело было громадное, прибыльное и сулило впереди миллионы. «Ндравный» человек Мелкозеров превратился быстро в самодура и на своих заводах являлся страшной грозой. Все трепетало перед ним, тем более что от него зависели жестокие заводские наказания. Крут был сердцем Мелкозеров, и все боялись его, как огня. Не боялся только один Егор Иваныч, состоявший при нем зараз в нескольких должностях: он и с подрядчиками ведался, он и горных чиновников умасливал, он и всякие тайные поручения исполнял — везде поспевал Егор Иваныч, как недремлющее око. И вдруг Егор Иваныч

отшатится от Мелкозерова прочь, — никто даже представить себе не мог, как это произойдет. Между тем все шло по-старому, и Егор Иваныч не подавал никакого виду: все тот же Егор Иваныч, точно ничего не случилось. Мелкозеров, конечно, уже знал о сибирском золоте и тоже не подавал виду, что знает что-нибудь. Крепкие люди сошлись.

Однако выпал роковой день, когда все разрешилось само собой. Это случилось в июле, в самую страду. У Мелкозерова было два железных завода, и управляющим состоял его племянник Капитон Титыч, такой же «ндравный» и упрямый человек, как и сам старик Мелкозеров. Летнее время на заводах тихое, потому что рабочие распускались на страду. Сам Мелкозеров проживал в Сосногорске и потребовал к себе племянника для каких-то объяснений. Но вместо племянника получилась коротенькая записка: «Рыбу ловлю. Некогда. Да и говорить нам с тобой, дядя, не о чем сейчас. Капитон Мелкозеров». Вскипел старик и послал строгий наказ ослушнику явиться немедленно. В ответ получилась записка еще короче: «Не хочу. Капитон Мелкозеров». Это уже окончательно взорвало старика, и он послал на заводы нарочитых людей, чтобы привезли Капитона живого или мертвого.

— Я за все в ответе! — кричал старик. — Орудуй в мою голову...

Прежде он поручил бы это дело Егору Иванычу, а теперь обошел его. Это был явный признак опалы. Егор Иваныч не шевельнул бровью: не его воз, не его и песенка.

Итак, стоял жаркий июльский день. Егор Иваныч, по обыкновению, сидел в своей конторе, устроенной при громадном мелкозеровском доме. Контора выходила окнами на улицу, и Егор Иваныч видел, как к воротам подъехала простая деревенская телега, на которой сидели четыре здоровенных мужика.

— Капитона привезли... — пронеслось по конторе.

Все служащие так и замерли, ожидая, чем разыграется вся история. Телега въехала во двор и остановилась у крыльца. Доложили о приехавшем госте

самому хозяину. Выбежал на крыльцо оторопелый подручный и проговорил:

— Капитон Титыч, пожалуйте в контору... Лаврентий Тарасыч сейчас туда придут.

— Не хочу... — ответил лежавший на телеге Капитон; он и не мог прийти, потому что был связан по рукам и ногам.

А старик Мелкозеров уже успел спуститься в контору и смотрел в окно. Он даже зашипел от ярости, услышав такой ответ.

— Как же он придет, ежели лежит связанный, — объяснил спокойно Егор Иваныч.

— Ну, ступай, приведи его, дурака...

Егор Иваныч отправился, велел развязать Капитона, но тот продолжал лежать в телеге и не хотел вставать.

— Не хочу... — отвечал Капитон на все уговоры.

— Несите его, щучьего сына, на руках! — крикнул Мелкозеров в окно.

Здоровенные мужики подхватили ослушника на руки и внесли в контору. Трудненько было тащить здоровенного мужика, но ничего, — внесли. В конторе Капитон не пожелал встать на ноги, а растянулся на полу, как пласт.

— Ты это што дуришь?!. — накинулся на него Мелкозеров. — Да я тебя в остроге сгною... запорю... И отвечать не буду!..

— Руки коротки, — спокойно ответил Капитон. — Не крепостной я тебе дался.

Нужно было видеть старика Мелкозерова в этот момент. Он весь побледнел, затрясся и с сжатыми кулаками бросился к Капитону. Трудно сказать, что произошло бы тут, если бы Егор Иваныч не загородил дороги. Гнев старика целиком обрушился на непрошенного заступника.

— Ты... ты... ты... Иуда! — задыхавшимся голосом повторял Мелкозеров, позабывая о лежавшем на полу Капитоне. — Ты продал меня... Старая-то хлеб-соль забывается! Иуда...

Мелкозеров затопал ногами, зашипел и даже замахнулся кулаком на Егора Иваныча.

— Я все знаю... — уже хрипел он. — Да, все... Стакался ты со скитницами и обходишь теперь слепого дурака.

— Никого я не обходил, Лаврентий Тарасыч... — слегка дрогнувшим голосом ответил Егор Иваныч. — Тебе вот я сорок лет прослужил верой и правдой, а не имею сорока грошей. Больше не могу... Не о себе говорю, а о дочери Аннушке... Об ней пора позаботиться. Не хочу ее нищей оставлять.

Мелкозеров даже отшатнулся от верного слуги, посмотрел на лежавшего на полу Капитона и потом проговорил, указывая на него:

— Ты сговорился с ним... Может, вместе собрались убить меня? А?!

— Зачем убивать... А только, Лаврентий Тарасыч, больше я тебе не слуга. Будет...

Это была настоящая живая картина. Центр занимал лежавший на полу Капитон, могучий мужчина с окладистой темной бородой, около него стоял Егор Иваныч, немного откинув назад свою седую голову, а против них бегал Мелкозеров — высокий плечистый мужчина с крутым лбом, огневыми темными глазами и бородкой клинушком. Все они были одеты по-домашнему, в раскольничьи полукафтанья, в русские рубахи-косоворотки и в смазные сапоги.

— Сорок лет тебе я прослужил, Лаврентий Тарасыч, а теперь пора и о себе позаботиться, — продолжал Егор Иваныч. — Всякому своя рубашка к телу ближе...

Капитон в этот момент поднялся и проговорил всего одну фразу:

— И я тоже...

Мелкозеров посмотрел на обоих и сказал всего одно слово:

— Вон!

Вся контора замерла, ожидая, какую штуку выкинет Капитон, но он только посмотрел на дядю и отвернулся.

Егор Иваныч и Капитон вместе вышли на крыльцо. Они молча прошли двор и остановились у ворот. Капитон снял шляпу, поправил кудрявые волосы, по-

раскольничьи подстриженные в скобку, и, погрозив кулаком в окно конторы, проворчал:

— Погоди, идол, я до тебя доберусь...

Егор Иваныч взял его под руку и повел под гору, — мелкозеровский дом стоял на горе. Они молча прошли пол-улицы, а потом старик заговорил:

— Ну, Капитон, теперь мы с тобой на одном положении... Осенью по первопутку я выезжаю с партией в тайгу.

— Слышал...

— Ежели хочешь — поедем вместе.

— На густомесовские деньги?

— Уж это не твое дело. Попытаем счастья...

Старик боялся услышать в ответ Капитоново «не хочу», но Капитон только тряхнул головой и молча протянул руку.

— Э, где наше не пропадало, Егор Иваныч... Будет, поработали на прелюбезного дядюшку. Ах, так бы, кажется, пополам и перекусил его...

— Будет, утишись. Сердце-то у вас обоих огневое, Капитон, вот ладу-то и не выходит, а со мной уживешься.

Капитона Егор Иваныч знал с детства, когда он еще состоял при строгом дяде в мальчиках, и любил его по-хорошему, как любят хорошие люди. В упрямом мальчике было много симпатичных сторон, а Егор Иваныч жалел его, как сироту. По-своему, по-стариковски, он больше всего ценил в нем хорошую кровь. Вот и теперь: ни на волос не сдался, хоть на части режь. С огнем другого-то такого кремня поискать...

Впоследствии Егор Иваныч тысячу раз раскаивался вот за эту сцену.

IV

Приготовления к походу в далекую тайгу заняли все лето. Нужно было собрать партию рабочих в пятьдесят человек, заготовить всякую приисковую снасть, провиант, одежду для рабочих — одним словом, все, что могло потребоваться за зиму в безлюдной тайге.

Егор Иваныч точно помолодел и работал за троих. Он поднимался с зарей и хлопотал вплоть до ночи. В виде отдыха старик время от времени уезжал из Сосногорска в Увек, чтобы повидаться с дочерью, — это была последняя старческая привязанность, которая угнетала и делала рабом. Егор Иваныч, если можно так выразиться, был просто болен своей дочерью, хотя и старался по внешнему виду не выдавать себя. Он даже казался строгим отцом и делал суровые выговоры. Одна только честная мать Анфуса знала, как безумно любил старик свою ненаглядную Аннушку, — от нее у него не было тайн. Боже сохрани, чуть что приключится девушке! — старик сейчас же падал духом и рыдал, как ребенок, в келье Анфусы. Аннушка была его жизнью, светом, дыханием. Можно себе представить, как Егора Ивановича волновала близившаяся разлука на целую зиму. Пока он старался не думать об этом, как мы стараемся не думать о смерти.

Недели за две до отъезда, после покрова, Егор Иваныч приехал в скит вместе с Капитоном. Последний хотя и был старовером, но в скиту на Увеке не бывал ни разу. От Сосногорска до озера было всего каких-нибудь двадцать верст, но Капитону все как-то не выпадала дорога именно в эту сторону. Егор Иваныч привез своего помощника с той целью, чтобы он сам переговорил со слепым Густомесовым. Все же оно лучше, а то, храни бог, помрешь в тайге, и замениться будет некем. И для Густомесова надежнее: Капитон не чужой человек.

Осенняя непролазная грязь была уже скована морозом, и небольшая дорожная повозка Егора Иваныча бойко подкатила к скиту.

— Ты смотри, Капитон, не скажи чего лишнего, — предупреждал старик, вылезая из экипажа. — Уговор на берегу... Место-то здесь тихое, не мирское. Напугаешь еще монашин... Ведь ты у меня, Христос с тобой, с норовом!

Капитон ничего не ответил, а только улыбнулся в бороду.

В скиту Егор Иваныч давно был своим человеком и привел гостя прямо в густомесовский флигелек. По

обыкновению, двери отворила им сама Агния Ефимовна. Она даже отшатнулась, когда увидела перед собой рослого красавца мужчину, в упор глядевшего на нее своими сердитыми глазами.

— Што, испугалась, Агния Ефимовна? — пошутил Егор Иваныч. — Ничего, хорош зверь, ежели к рукам.

— Пусть молодые боятся, а я уж стара стала, — ответила Агния Ефимовна, оправившись. — Милости просим, дорогие гости...

Капитона поразили больше всего яркокрасные губы скитской затворницы, совсем уж не подходившие к ее полумонашескому костюму, смиренному взгляду и матовому цвету прежде времени отцветавшего лица. Когда Капитон входил в дверь и нагнулся, чтобы не стукнуться головой о притолоку, Агния Ефимовна невольно улыбнулась: какой он большой, да здоровый, да красивый. Ее точно огнем опалило... Бывают такие мимолетные встречи, которые оставляют в душе неизгладимый след и служат какой-то роковой гранью, разделяющей жизнь на разные полосы. Иногда какая-нибудь ничтожная мелочь западает в память и выступает с яркой силой при каждом удобном случае. Впоследствии, когда Агния Ефимовна думала о Капитоне, она не могла представить его себе иначе, как именно входящим, нагнувшись, в дверь их скитской горницы.

— Вот ты какой, Капитон! — удивлялся Яков Трофимыч, ощупывая гостя без церемоний. — Из всего дерева выкроен... А дяде так и отрезал тогда: «Не хочу!» Ну, молодец... С Лаврентием-то Тарасычем мы прежде хлеб-соль водили, а теперь он и забыл про меня. Все забыли... да... Карахтерный человек Лаврентий Тарасыч!.. А ты ему: «Не хочу!» Ха-ха...

Капитон почувствовал себя в этой маленькой горнице как-то особенно жутко. Ему точно было совестно и за свой рост и за свое богатырское здоровье, а тут еще этот смех лысого слепца. Больше всего смущало Капитона то, что все время он чувствовал на себе пристальный взгляд Агнии Ефимовны, которая точно впилась в него своими зеленоватыми, как у кошки, глазами. Его так и тянуло самому рассмотреть ее

хорошенько, да было совестно Егора Иваныча. В горнице она показалась ему совсем другой, чем в сенях, точно она помолодела, переступив порог. Он плохо помнил, о чем шел деловой разговор, охваченный каким-то смутным беспокойством. Да, это была тревога, вроде того, когда глухой ночью раздается неожиданный стук в дверь. Егор Иваныч заметил произведенное хозяйкой впечатление и несколько раз посмотрел на богатыря строгими глазами. Не замечал, конечно, ничего только Яков Трофимыч, который чувствовал себя как-то особенно весело и пересыпал серьезный разговор шуточками и прибаутками.

— Полюбился ты мне, Капитон! — повторял он. — Жаль в Сибирь тебя отпускать...

— Даст бог, еще вернемся...— как-то глухо ответил Капитон, глядя в угол. — Не на смерть прощаемся.

Егор Иваныч как-то разом оборвал разговор и начал прощаться. Агния Ефимовна проводила их в сени. Она не проронила в течение разговора ни одного слова и простилась молча. Когда Капитон шел по скитскому двору, он чувствовал как-то всей своей спиной, что Агния Ефимовна смотрит на него. Подходя к игуменской келье, он не вытерпел и оглянулся: она действительно стояла в дверях, прислонившись к косяку головой, точно оглушенная.

«Этакая змея подколодная... — думал Егор Иваныч, поднимаясь по игуменской лестнице на крылечко. — Съесть готова глазищами. Вон как замутила Капитона-то».

Честнáя мать Анфуса что-то разнемоглась и приняла гостей, лежа на лавочке. Около нее сидела Аннушка. Когда Капитон вошел в игуменьину келью, он почти никого и ничего не видел. Да и какое было ему дело до кого-нибудь...

— Што вы больно долго собираетесь-то? — тихим голосом спрашивала мать Анфуса. — Долгие-то сборы не всегда к добру...

— Да уж такое дело, мать Анфуса, што скоро его не повернешь, — объяснял Егор Иваныч. — Не шутки шутить едем. Вот снежок выпадет, тогда мы и ука-

тим по первопутку. Так и партия снаряжена... Всего-то, может, недельки с две и жить здесь осталось.

Последняя фраза произвела на девушку неожиданное действие. Она припала к отцу своей головкой и горько заплакала.

— Ты это о чем, глупая? — упавшим голосом спрашивал Егор Иваныч, гладя русую головку. — К весне вернемся... Ну, о чем?

— Так, тятя...

Этот прилив дочерней нежности сразу вышиб Егора Иваныча из делового настроения, и он умоляющими глазами посмотрел на мать Анфусу.

— Аннушка, ступай к себе, — строго проговорила старуха. — Нечего тебе здесь делать...

Девушка горячо обняла отца и с глухими рыданиями выбежала из комнаты. Егор Иваныч поднялся, сделал несколько шагов и, пошатываясь, остановился у окна. По его лицу градом катились слезы. Капитон все время сидел, опустив голову, и разглядел Аннушку только тогда, когда она пробежала мимо него. Перед ним мелькнуло это заплаканное девичье лицо, как чудный молодой сон. Теперь Капитон смотрел с удивлением на всхлипывавшего Егора Иваныча и ничего не мог понять.

— Будет тебе блажить, Егор Иваныч, — ворчала мать Анфуса. — Слава богу, не маленький... И девку разжалобил и сам нюни распустил.

В комнате наступила неловкая пауза. Слышно было только, как вздыхал Егор Иваныч, сдерживая душившие его рыдания.

— Ведь одна она у меня... — шептал он, не поворачиваясь от окна. — Как синь порох в глазу... Еще кто знает, приведет бог свидеться либо нет... Все под богом ходим. Ну, Капитон, едем домой!

Всю дорогу Капитон молчал и только изредка встряхивал головой, точно хотел выгнать какую-то неотвязную мысль. Уже подъезжая к городу, он проговорил:

— А ведь я не знал, што у тебя есть дочь, Егор Иваныч...

— А для чего бы я жить-то стал? Для нее и в тайгу еду... Может, бог и пошлет ей счастье...

После некоторой паузы Капитон заметил:

— А зачем квасишь девку в скиту?..

Егор Иваныч посмотрел на Капитона и к удивлению заметил на его лице то упрямое выражение, когда он говорил: «Не хочу». Мудреный был человек Капитон.

V

Первый снежок послужил сигналом к отъезду, Егор Иваныч в последний раз приехал в скит на Увеке. Прощание с Аннушкой было самое трогательное. Старик уже не стыдился собственных слез.

— Смотри, Анна, ежели я помру в тайге, вот тебе вторая мать, — повторил Егор Иваныч несколько раз, указывая на честнýю мать Анфусу. — Слушайся ее, как меня... Она худу не научит.

— Тятенька, я тогда пострижение приму... — отвечала Аннушка, заливаясь слезами. — Нечего мне в мире делать.

Потом девушка была выслана, и старики занялись серьезным разговором.

— Рассчитал тебя Лаврентий Тарасыч? — спрашивала старуха.

— Как же, рассчитал... Прислал сто рублей.

— Это за сорок-то лет службы? Ведь ты без жалованья у него служил...

— И за это спасибо. Ну, да бог с ним... Вот Капитону прислал целых три тысячи, чтобы, значит, чувствовал. Такой уж особенный человек...

— Уж через число особенный-то...

Честнáя мать была как-то особенно задумчива и после деловых разговоров сообщила томившую ее заботу:

— Пали из Москвы слухи, Егор Иваныч, што позорят нашу обитель никонианы. Строгости везде пошли. Головушка с плеч — вот какая забота прикачнулась.

— Никто как бог, честнàя мать...

Когда Егор Иваныч зашел проститься к Густомесову, Агния Ефимовна встретила его с опухшими от слез глазами.

— О чем это ты разгоревалась так, матушка? — удивился Егор Иваныч, здороваясь.

— А уж мое дело... Тебя просить не буду, штоб пожалел, — отрезала Агния Ефимовна. — Ступай к слепому черту.

Сам Густомесов тоже держал себя как-то странно и все говорил о Капитоне.

— Вот как он мне поглянулся, Егор Иваныч, твой-то Капитон. Помру, пусть Агнюшка замуж за него идет... Деньги-то ведь все я ей оставлю. Пусть повеселятся да меня вспоминают... Хе-хе!.. У молодых-то мысли в голове, как лягушки скачут.

— Не ладно ты говоришь, Яков Трофимыч... Только напрасно Агнию Ефимовну обижаешь.

— Я? Обижаю?.. Да ведь она меня любит, моя голубушка, а любя, все терпят... Она меня любит, Агнюшка, а я Капитона люблю. Хе-хе...

Егор Иваныч с тяжелым чувством оставлял густомесовский флигелек. Нехорошие слова говорил Яков Трофимыч и совсем не к лицу. Провожая его, Агния Ефимовна шепнула:

— Скажи поклончик Капитону Титычу... скажи, что буду богу за него молиться.

— Ах, Агния Ефимовна, Агния Ефимовна... Себя-то пожалей, а об Капитоне позабудь: ветер в поле, то и Капитон для тебя.

Агния Ефимовна только улыбнулась сквозь слезы. Тоже, выискался советчик: себя пожалей...

Долго простояла Агния Ефимовна в дверях сеней, похолодела вся, а уходить не хотела. Вот и Егор Иваныч скрылся давно, и снежок падает, мягкий такой да белый, а она все стояла, стояла и стыла от щемившей ее тоски. Господи, хоть бы умереть... Ведь другие умирают же, а она должна жить. Закроет глаза Агния Ефимовна и видит Капитона, руками к нему тянется, какие-то ласковые слова говорит... И сердце обмирает, и голова кружится, и страшно делается... А там, из

горницы, доносится старческое ворчанье: «Агнюша, где ты? Агнюша!..» Агния Ефимовна знала вперед, что теперь начнутся умоляющие ноты, потом слезливые, потом угрожающие. «Агнюша, голубушка... маточка... ах, Агнюша!»

Она вернулась в горницу вся холодная, продрогшая. Старик схватил ее за руку и сейчас же ощупал лицо.

— Ты плакала? Об нем плакала? О, змея подколодная!..

Он захрипел от бессильного гнева, а она вся дрожала, чувствуя, как эта мертвая рука опять тянется к ее лицу.

— Убить тебя мало... задушить... изрезать на мелкие части... растерзать!..

Она молчала и только закусила губы, когда старик начал ломать ее тонкую руку. Потом этот порыв ярости сменился нежностью, что еще было хуже.

— Агнюша, миленькая... голубка... Ведь ты любишь меня? Потерпи еще малое время: скоро я помру... пожалей старика... ну, любишь? Агнюшка, маточка... слезка моя... Умру, все тебе оставлю. Поминай старика...

Она молчала.

Старик оттолкнул ее и дико захохотал.

— Прочь от меня, дьявол!.. Ха-ха... Ты о нем думаешь, о Капитоне... Вся ты одна ложь и скверна! И думай, а Капитон на другой женится... Другую будет ласкать-миловать. Ха-ха... Завидно тебе, маточка, ох, как завидно, а ничего не поделаешь. Здоровый он Капитон-то, молодой, кровь с молоком, глаза, как у ясного сокола, и все другой достанется... Другая-то и будет заглядывать в соколиные глаза, другая будет разглаживать русые кудри... Другая порадуется за тебя, Агнюшка, а ты вот со мной горе горевать будешь.

Ответом были глухие рыдания.

— Агнюша, где ты?.. Агнюша, подойди ко мне... Агнюша, не убивайся: скоро я помру, маточка.

Слепой поднялся и, протянув руки вперед, пошел на глухие всхлипывания. И вот опять тянутся к ней эти холодные руки, опять они ощупывают ее лицо, а

она сидит и не может шевельнуться. Яков Трофимыч присел на лавку рядом с ней, обнял и припал своей лысой головой к ее груди. Эти ласки были тяжелее вечной брани, покоров и ворчанья. Она вырвалась. Сейчас ее сквернили эти руки.

— Нет, не надо... Убей меня лучше, — глухо шептала она. — Ничего я не знаю... ничего мне не нужно... Тошно, тошно, тошно!..

— Агнюша, маточка...

— Не подходи ко мне! Я... я... я ненавижу тебя... я сама тебя убью... отравлю... изведу...

— Агнюшка! миленькая...

И эта пытка продолжалась целых десять лет, бесконечных десять лет...

Густомесов выбился в люди из приказчиков одного богатого сальника. Молва гласила, что он ограбил хозяина, когда тот умирал в степи. Это было началом. А затем Густомесов развернулся уже самостоятельно. Он повел широкое дело со степью, скупая сало, кожи и целые гурты курдючных баранов. Неправедные денежки вернулись сторицей, и Густомесов уже немолодым задумал жениться. Для этой цели он нарочно отправился в поволжские скиты и там высмотрел себе сиротку-девушку, тоненькую, бледненькую, но писаную красавицу. Ей едва минуло шестнадцать, а ему было уже за тридцать. Вывезя молодую жену на Урал и поселившись с ней в Сосногорске, Густомесов от сального дела оставил один салотопенный завод, а поездки в степь бросил. У него был уже свой кругленький капитал, и он пустил его в оборот другим путем. В описываемое нами время в Сосногорске не было ни банков, ни ссудных касс, и Густомесов начал давать деньги «под проценты». Нуждающихся всегда довольно, особенно в торговом мире, и эта операция дала Густомесову гораздо больше, чем даже темное дело со степью, когда он покупал сало и баранов на фальшивые ассигнации. В каких-нибудь пять лет капитал утроился, но именно в этот момент он ослеп и должен был по возможности ликвидировать все дела и жить на проценты. Последнее было нетрудно сделать, но несчастье заставило

изменить весь образ жизни, и Густомесов переехал с молодой женой в скиты на Увеке.

Всегда подозрительный, здесь он превратился в деспота. Проведя всю молодость в поволжских скитах, Агния Ефимовна опять очутилась за монастырской стеной, но на этот раз со слепым мужем. Она отлично понимала, что это скитское сиденье было устроено специально только для нее, чтобы предохранить от какого-нибудь вольного или невольного бабьего греха. И она томилась в скитской неволе год за годом, не видя впереди ничего, кроме того же черничества. До известной степени ее спасала только полученная у раскольничьих мастериц строгая выдержка и привычка покоряться. Но и у этой заживо погребенной за скитской стеной женщины по временам являлась смутная и тяжелая тоска по неиспытанной воле, какой-то большой призрак неосуществимой надежды... Ведь вот тут, сейчас за скитской калиткой уже начиналась жизнь, живые люди любили и ненавидели, радовались и плакали; для них была и весна, и лето, и зеленая мурава, и все то, чем вольная жизнь красна.

VI

С отъездом Егора Иваныча и Капитона Титыча в Сибирь в скиту на Увеке потянулись особенно скучные дни. Вообще скитская жизнь не отличалась весельем, а тут уж совсем было тошно. Агния Ефимовна ходила как в воду опущенная. Она теперь придумала новую манеру держать себя с мужем: сядет куда-нибудь в уголок и молчит хоть докуда.

— Агния... — взывал слепой, протягивая руки. — Агнюшка... ангелочек...

Единственным ответом служила гробовая тишина. Слепой начинал волноваться и напрасно старался сдерживать себя. Он вставал и начинал обшаривать свою келью, как тень. Агния Ефимовна не шевелилась и только следила за своим мучителем полными ненависти глазами. Она не шевелилась и тогда, когда эти холодные, дрожавшие руки находили ее, схватывали за плечи и тянули к себе.

— Агнюшка, касаточка, отзовись... Вымолви словечушко!

Молчание.

Яков Трофимыч вдруг закипал бешенством и накидывался на жену, как зверь. Она чувствовала, как эти холодные руки впивались в ее шею и начинали ее душить. Раза два она вырывалась из этих рук вся растерзанная и прибегала к матери Анфусе в самом ужасном виде: волосы распущены, платье разорвано, на шее следы душивших пальцев.

— Милушка, полно вам грешить... — уговаривала честна̀я игуменья, качая седой головой. — Статошное ли это дело, штобы в обители такое мирское смятение?

— Ох, тошнехонько, матушка! — плакалась Агния. — Не пойду я к своему мучителю, — и все тут. В обители ведь мы живем, а он неподобного требует. Как-то цельную ночь в сенках простояла, а он цельную ночь искал меня... Видеть его не могу, матушка. Вот как тошно... В пору руки на себя наложить.

— Ах, милушка, какие ты слова говоришь!.. — журила игуменья. — Бог терпеть велел, а ты вот что говоришь-то...

— Было бы для кого терпеть, матушка. Извел он меня, всю душеньку вынул...

Густомесов был для обители находкой, как милостивец и кормилец, и, кроме того, он обещал после смерти оставить скиту половину своего состояния; поэтому честна̀я мать Анфуса употребляла все усилия, чтобы уговорить Агнию и вообще помирить мужа с женой. Было старухе своих скитских дел по горло, а тут еще приходилось идти к Якову Трофимычу и уговаривать его.

— Вот што, милостивец, — говорила игуменья Густомесову, — оставь ты Агнию, не тревожь... Раздоры-то ваши всю обитель смущают. Неподобного требуешь... Забыл, что в обители живешь.

— Задушу я ее, змею! — кричал слепой муж. — Своими руками задушу и отвечать никому не буду...

— Перестань грешить, Яков Трофимыч...

— Я знаю, о ком она думает... Молчит, а сама все о нем думает, о Капитошке. Я-то ведь знаю, все знаю... Извела она меня своим молчаньем.

— А ты стерпи... Успокоится баба, ну, и пойдет все по-старому. Тебя и то бог убил, а ты мирские мысли все думаешь. Будет, погрешил, когда на миру жил... И мне не подобает слушать твои пакостные речи, не для этого обитель ставилась.

Эти строгие внушения сразу смиряли бушевавшего слепца. Он садился к столу, закрывал лицо руками и начинал плакать.

— Грехи надо замаливать, а не о жене думать,— наставительно говорила игуменья.

— Ох, знаю, честна̀я мать... Без тебя знаю!.. Только вот силы не хватает на смирение... Чувствую я, што она тут, Агния, ну и того... Красивая она, молодая, а я грешный человек...

— Тьфу!.. Слушать-то тебя муторно... Ужо вот на поклоны поставлю, тогда узнаешь, как такие слова говорить. Какой на мне чин-то, греховодник?

— Да ведь жена она мне, значит вся моя, и греха тут нет...

— Тогда выезжай из обители... Все тут разговоры с тобой.

Честна̀я мать знала, что Яков Трофимыч не выедет из скита,— где же он найдет такой крепкий досмотр за женой?— и пускала это средство, как самое решительное. Затем ей опять приходилось уговаривать Агнию и вести ее к мужу.

— Ты у меня смотри...— грозила смиренному слепцу старуха.— Чуть што, так я и лестовкой тебя поначалю. Найдем управу... Агния, а ты слушайся мужа. Что бог дал, тем и владай...

Агния молчала, зная, что все пойдет по-старому. Сначала муж будет приставать с жалобными словами, а потом рассвирепеет. Она предпочитала последнее: пусть лучше убьет разом...

Какие ужасные ночи она проводила в своем заточении... и все думала о нем, о Капитоне Титыче. Пробовала отмаливать это наваждение, но и молитва не спасала — не было в ней настоящей молитвы. «Приво-

рожил он меня, присушил», — с тоской думала Агния и приходила в ужас от собственного бессилия. Ничего не могла она с собою сделать и опять начинала думать о сердитых и ласковых глазах Капитона Титыча.

Только и было отдыху Агнии Ефимовне, когда слепой муж укладывался после обеда спать. Хоть один час покойно проспит... К этому времени обыкновенно приходила Аннушка, — она тоже едва урывалась от своей скитской работы. Присядут молодые женщины куда-нибудь на крылечко и разговаривают свои разговоры. Стояло уж лето, дни были жаркие — так и томит жаром.

— Купаться просилась у матери, — жаловалась Аннушка, — озеро-то тут и есть, только под гору сбежать... Не пустила. Говорит, угодники-то по пятидесяти годов не обнажали себя, а ты выдумала, озорница, плоть свою тешить.

— Им все нельзя, старухам... — вздыхала Агния. — Чужой век изживают. Я-то привязана к мужу, как цепной пес, а ты-то с чего изводишься в скиту? Кабы я была на твоем месте, так...

— А тятенька?..

Агния только улыбалась. Что такое тятенька? Он тоже старик, а молодым когда был, так по-молодому и думал. Девица — вольный человек, пока не запоручила свою голову.

Они вместе гуляли по скитскому двору, когда надоедало торчать на крылечке. Любимым местом Агнии была «стенка».

— Аннушка, пойдем на «стенку»?

— А игуменья увидит? Да и Яков Трофимыч тебя хватится...

— Пусть хватается, постылый... Час — да мой!

«Стенка» была у самых ворот. Скитские сестры, прежде чем отворить крышку, выглядывали сверху из-за тына, причем подставлялась деревянная лесенка. Из-за тына можно было видеть и озеро Увек и громадное селенье. Сестра-вратарь обыкновенно не пускала на «стенку» и сердилась, но Агния умела ее уластить. Аннушка только дивилась, откуда у Агнии такие слова берутся.

— Ох, снимете вы с меня голову, — ворчала старуха вратарь. — Ужо, того гляди, проснется честна̀я мать...

— Мы только чуточку поглядим, — говорила Агния. — Ведь мы не скитские сестры, а мирские... Нечего с нас взять.

Агния и Аннушка вместе взбирались на лесенку и любовались «миром». Боже, как там хорошо!.. И сколько там вольного народа живет! И всем-то весело, всем хорошо! Бледное лицо Агнии покрывалось тонким румянцем, и Аннушка каждый раз любовалась ею: писаная красавица эта Агнюшка!

— Вот взять соскочить с тыну, — только и видели... — говорила Агния, заглядывая через тын. — И ушла бы, кабы не своя неволя... Ты думаешь, меня Яков Трофимыч связал?..

У Агнии глаза начинали блестеть, грудь поднималась высоко — вся она была огонь и движение. Странно, что Аннушка каждый раз чувствовала себя как-то неприятно и точно начинала ее бояться. Что было на уме у Агнии? Чему она смеется?.. Агния в эти минуты действительно ненавидела Аннушку, глухо и нехорошо ненавидела. Ей даже хотелось столкнуть ее с тына. Раз Агния, глядя на Увек, проговорила задумчиво:

— Знаешь, Аннушка, я тебе расскажу твою судьбу...

— Не надо, Агния. Я не люблю... Это грешно... судьбу угадывать.

— А я все-таки скажу... Я все знаю, что будет. Ты вот сидишь в скиту, как птица в клетке, а суженый-ряженый ходит ветром в поле. Далеко залетел ясный сокол, а думки-то все в скиту. Сколько ни побродит он по горам да по болотам, а сюда вернется, и сейчас к красной девице. Я сон такой видела... Богатство они найдут... много золота... Уехали бедные, приедут богатые. Не чает души в своей дочери Егор Иваныч, а ничего не поделаешь: придется расстаться.

— Будет, Агния... — умоляла Аннушка. — Нехорошо.

— Нет, ты слушай сон-то... Вернется ясный сокол, разобьет клетку и увезет птичку на вольную волюшку... Миловать ее будет, целовать, обнимать...

Говоря последние слова, Агния все больше и больше наклонялась к Аннушке, к самому лицу, так что та чувствовала ее горячее дыхание. А какие были глаза у Агнии в эту минуту — так и смотрят прямо в душу! Аннушка вся дрожала, не смея шевельнуться.

— И она его тоже ждет... — уже шепотом говорила Агния. — Лестно такого сокола приголубить. Другие-то бабы завидовать будут... И у ней свои слова найдутся. Сейчас-то ничего не понимает, а тогда вся заговорит... А дальше...

Агния откинулась, точно проснулась от тяжелого сна. Лицо было такое бледное, глаза потемнели, на губах судорожная улыбка... Аннушка замерла от страха.

— Агния, будет...

— Х-ха, испугалась, смиренница!.. Хочешь, я вот сейчас со стены прыгну?.. Не бойся, никуда не прыгну...

В свою келью Агния возвращалась точно пьяная и даже шаталась на ходу. Аннушке сделалось жаль ее.

— Зачем ты так себя расстраиваешь, Агния?

Агния посмотрела на нее безумными глазами и захохотала.

— Уходи от меня, — шептала она. — Ты ничего не должна знать, что будет дальше... Уходи!

VII

Целый год об Егоре Иваныче не было ни слуху ни духу, — точно все в воду канули. Раз только была засылка к матери Анфусе от честно̀го старца Мисаила через прохожего странного человека, пробиравшегося по раскольничьим делам в мать-Расею.

— Наказал больно тебе кланяться, мать Анфуса, — повторял странник в десятый раз.

— Ну, еще-то што?

— А еще наказывал, штобы вы не беспокоились и што все идет правильно.

— Да ты говори толком: где Егор-то Иваныч? Он у нас ни в живых ни в мертвых...

— Вся партия в тайгу ушла еще с зимы; ну, а летом оттуда ходу нет ни конному, ни пешему. Не близкое место: сотен на шесть верст от ближнего жилья. Тунгусишки сказывали, што быдто видели партию и соследили ее по зарубкам в лесу...

Так и было неизвестно ничего, пока на Увек в скит не приехал сам Лаврентий Тарасыч Мелкозеров. Гордый был человек и редко посещал обитель, а тут приехал и прямо к игуменье.

— Каково, честнàя мать, поживаешь?..

— Живем, Лаврентий Тарасыч, пока бог грехам терпит...

Стара была мать Анфуса, а все-таки догадалась, что неспроста наехал толстосум. Поговорит-поговорит и замолчит, точно ждет чего. Так и не могли разговориться по-настоящему. Уходя, Мелкозеров спохватился:

— Мать честнàя, у тебя живет Яков-то Трофимыч?

— Ох, у меня, милостивец...

— Давно я собираюсь его проведать, да все некогда... А прежде-то дружками были. Ну, как он у тебя?

— Да все так же... Ты бы зашел к нему, Лаврентий Тарасыч. Убогого человека навестить подобает...

— Некогда мне, честнàя мать. Дела у меня: помереть некогда. Вот до тебя еле удосужился...

— А ты послушай старуху, не погордись, сходи...

Мелкозеров поломался для прилику, а потом согласился.

— Уж только для тебя, честнàя мать, а то дыхануть некогда.

Хитер был Лаврентий Тарасыч, а перехитрить честнỳю мать не сумел. Поняла она, зачем он приехал; дошли какие-нибудь слухи из тайги, — не иначе. То-то Яков Трофимыч вдруг понадобился. Провожать старика игуменья послала Аннушку и шепнула, чтобы та осталась на всякий случай у Агнии и послушала, о чем будут толковать старики.

Со слепцом Мелкозеров повел ту же политику и долго ходил кругом да около, а уж потом проговорил:

— Плакали твои-то денежки, Яков Трофимыч...

— Какие денежки?

— А которые отправил в тайгу закапывать. Егор-то Иваныч на старости лет немного из ума выступил, а Капитошка и всегда прямым дураком был... Не положил, видно, не ищи. Жаль мне тебя, ну и завернул... Дело-то твое такое, што обошли они тебя кругом.

— Ты это откуда вызнал-то про тайгу?

— А верный человек навернулся и все порассказал, как и што. И деньги закопали и сами не знают, как живыми выворотиться. Такое дело выходит, Яков Трофимыч, и весьма я пожалел твою слепоту. Тридцать тысяч выдал им?

— Ох, тридцать, родимый мой!.. Ох, зарезали, Лаврентий Тарасыч!.. Что же я-то теперь буду делать? Головушку с плеч сняли...

— Попытался на легкое богатство, вот и казнись. Жалеючи говорю...

— Да ведь я-то не дал бы, кабы не жена. Она меня обошла...

— А не живи вперед бабьим умом!.. Меня бы спросил... Уж так мне тебя жаль, Яков Трофимыч, потому где тебе, слепому, взять такие деньги...

Дальше старики заговорили шепотом. Агния слышала первую половину разговора и стрелой понеслась к матери Анфусе. Сама она не посмела вмешаться в дело: не маленький был человек Лаврентий Тарасыч, и перечить ему было страшно, да и характером крут.

— Ох, матушка, што-то не ладно они разговаривают, — жаловалась Агния игуменье. — Кругом пальца обернет Лаврентий-то Тарасыч моего слепыша... Неспроста приехал. Пошла бы ты к ним, помешала...

— И то пойду, Агнюшка. Я уже сама догадалась, што неспроста дела приехал Лаврентий-то Тарасыч и мелким бесом передо мной рассыпался...

Пока честная мать одевалась да собиралась, Мелкозерова и след простыл. Когда мать Анфуса прошла в густомесовский флигелек, Яков Трофимыч сидел и на ощупь считал какие-то деньги. Заслышав шаги, он спрятал целую пачку за спину.

— Денег бог послал? — спросила мать Анфуса.

— Доброго человека послал бог, а не деньги. Обманули вы меня все: и твой старец Мисаил, и Егор Иваныч, и милая женушка. Вот один Лаврентий Тарасыч пожалел... Говорит: давай грех пополам. Вот он какой... Я-то, говорит, наживу, потому зрячий, а тебе где взять, слепому.

— За што же он тебе столько денег дал?

— А пожалел... Ему плевать пятнадцать-то тысяч. На, говорит, поправляйся, а буде что будет, — барыши пополам. Какие там барыши, когда цельный год ни слуху ни духу...

— Надул он тебя, Лаврентий-то Тарасыч! — вступилась Агния. — Станет он тебе даром деньги давать...

— Молчать! — закричал Яков Трофимыч. — Не твоего бабьего ума дело... Все вы меня обманываете...

— Да ты никак рехнулся! — обиделась мать Анфуса. — Какие слова-то говоришь?

— А вот такие... Будет вам меня за нос водить. Это все милая женушка устроила для милого дружка Капитона Титыча. Ему на голодные-то зубы как раз мои деньги пригодились. Лаврентий-то Тарасыч прямо говорит: «За Капитошкино озорство тебе плачу, потому, как ни на есть, а племянником меня бог наказал. С Егором Иванычем сам считайся, а за Капитошку я все помирю».

— Обошел он тебя кругом, и разговаривать я с тобой не хочу, — окончательно рассердилась мать Анфуса и ушла, хлопнув дверью.

— Не поглянулось... а? Ха-ха... — смеялся слепец, вытаскивая деньги из-за спины. — Сладок вам Капитошка пришелся... А с тобой, змея, у меня свой разговор будет. Подойди-ка сюды, жар-птица...

— Не подойду! Лучше в озеро брошусь... А ты дурак!.. Я тебя и знать больше не хочу...

— Молчать! — заревел слепой, трясясь от бешенства. — Убить тебя мало... На мои деньги хотели разлакомиться, да не выгорело... А Егор-то Иваныч на старости лет каким себя дураком оказал?.. И его вы обошли.

Целый день во флигельке стоял содом, а потом Агния вырвалась и убежала к матери Анфусе, но ее

туда не пустили: там сидели Рябинины и Огибенины, приехавшие тоже проведать Густомесова. Они столкнулись случайно и смотрели друг на друга волками, так что насмешили мать Анфусу.

— Экая жалость на вас сегодня напала... — говорила Анфуса. — Ума не приложу. Даве утром пригонял Лаврентий Тарасыч и наперед вас пожалел Якова Трофимовича. Опоздали вы, видно, маленько... Да и меня напрасно морочите. Говорите уж прямо, с чем приехали...

Долго отнекивались сосногорские толстосумы, а потом повинились начистоту, чтобы вывести Лаврентия Тарасыча на свежую воду. Да, Егор Иваныч нашел в тайге несметное золото и скоро будет сюда, как только реки встанут. Сказывают, что такого богатства еще и не видано и не слыхано.

Весть о найденном богатстве разнеслась перекатной волной, и в Сосногорске только и говорили, что о таежном золоте. Попрежнему не верил этим слухам один Яков Трофимыч и каждый день пересчитывал полученные с Мелкозерова деньги, ругая жену на чем свет стоит.

Егор Иваныч приехал только под рождество, вместе с Капитоном Титычем. Он приехал прямо на Увек под вечер, когда в обитель посторонних уже не пускали. Вышла сама мать Анфуса, чтобы впустить желанных гостей, и не узнала их: загорели, заветрели, похудели.

— Зайдите ко мне опнуться малым делом, — пригласила их мать Анфуса.

Степенный был человек Егор Иваныч и не сразу распоясался, да и рад был видеть дочь. Даже прослезился старик, обнимая свою ненаглядную Аннушку.

— Ну, устроил я тебе хорошее приданое, доченька, — шепнул он. — Не для себя старался и всяческую муку принимал... За ваши скитские молитвы господь счастки послал.

Мать Анфуса выставила закуску для дорогих гостей и даже сама налила им по рюмке своедельной настойки от сорока недугов.

— Не томите, отцы, говорите... — молила она.

Капитон Титыч молчал, изредка взглядывая на Аннушку, а Егор Иваныч разгладил свою бородку и проговорил:

— Перво-наперво скажу я тебе, мать честнàя, што привез я из тайги своей любезной дочери подарочек... Не век ей в девках вековать. Люб тебе, Аннушка, Капитон Титыч? Ну, да это не твоего ума дело... Девушкам и не след знать, какого жениха отец выберет. А второе дело, честнàя мать Анфуса, за твои молитвы сиротские напали мы под самый успеньев день на богатимое золото, о каком еще и не слыхивали... Потом все расскажу, а сейчас пойду Якова Трофимыча обрадую.

Появление Егора Иваныча с известием об открытом богатстве было для Якова Трофимыча ударом грома. Он даже весь затрясся и едва мог рассказать про то, как его пожалел Лаврентий Тарасыч.

— А ты ему верни деньги, — и вся недолга, — советовал Егор Иваныч.

— Не могу, родной: клятву он с меня взял. Ведь без бумаги дело делалось, а на слово...

Впрочем, слепец скоро утешился, когда узнал о женихе Аннушки. Он сразу повеселел и, потирая руки, говорил:

— Вот, Агнюшка, радость-то тебе великая... Ведь ты души не чаешь в Аннушке...

VIII

Открытие сибирского золота в течение всей зимы волновало Сосногорск. Молва увеличивала с каждым днем нажитые Егором Иванычем сокровища, хотя все и знали хорошо, что он и Капитон только «в паю», а львиная часть предприятия досталась слепому Густомесову и Лаврентию Тарасычу Мелкозерову. Толпа всегда жаждет чего-нибудь необыкновенного, таинственного и сверхъестественного, а что же тут особенного, если к густомесовским и мелкозеровским деньгам прибавятся новые деньги. Другое дело — Егор Иваныч, уважаемый всеми старик, который сразу попал в мил-

лионеры... Это с одной стороны, а с другой — потихоньку от всех составлялись новые партии, чтобы по проторенной дорожке двинуться в тайгу. Во главе одной такой партии стояли Огибенины, во главе другой — Рябинины.

— Тайга велика, всем места хватит, — спокойно говорил Егор Иваныч, когда ему рассказывали о замыслах будущих соперников. — Только ведь все на счастливого... Если бы не Капитон у меня, так и я приехал бы с пустыми руками. Удачлив он...

Все помыслы Егора Иваныча теперь были сосредоточены на свадьбе дочери, с которой он ужасно торопился. Да и как было не торопиться: скоро нужно было опять уезжать надолго в тайгу, и еще неизвестно, вернется домой живой или нет. Егора Иваныча начинала давить собственная старость, и он боялся, что любимая дочь Аннушка останется непристроенной. Капитона он знал с детства и знал все его недостатки, но все-таки это был хороший и добрый человек. Конечно, характер у Капитона вспыльчивый и гордый, но только не нужно его раздражать, и добрая, умная жена будет с ним счастлива. Много бессонных ночей провел в тайге Егор Иваныч, обдумывая будущее своей ненаглядной дочери Аннушки, и ничего лучше не мог придумать.

Сама Аннушка как-то плохо понимала, что делается кругом нее. Все случилось так быстро и так неожиданно. Когда девушка оставалась одна, ей делалось страшно без всякой причины. Она боялась, сама не зная чего... Просто страшно, и все тут. Ведь один раз выйти замуж, и назад ничего не воротишь. Капитон ей нравился, и в то же время она боялась его. Впрочем, он так редко бывал в скиту, так что и познакомиться поближе с ним было некогда. Свадьба выходила по старинке, по родительскому наказу. Егор Иваныч замечал, что Аннушка как будто не весела, и сам начинал хмуриться. Раз он даже обратился к Агнии Ефимовне с просьбой:

— Вы ее разговорите, Аннушку... Конечно, девичье дело, всего боится, а отцу и сказать ей не подходит. Вы уж ей объясните...

— Пустяки, все пройдет, — успокаивала старика Агния Ефимовна, улыбаясь и глядя прямо в глаза. — Сокол, а не жених...

Агния Ефимовна вообще приняла самое деятельное участие в готовившейся свадьбе, и под ее руководством справлялось все богатое приданое. Егор Иваныч развернулся и ничего не пожалел для милой дочки. О таком приданом в Сосногорске еще и не слыхивали. Часть приданого готовилась в скиту, а другая в городе. Всего по старинному счету выходило сундуков тридцать, и Аннушка приходила в ужас, что все это она должна износить. Ведь нужно было прожить лет сто для этого... Потом ей было просто совестно: все другие девушки завидовали ей, а между тем она совсем не желала богатства. Кому это нужно? Чтобы люди говорили и завидовали богатой невесте... Аннушке казалось, что она делает что-то нехорошее и со временем должна будет дорого заплатить вот за эту чужую зависть. Вообще ей было не весело, и она относилась совершенно хладнокровно к хлопотам Агнии Ефимовны.

Потом Аннушка все больше и больше начинала бояться Агнии Ефимовны, особенно когда она так пристально смотрела на нее своими темными глазами, смотрела и улыбалась. И чем ласковее была Агния Ефимовна, тем страшнее делалось Аннушке. Девушка краснела, опускала глаза и не знала, куда ей деваться.

— Счастливая ты, Аннушка, — певуче говорила Агния Ефимовна. — Все-то тебе завидуют... Вон какого сокола получаешь в мужья. Чужие-то бабы глаза на него проглядят...

Яков Трофимыч совсем не узнавал жены, которая сделалась вдруг ласковой, точно сразу отмякла. С своей стороны он теперь не травил ее Капитоном и даже старался совсем не поминать про него. Раз Агния Ефимовна сама приласкалась к нему, обняла и сказала:

— Покаяться, Яков Трофимыч?

— Покайся, Агнюша...

— Очень мне нравился Капитон-то... И чем больше ты меня ругал, тем больше он мне нравился. Кажется, кожу сняла бы с себя да отдала ему...

— Ну, ну, говори, змея...

— А как он засватал Аннушку...

— Ну, ну?

— Как засватал, так и опостылел...

— Врешь!..

— Как перед богом... Ненавижу я его, Яков Трофимыч. Видеть не могу...

— Завидно?

— И не завидно, а просто ненавижу. Так, обнесло меня тогда, совсем не своя была, а теперь обдумалась... Я так полагаю, что обошел он меня. Неспроста было дело...

— Неспроста, Агнюшка... Верное твое слово: неспроста. А ты бы с мужем посоветовалась... рассказала все, как сейчас... Ведь не чужой муж-то.

— И рассказала бы все, как на духу, кабы не совестно за свою слабость. А теперь я его терпеть ненавижу...

— Не врешь?

— А что мне врать: сама на себя клепать напрасно не буду.

Как ни крепился Яков Трофимыч, а поверил жене, во всем поверил. Велика сила в этой женской слабости... Заговорила, уластила Агния Ефимовна слепого мужа, и сама поверила, что ненавидит Капитона. Да и действительно ненавидела, как умеют ненавидеть одни женщины. Что он ей, мужней жене,— ни к шубе рукав, как говорят старухи. Пусть порадуется с молодой женой, а она сама по себе. Глухая злоба так и разбирала Агнию Ефимовну, и чем тяжелее ей делалось, тем ласковее она улыбалась. Ей нравилось даже, что она такая несчастная и что должна коротать век со слепым мужем. Нравилось ей готовить приданое Аннушке, чужое счастье делало ее еще несчастнее. А, пусть радуются, пусть любят друг друга, пусть веселятся... А она назло всем будет любить свое слепое горе.

Свадьбу задержало только приданое. Егор Иваныч сильно торопил. Ему сейчас после свадьбы нужно было уезжать в тайгу. В этой свадьбе как-то все приняли участие. Густомесов подарил невесте целый сундук всякого добра, расступился и Лаврентий Тарасыч: он отписал племяннику один из своих домов. Одним

словом, все помирились, и дело катилось вперед как по маслу. Свадьбу сыграть решено было в громадном мелкозеровском доме. Пусть все видят, как Лаврентий Тарасыч любит племянника.

Свадьба Капитона была сыграна на славу. Такой еще не видали в Сосногорске. Гостей набралось сотен до двух. Лаврентий Тарасыч разошелся и, похаживая по горницам, приговаривал:

— Пей, ешь, веселись в мою голову... Ничего не жаль для дражайшего племянничка.

В числе почетных гостей первое место отведено было слепому Густомесову. Долго его уговаривали выехать из скита и кое-как уломали. Да и не поехал бы он, если бы не Агния Ефимовна, которая тоже уперлась и ни за что не хотела ехать на свадьбу. Именно это и заставило Густомесова согласиться... Пусть милая женушка казнится, как мил-сердечный друг с другой пойдет под венец. У слепого всплыло желание показнить жену. Агния Ефимовна даже заплакала, когда пришлось ехать из скита. Но в гостях она сразу очувствовалась, приняла гордый вид, и все невольно ею любовались. Красива была Агния Ефимовна в старинном парчовом сарафане и в расшитой жемчугами старинной «сороке». Сидит с мужем, рядом с невестой, и так спокойно на всех поглядывает. Дрогнула Агния Ефимовна только в момент, когда отправляла невесту к венцу.

— Будь счастлива, Аннушка, — шепнула она, целуя невесту.

Аннушка посмотрела на нее и удивилась: у Агнии Ефимовны глаза были полны слез. Ей сделалось жаль несчастной женщины.

Венчали в старой раскольничьей моленной, куда Агния Ефимовна ездила провожать невесту. С молодыми она вернулась спокойная и веселая, точно сняла с души какую-то тяжесть. А дальше Агния Ефимовна и совсем развернулась. Речистая была баба, схватчивая на словах, и сам Лаврентий Тарасыч похлопал ее по плечу.

— Хороша бабочка, нечего сказать: в зубах слово не завязнет.

Разошлась Агния Ефимовна на чужом пиру, расшутилась и даже в пляс пошла. Все любовались красавицей и только дивились, откуда у нее веселье берется. Капитон смотрел на Агнию Ефимовну и хмурил брови, точно припоминал какой дурной сон.

— Поцелуй жену... — приставала Агния Ефимовна к нему. — Анна Егоровна, ну-ка, как ты любишь молодого мужа?

Эти приставанья сильно смущали молодую, и она не знала, куда девать глаза.

— Посмотрите, как любят мужей, — не унималась Агния Ефимовна и при всех целовала своего слепца. — Вот как и еще вот так...

Все видели, как веселилась Агния Ефимовна, и никто не знал, что делается у нее на душе.

Свадьба продолжалась целых две недели. Расходившийся Лаврентий Тарасыч вечером запирал ворота на замок и никого не выпускал, а с утра начиналась та же музыка. Все, что было богатого в Сосногорске и в ближайших городах, беспросыпно кутило в мелкозеровских палатах целых две недели, позабыв счет дням, позабыв всякие дела и домашние работы. Пьяные гости били посуду, ломали мебель, рвали на себе платье и вообще безобразничали. Трудно сказать, до чего дошло б это дикое веселье, если бы в одно прекрасное утро не нашли одного гостя мертвым: бедняга «сгорел» от вина. Все разом кончилось, и всех гостей вымело точно ветром, и даже сам Лаврентий Тарасыч сбежал на заводы, оставив мертвое тело в своих палатах на произвол судьбы, то есть Егору Иванычу, которому уже от себя пришлось считаться с исправником, заседателем, полицмейстером и разной чиновной мелочью.

IX

Сейчас после свадьбы, наскоро похоронив сгоревшего от вина усердного гостя, Егор Иваныч уехал в тайгу. Молодые остались в городе до осени и переехали в собственный дом, где продолжалось то же веселье. На радостях Капитон закутил, и гости не

выходили из дому. Свадебное веселье затянулось на все лето.

Густомесов вернулся в скит на Увек, и свой флигелек теперь показался Агнии Ефимовне живой могилой. Но она ничем не выдавала себя и по наружному виду казалась даже веселой.

— Так, Агнюшка, так... — похваливал жену Яков Трофимыч. — Чего нам с тобой печалиться? Слава богу, все есть, а там еще Егор Иваныч в тайге добудет... А много ли нам с тобой двоим надо? Умру, все на тебя запишу...

Мысль о смерти всегда вызывала неприятные разговоры. Агния Ефимовна знала это вперед и мучилась каждый раз вдвойне.

— Помру я, откажу тебе, Агнюшка, все свое добро, а ты...

— Пошел молоть! Прежде смерти никто не помирает, и меня переживешь еще десять раз.

— Нет, я чувствую, што я скоро помру, Агнюшка... Ну, пожил, ну, всего отведал — туда и дорога, а вот тебя мне, миленькая, жаль. Останешься ты одна, да еще при собственном капитале, окружат тебя бабы-шептуньи, — ну, и взыграют мои кровные денежки... Подсыплется какой ни на есть статуй, а ваша женская часть слаба. Будете на мои денежки радоваться да надо мной, покойничком, посмеиваться. Все знаю, голубушка... А денежки проживете, он, статуй-то, и бросит тебя. И будешь ты опять голенькая, какой я тебя замуж брал: ни вперед, ни назад.

— Я в скиту останусь, Яков Трофимыч.

— Врешь!.. Не верю... Все врешь!

В последнее время у Якова Трофимыча явилась мысль о «чине ангельском». На эту тему он не раз заводил стороной разговор. Хорошо бы это было обоим постричься зараз. И жили бы вместе на Увеке: он в своей келье, а она с другими старицами.

— Ежели оставишь мне капитал, так я живо игуменьей буду, — говорила Агния Ефимовна, поддакивая мужу. — В скиту деньги-то понужнее, чем на миру...

— Отлично, Агнюшка... Все на тебя отпишу. Было бы за што мои грехи отмаливать... Ох, много грехов!.. Слаб человек, а враг силен...

Раздумавшись об ангельском чине, Агния Ефимовна и сама пришла к заключению, что это единственный выход из ее положения. А там можно и снять с себя монашескую рясу... Только бы от постылого мужа избавиться, чтобы не видеть его и не слышать. Конечно, она могла уйти от мужа, как венчанная по раскольничьему обряду, но эта мысль не приходила к ней в голову. И куда она пойдет? Делать она ничего не умеет, работать отвыкла, а жить по чужим людям не желала, припоминая свое сиротство. А главное, выходила на богатство, столько лет терпела, и вдруг все бросить.

Все эти планы расстроились совершенно неожиданно, и еще более неожиданно Агния Ефимовна очутилась на полной своей воле, как выпущенная из клетки птица.

Дело в том, что в описываемое нами время — начало сороковых годов — над нескверным и тихим иноческим житьем стряслась неожиданная беда: вышел строгий указ «о прекращении скитов». Слухи об этом ходили и раньше, как заросли скиты, но Увек благодаря сильным милостивцам и доброхотам устаивал не в пример другим обителям. А тут даже не успели опомниться, как налетела беда. Вскоре после успеньева дня на Увек приехал исправник и опечатал скит, а сестрам велел убираться на все четыре стороны. Огласилась тихая обитель стенаниями и воплем. Бывали беды и раньше, да сходили с рук, а тут исправник и слышать ничего не хотел, как его ни умоляли повременить хоть недельку.

— Не могу против указа идти, — отвечал исправник. — Не моя воля.

Мало этого, потребовал у стариц паспорты и пригрозил высылкой на места жительства этапным порядком, если не уберутся подобру-поздорову сами. Одним словом, вышел казус... Прежде Густомесов вызволял или Лаврентий Тарасыч, потому как имели они большую силу у разных властидержцев, а тут и они ничего не могли поделать. Очень уж скоро прискочила лихая

напасть... Всех хуже приходилось Густомесову. Он совсем упал духом и решительно не знал, что ему делать и куда деваться. Агния Ефимовна тоже растерялась в первую минуту и даже не обрадовалась желанному освобождению. Ее точно пугала собственная воля.

— Умереть надо — вот что! — повторял в отчаянии слепой старик. — Ну, куда я теперь денусь? Зрячие-то найдут себе место, а я ума не приложу...

А тут и подумать даже некогда: уходи, и конец тому делу. Горькими слезами всплакался несчастный слепец, предчувствуя самое горшее еще впереди. Положим, у него в Сосногорске был свой дом и всякое угодье, а все-таки не в пример тихому скитскому житию.

В один день весь скит опустел, точно умер. С горькими слезами и жалобными причетами оставляли сестры насиженное место. Никто не знал, куда голову приклонить... Не плакала и не жаловалась одна честная мать Анфуса: она не верила, что скит закрыт навсегда.

— Не может этого быть, — спокойно говорила она.

А вышло другое: скит на Увеке закрывался навсегда, как и другие скиты, разбросанные по Уралу там и сям.

Густомесовы переехали на время в свой дом в Сосногорске. Яков Трофимыч и слышать не хотел, чтобы оставаться здесь навсегда, и Агния Ефимовна отмалчивалась. Дом был большой, и одну половину занимали квартиранты. Теперь пришлось квартирантам отказать и занять весь дом. Яков Трофимыч не желал, чтобы вместе жил кто-нибудь посторонний.

— Еще убьют как-нибудь, — жаловался слепой старик. — Известно, какой нынче народ. Знают, что есть у меня кое-какие деньжонки, — ну, и убьют, как пить дадут.

Хлопоты по устройству в своем доме заняли все время Агнии Ефимовны, так что ей некогда было даже думать о том, что будет дальше. Каждый день был переполнен своими собственными заботами. Она была совершенно счастлива своей новой обстановкой. Яков

Трофимыч тоже устраивался по-новому. Двор был превращен в настоящую крепость, и все ворота запирались тяжелыми замками, ключи от которых хранились у хозяина. Главная опасность грозила от ворот на улицу, и здесь были приняты все необходимые предосторожности. Никто не мог войти во двор без ведома хозяина, и он шнурком отворял сам калитку, разузнав предварительно, кто пришел, по какому делу. Затем, он знал в каждый момент, где жена, что она делает и что делают другие. В своем собственном доме Яков Трофимыч являлся каким-то злым духом. И все-таки Агния Ефимовна была счастлива, особенно когда вспоминала свое скитское сиденье. Здесь ее время уходило по крайней мере на хозяйство по дому, на сношение с живыми людьми, как та же прислуга.

— Хорошо, Агнюшка, — радовался слепец. — Хлопочи, матушка... Везде надо свой глаз, а то все добро растащат по крохам. Вот какой народ нынче пошел...

Из посторонних бывала только одна Аннушка, или, по-теперешнему, Анна Егоровна. Яков Трофимыч очень любил ее и был рад, когда она завертывала. Молодая женщина заметно похудела и не имела вида счастливого человека, что Агния Ефимовна чувствовала каждый раз.

— Когда вы кончите пиры-то пировать? — спрашивал слепец. — Уж будет. Ты бы останавливала своего-то Капитона. На то жена...

— Как я его остановлю, Яков Трофимыч, если он меня не слушает?

— Значит, не любит, если не слушает... А ты его забери в руки, как меня забрала Агнюшка... хе-хе!..

— Не умею, Яков Трофимыч...

Аннушка приезжала на своем собственном рысаке и всегда разодетая по-богатому, что ее смущало.

— Что, любит тебя муж? — спрашивала Агния Ефимовна. — Какая я глупая... Конечно, любит, нечего и спрашивать. А мой-то слепыш как ревновал меня к Капитону Титычу... Задушить хотел со злости. И теперь не пущает к вам, а уж так охота мне хоть одним

глазком посмотреть, как вы там живете. Ведь есть же счастливые люди на свете...

— Всякий по-своему счастлив, Агния.

— Не прикидывайся, смиренница. Все знаю...

Агния Ефимовна действительно все знала, что делается у Аннушки, и рассказывала мужу. Яков Трофимыч хохотал до слез, когда жена так смешно все представляла. Он убедился, что она действительно возненавидела Капитона и готова устроить ему всякую пакость.

— Ах, если бы можно было его разорить! — со вздохом повторяла Агния Ефимовна. — Будет, порадовался. Надо и честь знать... Ничего бы, кажется, не пожалела!

— И Аннушки не жаль?

— Чего ее жалеть-то... Все равно Капитон ее не любит.

— Ну, это ихнее дело... Промежду мужем и женой один бог судья.

А дела Капитона шли все лучше и лучше. Из тайги шли хорошие вести. Золото лилось рекой... Егор Иваныч повел дело сильной рукой, и промыслы давали страшный дивиденд. В первый же год на долю Густомесова и Мелкозерова досталось тысяч по шестидесяти. Так, за здорово живешь, сыпались деньги. На долю Капитона доставалось меньше, но он прожил втрое больше, чем получал от Егора Иваныча. Скоро дошли слухи, что и другие, уехавшие в тайгу по следам Егора Иваныча, тоже получили свою долю, открывая новое золото. Сосногорск вообще переживал самое тревожное время, как охваченный лихорадкой человек. Наступал какой-то золотой век, причем Егор Иваныч являлся чуть не колдуном, разворожившим похороненные в тайге сокровища.

Осенью Капитон уехал в Сибирь, а Анна Егоровна осталась. Теперь она начала часто бывать у Густомесовых, с которыми ее связывали общие скитские воспоминания. Она чувствовала, что Яков Трофимыч ее любит, как родную дочь, и инстинктивно льнула к этому родному огоньку.

X

Скоро для Агнии Ефимовны исчезла и последняя тень затворничества. Новые сибирские дела требовали усиленной работы, а Яков Трофимыч никому не доверял и ничего слышать не хотел о помощнике. Между тем нужно было и счета подвести, и съездить в банк, и достать какую-нибудь справку. Агния Ефимовна вдруг оказалась великим дельцом. Она быстро освоилась со всей этой деловой механикой и сделалась необходимой сотрудницей мужа. Труднее всего было Якову Трофимычу выпускать жену хлопотать по делам одну, поэтому он уговаривал Анну Егоровну выезжать вместе.

— Тебе-то я верю, Аннушка, — повторял слепец. — А женушка, того гляди, сбрендит... Знаю я ее превосходно.

Агния Ефимовна не обижалась этой опекой и везде таскала за собой Анну Егоровну. Сделавшись необходимой, она быстро вкралась в полное доверие к мужу. Теперь уже он советовался с ней, как поступить в разных затруднительных случаях.

— Ты у меня золото, Агнюшка, — говорил слепой. — Ежели бы я совсем мог довериться тебе... Знаю, все знаю, какая ты есть.

Познакомившись со всеми делами мужа, Агния Ефимовна составила довольно сложный план мести Капитону. Часто по ночам она уже видела его разоренным, униженным, жалким и вперед торжествовала победу. Да, он будет в ее руках и будет ждать одного ее ласкового взгляда. Иногда, проверяя присылаемые Егором Иванычем приисковые счета, она очень ловко подчеркивала растраты Капитона, разнесенные по разным статьям.

— Так, так, женушка, — соглашался Яков Трофимыч. — Этак-то Капитон и совсем разорит нас... Вон он как распыхался.

— И совсем он не нужен нам, — говорила Агния Ефимовна. — Только зря деньги травим...

— Что поделаешь, Агнюшка! Вся статья в Егоре Иваныче... Для него и терпим Капитошку. А промежду прочим посмотрим...

Эти подготовительные беседы делали свое дело. Яков Трофимыч мало-помалу озлоблялся. С другой стороны, он был так доволен, что жена сама подводит ненавистного Капитона. Оставалось обработать Лаврентия Тарасыча, и Агния Ефимовна действовала здесь с особенной осторожностью, чтобы характерный старик не догадался, по чьей дудке будет он плясать. Когда при Мелкозерове Яков Трофимыч начинал травить Капитона, она непременно вставляла какое-нибудь словечко за него.

— Молод еще Капитон Титыч. Остепенится...

Густомесов был в восторге от такой политики.

— Старик-то, старик-то в каких дураках, Агнюшка... Ха-ха!.. Ты его ловко взнуздываешь, а он-то думает, что все сам... Ловко!

— Нельзя по-другому-то... Никого не слушает Лаврентий Тарасыч, а бабу где же послушает. Еще наоборот сделает...

— Вот, вот... Ты нахваливай ему Капитошку-то. Ох, и согрешил я с тобой, Агнюшка!..

Так прошла зима, а когда по последнему пути вернулся из тайги Капитон, все уже было готово. Он приехал вместе с Егором Иванычем и, конечно, ничего не подозревал.

— Ужо к нам приедет, так ты с ним поласковее, — учил жену Густомесов. — А я будто не слышу... Хе-хе!..

— Не учи, Яков Трофимыч.

— Ах, эти бабы! Вот, разбери-ка ее, что у ней на уме... А Капитошка-то прост, всему поверит. Потеха!.. Уж ты постарайся, Агнюшка, чтобы комар носу не подточил.

Действительно, Капитон приехал к Густомесовым вместе с женой и был принят как дорогой гость. Агния Ефимовна встретила его спокойной улыбкой. Дальше все шло, как по-писаному. Яков Трофимыч был необыкновенно весел и только ухмылялся, слушая, как жена разговаривает с Капитоном. Потом старик не выдержал и принялся отчитывать гостя. Капитон выслушал попреки молча, молча повернулся и пошел в переднюю, не простившись с гостеприимным хозяином. Анна

Егоровна страшно перепугалась и бросилась уговаривать Якова Трофимыча.

— Голубчик, Яков Трофимыч, что же это такое?..

— Люблю тебя, Аннушка, а Капитошку в порошок изотру...

Агния Ефимовна воспользовалась этим моментом и догнала Капитона уже в передней. Здесь она прямо бросилась к нему на шею, обняла и, глядя в глаза, шептала:

— Милый, милый... как я тебя люблю!.. И ненавижу и люблю...

Капитон от неожиданности ничего не мог выговорить. Он чувствовал ее горячее дыхание, чувствовал, как две тонких руки обвили его шею, и не мог шевельнуться.

— Агния Ефимовна... — шептал он, набирая воздуха.

— Какая я тебе Агния Ефимовна? Нет здесь Агнии Ефимовны, а есть только безумная женщина... Ну, взгляни ласково, сокол ясный!..

Она и плакала, и смеялась, и припадала к нему головой.

— Сколько я ждала... сколько мучилась... *Та* разве это понимает? Девчонка она несмысленая... Ты будешь мой, мой, мой... Утоплюсь, руки на себя наложу, а будешь мой. Милый, миленький, родной!..

Этот безумный бред обжог Капитона огнем, и он даже пошатнулся на месте, как пьяный, а потом сильной рукой обнял обезумевшую женщину. Она только закрыла глаза и вся распустилась, точно подкошенная. Эта немая сцена была прервана послышавшимися шагами Анны Егоровны. Агния отскочила, посмотрела кругом безумными глазами и захохотала, как русалка.

— Это мой слепыш меня ревнует... — объяснила она Анне Егоровне. — Понимаешь? Съел он меня... А ты думаешь, взаправду он говорил про Капитона? Ничего, все уладим...

Капитон только опустил глаза и молча простился с сумасшедшей хозяйкой. Агния Ефимовна бросилась к окну и смотрела, как Капитон усаживает жену в экипаж, — она ждала, что он оглянется на окно. Но он не

оглянулся... Она, когда тронулся экипаж, погрозила вслед уезжавшим кулаком и опять захохотала.

— Ловко, Агнюшка! — хвалил слепой и тоже смеялся... — Как я его ошарашил... Турманом вылетел. Носи, не потеряй... Что он тебе говорил?

— Да ничего... Трясется весь, как осиновый лист, и сказать ничего не может. Даже жаль...

— Больно сердит, а на сердитых воду возят. Жаль только Аннушку...

— Ее-то чего жалеть? У ней сейчас отец богатый...

— Отец-то отцом, а муж-то, видно, милее... Как она меня тут улещала помириться с Капитоном. Даже расплакалась... Конечно, слаба ваша женская часть...

Все это было только началом устроенной Агнией Ефимовной облавы на Капитона. Следующим номером явилась крупная размолвка с дядей Лаврентием Тарасычем, который, не говоря худого слова, прямо выгнал племянника в шею. Положение Капитона получилось критическое, и он сразу обозлился на всех и кончил тем, что уже сам разругался с Егором Иванычем и даже выгнал его из своего дома.

Последнее случилось благодаря бестактности Егора Иваныча. Старик, узнав о размолвке зятя с Густомесовым и Лаврентием Тарасычем, начал его уговаривать помириться.

— Нехорошо, Капитон... Ты помоложе, мог бы и стерпеть. Не чужие люди... Может, тебе же добра желают.

— А тебе какое дело до меня? — грубо ответил Капитон.

— Как какое?.. Ведь моя дочь-то... Да ты никак очумел!..

— Была твоя, а теперь моя...

— Капитон, не форси!.. Капитон, утиши свой характер...

— Да ты что ко мне пристал-то, старый черт?..

Тут уж Егор Иваныч обиделся и обругал зятя, а Капитон взял его за плечо и вывел в переднюю.

Очутившись на улице, Егор Иваныч опомнился и только тут понял, какую он глупость сделал. Не надо

было трогать Капитона, когда он всердцах, а выждать, когда утихомирится и потом усовестить. Огневой мужик, одним словом... Дальше старик понял, что теперь все обрушится на ни в чем не повинную Аннушку. И дочь жаль и покоряться на старости лет не приходится. Капитон тоже не понесет повинную голову. Одним словом, как ни кинь — одинаково скверно. Старик даже всплакнул про себя. Очень уж горько ему показалось свое старое одиночество.

Крепился он целых три дня и, наконец, не вытерпел, отправился к Густомесовым и упросил Агнию Ефимовну съездить за Аннушкой.

— Да он меня еще убьет, Капитон-то, — отнекивалась она. — Право, уж я не знаю, Егор Иваныч...

— Ничего, не убьет, — уговаривал жену Густомесов. — Нас он действительно искрошит в крошки, а тебя не посмеет тронуть...

Агния Ефимовна еще ни разу не бывала в доме у Капитона и ехала туда в большом смущении. Тяжело переступать порог, за которым милый, хороший живет с другой. Аннушка ужасно обрадовалась гостье, она все эти дни проплакала.

— Я за тобой приехала...

— Ох, не отпустит он меня. Грозится всех убить... зверь зверем ходит.

— Ну, страшен сон, да милостив бог... Дай-ка я сама с ним переговорю.

Капитон встретил гостью довольно сурово, но она не смутилась, а прямо подошла к нему и заговорила:

— Ну, ударь... ну, убей!.. Ах ты, аника-воин!

— Зачем пришла-то?

— А как в сказке говорится: прилетела сорока-белобока и говорит: «Не кручинься, удал добрый молодец, не печалуйся, а все будет по-нашему»...

Разговор с Капитоном продолжался довольно долго, так что Аннушке надоело ждать.

— Едва уговорила... — объяснила Агния Ефимовна, вернувшись в комнату Аннушки. — До смерти уморилась с твоим-то идолом. И меня пообещал убить в другой раз... Ну, едем.

Аннушка от души пожалела добрую приятельницу и долго целовала ее за услугу и заступу, а Агния Ефимовна закрывала глаза и отворачивала от нее лицо.

XI

Рассвирепевший Капитон сразу оборвал всякие отношения с дядей, с тестем и Густомесовым, заперся у себя в доме и кутил напропалую. Деньги у него еще оставались.

— Это я им открыл золото, а они меня в шею! — орал он пьяный. — Я им покажу... И всех зарежу. Да... А золота сколько угодно найдем.

Набрались у Капитона в доме такие же пьяные благоприятели из чиновников и купцов, — и пошел дым коромыслом. Анна Егоровна со страху по целым дням запиралась у себя в комнате и могла только плакать. Впрочем, один раз она попробовала уговорить мужа, но он так ее оттолкнул от себя, что несчастная женщина полетела на пол.

— Отстань, постылая...

Это последнее слово было тяжелее побоев. Оно окончательно убило несчастную женщину. Постылая жена... Ведь это хуже смерти. Она припомнила, как Агния называла своего мужа постылым, и понимала, что это значит. Пред ней точно самый свет закрывался. А ведь она привыкла к мужу и начинала его любить так хорошо, как любят скромные женщины. И вдруг ничего нет... В девятнадцать лет постылая, а что же дальше-то будет? Анна Егоровна в каком-то ужасе закрывала глаза и старалась совсем не думать об этом будущем. Вон отец уговаривает терпеть и не перечить мужу, а легко это делать?.. С другой стороны, Анна Егоровна была на стороне мужа, потому что все напрасно его обижали — и Густомесов и Лаврентий Тарасыч. Она не могла только понять, за что все так разом поднялись на него.

Тосковавший Егор Иваныч теперь частенько завертывал к Густомесовым отвести душу. Посылать Агнию Ефимовну за дочерью он стеснялся, а ждал, когда это сделает сам Яков Трофимыч.

— Вот так устроил Аннушке приданое... — сетовал старик, качая седой головой и вздыхая. — Где у меня глаза были, когда выдавал дочь замуж? Копил-копил, да черта и купил... Ох, тошнехонько, Яков Трофимыч!..

— Сам виноват... Благодари бога, что жив ушел от милого зятюшки.

— Да я не о себе... Что я, мое-то все прожито, а вот как будет милая доченька жить со своим разбойником.

— А ты пойди да прощения у него попроси, что спустил тебя с лестницы.

— Ох, не говори: голова с плеч. А она-то, безответная, у меня его же, разбойника, выправляет...

— Уж бабы завсегда так. Одна им всем цена...

Назлобствовавшись, Густомесов начинал жалеть и посылал жену за Аннушкой. Агния Ефимовна обыкновенно и слышать об этом не хотела и соглашалась только после усиленных просьб.

— Видеть его не могу... — уверяла она. — Только уж для тебя, Егор Иваныч, неприятность себе сделаю.

Егор Иваныч упрашивал ее со слезами на глазах, и Агния Ефимовна отправлялась. Анна Егоровна приезжала, как всегда, спокойная и серьезная, точно ничего особенного не случилось, и никогда не жаловалась отцу на мужа. Но отцовское сердце чуяло, что дело не ладно, и болело вдвойне. От дочери Егор Иваныч узнал, что Капитон составляет какую-то новую компанию и едет в тайгу один. Теперь старику опостылели и эта проклятая тайга и это проклятое сибирское золото, из-за которого он загубил любимую дочь. Жила бы она тихо и мирно, вышла бы замуж за какого-нибудь скромного человека, а он, Егор Иваныч, на старости лет радовался бы. А тут вон что вышло... И не удумаешь, как быть. Если идти и покориться Капитону — еще хуже будет, потому неукротимый у него характер.

Агния Ефимовна торжествовала молча и молча только улыбалась про себя, когда слышала разговоры о новой компании. Какой дурак даст денег Капитону... А между тем он действительно отправлялся в тайгу на разведки, а деньги ему дала она, Агния Ефимовна.

Когда она предложила ему эти деньги, Капитон с удивлением посмотрел на нее.

— Откуда у тебя деньги-то, Агния?

— А мои собственные, милый-хороший... За что я терпела-то свою муку-мученическую столько лет? Все равно муж помрет и откажет мне все... Своими-то деньгами всякий может распорядиться.

В первое время Капитону зазорным казалось пользоваться этими бабьими деньгами, да еще крадеными, а потом он как-то разом на все махнул рукой. Он быстро поддался неукротимой энергии Агнии Ефимовны и только говорил:

— Убить тебя мало, Агния. Никакого в тебе страха нет...

Добывать деньги у мужа было делом нелегким, и Агния Ефимовна вела дело с дьявольской хитростью, пользуясь полным доверием мужа. На первый раз она вынула лежавшие на хранении деньги в банке. Яков Трофимыч считал свои капиталы на ощупь, и она вместо сохранной расписки из банка подсовывала ему простую бумагу. На первый раз она позаимствовала всего тридцать тысяч и надеялась их пополнить потом, когда Капитон найдет таежное дело. Муж все равно ничего не узнает, потому что никому, кроме нее, не доверяет. А денег осталось еще больше двухсот тысяч...

Так и пошло. Перед отъездом в тайгу Капитон проговорил:

— Ну, Агния, смела ты, а только добром все это не кончится... Быть нам с тобой на одной веревочке.

— Пустяки: двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Агния Ефимовна только улыбалась. Что такое деньги? Только бы он, ясный сокол, посмотрел ласково, приголубил, обнял... Она была готова на все за одно ласковое слово. Жизнь в ней кипела. Капитон невольно поддавался ее обаянию и тоже готов был на все.

— А ты будешь вспоминать обо мне там, в тайге? — ластилась к нему Агния Ефимовна. — Жену вспомнишь, а меня позабудешь...

Вместо ответа Капитон только сжимал ее в своих могучих объятиях и поднимал на воздух, как перышко.

— Милый, любишь?..

— И люблю и ненавижу...

— Вот как я тебя... Не забывай. Пришли весточку. А в случае чего, за деньгами дело не станет.

Совестно было Капитону прощаться с обманутой молодой женой, но он слишком далеко зашел — возврата не было. Он рассчитывал на одно, что отработает выкраденные у Густомесова деньги и тогда будет чист. Ведь и деньги-то эти он же им дал, ежели разобрать правильно. Одним словом, начиналась та преступная логика, когда человек оправдывает себя во всем. Важен первый шаг, а там преступление покатится с горы комом снега.

Капитон уехал, а Егор Иваныч разнемогся и остался дома. Теперь уж могли вести таежные дела и без него, благо все было устроено, налажено и предусмотрено. Старик был счастлив, что мог запросто видаться с дочерью, которая приезжала его проведывать каждый день. Хорошая была эта Аннушка, покорливая, серьезная — вся вылитая мать. Цены бы ей не было, если бы другой муж попался. Ну, да тут говорить нечего: от своей судьбы никто не уйдет... Егор Иваныч только вздыхал.

Много хороших вечеров скоротали отец с дочерью. Теперь Егор Иваныч мог с ней говорить, как с вполне взрослым человеком, и каждый раз убеждался только в одном, какую хорошую дочь вырастил. Раз, в минуту откровенности, он проговорил:

— Ах, Аннушка, Аннушка... Загубил я тебя. Польстился на богатство, а теперь через мое-то золото твои слезы льются.

— Ничего, тятенька, как-нибудь перетерплю... Опомнится Капитон Титыч.

— Опомнится? Горбатого-то, милушка, одна могила исправит...

Аннушка залилась слезами, спрятала свое лицо на отцовской груди и прошептала:

— Люблю я его, тятенька... К сердцу он пришелся.

— Ну, а он как? Любит?..

— Сначала-то очень любил, а теперь... я сама виновата, что не умела угодить.

— Постой, постой... гмм... Нет, тут что-то дело не ладно. Да...

Здесь в первый раз у старика мелькнуло в голове подозрение на Агнию, но он смолчал и ничего не сказал дочери. Зачем ее тревожить напрасно?.. Никогда не любил старик увертливой и ловкой Агнии Ефимовны, а теперь, перебирая события последнего времени, не мог не заметить, что дело не чисто. Что-то уж весела Агния Ефимовна и на глазах у всех ластится к слепому мужу. Раньше-то не так было... Опытный старик достаточно видел всего на своем веку и инстинктом почуял потаенную ложь. Да, что-то тут кроется... И Капитон неспроста переменился к жене.

«Колдунья какая-то, — думал старик. — Ну, нет, погоди, матушка... Мы еще посмотрим, чья возьмет».

Между прочим, Егор Иваныч припомнил переговоры о новой компании, которую составил Капитон. Тоже дело не чисто, потому что негде им, прохвостам, было взять денег.

Немного поправившись, Егор Иваныч отправился к Густомесову. Агнии Ефимовны как раз не случилось дома.

— В банк уехала, — объяснил слепой.

— Так, так...

— Она ведь у меня по всем статьям. Лучше меня дела все понимает...

— Так, так. Что же, дело хорошее... Да, хорошее. А ты все-таки того, Яков Трофимыч, не очень-то доверяйся. Великий соблазн идет от денег... Вот как-нибудь вечерком посчитали бы вместе твои капиталы...

— Ну, нет, спасибо. Считай у себя зубы во рту...

Слепой обиделся и по пути припомнил, как подсыпался к нему Лаврентий Тарасыч вот с такими же жалостливыми речами, а потом взял да и объегорил в лучшем виде. И этот туда же... Нет, шалишь, хотя и пораньше родился.

Они расстались довольно холодно, Егор Иваныч тоже обиделся за недоверие. На лестнице он встретил Агнию Ефимовну.

— Здравствуй, хозяюшка... Все хлопочешь?

— Умаялась, Егор Иваныч. Дела-то большие, а бабий ум короче воробьиного носа...

Агния Ефимовна сразу поняла, с чем приходил Егор Иваныч, и только улыбнулась. Немного опоздал старичок...

XII

Важен первый шаг, а остальное приходит само собой. Устроивши первый подлог, дальше Агния Ефимовна пошла вперед уже с легким сердцем. В самом деле, не все ли равно, отвечать за тридцать тысяч или за триста? И что значат деньги, когда душа огнем горит? Агния Ефимовна окончательно завладела мужем, и он теперь верил только ей одной. Для своих целей ей нужно было заручиться таким же доверием Анны Егоровны, и она добилась этого. Дело в том, что в своих письмах к жене Капитон Титыч постоянно напоминал, чтобы она во всем слушалась Агнии Ефимовны. Анна Егоровна была рада хотя этим угодить мужу и постоянно защищала Агнию Ефимовну перед отцом.

— Чужая душа — потемки, тятенька, а, по-моему, Агния Ефимовна — хорошая женщина. Трудно ей, бедной... С зрячим-то мужем горя не расхлебаешь, а тут изволь нянчиться с слепышом. Другая давно бы сбежала...

— Было бы куда бежать...

— Нет, ты ее не любишь, тятенька, и поэтому так говоришь...

— Ох, не люблю, Аннушка! Грешный человек, не верю ей... Вон она мужа-то как обошла. Я как-то заговорил с ним стороной про нее, так он вот как на дыбы поднялся... Съесть готов.

— Кому же и верить, как не жене?

— Глядя по тому, какая жена. А промежду прочим, не нашего ума дело: не наш воз, не наша и песенка. Что-то вот только около тебя, Аннушка, она уж очень обихаживает... Боюсь я.

— В скиту-то вместе сидели, ну и дружим. Натерпелась она там довольно... И не расскажешь всего...

И теперь еще, как вспомнит, так и зальется слезами горькими Агния-то Ефимовна.

А Агния Ефимовна делала свое дело, не покладаючи рук. Она уже получила тайным путем от Капитона два письма. Дело у него не ладилось, и он просил все новых и новых денег. Счастье точно отступало от Капитона, когда он сошелся с Агнией Ефимовной. Все пошло через пень-колоду. А тут же рядом другие все богатели не по дням, а по часам. И все получали свою часть... Лаврентий Тарасыч и Густомесов загребали деньги лопатой, а из-за их спины урвали свою долю и остальные, как Рябинины и Огибенины. В каких-нибудь два года уездный глухой городок сделался неузнаваемым, точно его залила золотая волна. Везде строились большие дома, справлялись богатые свадьбы, веселье катилось широкой рекой. Около больших людей наживалась и вся остальная мелкота. Страшное богатство хлынуло на всех, и все говорили только о таежном золоте.

Чужое веселье не давало спать только Агнии Ефимовне. Она ненавидела больше всех старика Лаврентия Тарасыча, памятуя его отношения, и повела свою бабью политику. Нашелся у нее и помощник, какой-то выгнанный приказный Кульков, писавший прошения по кабакам. Разыскала его Агния Ефимовна, призрела, одела, обула и начала сама учиться приказным кляузам. Пьяница Кульков знал все и в ее умелых руках делался кладом.

— Ах, если бы утопить Лаврентия Тарасыча! — вздыхала Агния Ефимовна, слушая деловые речи дошлого приказного человека. — Ничего бы, кажется, не пожалела... Дом тебе куплю, Кульков, ежели обмозгуешь.

— Утопить-то такого осетра трудненько, а напакостить можно в лучшем виде. Первое дело, надо его поссорить с Яковом Трофимовичем...

— А как их поссоришь? Уж очень верит Яков-то Трофимыч Лаврентию Тарасычу... Старые дружки. Еще в степи фальшивые бумажки вместе ордынцам сбывали. Водой их не разольешь...

— В большом-то все умны, а мы их на маленьком подцепим, благодетельница. Москва от копеечной свечки сгорела...

И научил приказная строка уму-разуму. Все счета по промыслам были на руках у Агнии Ефимовны. Кульков разыскал в них одну графу, где был показан какой-то лишний расход на шарников. С этого и началось. Агния Ефимовна вперед подтравила мужа, а когда приехал Лаврентий Тарасыч, вся история и разыгралась, как по-писаному.

— Да что ты пристал ко мне с шарниками? — вспылил Мелкозеров. — Не стану я тебя обманывать...

— Да это все равно, Лаврентий Тарасыч, а денежки счет любят.

— Отвяжись, смола!.. Плевать я хочу на твоих шарников...

— Тебе плевать, а мне платить...

— Да ты за кого меня-то считаешь, Яков Трофимыч?

Тут уж вспылил Густомесов и отрезал:

— За благодетеля я тебя считаю, Лаврентий Тарасыч... Али забыл, как тогда пожалел меня и за здорово живешь получаешь теперь с промыслов любую половину. Да еще на шарниках нагреть хочешь...

И этот покор стерпел бы Мелкозеров — было дело, — не помяни Густомесов о шарниках. Лаврентий Тарасыч вскипел огнем, ударил кулаком по столу и заявил:

— Коли твои такие разговоры со мной, так я тебя и знать не хочу, слепого черта. Да еще тебе же нос утру...

Когда на шум прибежала Агния Ефимовна и принялась уговаривать вздоривших стариков, взбесившийся Мелкозеров оборвал ее:

— А ты чего тут свой бабий хвост подвернула? Брысь под лавку...

Густомесов вскочил, затрясся и крикнул:

— Вон, Лаврушка!.. Знаю я тебя, заворуя... и сам тебе еще почище нос-то утру. Вон из моего дома...

Эта сцена послужила началом громадного процесса, тянувшегося целых двадцать лет и стоившего тяжущимся несколько миллионов. Стороны ничего не

жалели, чтобы утопить друг друга, а около этого дела кормилась целая орда приказных. Кульков знал, как «отшить» «ндравного» толстосума, и заварил кашу. Агния Ефимовна торжествовала, избавившись так легко от последнего человека, который мог ей быть опасным. Она сама повела процесс и настраивала мужа. Яков Трофимыч мог только дивиться, откуда она все знает, — ни дать ни взять тот же приказный.

Когда Капитон вернулся из тайги по последнему пути, все дело было уже сделано. Он приехал невеселый, ночь-ночью. Да и нечему было веселиться: целых восемьдесят тысяч закопал Капитон в тайге, а заработал из-за хлеба на воду. Зато Агния Ефимовна еще никогда не была так весела.

— Все будет по-нашему, милый, хороший!.. Отдохни лето, а осенью я тебя отпущу.

Заговорила, уластила Агния Ефимовна друга милого, и Капитон махнул на все рукой. Двум смертям не бывать, одной не миновать... Совестно было ему перед безответной женой, вот как совестно, а тут чужая жена за душу тянет. Пробовал Капитон сопротивляться, но из этого ничего не вышло.

— Ты только у меня пикни! — грозилась Агния Ефимовна. — Сейчас все на свежую воду выведу и вместе с тобой в Сибирь пойду...

— Ах, змея, змея... — удивлялся Капитон.

Подался даже Егор Иваныч, когда заварилось дело Густомесова и Мелкозерова. Агния Ефимовна сама пошла по судам и все вызнала. Старик только дивился, откуда что берется у бабы. Очень уж ловкая бабенка оказалась, такая ловкая, что и не видано было в Сосногорске. Всех обошла, везде у ней была своя рука.

— Ну, баба, — дивился старик. — Ей и книги в руки... Заперла она дух нашему Лаврентию Тарасычу. Вот как заперла...

Теперь уж Агния Ефимовна шла и ехала, куда хотела, и везде ей был почет и первое место. Широко развернулась умная баба, на все руки была ходок, только своего сердца не могла утешить. Очень уж любила она Капитона, который только не ел из ее рук.

— Не тебе бы такую бабу любить, — говорила она, ласкаясь к Капитону. — Прост ты у меня, да еще делить тебя приходится с женой...

— Ну, ты это оставь... Анна тут ни при чем.

Агния Ефимовна теперь ревновала Капитона к жене и не могла никак совладать с собой. Все-таки она его жена, — из песни слова не выкинешь. Она следила за ними и мучилась, когда Капитон начинал жалеть жену. Агния Ефимовна возненавидела теперь несчастную женщину и поэтому была с ней особенно ласкова. Капитону делалось страшно, когда он видел их вместе. Он начинал бояться Агнии Ефимовны, как лошадь боится хорошего кучера. А она назло ставила его постоянно в такие положения, что вот-вот все раскроется, и он пропадет ни за грош. Теперь Агния Ефимовна назначала ему свиданья у себя в доме и целовала на глазах у мужа. Ей нужна была опасность, нужно было, чтобы Капитон боялся, нужно, чтобы постылый муж нес кару за свое недавнее тиранство...

Мало этого, Агния Ефимовна являлась к Капитону, как к себе домой, и всем распоряжалась, как настоящая хозяйка. Даже прислуга не смела ничего сделать без ее приказа. Анна Егоровна все это видела, мучилась про себя, плакала, но никому и ничего не говорила. Раз только она сказала Агнии Ефимовне:

— Побойся ты бога, Агния, если людей не стыдишься...

— Какая ты глупая, Аннушка, — засмеялась Агния. — Было бы за что ответ держать да бога бояться... Вон и то говорят, что я любовница твоего мужа. А кто осудил, с того и грех взыщется...

Анна Егоровна сама не знала, есть что-нибудь у Капитона с Агнией или это ей кажется. Очень уж смело держала себя Агния. С нечистой-то совестью от добрых людей бегают, а она всем в глаза смотрит. Капитон был какой-то странный, и Анна Егоровна видела только одно, что он тоже побаивается Агнии. Хорошо было уж то, что Капитон не обижал жены и с глазу на глаз обходился с ней ласково.

— Тошно мне, Аннушка, — говорил он перед отъездом в тайгу. — Только и отдыхаю на промыслах.

Капитон был рад, когда лето прошло и он мог уехать из Сосногорска в тайгу.

— Смотри, мил-сердечный друг, не забывай меня, — наказывала Агния Ефимовна на прощанье.

— Ох, не забуду, Агния... Надела ты мне веревку на шею.

— Своя жена веревка-то, а чужая на утеху молодецкую... Ах ты, удал добрый молодец, что крылья-то опустил?

XIII

Процесс Густомесова с Мелкозеровым точно послужил примером для других. Огибенины и Рябинины, работавшие вместе, тоже перессорились и тоже начали судиться. Спорные промыслы оставались без дела, а нажитые в тайге капиталы пошли на тяжбы. В то же время коренные сибиряки не дремали и по готовым следам напали на таежное дело и, с своей стороны, подняли споры против сосногорских золотопромышленников. От Иркутска до Петербурга все суды были завалены этими делами. В тайгу посылались специальные комиссии для исследования дела на месте и только сильнее запутывали кипевшую войну.

Но самым громким процессом оставался все-таки густомесовский. Лаврентий Тарасыч рвал и метал, чтобы утереть нос противнику, и расстроил свои личные дела по заводам. Сильный был человек, но все средства были в делах, и приходилось рвать живым мясом деньги из разных статей. Вообще выходило очень скверно. Раза два Мелкозеров подсылал Егора Иваныча для переговоров с Густомесовым, но тот возвращался ни с чем.

— Приступу к нему нет, — объяснял старик. — В том роде, когда человек осатанеет...

— Ничего ты не умеешь сделать как следует, — сердился Лаврентий Тарасыч, топая ногой. — Сам поеду и все устрою...

— Кабы хуже не вышло, Лаврентий Тарасыч, потому как там эта самая змея... Все от нее.

— Ты меня учить?!.

Егор Иваныч только пожал плечами. Мелкозеров действительно отправился сам к Густомесову и этим уже делал шаг к примирению. Ведь сколько лет дружили, хлеб-соль водили, а тут из-за каких-то шарников подняли смуту... Мелкозеров ехал с самыми миролюбивыми намерениями, которые разбились сейчас же, как только он вошел в густомесовский дом. Его встретила Агния Ефимовна и довольно дерзко спросила:

— Вам кого нужно, Лаврентий Тарасыч?

— Как кого? — вскипел старик. — Чей дом, к тому и приехал...

— Дом мой...

Мелкозеров надел шапку, молча повернулся, плюнул и вышел. Только напрасно себя срамил. Надо было слушать Егора-то Иваныча... Агния Ефимовна торжествовала свою самую большую победу, рассказывая мужу, как она встретила гордого толстосума.

— Ловко ты его обзатылила! — восторгался Яков Трофимыч. — Плюнул, говоришь? Ха-ха... Не поглянулось. Отваливай в палевом, приходи в голубом...

— Это он раньше засылки делал через Егора Иваныча, а теперь сам расскочился...

— То-то озлился, бедный! Ловко... Все хвалился нос утереть мне, а тут самому утерли.

— Еще не то будет, дай срок...

— Верно, Агнюшка. Ничего не пожалею, чтобы извести его...

Эти успехи уже перестали радовать Агнию Ефимовну. Что она ни делала, а главное все-таки оставалось: слепой муж держал ее, как железная цепь, а Капитон принадлежал другой. Много передумала Агния Ефимовна, и так и этак раскидывая умом, а выходило одно. Ну, в лучшем случае, муж умрет — Аннушка останется, Аннушка умрет — муж останется. А когда оба они умрут, пожалуй, и не дождешься. Потом Агния Ефимовна заметила печальную вещь, именно, что за последние два года сильно состарилась. Пока сидела в неволе — все было хорошо, а теперь подкралась старость, как вор... И никуда не уйдешь, ничего не поделаешь. А тут еще, как назло, Анна Егоровна похоро-

шела. Здоровая такая стала, белая, молодая, одним словом, кровь с молоком. Приедет Капитон из тайги и променяет чужую жену на свою.

Агния Ефимовна решилась на последнее средство. Она вызвала Капитона из тайги и заявила ему, что они вместе поедут хлопотать по делу с Лаврентием Тарасычем в Петербург.

— Этого Яков Трофимыч хочет, — объяснила она, глядя вопросительно на милого друга. — Вот поговори с ним сам...

Капитон ожидал всего, но только не этого. Он ушам своим не верил. Густомесов принял его одного, велел запереть все двери и повел серьезные речи.

— Сердился я на тебя, Капитон, а теперь надоело... Не стоит. А лучше ты сослужи мне службу, съезди с Агнюшей в Петербург. Ловкая она у меня, оборотистая, а все-таки куда одна баба повернется... Только одно тебе скажу: не очень-то она тебя любит. Так уж ты того, как-нибудь сократи свой карахтер. Не всякое лыко в строку... Да и не молода она сейчас-то, так тебе и покориться в самую пору.

Агния Ефимовна повела дело так, что муж должен был упрашивать ее ехать с Капитоном. Она для приличия поломалась и согласилась только с тем условием, если поедет вместе Аннушка. Это был второй акт комедии. Анна Егоровна отказалась от поездки наотрез, с настойчивостью, удивившей даже Агнию Ефимовну, точно это была совсем другая женщина.

— Поезжайте лучше одни, — уговаривала она мужа. — А мне что-то нездоровится, да и отец тоже все что-то припадает...

Эта поездка была отчаянным ходом со стороны Агнии Ефимовны. Она своими руками разрушала работу нескольких лет и шла вперед, очертя голову. Единственная мысль овладела ею безраздельно... Пожить с Капитоном хоть один месяц, как живут другие. А там пусть будет что будет... Старость была на носу, и терять времени не приходилось.

— Теперь ты мой, мой... весь мой! — шептала Агния Ефимовна, когда они выезжали из Сосногорска с Капитоном на почтовых. — Час, да мой...

Капитон угрюмо молчал, предчувствуя что-то недоброе. Он вообще заметно охладел и тяготился этой связью, опутавшей его по рукам и по ногам. Когда Агния прижималась к нему головой или плечом, он испытывал неприятное чувство, точно его начинало что-то давить.

— Любишь меня? Ведь любишь? — шептала Агния, напрасно стараясь заглянуть ему в глаза. — А я знаю, о чем ты думаешь... Ты о жене скучаешь.

Вместо себя при Якове Трофимыче, уезжая, Агния Ефимовна оставила Кулькова. Как это случилось — проболтался ли Кульков спьяна, или выдал он свою благодетельницу сознательно, или проснулась в нем совесть, — но не прошло двух недель после отъезда, как вся история устроенных Агнией Ефимовной хищений раскрылась во всей полноте. Говорили, что Кульков куплен был Лаврентием Тарасычем, что его запугал Егор Иваныч; но это все равно, — он после своего предательства прожил только один месяц, и в его скоропостижной смерти обвиняли Агнию Ефимовну, хотя она и была в Петербурге.

В одно прекрасное утро Густомесов послал за Егором Иванычем. Когда старик приехал, Густомесов принял его келейно и заявил свои сомненья относительно сохранности своих капиталов. Осторожный Егор Иваныч пригласил еще третье достоверное лицо и только тогда приступил к проверке густомесовских капиталов. Оказалось, что наличность представляла скромную цифру в сорок тысяч, а четырехсот тысяч недоставало. Вместо банковых билетов оказалась простая белая бумага, которую Яков Трофимыч берег в железном несгораемом шкафу. Но этого было мало. У Агнии Ефимовны была от мужа полная доверенность, и по этой доверенности она набрала денег направо и налево, где только могла набрать. Кто же мог не поверить Густомесову? В общем сумма растраты простиралась до миллиона, а Густомесов оказался чуть не нищим. Удар был настолько велик и неожидан, что Яков Трофимыч повторял только одно:

— Не понимаю... Ничего не понимаю. Это Капитон грабил меня. Это его дело...

Возникло новое громкое дело. Капитон и Агния Ефимовна были возвращены в Сосногорск этапным порядком и заключены в тюрьму. По старым порядкам суд тянулся несколько лет, и обвиняемые все время сидели в тюрьме. Агния Ефимовна от начала до конца выдержала характер и не признала за собой никакой вины: знать не знаю, ведать не ведаю. Как с ней ни бились, но довести до сознания не могли, а старый уголовный суд держался именно на признании самого обвиняемого. Мало этого, — она запутала в деле много других, которых обвиняла, главным образом, во взяточничестве, вымогательствах и сообщничестве. Дело разрасталось все больше, так что даже сами судьи были не рады ему. Капитон не сдавался года три, а потом махнул на все рукой и принес повинную. Когда это передали Агнии Ефимовне, она со спокойной улыбкой заметила:

— Кто повинился, с того и взыскивайте...

Восемь лет тянулось дело, пока Агния Ефимовна предстала пред судьями. Но и тут вышел казус: Густомесов скоропостижно умер накануне. Некому было обвинять, и громадное дело рухнуло само собой. Присутствовавший на заседании Егор Иваныч думал свою горькую думу: не открой он таежного дела, ничего бы не было, а главное, не загубил бы он дочери.

— Да, хорошее приданое я тебе приготовил, Анннушка...

Оправданные судом Капитон и Агния Ефимовна сейчас же уехали в Сибирь, и об них не было ни слуху ни духу.

Первый вал бешеного сибирского золота пролетел, и в Сосногорске наступило тяжелое похмелье после пира горой.

КОРМИЛЕЦ

Из жизни на уральских заводах

Рассказ

I

Маленький Прошка всегда спал как убитый, и утром сестра Федорка долго тащила его с полатей за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза.

— Вставай, отчаянный!.. — ругалась Федорка, стаскивая с полатей разное лохмотье, которым закрывался Прошка. — Недавно оглох, что ли? Слышишь, свисток-от!..

— Сейчас... Привязалась! — бормотал Прошка, стараясь укатиться в самый дальний угол.

— Маменька, что же я-то далась, каторжная, что ли?.. — начинала жаловаться Федорка, слезая с приступка. — Каждый раз так-то: дрыхнет, как очумелый...

— Прошка... а, Прошка!.. — крикливо начинала голосить старая Марковна и лезла на полати с ухватом. — Ох, согрешила я, грешная, с вами! Прошка, отчаянный, вставай!.. Ну?.. Ишь куды укатился!..

— Мамка, я сейчас... — откликался Прошка, хватаясь за рога ухвата обеими руками.

— Да ты оглох, в самом деле: слышь, — свисток-от насвистывает... Федорке идти надо, не будет свистеть для вас другой раз!

Заводский свисток действительно давно вытягивал свою волчью песню, хватавшую Прошку прямо за

сердце. На полатях было так тепло, глаза у него слипались, голова давила, как котел, а тут — вставай, одевайся и иди с Федоркой на фабрику...

Пока происходило это пробуждение Прошки, Федорка торопливо доедала какую-нибудь вчерашнюю корочку, запивая ее водой. Прошка всегда видел сестру одетой и удивлялся, — когда это Федорка спит!

— Черти, не дадут и выспаться-то... — ворчал Прошка, слезая, наконец, с полатей и начиная искать худые коты [1] с оборванными веревочками. — Руки-то, поди, болят... вымахаешь за день-то. Мамка, дай поесть...

— Одевайся, нечего растабарывать, — на заводе поешь! — торопила Прошку мать. — Ишь важный какой... Разве один ты на заводе робишь?.. [2] Другие-то как?..

— Другие... — повторял Прошка за матерью и не знал, что сказать в свое оправдание, и только чесал скатавшиеся волосы на голове.

Федорке иногда делалось жаль двенадцатилетнего брата, и она молча начинала помогать ему: запахивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах, а Прошка сидел на лавке или на приступке у печки и чувствовал, как его давит смертный сон. Кажется, умер бы вот тут сейчас, только бы не идти на эту проклятую фабрику, что завывает своим свистком, как голодный волк...

Но Федорка никогда не жаловалась, и все у ней как-то горело в руках, — и Прошке делалось совестно перед сестрой: все-таки он, Прошка, мужик!

Федорка работала на дровосушных печах и всегда была в саже, как галка, но никакая сажа не могла скрыть горячего румянца, свежих губ, белых зубов и задорно светившихся серых глаз. Всякая тряпка сидела на Федорке так, точно она была пришита к ее сбитому, крепкому, молодому телу. Рядом с сестрой Прошка в своих больших котах и разъезжавшемся кафтанишке

[1] Коты — кожаная обувь вроде тяжелых ботинок. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Робить — работать. Так говорят в Пермской стороне. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

походил на выпавшего из гнезда воробья, особенно когда нахлобучивал на голову отцовскую войлочную шляпу с оторванным полем. Лицо у него было широкое, с плоским носом и небольшими темными глазками. Конечно, Прошка тоже был всегда в саже, которой не мог отмыть даже в бане.

— Ну, совсем?.. — ворчала Федорка, когда одевание кончилось. — Уж второй свист сейчас будет. Другие-то девки давно на фабрике, поди, а я вот тут с тобою валандалась...

— Ума у вас нет, у девок, вот и бежите на фабрику, как угорелые!.. — важно говорил Прошка, заранее ежась от холода, который ожидал его на улице. — Мамка, я есть хочу...

— Ладно, там дам, как придем, — говорила Федорка, торопливо засовывая за пазуху узелочек с завтраком.

Марковна почесывалась, зевала и все время охала, пока дети собирались на фабрику, а потом, когда они уходили, заваливалась на полати спать... Ленивая была старуха, и как-то всякое дело валилось у нее из рук. Она постоянно на что-нибудь жаловалась и все говорила про покойного мужа, который умер лет пять тому назад.

Выйдя за дверь, Прошка всегда чувствовал страшный холод — и зимой и летом. В пять часов утра всегда холодно, и мальчик напрасно ежился в своем кафтанишке и не знал, куда спрятать голые руки. Кругом темно. Федорка сердито бежит вперед, и, чтобы держаться за нею, Прошке приходится бежать вприпрыжку... Он понемногу согревается, а ночной холод прогоняет детский крепкий сон.

II

Избушка Марковны стояла на самом краю Першинского завода, и до фабрики было с версту. В избах кое-где мелькали огни, — везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени... По дороге то и дело скрипели

отворявшиеся ворота, из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки — Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. «Дровосушки» (так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах) хохотали еще больше и начинали дразнить Прошку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику с болтавшимися на руках вачегами и запасными пряденикам[1].

Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченных заводской сажей воротах караульни. Глухой сторож Евтифей выглядывал из окошечка караульни и вечно что-то бормотал, а рабочие спускались по крутой деревянной лесенке вниз, к доменной печи, где в темном громадном корпусе всегда теплился веселый огонек, и около него толпились рабочие в кожаных фартуках-*защитках*.

Федорка провожала братишку до самого «пожога»[2], где он «бил руду», то есть большие куски обожженной железной руды разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на два дворика: в одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом — ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще две пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев, усвоивших уже все ухватки больших рабочих.

Оставив братишку в пожоге, Федорка торопливо уходила к дровосушным печам, где крикливо гудела целая толпа поденщиц-дровосушек, точно стая галок.

---

[1] Вачеги — подшитые кожей рукавицы; пряденики — пеньковые лапти. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

[2] Пожог — часть завода, где обжигают руду. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

III

Собравшись в пожоге, мальчики начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска.

Их было человек пятнадцать, от десяти до четырнадцати лет. Около костра образовывалось живое кольцо из чумазых лиц, торопливо прожевывающих свою утреннюю порцию.

Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро съедал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и нескольких картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у нее, и картошка лучше. А когда в доме была недостача в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась не евши. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все лопает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть...

— Эй вы, соловьи, чего расселись, — пора на работу! — кричал на мальчишек дозорный Павлыч. — Жалованье любите получать!..

Рудобойцы расходились по пожогу к своим кучам руды. У всякого было свое место, и дозорный Павлыч осматривал перед обедом, сколько кто нарóбил. Все рóбили из поденщины, по десяти копеек.

Тяжело было приниматься за эту несложную работу, и Прошка всегда чувствовал, как у него ноет спина, а руки едва поднимают железный молоток, насаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожоге было слышно только тюканье молотков по камню, точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц...

Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой; спина и руки помаленьку отходили.

— Ай да молодцы!.. Похаживай веселее!.. — выкрикивал главный доменный мастер Лукич, приходивший посмотреть, ладно ли ребятки крошат «крупу на кашу старухе». «Старухой» он называл доменную печь.

Лукич, широкоплечий бородастый мужик, с вечными шуточками и прибаутками, был общим любимцем на фабрике. По праздникам он подыгрывал на берестяной волынке, когда рабочие затягивали заводскую песню. Он приходил на пожог, выкуривал трубочку около огонька, шутил с ребятишками и уходил к своей «старухе».

В пожоге работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожог, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам... Другие ребятишки думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам...

— Нет тяжелее нашей работы, — толковали мальчики, делая передышку. — Из плеча все руки вымотаешь, а спина точно чужая... Едва встанешь в другой раз...

— А вот в корпусе славно робить, кто около машины ходит...

— Уж это что говорить: известное дело, — ходи себе с тряпочкой да масло подтирай; вся твоя и работа, а поденщина та же.

— В тепле, главное.

— Страсть, как тепло. Пар из машинной так и валит, как двери отворишь!

Попасть в тепло, куда-нибудь к «машине», казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребятишек. Да на хороших местах перебиваются отцовские дети, а голытьбу не пустят... Вон у дозорного Павлыча сын там ходит; тоже у плотинного, у машиниста.

Дети завидовали счастливцам и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук.

Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое.

Время до одиннадцати часов, когда «отдавали свисток» на обед, было самое тяжелое, точно и конца ему нет.

В одиннадцать часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину, из ворот Евтифея, высы-

пала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучиться от своего дела; им приносили обед на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котелками да бураками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой.

Когда-то Федорка так же носила отцу обеды на фабрику, а потом — Прошка. Отец работал в главном корпусе, у обжимочного молота, и обедал тут же, присев на чугунный «стул». Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи; где вечно капала вода, от водяного ларя тянуло сыростью, рабочие ходили с запеченными, красными лицами; где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озирался по сторонам.

— Испужался, Прошка? — спрашивал отец, прожевывая кусок лукового пирога или облизывая деревянную круглую ложку.

Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, тонкие длинные руки... Когда он ворочал горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом, это сходство было поразительное: настоящий медведь, и только! По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет.

Это было счастливое время для семьи Пискуновых, и Прошке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа, долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем.

Иногда Прошке делалось ужасно скучно. Улучив минуту, когда рабочие поужинали, мальчик любил бродить по фабрике и смотреть, как везде сидели облитые потом фигуры мастеров, а около них толклись маленькие девочки с бураками и узелками. В кричном корпусе, прижавшись куда-нибудь в темный угол, Прошка долго наблюдал, как ужинает главный мастер

у обжимочного молота. Вот так же ужинал когда-то и отец Прошки, а сам Прошка стоял и смотрел на него.

«Вот буду большой, тогда сам в мастера пойду...» — соображал мальчик и видел себя в мягких пряденихах, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца.

Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику.

— Уж замуж с поденщины не скоро выдешь, — толковали рабочие, балагуря где-нибудь около огонька. — Тут уж шабаш.

В половине первого отдавали свисток на работу, а в семь вечера — с работы.

На смену дневным являлись ночные рабочие.

Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем; железные трубы дымили сильнее, и далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки...

Вся заводская жизнь строилась по свистку, и Прошка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочала всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое и притом очень злое: вырвется белая струйка пара и загудит на весь завод, только стон пойдет...

IV

Маленький Прошка работал на фабрике уже вторую зиму. Марковна стонала с осени, — как это мальчонко будет рóбить в стужу, когда у него нет ни шубенки, ни валенок, ни хороших варежек!

— И то прохворал в прошлую-то зиму недель шесть, — говорила Марковна. — Уж хоть бы он помер, што ли... не глядели бы глазыньки на ребячью маяту!.. А много ли заробит и с Федоркой вместе: ей двугривенный поденщины да Прошке — гривенник... В выписку[1] дён двенадцать приходится, ну, и принесут до-

---

[1] На горных заводах плата рабочим выдается через две недели; это и называется выпиской. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

мой три рубля шесть гривен. Не много уколешь на них... Вон ржаная-то мучка восемь гривенок пуд; крупа, горох... а тут обуть надо, одежонку справить!..

— Маменька, что же нам делать, ежели уж так довелось? — отвечала иногда Федорка, которой нытье матери было хуже ножа. — Вот погоди, Прошка подрастет, тогда справимся...

— Сам-то когда был в живности, так по пятнадцати целковых приносил домой в выписку! — не унималась старуха. — Легкое дело сказать... Крупчатку покупали к пасхе, говядину; на все хватало. Другие-то вон как живут, только радуются, а нам без смерти смерть...

Марковна была из зажиточной семьи и прожила с мужем лет пятнадцать в полном довольстве, поэтому ей особенно была горька настоящая нужда. Как большинство заводских баб, Марковна никакой другой работы не знала, кроме своей домашности. Когда был муж, она еще с грехом пополам ткала пестрядину, а теперь и от этой работы отбилась, — не на что было купить льна, и пустые «кросны» стояли в сенцах. Вообще самая горькая нужда обошла семью Пискуновых со всех четырех углов и давила с каждым днем все сильнее и сильнее. В пять лет вдовства Марковна успела поразмотать все, что было нажито с мужем: лошадь, корову, хорошую одежу, два покоса, стоявшие в огороде срубы на новую избу и т. д. Нужно было пить-есть, а ребята остались невелички. Слава богу, по миру еще не ходили... Только вот Федорка попала на фабрику!.. Нехорошее это дело, да быть иначе нельзя, не с голоду помирать.

— Ты, смотри, Марковна, пуще наказывай дочери-то, чтобы она не сбаловалась, — шушукали соседки.

— И то наказываю...

— Хорошенько учи, потому — какой у девки ум.

По силе возможности Марковна действительно «наказывала» дочери и часто доводила ее до слез. Федорка сначала отгрызалась, потом начинала ругаться и кончала бессильными девичьими слезами. Да и как было не плакать: какая это жизнь? Работаешь, бьешься, не доедаешь, не допиваешь, в люди глаза показать не в чем, а тут еще мать пристает... У Федорки

все платьишко было на себе, да плохонькая «перемывочка», то есть разное тряпье, которое надевалось во время стирки Федоркина сарафана: рубаха и юбчонка с «подзором». Летом выйти в хоровод не в чем, а зимой — на супрядки или на вечорки. Так Федорка и сидела у себя дома, стыдясь показаться в люди в своей заводской саже. Мать понимала ее положение, но помочь не умела... Да и чем тут поможешь, когда при дорогом заводском харче троим приходилось тянуть две недели на три рубля шестьдесят копеек? Только-только на хлеб хватало да на крупу.

V

Была у Пискуновых всякая родня, но ведь родные хороши только в богатстве да в достатке, а при бедности больше любят указывать: и то не так, и это не так, и пятое-десятое не ладно. Марковна везде по родне успела назанимать всячины — конечно, крохами, — и терпеливо выслушивала хорошие советы, на которые так щедра богатая родня. Федорка сторонилась от этой родни, и ее попрекали гордостью.

— Без них тошнехонько!.. — отвечала она обыкновенно пристававшей матери. — Сажу свою заводскую пойду казать им, што ли?..

К тому же наступившая вторая зима Прошкиной работы приводила Федорку в отчаяние. Где взять ему пимы[1], шапку, шубенку?.. Ведь это, ежели считать, так рублей на семь хватит, да еще и не укупишь на семь-то, потому и варежки нужны двои на зиму-то, и рубаха, и порты...

Иногда Федорку просто брала какая-то одурь от этих расчетов; ей наяву начинали грезиться роковые семь рублей: она с открытыми глазами видела две трехрублевых зелененьких бумажки и одну желтенькую рублевку... Часто, глядя на кого-нибудь из рабочих, она думала об этих деньгах и видела их, — как три бумажки лежат завязанные в уголок платка и тя-

---

[1] Пимы — валенки. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

нут ее к себе. Вон у Лукича, сказывают, сколько денег-то, у дозорного Павлыча, у других мастеров, которые в выписку получают рублей по пятнадцати...

Эти неотступные мысли преследовали Федорку и дома и на работе. Таская дрова в печь и обратно, она все думала свое.

Всех девок на дровосушных печах работало человек двадцать. Все были залеплены несмывавшейся сажей, и все были такие отчаянные... Дровосушки ругались с пристававшими к ним рабочими нехорошими словами, распевали нехорошие песни и кончали гульбой. Федорка крепилась и не хотела поддаться соблазну легкой жизни: ее удерживало воспоминание о хорошей жизни с отцом, — чего не было у других. Стыд перед родней являлся тоже сдерживающей силой. Опять у других и впереди не было надежды выбраться с завода, а Федорке думалось:

«Вот бы только вырастить Прошку; опять будет «кормилец» в доме, и уйду с завода...»

Зато другие дровосушки, щеголявшие в кумачных платках и в ситцевых новых сарафанах, постоянно донимали Федорку разными смешками.

— Федорка, ты, смотри, не выйди замуж за Павлыча; он к тебе што-то больно приглядывается ноне! — кричала рябая и курносая Степанька.

— Отстань, короста...

— Девоньки, наша Федора скоро пойдет в гору...— смеялись другие дровосушки. — Она глаза только отводит!

Дозорный Павлыч, степенный и румяный мужик, действительно засматривался на Федорку.

VI

А зима уже наступала. За ночь несколько раз выпадал первый снежок, таявший на другой день. Нужно было решить вопрос о Прошкиной одежде. Федорка, когда выгружала сухие дрова из печи, несколько раз всплакнула.

Раз в углу темной дровосушки ее поймал вихлястый Антошка и облапил своими длинными руками. К его удивлению, Федорка не сопротивлялась, как обыкновенно, а только тихо всхлипывала, как плачут дети.

— Федорка, да ты это што? — онемел Антошка, выпуская из рук плакавшую девушку.

— Убирайся к черту!..

— Вот те и раз!.. Федорка, да ты о чем это ревешь-то?..

— Отвяжись!

Антошка положительно не знал, что ему делать, и почесывал за ухом, стоя около Федорки. Федоркино безмолвное горе тронуло его, но он не умел даже спросить ее, о чем она ревет, и стоял, как пень.

— Подлецы вы... все подлецы! — надрывавшимся шепотом говорила Федорка, не вытирая катившихся по лицу слез. — Все до единого!.. Вам человека загубить ровнешенько ничего... а тут петли, может, ищешь!.. Ну, чего стал, язва сибирская?.. Уходи, говорят тебе!..

— Да ты, Федорка, и в самом-то деле... право... Эк тебя разобрало!.. Чего ты?

Смущение Антошки вдруг растрогало Федорку. Она работала на фабрике третий год и еще ни от кого не слыхала доброго слова, не видела искреннего участия. Ее щипали, обнимали, хлопали по спине, говорили ей всякие гадости, и ни одного хорошего слова!.. Ей вдруг захотелось рассказать Антошке все, что у нее накипело на душе, и она ему рассказала, торопливо глотая слова и размазывая по лицу слезы, мешавшиеся с сажей. Антошка выслушал все, почесал в затылке и только развел руками. У него тоже не было денег. Это движение разозлило Федорку: разве она к деньгам приговаривается!.. Федорка тяжело замолчала...

— Ну, вот и осердилась! — ласково говорил Антошка, стараясь опять обнять Федорку.

— Отстань, короста!..

— Постой... А ты вот что, Федорка, — обрадовался

неожиданно Антошка, — мы дело и без шубы сварганим... верно!.. И без пимов и без шубы Прошку приспособим...

— Мели пуще, пустая башка!

— Верно говорю: надо его, Прошку-то, в машинную определить. Ей-богу!.. Это уж Павлыча дело. Попроси его...

— Лучше к черту пойду, а не к Павлычу.

— Ах, какая ты, Федорка! Ну, хошь, я Павлычу замолвлю словечко для тебя... Харюза [1] ему предоставлю и замолвлю...

Когда Федорка вышла из печи, замазанная потоками слез, все дровосушки покатились над ней со смеху, но она ничего не замечала: ей вдруг сделалось так хорошо и тепло. Нашелся и для нее хороший человек...

VII

Когда начались сильные заморозки, Прошка попал в самое тепло — в машинный корпус. Устроилось это так, как говорил Антошка: принес он с поклоном живых харюзов дозорному Павлычу и в разговоре замолвил словечко за Федоркина брата Прошку, который околевал с холоду на пожоге.

— А ты что больно кручинишься за парнишку? — спросил только Павлыч, не подавая никакого вида.

— Да так... Вместе с работы ходим, так оно видно, как парнишка, значит, на холоду гинет.

— Так, так... Ну, поговорю я с плотинным, да с надзирателем; может, и выгорит што...

От дозорного дело перешло к уставщику, от уставщика к плотинному, от плотинного к надзирателю; надзиратель посоветовался с записчиком поденных работ, и в конце концов Прошка очутился в теплом машинном корпусе с двумя другими мальчиками, одетыми в белые холщовые блузы, замазанные ворванью и машинным салом.

---

[1] Харюз — рыба. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

Прошка долго не верил своему счастью и долгое время ходил точно в каком-то сне. В корпусе было так тепло и светло, а работа самая небольшая сравнительно с битьем руды.

— Ну, хорошо тебе теперь? — спрашивала Федорка брата.

— Уж так ловко, Федорка!.. Только больно утром сон долит!.. Смерть долит сон, потому теплынь у нас.

— А ты не спи... слышал?

— Тоже вот ись больно охота, Федорка...

— Ну, старайся!

Дозорный Павлыч относился к Прошке с большим вниманием: он сделал Прошке такую же холщовую блузу, как у других мальчиков, и пообещал подарить шубенку к святкам. Федорке сделалось даже совестно, потому что Павлыч с ней не говорил ни слова и точно сторонился от нее. Ее давила эта тайная милостыня, и Федорка невольно опускала глаза, когда мимо нее на фабрике проходил Павлыч с правилом в руках.

Раз, когда Федорка шла с работы домой, ее догнал Прошка, торопливо сунул ей в руки какой-то сверток, рассмеялся и убежал. Он в холода не ходил домой и ночевал в теплой машинной.

Дело было темным зимним вечером, и Федорка инстинктивно сунула сверток в пазуху, чтобы не заметили другие дровосушки.

Этот сверток давил ее всю дорогу, как камень, и она начинала догадываться, что это такое. Только дома, когда старая Марковна улеглась спать, Федорка решилась посмотреть, что ей сунул Прошка. Это был новенький кумачный платок, о каком она давно мечтала. У всех девок были такие платки, а у Федорки не было.

«Это беспременно от Павлыча», — думала Федорка, лежа на полатях.

Федорке никто и никогда ничего не дарил. Она десять раз принималась рассматривать платок, примеряла его и даже понюхала.

Платок был отличный и, наверно, стоил копеек сорок. Но с другой стороны — зачем Павлыч заманивал ее? Павлыч был женатый человек...

Раздумавшись на эту тему, Федорка обиделась и

даже поплакала про себя, а платок решила отдать обратно.

«Ишь какой выискался!.. Тоже выдумал подъезжать», — думала Федорка, когда шла утром на другой день на работу и несла в пазухе платок.

Вызвав Прошку из машинной, Федорка сердито спросила его, откуда он достал платок? Прошка только скалил зубы, переминался с ноги на ногу и ничего не отвечал.

— Ах, ты, онемел, что ли?.. — рассердилась Федорка совсем. — Вот я тебя как учну за вихры таскать, холеру, так у меня заговоришь... Ну?

— Не велено сказать... — лукаво отвечал Прошка.

Федорка бросила ему платок и ушла на работу.

Она была очень весела весь день, довольная собственным поведением. Ишь чем вздумал обманывать девку... тоже нашел дуру!.. Федорка все думала о том, как лет через пять Прошка будет совсем настоящий рабочий, и тогда они заживут, как при покойном отце... Может, и жених выищется, ежели она соблюдет себя... А тут платок!

Павлыч был не злой мужик; он не рассердился, в душе даже похвалил Федорку, и Прошка попрежнему оставался в машинной.

От тепла и легкой работы мальчик за зиму заметно поправился и выглядел таким здоровым и бойким. Федорка иногда любовалась им, наблюдая издали, как Прошка бегал по фабрике с другими ребятами.

— Мне, мамынька, теперь хорошо ро́бить!.. — хвастался Прошка, когда приходил на праздник в свою избушку.

— И слава богу, а ты старайся... потрафляй, Прошенька. Ласковое телятко двух маток сосет...

— Я, мамынька, и то стараюсь!.. Когда машинист за водкой пошлет, так ровно молния дуешь в кабак, только голяшки сверкают... Верно!

Машинист в хорошем расположении духа иногда позволял Прошке «отдать свисток», и мальчик был в восторге, повертывая кран. Пар с хрипом бросался по железной трубке, и медный свисток гудел на весь Першинский завод своим волчьим воем. Прошка был

в восторге, точно он собственными руками распускал по домам или собирал на фабрику сотни рабочих. Он даже с удовольствием вспоминал о недавней работе на пожоге, где теперь выматывали руки и спины на морозе другие дети. Иногда он для развлечения забегал на пожог посмотреть, как маются старые приятели. Мальчики смотрели на Прошку с завистью и обещали отдуть хорошенько при случае.

VIII

Только с одним никак не мог помириться Прошка: в тепле он просто «млел» от сна и, как крыса, ухитрялся засыпать по разным потаенным углам. Особенно по утрам донимал этот мертвый сон Прошку, и он ходил около машины, как шальной. Машинист, обходя машины, не один раз вытаскивал Прошку за ухо из таких мест, куда, кажется, не пролезть и лягушке, а Прошка ухитрялся спать, как зарезанный, не обращая внимания на грохот, свист и лязг работавшей машины.

— Эй ты, черт, куда залез? — ругался машинист, задавая Прошке приличную встрепку. — Вот ужо попадешь в ремень или шестерню куда, так наотвечаешься за тебя.

Прошка скоро забывал эти хорошие советы, и его опять находили где-нибудь под вертевшимся колесом.

Раз ему машинист поручил наблюдать какой-то клапан у паровика, — ослабла пружина, и машинист боялся, чтобы кого-нибудь не обожгло паром.

Дело было ранним утром. Прошка крепился, сколько мог, и кончил тем, что заснул на полу под самым клапаном. Машинист вспомнил о нем только тогда, когда из клапана вырвалась с оглушительным свистом струя горячего пара и наполнила всю машинную белой сырой мглой. Прошка был обварен паром, как рыба, и его без памяти привезли домой в таком виде, что Марковна никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратились в один сплошной пузырь, глаз не было видно, и кожа отставала от живого мяса лоскутьями.

Приехал заводский фельдшер, посмотрел больного, обложил его примочками и долго качал головой.

— Родимый мой... голубчик!.. Один ведь он у меня! — голосила Марковна, валяясь в ногах у фельдшера.

— Что же делать: сам виноват... Его на дело поставили, а он уснул. Будем лечить, может, и поправится.

— Да ведь мальчонка!.. Еще велико ли место! С кого взыскивать-то!.. И большой заснет в другой раз...

— Это уж не мое дело.

Дня через три Прошка как будто немного отошел и начал говорить. Федорка и Марковна не спали над ним ночей и думали, что он поправится.

Но эта надежда не сбылась: болезнь повернула круто назад, и Прошка опять впал в забытье и просыпался только затем, чтобы бредить.

Больше всего его беспокоил фабричный свисток: как только загудит, — больной мальчик порывался соскочить и начинал бредить фабрикой, искал шапку и свои коты.

Особенно была страшна последняя ночь.

Уставшая Марковна заснула на полу, а Федорка караулила больного. С утренним свистком она уходила на работу. С вечера Прошка сильно метался и бредил, а к утру затих. Федорка тоже чуть не заснула, но ее разбудил шепот больного:

— Фабрику... скорее... слышишь!..

Действительно, гудел свисток, сзывал на работу...

Вскочила Федорка, взглянула на Прошку, а он и дышать перестал.

Со смертью Прошки у старой Марковны не осталось больше никакой надежды.

Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины.

Так и сгинула вся семья.

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечно зеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьева гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными

трущобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем вросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и выслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!.. — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой. Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем

помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка... — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть...»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внучка, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке.

отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня... — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри, не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком,— все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нем с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом. А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшее ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы. Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад. Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на

дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи... — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге. «Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля. Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вон он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще. Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеет дохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах... Вот грянул выстрел, и олень, как

стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром был здесь... Лыско, ищи, голубчик!..»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внучка: «Дедко, добудь теленка... И непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости, стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками: красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим

сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, — только его и видел. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Больной мальчик с удовольствием поел глухариной

похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

I

Старик лежал на своей лавочке, у печи, закрывшись старой дохой из вылезших оленьих шкур. Было рано или поздно — он не знал, да и знать не мог, потому что светало поздно, а небо еще с вечера было затянуто низкими осенними тучами. Вставать ему не хотелось: в избушке было холодно, а у него уже несколько дней болели и спина и ноги. Спать он тоже не хотел, а лежал так, чтобы провести время. Да и куда ему было торопиться? Его разбудило осторожное царапанье в дверь, — это просился Музгарко, небольшая пестрая вогульская собака, жившая в этой избушке уже лет десять.

— Я вот тебе задам, Музгарко!.. — заворчал старик, кутаясь в свою доху с головой. — Ты у меня поцарапайся...

Собака на время перестала скоблить дверь своей лапой и потом вдруг взвыла протяжно и жалобно.

— Ах, штоб тебя волки съели!.. — обругался старик, поднимаясь с лавки.

Он в темноте подошел к двери, отворил ее и все понял, — отчего у него болела спина и отчего завыла собака. Все, что можно было рассмотреть в приотворенную дверь, было покрыто снегом. Да, он ясно теперь видел, как в воздухе кружилась живая сетка из

мягких, пушистых снежинок. В избе было темно, а от снега все видно — и зубчатую стенку стоявшего за рекой леса, и надувшуюся почерневшую реку, и каменистый мыс, выдававшийся в реку круглым уступом. Умная собака сидела перед раскрытой дверью и такими умными, говорящими глазами смотрела на хозяина.

— Ну, што же, значит, конец!.. — ответил ей старик на немой вопрос собачьих глаз. — Ничего, брат, не поделаешь... Шабаш!..

Собака вильнула хвостом и тихо взвизгнула тем ласковым визгом, которым встречала одного хозяина.

— Ну, шабаш, ну, што поделаешь, Музгарко!.. Прокатилось наше красное летечко, а теперь заляжем в берлоге...

На эти слова последовал легкий прыжок, и Музгарко очутился в избушке раньше хозяина.

— Не любишь зиму, а? — разговаривал старик с собакой, растопляя старую печь, сложенную из дикого камня. — Не нравится, а?..

Колебавшееся в челе печки пламя осветило лавочку, на которой спал старик, и целый угол избушки. Из темноты выступали закопченные бревна, покрытые кое-где плесенью, развешанная в углу сеть, недоконченные новые лапти, несколько беличьих шкурок, болтавшихся на деревянном крюку, а ближе всего сам старик — сгорбленный, седой, с ужасным лицом. Это лицо точно было сдвинуто на одну сторону, так что левый глаз вытек и закрылся припухшим веком. Впрочем, безобразие отчасти скрадывалось седой бородой. Для Музгарки старик не был ни красив, ни некрасив.

Пока старик растоплял печь, уже рассвело. Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было больно светить. В избушке едва можно было рассмотреть дальнюю стену, у которой тянулись широкие нары, устроенные из тяжелых деревянных плах. Единственное окно, наполовину залепленное рыбьим пузырем, едва пропускало свет. Музгарко сидел у порога и терпеливо наблюдал за хозяином,

изредка виляя хвостом. Но и собачьему терпенью бывает конец, и Музгарко опять слабо взвизгнул.

— Сейчас, не торопись, — ответил ему старик, придвигая к огню чугунный котелок с водой. — Успеешь...

Музгарко лег и, положив остромордую голову в передние лапы, не спускал глаз с хозяина. Когда старик накинул на плечи дырявый пониток, собака радостно залаяла и бросилась в дверь.

— То-то вот у меня поясница третий день болит, — объяснил старик собаке на ходу. — Оно и вышло, што к ненастью. Вона как снежок подваливает...

За одну ночь все кругом совсем изменилось, — лес казался ближе, река точно сузилась, а низкие зимние облака ползли над самой землей и только не цеплялись за верхушки елей и пихт. Вообще вид был самый печальный, а пушинки снега продолжали кружиться в воздухе и беззвучно падали на помертвевшую землю. Старик оглянулся назад, за свою избушку — за ней уходило ржавое болото, чуть тронутое кустиками и жесткой болотной травой. С небольшими перерывами это болото тянулось верст на пятьдесят и отделяло избушку от всего живого мира. А какая она маленькая показалась теперь старику, эта избушка, точно за ночь вросла в землю...

К берегу была причалена лодка-душегубка. Музгарко первый вскочил в нее, оперся передними лапами на край и зорко посмотрел вверх реки, туда, где выдавался мыс, и слабо взвизгнул.

— Чему обрадовался спозаранку? — окликнул его старик. — Погоди, может, и нет ничего...

Собака знала, что есть, и опять взвизгнула: она видела затонувшие поплавки закинутой в омуте снасти. Лодка полетела вверх по реке у самого берега. Старик стоял на ногах и гнал лодку вперед, подпираясь шестом. Он тоже знал по визгу собаки, что будет добыча. Снасть действительно огрузла самой серединой, и, когда лодка подошла, деревянные поплавки повело книзу.

— Есть, Музгарко...

Снасть состояла из брошенной поперек реки бечевы с поводками из тонких шнуров и волосяной лесы. Ка-

ждый поводок заканчивался острым крючком. Подъехав к концу снасти, старик осторожно начал выбирать ее в лодку. Добыча была хорошая: два больших сига, несколько судаков, щука и целых пять штук стерлядей. Щука попалась большая, и с ней было много хлопот. Старик осторожно подвел ее к лодке и сначала оглушил своим шестом, а потом уже вытащил. Музгарко сидел в носу лодки и внимательно наблюдал за работой.

— Любишь стерлядку? — дразнил его старик, показывая рыбу. — А ловить не умеешь... Погоди, заварим сегодня уху. К ненастью рыба идет лучше на крюк... В омуте она теперь сбивается на зимнюю лежанку, а мы ее из омута и будем добывать: вся наша будет. Лучить ужо поедем... Ну, а теперь айда домой!.. Судаков-то подвесим, высушим, а потом купцам продадим...

Старик запасал рыбу с самой весны: часть вялил на солнце, другую сушил в избе, а остатки сваливал в глубокую яму вроде колодца; эта последняя служила кормом Музгарке. Свежая рыба не переводилась у него целый год, только не хватало у него соли, чтобы ее солить, да и хлеба не всегда доставало, как было сейчас. Запас ему оставляли с зимы до зимы.

— Скоро обоз придет, — объяснил старик собаке. — Привезут нам с тобой и хлеба, и соли, и пороху... Вот только избушка наша совсем развалилась, Музгарко.

Осенний день короток. Старик все время проходил около своей избушки, поправляя и то и другое, чтобы лучше ухорониться на зиму. В одном месте мох вылез из пазов, в другом — бревно подгнило, в третьем — угол совсем осел и, того гляди, отвалится. Давно бы уж новую избушку пора ставить, да одному все равно ничего не поделать.

— Как-нибудь, может, перебьюсь зиму, — думал старик вслух, постукивая топором в стену. — А вот обоз придет, так тогда...

Выпавший снег все мысли старика сводил на обоз, который приходил по первопутку, когда вставали реки. Людей он только и видел один раз в году. Было о чем

подумать. Музгарко отлично понимал каждое слово хозяина и при одном слове «обоз» смотрел вверх реки и радостно взвизгивал, точно хотел ответить, что вон, мол, откуда придет обоз-то — из-за мыса.

К избе был приделан довольно большой низкий сруб, служивший летом амбаром, а зимой казармой для ночлега ямщиков. Чтобы защитить от зимней непогоды лошадей, старик с осени устраивал около казармы из молодых пушистых пихт большую загородку. Намаются лошади тяжелой дорогой, запотеют, а ветер дует холодный, особенно с солновосхода. Ах, какой бывает ветер! — даже дерево не выносит и поворачивает свои ветви в теплую сторону, откуда весной летит всякая птица.

Кончив работу, старик сел на обрубок дерева под окном избушки и задумался. Собака села у его ног и положила свою умную голову к нему на колени. О чем думал старик? Первый снег всегда и радовал его и наводил тоску, напоминая старое, что осталось вон за теми горами, из которых выбегала река Студеная. Там у него были и свой дом, и семья, и родные были, а теперь никого не осталось. Всех он пережил, и вот где привел бог кончать век: умрет — некому глаза закрыть. Ох, тяжело старое одиночество, а тут лес кругом, вечная тишина, и не с кем слова сказать. Одна отрада оставалась: собака. И любил же ее старик гораздо больше, чем любят люди друг друга. Ведь она для него была все и тоже любила его. Не один раз случалось так, что на охоте Музгарко жертвовал своей собачьей жизнью за хозяина, и уже два раза медведь помял его за отчаянную храбрость.

— А ведь стар ты стал, Музгарко, — говорил старик, гладя собаку по спине. — Вон и спина прямая стала, как у волка, и зубы притупились, и в глазах муть... Эх, старик, старик, съедят тебя зимой волки!.. Пора, видно, нам с тобой и помирать...

Собака была согласна и помирать... Она только теснее прижималась всем телом к хозяину и жалобно моргала. А он сидел и все смотрел на почерневшую реку, на глухой лес, зеленой стеной уходивший на сотни верст туда, к студеному морю, на чуть брез-

жившие горы в верховьях Студеной, — смотрел и не шевелился, охваченный своей тяжелой стариковской думой.

Вот о чем думал старик.

Родился и вырос он в глухой лесной деревушке Чалпан, засевшей на реке Колве. Место было глухое, лесистое, хлеб не родился, и мужики промышляли кто охотой, кто сплавом леса, кто рыбной ловлей. Деревня была бедная, как почти все деревни в Чердынском крае, и многие уходили на промысел куда-нибудь на сторону: на солеваренные промыслы в Усолье, на плотбища по реке Вишере, где строились лесопромышленниками громадные баржи, на железные заводы по реке Каме.

Старик тогда был совсем молодым, и звали его по деревне Елеской Шишмарем, — вся семья была Шишмари. Отец промышлял охотой, и Елеска с ним еще мальчиком прошел всю Колву. Били они и рябчика, и белку, и куницу, и оленя, и медведя, — что попадет. Из дому уходили недели на две, на три. Потом Елеска вырос, женился и зажил своим домом в Чалпане, а сам попрежнему промышлял охотой. Стала потихоньку у Елески подрастать своя семья — два мальчика да девочка; славные ребятки росли и были бы отцу подмогой на старости лет. Но богу было угодно другое: в холерный год семья Елески вымерла... Случилось это горе осенью, когда он ушел с артелью других охотников в горы за оленями. Ушел он семейным человеком, а вернулся бобылем. Тогда половина народу в Чалпане вымерла: холера прошла на Колву с Камы, куда уходили на сплавы чалпанские мужики. Они и занесли с собой страшную болезнь, которая косила людей, как траву.

Долго горевал Елеска, но второй раз не женился: поздно было вторую семью заводить. Так он и остался бобылем и пуще прежнего занялся охотой. В лесу было весело, да и привык уж очень к такой жизни Елеска. Только и тут стряслась с ним великая беда. Обошел он медвежью берлогу, хорошего зверя подглядел и уже вперед рассчитал, что в Чердыни за медвежью шкуру получит все пять рублей. Не в первый

раз выходил на зверя с рогатиной да с ножом; но на этот раз сплоховал: поскользнулась у Елески одна нога, и медведь насел на него. Рассвирепевший зверь обломал охотника насмерть, а лицо сдвинул ударом лапы на сторону. Едва приполз Елеска из лесу домой, и здесь свой знахарь лечил его целых полгода; остался жив, а только сделался уродом. Не мог далеко уходить в лес, как прежде, когда ганивал сохатого на лыжах верст по семидесяти, не мог промышлять наравне с другими охотниками, — одним словом, пришла беда неминучая.

В своей деревне делать Елеске было нечего, кормиться мирским подаянием не хотел, и отправился он в город Чердынь, к знакомым купцам, которым раньше продавал свою охотничью добычу. Может, место какое-нибудь обыщут Елеске богатые купцы. И нашли.

— Бывал на волоке с Колвы на Печору? — спрашивали его промышленники. — Там на реке Студеной зимовье, — так вот тебе быть там сторожем... Вся работа только зимой: встретить да проводить обозы, а там гуляй себе целый год. Харч мы тебе будем давать, и одежду, и припас всякий для охоты — поблизости от зимовья промышлять можешь.

— Далеконько, ваше степенство... — замялся Елеска. — Во все стороны от зимовья верст на сто жилья нет, а летом туда и не пройдешь.

— Уж это твое дело; выбирай из любых: дома голодать или на зимовье барином жить...

Подумал Елеска и согласился, а купцы высылали ему и харч и одежду только один год. Потом Елеска должен был покупать все на свои деньги от своей охоты и рыбной ловли на зимовке. Так он и жил в лесу. Год шел за годом. Елеска состарился и боялся только одного, что придет смертный час и некому будет его похоронить.

II

До обоза, пока реки еще не стали, старик успел несколько раз сходить на охоту. Боровой рябчик поспел давно, но бить его не стоило, потому что все равно сгниет в тепле. Обозный приказчик всегда поку-

пал у старика рябчиков с особым удовольствием, потому что из этих мест шел крепкий и белый рябчик, который долго не портился, а это всего важнее, потому что убитые на Студеной рябчики долетали до Парижа. Их скупали купцы в Чердыни, а потом отправляли в Москву, а из Москвы рябчиков везли громадными партиями за границу. Старик на двадцать верст от своей избушки знал каждое дерево и с лета замечал все рябиные выводки, где они высиживались, паслись и кормились. Когда выводки поспевали, он знал, сколько штук в каждом, но для себя не прочил ни одного, потому что это был самый дорогой товар, и он получал за него самый дорогой припас — порох и дробь.

Нынешняя охота посчастливилась необыкновенно, так что старик заготовил пар тридцать еще до прихода обоза и боялся только одного: как бы не ударила ростепель. Редко случалась такая ростепель на Студеной, но могла и быть.

— Ну, теперь мы с тобой на припас добыли, — объяснял старик собаке, с которой всегда разговаривал, как с человеком. — А пока обоз ходит с хлебом на Печору, мы и харч себе обработаем... Главное — соли добыть побольше. Ежели бы у нас с тобой соль была, так богаче бы нас не было вплоть до самой Чердыни.

О соли старик постоянно говорил: «Ах, кабы соль была — не житье, а рай». Теперь рыбу ловил только для себя, а остальную сушил, — какая цена такой сушеной рыбе? А будь соль, тогда бы он рыбу солил, как печорские промышленники, и получал бы за нее вдвое больше, чем теперь. Но соль стоила дорого, а запасать ее приходилось бы пудов по двадцати, — где же такую уйму деньжищ взять, когда с грехом пополам хватало на харч да на одежду? Особенно жалел старик, когда летним делом, в петровки, убивал оленя: свежее мясо портится скоро, — два дня поесть оленины, а потом бросай! Сушеная оленина — как дерево.

Стала и Студеная. Горная холодная вода долго не замерзает, а потом лед везде проедается полыньями.

Это ключи из земли бьют. Запасал теперь старик и свежую рыбу, которую можно было сейчас морозить, как рябчиков. Лиха беда в том, что времени было мало. Того и гляди, что подвалит обоз.

— Скоро, Музгарко, харч нам придет...

Собственно, хлеб у старика вышел еще до заморозков, и он подмешивал к остаткам ржаной муки толченую сухую рыбу. Есть одно мясо или одну рыбу было нельзя. Дня через три так отобьет, что потом в рот не возьмешь. Конечно, самоеды и вогулы питаются одной рыбой, так они к этому привычны, а русский человек — хлебный и не может по-ихнему.

Обоз пришел совершенно неожиданно. Старик спал ночью, когда заскрипели возы и послышался крик:

— Эй, дедушка, жив ли ты?.. Примай гостей... Давно не видались.

Старика больше всего поразило то, что Музгарко прокараулил дорогих, жданных гостей. Обыкновенно он чуял их, когда обоз еще был версты за две, а нынче не слыхал. Он даже не выскочил на улицу, чтобы полаять на лошадей, а стыдливо спрятался под хозяйскую лавку и не подал голоса.

— Музгарко, да ты в уме ли! — удивлялся старик. — Проспал обоз... ах, нехорошо!..

Собака выползла из-под лавки, лизнула его в руку и опять скрылась: она сама чувствовала себя виноватой.

— Эх, стар стал: нюх потерял, — заметил с грустью старик. — И слышит плохо на левое ухо.

Обоз состоял возов из пятидесяти... На Печору чердынские купцы отправляли по первопутку хлеб, соль, разные харчи и рыболовную снасть, а оттуда вывозили свежую рыбу. Дело было самое спешное, чтобы добыть печорскую рыбу раньше других, — шла дорогая печорская семга. Обоз должен сломать трудную путину в две недели, и ямщики спали только во время кормежек, пока лошади отдыхали. Особенно торопились назад, тогда уж и спать почти не приходилось. А дорога через волок была трудная, особенно горами. Дорога скверная, каменистая, сани некованые, а по речкам везде наледи да промоины. Много тут погуб-

лено хороших лошадей, а людям приходилось работать, как нигде: вывозить возы в гору на себе, добывать их из воды, вытаскивать из раскатов. Только одни колвинские ямщики и брались за такую проклятую работу, потому что гнала на Печору горькая нужда.

В зимовье на Студеной обоз делал передышку: вместо двухчасовой кормежки лошади здесь отдыхали целых четыре. Казарму старик подтопил заранее, и ямщики, пустив лошадей к корму, завалились спать на деревянных нарах ямщичьим мертвым сном. Не спал только молодой приказчик, еще в первый раз ехавший на Печору. Он сидел у старика в избушке и разговаривал.

— И не страшно тебе в лесу, дедушка?

— А чего бояться, Христос с нами! Привычное наше дело. В лесу выросли.

— Да как же не бояться: один в лесу...

— А у меня песик есть... Вот вдвоем и коротаем время. По зимам вот волки одолевают, так он мне вперед сказывает, когда придут они в гости. Чует... И дошлая: сама поднимает волков. Они бросятся за ней, а я их из ружья... Умнеющая собака: только не скажет, как человек. Я с ней всегда разговариваю, а то, пожалуй, и говорить разучишься...

— Откуда же ты такую добыл, дедушка?

— А бог мне ее послал... Не ладно это про пса говорить, а только оно похоже. Давно это было, почитай годов с десять. Вот по зиме, этак перед рождеством, выслеживал я в горах лосей... Была у меня собачка, еще с Колвы привел. Ну, ничего, правильный песик: и зверя брал, и птицу искал, и белку — все как следует. Только иду я с ним по лесу, и вдруг вот этот Музгарко прямо как выскочит на меня. Даже испугал... Не за обычай это у наших промысловых собак, штобы к незнакомому человеку ластиться, как к хозяину, а эта так прямо ко мне и бросилась. Вижу, што дело как будто неладно. А он этак смотрит на меня, умненько таково, а сам ведет все дальше... И што бы ты думал, братец ты мой, ведь привел! В логовине этак вижу шалашик из хвои, а из шалашика чуть пар... Подхожу: В шалашике вогул лежит, болен, значит, и от своей

артели отстал... Пряменько сказать: помирал человек. На охоте его ухватила немочь, другим-то не ждать. Увидал меня, обрадовался, а сам едва уж языком ворочает. Больше все руками объяснял. Вот он меня и благословил этим песиком... При мне и помер, сердяга, а я его закопал в снегу, заволок хворостом да бревном придавил сверху, штобы волки не съели. А Музгарко, значит, мне достался... Это по речке я его и назвал, где вогул помирал: Музгаркой звать речку, ну, я и собаку так же назвал. И умный песик... По лесу идет, так после него хоть метлой подметай, — ничего не найдешь. Ты думаешь, он вот сейчас не понимает, што о нем говорят?.. Все понимает...

— Зачем он под лавкой-то лежит?

— А устыдился, потому обоз прокараулил. Стар стал... Два раза меня от медведя ухранял: медведь-то на меня, а он его и остановил. Прежде я с рогатиной ходил на медведя, когда еще в силе был, а как один меня починил, ну, я уж из ружья норовлю его свалить. Тоже его надо умеючи взять: смышлястый зверь.

— Ну, а зимой-то, поди, скучно в избушке сидеть?

— Привышное дело... Вот только праздники когда, так скушновато. Добрые люди в храме божьем, а у меня волки обедню завывают. Ну, я тогда свечку затеплю перед образом, и сам службу пою... Со слезами тоже молюсь.

Славный этот приказчик, молодой такой, и все ему надо знать. Елеска обрадовался живому человеку и все рассказывал про свою одинокую жизнь в лесу.

— У меня по весне праздник бывает, милый человек, когда с теплого моря птица прилетит. И сколько ее летит: туча... По Студеной-то точно ее насыпано... Всякого сословия птица: и утки, и гуси, и кулики, и чайки, и гагары... Выйдешь на заре, так стон стоит по Студеной. И нет лучше твари, как перелетная птица: самая божья тварь... Большие тыщи верст летит, тоже устанет, затощает и месту рада. Прилетела, вздохнула денек и сейчас гнездо налаживать... А я хожу и смотрю: мне бог гостей прислал. И как наговаривают... Слушаешь, слушаешь, инда слеза проймет. Любезная тварь — перелетная птица... Я ее не трогаю, потому

трудница перед господом. А когда гнезда она строит, это ли не божецкое произволенье... Человеку так не состроить. А потом матки с выводками на Студеную выплывут... Красота, радость... Плавают, полощутся, гогочут... Неочерпаемо здесь перелетной птицы. Праздником все летечко прокатится, а к осени начнет птица грудиться стайками: пора опять в дорогу. И собираются, как люди... Лопочут по-своему, суетятся, молодых учат, а потом и поднялись... Ранним утром снимаются с места, вожак в голове летит. А есть и такие, которые остаются: здоровьем слаба выйдет, или позднышки выведутся... Жаль на них глядеть. Кричат, бедные, когда мимо них стая за стаей летит. На Студеной все околачиваются. Плавают-плавают, пока забереги настынут, потом в полыньях кружатся... Ну, этих уже я из жалости пришибу. Што ей маяться-то, все равно сгибнет... Лебеди у меня тут в болоте гнезда вьют. Всякой твари свое произволенье, свой предел... Одного только у меня не хватает, родной человек: который год прошу ямщиков, штобы петушка мне привезли... Зимой-то ночи долгие, конца нет, а петушок-то и сказал бы, который час на дворе.

— В следующий раз я тебе привезу самого горластого, дедушка: как дьякон будет орать.

— Ах, родной, то-то уважил бы старика... Втроем бы мы вот как зажили! Скучно, когда по зимам мертвая тишь встанет, а тут бы петушок, глядишь, и взвеселил. Тоже не простая тваринка, петушок-то; другой такой нет, чтобы часы сказывала. На потребу человеку петушок сотворен.

Приказчика звали Флегонтом. Он оставил старому Елеске и муки, и соли, и новую рубаху, и пороху, а на обратном пути с Печоры привез подарок.

— Я тебе часы привез, дедушка, — весело говорил он, подавая мешок с петухом.

— Ах, кормилец, ах, родной... Да как я тебя благодарить буду? Ну, пошли тебе бог всего, чего сам желаешь. Поди и невеста где-нибудь подгляжена, так любовь да совет...

— Есть такой грех, дедушка, — весело ответил Флегонт, встряхивая русыми кудрями. — Есть в Чердыни

два светлых глаза: посмотрели они на меня, да и заворожили... Ну, оставайся с богом.

— Соболька припасу твоей невесте на будущую осень, как опять поедешь на Печору. Есть у меня один на примете.

Ушел обоз в обратный путь, и остался старик с петушком. Радости-то сколько!.. Пестренький петушок, гребешок красненький — ходит по избушке, каждое перышко играет. А ночью как гаркнет... То-то радость и утешение! Каждое утро стал Елеска теперь разговаривать со своим петушком, и Музгарко их слушает.

— Што, завидно тебе, старому? — дразнит Елеска собаку. — Только твоего и ремесла, што лаять... А вот ты по-петушиному спой!..

Заметил старик, как будто заскучал Музгарко. Понурый такой ходит... Неможется что-то собаке. Должно полагать, ямщики сглазили.

— Музгарушко, да што это с тобой попритчилось? Где болит?

Лежит Музгарко под лавкой, положил голову между лапами и только глазами моргает.

Всполошился старик: накатилась беда неожиданная. А Музгарко все лежит, не ест, не пьет и голосу не подает.

— Музгарушко, милый!

Вильнул хвостом Музгарко, подполз к хозяину, лизнул руку и тихо взвыл. Ох, плохо дело!..

III

Ходит ветер по Студеной, наметает саженные сугробы снега, завывает в лесу, точно голодный волк, избушка Елески совсем потонула в снегу. Торчит без малого одна труба, да вьется из нее синяя струйка дыма...

Воет пурга уже две недели, две недели не выходит из своей избушки старик и все сидит над больной собакой. А Музгарко лежит и едва дышит: пришла Музгаркина смерть.

— Кормилец ты мой... — плачет старик и целует верного друга. — Родной ты мой... ну, где болит?..

Ничего не отвечает Музгарко, как раньше. Он давно почуял свою смерть и молчит... Плачет, убивается старик, а помочь нечем: от смерти лекарства нет. Ах, горе какое лютое привалилось!.. С Музгаркой умерла последняя надежда старика, и ничего, ничего не оставалось для него, кроме смерти. Кто теперь будет искать белку, кто облает глухаря, кто выследит оленя? Смерть без Музгарки, ужасная голодная смерть. Хлебного припаса едва хватит до крещенья, а там помирать...

Воет пурга, а старик вспоминает, как жил он с Музгаркой, как ходил на охоту и промышлял себе добычу. Куда он без собаки?

А тут еще волки... Учуяли беду, пришли к избушке и завыли. Целую ночь так-то выли, надрывая душу. Некому теперь пугнуть их, облаять, подманить на выстрел... Вспомнился старику случай, как одолевал его медведь-шатун. Шатунами называют медведей, которые во-время не залегли с осени в берлогу и бродят по лесу. Такой шатун — самый опасный зверь... Вот и повадился медведь к избушке: учуял запасы у старика. Как ночь, так и придет. Два раза на крышу залезал и лапами разгребал снег. Потом выворотил дверь в казарме и утащил целый ворох запасенной стариком рыбы. Донял-таки шатун Елеску до самого нельзя. Озлобился на него старик за озорство, зарядил винтовку пулей и вышел с Музгаркой. Медведь так и прянул на старика и наверно бы его смял под себя, прежде чем тот успел бы в него выстрелить, но спас Музгарко. Ухватил он зверя сзади и посадил, а Елескина пуля не знала промаха... Да мало ли было случаев, когда собака спасала старика...

Музгарко издох перед самым рождеством, когда мороз трещал в лесу. Дело было ночью. Елеска лежал на своей лавочке и дремал. Вдруг его точно что кольнуло. Вскочил он, вздул огня, зажег лучину, подошел к собаке, — Музгарко лежал мертвый. Елеска похолодел: это была его смерть.

— Музгарко, Музгарко... — повторял несчастный старик, целуя мертвого друга. — Што я теперь делать буду без тебя?

Не хотел Елеска, чтобы волки съели мертвого Музгарко, и закопал его в казарме. Три дня он долбил мерзлую землю, сделал могилку и со слезами похоронил в ней верного друга.

Остался один петушок, который попрежнему будил старика ночью. Проснется Елеска и сейчас вспомнит про Музгарко. И сделается ему горько и тошно до смерти. Поговорить не с кем. Конечно, петушок птица занятная, а все-таки птица и ничего не понимает.

— Эх, Музгарко! — повторял Елеска по нескольку раз в день, чувствуя, как все начинает у него валиться из рук.

Бедным людям приходится забывать свое горе за работой. Так было и тут. Хлебные запасы приходили к концу, и пора было Елеске подумать о своей голове. А главное, тошно ему теперь показалось оставаться в своей избушке.

— Эх, брошу все, уйду домой на Колву, а то в Чердынь проберусь! — решил старик.

Поправил он лыжи, на которых еще молодым гонял оленей, снарядил котомку, взял запасу дней на пять, простился с Музгаркиной могилой и тронулся в путь. Жаль было петушка оставлять одного, и Елеска захватил его с собой: посадил в котомку и понес. Отошел старик до каменного мыса, оглянулся на свое жилье и заплакал: жаль стало насиженного теплого угла.

— Прощай, Музгарко...

Трудная дорога вела с зимовья на Колву. Сначала пришлось идти на лыжах по Студеной. Это было легко, но потом начались горы, и старик скоро выбился из сил. Прежде-то, как олень, бегал по горам, а тут на двадцати верстах обессилел. Хоть ложись и помирай... Выкопал он в снегу ямку поглубже, устлал хвоей, развел огонька, поел, что было в котомке, и прилег отдохнуть. И петушка закрыл котомкой... С устали он скоро заснул. Сколько он спал, долго ли, коротко ли, только проснулся от петушиного крика.

«Волки...» — мелькнуло у него в голове.

Но хочет он подняться и не может, точно кто его связал веревками. Даже глаз не может открыть... Еще раз крикнул петух и затих: его вместе с котомкой

утащил из ямы волк. Хочет подняться старик, делает страшное усилие и слышит вдруг знакомый лай: точно где-то под землей взлаял Музгарко. Да, это он... Ближе, ближе — это он по следу нижним чутьем идет. Вот уже совсем близко, у самой ямы... Открывает Елеска глаза и видит: действительно, Музгарко, а с Музгаркой тот самый вогул, первый его хозяин, которого он в снегу схоронил.

— Ты здесь, дедушка? — спрашивает вогул, а сам смеется. — Я за тобой пришел...

Дунул холодный ветер, рванул комья снега с высоких елей и пихт, и посыпался он на мертвого Елеску; к утру от его ямки и следов не осталось.

ПОСТОЙКО

Рассказ

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома, — его выпускали погулять в это время.

— А, ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост палкой. — Я тебе задам...

Постойко задрал еще сильнее свой пушистый хвост, свернутый кольцом, ощетинился и смело пошел на врага. Они встречались каждый день в это время и каждый раз дрались до остервенения. Охотничий пес не мог видеть равнодушно кудластого дворового пса, а тот в свою очередь сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхоленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке, в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных собак. Враги медленно подходили друг к другу, поднимали шерсть, скалили зубы, и только хотели вцепиться, как вдруг в воздухе свистнула длинная веревка и змеей обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стрем-

глав, спасаясь от бежавших за ним людей с веревками. Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде все было еще заперто. Впереди выбежали дворники и загородили Постойке дорогу. Опять свистнула веревка, и Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то верзила, подтаскивая несчастную собаку к большому фургону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но проклятая веревка ужасно давила шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жавшихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами, — пропищала болонка, сторонясь от уличных собак. — Моя генеральша узнает, так задаст...

Эта противная собачонка ужасно важничала, и Постойко с удовольствием потрепал бы ее, но сейчас было не до нее. Пойманные собаки чувствовали себя сконфуженными и на время позабыли все свои собачьи расчеты. Спокойнее всех держал себя водолаз. Он не обращал ни на кого внимания, улегся по самой середине и зажмурился с такой важностью, точно какая важная особа.

— Господин водолаз, как вы полагаете? — обратилась к нему болонка, виляя пушистым белым хвостом. — Здесь так грязно, а я не привыкла... Наконец, какое общество... фи!.. Конечно, меня схватили по ошибке и сейчас же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь отвратительно...

Водолаз полуоткрыл один глаз, презрительно посмотрел на болонку и еще важнее задремал.

— Вы совершенно правы, сударыня, — ответил за него один из мопсов, приятно оскалясь. — Случилось простое недоразумение... Мы все попали сюда по ошибке.

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку, — откликнулся Аргус из своего угла: он немного

оправился от страха. — Я уже раз был на выставке и могу сказать, что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят...

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют и там повесят, — сообщила она приятную новость всей собачьей компании. — Я даже видела, как это делают. Длинный такой сарай, а в нем висят веревки...

— Ах, замолчите, мне дурно... — запищала болонка. — Ах, дурно!..

— Повесят? — удивился водолаз, открывая глаза. — Желал бы я знать, кто смеет подойти ко мне?..

Бедный Постойко весь задрожал, когда услыхал роковое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже что-то давит. За что же повесят? Неужели за то, что он хотел подраться с Аргусом?.. И Постойко и Аргус старались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и не встречались. Отчасти им было совестно, а отчасти и не до того, чтобы продолжать старую вражду.

«Пусть уж лучше Аргуса повесят, — думал Постойко, — только меня бы выпустили...»

Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных обстоятельствах каждый заботится больше всего только о себе одном. Фургон покатился дальше, и дверь с железной решеткой отворялась только для того, чтобы принять новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзила, заправлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой, — сказал он кучеру.

Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фургон все катился медленно и тяжело, точно на край света. Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, когда фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем дальше, тем было больше. Таким образом, в этой толкотне Постойко и

не заметил, как очутился рядом с Аргусом, даже ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой... — заметил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной собаки; но, узнав приятеля, прибавил шепотом: — А ведь скверная история, Постойко!.. Я по крайней мере не имею никакого желания болтаться на веревке... Впрочем, меня хозяин выкупит.

Постойко удрученно молчал. У него не было хозяина, а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад.

II

Приют для бродячих собак помещался на краю города, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из первого сарая послышался такой жалобный вой и лай, что у Постойки сердце сжалось. Пришел, видно, ему конец...

— Сегодня полон фургон, — хвастался верзила, когда вышел смотритель с коротенькой трубочкой в зубах.

— Рассортируйте их по породам... — приказал смотритель, равнодушно заглядывая в фургон.

— Господин смотритель! — пищала болонка. — Выпустите меня, пожалуйста: мне уж надоело сидеть в вашем дурацком фургоне.

Смотритель даже не взглянул на нее.

— Вот невежа!.. — ворчала болонка.

Когда отворили дверь сарая, где содержались собаки, там поднялись такой лай, визг и вой, что сжалось бы самое жестокое сердце. Верзила вытаскивал за шиворот из фургона одну собаку за другой и сносил в сарай. Появление новичка на время утишало бурю. Последним был выведен водолаз и помещен в особом отделении. С какой радостью встречали новичков сидевшие в заключении собаки, — точно дорогих гостей.

Они их обнюхивали, лизали и ласкали, как родных. Постойко попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лохматый Барбос.

— Да уж так... Только хотел подраться с одним франтом, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен... Такой голенастый и хвост палкой.

— С ошейником?

— Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.

— Ну, так его хозяин выкупит.

В течение нескольких минут Постойко узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, ее уводили в другой сарай и вздергивали на веревку. Постойко был ужасно огорчен: оставалось жить, может быть, всего пять дней... Это ужасно... И все из-за того только, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утешение, но все-таки утешение.

— Вот этой желтенькой собачонке осталось жить всего один день, — сообщал Барбос. — А вот той, пестрой, — сегодня...

— А тебе?

— Ну, мне еще долго: целых три дня. С часу на час жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь сидеть. Кстати, не хочешь ли закусить? Вот в корыте болтушка... Кушанье прескверное, но приходится жрать всякую дрянь...

Огорченный Постойко не мог даже подумать о пище. До еды ли, когда, того гляди, повесят! Он с ужасом смотрел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышались шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней.

— А ты все-таки закуси, — советовал Барбос. — Очень уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи собаки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворняги, и нам не до церемоний. Голод не тетка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов, а все так просто: за деревней река, за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, познакомился с ними, вернее сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря, — увидал деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!» Сначала Постойко отнесся к городскому мальчику очень недоверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил с ним играть, и они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился, что смело приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ: до того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойка с собой, как его ни уговаривали оставить эту затею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нем только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и ласкала, — они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках.

— Что же, можно и в городе жить, — согласился Барбос. — Только я одного не понимаю: за что такая честь этим моськам и болонкам? Даже обидно делается, когда на них смотришь... Ну, для чего они? Вот охотничьи собаки или водолазы — те другое дело. Положим, они важничают, но все-таки — настоящие собаки. А то какая-нибудь моська!.. тьфу!.. Даже и здесь им честь: их и вешают не в очередь, а ждут лишнюю неделю — не возьмет ли кто-нибудь. И находятся дураки — берут... Это просто несправедливо!.. Только бы мне выбраться отсюда, я бы задал моськам.

Не успел Барбос излить своего негодования, как появился смотритель в сопровождении горничной.

— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивал смотритель.

— Да... Такая маленькая, беленькая... зовут «Боби», — объяснила горничная.

— Я здесь, — запищала жалобно болонка.

— Ну, слава богу, — обрадовалась горничная. — А то генеральша пообещала отказать мне от места, если не разыщу собаки.

Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и ушла.

— Вот видишь, — заметил сердито Барбос. — Всегда так: настоящую собаку не ценят, а дрянь берегут и холят.

III

Как ужасно долго тянулись дни для заключенных... Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным светом, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. Просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водолаза слышался последним, точно кто колотил пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная тревога.

— Идут, идут!..

Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом все смолкало разом, когда никто не приходил.

Но вот слышались шаги... Все настораживалось. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в нее врывался яркий дневной свет, все мгновенно стихало. У деревянных решеток виднелись собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со своей неизменной трубочкой, за ним вышагивает верзила, ловивший собак арканом, — он же и вешал их. За ними являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей-то хозяин пришел!.. Кого выпустят на волю?.. Водолаз чуть не разломал решетку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжелая машина, оглушая лаем весь сарай!..

— Ну, что, брат, не понравилось? — шутил хозяин. — То-то, вперед будь умней...

Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходили. Смотритель обходил все отделения и коротко говорил:

— Повесьте очередных...

Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете, — с таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, в котором сидел Постойко, уведена была пестрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим мучителем; лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели желтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут... — говорил он утром. — Нет, этого не может быть!.. За что же меня вешать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут, — успокаивал его Постойко. — Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть на этого Барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего хозяина среди входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов, — говорили с отчаяньем эти добрые собачьи глаза. — Всего несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего несколько часов...

— Вот он!.. — крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решетке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. Приведенный в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах.

— Возьмите его, — сказал смотритель, указывая на Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него мороз пошел по коже: еще два дня, и его уведут точно так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночью не мог спать. Грезилась деревня, поля, леса... Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдешь. Да...

Прошел четвертый день.

Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще раз. Да, ему слышались и знакомые шаги и знакомый голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постойком, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в минуту такого отчаянья он вдруг слышит:

— Не у вас ли наша собака?

— А какой она породы?

— Да никакой породы, батюшка... Наша деревенская собака.

— Ну, назовите масть?

— Да масти нет никакой... так, — хвост закорючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите, — уж я узнаю...

— Ее Постойком зовут, — прибавил детский голос.

Постойко не поверил сначала собственным ушам... Столько раз он напрасно слышал эти голоса...

— Да вот он сидит, Постойко-то наш!.. — заговорила Андреевна, указывая на него. — Ах ты, милаш... Да как же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Постойке, — говорил смотритель. — Вон у нас сколько собак сидит... И жаль другую, а приходится убивать.

Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал Аргуса.

— Прощай, братец, — проговорил он, виляя хвостом. — Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли... — уныло ответил Аргус, провожая счастливца своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так висеть бы тебе на веревочке! — наставительно говорила Андреевна прыгавшему около нее Постойке. — Смотри у меня, пострел.

ПРИЕМЫШ

Из рассказов старого охотника

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме[1] Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы, еще немножко — и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь

[1] Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особенным образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охапка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутый в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в

ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко натапливал русскую печь и спал на полатях. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до француза», как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихотихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу, с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несет?

— А вот за *Приемышем* плавал, за лебедем... Все тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался, ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну, и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в ем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка... — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидал лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собольком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отпра-

вятся: лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живем втроем.

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст на пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболька. Только Соболько был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и недаром оно названо Светлым, — вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине нескольких сажен. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длиной озеро было до двадцати верст, да в ширину около девяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отдалился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по нескольку дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь князем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Собольком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом, да не дай, в другой раз и не пойдет. Свой карахтер тоже имеет, даром что птица... С Собольком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорил старик на прощанье. — Тогда рыбу лучить будем с острогой... Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул:

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ели и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то, к первому снегу, прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Собольком остались одни... Да, не стало Приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... да!

Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывет к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Всё, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш затосковал... Вот, все равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказалась...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человечьим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

— А как же?.. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет... Непривычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.

СЕРАЯ ШЕЙКА

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась.

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со сле-

зами. — Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, — жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь все равно она должна погибнуть зимою.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьешься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теп-

лый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас... — повторяла бедная Серая Шейка. — Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные

партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое и никакого жилья кругом. По утрам вода у

берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня — кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью.

Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но

Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот ужо я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, — так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец, грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками, — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

АК-БОЗАТ

Рассказ

I

Бухарбай был молод и глуп, а когда человек глуп, то его только ленивый не обижает. Так было и с Бухарбаем. Когда умер отец, у него всего осталось достаточно — и новая кибитка, и целый косяк лошадей, и много баранов. Молодой Бухарбай думал, что ему век не прожить отцовского добра, и стал веселиться с товарищами. Другие работают, а Бухарбай веселится и говорит: «Зачем мне работать, когда у меня все есть? Пусть работают бедняки».

— Ой, Бухарбай, ты нехорошо себя ведешь! — повторяла мать и качала головой.

Но Бухарбай был молод и думал про себя, что женщины ничего не понимают, потому что целый век сидят по своим кибиткам и только умеют доить кобылиц. А молодое сердце так и играло... Веселится Бухарбай, и все ему мало. У богатых много друзей, и у Бухарбая тоже. Один лучше другого. Веселятся вместе с ним, едят его баранину, пьют его кумыс и хвалят хозяина. Но для веселья нужны еще деньги. Начал Бухарбай понемногу пропивать отцовское добро, и все потихоньку от старой матери. Состарится, тогда сам накопит. Потом не стало и денег. Подумал Бухарбай продавать скот, да устыдился матери: будет плакать старуха и всем жаловаться. Тогда Бухарбай начал потихоньку занимать у соседей по аулу. Ему

давали охотно, как дают богатым людям. Соседи дают, а Бухарбай берет. Сначала все считал, потом и считать перестал. Все равно — кто дает, то не забудет.

— Когда же ты отдашь нам долг? — сказал года через два один сосед.

— Отдам, когда у самого деньги будут, а теперь у самого ничего нет...

Достаточно было одному попросить долг, как и все другие начали приставать: «Отдай да отдай»; а чего отдать, когда у самого ничего нет. Задумался Бухарбай, только немножко поздно. Нечего делать, пришлось признаться во всем матери. Горько заплакала старуха и только сказала:

— Ведь я тебе говорила, Бухарбай... Ах, Бухарбай, Бухарбай, как ты жить будешь? Я-то уж стара, прожила жизнь, а у тебя все впереди.

Обратился Бухарбай к старым товарищам за помощью, а у тех у самих ничего нет. Если и было у кого что, так скрывали для себя.

А уж как они все жалели Бухарбая... «Ведь вот какие нехорошие соседи, пристают с долгами. Могли бы, кажется, и подождать». Одним словом, хороших слов сколько угодно, а денег ни гроша. Плохо пришлось Бухарбаю, совсем плохо, особенно когда соседи пожаловались на него бию и представили свои счеты. Вызвал бий молодого Бухарбая на суд и спрашивает:

— Признаешь ты свой долг?

— Признаю...

— А если признаешь, так нужно платить.

— У меня ничего нет...

Седобородые казы (судьи) посоветовались между собой и решили продать все имущество Бухарбая. Конечно, жаль молодого человека, а делать нечего. Бий тоже жалел и тоже ничего не мог поделать: глупости трудно поправлять.

Пришли казы к Бухарбаю и начали продавать отцовское добро. Главными покупателями явились те же заимодавцы, как богатые люди. Долго наживал отец Бухарбая свое богатство, а разлетелось оно дымом в один день. Один взял баранов, другой кибитку, третий и четвертый поделили между собой косяк лоша-

дей. Как при всех распродажах, имущество шло за бесценок. Заимодавцы так и рвали дешевый товар и даже перессорились между собой. Каждому хотелось захватить побольше.

— Что же у меня останется? — спрашивал Бухарбай судей.

— У тебя есть две здоровых руки. Раньше ты был молод и глуп, а теперь будешь умен поневоле... Пророк недаром сказал: «Эль факру факри» [1].

Повесил голову молодой Бухарбай. Жаль отцовского добра... Но он не спорил: и бий и казы были справедливы. Но только когда дело дошло до последнего жеребенка белой масти, он вступился. Это был редкой породы жеребенок, старинной крови, и отец больше всего им дорожил. Заимодавцы тоже знали толк в лошади и так и вцепились в жеребенка, — каждый хотел его взять себе.

— Нет, жеребенка я вам не отдам! — заявил Бухарбай. — Вы все взяли, и я молчал, а жеребенка не отдам.

Пошли все на суд к бию. Он внимательно выслушал всех и сказал:

— Заимодавцы, вы получили больше, чем давали, и хотите отнять у человека последнее. Какой же киргиз без лошади? Нужно иметь совесть...

Бухарбай стоял и плакал. Ему было совестно за свою собственную глупость, которая довела его до такого позора. Бию сделалось жаль, и он решил, что белый жеребенок останется у него.

— Помни, что он рожден от кости Исэк-Кырган (вечерняя зарница), — наставительно говорил бий молодому человеку, — той знаменитой Исэк-Кырган, которой не могла обойти на скачках ни одна лошадь в степи. Береги жеребенка, как зеницу ока: он стоит всего твоего имущества...

Поблагодарил Бухарбай милостивого бия и еще раз заплакал, но уже от радости. У него оставалась еще надежда... Заимодавцы готовы были отнять у него и степь и небо, если б только это зависело от них.

---

[1] «Бедность — моя гордость». *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

II

Ничего не осталось у Бухарбая, кроме молодого стыда да старой матери. Старуха плакала потихоньку, чтобы напрасно не огорчать и без того несчастного сына, и только сказала:

— Аллах дает и богатство и бедность. Не нужно отчаиваться... Ты еще молод и можешь исправиться... Мой последний совет тебе: уходи из нашего аула как можно дальше. Нехорошо оставаться байгушом (нищим) там, где все знали тебя богатым. Вот тебе мой последний совет, Бухарбай. А я уйду опять к твоей сестре. Зять хороший человек и не прогонит старуху...

Еще раз сделалось совестно Бухарбаю, что он не может прокормить даже родную мать. Приходилось дорого платиться за молодую глупость...

— Еще тебе совет, Бухарбай, — говорила мать на прощанье, — никто не знает, чего стоит твой жеребенок. Он редкой крови... Береги его и не бери за него ничего, что бы тебе ни предлагали. Это будет не лошадь, а степной ветер, стрела, пущенная из лука. Отец назвал его Ак-Бозат [1].

Молча поклонился в ноги Бухарбай матери. Из всех людей только она одна желала ему добра.

Из своего аула он ушел темной ночью, чтобы никто не видал его последнего позора и последних слез. Он шел пешком и вел за собой в поводу белого жеребенка. Это была маленькая кобылка из благородной породы «белорожденных». От всех остальных родичей своей крови она отличалась тем, что имела на лбу черную звезду, почему отец и назвал ее звездой. Синим шаром опрокинулось над головой Бухарбая глубокое небо, расшитое золотым узором звезд; без конца стелется перед ним степь, точно ковер, и думает Бухарбай, неужели он нигде не найдет себе уголка, чтобы жить.

Идет Бухарбай неделю, идет другую, идет третью. Прошел много аулов. Здесь уже никто не знал его, и

---

[1] Ак-Бозат — звезда. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

сделалось Бухарбаю легче. Молодость скоро проживает свое горе. Нанялся Бухарбай в простые пастухи к богатому киргизу Цацгаю и выговорил себе только одно, — чтобы его жеребенок пасся вместе с другими лошадьми.

— Пусть пасется, — согласился Цацгай. — Степь велика, всем места хватит... Только жеребенок-то дрянной: ноги у него очень тонкие...

А Бухарбай молчит. Цацгай не знал толку в лошадях. Ак-Бозат заморилась длинной дорогой и действительно имела такой жалкий вид. А Цацгай сообразил про себя, что когда кобылка подрастет, то молодой пастух будет ездить на своей лошади. Всякий свою выгоду соблюдает.

Аул был большой; у Цацгая ходило в степи три косяка лошадей, и Бухарбай был рад, когда его отправили пастухом. Это был первый хлеб, заработанный собственными руками. Целые дни теперь Бухарбай проводил верхом на лошади, сберегая косяк, и хорошо узнал, как дорого достается свой хлеб. Цацгай был скуп и давал своим пастухам столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду. Пастухи за глаза постоянно ругали скупого хозяина, а в глаза старались выслужиться, — так делают почти все бедные люди, которые от нищеты потеряли даже чувство собственного достоинства.

Работа пастушья нетрудная, да только тем нехороша, что нет ни днем, ни ночью покоя. Пастухи спали одним глазом. Бухарбай скоро освоился с своим новым положением и ничем не выделялся среди других пастухов, кончая белой войлочной шляпой и рваным бешметом.

Он не роптал на судьбу и утешался тем, что у него была Ак-Бозат. У других и этого не было. Пастухи смеялись, как Бухарбай ухаживал за своей белой кобылкой, а Цацгай мог только удивляться. Бухарбай часто ее купал, расчесывал и заплетал гриву и потихоньку начинал приучать ее к бегу. Ак-Бозат ходила за хозяином, как собака, и слушалась его голоса. Бухарбай даже разговаривал с ней, как с человеком.

— Никто нас не знает здесь, Ак-Бозат... Это хо-

рошо. Много глупостей наделал твой хозяин... Ну, да ничего, — поправимся...

Только напрасно думал Бухарбай, что никто его не замечает. У Цацгая была дочь невеста, красавица Мэчит. Девушки любят примечать иногда и то, что им не следует. Так и Мэчит, — как погонят лошадей, так и смотрит на нового пастуха. Ей показалось, что он и ездит совсем не так, как другие. Киргизские девушки смелые и ходят без покрывала. Раз она встретила Бухарбая и сказала:

— Пастух, покажи свои руки...

Бухарбай смутился, но не смел ослушаться. Девушка внимательно посмотрела на его руки, лукаво заглянула в глаза и проговорила:

— Ты не простой пастух, Бухарбай... У тебя еще недавно руки были нежные, как у женщины. И когда ездишь на коне, тоже заметно...

— Да, не простой, — уже смело ответил Бухарбай. — Мне принадлежат и вся степь и все небо... По степи я езжу, а на небо смотрю целые ночи, и никто мне не мешает.

— Нечего сказать, богатство громадное, — засмеялась Мэчит. — Только с кем ты его будешь делить?..

— У меня никого нет...

— А девушка, которая тебя любит?

— Бедных пастухов девушки не любят... Впрочем, я люблю свою Ак-Бозат.

— Лошадь? Ха-ха... Какой ты скрытный. Ну, увидим...

Начал замечать Бухарбай, что Мэчит каждый раз так внимательно смотрит на него. Посмотрит, и засмеется. Это его даже начинало сердить. Чему она смеется?.. Стал и сам Бухарбай посматривать на хозяйскую дочь, и чем больше смотрел, тем больше она ему нравилась. Молодое сердце льнуло к молодому сердцу без слов.

— Будь умным, Бухарбай, — читал он самому себе наставление. — Довольно глупостей... Цацгай одного калыму потребует за дочь не меньше ста рублей да еще впридачу баранов триста. Не будь смешным, Бухарбай... Не тебе, несчастному байгушу, думать о хорошеньких девушках.

Когда по вечерам становилось грустно, Бухарбай присаживался к огоньку и пел песню, которую складывал тут же:

> У девушки смех на уме,
> А молодцу горе...
> Скоро вихрем он в степь улетит на коне,
> А она заплачет в неволе.

III

Так прошли три года, длинных три года. Три раза степь покрывалась весенними цветами, три раза выгорала степная трава от летнего зноя, три раза степная зима засыпала все снегом. Трудно приходилось пастухам в течение зимы, особенно когда поднимался буран. Несколько раз Бухарбай чуть не замерз, но он терпеливо переносил все, потому что бедные люди не должны роптать на свою судьбу. Загрубели у него руки, как у настоящего пастуха, заветрело лицо, и Мэчит не обращала уже на него внимания. Но он был счастлив, он, Бухарбай, потому что выросла его Ак-Бозат. Совсем большая лошадь, и какая умная! С каким терпением учил он ее, выдерживая ход. Другие пастухи опять смеялись над чудаком, который ухаживает за лошадью, как за невестой. А лошадь была чудная — длинная, на таких высоких ногах, с маленькой головой и длинной гривой. Когда Бухарбай в первый раз поехал на ней верхом, у него сердце дрогнуло от радости: это была не лошадь, а ветер.

«Пусть еще годик подрастет Ак-Бозат, — думал Бухарбай, — а там я поступлю проводником к купеческим караванам... И работа легкая, и жизнь привольная, и все будет хорошо. Терпи, Бухарбай, недолго осталось ждать».

Мысль об отъезде давно засела в голову Бухарбая, и он ее вынашивал потихоньку от всех. Только одно удерживало его: он уедет, а Мэчит останется. Да, она забыла его, но он не забыл эти горячие темные глаза, этот девичий смех, это гордое лицо степной красавицы. Он дрожал при одной мысли, что это

лицо засмеется другому, и другой уведет ее в свою кибитку.

Много было женихов у Мэчит. Далеко из степи приезжали они, но старый Цацгай дорожился и сам не знал, какой калым просить за красавицу дочь. Но время подходило такое, что приходилось расставаться: девичий век короткий. Думал, думал Цацгай, которого жениха выбрать, и опять не мог решиться. Все хороши, и всем жаль отдать красавицу Мэчит. Тогда старик придумал устроить байгу[1] для женихов: кто придет первым, тому аллах и судил Мэчит взять женой. И женихи были довольны таким решением, потому что каждый надеялся на свою лошадь. А лошади у всех были отличные. Чтобы подзадорить женихов, Цацгай объявил открыто:

— Мне все равно, кто ни обгонит... Простой пастух — его и Мэчит. Как хочет аллах, так и будет...

Слух об этой байге облетел всю степь, и о ней говорили. Много батырей в степи, и каждый думал отбить красавицу Мэчит у ее женихов.

Наконец, объявлен был и день. В аул Цацгая съехались со всех сторон. Вся степь покрылась народом. Брели старый и малый, чтобы посмотреть невиданное зрелище. Кто-то выиграет красавицу Мэчит? Кому аллах пошлет редкое счастье?

В поле была раскинута зеленая бухарская палатка, в которой собрались киргизские старшины из разных аулов, казы, и даже приехал сам бий. Простой народ усыпал все поле. Выехали скоро на чудных конях женихи Мэчит и много простых джигитов, а последним выехал Бухарбай на своей Ак-Бозат.

— Кто это на белой лошади? — спрашивали все.

— Это мой пастух, — неохотно отвечал Цацгай, обиженный тем, что простой пастух хочет спорить с женихами. — Только лошадь напрасно заморит...

Все наездники выровнялись перед палаткой в одну линию, и бий подал знак. Джигиты понеслись, а позади всех поехал Бухарбай. Он долго не решался принять участие в байге, потому что Ак-Бозат была еще

---

[1] Байга — скачки. (*Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.*)

молода. Благоразумие говорило, что не нужно этого делать, но молодая гордость перевесила. Недалеко от главной палатки стояла другая, в которой собрались женщины, и Бухарбай видел среди них красавицу Мэчит. Она весело позванивала золотыми монетами, которыми была у нее покрыта вся грудь, и еще веселее улыбнулась, когда увидела Бухарбая на его белой лошади. Чем больше женихов, тем сильнее поднималась гордость красавицы.

Байга шла на двадцать пять верст — вперед одна половина, а другая половина обратно. Хороши были кони у женихов, и далеко они унеслись вперед. На первой половине уже простые джигиты начали отставать. Бухарбай сдерживал горячившуюся Ак-Бозат и чувствовал, что в ней еще много силы. Только на обратном конце он постепенно начал давать волю благородному животному, и Ак-Бозат понеслась, все усиливая скорость. О, как она оставляла одного соперника за другим!.. Простые джигиты уже были все позади, а впереди летели только трое женихов. Особенно далеко ушел один на золотистом текинском скакуне. Ак-Бозат все прибавляла ходу и оставила двух женихов; остался впереди один. Бухарбай чувствовал, как под ним точно летела земля, а вдали уже пестрела толпа народа и зелеными точками выделялись палатки. Началась борьба между текинским скакуном и Ак-Бозат. Вот уже Ак-Бозат совсем настигает, и Бухарбай слышит, как тяжело дышит жениховский скакун. Вот они уже скачут голова в голову... Замерло сердце у Бухарбая: оставалось всего две версты. Трудно бороться с текинским скакуном, но он потрепал Ак-Бозат по шее, припал к луке седла, чтобы не связывать движений лошади, и дико гикнул. Как стрела, пущенная из лука могучей рукой, понеслась Ак-Бозат, как степной вихрь, и Бухарбай уже слышал, как неистово кричит тысячная толпа, торжествующая его победу.

Первым пришел Бухарбай, далеко оставив всех женихов. Все бросились к Ак-Бозат и не знали, как ее приласкать. Женщины целовали ее. Такого скакуна еще не видали в степи.

— Ты выиграл, Бухарбай, — сказал бий.

— Да, он выиграл, — согласился спокойно Цацгай. — Мэчит его, если он достанет калым... Хоть сейчас пусть берет ее. Я от своего слова не отказываюсь. Ведь все женихи обещали заплатить мне калым...

Никогда еще Бухарбай не чувствовал себя настолько несчастным, как в этот день своего торжества. Ему все завидовали, а он проклинал себя... Да, проклятую бедность не объедешь ни на каком скакуне. Даже гордая Мэчит подошла к Ак-Бозат и обняла за шею благородное животное.

— Прощай, Мэчит! — сказал Бухарбай.

Девушка ничего не ответила, а только опустила свои гордые глаза.

IV

Байга сделала Бухарбая несчастным. Он потерял свой покой, нажитый тяжелым трудом. Тяжела показалась ему теперь жизнь простого пастуха. Да и все другие ему завидовали. А он все думал о Мэчит, о красавице Мэчит с чудными глазами.

— Вот тебе год, — сказал Цацгай. — Я свое слово держу, а ты добывай калым. Если в течение года не добудешь, я выдам Мэчит за другого...

Если бы Бухарбая кто ударил ножом, ему, кажется, было бы легче, чем услышать такие слова. А тут еще Мэчит смотрит на него и опять улыбается. Она полюбила Ак-Бозат и часто приходила кормить ее из своих рук. Теперь ей нечего было стесняться: Бухарбай был ее жених, как это было всем известно.

— Бухарбай, ты очень любишь меня? — лукаво спрашивала красавица.

— Да...

— Даже больше, чем Ак-Бозат?

Этот вопрос смущал Бухарбая, и он не знал, что ответить; а Мэчит звонко смеялась и убегала.

Старый Цацгай тоже думал об Ак-Бозат. Все у него было — пятьсот лошадей, три тысячи баранов, красавица дочь, а такого скакуна не было. Далеко разлетелась слава про Ак-Бозат по всей степи, и джи-

гиты приезжали посмотреть на чудную лошадь. Эта слава не давала спать старому Цацгаю. Он только и думал об Ак-Бозат, как бы добыть ее от Бухарбая. Несколько раз скупой старик заводил такой разговор:

— Бухарбай, продай мне лошадь! Я тебе дам за нее двадцать лошадей — выбирай любых из всего табуна, да еще столько же баранов.

— Нет, — упрямо повторял Бухарбай.

— Дам тебе впридачу лучшую кибитку...

— Нет...

— Дам тебе серебряных денег, сколько можешь взять обеими руками.

— Нет...

— Дам тебе шелковый бешмет и два шелковых халата.

— Нет...

— Дам ружье, кинжал, саблю...

— Нет.

— Чего же тебе нужно?

— Мне ничего не нужно, Цацгай...

Впрочем, раз Бухарбай сам сказал:

— Давай все, что обещаешь, и Мэчит впридачу.

— Ого, ты не дурак... Только этого никогда не будет.

— Как знаешь. А мне и так хорошо...

Начал Цацгай сердиться на упрямого пастуха. Уж очень он зазнался со своей лошадью... Мало ли в степи хороших скакунов? Но как Цацгай ни успокаивал себя, но чудная лошадь не выходила у него из головы. Что ему, в самом деле, теперь нужно: все у него есть. Даже новую жену не нужно... А если бы была у него Ак-Бозат, он стал бы ездить по степи и на каждой байге всех бы обгонял. Нет другой такой лошади... Старик даже похудел, потерял сон и так заскучал, что не знал, куда ему деваться. И собственное богатство сделалось не мило...

Кончилось тем, что Цацгай серьезно разнемогся. Лежит у себя в кибитке и стонет. Ни есть, ни пить не может. Наконец, он сказал Мэчит:

— Иди и позови сюда этого упрямого осла... Я хочу с ним говорить.

Когда в кибитку вошел Бухарбай, старик сказал:

— Я захворал из-за твоего упрямства... Ты глуп, как четыре осла! Да... Если бы я был молод, я украл бы твою Ак-Бозат! А теперь... Слушай, упрямый человек, что я тебе скажу: бери, что хочешь, и... Мэчит впридачу.

Поклонился Бухарбай и отвечал:

— Ты много даешь, Цацгай, а хочешь взять у меня все... Ак-Бозат — благородной крови Исэк-Кырган. Когда я уходил из своего аула нищим, мать мне сказала, чтобы я не отдавал Ак-Бозат ни за что. Но я подумаю...

— Убирайся, худой человек, и думай! — стонал старик.

Когда Бухарбай выходил из кибитки, он встретил Мэчит; она стояла у входа, слышала весь разговор и теперь горько плакала.

— Ты меня не любишь, Бухарбай... — шептали девичьи губы, еще так недавно смеявшиеся над ним.

Не тронули Бухарбая просьбы и обещания старого Цацгая, а тронули девичьи слезы. Он вернулся в свою кибитку, как пьяный. Все у него кружилось в голове, и он не знал, что ему делать.

Лежит у себя в пастушьей дырявой и грязной кибитке Бухарбай, лежит и думает, а перед ним заплаканное девичье лицо, и девичий сладкий голос, и своя собственная жалость. Слышит он, как ходит недалеко от кибитки его сокровище Ак-Бозат, и опять не знает, что ему делать. Другие пастухи спят, а он мучится, как преступник. Молодое сердце так и бьет тревогу... Наконец, оно взяло перевес, и Бухарбай решился уступить Ак-Бозат старому Цацгаю.

Но только он это подумал, как слышит, что Ак-Бозат заржала. Не успел он выскочить из кибитки, как послышался громкий топот. О, как знал Бухарбай этот топот... Вор подкрался ночью и теперь летел, как ветер. Бросился Бухарбай в табун, выбрал лучшую лошадь и полетел в погоню. Гонит он час, гонит другой, и опять он слышит знакомый топот. Дрогнуло сердце в груди Бухарбая, и погнал он лошадь еще сильнее. Начинало светать, когда он завидел вдали Ак-Бозат. Неужели это его Ак-Бозат, и неужели он

ее догонит на простой табунной лошади? Еще никто не обгонял Ак-Бозат. Еще час гонится Бухарбай, — вор уж совсем близко. Облилось кровью сердце Бухарбая, когда он настигал его. Не утерпел джигит и крикнул:

— Эй ты, шайтан, не умеешь ездить... Потрепли лошадь по шее!..

Вор так и сделал. Ак-Бозат полетела, как стрела. Скоро пропала совсем из виду. Бухарбай загнал насмерть свою лошадь, упал на землю и горько заплакал. Это аллах его наказал за то, что он хотел уступить благородную Ак-Бозат старому Цацгаю. Любовь его ослепила...

V

В свой аул Бухарбай вернулся только через три дня. Его сначала даже не узнали, так он похудел, а глаза были совсем дикие.

— Если бы ты отдал мне Ак-Бозат, я сумел бы ее сберечь, — карал его старый Цацгай. — Ты упрямый осел, Бухарбай... Ты глуп, Бухарбай, как четыре барана.

— Меня наказал аллах... — ответил Бухарбай. — Отпусти меня, Цацгай.

— Куда же ты пойдешь, несчастный байгуш?

— Пойду искать Ак-Бозат... Я не могу без нее жить.

Не так думала Мэчит. Очень она полюбила джигита, а девичье сердце не ищет богатства. Она сама пришла к Бухарбаю и сказала:

— Бухарбай, куда ты, — туда и я... Я тебя люблю.

Заплакал Бухарбай, а Мэчит положила его голову к себе на колени и утешала ласковыми девичьими словами. Тут она узнала, как Бухарбай сделался байгушом, и еще больше его жалела. Из-за нее аллах его наказал. Пошла смелая девушка к отцу и сказала, что ни за кого больше не пойдет замуж, как только за джигита Бухарбая; он не простой пастух, а настоящий джигит.

— Не надо мне богатства, — говорила смелая девушка. — Лучше я буду женой простого пастуха.

Рассердился Цацгай, прогнал от себя дочь; но она пришла в другой раз и повторила то же самое. Разве

что-нибудь поделаешь с упрямыми женскими словами? Еще сильнее рассердился Цацгай и сказал:

— Хорошо, упрямая коза... Бери своего Бухарбая, только я ничего не знаю. И тебя не знаю... А этот упрямый осел пусть не показывается мне на глаза, если хочет быть цел.

Много страшных слов наговорил старый Цацгай, как говорят и другие отцы, когда сердятся на непослушных дочерей, а потом смилостивилось отцовское сердце.

«Дам я кибитку Мэчит, — решил Цацгай. — Не жить же ей, на самом деле, вместе с пастухами... Упрямая девчонка не стоит этого, ну да уж так и быть...»

После кибитки дал Цацгай лошадей, потом баранов, потом уж надавал всего. Он дает, а Бухарбаю все равно. Ничего не нужно джигиту.

Сыграли свадьбу, а Бухарбай все тоскует. Ласки молодой красавицы жены не утешали горя. По ночам Бухарбай часто просыпался и вскакивал, как сумасшедший. Ему все слышался топот Ак-Бозат... Вот-вот она уже совсем близко. Это она летит по степи, как ветер... Выскакивал Бухарбай из кибитки, брал лучшую лошадь и летел в погоню, а потом возвращался домой грустный-грустный.

Не мило было Бухарбаю и богатство, не милы ласки красавицы жены, ее молодой смех и песни. А тут еще новая беда: в аул пришел слепой байгуш с бандурой и запел песню про Ак-Бозат. В степи уже складывали ей песни.

С ветром спорила Ак-Бозат,
А крылья взяла у птицы...
Белая красавица, ты летала,
Как стрела, оперенная лебединым крылом.

— Слышишь, Мэчит? — стонал Бухарбай. — Это про нее поют; значит, она жива... О, я несчастный!.. И я не умел сберечь это сокровище...

А слепой байгуш сидит и поет:

Нет цены хорошей лошади,
Она все для джигита:
И дом, и богатство, и честь.
Без лошади нет и джигита!

Пришел Бухарбай к старому Цацгаю и сказал:

— Я ухожу, старик...

— Куда?

— Не знаю. Не могу больше терпеть...

— А жена?

— Жена подождет... Ничего мне не нужно.

Отправился Бухарбай странствовать по степи, из аула в аул, от одного колодца к другому. Где завидит в табуне белую лошадь, так у него сердце и упадет. Подъедет, посмотрит, — нет, не Ак-Бозат. И опять дальше, точно кто его гонит.

Когда вечером Бухарбай ложился спать, ему каждый раз слышался топот Ак-Бозат. Да, он слышал, как она делала широкий круг, а близко не подходила. О, это была она, Ак-Бозат... Бухарбай весь трепетал и молился аллаху. С каждым днем Ак-Бозат делала круги все меньше и меньше. Бухарбай перестал есть и похудел, как скелет.

— Скоро уж... — говорил он самому себе.

А в степи между тем разнеслась весть, что бродит сумасшедший джигит и все ищет какую-то белую лошадь. Матери начали пугать им своих детей, а большие побаивались ночной встречи. Его видали разом в нескольких местах.

Собрались степные джигиты вместе и пробовали ловить Бухарбая; но он каждый раз уходил от них.

Наконец, совсем обессилел Бухарбай и целых три дня лежит у степного колодца. У него не было сил подняться на лошадь. А как наступала ночь, опять являлась Ак-Бозат и начинала делать свои круги. Теперь она была уже совсем близко, и Бухарбай только не мог открыть глаз, чтобы посмотреть на лошадь. Однажды, — это была четвертая ночь у колодца, — он лежал, как мертвый. Вдруг топот уже совсем близко, тут... Бухарбай открывает глаза, а над ним стоит Ак-Бозат. Он хотел крикнуть, но только застонал...

Степные джигиты нашли Бухарбая мертвым у колодца. Он прижимал окоченевшими руками к груди свою белую войлочную шляпу.

В ГЛУШИ

Рассказ

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия Шалаевы. Собственно, даже и фамилии не было, а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду по книге записывать? — говорил священник. — Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами, — две Матрены умерли, и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.

— Уж так с испокон веку, — объяснял староста, — все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства тоже прижимки бывают... Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся...

— Надо бы все-таки фамилии придумывать, — советовал священник. — Оно для вас же удобнее.

— А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испокон веку и друг дружку знаем... А покойников на том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки, — избы стояли на самом солнцепеке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, благо, лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям [1] или по мысам на реке Чусовой и заливным побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно было видеть разлив реки Чусовой верст на пять, потому что она делала здесь довольно тихое плесо. Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света. Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере всего посмотрит, как другие живут, ну, и

---

[1] Широкие поляны в лесу. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Невелика радость!..

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку? Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а с женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше баушки[1] Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец — Егор, да второй брат — Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать, Авдотья, управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем» умом. С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень, и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна и стала «не совсем» умом. Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так — все равно, что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет?..

Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой

---

[1] На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «девушка» — «деушка». *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он напугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки — тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его на работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавляли бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же и сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно, — в лесу «блазнит», как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться на Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка, — коротко объяснял он. — А ты, главное, ничего не бойся... ни-ни! И никогда тебе страшно не будет... Понимаешь ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал Пимка.

— Не сцапает... А ежели что, — ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело. Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни... Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора. Пимка, лежа на полатях, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастать своей удалью и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич... Как раз подавишься.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет, — объяснял он Пимке. — И всё покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай!.. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

II

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад и, вместе, побаивался. В курене, конечно, лешачихи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, собачьего меха «ягу» [1], «пимы» [2], собачьи «шубенки» [3], такой же треух-шапку — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровской завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты, смотри, Пимка, не застудись... В балагане будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка, — весело отвечал Пимка. — Я с Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя с ним залобуем [4].

— Ладно... Вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый, — и будете жить в балагане.

---

[1] Шуба шерстью наружу. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*
[2] Валенки. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*
[3] Рукавицы. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*
[4] Залобовать — убить. *(Прим. Д. Н. Мамина-Сибиряка.)*

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам — топорище, бабам — корыта и вальки, — все нужное. Лес только еще был запушен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена-стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку. Ах, прокурат!.. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идет и след хвостом заметает.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать... Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать... Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучо́нками», то есть кучами из длинных дров-долготья, обложенными сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила

лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай!..

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипевшим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь, — говорил он. — Что, озяб?.. Погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полати на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери, в углу, был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыму. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощенье? — шутил Акинтич. — А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...

Старый Тит ужасно был рад внучку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся — не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, кто как мог придумать. Пимка был совер-

шенно счастлив. Мужики были всё свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зеленого пуху настелем, — спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намерзся дорогой-то, да прямо в тепло и попал, ну и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас, — все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажен до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее — не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», кото-

рый должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигалях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные, — до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большею частью — каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. — Брошу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани... Весь точно из трубы сейчас вылез!..

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню, — поехал, значит и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил всего несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое время были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку «на обыдёнку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой.

В праздник работать грешно, и все убивали время как-нибудь. Сидеть днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улице». Разведут громадный костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказать разную побывальщинку.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам и кажется, что все удивительно... Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на нем едет человек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет зараз... А то теперь чугунка. Ну, эта еще помудренее: как свистнет, — и полетела. Тоже волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошечко поглядываешь, тоже как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунку, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть часов, да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!..

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугунки и прочие чудеса. Куренные мужики иногда для шутки начинали высмеивать солдата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, принес дров, почистил лошадь, — вот и все. В баню хоть каждый день ходи... Одежа на тебе вся чистая, а еда до отвалу. Щи подадут — жиру не продуешь; кашу подадут — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— Ах ты, боже мой!.. И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ... Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам... Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему, плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазим называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну, сейчас спичкой, — и огонь! А главная причина, можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно это все... — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся штей да каши, поеду на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат, солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рас-

сказывать. Совсем отбился человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат сказывает, што в городу все трубки курят, да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все... — не верил дед. — Грешно и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что бог-то труды любит. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище вашей... Не меньше нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситца, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукна бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. Баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть... Может быть, солдат-то и не врет. Вон он рассказывает, что есть места, где и зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз, и даже собаки забились в балаганы. Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на человека. Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию

вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил на̀большого в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В лучшем виде все оборудуем для вас. Сейчас огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, точно все они пришли чуть ли не с того света. Потом его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся. Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшенный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков, и убедился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается... — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились

в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил, — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно, а может, и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать с набольшим-то, а то мастер наш солдат зубы заговаривать...

Ровно через три года немного пониже Шалайки через Чусовую железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь были и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив.

Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки. Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках и, наконец, сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здррравия желаем!!!...

ВЁРТЕЛ

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каж-

дым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что! — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто?.. Небойсь сам-то Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:

— Уйду я от него, — вот и конец делу. Будет, — одиннадцать годиков поработал на Алексея Иваныча. Довольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой, бойкий парень, щеголявший в красных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. — Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах? И еще говорит: «Сам все работаю, своими руками»...

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч. — В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправлял еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил... Известно, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участия в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иваныч забегал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь приедет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Такой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порок только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ, — именно, что Алексей Иваныч куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель. — Камень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин, — отвечал за всех Ермилыч. — Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько, — наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина, — на то у тебя глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: дикие у них деньги, — вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал *фасетки* (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням, как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш, — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна. — Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак носится мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих-гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да... — говорил сам Ухов. — Ужо

новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедом своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бранил хозяина за глаза, говорил:

— Ну, и человек тоже уродился! Его, Алексея Иваныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, кругом плут!..

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жил только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шеины» (самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал удовольствие поесть щей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает варево слоем чуть не в вершок, как от свинины?.. Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город мороженых свиней и Алексей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шеина, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наедаться досыта каждый день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто

так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!.. — думал он вслух. — И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну и мастерская, нечего сказать! Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольской экипаж и из него вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской; а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет, — настойчиво повторяла дама. — Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась она.

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту, — объяснял Алексей Иваныч. — Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом

каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается, — объяснил Ермилыч, — и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше, — объяснял он, — а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит, — его днем с огнем наищешься. А господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно как бывают разные люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука действительно любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук, — объяснил Прошка.

— Дай-ка я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо.

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты это куда забрался? — удивилась дама. — Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую, — я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри! И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку. — Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Иваныч. — Круглый сирота, — ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает...

— Значит, ему трудно?

— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день?

— Обыкновенно...

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково, — уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов. — Глядя по работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь, — как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости и держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите?

— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком, — просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаюсь-с, сударыня!

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего, — с барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка, — пусть его идет; а у колеса поработает Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч. — Точно от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит, — соображал Спирька. — А Алексей Иваныч охулки на руку не положил: рубликов на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч. — У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько... Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка «вѐртел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо, — ну, и вышел: *вѐртел*. Не *вертéл*, мама, а *вѐртел*.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он — круглый сирота и должен

сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я выросту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студеные ключики, всякая птица поет по-своему, — умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить огонек, — и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

— Убегу!.. — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. — Даже и Алексея Иваныча не буду бить, а просто убегу.

Прошка думал целые дни, — вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то, что другим мастерам. И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, — пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вѐртелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы, — они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут уж воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих

бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую, — и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У! злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень, — зеленые, злые, как у кошки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять, зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего, — ворчал Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить по-домашнему, — значит, расход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме!

— Ты рыло-то вымой, — наказывал он Прошке еще с вечера. — Понимаешь? А то придешь к барыне черт чертом...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иваныч рассвирепел и, показывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..

Нужно сказать, что Алексей Иваныч никогда не дрался, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял.

Прошка должен был идти утром, когда барыня пила кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди, — из той же кожи сшиты, как и мы, грешные.

Барыня заказала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да тяжеловесов, да альмандинов. Понимаешь? Надо уметь показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не отдавать. Барыня-то еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, в чулки и башмаки.

— Пойдем, вѐртел!.. — приглашал он Прошку. — Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье.

— Ну, показывай, что принес! — проговорила она певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, прибавила: — Какой ты худенький!.. Настоящий цыпленок.

Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего уже не боялся. У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваныча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренно торжествовал, что так ловко надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась.

— Ты, наверно, хочешь есть? — проговорила она, наконец. — Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом, и все время его преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю, — по-детски ответил он.

— Он хочет, мама! — подхватил Володя. — Я сейчас сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлетку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками; кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинками, — настоящий игрушечный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю.

— Мои. Но я уж не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в столовую котлету горничная смотрела на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами. Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — последняя. Пока он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя, — говорила она сыну, — этот мальчик уж с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...

— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Иванычем сама.

Прошка был озадачен.

Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на целых два года. Барчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил:

— Молодец, Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно, удивительнее всего, что только Прошка видал. Мать Володи — ее звали Анной Ивановной — ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит; но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спросил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их мастерской буквально дышать нечем и так далее.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый, всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно, — ведь она

пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером; а Володя должен был исправиться, глядя на него, от припадков своей барской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посылала Володю в мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть вѐртелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна Ивановна. — Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..

— Ты умер бы там через три дня с голода...

— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А потом — просовая каша с зеленым маслом... горошница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.

— Мама, если бы ты велела приготовить тертой редьки с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить в своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только недоставало деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка.

Перед рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иваныч, и поехала сама

узнать, в чем дело. Алексей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.

— А кто его знает! Нездоровится ему... Все кашляет по ночам.

Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.

— Так...

— Тебе, может быть, не хочется учиться?

— Нет...

— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит! — заметил Ермилыч.

— Разве можно такие вещи говорить при больном? — возмутилась Анна Ивановна.

— Все помрем, сударыня...

Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения. Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской...

— Мне здесь лучше... — упрямо отвечал Прошка.

— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — объяснил Ермилыч. — Вот ему и не хочется уходить...

Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу. И большие и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирает таким образом по

разным мастерским, как мальчиков, так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вѐртел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить: каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку.

А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо делалось с каждым днем точно все тяжелее и тяжелее... От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..

Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему безучастно, точно придавленный своею болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

Рассказ

I

— Хозяин что-то замышляет, — заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю что! — чирикнул с вербы старый Воробей. — Ну-ка, догадайся, умная голова?.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв, пронзительно заорал свое единственное *ку-ку-реку!*

— Ах, глупый горлан!.. — смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тельцем. — Сейчас видно, что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города, действительно был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями принесенный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережка! — весело говорил отец, вбивая последний гвоздь. — Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя? — спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

— Ага, скворечник!.. — гаркнул Петух, прислушивавшийся к разговору. — Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый! — засмеялся над ним старый Воробей. — Это мне квартиру приготовляют... да! Эй, старуха, смотри, какой нам домик сделали.

Воробьиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о скворцах, значит будет скворечник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бы бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый Воробей страшный забияка и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка? — приставал к ней старый Воробей. — Будет нам жить под крышей: и темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — конура, а только я один должен был скитаться где попало. Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка!

Весь двор был занят хозяйской работой, из конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут... — кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську. — Ты зачем

пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так... — согласился Петух, тоже недолюбливавший кота Ваську. — Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворечником и прикрепил его к самому крепкому столбу ограды. Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху — железная крышка, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого оконца, через которое можно было влететь в скворечник, устроена была деревянная полочка, — тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Воробей. — Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят? — заметила Воробьиха. — Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая: это он пошутил.

Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично! — думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели. — То-то моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь — умирать не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворечника, старый Воробей весело распушил все перышки, повернулся на все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.

— Ах, разбойник! — обругал его хозяин снизу. — Уж успел забраться. Погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут.

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скворечнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри, — учил его отец. — На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин! — кричал старый Воробей сверху. — Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару!..

II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-домашнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники, — решил старый Воробей со свойственным ему великодушием. — Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился! — смеялись другие воробьи. — Подарил племянникам какую-то щель... Вот ужо посмотрим, как самого погонят из скворечника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый Воробей, видавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах своей жизни. Раз чуть не сгорел, забравшись погреться в трубу, в другой — чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался, — э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть, — рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика. — Я — заслуженный Воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что действительно скворечник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы, — что-то тогда будет делать старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый Воробей. — Глупая птица, которая неизвестно зачем перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы — никуда: прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют... — заметил Волчок, которому порядочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню. — А ты только умеешь воровать.

— По-ют? Это называется петь? — изумился старый Воробей. — Ха-ха... Нет уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что если кто действительно поет, так это я... да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут!

Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех. Сам наестся и своей Воробьихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз, — прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого. Он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег везде почернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна

подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит, — жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными точками, точно живой сеткой: это были первые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц, — настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись! — шептал старый Воробей своей Воробьихе еще с вечера. — Утром налетят скворцы... Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особенного ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки, — эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Обе — лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть... Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?

— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах, как холодно!..

— Ну, прощай, воробушко! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, да и Воробьиха спит сладко-сладко.

Чуть-чуть прикорнул старый Воробей; кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скворечник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что

воздух свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай! — кричал Скворец, просовывая голову в оконце. — Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?..

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик Скворец очутился в скворечнике, схватил Воробьиху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!.. — благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь. — Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

III

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворечник, ну, вытолкали, — только и всего. Если бы старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, наболтаешь, — ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора Петух. — Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо...

— А ты чему обрадовался? — ругался старый Воробей. — Погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробьиха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... Воробьиху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повторяла Воробьиха. — У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? Да вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!..

— Да он всегда какой-то встрепанный... Что, брат, не любишь? — обратился отец к Воробью и весело засмеялся. — Ну, вперед наука: не забирайся куда не следует. Не для тебя скворечник строили.

Даже куры и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь? — гордо спросил он всех. — Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда, а все-таки я умнее вас... А главное то: я вольная птица. Да... И живу, чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас

не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух, — тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я какой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мною. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь, — заметил Петух, подмигнув скворцам. — Вот в огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов, — воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?.. — возмутился старый Воробей. — Да я — первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям: где он, — там и я. Да... И притом я — совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и им начинают оказывать всякий почет. Это, наконец, просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один — целую жизнь в оглоблях, другой — на цепи, третий в курятнике сидит... Я — вольная птица и живу здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварством своего друга — человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя, — решил Петух. — Самая вздорная птица, если разобрать.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воробей опять появился на крыше — такой веселый и довольный.

— Это я, братцы, — прочиликал он, принимая гордый вид. — Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?

— Слава богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?..

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..

Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа, — в ней старый Воробей и устроил себе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоятся страшного чучела. Но эта затея кончилась очень печально. Воробьиха высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей улетал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробьиху. Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал...

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чиликал. Когда выпал первый снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его, — бормотал Петух глубокомысленно. — Как будто и недостает чего-то... Бывало, все чиликает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья.

БОГАЧ И ЕРЕМКА

Рассказ

I

— Еремка, сегодня будет пожива... — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы, — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье, — посмеивался Еремка. — И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... Уж, видно, нам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками, и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил

бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль навертывалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то назвали еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже стояли морозцы, а вчера оттеплело, и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинавшую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива... — повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы...

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. —

А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где, главным образом, гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебегали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладями. Здесь они кормились, подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клади, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору, — говорил Богач смотревшей на него собаке. — Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот обойду по загуменьям, да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы

попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач. — Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь! — ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги. — В такую непогодь и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промышлять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, никуда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подожмет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят... Хоть прощенья у него проси, — вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хло-

пал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!.. — торжествовал старик, продолжая свой обход.

И удивительное дело, — каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побеги он, заяц, в поле, — и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. — закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!.

II

— Ну, и оказия!.. — удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угораздило, братец ты мой!.. а? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, повидимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся...

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча... — ворчал старик. — Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай... — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу... — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его... — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он...

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

«Ах ты, оказия... — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще... несмышленыш...»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!.. — ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было, как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка, — наказывал он Еремке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение — корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли — так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?!. Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба...

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!.. — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонок небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай раздевайся. Гостья будешь... Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же...

— Неужто не видала?

— Как не видать... Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием окоченевшие ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Беленький весь, а только ушки точно оторочены черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха... — думал он вслух. — И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах ты, умница... Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится, — тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да голодать?.. Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся...

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлекшись этой игрой, заяц иногда стукался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет... Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому... Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву... Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаще других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног, — и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле... — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то, глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет... Еремка лег

у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой...

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный... — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — небойсь вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто.

А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сенях. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... Может, и в ём своя заячья душонка тоже есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка... — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь как сразу зазнался, косой...

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, немного дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет, косой... — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев!— проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть... Ишь как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!.

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете?— кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц, и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляем только своих...

— Ах, барин, барин, нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-

подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил еще Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегавший мимо заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес... — решил он. — Надо попробовать...

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться... — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

«Ну, будет Еремке пожива...» — думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это выл Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить зайцев... Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес... Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше... — коротко объяснил он.

АЛЕНУШКИНЫ СКАЗКИ

ПРИСКАЗКА

Баю-баю-баю...

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец в клетке, и забияка Петух.

Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косой заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились желтыми огоньками; медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Аленушкиной сказки.

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Баю-баю-баю...

1

СКАЗКА ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА — ДЛИННЫЕ УШИ, КОСЫЕ ГЛАЗА, КОРОТКИЙ ХВОСТ

Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега, — у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

— Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес. — Вот не боюсь нисколько, и все тут!

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи — все слушают, как хвастается Заяц — длинные уши, косые глаза, короткий хвост, — слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.

— Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

— И волка не боюсь, и лисицы, и медведя — никого не боюсь!

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.

— Да что тут долго говорить! — кричал расхрабрившийся окончательно Заяц. — Ежели мне попадется волк, так я его сам съем...

— Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он глупый!..

Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.

Кричат зайцы про волка, а волк — тут как тут.

Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчиком закусить!» — как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого Волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться.

Совсем близко подошел Волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они над ним смеются, а всех больше — хвастун Заяц — косые глаза, длинные уши, короткий хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» — подумал серый Волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун

Заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил:

— Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я... я... я...

Тут язык у хвастуна точно примерз.

Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.

Заяц-хвастун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

Ему все казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами.

Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный...

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку.

Наконец, надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее.

— А ловко напугал Волка наш Заяц! — решили все. — Если бы не он, так не уйти бы нам живыми... Да где же он, наш бесстрашный Заяц?..

Начали искать.

Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

— Молодец, косой! — закричали все зайцы в один голос. — Ай да косой!.. Ловко ты *напугал* старого Волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

— А вы бы как думали? Эх вы, трусы...

С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится.

Баю-баю-баю...

2

СКАЗОЧКА ПРО КОЗЯВОЧКУ

I

Как родилась Козявочка, — никто не видал.

Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала:

— Хорошо!..

Расправила Козявочка свои крылышки, потерла тонкие ножки одна о другую, еще посмотрела кругом и сказала:

— Как хорошо!.. Какое солнышко теплое, какое небо синее, какая травка зеленая, — хорошо, хорошо!.. И все мое!..

Еще потерла Козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. А внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек.

— Козявочка, ко мне! — крикнул цветочек.

Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок.

— Какой ты добрый, цветочек! — говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками.

— Добрый-то добрый, да вот ходить не умею, — пожаловался цветочек.

— И все-таки хорошо, — уверяла Козявочка. — И все мое...

Не успела она еще *договорить*, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель, и прямо к цветочку.

— Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... кто пьет мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрянная Козявка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил тебя!

— Позвольте, что же это такое? — запищала Козявочка. — Все, все мое...

— Жжж... Нет, мое!..

Козявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась.

— Какой грубиян этот Шмель... Даже удивительно!.. Еще ужалить хотел... Ведь все мое — и солнышко, и травка, и цветочки.

— Нет уж извините, — мое! — проговорил мохнатый Червячок, карабкавшийся по стебельку травки.

Козявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, и заговорила смелее:

— Извините меня, Червячок, вы ошибаетесь... Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте!..

— Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю, признаться сказать... Мало ли вас тут летает... Вы — народ легкомысленный, а я Червячок серьезный... Говоря откровенно, мне все принадлежит. Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свидания!..

II

В несколько часов Козявочка узнала решительно все, именно, что, кроме солнышка, синего неба и зеленой травки, есть еще сердитые шмели, серьезные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что все принадлежит ей и создано для нее, а тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так... Не может этого быть.

Летит Козявочка дальше и видит — вода.

— Уж это мое! — весело запищала она. — Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и травка и цветочки.

А навстречу Козявочке летят другие козявочки.

— Здравствуй, сестрица!

— Здравствуйте, милые... А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?

— А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело... Ты недавно родилась?

— Только сегодня... Меня чуть Шмель не ужалил, потом я видела Червяка... Я думала, что все мое, а они говорят, что все ихнее.

Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом: кружатся, летают, пищат. Наша Козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и серьезного Червяка.

— Ах, как хорошо! — шептала она в восторге. — Все мое: и солнышко, и травка, и вода. Зачем другие сердятся, — решительно не понимаю. Все мое, а я никому не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю...

Поиграла Козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть в самом деле. Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки; вдруг откуда ни возьмись воробей, — как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил.

— Ай, ой! — закричали козявочки и бросились врассыпную. Когда воробей улетел, не досчитались целого десятка козявочек.

— Ах, разбойник! — бранились старые козявочки. — Целый десяток съел.

Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками еще дальше в болотную траву. Но здесь — другая беда: двух козявочек съела рыбка, а двух — лягушка.

— Что же это такое? — удивлялась Козявочка. — Это уж совсем ни на что не похоже... Так и жить нельзя. У, какие гадкие!..

Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да еще прилетели новые козявочки, которые только что родились. Они летели и пищали:

— Все наше... Все наше...

— Нет, не все наше, — крикнула им наша Козявочка. — Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!..

Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попря-

тались в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, взошел месяц, и все отразилось в воде.

Ах, как хорошо было!..

«Мой месяц, мои звезды», — думала наша Козявочка, но никому этого не сказала: как раз отнимут и это...

III

Так прожила Козявочка целое лето.

Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж; потом незаметно подобралась лягушка, — мало ли у козявочек всяких врагов! Были и свои радости. Встретила Козявочка другую такую же козявочку с мохнатыми усиками. Та и говорит:

— Какая ты хорошенькая, Козявочка... Будем жить вместе.

И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Все вместе: куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша Козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала:

— Ах, как я устала!..

Никто не видал, как Козявочка умерла.

Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.

3

СКАЗКА ПРО КОМАРА КОМАРОВИЧА — ДЛИННЫЙ НОС И ПРО МОХНАТОГО МИШУ — КОРОТКИЙ ХВОСТ

I

Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович — длинный нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик:

— Ой, батюшки!.. ой, карраул!..

Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал:

— Что случилось?.. Что вы орете?

А комары летают, жужжат, пищат, — ничего разобрать нельзя.

— Ой, батюшки!.. Пришел в наше болото медведь и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров, как дохнул — проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил...

Комар Комарович — длинный нос сразу рассердился; рассердился и на медведя и на глупых комаров, которые пищали без толку.

— Эй, вы, перестаньте пищать! — крикнул он. — Вот я сейчас пойду и прогоню медведя... Очень просто! А вы орете только напрасно...

Еще сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили с испокон века, развалился и носом сопит, только свист идет, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь!.. Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ да еще спит так сладко!

— Эй, дядя, ты это куда забрался? — закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно.

Мохнатый Миша открыл один глаз — никого не видно, открыл другой глаз — едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом.

— Тебе что нужно, приятель? — заворчал Миша и тоже начал сердиться. — Как же, только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит.

— Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..

Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился.

— Да что тебе нужно, негодная тварь? — зарычал он.

— Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю... Вместе и с шубой тебя съем.

Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.

II

Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на все болото:

— Ловко я напугал мохнатого Мишку... В другой раз не придет.

Подивились комары и спрашивают:

— Ну, а сейчас-то медведь где?

— А не знаю, братцы... Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдет. Ведь я шутить не люблю, а так прямо и сказал: съем. Боюсь, как бы он не околел со страху, пока я к вам летаю... Что же, сам виноват!

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей-медведем. Никогда еще в болоте не было такого страшного шума. Пищали, пищали и решили — выгнать медведя из болота.

— Пусть идет к себе домой, в лес, там и спит. А болото наше... Еще отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили.

Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое: пусть его полежит, а когда выспится — сам уйдет; но на нее все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться.

— Идем, братцы! — кричал больше всех Комар Комарович. — Мы ему покажем... да!..

Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится.

— Ну, я так и говорил: умер, бедняга, со страху! — хвастался Комар Комарович. — Даже жаль немножко, вон какой здоровый медведище...

— Да он спит, братцы! — пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку.

— Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! — запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. — Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил и сам спит, как ни в чем не бывало...

А мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает.

— Он притворяется, что спит! — крикнул Комар Комарович и полетел на медведя. — Вот я ему сейчас покажу... Эй, дядя, будет притворяться!

Как налетит Комар Комарович, как вопьется своим длинным носом прямо в черный медвежий нос, Миша так и вскочил, — хвать лапой по носу, а Комар Комаровича как не бывало.

— Что, дядя, не понравилось? — пищит Комар Комарович. — Уходи, а то хуже будет... Я теперь не один, Комар Комарович — длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, Комарище — длинный носище, и младший брат, Комаришко — длинный носишко! Уходи, дядя...

— А я не уйду! — закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. — Я вас всех передавлю...

— Ой, дядя, напрасно хвастаешь...

Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем. А Комар Комарович вьется над самым медвежьим ухом и пищит:

— Я тебя съем, дядя...

III

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров. Так и ломит со всего плеча... Бил, бил, даже устал, а ни одного убитого комара нет, — все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им в комаров, — опять толку нет.

— Что̀, взял, дядя? — пищал Комар Комарович. — А я тебя все-таки съем...

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рев. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил!.. Все ему хотелось зацепить первого Комар Комаровича, — ведь вот тут, над самым ухом, вьется, а хватит медведь лапой, и опять ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал.

Обессилел, наконец, Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку, — давай кататься по траве, чтобы передавить все комариное царство. Катался, катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только еще больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох, — вышло того хуже. Комары вцепились в медвежий хвост. Окончательно рассвирепел медведь.

— Постойте, вот я вам задам!.. — ревел он так, что за пять верст было слышно. — Я вам покажу штуку... я... я... я...

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук и ревет:

— Ну-ка, подступитесь теперь ко мне... Всем носы пообломаю!..

Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут... Отбивался, отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто комариного войска, закашлялся, да как сорвется с сука, точно мешок... Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит:

— Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?..

Еще тоньше рассмеялись комары, а Комар Комарович так и трубит:

— Я тебя съем... я тебя съем... съем... съем!..

Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает.

Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит:

— Охота вам, Михайло Иваныч, беспокоить себя напрасно?.. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек внимания. Не стоит.

— И то не стоит, — обрадовался медведь. — Я это так... Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я... я...

Как повернется Миша, как побежит из болота, а Комар Комарович — длинный нос летит за ним, летит и кричит:

— Ой, братцы, держите! Убежит медведь... Держите!...

Собрались все комары, посоветовались и решили: «Не стоит! Пусть его уходит, — ведь болото-то осталось за нами!»

4

ВАНЬКИНЫ ИМЕНИНЫ

I

Бей, барабан: та-та! тра-та-та! Играйте трубы: труту! ту-ру-ру!.. Давайте сюда всю музыку, — сегодня Ванька именинник!.. Дорогие гости, милости просим... Эй, все собирайтесь сюда! Тра-та-та! Тру-ру-ру!

Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает:

— Братцы, милости просим... Угощенья, — сколько угодно. Суп из самых свежих щепок; котлеты из лучшего, самого чистого песку; пирожки из разноцветных бумажек; а какой чай! Из самой хорошей кипяченой воды. Милости просим... Музыка, играй!..

Та-та! Тра-та-та! Тру-ту! Ту-ру-ру!

Гостей набралось полна комната. Первым прилетел пузатый деревянный Волчок.

— Жж... жж... где именинник? Жж... жж... Я очень люблю повеселиться в хорошей компании...

Пришли две куклы. Одна — с голубыми глазами, Аня, у нее немного был попорчен носик; другая — с черными глазами, Катя, у нее недоставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диванчике.

— Посмотрим, какое угощенье у Ваньки, — заметила Аня. — Что-то уж очень хвастает. Музыка не дурна, а относительно угощения я сильно сомневаюсь.

— Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна, — укорила ее Катя.

— А ты вечно готова спорить...

Куклы немного поспорили и даже готовы были поссориться, но в этот момент приковылял на одной ноге сильно подержанный Клоун и сейчас же их примирил.

— Все будет отлично, барышни! Отлично повеселимся. Конечно, у меня одной ноги недостает, но ведь Волчок и на одной ноге вон как кружится. Здравствуй, Волчок...

— Жж... Здравствуй! Отчего это у тебя один глаз как будто подбит?

— Пустяки... Это я свалился с дивана. Бывает и хуже.

— Ох, как скверно бывает... Я иногда со всего разбега так стукнусь в стену, прямо головой!..

— Хорошо, что голова-то у тебя пустая...

— Все-таки больно... Жж... Попробуй-ка сам, так узнаешь.

Клоун только защелкал своими медными тарелками. Он вообще был легкомысленный мужчина.

Пришел Петрушка и привел с собой целую кучу гостей: собственную жену, Матрену Ивановну, немца доктора, Карла Иваныча, и большеносого Цыгана; а Цыган притащил с собой трехногую лошадь.

— Ну, Ванька, принимай гостей! — весело заговорил Петрушка, щелкая себя по носу. — Один другого лучше. Одна моя Матрена Ивановна чего стоит... Очень она любит у меня чай пить, точно утка.

— Найдем и чай, Петр Иваныч, — ответил Ванька. — А мы хорошим гостям всегда рады... Садитесь, Матрена Ивановна! Карл Иваныч, милости просим...

Пришли еще Медведь с Зайцем, серенький бабушкин Козлик с Уточкой-хохлаткой, Петушок с Волком, — всем место нашлось у Ваньки.

Последними пришли Аленушкин Башмачок и Аленушкина Метелочка. Посмотрели они — все места заняты, а Метелочка сказала:

— Ничего, я и в уголке постою...

А Башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. Это был очень почтенный Башмачок, хотя и стоптанный. Его немного смущала только дырочка,

которая была на самом носике. Ну, да ничего, под диваном никто не заметит.

— Эй, музыка! — скомандовал Ванька.

Забил барабан: тра-та! та-та! Заиграли трубы: тру-ту! И всем гостям вдруг сделалось так весело, так весело...

II

Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, играли сами трубы, жужжал Волчок, звенел своими тарелочками Клоун, а Петрушка неистово пищал. Ах, как было весело!..

— Братцы, гуляй! — покрикивал Ванька, разглаживая свои льняные кудри.

Аня и Катя смеялись тонкими голосками, неуклюжий Медведь танцевал с Метелочкой, серенький Козлик гулял с Уточкой-хохлаткой, Клоун кувыркался, показывая свое искусство, а доктор Карл Иваныч спрашивал Матрену Ивановну:

— Матрена Ивановна, не болит ли у вас животик?

— Что вы, Карл Иваныч? — обижалась Матрена Ивановна. — С чего вы это взяли?..

— А ну, покажите язык.

— Отстаньте, пожалуйста...

— Я здесь... — прозвенела тонким голоском серебряная Ложечка, которой Аленушка ела свою кашку.

Она лежала до сих пор спокойно на столе, а когда доктор заговорил об языке, не утерпела и соскочила. Ведь доктор всегда при ее помощи осматривает у Аленушки язычок...

— Ах, нет... Не нужно, — запищала Матрена Ивановна и так смешно размахивала руками, точно ветряная мельница.

— Что же, я не навязываюсь со своими услугами, — обиделась Ложечка.

Она даже хотела рассердиться, но в это время к ней подлетел Волчок, и они принялись танцевать. Волчок жужжал, Ложечка звенела... Даже Аленушкин Башмачок не утерпел, вылез из-под дивана и шепнул Метелочке:

— Я вас очень люблю, Метелочка...

Метелочка сладко закрыла глазки и только вздохнула. Она любила, чтобы ее любили.

Ведь она всегда была такой скромной Метелочкой и никогда не важничала, как это случалось иногда с другими. Например, Матрена Ивановна или Аня и Катя, — эти милые куклы любили посмеяться над чужими недостатками: у Клоуна не хватало одной ноги, у Петрушки был длинный нос, у Карла Иваныча — лысина, Цыган походил на головешку, а всего больше доставалось имениннику Ваньке.

— Он мужиковат немного, — говорила Катя.

— И, кроме того, хвастун, — прибавила Аня.

Повеселившись, все уселись за стол, и начался уже настоящий пир. Обед прошел, как на настоящих именинах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразумений. Медведь по ошибке чуть не съел Зайчика вместо котлетки; Волчок чуть не подрался с Цыганом из-за Ложечки, — последний хотел ее украсть и уже спрятал было к себе в карман. Петр Иваныч, известный забияка, успел поссориться с женой и поссорился из-за пустяков.

— Матрена Ивановна, успокойтесь, — уговаривал ее Карл Иваныч. — Ведь Петр Иваныч добрый... У вас, может быть, болит головка? У меня есть с собой отличные порошки...

— Оставьте ее, доктор, — говорил Петрушка. — Это уж такая невозможная женщина... А впрочем, я ее очень люблю. Матрена Ивановна, поцелуемтесь...

— Ура! — кричал Ванька. — Это гораздо лучше, чем ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон посмотрите...

Но тут случилось нечто совершенно неожиданное и такое ужасное, что даже страшно сказать.

Бил барабан: тра-та! та-та-та! Играли трубы: тру-ру! ру-ру-ру! Звенели тарелочки Клоуна, серебряным голоском смеялась Ложечка, жужжал Волчок, а развеселившийся Зайчик кричал: бо-бо-бо!.. Фарфоровая Собачка громко лаяла, резиновая Кошечка ласково мяукала, а Медведь так притоптывал ногой, что

дрожал пол. Веселее всех оказался серенький бабушкин Козлик. Он, во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно потряхивал своей бородой и скрипучим голосом ревел: мее-ке-ке!..

III

Позвольте, как все это случилось? Очень трудно рассказать все по порядку, потому что из участников происшествия помнил все дело только один Аленушкин Башмачок. Он был благоразумен и во-время успел спрятаться под диван.

Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздравить Ваньку деревянные Кубики... Нет, опять не так. Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, но всему виной была черноглазая Катя. Она, она, — верно!.. Эта хорошенькая плутовка еще в конце обеда шепнула Ане:

— А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее?

Кажется, вопрос самый простой, а между тем Матрена Ивановна страшно обиделась и заявила Кате прямо:

— Что же вы думаете, что мой Петр Иваныч урод?

— Никто этого не думает, Матрена Ивановна, — попробовала оправдываться Катя, но было уже поздно.

— Конечно, нос у него немного велик, — продолжала Матрена Ивановна.— Но ведь это заметно, если только смотреть на Петра Иваныча сбоку... Потом, у него дурная привычка страшно пищать и со всеми драться, но он все-таки добрый человек. А что касается ума...

Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, Петрушка и пропищал:

— Верно, Матрена Ивановна... Самый красивый человек здесь, конечно, я!

Тут уже все мужчины обиделись. Помилуйте, этакий самохвал этот Петрушка! Даже слушать противно. Клоун был не мастер говорить и обиделся молча, а зато доктор Карл Иваныч сказал очень громко:

— Значит, мы все уроды? Поздравляю, господа...

Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему

Цыган, рычал Медведь, выл Волк, кричал серенький Козлик, жужжал Волчок — одним словом, все обиделись окончательно.

— Господа, перестаньте! — уговаривал всех Ванька. — Не обращайте внимания на Петра Иваныча... Он просто пошутил.

Но все было напрасно. Волновался, главным образом, Карл Иваныч. Он даже стучал кулаком по столу и кричал:

— Господа, хорошо угощенье, нечего сказать!.. Нас и в гости пригласили только за тем, чтобы назвать уродами...

— Милостивые государыни и милостивые государи! — старался перекричать всех Ванька. — Если уж на то пошло, господа, так здесь всего один урод — это я... Теперь вы довольны?

Потом... Позвольте, как это случилось? Да, да, вот как было дело. Карл Иваныч разгорячился окончательно и начал подступать к Петру Иванычу. Он погрозил ему пальцем и повторял:

— Если бы я не был образованным человеком и если бы я не умел себя держать прилично в порядочном обществе, я сказал бы вам, Петр Иваныч, что вы даже весьма дурак...

Зная драчливый характер Петрушки, Ванька хотел встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что его ударил не Ванька а доктор... Что тут началось!.. Петрушка вцепился в доктора; сидевший в стороне Цыган ни с того ни с сего начал колотить Клоуна, Медведь с рычанием бросился на Волка, Волчок бил своей пустой головой Козлика — одним словом, вышел настоящий скандал. Куклы пищали тонкими голосами и все три со страху упали в обморок.

— Ах, мне дурно... — кричала Матрена Ивановна, падая с дивана.

— Господа, что же это такое?.. — орал Ванька. — Господа, ведь я именинник... Господа, это, наконец, невежливо!..

Произошла настоящая свалка, так что было уже трудно разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно

старался разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся колотить всех, кто подвертывался ему под руку, и так как он был всех сильнее, то гостям пришлось плохо.

— Карраул!!. Батюшки... ой, карраул! — орал сильнее всех Петрушка, стараясь ударить доктора побольнее... — Убили Петрушу до смерти... Карраул!..

От свалки ушел один Башмачок, во-время успевший спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл, а в это время за него спрятался Зайчик, тоже искавший спасения в бегстве.

— Ты это куда лезешь? — заворчал Башмачок.

— Молчи, а то еще услышат, и обоим достанется, — уговаривал Зайчик, выглядывая косым глазом из дырочки в носке. — Ах, какой разбойник этот Петрушка!.. Всех колотит, и сам же орет благим матом. Хорош гость, нечего сказать... А я едва убежал от Волка. Ах! Даже вспомнить страшно... А вон Уточка лежит кверху ножками. Убили бедную...

— Ах, какой ты глупый, Зайчик: все куклы лежат в обмороке, ну, и Уточка вместе с другими.

Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрене Ивановне давно уже надоело лежать в обмороке, она открыла один глаз и спросила:

— Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?..

Ей никто не отвечал, и Матрена Ивановна открыла другой глаз. В комнате было пусто, а Ванька стоял посредине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись Аня и Катя и тоже удивились.

— Здесь было что-то ужасное, — говорила Катя. — Хорош именинник, нечего сказать!

Куклы разом накинулись на Ваньку, который решительно не знал, что ему отвечать. И его кто-то бил, и он кого-то бил, а за что, про что — неизвестно.

— Решительно не знаю, как все это вышло, — говорил он, разводя руками. — Главное, что обидно: ведь я их всех люблю... решительно всех.

— А мы знаем как, — отозвались из-под дивана Башмачок и Зайчик. — Мы все видели!..

— Да это вы виноваты! — накинулась на них Матрена Ивановна. — Конечно, вы... Заварили кашу, а сами спрятались.

— Они, они!.. — закричали в один голос Аня и Катя.

— Ага, вон в чем дело! — обрадовался Ванька. — Убирайтесь вон, разбойники... Вы ходите по гостям только ссорить добрых людей.

Башмачок и Зайчик едва успели выскочить в окно.

— Вот я вас... — грозила им вслед кулаком Матрена Ивановна. — Ах, какие бывают на свете дрянные люди! Вот и Уточка скажет то же самое.

— Да, да... — подтвердила Уточка. — Я своими глазами видела, как они спрятались под диван.

Уточка всегда и со всеми соглашалась.

— Нужно вернуть гостей... — продолжала Катя. — Мы еще повеселимся...

Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, кто прихрамывал; у Петрушки всего сильнее пострадал его длинный нос.

— Ах, разбойники! — повторяли все в один голос, браня Зайчика и Башмачок. — Кто бы мог подумать?..

— Ах, как я устал! Все руки отколотил, — жаловался Ванька. — Ну, да что поминать старое... Я не злопамятен. Эй, музыка!..

Опять забил барабан: тра-та! та-та-та! Заиграли трубы: тру-ту! ру-ру-ру!.. А Петрушка неистово кричал:

— Ура, Ванька!..

5

СКАЗКА ПРО ВОРОБЬЯ ВОРОБЕИЧА, ЕРША ЕРШОВИЧА И ВЕСЕЛОГО ТРУБОЧИСТА ЯШУ

I

Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал:

— Эй, брат, здравствуй!.. Как поживаешь?

— Ничего, живем помаленьку, — отвечал Ерш Ершович. — Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах... Вода стоит тихо, всякой водяной травки, сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками...

— Спасибо, брат! С удовольствием пошел бы я к тебе в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу... Я тебя, брат, ягодами буду угощать, — у меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?

— Какой он?

— Белый такой...

— Как у нас гальки в реке?

— Ну вот. А возьмешь в рот — сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу?

— Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплаваем вместе. Я тебе все покажу...

Воробей Воробеич пробовал заходить в воду, — по колена зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно! Напьется Воробей Воробеич светлой речной водицы, а в жаркие дни покупается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах.

— Как это тебе не надоест в воде сидеть? — часто удивлялся Воробей Воробеич. — Мокро в воде, — еще простудишься...

Ерш Ершович удивлялся в свою очередь:

— Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке: как раз задохнешься. А у меня всегда прохладно. Плавай себе, сколько хочешь. Небойсь летом все ко мне в воду лезут купаться... А на крышу кто к тебе пойдет?

— И еще как ходят, брат!.. У меня есть большой приятель — трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит... И веселый такой трубочист, — все песни поет. Чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек отдохнуть, достанет хлебца

и закусывает, а я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться.

У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима: как зяб бедный Воробей Воробеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет под себя ноги, да и сидит. Одно только спасение — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда.

Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу-трубочисту. Пришел трубочист да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом, — чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас браниться:

— Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить...

— А я почем же знал, что ты в трубе сидишь?

— А будь вперед осторожнее... Если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул, — разве это хорошо?

Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось не сладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплывал к проруби, когда звал Воробей Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет:

— Эй, Ерш Ершович, жив ли ты?

— Жив... — сонным голосом откликается Ерш Ершович. — Только все спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят.

— И у нас тоже не лучше, брат! Что делать, приходится терпеть... Ух, какой злой ветер бывает!.. Тут, брат, не заснешь... Я все на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят: «Посмотрите, какой веселенький воробушек!» Ах, только бы дождаться тепла... Да ты уж опять, брат, спишь?..

А летом опять свои неприятности. Раз ястреб версты две гнался за Воробьем Воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке.

— Ох, едва жив ушел! — жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух. — Вот разбойник-то!.. Чуть-чуть не сцапал, а там бы — поминай как звали.

— Это вроде нашей щуки, — утешал Ерш Ершович. — Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния! А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено, а как это полено бросится за мной... Для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не могу понять...

— И я тоже... Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, разбойники...

II

Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Ерш Ершович, зябли по зимам, радовались летом; а веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения.

Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть с себя сажу. Идет да посвистывает, а тут слышит — страшный шум. Что такое случилось? А над рекой птицы так и вьются: и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут — ничего не разберешь.

— Эй, вы, что случилось? — крикнул трубочист.

— А вот и случилось... — чиликнула бойкая синичка. — Так смешно, так смешно!.. Посмотри, что наш Воробей Воробеич делает... Совсем взбесился.

Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким голоском, вильнула хвостиком и взвилась над рекой.

Когда трубочист подошел к реке, Воробей Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой: клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.

— Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат, шумишь тут? — спросил трубочист.

— Нет, я ему покажу!.. — орал Воробей Воробеич, задыхаясь от ярости. — Он еще не знает, каков я... Я ему покажу, проклятому Ершу Ершовичу! Он будет меня поминать, разбойник...

— Не слушай его! — крикнул трубочисту из воды Ерш Ершович. — Все-то он врет...

— Я вру? — орал Воробей Воробеич. — А кто червяка нашел? Я вру!.. Жирный такой червяк! Я его на берегу выкопал... Сколько трудился... Ну, схватил его и тащу домой, в свое гнездо. У меня семейство, — должен я корм носить... Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Ерш Ершович, — чтоб его щука проглотила! — как крикнет: «Ястреб!» Я со страху крикнул, — червяк упал в воду, а Ерш Ершович его и проглотил... Это называется врать?!. И Ястреба никакого не было...

— Что же, я пошутил, — оправдывался Ерш Ершович. — А червяк действительно был вкусный...

Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба: плотва, караси, окуни, малявки, — слушают и смеются. Да, ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем! А еще смешнее, как Воробей Воробеич вступил в драку с ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может.

— Подавись ты моим червяком! — бранился Воробей Воробеич. — Я другого себе выкопаю... А обидно то, что Ерш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется. А я его еще к себе на крышу звал... Хорош приятель, нечего сказать. Вот и трубочист Яша то же скажет... Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусываем иногда: он ест — я крошки подбираю.

— Постойте, братцы, это самое дело нужно рассудить, — заявил трубочист. — Дайте только мне сначала умыться... Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока немного успокойся...

— Мое дело правое, — что же мне беспокоиться! — орал Воробей Воробеич. — А только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить...

Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил:

— Ну, братцы, теперь будем суд судить... Ты, Ерш Ершович, — рыба, а ты, Воробей Воробеич, — птица. Так я говорю?

— Так! так!.. — закричали все, и птицы и рыбы.

— Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица — в воздухе. Так я говорю? Ну, вот... А червяк, например, живет в земле. Хорошо. Теперь смотрите...

Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил:

— Вот, смотрите: что это такое? Это — хлеб. Я его заработал, и я его съем; съем и водицей запью. Так? Значит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хочет пообедать... У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? Воробей Воробеич откопал червячка, значит он его заработал, и, значит, червяк — его...

— Позвольте, дяденька... — послышался в толпе птиц тоненький голосок.

Птицы раздвинулись и пустили вперед Бекасика-песочника, который подошел к самому трубочисту на своих тоненьких ножках.

— Дяденька, это неправда.

— Что неправда?

— Да червячка-то ведь я нашел... Вон спросите уток, — они видели. Я его нашел, а Воробей налетел и украл.

Трубочист смутился. Выходило совсем не то.

— Как же это так?.. — бормотал он, собираясь с мыслями. — Эй, Воробей Воробеич, ты это что же, в самом деле, обманываешь?

— Это не я вру, а Бекас врет. Он сговорился вместе с утками...

— Что-то не тово, брат... гм... да! Конечно, червячок — пустяки; а только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать... Так я говорю? Да...

— Верно! Верно!.. — хором крикнули опять все. — А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воробеичем. Кто у них прав?.. Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги.

— Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович и Воробей Воробеич!.. Право, озорники. Я обоих вас и накажу для примера... Ну, живо миритесь, сейчас же!

— Верно! — крикнули все хором. — Пусть помирятся...

— А Бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками, — решил трубочист. — Все и будут довольны...

— Отлично! — опять крикнули все.

Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его стащить.

— Ах, разбойник! Ах, плут! — возмутились все рыбы и все птицы.

И все бросились в погоню за вором. Краюшка была тяжела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой. Бросились на вора большие и малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку; а потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку, и все крошки съели. Как есть ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опомнились и всем сделалось совестно. Гнались за вором Воробьем да по пути краденую краюшку и съели.

А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно все вышло... Все убежали от него, остался один только Бекасик-песочник.

— А ты что же не летишь за всеми? — спрашивает трубочист.

— И я полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют...

— Ну, вот так-то лучше будет, Бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали...

Пришла Аленушка на бережок, стала спрашивать веселого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.

— Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички. А я бы разделила все — и червячка и краюшку, и никто бы не ссорился. Недавно я разделила четыре яблока... Папа приносит четыре яблока и говорит: «Раздели пополам, — мне и Лизе». Я и разделила на три части: одно яблоко дала папе, другое — Лизе, а два взяла себе.

6

СКАЗКА О ТОМ, КАК ЖИЛА-БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ МУХА

I

Как было весело летом!.. Ах, как весело! Трудно даже рассказать все по порядку... Сколько было мух, — тысячи. Летают, жужжат, веселятся... Когда родилась маленькая Мушка, расправила свои крылышки, — ей сделалось тоже весело. Так весело, так весело, что ни расскажешь. Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна и двери на террасу, — в какое хочешь, в то окно и лети.

— Какое доброе существо человек, — удивлялась маленькая Мушка, летая из окна в окно. — Это для нас сделаны окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное — весело...

Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зеленой травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперед позаботиться обо всем. Ах, какой он добрый, этот садовник!.. Мушка еще не родилась, а он уже все успел приготовить, решительно все, что нужно маленькой Мушке. Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом, — его так и покачивало, и садовник что-то бормотал совсем непонятное.

— И откуда только эти проклятые мухи берутся? — ворчал добрый садовник.

Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать гряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог. Молодая Мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоедала.

Потом, люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка утром пила молочко, ела булочку и потом

выпрашивала у тети Оли сахару, — все это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное — крошки булки и сахара. Ну, скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, особенно когда летаешь все утро и проголодаешься?.. Потом, кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи: говядину, иногда рыбу, сливки, масло, — вообще самая добрая женщина во всем доме. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще!..

А тетя Оля? О, эта чудная женщина, кажется, специально жила только для мух... Она своими руками открывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать, а когда шел дождь или было холодно, — закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, для чего все это делается, и лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Аленушка тоже очень любила варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух.

Так как мухи зараз не могли съесть всего, то тетя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки (чтобы не съели мыши, которым варенья совсем не полагается) и потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай.

— Ах, какие все добрые и хорошие! — восхищалась молодая Мушка, летая из окна в окно. — Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, наверное, съели бы все сами... Ах, как хорошо жить на свете!

— Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, — заметила старая Муха, любившая поворчать. — Это только так кажется... Ты обратила внимание на человека, которого все называют «папой»?

— О да... Это очень странный господин. Вы совер-

шенно правы, хорошая, добрая, старая Муха... Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он делает прямо назло мне... Потом, решительно ничего не хочет сделать для мух. Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла... Это, наконец, возмутительно! Я своими глазами видела, как в его чернильнице утонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу великолепную кляксу... Представьте себе, он в этом обвинял не себя, а нас же! Где справедливость?..

— Я думаю, что этот папа совсем лишен справедливости, хотя у него есть одно достоинство... — ответила старая опытная Муха: — он пьет пиво после обеда. Это совсем недурная привычка!.. Я, признаться, тоже не прочь выпить пива, хотя у меня и кружится от него голова... Что делать, дурная привычка!

— И я тоже люблю пиво, — призналась молоденькая Мушка и даже немного покраснела. — Мне делается от него так весело, так весело, хотя на другой день немного и болит голова. Но папа, может быть, оттого ничего не делает для мух, что сам не ест варенья, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенья... Ему остается только курить свою трубку.

Мухи вообще знали отлично всех людей, хотя и ценили их по-своему.

II

Лето стояло жаркое, и с каждым днем мух являлось все больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко всем. Но наша маленькая Мушка успела сделаться уже настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погибла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что едва выползла; в другой раз, спросонья, налетела на зажженную лампу и чуть не спалила себе крылышек; в третий раз чуть не попала

между оконных створок, — вообще приключений было достаточно.

— Что это такое: житья от этих мух не стало!.. — жаловалась кухарка. — Точно сумасшедшие, так и лезут везде... Нужно их изводить.

Даже наша Муха начала находить, что мух развелось слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок покрывался точно живой, двигавшейся сеткой. А когда приносили провизию, мухи бросались на нее живой кучей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие куски доставались только самым бойким и сильным, а остальным доставались объедки. Паша была права.

Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вместе с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек, — то есть они сделались вкусными, когда их разложили на тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили теплой водой.

— Вот отличное угощенье мухам! — говорила кухарка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах.

Мухи и без Паши догадались сами, что это делается для них, и веселой гурьбой накинулись на новое кушанье. Наша Муха тоже бросилась к одной тарелочке, но ее оттолкнули довольно грубо.

— Что вы толкаетесь, господа? — обиделась она. — А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-нибудь у других. Это, наконец, невежливо...

Дальше произошло что-то невозможное. Самые жадные мухи поплатились первыми... Они сначала бродили, как пьяные, а потом и совсем свалились. Наутро Паша намела целую большую тарелку мертвых мух. Остались живыми только самые благоразумные, а в том числе и наша Муха.

— Не хотим бумажек! — пищали все. — Не хотим...

Но на следующий день повторилось то же самое. Из благоразумных мух остались целыми только самые благоразумные. Но Паша находила, что слишком много и таких, самых благоразумных.

— Житья от них нет... — жаловалась она.

Тогда господин, которого звали папой, принес три стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пива и поставил на тарелочки... Тут попались и самые благоразумные мухи. Оказалось, что эти колпаки просто мухоловки. Мухи летели на запах пива, попадали в колпак и там погибали, потому что не умели найти выхода.

— Вот теперь отлично!.. — одобряла Паша; она оказалась совершенно бессердечной женщиной и радовалась чужой беде.

Что же тут отличного, посудите сами? Если бы у людей были такие же крылья, как у мух, и если бы поставить мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно так же... Наша Муха, наученная горьким опытом даже самых благоразумных мух, перестала совсем верить людям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают доверчивых, бедных мух. О, это самое хитрое и злое животное, если говорить правду!..

Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей, а тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила неприятная погода.

— Неужели лето прошло? — удивлялись оставшиеся в живых мухи. — Позвольте, когда же оно успело пройти? Это, наконец, несправедливо... Не успели оглянуться, а тут осень.

Это было похуже отравленных бумажек и стеклянных мухоловок. От наступавшей скверной погоды можно было искать защиты только у своего злейшего врага, то есть господина человека. Увы! теперь уже окна не отворялись по целым дням, а только изредка — форточки. Даже само солнце — и то светило точно для того только, чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето... И что же, — доверчивые мухи вылетают в форточку, но солнце только светит, а не греет. Они летят назад, — форточка

закрыта. Много мух погибло таким образом в холодные осенние ночи только благодаря своей доверчивости.

— Нет, я не верю, — говорила наша Муха. — Ничему не верю... Если уж солнце обманывает, то кому же и чему можно верить?

Понятно, что с наступлением осени все мухи испытывали самое дурное настроение духа. Характер сразу испортился почти у всех. О прежних радостях не было и помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и недовольными. Некоторые дошли до того, что начали даже кусаться, чего раньше не было.

У нашей Мухи до того испортился характер, что она совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, она жалела других мух, когда те погибали, а сейчас думала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, что она думала:

«Ну, и пусть погибают, — мне больше останется».

Во-первых, настоящих теплых уголков, в которых может прожить зиму настоящая, порядочная муха, совсем не так много, а во-вторых, просто надоели другие мухи, которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые лучшие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. Пора и отдохнуть.

Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и умирали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каждым днем их делалось все меньше и меньше, так что совершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни стеклянных мухоловок. Но нашей Мухе и этого было мало: ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, какая прелесть, — пять комнат, и всего одна муха!..

III

Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша Муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своем уголке, под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как все

разъяснилось сразу. Выпал первый снег... Земля была покрыта ярко белевшей пеленой.

— А, так вот какая бывает зима! — сообразила она сразу. — Она совсем белая, как кусок хорошего сахара...

Потом Муха заметила, что все другие мухи исчезли окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и заснули, кому где случилось. Муха в другое время пожалела бы их, а теперь подумала:

«Вот и отлично... Теперь я совсем одна!.. Никто не будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек... Ах, как хорошо!..»

Она облетела все комнаты и еще раз убедилась, что она совершенно одна. Теперь можно было делать решительно все, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло! Зима — там на улице, а в комнатах и тепло, и светло, и уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. С первой лампой, впрочем, вышла маленькая неприятность — Муха налетела было опять прямо на огонь и чуть не сгорела.

— Это, вероятно, зимняя ловушка для мух, — сообразила она, потирая обожженные лапки. — Нет, меня не проведете... О, я отлично все понимаю!.. Вы хотите сжечь последнюю муху? А я этого совсем не желаю... Тоже вот и плита в кухне, — разве я не понимаю, что это тоже ловушка для мух!..

Последняя Муха была счастлива всего несколько дней, а потом вдруг ей сделалось скучно, так скучно, так скучно, что, кажется, и не рассказать. Конечно, ей было тепло, она была сыта, а потом, потом она стала скучать. Полетает, полетает, отдохнет, поест, опять полетает, — и опять ей делается скучнее прежнего.

— Ах, как мне скучно! — пищала она самым жалобным, тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату. — Хоть бы одна была мушка еще, самая скверная, а все-таки мушка...

Как ни жаловалась последняя Муха на свое одиночество, — ее решительно никто не хотел понимать. Конечно, это ее злило еще больше, и она приставала к людям, как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то примется летать перед глазами взад и вперед. Одним словом, настоящая сумасшедшая.

— Господи, как же вы не хотите понять, что я совершенно одна и что мне очень скучно? — пищала она каждому. — Вы даже и летать не умеете, а поэтому не знаете, что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной... Да нет, куда вам! Что может быть неповоротливее и неуклюжее человека? Самая безобразная тварь, какую я когда-нибудь встречала...

Последняя Муха надоела и собаке и кошке — решительно всем. Больше всего ее огорчило, когда тетя Оля сказала:

— Ах, последняя муха... Пожалуйста, не трогайте ее. Пусть живет всю зиму.

— Что же это такое? Это уж прямое оскорбление. Ее, кажется, и за муху перестали считать. «Пусть поживет», — скажите, какое сделали одолжение! А если мне скучно! А если я, может быть, и жить совсем не хочу? Вот не хочу, — и все тут.

Последняя Муха до того рассердилась на всех, что даже самой сделалось страшно. Летает, жужжит, пищит... Сидевший в углу Паук, наконец, сжалился над ней и сказал:

— Милая Муха, идите ко мне... Какая красивая у меня паутина!

— Покорно благодарю... Вот еще нашелся приятель! Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверно, ты когда-нибудь был человеком, а теперь только притворяешься пауком.

— Как знаете, я вам же добра желаю.

— Ах, какой противный! Это называется — желать добра: съесть последнюю Муху!..

Они сильно повздорили, и все-таки было скучно, так скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлобилась решительно на всех, устала и громко заявила:

— Если так, если вы не хотите понять, как мне скучно, так я буду сидеть в углу целую зиму... Вот вам!.. Да, буду сидеть и не выйду ни за что...

Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее летнее веселье. Сколько было веселых мух; а она еще желала остаться совершенно одной. Это была роковая ошибка...

Зима тянулась без конца, и последняя Муха начала думать, что лета больше уже не будет совсем. Ей хотелось умереть, и она плакала потихоньку. Это, наверно, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно все, что вредно мухам. А может быть, это тетя Оля спрятала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?..

Последняя Муха готова была совсем умереть с отчаяния, как случилось нечто совершенно особенное. Она, по обыкновению, сидела в своем уголке и сердилась, как вдруг слышит: ж-ж-жж!.. Сначала она не поверила собственным ушам, а подумала, что ее кто-нибудь обманывает. А потом... Боже, что это было!.. Мимо нее пролетела настоящая живая мушка, еще совсем молоденькая. Она только что успела родиться и радовалась.

— Весна начинается... весна! — жужжала она.

Как они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая Муха несколько дней рассказывала, как скверно провела всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая Мушка только смеялась тоненьким голоском и никак не могла понять, как это было скучно.

— Весна, весна!.. — повторяла она.

Когда тетя Оля велела выставить все зимние рамы и Аленушка выглянула в первое открытое окно, последняя Муха сразу все поняла.

— Теперь я знаю все, — жужжала она, вылетая в окно, — лето делаем мы, мухи...

7

СКАЗОЧКА ПРО ВОРОНУШКУ — ЧЕРНУЮ ГОЛОВУШКУ И ЖЕЛТУЮ ПТИЧКУ КАНАРЕЙКУ

Сидит Ворона на березе и хлопает носом по сучку: хлоп-хлоп. Вычистила нос, оглянулась кругом, да как каркнет:

— Карр... карр!..

Дремавший на заборе кот Васька чуть не свалился со страху и начал ворчать:

— Эк тебя взяло, черная голова... Даст же бог такое горлышко!.. Чему обрадовалась-то?

— Отстань... Некогда мне, разве не видишь? Ах, как некогда... Карр-карр-карр!.. И все-то дела да дела.

— Умаялась, бедная, — засмеялся Васька.

— Молчи, лежебок... Ты вот все бока пролежал, только и знаешь, что на солнышке греться, а я-то с утра покоя не знаю: на десяти крышах посидела, полгорода облетела, все уголки и закоулки осмотрела. А еще вот надо на колокольню слетать, на рынке побывать, в огородах покопать... Да что я с тобой даром время теряю, — некогда мне. Ах, как некогда!

Хлопнула Ворона в последний раз носом по сучку, встрепенулась и только что хотела вспорхнуть, как услышала страшный крик. Неслась стая воробьев, а впереди летела какая-то маленькая желтенькая птичка.

— Братцы, держите ее... ой, держите! — пищали воробьи.

— Что такое? Куда? — крикнула Ворона, бросаясь за воробьями.

Взмахнула Ворона крыльями раз десяток и догнала воробьиную стаю. Желтенькая птичка выбилась из последних сил и бросилась в маленький садик, где росли кусты сирени, смородины и черемухи. Она хотела спрятаться от гнавшихся за ней воробьев. Забилась желтенькая птичка под куст, а Ворона — тут как тут.

— Ты кто такая будешь? — каркнула она.

Воробьи так и обсыпали куст, точно кто бросил горсть гороху.

Они озлились на желтенькую птичку и хотели ее заклевать.

— За что вы ее обижаете? — спрашивала Ворона.

— А зачем она желтая... — запищали разом все воробьи.

Ворона посмотрела на желтенькую птичку: действительно, вся желтая, — мотнула головой и проговорила:

— Ах вы, озорники... Ведь это совсем не птица!.. Разве такие птицы бывают?.. А впрочем, убирай-

тесь-ка... Мне надо поговорить с этим чудом. Она только притворяется птицей...

Воробьи запищали, затрещали, озлились еще больше, а делать нечего, — надо убираться. Разговоры с Вороной коротки: так хватит носищем, что и дух вон.

Разогнав воробьев, Ворона начала допытывать желтенькую птичку, которая тяжело дышала и так жалобно смотрела своими черными глазками.

— Кто ты такая будешь? — спрашивала Ворона.

— Я — Канарейка...

— Смотри, не обманывай, а то плохо будет. Кабы не я, так воробьи заклевали бы тебя...

— Право, я — Канарейка...

— Откуда ты взялась?

— А я жила в клетке... в клетке и родилась, и выросла, и жила. Мне все хотелось полетать, как другие птицы. Клетка стояла на окне, и я все смотрела на других птичек... Так им весело было, а в клетке так тесно. Ну, девочка Аленушка принесла чашечку с водой, отворила дверку, а я и вырвалась. Летала, летала по комнате, а потом в форточку и вылетела.

— Что же ты делала в клетке?

— Я хорошо пою...

— Ну-ка, спой.

Канарейка спела. Ворона наклонила голову набок и удивилась.

— Ты это называешь пением? Ха-ха... Глупые же были твои хозяева, если кормили за такое пение. Если б уж кого кормить, так настоящую птицу, как, например, меня... Давеча каркнула, — так плут Васька чуть с забора не свалился. Вот это пение!..

— Я знаю Ваську... Самый страшный зверь. Он сколько раз подбирался к нашей клетке. Глаза зеленые, так и горят, выпустит когти...

— Ну, кому страшен, а кому и нет... Плут он большой, — это верно, а страшного ничего нет. Ну, да об этом поговорим потом... А мне все-таки не верится, что ты настоящая птица...

— Право, тетенька, я — птица, совсем птица. Все канарейки — птицы...

— Хорошо, хорошо, увидим... А вот как ты жить будешь?

— Мне немного нужно: несколько зернышек, сахару кусочек, сухарик, — вот и сыта.

— Ишь какая барыня... Ну, без сахару еще обойдешься, а зернышек как-нибудь добудешь. Вообще ты мне нравишься. Хочешь жить вместе? У меня на березе — отличное гнездо...

— Благодарю. Только вот воробьи...

— Будешь со мной жить, так никто не посмеет пальцем тронуть. Не то что воробьи, а и плут Васька знает хорошо мой характер. Я не люблю шутить...

Канарейка сразу ободрилась и полетела вместе с Вороной. Что же, гнездо отличное, если бы еще сухарик да сахару кусочек...

Стали Ворона с Канарейкой жить да поживать в одном гнезде. Ворона хоть и любила иногда поворчать, но была птица не злая. Главным недостатком в ее характере было то, что она всем завидовала, а себя считала обиженной.

— Ну, чем лучше меня глупые куры? А их кормят, за ними ухаживают, их берегут, — жаловалась она Канарейке. — Тоже вот взять голубей... Какой от них толк, а нет-нет, и бросят им горсточку овса. Тоже глупая птица... А чуть я подлечу — меня сейчас все и начинают гнать в три шеи. Разве это справедливо? Да еще бранят вдогонку: «Эх ты, ворона!» А ты заметила, что я получше других буду, да и покрасивее?.. Положим, про себя этого не приходится говорить, а заставляют сами. Не правда ли?

Канарейка соглашалась со всем.

— Да, ты большая птица...

— Вот то-то и есть. Держат же попугаев в клетках, ухаживают за ними, а чем попугай лучше меня?.. Так, самая глупая птица. Только и знает, что орать да бормотать, а никто понять не может, о чем бормочет. Не правда ли?

— Да, у нас тоже был попугай и страшно всем надоедал.

— Да мало ли других таких птиц наберется, которые и живут неизвестно зачем!.. Скворцы, например, прилетят, как сумасшедшие, неизвестно откуда, проживут лето и опять улетят. Ласточки тоже, синицы, соловьи, — мало ли такой дряни наберется. Ни одной вообще серьезной, настоящей птицы... Чуть холодком пахнёт, — все и давай удирать куда глаза глядят.

В сущности Ворона и Канарейка не понимали друг друга. Канарейка не понимала этой жизни на воле, а Ворона не понимала жизни в неволе.

— Неужели вам, тетенька, никто зернышка никогда не бросил? — удивлялась Канарейка. — Ну, одного зернышка?

— Какая ты глупая... Какие тут зернышки? Только и смотри, как бы палкой кто не убил или камнем. Люди очень злы...

С последним Канарейка никак не могла согласиться, потому что ее люди кормили. Может быть, это Вороне так кажется... Впрочем, Канарейке скоро пришлось самой убедиться в людской злости. Раз она сидела на заборе, как вдруг над самой головой просвистел тяжелый камень. Шли по улице школьники, увидели на заборе Ворону, — как же не запустить в нее камнем?

— Ну что, теперь видела? — спрашивала Ворона, забравшись на крышу. — Вот все они такие, то есть люди.

— Может быть, вы чем-нибудь досадили им, тетенька?

— Решительно ничем... Просто так злятся. Они меня все ненавидят...

Канарейке сделалось жаль бедную Ворону, которую никто, никто не любил. Ведь так и жить нельзя...

Врагов вообще было достаточно. Например, кот Васька... Какими маслеными глазами он поглядывал на всех птичек, притворялся спящим, и Канарейка видела собственными глазами, как он схватил маленького, неопытного воробышка, — только косточки захрустели и перышки полетели... Ух, страшно! Потом ястреба — тоже хороши: плавает в воздухе, а потом камнем и падает на какую-нибудь неосторожную

птичку. Канарейка тоже видела, как ястреб тащил цыпленка. Впрочем, Ворона не боялась ни кошек, ни ястребов и даже сама была не прочь полакомиться маленькой птичкой. Сначала Канарейка этому не верила, пока не убедилась собственными глазами. Раз она увидела, как воробьи целой стаей гнались за Вороной. Летят, пищат, трещат... Канарейка страшно испугалась и спряталась в гнезде.

— Отдай, отдай! — неистово пищали воробьи, летая над вороньим гнездом. — Что же это такое? Это разбой!..

Ворона шмыгнула в свое гнездо, и Канарейка с ужасом увидела, что она принесла в когтях мертвого, окровавленного воробышка.

— Тетенька, что вы делаете?

— Молчи... — прошипела Ворона.

У ней глаза были страшные — так и светятся... Канарейка закрыла глаза от страха, чтобы не видать, как Ворона будет рвать несчастного воробышка.

«Ведь так она и меня когда-нибудь съест», — думала Канарейка.

Но Ворона, закусив, делалась каждый раз добрее. Вычистит нос, усядется поудобнее куда-нибудь на сук и сладко дремлет. Вообще, как заметила Канарейка, тетенька была страшно прожорлива и не брезгала ничем. То корочку хлеба тащит, то кусочек гнилого мяса, то какие-то объедки, которые разыскивала в помойных ямах. Последнее было любимым занятием Вороны, и Канарейка никак не могла понять, что за удовольствие копаться в помойной яме. Впрочем, и обвинять Ворону было трудно: она съедала каждый день столько, сколько не съели бы двадцать канареек. И вся забота у Вороны была только о еде... Усядется куда-нибудь на крышу и высматривает.

Когда Вороне было лень самой отыскивать пищу, она пускалась на хитрости. Увидит, что воробьи что-нибудь теребят, сейчас и бросится. Будто летит мимо, а сама орет во все горло:

— Ах, некогда мне... совсем некогда!..

Подлетит, сцапает добычу и была такова.

— Ведь это нехорошо, тетенька, отнимать у других, — заметила однажды возмущенная Канарейка.

— Нехорошо? А если я постоянно есть хочу?..

— И другие тоже хотят...

— Ну, другие сами о себе позаботятся. Это ведь вас, неженок, по клеткам всем кормят, а мы все сами должны добывать себе. Да и так, много ли тебе или воробью нужно?.. Поклевала зернышек, и сыта на целый день.

Лето промелькнуло незаметно. Солнце сделалось точно холоднее, а день короче. Начались дожди, подул холодный ветер. Канарейка почувствовала себя самой несчастной птицей, особенно когда шел дождь. А Ворона точно ничего не замечает.

— Что же из того, что идет дождь? — удивлялась она. — Идет-идет, и перестанет.

— Да ведь холодно, тетенька! Ах, как холодно!..

Особенно скверно бывало по ночам. Мокрая Канарейка вся дрожала. А Ворона еще сердится.

— Вот неженка!.. То ли еще будет, когда ударит холод и пойдет снег.

Вороне делалось даже обидно. Какая же это птица, если и дождя, и ветра, и холода боится? Ведь так и жить нельзя на белом свете. Она опять стала сомневаться, что уж птица ли эта Канарейка. Наверно, только притворяется птицей...

— Право, я самая настоящая птица, тетенька! — уверяла Канарейка со слезами на глазах. — Только мне бывает холодно...

— То-то, смотри! А мне все кажется, что ты только притворяешься птицей...

— Нет, право, не притворяюсь.

Иногда Канарейка крепко задумывалась о своей судьбе. Пожалуй, лучше было бы оставаться в клетке... Там и тепло и сытно. Она даже несколько раз подлетала к тому окну, на котором стояла родная клетка. Там уже сидели две новых канарейки и завидовали ей.

— Ах, как холодно... — жалобно пищала зябнувшая Канарейка. — Пустите меня домой.

Раз утром, когда Канарейка выглянула из воронь-его гнезда, — ее поразила унылая картина: земля за ночь покрылась первым снегом, точно саваном. Все было кругом белое... А главное — снег покрыл все те зернышки, которыми питалась Канарейка. Оставалась рябина, но она не могла есть эту кислую ягоду. Ворона — та сидит, клюет рябину да похваливает:

— Ах, хороша ягода!..

Поголодав дня два, Канарейка пришла в отчаяние. Что же дальше-то будет?.. Этак можно и с голоду помереть...

Сидит Канарейка и горюет. А тут видит, — прибежали в сад те самые школьники, которые бросали в Ворону камнем, разостлали на земле сетку, посыпали вкусного льняного семени и убежали.

— Да они совсем не злые, эти мальчики, — обрадовалась Канарейка, поглядывая на раскинутую сеть. — Тетенька, мальчики мне корму принесли.

— Хорош корм, нечего сказать! — заворчала Ворона. — Ты и не думай туда совать нос... Слышишь? Как только начнешь клевать зернышки, так и попадешь в сетку.

— А потом что будет?

— А потом опять в клетку посадят...

Взяло раздумье Канарейку: и поесть хочется и в клетку не хочется. Конечно, и холодно и голодно, а все-таки на воле жить куда лучше, особенно когда не идет дождь.

Несколько дней крепилась Канарейка, но — голод не тетка, — соблазнилась она приманкой и попалась в сетку.

— Батюшки, караул!.. — жалобно пищала она. — Никогда больше не буду... Лучше с голоду умереть, чем опять попасть в клетку.

Канарейке теперь казалось, что нет ничего лучше на свете, как воронье гнездо. Ну, да, конечно, бывало и холодно и голодно, а все-таки — полная воля. Куда захотела, туда и полетела... Она даже заплакала. Вот придут мальчики и посадят ее опять в клетку. На ее счастье, летела мимо Ворона и увидела, что дело плохо.

— Ах ты, глупая!.. — ворчала она. — Ведь я тебе говорила, что не трогай приманки.

— Тетенька, не буду больше...

Ворона прилетела во-время. Мальчишки уже бежали, чтобы захватить добычу, но Ворона успела разорвать тонкую сетку, и Канарейка очутилась опять на свободе. Мальчишки долго гонялись за проклятой Вороной, бросали в нее палками и камнями и бранили.

— Ах, как хорошо! — радовалась Канарейка, очутившись опять в своем гнезде.

— То-то хорошо. Смотри у меня... — ворчала Ворона.

Зажила опять Канарейка в вороньем гнезде и больше не жаловалась ни на холод, ни на голод. Раз Ворона улетела на добычу, заночевала в поле, а вернулась домой, — лежит Канарейка в гнезде ножками вверх. Сделала Ворона голову набок, посмотрела и сказала:

— Ну, ведь говорила я, что это не птица!..

8

УМНЕЕ ВСЕХ

Сказка

I

Индюк проснулся, по обыкновению, раньше других, когда еще было темно, разбудил жену и проговорил:

— Ведь я умнее всех? Да?

Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже ответила:

— Ах, какой умный... Кхе-кхе!.. Кто же этого не знает? Кхе...

— Нет, ты говори прямо: умнее всех? Просто умных птиц достаточно, а умнее всех — одна, это я.

— Умнее всех... кхе! Всех умнее... Кхе-кхе-кхе!..

— То-то.

Индюк даже немного рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы:

— Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, совсем мало.

— Нет, это тебе так кажется... Кхе-кхе! — успокаивала его Индюшка, начиная поправлять сбившиеся за ночь перышки. — Да, просто кажется... Птицы умнее тебя и не придумать. Кхе-кхе-кхе!

— А Гусак? О, я все понимаю... Положим, он прямо ничего не говорит, а больше все молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает...

— А ты не обращай на него внимания. Не стоит... кхе! Ведь ты заметил, что Гусак глуповат?

— Кто же этого не видит? У него на лице написано: глупый гусак, и больше ничего. Да... Но Гусак еще ничего, — разве можно сердиться на глупую птицу? А вот Петух, простой самый петух... Что он кричал про меня третьего дня? И еще как кричал, — все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым... Что-то в этом роде вообще.

— Ах, какой ты странный, — удивлялась Индюшка. — Разве ты не знаешь, отчего он вообще кричит?

— Ну, отчего?

— Кхе-кхе-кхе... Очень просто, и всем известно. Ты — петух, и он — петух, только он совсем-совсем простой петух, самый обыкновенный петух, а ты — настоящий индейский, заморский петух, — вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом... Кхе-кхе-кхе!..

— Ну, это трудненько, матушка... Ха-ха! Ишь чего захотели. Какой-нибудь простой петушишка — и вдруг хочет сделаться индейским, — нет, брат, шалишь!.. Никогда ему не бывать индейским.

Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что Индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня, — не успел проснуться, а уж придумывает, с кем бы затеять ссору или даже и драку. Вообще самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над Индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы, но найдите птицу без недо-

статков? Вот то-то и есть! Таких птиц не бывает, и даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хотя самый маленький недостаток.

Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали:

— Ах-куда! Ах-куда-куда-куда... Мы есть хотим! Кухарка Матрена, должно быть, умерла и хочет уморить нас с голоду...

— Господа, имейте терпение, — заметил стоявший на одной ноге Гусак. — Смотрите на меня: я ведь тоже есть хочу, а не кричу, как вы. Если бы я заорал на всю глотку... вот так... Го-го!.. Или так: и-го-го-го!!.

Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрена сразу проснулась.

— Хорошо ему говорить о терпении, — ворчала одна Утка, — вон какое горло, точно труба. А потом, если бы у меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась скорее всех, а другим советовала бы терпеть... Знаем мы это гусиное терпение...

Утку поддержал Петух и крикнул:

— Да, хорошо Гусаку говорить о терпении... А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно, — хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поссорились, и я хотел Гусаку проклевать голову, — не отпираюсь, было такое намеренье, — но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа?

Голодные птицы, как голодные люди, делались несправедливыми именно потому, что были голодны.

II

Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрена отгонит другую жадную птицу и позовет его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне, около забора, и делал вид, что ищет что-то среди разного сора.

— Кхе-кхе... ах, как мне хочется кушать! — жаловалась Индюшка, вышагивая за мужем. — Вот уж Матрена бросила овса... да... и, кажется, остатки вчерашней каши... кхе-кхе! Ах, как я люблю кашу!.. Я, кажется, всегда бы ела одну кашу, целую жизнь. Я даже иногда вижу ее ночью во сне...

Индюшка любила пожаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы Индюк непременно ее жалел. Среди других птиц она походила на старушку: вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно ноги приделаны были к ней только вчера.

— Да, хорошо и каши поесть, — соглашался с ней Индюк. — Но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю? Если меня хозяин не будет кормить, — я умру с голода... так? А где же он найдет другого такого индюка?

— Другого такого нигде нет...

— Вот то-то... А каша в сущности пустяки. Да... Дело не в каше, а в Матрене. Так я говорю? Была бы Матрена, а каша будет. Все на свете зависит от одной Матрены — и овес, и каша, и крупа, и корочки хлеба.

Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начинал испытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрена не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нем? Ведь это и совсем скверная штука...

Но тут случилось нечто такое, что заставило Индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула:

— Ах-куда!..

Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом: «Ах-куда! куда-куда...» А всех сильнее, конечно, заорал Петух:

— Карраул!.. Кто там?

Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.

— Да это простой камень, — заметил кто-то.

— Он шевелился, — объяснила Курочка. — Я тоже думала, что камень, подошла, а он как пошевелится... Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает.

— Мало ли что может показаться со страха глупой курице, — заметил Индюк. — Может быть, это... это...

— Да это гриб! — крикнул Гусак. — Я видал точно такие грибы, только без игол.

Все громко рассмеялись над Гусаком.

— Скорее это походит на шапку, — попробовал кто-то догадаться и тоже был осмеян.

— Разве у шапки бывают глаза, господа?

— Тут нечего разговаривать попусту, а нужно действовать, — решил за всех Петух. — Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю... слышишь?

Так как ответа не было, то Петух счел себя оскорбленным и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть раза два и сконфуженно отошел в сторону.

— Это... это громадная репейная шишка, и больше ничего, — объяснил он. — Вкусного ничего нет... Не желает ли кто-нибудь попробовать?

Все болтали, кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один Индюк. Что же, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул:

— Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть Индюк? Он все знает...

— Конечно, знаю, — отозвался Индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу.

— А если знаешь, так скажи нам.

— А если я не хочу? Так, просто не хочу.

Все принялись упрашивать Индюка.

— Ведь ты у нас самая умная птица, Индюк! Ну, скажи, голубчик... Чего тебе стоит сказать?

Индюк долго ломался и, наконец, проговорил:

— Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу... да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?

— Кто же не знает, что ты самая умная птица!.. — ответили все хором. — Так и говорят: умен, как индюк.

— Значит, вы меня уважаете?

— Уважаем! Все уважаем!..

Индюк еще немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кругом и проговорил:

— Это... да... Хотите знать, что это?

— Хотим!.. Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.

— Это — кто-то куда-то ползет...

Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье, и тоненький голосок сказал:

— Вот так самая умная птица!.. хи-хи...

Из-под игол показалась черненькая мордочка с двумя черными глазками, понюхала воздух и проговорила:

— Здравствуйте, господа... Да как же вы это Ежа-то не узнали, Ежа серячка-мужичка?.. Ах, какой у вас смешной Индюк, извините меня, какой он... Как это вежливее сказать?.. Ну, глупый Индюк...

III

Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанес Еж Индюку. Конечно, Индюк сказал глупость, это верно, но из этого еще не следует, что Еж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо: прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а Индюк все-таки важная, представительная птица и уж не чета какому-нибудь несчастному Ежу.

Все как-то разом перешли на сторону Индюка, и поднялся страшный гвалт.

— Вероятно, Еж и нас всех тоже считает глупыми! — кричал Петух, хлопая крыльями.

— Он нас всех оскорбил!..

— Если кто глуп, так это он, то есть Еж, — заявлял Гусак, вытягивая шею. — Я это сразу заметил... да!..

— Разве грибы могут быть глупыми? — отвечал Еж.

— Господа, что мы с ним напрасно разговариваем, — кричал Петух. — Все равно он ничего не поймет... Мне кажется, мы только напрасно теряем время. Да... Если, например, вы, Гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с Индюком уцепимся за его щетину с другой, — сейчас будет видно, кто умнее. Ведь ума не скроешь под глупой щетиной...

— Что же, я согласен... — заявил Гусак. — Еще будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, Петух, будете его клевать прямо в морду... Так, господа? Кто умнее, сейчас и будет видно.

Индюк все время молчал. Сначала его ошеломила дерзость Ежа, и он не нашелся, что ему ответить. Потом Индюк рассердился, так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это видели и еще раз убедились, какая серьезная и строгая птица Индюк. Он даже сделал несколько шагов к Ежу, страшно надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бранить Ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем все кончится.

Когда Петух предложил тащить Ежа за щетину в разные стороны, Индюк остановил его усердие.

— Позвольте, господа... Может быть, мы устроим все это дело миром... Да. Мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне все дело...

— Хорошо, мы подождем, — неохотно согласился Петух, желавший подраться с Ежом поскорее. — Только из этого все равно ничего не выйдет...

— А уж это мое дело, — спокойно ответил Индюк. — Да вот слушайте, как я буду разговаривать.

Все столпились кругом Ежа и начали ждать. Индюк обошел его кругом, откашлялся и сказал:

— Послушайте, господин Еж... Объяснимтесь серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей.

«Боже, как он умен, как умен!..» — думала Индюшка, слушая мужа в немом восторге.

— Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе, — продолжал Индюк. — Это что-нибудь значит... да... Многие считают за честь попасть к нам на двор, но — увы! — это редко кому удается.

— Правда! Правда!.. — послышались голоса.

— Но это так, между нами, а главное не в этом...

Индюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал:

— Да, так главное... Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что Гусак, принявший вас за гриб, пошутил, и Петух — тоже, и другие... Не правда ли, господа?

— Совершенно справедливо, Индюк! — крикнули все разом так громко, что Еж спрятал свою черную мордочку.

«Ах, какой он умный!» — думала Индюшка, начинавшая догадываться, в чем дело.

— Как видите, господин Еж, мы все любим пошутить, — продолжал Индюк. — Я уж не говорю о себе... да. Отчего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин Еж, тоже обладаете веселым характером...

— О, вы угадали, — признался Еж, опять выставляя мордочку. — У меня такой веселый характер, что я даже не могу спать по ночам... Многие этого не выносят, а мне скучно спать.

— Ну, вот видите... Вы, вероятно, сойдетесь характером с нашим Петухом, который горланит по ночам, как сумасшедший.

Всем вдруг сделалось весело, точно каждому, для полноты жизни, только и недоставало Ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда Еж назвал его глупым и засмеялся прямо в лицо.

— Кстати, господин Еж, признайтесь, — заговорил Индюк, подмигнув, — ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня... да... ну, неумной птицей?

— Конечно, пошутил! — уверял Еж. — У меня уж такой характер веселый!..

— Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа? — спрашивал Индюк всех.

— Слышали... Кто же мог в этом сомневаться!

Индюк наклонился к самому уху Ежа и шепнул ему по секрету:

— Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну... да... Только — условие: никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделаете, если я — самая умная птица! Меня это иногда даже немного стесняет, но шила в мешке не утаишь... Пожалуйста, только никому об этом ни слова!..

9

ПРИТЧА О МОЛОЧКЕ, ОВСЯНОЙ КАШКЕ И СЕРОМ КОТИШКЕ МУРКЕ

I

Как хотите, а это было удивительно! А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашкой, так и начнется. Сначала стоят как будто и ничего, а потом и начинается разговор:

— Я — Молочко...

— А я — овсяная Кашка...

Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а потом Кашка и Молочко начинают постепенно горячиться.

— Я — Молочко!

— А я — овсяная Кашка!

Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверху пузырь, лопался и говорил:

— А я все-таки овсяная Кашка... пум!

Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. Скажите, пожалуйста, какая невидаль — какая-то

овсяная каша! Молочко начинало горячиться, поднималось пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка не досмотрит, глядит, — Молочко и полилось на горячую плиту.

— Ах, уж это мне Молочко! — жаловалась каждый раз кухарка. — Чуть-чуть не досмотришь, — оно и убежит.

— Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер! — оправдывалось Молочко. — Я и само не радо, когда сержусь. А тут еще Кашка постоянно хвастается: я — Кашка, я — Кашка, я — Кашка... Сидит у себя в кастрюльке и ворчит; ну, я и рассержусь.

Дело иногда доходило до того, что и Кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку, — так и поползет на плиту, а сама все повторяет:

— А я — Кашка! Кашка! Кашка... шшш!

Правда, что это случалось не часто, но все-таки случалось, и кухарка в отчаянии повторяла который раз:

— Уж эта мне Кашка!.. И что ей не сидится в кастрюльке, просто удивительно!..

II

Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения... Например, чего стоил один кот Мурка! Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце.

— Вот-то ненасытная утроба! — удивлялась кухарка, отгоняя кота. — Сколько вчера ты одной печенки съел?

— Так ведь то было вчера! — удивлялся в свою очередь Мурка. — А сегодня я опять хочу есть... Мяу-у!..

— Ловил бы мышей и ел, лентяй.

— Да, хорошо это говорить, а попробовала бы сама поймать хоть одну мышь, — оправдывался Мурка. — Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь... Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась... Ведь это только легко говорить: лови мышей!

Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал.

— Видишь, до чего наелся! — удивлялась кухарка. — И глаза зажмурил, лежебок... И все подавай ему мяса!

— Ведь я не монах, чтобы не есть мяса, — оправдывался Мурка, открывая всего один глаз. — Потом я и рыбки люблю покушать... Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше: печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое... Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда сыт...

Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами, для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица.

— Я тебя знаю, старый плут! — кричит Скворец сверху. — Нечего смотреть на меня...

— А если мне хочется познакомиться с тобой?

— Знаю я, как ты знакомишься... Кто недавно съел настоящего, живого воробышка? У, противный!..

— Нисколько не противный, — и даже наоборот. Меня все любят... Иди ко мне, я сказочку расскажу.

— Ах, плут... Нечего сказать, хороший сказочник! Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!

— Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел; но ведь он уже никуда все равно не годился.

III

Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся Молочко и Кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал.

— Я — Молочко.

— Я — Кашка! Кашка-Кашка-кашшшш...

— Нет, не понимаю! Решительно ничего не понимаю, — говорил Мурка. — Из-за чего сердятся? Например, если я буду повторять: я — кот, я — кот, кот, кот... Разве кому-нибудь будет обидно?.. Нет, не понимаю... Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится.

Как-то Молочко и Кашка особенно горячо ссорились; ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками.

— Ну, что я теперь буду делать? — жаловалась она, отставляя с плиты Молочко и Кашку. — Нельзя отвернуться...

Отставив Молочко и Кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к Молочку, подул на него и проговорил:

— Пожалуйста, не сердитесь, Молочко...

Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково:

— Вот что, господа... Ссориться вообще нехорошо. Да. Выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело...

Сидевший в щели черный Таракан даже поперхнулся от смеха: «Вот так мировой судья... Ха-ха! Ах, старый плут, что только и придумает!..» Но Молочко и Кашка были рады, что их ссору, наконец, разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спорили.

— Хорошо, хорошо, я все разберу, — говорил кот Мурка. — Я уж не покривлю душой... Ну, начнем с Молочка.

Он обошел несколько раз горшочек с Молочком, попробовал его лапкой, подул на Молочко сверху и начал лакать.

— Батюшки! Караул! — закричал Таракан. — Он все молоко вылакает, а подумают на меня.

Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, — горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном как ни в чем не бывало.

— Ах ты, негодный! — бранила его кухарка, хватая за ухо. — Кто выпил молоко, сказывай?

Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, расправил хвост и проговорил:

— Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает...

10

ПОРА СПАТЬ

I

Засыпает один глазок у Аленушки, засыпает другое ушко у Аленушки...

— Папа, ты здесь?

— Здесь, деточка...

— Знаешь что, папа... Я хочу быть царицей...

Заснула Аленушка и улыбается во сне.

Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. Обступили кругом Аленушкину кроватку, шепчутся и смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие цветочки, желтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые, — точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными огоньками и веселыми детскими глазками.

— Аленушка хочет быть царицей! — весело звенели полевые Колокольчики, качаясь на тоненьких зеленых ножках.

— Ах, какая она смешная! — шептали скромные Незабудки.

— Господа, это дело нужно серьезно обсудить, — задорно вмешался желтый Одуванчик. — Я по крайней мере никак этого не ожидал...

— Что такое значит — быть царицей? — спрашивал синий полевой Василек. — Я вырос в поле и не понимаю ваших городских порядков.

— Очень просто... — вмешалась розовая Гвоздика. — Это так просто, что и объяснять не нужно. Царица — это... это... Вы все-таки ничего не понимаете? Ах, какие вы странные... Царица — это, когда цветок розовый, как я. Другими словами: Аленушка хочет быть гвоздикой. Кажется, понятно?

Все весело засмеялись. Молчали только одни Розы. Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что царица всех цветов — одна Роза, нежная, благоухающая, чудная? И вдруг какая-то Гвоздика называет себя царицей... Это ни на что не похоже. Наконец, одна Роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила:

— Нет, извините. Аленушка хочет быть розой... да! Роза потому царица, что все ее любят.

— Вот это мило! — рассердился Одуванчик. — А за кого же в таком случае вы меня принимаете?

— Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста, — уговаривали его лесные Колокольчики. — Это портит характер, и притом некрасиво. Вот мы, — мы молчим о том, что Аленушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это ясно само собой.

II

Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные — как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика; а цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали — розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкои, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Аленушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные!

— Аленушка нас очень любит, — шептали Фиалки. — Ведь мы весной являемся первыми. Только снег стает — мы и тут.

— И мы тоже, — говорили Ландыши. — Мы тоже весенние цветочки... Мы неприхотливы и растем прямо в лесу.

— А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле? — жаловались душистые кудрявые Левкои и Гиацинты. — Мы здесь только гости, а наша родина далеко, там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине... У вас, на севере, так холодно. Нас Аленушка тоже любит, и даже очень...

— И у нас тоже хорошо, — спорили полевые цветы. — Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово... А потом холод убивает наших злейших врагов, как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо.

— Мы тоже любим холод, — прибавили от себя Розы.

То же сказали Азалии и Камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет.

— Вот что, господа, будемте рассказывать о своей родине, — предложил белый Нарцисс. — Это очень интересно... Аленушка нас послушает. Ведь она и нас любит...

Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали благословенные долины Шираза, Гиацинты — Палестину, Азалии — Америку, Лилии — Египет... Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. Как там хорошо!.. Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут, какие чудные птицы, сколько красавиц бабочек, похожих на летающие цветы, — и цветов, похожих на бабочек...

— Мы на севере только гости, нам холодно, — шептали все эти южные растения.

Родные полевые цветочки даже пожалели их. В самом деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льет холодный дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но все-таки снег.

— У вас есть громадный недостаток, — объяснил Василек, наслушавшись этих рассказов. — Не спорю, вы, пожалуй, красивее иногда нас, простых полевых цветочков, — я это охотно допускаю... да... Одним словом, вы — наши дорогие гости, а ваш главный недостаток в том, что вы растете только для богатых людей, а мы растем для всех. Мы гораздо добрее... Вот я, например, — меня вы увидите в руках у каждого деревенского ребенка. Сколько радости доставляю я всем бедным детям!.. За меня не нужно платить денег, а только стоит выйти в поле. Я расту вместе с пшеницей, рожью, овсом...

III

Аленушка слушала все, о чем рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть все самой, все те удивительные страны, о которых сейчас говорили.

— Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы, — проговорила она, наконец. — Отчего у меня нет крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой...

Она не успела еще договорить, как к ней подползла божья Коровка, настоящая божья коровка, такая красненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и такими тоненькими черными усиками и черными тоненькими ножками.

— Аленушка, полетим! — шепнула божья Коровка, шевеля усиками.

— У меня нет крылышек, божья Коровка!

— Садись на меня...

— Как же я сяду, когда ты маленькая?

— А вот, смотри...

Аленушка начала смотреть и удивлялась все больше и больше. Божья Коровка расправила верхние жесткие крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, как паутина, нижние крылышки, и сделалась еще больше. Она росла на глазах у Аленушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Аленушка могла свободно сесть к ней на спинку, между красными крылышками. Это было очень удобно.

— Тебе хорошо, Аленушка? — спрашивала божья Коровка.

— Очень.

— Ну, держись теперь крепче...

В первое мгновение, когда они полетели, Аленушка даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит не она, а летит все под ней — города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая, с булавочную головку, и притом легкая, как пушинка с одуванчика. А божья Коровка летела быстро-быстро, так, что только свистел воздух между крылышками.

— Смотри, что там внизу... — говорила ей божья Коровка.

Аленушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками.

— Ах, сколько роз... красные, желтые, белые, розовые!..

Земля была точно покрыта живым ковром из роз.

— Спустимся на землю, — просила она божью Коровку.

Они спустились, причем Аленушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья Коровка сделалась маленькой.

Аленушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. Какие они красивые, эти розы; и от их аромата кружится голова. Если бы все это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями!..

— Ну, теперь летим дальше, — сказала божья Коровка, расправляя свои крылышки.

Она опять сделалась большой-большой, а Аленушка — маленькой-маленькой.

IV

Они опять полетели.

Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу еще синее — море. Они летели над крутым и скалистым берегом.

— Неужели мы полетим через море? — спрашивала Аленушка.

— Да... только сиди смирно и держись крепче.

Сначала Аленушке было даже страшно, а потом — ничего. Кроме неба и воды, ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями, корабли... Маленькие суда походили на мух. Ах, как красиво, как хорошо!.. А впереди уже виднеется морской берег — низкий, желтый и песчаный, устье какой-то громадной реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья Коровка опустилась на берегу реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии, чудные, нежные лилии.

— Как хорошо здесь у вас, — заговорила с ними Аленушка. — Это у вас не бывает зимы?

— А что такое зима? — удивлялись Лилии.

— Зима — это когда идет снег...

— А что такое снег?

Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не видали, а говорили с чужих слов. Аленушка тоже не верила, что не бывает зимы. Значит, и шубки не нужно и валенок?

Полетели дальше. Но Аленушка больше не удивлялась ни синему морю, ни горам, ни обожженной солнцем пустыне, где росли гиацинты.

— Мне жарко... — жаловалась она. — Знаешь, божья Коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето.

— Кто как привык, Аленушка.

Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц—зеленых, красных, желтых, синих... Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем

огненного цвета, были пестрые; были цветы, походившие на маленьких птичек и на больших бабочек, — весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками.

— Это — орхидеи, — объяснила божья Коровка.

Ходить здесь было невозможно — так все переплелось.

Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых берегов громадная река. Божья Коровка опустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Аленушка еще не видала.

— Это — священный цветок, — объяснила божья Коровка. — Он называется лотосом...

V

Аленушка так много видела, что, наконец, устала. Ей захотелось домой: все-таки дома лучше.

— Я люблю снежок, — говорила Аленушка. — Без зимы нехорошо...

Они опять полетели, и чем поднимались выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Аленушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую елочку.

— Елочка, елочка! — крикнула она.

— Здравствуй, Аленушка! — крикнула ей снизу зеленая Елочка.

Это была настоящая рождественская елочка, — Аленушка сразу ее узнала. Ах, какая милая елочка!.. Аленушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. Ух, как страшно!.. Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. Со страха Аленушка закрыла глаза и не знала, жива ли она, или умерла.

— Ты это как сюда попала, крошка? — спросил ее кто-то.

Аленушка открыла глаза и увидела седого-седого, сгорбленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был тот самый старик, который приносит умным деткам святочные елки, золотые звезды, коробочки с бомбошками и самые удивительные игрушки. О, он такой

добрый, этот старик!.. Он сейчас же взял ее на руки, прикрыл своей шубой и опять спросил:

— Как ты сюда попала, маленькая девочка?

— Я путешествовала на божьей Коровке... Ах, сколько я видела, дедушка!..

— Так, так...

— А я тебя знаю, дедушка! Ты приносишь деткам елки...

— Так, так... И сейчас я устраиваю тоже елку.

Он показал ей длинный шест, который совсем уж не походил на елку.

— Какая же это елка, дедушка? Это просто — большая палка...

— А вот увидишь...

Старик понес Аленушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши да трубы. Старика уже ждали деревенские дети. Они прыгали и кричали:

— Елка! Елка!..

Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают: воробышки, кузьки, овсянки, — и принялись клевать зерно.

— Это наша елка! — кричали они.

Аленушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый раз видела, как устраивают елку для птичек зимой. Ах, как весело!.. Ах, какой добрый старичок! Один воробышек, суетившийся больше всех, сразу узнал Аленушку и крикнул:

— Да ведь это Аленушка! Я ее отлично знаю... Она меня не один раз кормила крошками. Да...

И другие воробышки тоже узнали ее и страшно запищали от радости.

Прилетел еще один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать лучшие зерна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом. Аленушка его узнала.

— Здравствуй, воробышек!..

— Ах, это ты, Аленушка? Здравствуй!..

Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному старику:

— А ведь она, Аленушка, хочет быть царицей... Да, я давеча слышал сам, как она это говорила.

— Ты хочешь быть царицей, крошка? — спросил старик.

— Очень хочу, дедушка!

— Отлично. Нет ничего проще: всякая царица — женщина, и всякая женщина — царица... Теперь ступай домой и скажи это всем другим маленьким девочкам.

Божья Коровка была рада убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели домой быстро-быстро... А там уж ждут Аленушку все цветочки. Они все время спорили о том, что такое царица.

Баю-баю-баю...

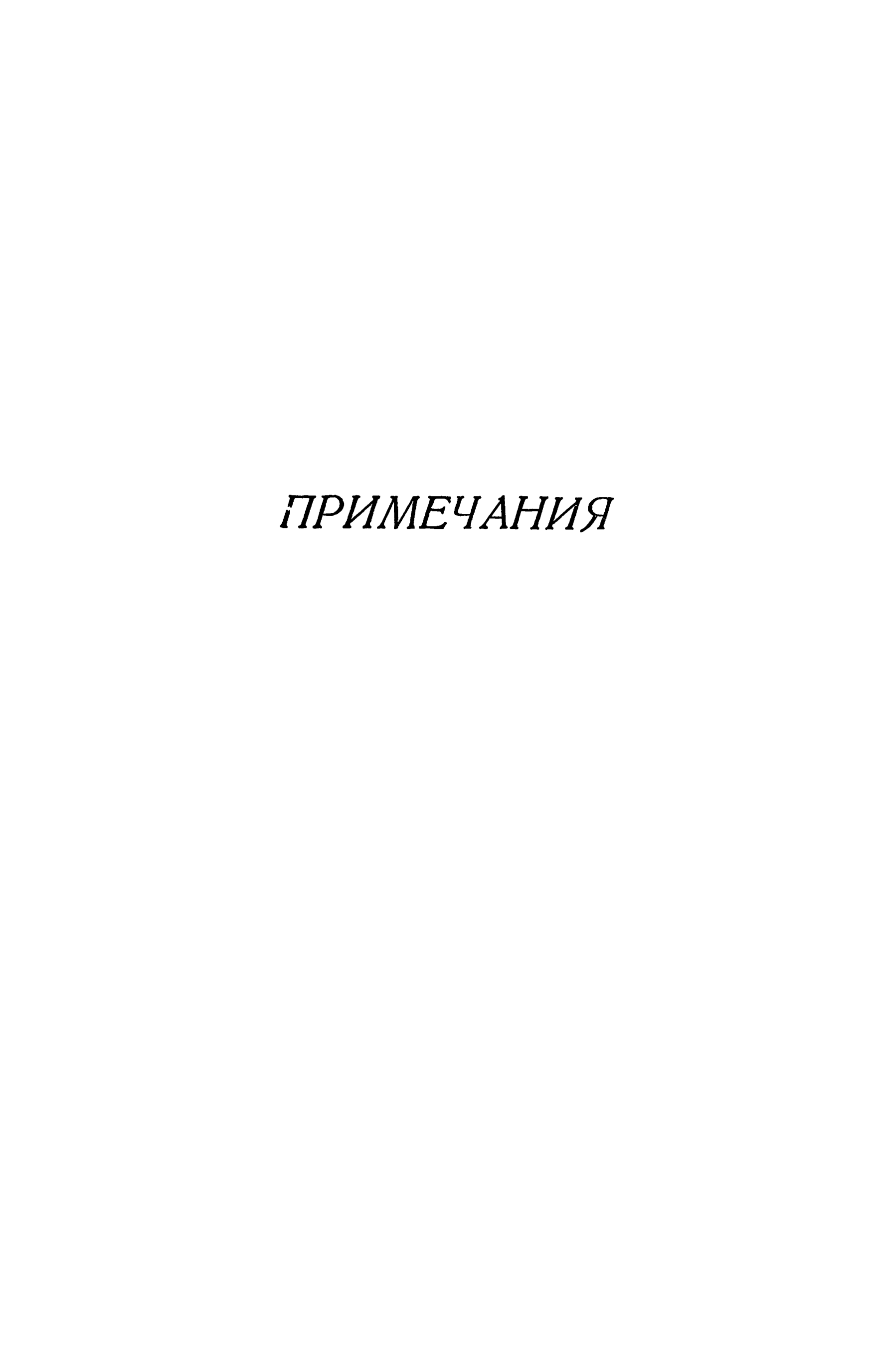
Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает. Все теперь собрались около Аленушкиной кроватки: и храбрый Заяц, и Медведко, и забияка Петух, и Воробей, и Воронушка—черная головушка, и Ерш Ершович, и маленькая-маленькая Козявочка. Все тут, все у Аленушки.

— Папа, я всех люблю... — шепчет Аленушка. — Я и черных тараканов, папа, люблю...

Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко... А около Аленушкиной кроватки зеленеет весело весенняя травка, улыбаются цветочки, — много цветочков: голубые, розовые, желтые, синие, красные. Наклонилась над самой кроваткой зеленая березка и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко светит, и песочек желтеет, и зовет к себе Аленушку синяя морская волна...

— Спи, Аленушка! Набирайся силушки...

Баю-баю-баю...



ПРИМЕЧАНИЯ

ЗОЛОТО

Роман

Впервые роман был напечатан в журнале «Северный вестник», 1892, №№ 1—6.

«Золото» — одно из крупных произведений Д. Н. Мамина-Сибиряка, в котором глубоко раскрывается тяжелое положение трудящихся Урала в пореформенный период, когда с развитием капитализма усилились эксплуатация и обнищание народных масс.

Жизнь, быт и нравы уральских кустарей-золотоискателей привлекали внимание писателя еще в ранний период его литературной деятельности. В 1876 году в №№ 2 и 3 «Сына отечества» был напечатан его рассказ «Старик» (без подписи), который может рассматриваться как одна из первых попыток писателя изобразить тяжелые условия жизни уральских кустарей-золотоискателей. Их рабское положение показано Маминым-Сибиряком также в очерках «От Урала до Москвы» (1881—1882), «В горах» (1883), «Золотуха» (1883). В последнем очерке упоминаются и Березовские прииски, описанные под названием Балчуговских в романе «Золото». Позднее писатель касается этой темы во многих своих произведениях («Дикое счастье» — 1884, «Золотопромышленники» — 1887, «Пир горой» — 1894 и др.).

Замысел романа «Золото» писатель вынашивал долгое время. Еще в 1884 году был опубликован им рассказ «Золотая ночь», в котором изображается борьба золотопромышленников и старателей за приисковые участки. Сюжетная основа этого рассказа, несколько измененная и расширенная, вошла в роман «Золото».

Также в несколько измененном виде писатель использовал в романе мотивы рассказа «Глупая Окся» (1889).

В Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ) хранятся конспекты и выписки писателя из «Сборника материалов об артелях в России», свидетельствующие о тщательном изучении им экономического положения кустарей. Там же хранятся черновые записи 1889 года, в которых упоминается Кедровская дача, Краюхин увал и другие места, где развертывается действие романа «Золото».

Первое упоминание о романе встречается в письме писателя к матери от 23 июня 1891 года, а 15 сентября 1891 года он писал ей: «Прошлая неделя для меня ознаменовалась тем, что я «сел» за большую работу, именно — начал большой роман «Золото». Описываю в нем Березовский завод, конечно, с некоторыми изменениями и дополнениями против действительности».

Работа над романом подвигалась сравнительно быстро: «...сейчас кончаю четвертую часть романа для апрельской книжки, а потом останется одна пятая, которую кончу в марте», — сообщал писатель матери 17 февраля 1892 года.

В марте роман был закончен.

Березовский завод, который, по свидетельству писателя, изображен в романе «Золото», был основан в середине XVIII века и служил местом каторги. В значительной мере каторжные условия остались и после перехода завода на наемный труд. В 70-х годах прошлого века царское правительство передало его частным лицам — Асташеву, Губонину, Уральско-Благодатской компании и др. Мошенничества золотопромышленников с получением приисковых участков, тайная скупка золота у старателей, хищническая эксплуатация золотых месторождений, ожесточенная конкурентная борьба между промышленниками — все это нашло глубокое изображение в романе «Золото».

В нем талантливо изображен также процесс расслоения кустарей. С его страниц как живые встают кустари-старатели, охотники за наживой, теряющие всякий человеческий облик, любыми средствами готовые нажиться за счет своего брата — члена артели. «Клоп клопа ест, последний сам себя съест», — так образно характеризует борьбу старателей один из героев романа.

В образе Кишкина писатель правдиво раскрыл типические

черты кустаря-старателя, который в условиях капитализма неизбежно превращается в капиталистического эксплуататора.

Мамин-Сибиряк в своем романе далек от заблуждений народников, видевших в кустарном производстве некое «народное» производство. С полным основанием А. М. Горький писал, что невозможно «уложить в рамки народничества» Мамина-Сибиряка, для которого «народничество Лаврова, Юзова, Михайловского будет... ложем Прокруста» (М. Горький, Литературно-критические статьи, 1937, стр. 57—58).

Антикапиталистическая направленность романа вызвала резкие нападки буржуазных критиков. Так, рецензент либерально-народнического журнала «Русское богатство» (1894, № 12) упрекал Мамина-Сибиряка в «излишестве трезвой правды». «Прочтя роман г. Мамина, читатель не обогатится никакими новыми идеями», — утверждал он, хотя и признавал, что «Золото» дает читателю «довольно большой запас новых сведений относительно своеобразного и неизвестного ему мирка наших золотопромышленников и золотоискателей», что «читатель найдет у г. Мамина некоторые черты нравов заводского рабочего люда, такие черты, над которыми нельзя не задуматься даже в том случае, если мы не согласимся признать их типическими».

Не признавал роман «Золото» полноценным художественным произведением и либеральный критик А. Скабичевский. Отдавая дань мастерству писателя, он вместе с тем утверждал: «...на протяжении всех четырехсот страниц положительно не над чем отдохнуть душою: хотя бы луч света блеснул в этой непроглядной мгле кишащего всеми пороками гнезда». «Быт и нравы уральских золотоискателей,— по мнению Скабичевского, — изображены в романе в таких мрачных красках, перед которыми должны побледнеть все пресловутые рассказы Брет-Гарта из калифорнийской жизни» («Новое слово», 1896, кн. 1 и 2).

Высоко оценила роман «Золото», как и другие произведения писателя, большевистская «Правда», которая в 1912 году писала, что в нем читатель видит, как «вокруг золота совершается вакханалия; идет ломка старых патриархальных отношений и при этом не щадится ни человеческая жизнь, ни простые человеческие отношения, ни знания, ни культура. Над горнозаводским рабочим свистит плеть... из-за крупицы золотого наследства совершаются неимоверные мошенничества» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», 1937).

При жизни писателя роман переиздавался три раза: в 1895 — в изд. И. Сытина, в 1903 — в изд. Д. Ефимова и в 1912 — в изд. «Просвещение».

В настоящем собрании сочинений текст романа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Золото», 1903, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

Стр. 7. *Посвящается Марусе* — жене писателя — М. М. Абрамовой, умершей 22 марта 1892 года.

Стр. 52. *Повытчик* — в старину — должностное лицо, ведавшее делопроизводством в суде.

Стр. 111. *Сакма* — здесь след телег.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

ОХОНИНЫ БРОВИ

Повесть

Впервые повесть была напечатана в журнале «Русская мысль», 1892, №№ 8 и 9.

Сохранилась наборная рукопись повести (собрание В. В. Гольцева), на последнем листе которой имеется дата: «20 июня 1892 г.», и подпись: «Д. Мамин-Сибиряк».

Первоначально повесть была задумана как исторический роман и предназначалась для журнала «Исторический вестник», что видно из письма к матери от 23 июня 1891 года. Но почти через месяц (21 июля 1891 года) он писал ей: «Все это лето работаю без утыху. Кроме своих фельетонов, пишу... большую историческую повесть из времен Пугачевщины в Зауралье».

Работа над повестью подвигалась сравнительно быстро. 3 мая 1892 года Мамин-Сибиряк писал сестре, что он намерен летом печатать «Охонины брови» в «Русской мысли».

Писанию повести предшествовала большая подготовительная работа. Писатель тщательно изучал многие исторические материалы: «Пермские епархиальные ведомости» за 1869 год (№№ 4—6), где были напечатаны «Очерки бедствий Далматовского монастыря» Гр. Плотникова; «Пермский сборник», издававшийся краеведом Д. Смышляевым в 1856—1860 годах, в котором были опубликованы статьи «О мерах предосторожности, какие при-

нимаемы были пермскими заводами во время пугачевского бунта» и «Пугачевский бунт в Шадринском уезде и его окрестностях»; «Пермскую летопись» В. Шишонко и др. По свидетельству современников, в личной библиотеке Мамина-Сибиряка была собрана большая документальная литература по истории Пермского края, на территории которого развивается действие повести, а также «раскольничьи списки, полные собрания сочинений Соловьева, Ключевского, Костомарова» (сб. «Урал», 1913).

Упомянутые выше сборники и летопись содержат подробные описания Далматовского Успенского монастыря и его окрестностей, его огромного крепостного хозяйства, а также характеристики отдельных монахов, архимандрита Иоакинфа, послужившего Мамину-Сибиряку прототипом для образа игумена Моисея. В названных материалах архимандрит характеризуется как «благостный устроитель», спасающий монастырь от пожаров и бунтов Писатель, опираясь на сохранившиеся в народе устные предания о тяжелом режиме в монастыре, изображает Моисея жестоким деспотом, самодуром и трусом.

Мамин-Сибиряк не ограничился изучением исторических книг и архивных материалов. Он сам несколько раз выезжал в район Далматовского монастыря. Упоминание об одной из таких поездок имеется в письме к матери от 27 ноября 1897 года.

Крестьянскими волнениями, в особенности крестьянской войной под руководством Пугачева, Мамин-Сибиряк интересовался задолго до того, как приступил непосредственно к работе над повестью «Охонины брови». В письмах к отцу от 21 августа и 6 октября 1875 года он просил записывать и присылать ему в Петербург устные народные рассказы о Пугачеве. Первый роман задуманной в 70-х годах и неосуществленной писателем трилогии «Приваловские миллионы» «должен был закончиться пугачевщиной, которая захватила уральские заводы» (автобиографическая заметка, 1886 г.). В очерках «От Урала до Москвы» (1881—1882) Мамин-Сибиряк называл пугачевское восстание «выдающимся явлением в жизни народа», которое «не прошло бесследно для уральского населения, особенно в южных уездах Пермской губернии, где долго после Пугачева периодически вспыхивали разные волнения».

Для сюжета своей повести писатель использовал также предшествовавшее крестьянской войне под руководством Пугачева восстание крестьян Далматовского Успенского монастыря, известное под названием «дубинщины» (1762—1764), ближайшим поводом к

которому послужил указ Екатерины II от 12 августа 1762 года. По этому указу монастырские крестьяне еще сильнее закабалялись монастырями и должны были нести еще большие трудовые повинности. Восстание крестьян Далматовского Успенского монастыря было подавлено лишь с помощью войска. Устанавливая в повести связь «дубинщины» с крестьянской войной под руководством Пугачева, писатель подчеркивает единство социальных причин, лежавших в основе этих двух, не одинаковых по широте охвата народных масс, исторических явлений.

Работая над повестью, писатель глубоко проникся духом времени, в ней чувствуется большое влияние народного эпоса, героических народных сказаний.

Большое общественное значение повести «Охонины брови» состоит в том, что писатель выступил с изображением народного восстания в мрачную пору царствования Александра III и тем самым содействовал активной борьбе трудящихся России с царизмом.

Первым изданием повесть вышла вместе с «Братьями Гордеевыми» в 1896 году в «Библиотеке «Русской мысли». В 1909 году обе повести были переизданы под общим названием: «Из Уральской старины. Повести».

В настоящем собрании сочинений текст повести печатается по изданию 1909 года, с исправлением опечаток по наборной рукописи и по предшествующим публикациям.

ГОСПОДИН СКОРОХОДОВ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Русское богатство», 1893, № 5, в цикле рассказов «Детские тени».

Рассказы, вошедшие в цикл «Детские тени», получили в печати положительный отзыв. Еще до их выхода отдельным изданием рецензент журнала «Русская мысль» (1893, № 11) писал: «...перед читателем проходит целый ряд теней детей, загубленных нелепостью и жестокостью жизни, и взрослых людей, вся жизнь которых исковеркана... Автор нарисовал картинку простую и немногословную... Его настроение далеко не пессимистическое и далеко не покорное неизбежной судьбе, но вместе с тем он и далек от всякого оптимизма».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Детские тени», 1909, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ЯШКА

Впервые рассказ был напечатан в газете «Русские ведомости», 1893, № 232, в цикле «Охотничьи рассказы».

Рецензент журнала «Образование» (1895, № 6) писал о рассказе «Вольный человек Яшка»: «...симпатично изображено любовное отношение Якова к обессилевшей перелетной птице, которую он старается защитить от избиения бурлаками... Рассказом вызывает автор сочувствие к тяжелой жизни бурлаков». В рецензии журнала «Русская школа» (1895, № 12) отмечалось, что рассказ «сердечен и симпатичен, как и сам главный герой рассказа».

При жизни писателя рассказ неоднократно переиздавался отдельным изданием. В 1901 году он был включен автором в 4-й том сборника «Уральские рассказы».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Вольный человек Яшка», 1911, изд. «Вятского товарищества».

ПИР ГОРОЙ

Повесть

Впервые повесть была напечатана в журнале «Вокруг света», 1894, №№ 12—25.

Действие повести относится к сороковым годам прошлого века, когда на Урале и в Сибири были открыты новые месторождения золота.

При жизни автора повесть была включена в сборник «Сибирские рассказы». В настоящем собрании сочинений ее текст печатается по этому сборнику, т. II, 1905, с исправлением опечаток по журнальной публикации.

КОРМИЛЕЦ

Из жизни на уральских заводах

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан отдельной книжкой в 1894 году.

Рассказ представляет собою переработку напечатанного в 1885 году в газете «Волжский вестник», №№ 274, 277, 280 и 285, рассказа «Свисток», центральной фигурой которого была фабричная работница Федорка, а сюжетом — «падение» Федорки под влиянием нужды и голода.

Рассказ «Кормилец» получил положительную оценку в печати. Так, рецензент журнала «Образование» (1895, № 6) писал: «...автор изображает крайне тяжелую и однообразную работу детей на заводе, чем вызывает в малолетних читателях невольное сочувствие к положению трудящихся. Попутно он дает правдивую картину фабричных нравов...»

Рецензент журнала «Русская школа» (1895, № 12) отмечал, что в рассказе «Кормилец» «живые картины русской заводской жизни увеличивают ценность этого печального, но прекрасного рассказа».

При жизни писателя «Кормилец» переиздавался много раз. В 1900 году, после авторской переработки, рассказ был включен писателем в его сборник для детей «По Уралу».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Кормилец», 1911, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В 1881 году в «Иллюстрированном журнале для детей» были напечатаны первые рассказы Мамина-Сибиряка для детей. С этого времени он начал систематически печататься в детских журналах.

Детской книге писатель придавал большое значение и отводил ей активную роль в формировании ума и характера ребенка. «Для меня, — писал он в своих воспоминаниях «Из далекого прошлого»,— до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян».

На педагогические взгляды Мамина-Сибиряка большое влияние оказал выдающийся русский педагог К. Ушинский. В записных книжках писателя имеются выписки из произведений К. Ушинского и личные заметки, свидетельствующие о его глубоком изучении взглядов выдающегося педагога. О книжке К. Ушинского «Детский мир» Мамин-Сибиряк писал, что в детстве она была «с жадностью прочитана от доски до доски. С этой книгой началась новая эра» («Из далекого прошлого»).

Как свидетельствует известный педагог, редактор журнала «Детское чтение» Д. И. Тихомиров, Мамин-Сибиряк считал, что писать для детей «важнее всего остального... Дети — будущее человечество, в них — будущее человечества; в них — будущие возможности» (сб. «Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке», 1936).

Мамин-Сибиряк написал свыше ста пятидесяти рассказов и очерков для детей. Он мечтал «написать русскую историю для детей в форме путешествия». «Сначала, — сообщал он матери 13 августа 1895 года, — напишу Новгородскую историю, потом Киевский период, потом татарщину, собирание Москвы и закончу Петром. Работа большая и займет несколько лет». Для собирания материала он предпринял летом 1901 года поездку в Новгород, по Ладожскому озеру, на Волхов.

Высокую оценку получили детские произведения писателя в современной ему критике. Н. А. Саввин в «Критическом этюде» писал, что среди «новых работников на ниве детской литературы одно из первых мест, — если не первое, — занимает Д. Н. Мамин-Сибиряк... Автор вкладывает глубокое идейное содержание в свои произведения: широко разлитая гуманность, уважение к труду, прославление его, как исключительного фактора человеческой жизни, опоэтизирование незаметных подвигов незаметных героев, сочувствие к бедным и обездоленным, торжество знания, могущество науки — вот основные темы, разрабатываемые нашим автором» («Педагогический листок», 1908, №№ 4—5).

При жизни писателя многие его детские произведения были переведены на иностранные языки и пользовались большим успехом. Вот что, например, писала Мамину-Сибиряку в 1906 году чешская переводчица его сказок «Светлячки» А. А. Теска: «...я хотела бы прислать Вам всю радость и восторг, которые Вы возбудили своей книгой у наших чешских детей; я читала ее в классе народной школы и очень жалею, что Вы не могли увидеть в это время пылающие глазки всех, которые слушали, притаив дыхание, и что не слышали всеобщий длинный вздох после чтения, провожаемый восклицанием: «Как хорошо!» Но не одним детям Вы радость доставили своим произведением; все мы, большие, жалче детей: всю душу занесла пыль забот да разочарований жизнью и всего, что в ней так гадко, — и вот от Ваших рассказов пахнуло таким свежим воздухом, что хоть на времечко короткое, а все же пыль разлетелась и яркие краски на душе заиграли. Спасибо Вам тысячу раз!»

Высоко оценила произведения писателя для детей большевистская «Правда». В некрологе на смерть писателя «Правда» писала: «...его влекла чистая душа ребенка, и в этой области он дал целый ряд прекрасных очерков и рассказов» («Дооктябрьская «Правда» об искусстве и литературе», 1937).

ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК

Впервые рассказ вышел в свет в 1884 году, в серии «Рассказы для детей младшего возраста», изд. Фребелевского педагогического общества.

В Свердловском областном музее хранится первоначальный вариант рассказа под названием «Бегун».

Рассказ был удостоен премии Фребелевского педагогического общества. В связи с этим в 1896 году в № 3 журнала «Всходы» рецензент писал: «На этот раз премия вполне заслужена. Жизнь охотника из лесной глуши уральских гор нарисована живыми красками».

При жизни писателя рассказ неоднократно переиздавался. В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы и сказки», т. 1, 1910, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЕНОЙ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Мир божий», 1892, № 1.

20 апреля 1892 года рассказ получил золотую медаль Петербургского комитета грамотности.

Один из современников Мамина-Сибиряка, В. П. Чекин, писал: «Зимовье на Студеной» — одно из тех немногих, икренне, лучшим «соком» авторских «нервов» написанных произведений нашей небогатой художественно-бытовой литературы, которые, раз прочитанные, никогда потом не забываются» (сб. «Урал», 1913).

При жизни писателя рассказ неоднократно переиздавался. В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по сб. «Зарницы», 1909, издание редакции журнала «Юная Россия», с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ПОСТОЙКО

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Детское чтение», 1893, № 3.

При жизни писателя рассказ вышел в 1899 году отдельной книжкой (изд. Д. Ефимова), затем был включен писателем в том 1-й сборника «Рассказы и сказки». В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание редакции журнала «Юная Россия», с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ПРИЕМЫШ

Из рассказов старого охотника

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Детское чтение», 1893, № 11.

При жизни писателя рассказ переиздавался много раз. В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание редакции журнала «Юная Россия», с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

СЕРАЯ ШЕЙКА

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Детское чтение», 1893, № 12.

При подготовке рассказа для отдельного издания Мамин-Сибиряк внес в него ряд стилистических исправлений, заменил кличку утки, — вместо Серушка — Серая Шейка, — и написал главу, в которой рассказывается о спасении Серой Шейки (в журнальной публикации она погибала).

При жизни писателя рассказ переиздавался несколько раз.

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание редакции журнала «Юная Россия», с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

АК-БОЗАТ

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Детское чтение», 1895, №№ 1 и 2.

В 1895 году в журнале «Русская мысль», № 11, рецензент писал: «Мамин-Сибиряк — талантливейший из русских детских писателей... он пишет просто, не бьет на эффект, а производит сильное впечатление на читателей, вызывая в них непритворный восторг; он избегает малейших покушений на морализацию, а между тем, читая его, становишься как-то чище и благороднее... Рассказ «Ак-Бозат» взят из киргизского быта и представляет одновременно и этнографический очерк, и тонкий психологический анализ, настроение, которое испытывает страстный наездник при потере коня, которого он любит больше всего на свете, — и интереснейший по разнообразию приключений и сцен рассказ, который проникнут живым юмором и читается с одинаково жадным интересом от начала до конца».

При подготовке в 1907 году отдельного издания рассказа Мамин-Сибиряк внес в него ряд стилистических исправлений и, видимо, по цензурным соображениям исключил из первой главы, после слов: «если б только это зависело от них» (стр. 600), следующую фразу: «У богатых людей жадность растет вместе с богатством и готова проглотить собственную тень». Во второй главе, после: «Цацгай был скуп» (стр. 602), также были исключены слова: «как все богатые люди, и, как все богатые люди».

При жизни писателя рассказ переиздавался много раз. В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Ак-Бозат», 1910, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

В ГЛУШИ

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Детский отдых», 1896, № 11.

Рассказ получил положительную оценку в печати. Так, в № 4 журнала «Мир божий», 1898, была опубликована рецензия, в которой отмечалось: «Г. Мамин изображает неподражаемо своих уральских героев, оставаясь всегда объективным, нимало не стараясь их приукрасить или превознести, что, по нашему мнению,

составляет одну из самых ценных сторон его выдающегося художественного таланта. Благодаря именно этой особенности его рассказы производят впечатление необыкновенной свежести и цельности, чего-то здорового и живительного, как природа Урала, которую он умеет изображать, как никто».

При жизни писателя рассказ переиздавался много раз. В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. В глуши», 1909, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

ВЕ́РТЕЛ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Всходы», 1897, № 19.

В 1900 году писатель включил рассказ в сборник «По Уралу».

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. По Уралу», 1910, издание редакции журнала «Юная Россия», с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ

Рассказ

Впервые рассказ вышел в свет отдельным изданием в 1899 году, СПб.

Во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина хранится рукопись рассказа с авторской надписью, из которой видно, что он был написан в 1891—1892 годах.

При жизни писателя рассказ неоднократно переиздавался. В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Рассказы и сказки», т. 1, 1910, издание редакции журнала «Юная Россия», с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

БОГАЧ И ЕРЕМКА

Рассказ

Впервые рассказ был напечатан в журнале «Детское чтение», 1904, №№ 4 и 5.

В настоящем собрании сочинений текст рассказа печатается по журнальной публикации.

АЛЕНУШКИНЫ СКАЗКИ

Впервые «Аленушкины сказки» печатались в журналах «Детское чтение» и «Всходы» в течение 1894—1896 годов.

В журнале «Детское чтение» были напечатаны: «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост» (1894, № 1), «Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и про мохнатого Мишу — короткий хвост» (1895, № 2), «Сказочка про Воронушку — черную головушку и желтую птичку Канарейку» (1895, № 12), «Ванькины именины» (1896, № 10), «Сказка о том, как жила-была последняя Муха» (1896, № 11), «Пора спать» (1896, № 12).

В журнале «Всходы» была напечатана «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу» (1896, № 7).

Отдельным изданием «Аленушкины сказки» впервые вышли в 1896 году, в издании «Библиотеки «Детского чтения».

В 1897 году писатель опубликовал в журнале «Детское чтение» еще две сказки, которые затем включил в последующие издания «Аленушкиных сказок», а именно: «Умнее всех» (№ 11) и «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке» (№ 12).

Первое упоминание об «Аленушкиных сказках» имеется в письме писателя к матери от 27 октября 1893 года: «Пишу сейчас «Аленушкины сказки» для детей самого младшего возраста».

Сказки посвящены дочери писателя Елене, что неоднократно отмечал сам писатель и его современники, например, Л. Глинский (сб. «Воспоминания о Д. Н. Мамине-Сибиряке», 1936).

В письме к матери от 15 декабря 1896 года Мамин-Сибиряк назвал «Аленушкины сказки» своей любимой книжкой.

Высоко оценили «Аленушкины сказки» современники писателя. «Это единственная вещь в своем роде, — во всех отношениях. Это труд, который никогда не умрет», — писал об «Аленушкиных сказках» в письме к Мамину-Сибиряку редактор журнала «Детское чтение» Д. И. Тихомиров.

В № 2 «Педагогического листка», 1897, отмечалось: «Как верными характеристиками, так и общим тоном рассказа они располагают маленького читателя любить природу и ее представителей всякого рода. «Аленушкины сказки» заставят от души посмеяться и серьезно призадуматься».

В день сорокалетия литературной деятельности Мамина-Сибиряка группа читателей обратилась к нему с приветствием, в

котором особо подчеркивалось его значение как детского писателя:

«...Вы открыли свою душу нашим детям, и они открыли Вам свою, — говорилось в приветствии. — Вы поняли и полюбили их, и они поняли и полюбили Вас. У Вас существует неразрывная связь, и «Аленушкины сказки» будут читаться, пока на Руси не переведутся кот Васька, лохматый пес Постойко, и серая мышка-норушка, и сверчок за печкой, и пестрый скворец в клетке, и забияка петух. Спасибо Вам, дорогой писатель и сердечный товарищ...» («Юная Россия», № 12, 1912).

«Аленушкины сказки» вошли в золотой фонд детской классической литературы. Широкое распространение они получили в нашей стране после Великой Октябрьской социалистической революции. Они переизданы в количестве свыше двух миллионов экземпляров на 26 языках народов СССР. Сказки широко известны также за рубежом и переведены на польский, чешский, болгарский, венгерский, румынский, французский, английский, итальянский, шведский и другие языки.

При жизни писателя «Аленушкины сказки» переиздавались много раз.

В настоящем собрании сочинений текст «Аленушкиных сказок» печатается по изданию: «Д. Н. Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки», 1910, с исправлением опечаток по предшествующим публикациям.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор *А. Романов*

Оформление
художника *Б. Никифорова*

Худож. редактор *К. Буров*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректоры *В. Брагина* и *Л. Бунчукова*

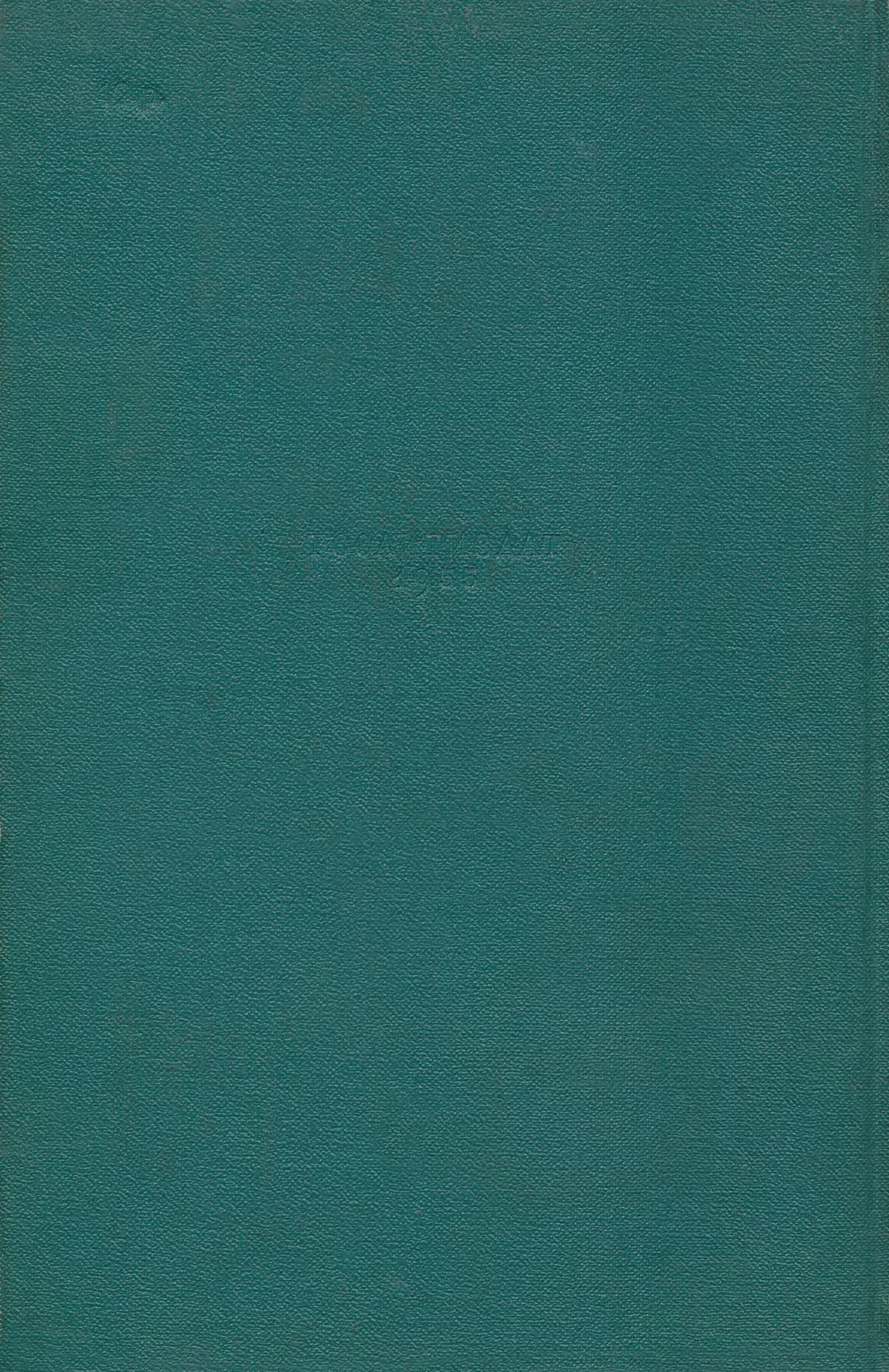
*

Сдано в набор 14/I 1955 г.
Подписано к печати 20/IV 1955 г.
А-01863. Бумага $84 \times 108^{1}/_{32}$=47 печ. л.
38,54 усл. печ. л. 35,77 уч.-изд. л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 1810.
Цена 12 р.

Гослитиздат,
Москва, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР.
Главное управление
полиграфической промышленности.
2-я типография «Печатный Двор»
имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.


ГОСЛИТИЗДАТ